# Балтийское небо

Николай Корнеевич Чуковский

SHOUT
SHARE
IT

- Чуковский Николай Корнеевич
  - ○

# Чуковский Николай Корнеевич Балтийское небо

Чуковский Николай Корнеевич

Балтийское небо

Ноахег: Роман о лётчиках, защищавших Ленинград в годы блокады. Роман написан сыном знаменитого детского писателя Корнея Чуковского.

С о д е р ж а н и е

Глава первая. Марья Сергеевна
Глава вторая. Майор Лунин
Глава третья. Дом на Васильевском
Глава четвертая. Осень
Глава пятая. Перелет
Глава шестая. Дорога
Глава седьмая. Гвардия
Глава восьмая. Ураганы
Глава девятая. Синявино
Глава десятая. Остров Сухо
Глава одиннадцатая. Труды и мечтания
Глава двенадцатая. Прорыв
Глава тринадцатая. Битва над морем
Глава четырнадцатая. На запад!

Глава первая.

Марья Сергеевна

1.

Марья Сергеевна Андреева, маленькая женщина в шерстяном платье, спрыгнула с грузовика у Балтийского вокзала, отряхнула ладошками заляпанную глиной юбку и пошла к трамвайной остановке.

Она больше месяца не была в городе и с тревожным любопытством озиралась, разглядывая знакомую привокзальную площадь. Больше месяца она рыла противотанковые рвы - сначала в Кингисеппском районе, потом к югу от Ораниенбаума, потом, когда немцы заняли Петергоф и Стрельну, возле самого города, за Северной верфью, рядом с заводом пишущих машинок "Ленинград". Всё это время она вместе с десятками тысяч других женщин спала не раздеваясь, на земле, жила под постоянной бомбежкой, под обстрелом среди горящих деревень и вытоптанных полей. Вести из города доходили до нее скудно и редко, и всё же она знала, что с начала сентября город бомбят, что фронт подошел к нему вплотную. Она не совсем ясно

представляла себе, каким увидит город, когда вернется, но была уверена, что увидит его изменившимся.

Однако, к удивлению ее, город показался ей обыкновенным и привычным. У вокзала киоски торговали водой с разноцветными сиропами, девочки рисовали квадратики на панели и прыгали, прохожие ели эскимо в шоколаде, милиционерша пританцовывала на углу, застоявшаяся вода Обводного канала была пестра от нефтяных разводов, трамваи скрипели мирно, как всегда. И только в небе, на страшной высоте, среди легких перистых облачков, озаренных солнцем, стлался закрученный, как замысловатый вензель, белый след едва различимого самолета. Марья Сергеевна не знала, наш это самолет или немецкий, но, увидев его, подумала о Коле Серове.

Она решила прежде всего поехать на Васильевский остров к Быстровым, так как знала, что дома ее никто не ждет. Обоих своих детей, Ириночку и Сережу, она еще в начале июля отправила с районным лагерем под Валдай.

Весь июль прожила она одна, дожидаясь эвакуации школы, в которой работала преподавательницей русского языка. Школа должна была эвакуироваться вместе со всеми учащимися и всеми педагогами.

Это ожидание было для Марьи Сергеевны мучительно. Тяжело бездействовать в такое время! Наконец в начале августа день отъезда был назначен, и Марья Сергеевна получила распоряжение явиться в школу с вещами. Но когда она явилась, ей сказали, что отъезд отложен на две недели. И тут же оказалось, что нужно отправить кого-то из учителей на десятидневный срок рыть противотанковые рвы. Марья Сергеевна поспешно вызвалась сама, потому что нестерпимо было сидеть одной в своих пустых двух комнатах, ждать и ничего не делать. Не заходя домой, она выехала вместе с преподавательницей естествознания Катериной Ильиничной Быстровой.

Десять дней прошли, но смена не прибыла, пришлось остаться. Спустя еще десять дней они с Катериной Ильиничной случайно встретили в окопе одну знакомую работницу Дзержинского районо, которая сообщила им, что их школа уже уехала. А еще через две недели, несколько дней назад, "Мессершмитт", обстреливая из пулемета противотанковый ров, полный работающих женщин, убил Катерину Ильиничну на глазах у Марьи Сергеевны.

С Катериной Ильиничной Марья Сергеевна была, в сущности, мало знакома. Они преподавали разные предметы, в разных классах. Катерина Ильинична была старше Марьи Сергеевны на десять лет, держалась не без важности и казалась не склонной к

сближению. Но за месяц, проведенный вдвоем, они неожиданно сблизились и сдружились. И не потому, что они работали, спали, ели вместе, а потому, что Катерина Ильинична с замечательной нежностью отнеслась к Марье Сергеевне, когда та рассказала ей всю трудную историю своего замужества, своего вдовства и своей новой любви.

С Марьей Сергеевной случилось событие, которое волновало и мучило ее ужасно и к которому она сама не знала, как отнестись. Весной этого года, почти перед самой войной, она, мать двоих детей, неожиданно для самой себя полюбила летчика Колю Серова, с которым познакомилась случайно и совсем недавно и который, к тому же, был несколько моложе ее.

Со своим мужем она когда-то вместе училась в педагогическом институте, он был ее однокурсник, тоже словесник, они, прежде чем пожениться, пережили сложный и возвышенный роман, они глубоко знали друг друга, у них были общие вкусы, общие привязанности, друзья, надежды. Окончив институт, они работали вместе и, наверно, жили бы счастливо, если бы он не заболел туберкулезом. Ему становилось всё хуже, и Марья Сергеевна в течение нескольких лет, сначала с одним крохотным ребенком, потом с двумя, ухаживала за ним, возила его по санаториям, по клиникам, работала до изнеможения, чтобы кормить его как можно лучше, чтобы спасти его. Под конец он стал раздражителен и капризен и относился к Марье Сергеевне с какой-то детской безжалостностью. И всё же она была в отчаянии, когда он умер, и долго не могла прийти в себя от горя. Потом она снова принялась за работу, растила детей, успокоилась, много читала, и ей казалось, что жизнь ее установилась навсегда. Она никогда не думала, что снова может выйти замуж. Жизнь ее была целиком заполнена работой и детьми.

Она была серьезная, скромная, начитанная женщина, и вторая любовь, неожиданная, испугала ее. Он был человек не ее среды - военный, летчик, занимающийся делом, совершенно ей незнакомым. Она встретилась с ним случайно и влюбилась в него так сильно, что никогда даже не подозревала о возможности существования подобной любви. Это была любовь сокрушительная и, главное, независимая от воли Марьи Сергеевны.

И всё же, когда ровно за неделю до войны он предложил ей стать его женой, у нее хватило силы отказать ему. Она отказала ему потому, что у нее было двое детей, и потому, что она была убеждена, что он, несмотря на все свои ласковые слова, не может любить ее, и, уж во всяком случае, не может любить ее долго.

Рассказывая об этом ночью Катерине Ильиничне, она сказала, что это ясно, "как дважды два - четыре". Но она не могла ей рассказать, какая печальная нежность охватывала ее при воспоминании о его больших руках, о его добрых глазах, о его сутуловатости и какая тайная, робкая надежда жила в ней вместе с этой нежностью.

До разлуки они виделись всего раз семь-восемь, не больше. Жил он где-то далеко за городом, на каком-то аэродроме, и свободен бывал только по воскресеньям. В мае и в июне он каждое воскресенье заезжал за нею, и они шли гулять. Эти воскресенья были для нее очень трудны: она стеснялась соседки, стеснялась своей дочери Ириночки, которой уже шел девятый год. Он тоже стеснялся Ириночки, называл ее на "вы" и с застенчивой улыбкой качал Сережу на колене.

Отказав ему, Марья Сергеевна думала, что никогда уже больше его не увидит. Но в глубине души она всё же робко надеялась, что в следующее воскресенье он приедет к ней опять. И он приехал, и когда он вошел, она вся просияла. Она не умела скрыть своей радости. Это было 22 июня. Они вместе выслушали речь Молотова. Через час он уехал.

Марья Сергеевна провожала его на Балтийский вокзал и ехала с ним в трамвае вдоль Обводного канала. Он был бледнее обычного, очень тих, молчалив и, пока они стояли на трамвайной площадке, ни на минуту не выпускал ее руки. Она, маленькая, смотрела на него снизу вверх и старалась угадать, о чем он думает, и не могла, и ужасалась тому, как мало его знает.

Потрясенные, они почти не разговаривали. Она вся была поглощена старанием навсегда запомнить его лицо.

На перроне он сказал: "Береги, себя".

Нагнулся и поцеловал ее в губы.

Он вошел в вагон, и поезд двинулся.

Домой она пошла пешком - через весь город, - одеревеневшая от муки.

Она никогда ни с кем о нем не говорила. И только как-то ночью рассказала обо всем Катерине Ильиничне Быстровой.

Они ночевали в сарае; сквозь щели в крыше были видны звёзды. Женщины кругом спали, утомленные за день, и жались во сне друг к дружке от холода. И только они обе не заснули до утра, и Марья Сергеевна всю ночь говорила шёпотом, плакала и говорила. Марья Сергеевна рассказала Катерине Ильиничне обо всем, ничего не скрывая, полная доверия к ней и благодарности за то, что она не спала ради нее всю ночь, и за то, что она отчего-то считала все сомнения Марьи Сергеевны пустяками. Выслушав, Катерина Ильинична с уверенностью старшей и более опытной

сказала, что нужно только уметь ждать и они непременно увидятся.

- Если вы оба останетесь живы, - прибавила она.

На другой день Катерину Ильиничну убили...

Марья Сергеевна редко бывала на Васильевском острове и не без труда нашла дом, в котором жили Быстровы. Огромный шестиэтажный дом этот стоял на маленькой, тихой уличке, позади зданий институтов Академии наук и университета. В конце улицы видна была набережная Малой Невы, светлая вода, баржи. Марья Сергеевна оглядела все шесть этажей и остановилась.

Она совсем не представляла себе, как сообщит родным Катерины Ильиничны о ее смерти. Она никогда у нее не бывала и никого из ее родных не знала. Слышала она, что муж Катерины Ильиничны находится на фронте. Есть дети. Мальчик совсем еще маленький, не старше, вероятно, Ириночки. И дочка. Катерина Ильинична часто повторяла: "У меня дочь уже совсем взрослая". Наверно, ей лет восемнадцать. Катерине Ильиничне было сорок лет, она могла иметь восемнадцатилетнюю дочь. Как ее зовут, эту девочку? Кажется, Соня. С ними живет еще отец Катерины Ильиничны, работает в каком-то институте, очень, должно быть, старый...

Марья Сергеевна заглянула в бумажку, на которой записан был адрес Быстровой. Квартира 28, со двора, справа, шестой этаж. Пройдя под длинной аркой, Марья Сергеевна вошла во двор.

Двор был квадратный, глубокий, наискосок прорезанный солнцем. Большая белая стрела на стене указывала вход в бомбоубежище. Кучка детей - веселых и оживленных - носилась по двору, и воздух звенел от их криков. Были это всё больше мальчики, и все довольно маленькие; но Марья Сергеевна сразу заметила и девочку, голенастую, выше и шумнее всех. Играли они не то в пятнашки, не то в палочку-выручалочку. Эта голенастая девочка в самозабвении игры и веселья с разбегу чуть не наскочила на Марью Сергеевну, и Марья Сергеевна заметила черные волосы, большой рот, прямой носик, веснушки, расположившиеся по обе его стороны, как два крылышка, и темные глаза, блестящие от восторга.

Марья Сергеевна свернула направо, остановилась у входа на лестницу и посмотрела вверх, стараясь угадать окна той квартиры, куда ей предстояло войти. Там, в вышине, окна были озарены солнцем, еще по-летнему ослепительным, и голуби сидели на подоконниках.

Пока она смотрела вверх, у нее за спиной раздались твердые мужские шаги. Она обернулась. Какой-то морской командир

проходил по двору. Увидя его спину в кителе и сдвинутую на затылок фуражку, Марья Сергеевна вздрогнула и задохнулась.

Коля Серов тоже носил форму морского командира. В первые дни их знакомства она даже считала его моряком, а не летчиком. Он объяснил ей, что он морской летчик, показывал какие-то нашивки на рукаве, но она мало поняла из его объяснения, потому что ей это было безразлично. С тех пор как он уехал, она, увидев человека в форме морского командира, всякий раз вздрагивала. Командир направился к одной из дальних дверей в глубине двора. У двери он обернулся и взглянул на Марью Сергеевну. У него было полное немолодое лицо. Ничем не был он похож на Колю Серова.

По темноватой лестнице Марья Сергеевна поднялась на шестой этаж. На двери квартиры 28 блестела начищенная дощечка с надписью: "Профессор Илья Яковлевич Медников". Надпись была сделана еще по старому правописанию, с твердыми знаками и ятем. Марья Сергеевна остановилась перед дощечкой, стараясь отгадать, кто этот Медников. Жилец? Сосед? Его зовут Илья... Вероятно, отец Катерины Ильиничны, а Быстрова она по мужу...

Пока Марья Сергеевна медлила перед дверью, внизу раздались чьи-то шаги. Кто-то быстро взбегал по лестнице. Марья Сергеевна глянула вниз, в пролет, и увидела ту самую девочку, которая во дворе чуть не сбила ее с ног. Девочка бежала легко, перескакивая через ступени. Когда они встретились глазами, она крикнула:

- Вы к нам? Я так сразу и подумала, что вы к нам...

Марья Сергеевна поджидала ее на площадке. Девочка взбежала на шестой этаж, почти не запыхавшись. Это, конечно, дочка Катерины Ильиничны, и Марья Сергеевна удивилась, как это она сразу не догадалась. Катерина Ильинична тоже была такая же рослая и черноволосая, только в волосах много уже седины; тот же крепкий прямой носик, тот же крупный рот, те же брови... "Ей никак не больше шестнадцати, - подумала Марья Сергеевна. - Может быть, и шестнадцати нет..."

Впрочем, в глазах девочки уже не было того детского счастья, которым полны они были давеча, там, на дворе. Она оглядела Марью Сергеевну с тревогой, ожиданием и некоторой даже строгостью.

- Вы от мамы, да? - быстро и негромко спросила она, пробежав последние ступеньки.

Марья Сергеевна кивнула.

- Я так и думала, что вы оттуда, - продолжала девочка. - У вас юбка в глине. - Она глядела Марье Сергеевне в лицо со всё

возрастающей тревогой. Что с мамой? Что с ней случилось?

- Вас зовут, кажется, Соня... - начала Марья Сергеевна.

- Она убита? - спросила девочка.

Марья Сергеевна опять кивнула, пораженная ее догадливостью, и отвернулась.

Она слышала у себя за спиной дыхание девочки. Ни всхлипыванья, ни вздоха. Так стояли они довольно долго. Потом Марья Сергеевна нащупала в кармане своей жакетки пакетик, крест-накрест перевязанный бечевкой, вытащила его и обернулась.

Глаза девочки были широко раскрыты, и слезы катились по щекам, собираясь на подбородке. Но, видимо, она их не замечала.

- Снаряд? - спросила она.

- Нет, - сказала Марья Сергеевна. - Нас обстрелял самолет.

- Когда это было?

Марья Сергеевна подумала.

- В четверг...

- Ее похоронили?

- Нет. Нас сразу вывели из рва, и больше мы туда не возвращались. Там теперь немцы... Вот...

Она протянула девочке пакетик. Это были перевязанные бечевкой письма в конвертах, паспорт, три сторублевки, фотография лысеющего мужчины в сером пиджаке, в галстуке, - всё, что хранила на себе Катерина Ильинична.

Девочка взяла пакетик и держала его в протянутой руке, даже не взглянув. Большие слезы падали на каменные плиты лестничной площадки.

Марья Сергеевна осторожно коснулась плеча девочки.

Вдруг за дверью раздались приближающиеся мягкие шаги. Девочка вздрогнула, лицо ее сразу стало спокойным. Она рукавом стерла слезы со щек и спрятала пакетик под блузку.

- Уйдите, пожалуйста... - торопливо шепнула она Марье Сергеевне. Спасибо вам...

Не успела Марья Сергеевна спуститься на несколько ступенек, как брякнула дверная цепочка, дверь квартиры 28 распахнулась и на пороге появился небольшой человечек в голубом халате и красных мягких туфлях. У него было горбоносое старческое личико с седыми, до голубизны усами. Держался он прямо, и голова его в черной ермолке была откинута назад важно и не без надменности.

- От Кати? - спросил он резким голосом.

- Да, - сказала девочка спокойно, стараясь не выпустить его на площадку и загораживая от него Марью Сергеевну. - Она просила передать, что еще там задержится.

- Я говорил, что нам уезжать рано, - сказал он. - Мы будем ждать ее.

Девочка осторожно втолкнула его назад в квартиру и сама вошла вслед за ним. Дверь захлопнулась.

2.

Марья Сергеевна жила на улице Маяковского, которая раньше называлась Надеждинской, а еще раньше, лет сто назад, Шестилавочной. Она сошла с трамвая на Невском и пошла по своей родной улице, знакомой до каждой трещины в тротуаре, внимательно глядя по сторонам. Она сразу заметила, что здесь за время ее отсутствия произошли изменения, большие, чем в тех местах города, где она успела побывать.

Уже во втором доме от угла были выбиты все стёкла. Поровнявшись с родильным домом имени Снегирева, она увидела широкий пролом в стене, выброшенные в палисадник скрюченные железные кровати. Напротив, в больнице имени Жертв Революции, один из белых двухэтажных корпусов был сметен наполовину. Дом на углу улицы Жуковского был совсем уничтожен, и только искривленные железные балки торчали в небо. Лишь один край его, самый дальний от угла, всё еще держался, словно на весу, и с улицы можно было видеть внутренность квартир, точно вскрытых огромным ножом: яркие пятна зеленых, желтых и синих обоев, фотографии на стенах, шкаф без дверец с висящим в нем пиджаком, и над всем, на самом верхнем этаже, зеркало, отражающее ясное бледное сентябрьское небо.

Сюда, видимо, попала особенно крупная бомба, потому что все стёкла во всех окнах были выбиты до самой улицы Некрасова. Марья Сергеевна пошла быстрее, торопясь увидеть свой дом. Впрочем, она не очень волновалась. Никого из близких у нее дома не было, а дорожить вещами ей сейчас казалось нелепым. С тех пор как началась война и уехал Коля Серов, и особенно с тех пор как уехали дети, она чувствовала себя не то что свободной, а словно ни к чему не прикрепленной. Каждый дом был ей дорог как свой; ей казалось, что каждый из них мог бы дать ей приют, она могла бы жить с любыми людьми, как жила в сарае на оборонных работах, и всюду чувствовала бы себя дома. Она знала, что та борьба, которая началась три месяца назад, была теперь единственно важным, и стремилась возможно скорее принять в ней участие. Она вернется на оборонные работы копать рвы или поступит на какой-нибудь завод, работающий для фронта. Ей только необходимо прежде съездить к своим детям, устроить их, быть уверенной, что они в безопасности...

За улицей Некрасова стёкла в окнах были целы. Свой дом она

заметила издали. Он был невредим, совершенно такой же, как раньше. У ворот ее встретила управдомша; она улыбнулась Марье Сергеевне и, кажется, хотела что-то сказать, но Марья Сергеевна поспешно поднялась к себе на четвертый этаж, открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру.

Квартира эта состояла всего из трех комнат, и две из них занимала Марья Сергеевна. В третьей жила Анна Степановна, соседка, старуха жизнелюбивая, деятельная и неестественно говорливая. Когда-то у Анны Степановны был муж, работавший где-то на заводе, были дочери. Но муж давным-давно умер, дочери вышли замуж в другие города, и уже лет пятнадцать Анна Степановна жила совсем одна на пенсии. Марья Сергеевна много раз ссорилась с ней из-за несносной привычки Анны Степановны влезать во всё, что ее не касалось: в стряпню, в воспитание детей, в знакомства Марьи Сергеевны; но ссоры эти кончались ничем, как-то сами собой рассасывались, потому что изменить Анну Степановну было невозможно, и она, ни на что не обращая внимания, продолжала соваться во всё. И Марья Сергеевна привыкла к ней, даже дорожила ею в своем одиночестве и, вероятно, была бы очень огорчена, если бы Анна Степановна исчезла.

Анны Степановны не было дома. Марья Сергеевна открыла ключом дверь своей комнаты. И сразу увидела два письма, сунутые под дверь. Письма эти, несомненно, лежали здесь давно, так как оба конверта были покрыты пылью.

Нагибаясь, чтобы поднять их, Марья Сергеевна поняла, что оба они от Ириночки, дочки.

Ириночкины письма пришли, вероятно, вскоре после отъезда Марьи Сергеевны - на них были штемпеля начала августа. Волнуясь, сдвинув брови, Марья Сергеевна вскрыла конверты, в которых, безусловно, уже копалась Анна Степановна, и стала читать.

Из Ириночкиных писем, написанных очень большими буквами по нарисованным карандашом линейкам, она узнала только, что живут они хорошо, ходят за малиной и поймали в лесу ежика, который пожил три дня, залез за печку и умер. Но гораздо больше она узнала из картинок своего пятилетнего сына Сережи, во множестве вложенных в конверты. На всех этих картинках были изображены жирные самолеты с большими черными крестами и сыплющиеся из них бомбы.

Она смутно представляла себе расположение фронтов, не очень хорошо знала, где находится Валдай, но давно уже догадывалась, что фронт должен проходить где-то близко от Валдая. Она разговаривала об этом с одним военным там, на

оборонных работах, но он уверил ее, что до Валдая немцы не дошли. Теперь, увидев Сережины картинки, она еще тверже убедилась, что ей следует выехать в Валдай как можно скорее.

Она очень устала, но чувствовала, что тревога не даст ей покоя, и сразу же принялась за работу. Ей нужно было вымыться, кое-что постирать, собраться. Она растопила плиту, чтобы нагреть воды. Месяц назад, уезжая, она забыла закрыть форточку, и теперь обе ее комнаты были полны пыли. В ожидании, когда закипит вода, она сняла жакетку, разулась и стала мыть пол.

Она еще мыла пол, когда вернулась Анна Степановна. Марья Сергеевна выпрямилась, поправляя упавшие на лоб волосы, а Анна Степановна вскрикнула и сразу заговорила.

Как всегда, речь ее не имела ни начала, ни конца, а начиналась прямо с середины. Разговаривать с Анной Степановной, как с другими людьми, то есть спрашивать и отвечать, было невозможно. Ее приходилось только слушать. С утра до вечера Анна Степановна таскала свое маленькое, ссохшееся семидесятичетырехлетнее тело по всем дворам и лестницам, гонимая бескорыстным любопытством к миру, всё видела, всё слышала и, когда принималась говорить, разом выкладывала все свои познания в первозданном беспорядке, нисколько не заботясь о том, чтобы их рассортировать. Она очень обрадовалась появлению Марьи Сергеевны и, свесив свои тяжелые, словно вырезанные из темного дуба, руки, глядя лишенными ресниц, выцветшими добрыми глазами, стала рассказывать всё, чем наполнилась ее душа за последние сутки.

Конечно, всё это касалось главным образом бомбежек, потому что вчера ночью бомбили, и вчера днем бомбили, и третьего дня бомбили. Убило Александрова, дамского парикмахера из дома No 9, потому что он не выбежал на улицу. В доме No 9 все, кто выбежал на улицу, живы, их лишь опрокинуло, а все, кто остался в квартирах, убиты. Одного только выбежавшего водопроводчика зарезало стеклом. Один жилец выбежал на улицу, а жена и дети дома остались. Как только бомба грохнула, он назад кинулся, в кирпичи, в мусор. Искал, искал, ничего не нашел. А из вещей его остались только калоши, совсем новые, блестят. Он надел калоши, хотя было совсем сухо, и пошел, даже не кричит, голос отнялся, и все на него смотрят...

Марья Сергеевна осторожно, но настойчиво сворачивала ее речь в сторону: ей хотелось узнать, когда и куда уехала школа. Наученная долголетним опытом, она терпеливо выжидала, когда Анна Степановна поперхнется, и тогда поспешно вставляла слова. И мало-помалу в речи Анны Степановны стали возникать упоминания о школе. Оказывается, она долго была уверена, что

школа уже уехала и что Марья Сергеевна уехала вместе со школой, а потом ей вдруг сказали, что отъезд школы отложен, а Марья Сергеевна на оборонных работах. Она не могла себе простить, что чего-то не знала, и убивалась, вспоминая о своем временном заблуждении. А школа уехала около двадцатого августа в сторону Вологды, а там дальше видно будет, пока ничего не известно. Школе очень повезло, она проскочила последней, а с тех пор никто уже больше не уезжал и не приезжал...

- Как - никто больше не уезжал? - спросила Марья Сергеевна. - Не может этого быть!

Но Анна Степановна знала это наверняка и стала подробно рассказывать о людях, которые вот уже третью неделю живут в эшелонах за Московским вокзалом. Там видимо-невидимо вагонов, и вагоны полны людей, и люди обжились - готовят, стирают, - всё ждут отправки и всё не едут. И многим уже надоело ждать, и они расходятся по домам...

- Когда же их отправят? - спросила Марья Сергеевна.

- Когда прорвут кольцо, - сказала Анна Степанова и многозначительно посмотрела на Марью Сергеевну. - Ничего, Юденич тоже близко подходил. А что, взял?..

Марья Сергеевна собственными глазами видела, что с юго-запада немцы подошли к городу почти вплотную. Но что город окружен со всех сторон такой ужасной возможности она не допускала. Правда, там, на земляных работах, одна женщина говорила, что все железные дороги перерезаны и город превратился в ловушку; но слова этой женщины были встречены такой дружной неприязнью, что она сразу замолчала, и Марья Сергеевна ей не поверила.

- Ах, что вы говорите, Анна Степановна! Я завтра утром уеду в Валдай!

При мысли, что между нею и ее детьми может существовать непреодолимая преграда, она приходила в отчаяние, которое было сильнее ее и с которым она не могла справиться. Но Анна Степановна твердо стояла на своем.

- Не поедете, Марья Сергеевна, ох, нет, не поедете! - повторила она раз двадцать.

При этом она ссылалась на такое великое множество случаев, упоминала такое безмерное множество имен-отчеств с указанием профессий, возрастов, семейных отношений, что слова ее приобретали убедительность, поколебать которую было невозможно. И Марья Сергеевна почувствовала такую слабость, что не могла больше стоять и села на край кровати.

- А зачем вам в Валдай, Марья Сергеевна? - спросила Анна

Степановна внезапно.

Марья Сергеевна вдруг возмутилась. Старуха десять лет прожила рядом, в каждую кастрюльку заглядывала, а ничего не поняла, истукан деревянный!

- Вы что, не знаете, что у меня в Валдае дети?

Тут только догадка осенила Анну Степановну. Глаза ее блеснули предчувствием радости, и, задохнувшись, она сказала:

- А ведь Ириночка с Сережей здесь...

- Где?

Марья Сергеевна вскочила.

- На Басковом. У Торкуновых.

Хватая себя за голову восковою своей рукой, Анна Степановна сокрушалась, как это она, дура, сразу не додумалась, что Марья Сергеевна не знает, что ее дети давным-давно привезены. А она-то всё дивилась, зачем Марье Сергеевне в Валдай. Да ведь детей привезли в тот самый день, когда уехала школа. Лагерь очень бомбили, и оставаться в Валдае они не могли. Их привезли сюда, чтобы сразу же везти дальше, да вот приехать-то приехали, а уехать не успели. Детей развели по домам, но Марья Сергеевна была на оборонных работах, и Ириночку с Сережей взяла к себе Торкунова.

Фамилию эту, которую, по мнению Анны Степановны,

должны были, конечно, знать все, Марья Сергеевна слышала впервые. Она стояла перед Анной Степановной, повторяя:

- Где, где они? Идемте... да идемте же!..

И всё порывалась выскочить за дверь как была, босиком. Но Анна Степановна заставила ее обуться. Анна Степановна и сама очень торопилась, торжествуя, что ей удалось стать участницей таких счастливых событий и что она как бы держит радость Марьи Сергеевны в своих руках. Пока Марья Сергеевна лихорадочно натягивала чулки, она объяснила, что живут Торкуновы совсем близко, в Басковом переулке, что сам Торкунов на фронте, а дочка их Люся одних лет с Ириночкой и, когда лагерь вернулся, Торкунова взяла Ириночку с Сережей к себе.

Они выскочили из квартиры, и обе побежали по лестнице - впереди Анна Степановна, быстрая и маленькая, как мышь, за ней Марья Сергеевна. Внизу уже вечерело, и синева окутывала дома, но небо еще сияло, и белые следы самолетов были озарены солнцем. Ни на что не глядя и ничего не замечая, Марья Сергеевна бежала вслед за Анной Степановной до самого Баскова переулка. Какая-то лестница, какая-то дверь. Они постучали. Им отворила высокая незнакомая женщина и довольно строго оглядела Марью Сергеевну. Марья Сергеевна ничего не стала ни спрашивать, ни объяснять: за спиной женщины в глубине

комнаты увидела она Сережу, который, нагнувшись, возил по полу жестяной грузовик. Она рванулась вперед, схватила Сережу на руки. И тут же заметила Ириночку с большим бантом на голове, которого у нее раньше не было.

Пока Анна Степановна в передней обрушивала на Торкунову свою стремительную речь, Марья Сергеевна прижимала детей к себе, мяла, тормошила и целовала их; все трое они лепетали бессвязно, и всех бессвязнее лепетала сама Марья Сергеевна. Два с половиной месяца не видела она своих детей; они были те же и всё же не те: они изменились. Лето в Валдае пошло им на пользу. Они выросли и, видимо, окрепли, особенно Сережа. Светлые волосы его выгорели и стали светлее лица, смуглого от загара.

Торкунова удерживала Марью Сергеевну, уговаривала ее выпить чаю, но Марья Сергеевна не хотела остаться ни на минуту. Ей не терпелось отвести детей домой, чтобы владеть ими одной, безраздельно. Она торопливо благодарила Торкунову, обещала завтра зайти, поцеловала девочку Люсю и ушла вместе с Сережей и Ириночкой. На одной руке она несла Сережу с игрушечным грузовиком, в другой держала узелок с вещами; Ириночка бежала впереди.

Дома пришлось прежде всего затемнить окна, потому что уже нужно было зажечь свет. Анна Степановна, к счастью, ушла, чтобы рассказать о случившемся всем, кого встретит, и Марья Сергеевна осталась одна с детьми. Вода на кухне закипела, Марья Сергеевна вымылась и вымыла детей. Потом они ели кашу, пили чай с баранками. Сережа заснул, не допив своего стакана, и Марья Сергеевна отнесла его на кровать вместе с грузовиком. Через полчаса заснула и Ириночка.

Марья Сергеевна повозилась еще немного, прибирая комнату, полная блаженной усталости. Больше месяца не спала она на хорошей кровати, на матраце, под чистой простыней. Она легла с наслаждением. Завтра никуда не надо ехать. Нестройный треск зениток то приближался, то удалялся, как собачий лай во время гона. Но Марья Сергеевна прислушивалась не к этому лаю, а к сонному дыханию детей. Что ей еще нужно? Нет, ей для себя больше ничего не нужно. Только бы ее дети были с нею.

Анна Степановна вернулась, открыла дверь в комнату Марьи Сергеевны и остановилась на пороге, - Марья Сергеевна за все десять лет совместной жизни не могла приучить ее стучаться.

- Вы спите? - спросила Анна Степановна.

Марья Сергеевна открыла глаза.

- А ведь он приходил, - сказала Анна Степановна.

- Кто?

- Да ваш этот... летчик!

Марья Сергеевна села на постели.

- Приходил? - переспросила она почти с испугом. У нее шумело в ушах. Весь тот счастливый покой, в котором прожила она вечер, разом покинул ее.

- Приходил и сидел у меня с утра до обеда и разговаривал. Про вас спрашивал и про детей. И я ему рассказывала.

- Что ж вы ему рассказывали?

- Всё.

- Всё?

- Что дети в лагере, а вы уехали со школой.

- Со школой? Да ведь я не уехала со школой!

- Я так тогда думала...

- А больше он не приходил?

- Что ж ему приходить... Он ведь думает, что вы за Вологдой.

Шаркая, шлепая и бормоча, Анна Степановна ушла к себе в комнату. "А всё-таки он был здесь!" - думала Марья Сергеевна.

Глава вторая.

Майор Лунин

1.

Константин Игнатьевич Лунин, инструктор лётной школы в одном из городов на юге России, с первого дня войны настойчиво требовал, чтобы его направили на фронт. Это был плотный, крепкий человек средних лет, с ясными голубыми глазами на широком лице, уже лысеющий - "заездами" со лба, в виде буквы "М". В авиации он работал смолоду, налетал множество километров, обучил сотни летчиков, многие из которых уже успели прославить свои имена. Людей, умевших обучать летчиков, на фронт отпускали неохотно. Но он был упорен, и с желанием его посчитались. После короткого пребывания в запасном полку он в конце августа был назначен в морскую истребительную авиадивизию на Балтику.

Направление в часть Лунин получил в Москве. При аттестации ему дали звание майора - вероятно, учли и его участие в гражданской войне и его высокую лётную квалификацию. В черной фуражке, в непривычном кителе с золотыми нашивками на рукавах, с чемоданом в правой руке и свернутой черной шинелью подмышкой левой руки, он направился на Ленинградский вокзал, потому что только в Ленинграде должны были ему сказать, где находится его дивизия.

Вагон, в который комендант усадил Лунина, был набит военными, но все они направлялись недалеко - в большинстве не дальше Калинина. Многие утверждали, что дальше Калинина поезд не пойдет, так как путь там поврежден бомбардировками.

- Вам, товарищ майор, лучше бы через Вологду ехать, -

говорили Лунину. - Дорога Вологда - Ленинград работает безотказно, там поезда еще по довоенному расписанию ходят.

Однако поезд, постояв в Калинине несколько часов и сменив почти всех пассажиров, пошел дальше. Шел он медленно, подолгу простаивал в самых неожиданных местах, и железнодорожники на вопросы о причинах остановок неизменно отвечали:

- Чинят путь.

Кругом горели подожженные бомбами леса, вдоль железнодорожной насыпи зияли свежие воронки. Исковерканные паровозы, разбитые вагоны валялись в кустах под откосами. В Бологом от станционных зданий остались только груды щебня. Пассажиры ежеминутно ждали бомбежки; и действительно, казалось странным, что поезд еще цел и движется вперед.

На четвертые сутки утром они проехали по мосту через Волхов и остановились у станции Чудово. До Ленинграда оставалось каких-нибудь сто километров. В Чудове бушевал сплошной пожар, двигались сбившиеся в. кучи люди, телеги, коровы. Поезд простоял здесь весь день. И в течение всего этого дня был отчетливо слышен медленно нараставший гул артиллерии.

Сначала думали, что поезд ждет, когда впереди починят разбомбленный путь. Но вскоре от железнодорожников стало известно, что где-то между Чудовом и Ленинградом немцы вышли на Октябрьскую железную дорогу и перерезали ее.

Ходили слухи, что поезд вернется в Москву. Но оказалось, что, Чудово соединено одноколейной дорогой со станцией Кириши, лежащей на линии Рыбинск - Пестово - Ленинград. И вечером, когда стемнело, поезд двинулся вдоль левого берега Волхова на северо-восток, к станции Кириши.

На рассвете, остановившись в Киришах, они увидели мутный Волхов, по которому медленно, одна за другой, плыли огромные баржи. Эти баржи были черны от людей, на них плакали дети, мычали коровы. Жители Новгорода уходили от немцев на баржах вниз по Волхову, к Ладожскому озеру. Тут выяснилось, что линия Пестово - Ленинград тоже перерезана, и Лунину стало ясно, что немцы обошли Ленинград с юга.

Одноколейка вдоль Волхова тянулась дальше, до станции Волховстрой, где скрещивалась с железной дорогой, соединявшей Ленинград с Вологдой. И поезд после долгой стоянки отправился от Киришей к Волховстрою, чтобы там повернуть к Ленинграду. Говорили, что с востока путь на Ленинград еще свободен.

Они ехали уже шестые сутки. Трое суток не могли они оторваться от фронта: кругом гремело, пылали леса. Наконец Лунин в окне вагона увидел огромный, словно вылитый из

тусклого металла, водопад и казавшуюся неподвижной белую пену у его подножия - плотину знаменитой Волховской гидростанции.

На станции Волховстрой им сказали, что поезд отсюда пойдет не на Ленинград, а на Вологду. Таково было распоряжение начальства.

Лунин взял свой чемодан и вышел из вагона.

Пути на станции Волховстрой-1 были забиты эшелонами. Все они стремились в одну сторону - на восток, все они хотели прорваться через мост за Волхов, но их было слишком много, и очереди приходилось ждать подолгу. Станки стояли на открытых платформах, в вагонах теснились мужчины, женщины, дети. Всё это были ленинградцы, устремившиеся по последней железной дороге, которая еще была свободна. Бредя по путям и заговаривая- то с тем, то с другим, Лунин убедился, что все они выехали из Ленинграда уже несколько дней назад. Ни один эшелон не пришел с запада сегодня. Ходили слухи, что на станции Мга, как раз на полпути между Волховстроем и Ленинградом, что-то случилось. Что именно там случилось, узнать было не у кого, и можно ли уехать в Ленинград по железной дороге, оставалось неясным.

Бредя по путям, прячась в тени вагонов от горячего вечернего солнца, накалявшего груды шлака, Лунин внезапно очутился возле паровоза, окутанного облаком пара. Когда пар рассеялся, он увидел, что паровоз этот

повернут не в сторону моста, как все остальные паровозы, а на запад, в сторону Ленинграда.

Паровоз и тендер, - ни одного вагона за ними. Из окна паровоза поглядывал пожилой усатый машинист в промасленной кепке. А на тендере, на длинных березовых поленьях, стоял моряк, командир, и золотые нашивки на его рукавах ослепительно сияли, озаренные солнцем.

Этот паровоз, повернутый в сторону Ленинграда, и этот моряк привлекли внимание Лунина. Он подошел к тендеру и остановился. Моряк был человек не первой молодости, с костистым узким лицом, сутулый и такой тощий, что китель и брюки сидели на его теле, как на жердях. Он сверху оглядел Лунина прищуренными близорукими глазами.

- Куда вы? - спросил Лунин.

- В Ленинград, - ответил моряк.

- На паровозе?

- Как придется, - сказал моряк. - Пока на паровозе.

- А через Мгу проедете?

- Там видно будет.

Он прибавил еще что-то, но паровоз свистнул, опять весь окутался паром, и Лунин не расслышал его слов. Огромное колесо паровоза мягко и медленно двинулось.

- Я с вами!.. - вдруг крикнул Лунин и ухватился за поручни крутой лесенки, ведущей на тендер.

Он сам был ошеломлен своим поступком и несколько мгновений провисел, держась за поручни. Моряк протянул ему руку. Она оказалась костлявой и совершенно бессильной. Лунин отстранил его руку и влез на тендер.

Паровоз мчался уже вовсю, гремя на стрелках. Молодой помощник машиниста неодобрительно посмотрел на обоих мужчин в морской форме, но ничего не сказал. Лунин сел на полено. Он смотрел на моряка, моряк на него. Надо было начать разговор.

- Издалека едете? - спросил моряк громко, чтобы его можно было расслышать сквозь лязг колес.

- С юга. С Азовского моря.

- Плавали по Азовскому морю?

- Нет, нигде не плавал, - рассмеялся Лунин. Моряк посмотрел на него с удивлением.

- Как понимать ваши нашивки? - спросил он смущенно. - Стыдно сказать, я числюсь командиром флота, а во флотских знаках различия не разбираюсь. Вот сухопутные шпалы знаю. Вы капитан третьего ранга?

Пришел черед удивляться Лунину. Он сам был очень еще нетверд в знаках различия, но ведь флотский-то командир должен в них разбираться.

- Я майор, - сказал Лунин.

- Майор?

- Ну да. Я не моряк, я летчик. Видите, голубые просветы. Гражданский летчик был, а теперь зачислен в морскую авиацию. Ну, а вы капитан-лейтенант?

- Я вижу, знаки различия и вам не даются. Старший политрук. И тоже нигде не плавал.

Они рассмеялись оба.

- Я журналист, - пояснил неплававший моряк. - Редактор районной газеты. Обмундирован и направлен в Ленинград за назначением.

- Определят вас в какую-нибудь флотскую газету?

- Посмотрим. Будем знакомы. Моя фамилия Ховрин.

Лунин назвал себя.

- Едете вы с юга, а выговор у вас северный, - сказал Ховрин.

Лунин усмехнулся.

- Я родом из Вологодской области, - объяснил он.

- А в авиации давно?

- Считайте, что с детства. Лет восьми я уже мечтал о самолетах. На бычьих пузырях хотел летать, с сарая прыгал с петушиными крыльями. В двенадцать лет у меня уже была самодельная модель, которая метров сто пролетала.

- А когда сами летать начали?

- А вскоре после гражданской войны, когда Осоавиахим появился.

- Вы бы хоть дрова мне подавали, пассажиры, - сказал помощник машиниста, глядя в пространство между Луниным и Ховриным,

Лунин согласился немедленно и, вытаскивая поленья из кладки, стал передавать их помощнику машиниста. Ховрин с трудом поднял полено и тоже передал его. Пот выступил у него на лбу. После пяти поленьев он окончательно выбился из сил, побледнел и присел.

"Э, да ты не силач", - подумал Лунин, продолжая легко и неторопливо передавать поленья.

Паровоз несся вперед, прямо в закат, не останавливаясь на станциях и оглушительно свистя на заворотах. Кругом было пустынно и тихо. Лунин заметил, что ни один железнодорожный состав не прошел им навстречу. Воронки от бомб темнели то справа, то слева. Сумерки быстро густели, и всё сливалось кругом.

Паровоз внезапно затормозил и остановился у маленького темного станционного здания. Машинист и его помощник слезли с паровоза и скрылись где-то за станцией. Они не возвращались почти час. Совсем стемнело, стало прохладно. Сидя в тендере на полене, Лунин теперь, в тишине, снова слышал знакомый гул - гул фронта. Огромные пятна зарев с размытыми, неясными краями туманили звёзды. Огненные вспышки прыгали вдоль всего западного края горизонта, и на их фоне внезапно становилась видна зубчатая линия леса.

Наконец машинист и помощник вернулись. Паровоз двинулся, и они поехали дальше, на этот раз медленно и осторожно. Проехали две станции. На третьей остановились.

- Вылезайте, - сказал помощник машиниста Лунину и Ховрину. - Дальше не поедем.

Ему, видно, жалко их стало, когда они, спустившись с тендера, шагнули в непроглядную тьму. Он им крикнул вдогонку:

- Вы здесь в любую избу постучитесь. Переночевать всюду пустят.

- А где тут шоссе? - спросил Ховрин.

В окне паровоза появился усатый машинист.

- Вы куда, в Ленинград собираетесь? - спросил он.

- В Ленинград, - ответил Ховрин.

- Туда хода нет, - сказал машинист. - Немцы Мгу заняли.

- Шоссе севернее Мги проходит, - сказал помощник. - Между железной дорогой и Ладогой. Через Красный Шум.

- Если железную дорогу перерезали, так и шоссе перерезали, - сказал машинист.

- А вдруг не перерезали? - сказал Ховрин.

- Не знаю, - проговорил машинист осторожно. - Шоссе здесь недалеко. Вот так, километра три.

Они пошли в темноте, сначала между избами с темными окнами, потом по чуть белевшей дороге через поле.

Оба несли чемоданы. Ховрин - очень маленький, с трудом, Лунин большой и тяжелый, без всякого труда.

- Надо попробовать по шоссе, - сказал Ховрин. - Хоть для очистки совести.

На перекрестке у шоссе к ним подошел человек в военной фуражке. Лунин осветил его электрическим фонариком. Младший лейтенант, очень маленького роста. Он вытянулся перед Луниным и приложил руку к фуражке.

- Ждете машину на Волховстрой? - спросил младший лейтенант.

- Нет, на Ленинград, - сказал Лунин.

Маленький младший лейтенант умолк, стараясь разглядеть Лунина и Ховрина. Потом заговорил снова.

- Я часа полтора назад выходил на шоссе, - сказал он. - Тогда машин полно было. Одна за другой шли...

- На Ленинград? - спросил Ховрин.

- Нет, на Волховстрой, - ответил младший лейтенант. - Мне на Волховстрой... На Ленинград, говорят, с полудня не было... Я только зашел к себе в землянку за вещами, убрался, вышел сюда - и как отрубило. Ни одной машины. Я уже минут сорок жду...

Они сели на траву у обочины. Лунин смотрел на звёзды. В ночной тишине все звуки были особенно отчетливы, и казалось, что артиллерия бьет где-то совсем рядом. Выстрел - разрыв, выстрел - разрыв... И всё в одной стороне, на западе. При каждом разрыве вздрагивал воздух.

Становилось холодно. Младший лейтенант надел шинель.

- С Ладоги тянет, - сказал он.

- А далеко здесь до Ладоги? - спросил Лунин.

- Нет, близко. Несколько километров...

Они вскочили, потому что услышали шум приближающейся машины. Машина шла со стороны Ленинграда. Младший лейтенант вышел на середину шоссе, чтобы загородить ей дорогу.

- Посветите ей своим фонарем, - попросил он Лунина. - А то она проскочит.

Они увидели очертания большого грузовика, который приближался с потушенными фарами. Какие-то закутанные фигуры колыхались в его кузове. Лунин зажег свой фонарик. Младший лейтенант запрыгал и замахал руками. Машина, залязгав, остановилась.

Человек восемь женщин, закутанных брезентом, молча смотрели на них из кузова. Шофёр вышел из кабины и, ни на кого не глядя, прежде всего осмотрел и ощупал шины. Машина была гражданская, и шофёр гражданский.

- Из Ленинграда? - спросил его Ховрин, пока младший лейтенант залезал в кузов.

Шофёр кивнул.

- Когда выехали?

- Сегодня в два.

- Ну как там?

- Хорошо, - сказал шофёр твердо. Он выпрямился и внимательно осмотрел Ховрина и Лунина.

- Там-то хорошо, - повторил он. - Да проезда туда больше нету. Всё...

- А как же вы проехали? - спросил Лунин.

- Вот проехали, а больше никто не проедет. Бьет по шоссе. Нас четыре раза землей обсыпало. Проезда больше нет.

Он влез в кабину, и машина двинулась.

Лунин посмотрел на Ховрина. Как поступит этот тощий журналист? Стоит ли ждать? Но Ховрин сел на траву на прежнее место. Лунин сел рядом с ним.

Положение Ленинграда Лунину стало ясно. Немцы обошли Ленинград с юга и перерезали последнюю железную дорогу. Они обстреливают последнее шоссе. Час назад обстреливали, теперь, может быть, и шоссе перерезали. От шоссе до берега Ладожского озера всего несколько километров. Немцы выйдут к озеру, и круг замкнется.

С севера - Финский фронт, от Финского залива до Ладоги. С запада Финский залив. С юга - немцы. С востока - Ладога. Та часть Карельского перешейка, на которой расположен Ленинград, станет островом. Может быть, уже стала островом.

Они долго сидели в траве и молчали. Звёзды двигались над ними. Выстрел - разрыв, выстрел - разрыв. Лунину теперь казалось, что разрывы громче, чем были раньше.

Вдруг издалека донеслось до них какое-то дребезжанье. Оно быстро приближалось - не с запада, а с востока, со стороны Волховстроя.

Скоро стало ясно, что это идет машина. В кузове у неё что-то звякало и гремело.

Машина так быстро возникла из тьмы, что они едва успели вскочить. Лунин зажег фонарик и, крича, кинулся прямо к колесам. Машина проскочила, но метрах в десяти затормозила и остановилась. Они побежали к ней. Шофёр глядел на них, приоткрыв дверцу кабины.

Лунин осветил его фонариком. Это был боец, очень юный, с озорным мальчишеским лицом.

- Подвези, - сказал Ховрин.

- А вам куда?

- А ты куда?

- Куда я, вы не поедете.

- А ты почем знаешь? - спросил Ховрин. - Куда ж ты?

- В большую деревню.

- И нам туда же, - сказал Ховрин, кладя свой чемоданчик в кузов.

Ослепленный светом фонарика, шофёр только теперь разглядел, что перед ним командиры. Обращаясь к Лунину, как к старшему из двоих, он сказал совсем по-другому, почтительно и серьезно:

- Туда проезда нет, товарищ майор.

- А как же ты?

- А уж я как-нибудь, мне надо.

- Нам тоже надо, - сказал Ховрин и полез в кузов.

Шофёр предложил Лунину сесть рядом с собой в кабину, но Лунин отказался.

- Я уж лучше на вольном воздухе, - сказал он. - Вместе с товарищем.

Они уселись на соломе, прислонясь спинами к задней стенке кабины. И понеслись.

В кузове раскачивалась, звеня и лязгая, пустая металлическая бочка из-под бензина. Они отпихивали ее ногами - то Ховрин, то Лунин, - но через минуту она накатывалась на них снова. Укрощение этой бочки некоторое время занимало всё их внимание. Но мало-помалу происходящее вокруг настолько отвлекло их, что они забыли о ней.

Выстрел - разрыв, выстрел - разрыв. Теперь ясно было слышно, что выстрелы слева, а разрывы справа. И выстрелы и разрывы становились всё слышнее, но заметно было, что машина везет их к разрывам, а не к выстрелам. Вспышки при каждом разрыве стали так ярки, что Лунин всякий раз на мгновение видел и свои ноги, и бочку, и задний борт машины, и шоссе между зубцами леса.

Потом к выстрелам и разрывам присоединился третий звук - воющий, протяжный, непередаваемо отвратительный.

- Что это? - спросил Ховрин.

Он, повидимому, никогда еще не слыхал воя летящего снаряда. При каждом выстреле он втягивал голову в плечи, вслушивался и не дышал, пока снаряд не разрывался.

Машина всё прибавляла ходу, и они стремительно неслись, подскакивая на слежавшейся соломе. Бочку они уже больше не отпихивали, а только оба придерживали ее ногами, чтобы она не накатилась на них. Разрывы грохотали уже совсем близко и были оглушительны, как раскаты грома.

Потом вдруг Лунина подбросило и опрокинуло плашмя на дно кузова. Оглушенный грохотом и ослепленный светом, он почувствовал, как бочка перекатилась через него. Земля обсыпала его всего, земля залепила ему лицо. Он отпихнул от себя бочку и присел, стараясь понять, цел ли. Понять это было нелегко, потому что всё тело ныло. Одно было ему ясно: он всё еще в машине, и Ховрин рядом с ним, и они мчатся.

Разрывы следовали один за другим, и при вспышках Лунин видел ободранные, обглоданные деревья. Бочка словно взбесилась - она то и дело накатывалась на них. В гуле, в мелькании света они мчались, мчались и мчались.

Потом Лунина снова тряхнуло и стукнуло о борт, на этот раз уже без всякого грохота. Машина как-то странно нагнулась всей своей передней частью, дернулась и остановилась. И эта внезапная остановка в такую минуту показалась им страшнее всего остального. Ховрин первым поднялся на ноги и заглянул вперед через кабину.

- Угодили передними колесами в воронку, - сказал он.

Машина, рыча, дернулась еще несколько раз, но безуспешно. Щелкнула дверца, мальчик-шофёр выскочил на шоссе. Он что-то крикнул им, но Лунин не расслышал его слов, потому что опять раздался взрыв, совсем близко и Ховрин повалился в кузов, а шофёр куда-то под колёса. Но через мгновение он уже вскочил, и голова его в сдвинутой набок пилотке появилась над бортом кузова.

- Бегите в лес! - крикнул он,

- А ты? - спросил Ховрин.

- Бегите! Бегите! Я сейчас! - замахал он на них рукой.

Ховрин швырнул вниз свой чемоданчик и выпрыгнул из кузова. Лунин за ним. Они пробежали по лесу несколько шагов, как вдруг снова услышали отвратительный приближающийся вой.

- Ложись! - крикнул Лунин.

Падая, он схватил Ховрина за руку, чтобы заставить его

упасть тоже. Краем глаза он видел, как огромные стволы, черные на фоне пламени, переломились, словно соломинки. Лунин подумал о шофёре. Где он? Неужели остался возле машины? Они вскочили, пробежали, пригнувшись, несколько шагов и опять упали. Падать приходилось ежеминутно. Услышав вой снаряда, они падали, а потом, после разрыва, вскакивали и бежали дальше. Мокрые от росы ольховые прутья хлестали их по лицам. Они старались двигаться в прежнем направлении, вдоль шоссе, и не слишком удаляться от него. Лунин томительно думал о мальчике-шофёре, который обманул его и остался на шоссе со своей машиной. Жив ли он еще?

- Потише стало, - сказал Ховрин.

Действительно, как будто стало немного потише. Разрывы гремели где-то сзади. Лунин и Ховрин падали реже: то ли вышли из-под огня, то ли немцы перенесли главный огонь на другой участок. Они стали заворачивать влево. Деревья расступились, и они опять вышли на шоссе.

- Ну что ж, пойдем пешком, - сказал Ховрин. Но не успели они пройти сотни шагов, как сзади услышали знакомый лязг - перекатыванье пустой бочки по кузову. Лунин остановился. Машина, дребезжа, выползала из тьмы. Лунин посветил фонариком. Машина остановилась, брякнула дверца кабины.

- Жив? - спросил Лунин.

- Жив! - ответил шофёр счастливым голосом, полным торжества. Полезайте!

Они снова сели в кузов и понеслись. Разрывы гремели теперь далеко позади. Чувство счастья и покоя охватило Лунина. Даже бочка больше не раздражала. Он почувствовал, что голова Ховрина, сидевшего рядом с ним, склонилась к нему на плечо. Ховрин уснул. Стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить его, и придерживая ногою бочку, Лунин заснул тоже.

Проснувшись, он увидел, что они едут по мосту через широкую реку, в которой отражается заря. Он понял, что это Нева. За мостом опять был лес.

И Лунин снова заснул.

Когда он проснулся во второй раз, кругом были дома, окна блестели на солнце.

- Подъезжаем, - сказал Ховрин. - Бывали в Ленинграде?

- Был один раз, - ответил Лунин. - Прожил здесь когда-то целое лето. Я в Ленинграде женился.

- А сейчас ваша жена на юге?

Лунин слегка нахмурился.

- У меня нет жены, - сказал он.

- Умерла?

- Разошлись.

Они ехали по улице, и красный трамвайный вагон, звеня, двигался рядом с ними.

2.

Пожав руку Ховрину и соскочив с грузовика, Лунин пошел пешком по улицам Ленинграда. Нужно было отыскать коменданта города и узнать у него, где находится дивизия, в которую его назначили.

Чем дальше шагал он по длинным, прямым улицам, по мостам, по набережным каналов, тем сильнее становилось его волнение. Здесь его волновало всё, даже самый воздух, наполнявший этот город, - свежий, резкий, влажный воздух, сквозь который и свет и звук проникали как-то по-особенному отчетливо и ясно. Здесь он когда-то познакомился с Лизой, здесь они когда-то бродили вдвоем - напролет долгие светлые летние ночи, - здесь он женился.

Комендант города помещался на Садовой, неподалеку от Инженерного замка. Там Лунина, как моряка, принял заместитель коменданта, седеющий майор в морской форме, сухощавый, высокий, сдержанный, вежливый, с начищенными до ясного блеска пуговицами и твердыми крахмальными манжетами, пожелтевшими от долгого употребления. В этих твердых манжетах, выглядывавших из рукавов кителя, и даже в этих длинных, тонких пальцах было что-то особое, ленинградское. Просмотрев документы Лунина, заместитель коменданта сказал, что ему следует явиться в штаб ВВС КБФ. Там ему укажут, где находится его дивизия. Но когда Лунин спросил, где ему искать штаб ВВС КБФ, произошла заминка. К удивлению Лунина, заместитель коменданта, казалось, и сам не знал, где находится этот большой и важный штаб.

- Всё сейчас движется, - сказал он.

Попросив Лунина подождать, он ушел в глубь комнаты и там долго разговаривал вполголоса с одним из своих подчиненных. Лунин ясно расслышал слово "Петергоф". Он уже решил было, что штаб ВВС, видимо, в Петергофе, но заместитель коменданта, вместо того чтобы направить его в Петергоф, ушел в соседнюю комнату и там звонил по телефону. Когда он вернулся, его подчиненный сказал ему:

- Я вам говорил, что туда проезда больше нет. Их там и быть не может.

И заместитель коменданта посоветовал Лунину попытаться отыскать представителя штаба ВВС в здании Адмиралтейства.

Лунин вышел на Невский и увидел впереди Адмиралтейскую иглу. Радость и боль припоминания охватили его. "И светла

Адмиралтейская игла..." Впрочем, игла теперь была вовсе не светла. Ее покрасили в темный цвет. "Чтобы не так бросалась в глаза немецким летчикам и артиллеристам", - догадался Лунин. В саду перед Адмиралтейством пахло сыростью, сладковатой прелью, и этот запах тоже показался ему знакомым и ленинградским, особенным. Представителя ВВС он искал и ждал несколько часов, слоняясь по громадному, как целый город, запущенному петровскому зданию, по бесконечным коридорам, по темноватым комнатам со сводчатыми потолками, наскоро перегороженным фанерными переборками. Неизвестно, знал ли представитель, где находится штаб ВВС. Он посоветовал Лунину явиться прямо в дивизию, а штаб дивизии, кажется, уже перебрался на Поклонную гору, за Лесным.

В дивизию Лунин ехал на трамвае номер девять, на площадке прицепного вагона. Его удивляло, что он едет на фронт в трамвае, что с ним едут домохозяйки, возвращающиеся с рынка, и студентки Политехнического института н что кондукторша, всю дорогу воевавшая с прицепившимися сзади мальчишками, потребовала от него, как от прочих, пятиалтынный.

И в то же время повсюду замечал он приметы близости к фронту. Город был готов к отпору. Вдаль по боковым переулкам уходили глубокие рвы, линии надолб и колючей проволоки. Из-за заборов тянулись вверх хоботы зенитных орудий. В угловых домах окна были заложены кирпичом и оставлены узкие бойницы, которые зорко и безмолвно наблюдали за всем вокруг. И на всех лицах, самых разнообразных, видна была спокойная настороженность. В трамвае, в углу, против кондукторши, сидел человек в военном и держал между колен что-то длинное, завернутое в брезентовый чехол. Сначала Лунину показалось, что это какой-то музыкальный инструмент, да и лицом , человек напоминал музыканта. Но, приглядевшись, Лунин понял, что в чехле винтовка. Что же это за винтовка, которую нужно возить в чехле? И вдруг Лунин догадался. Снайпер! Едет куда-то на передовую, к своему рабочему месту...

В Лесном, на одной из остановок, в трамвай вошел летчик в морской фуражке, как у Лунина, но в короткой кожаной куртке с застежкой "молния" на груди вместо кителя, - такие куртки часто носят летом на аэродромах. На рукавах у него не было знаков различия. Это был человек среднего роста, лет около тридцати, с округлым лицом и маленькими умными, внимательными глазами. Войдя, он остановился на площадке прямо против Лунина и стал с приязненной, но холодноватой улыбкой разглядывать его всего - лицо, плечи, китель, чемодан. Так, молча, они проехали несколько остановок. Потом летчик в куртке

сказал:

- Нам с вами здесь, майор.

И Лунин послушно вышел за ним.

Поклонная гора оказалась не горой, а громадной ямой, дно которой было покрыто крышами деревянных дачек. Лунин и его спутник пошли вниз по крутой немощеной дороге.

- Инструктор лётной школы? - спросил летчик в куртке, продолжая разглядывать Лунина сбоку.

Лунин кивнул.

- С юга?

Лунин опять кивнул.

- Выпросились на фронт?

- Выпросился.

- В город на машине прорвались?

"Что за чёрт, он всё про меня знает", - подумал Лунин.

Штаб найти было нетрудно - по проводам, сбегавшимся со всех сторон к одной дачке. Но проводов этих, видимо, было недостаточно, потому что возле дачки несколько связистов разматывали клубки проволоки. Они были странно одеты: смесь флотского и армейского обмундирования. Увидев спутника Лунина, они бросили работу и выпрямились.

- Ну как, все побывали в воде? - спросил шедший за Луниным летчик.

- Все, - ответили связисты хором.

Летчик в куртке остановился и разглядывал их так же внимательно, как давеча разглядывал Лунина.

- Как устроились? - спросил он.

- Устроились хорошо, - сказал один из связистов, выходя вперед. - Вот обмундирования всё не дают взамен пропавшего. Видите, в чем ходим.

На нем была старая расстегнутая красноармейская шинель поверх флотской тельняшки.

- Насчет обмундирования я сейчас поговорю, - сказал летчик.

Он помолчал, с явным удовольствием разглядывая молодое суховатое лицо связиста. Потом продолжал:

- Так ты, Игнатов, значит, выплыл... Это хорошо. Сколько же ты плавал?

- Сначала четыре часа, потом подобрали. А потом два часа, и опять подобрали...

- А девушки?

- Двоих нету.

- Маня Соколова?

- Соколова хорошо плавала. Ее "Мессершмитты" в воде застрелили.

Связист говорил понизив голос и угрюмо поглядывая на Лунина. Ему, видимо, было неприятно вести этот разговор при постороннем человеке.

- Вам сюда, майор, - сказал летчик Лунину. - Заходите. А я еще здесь потолкую.

Лунин прошел через садик. Огненные георгины цвели перед верандой. Поднявшись на крыльцо, он вошел.

Дежурный сидел возле своих телефонов в одной рубашке и пришивал к кителю чистый воротничок. Мальчишеское лицо его было черно от загара. Увидев Лунина, он перегрыз нитку белыми крепкими зубами, надел китель и оказался лейтенантом.

Взяв бумаги Лунина, он просмотрел их и сказал, что сейчас доложит заместителю начальника штаба. Он двинулся с бумагами к двери в соседнюю комнату, но в эту минуту вошел тот летчик, с которым Лунин встретился в трамвае. Лейтенант мгновенно остановился, выпрямился, козырнул и крикнул:

- Смирно!

Он начал было рапортовать:

- Товарищ комиссар...

Но тот прервал его, скучливо взмахнув рукой. "Комиссар дивизии, понял наконец Лунин. - Молодой!"

- Хорошо у вас тут, - сказал комиссар, глянув через открытое окно на георгины.

- Не знаю, - ответил лейтенант. - Я еще не осмотрелся, вчера вечером только прибыли. В Таллине цветов еще больше было.

- Кто здесь старший на рейде? - спросил комиссар.

- Заместитель начальника штаба.

- Начальник штаба.

- Заместитель...

- Он уже начальник штаба, - сказал комиссар твердо.

- А подполковник?-спросил лейтенант испуганно. Комиссар промолчал.

- Утонул?

Комиссар кивнул.

- Это проверено?

Комиссар кивнул еще раз.

Они долго молча стояли друг против друга. Потом лейтенант выпрямился и спросил совсем по-другому, вполне официально:

- Вы к начальнику штаба, товарищ комиссар?

- Нет, он мне сейчас не нужен, - сказал комиссар. - Я пойду посмотрю, как вы людей разместили. Почему у вас рота связи в таком виде?

- Да они в воде всё с себя поскидали. Но обмундирование для них уже получено.

- Когда же вы их оденете?

- А вот после ужина...

Уходя, комиссар протянул Лунину руку и представился совсем не по-военному:

- Уваров. Полковой комиссар.

Лунин назвал себя.

- Мы с вами еще увидимся, товарищ Лунин.

Когда комиссар дивизии вышел, лейтенант направился к начальнику штаба.

Вернувшись, он объявил, что Лунину приказано немедленно явиться в полк.

Однако оказалось, что всё-таки не совсем ясно, куда именно ему нужно ехать. Все три эскадрильи полка находились в разных местах: первая - на южном берегу, вторая - на северном, третья - в Кронштадте. Штаб полка находился вместе с первой эскадрильей на южном берегу. Лунин не понимал, что это за южный берег, но, видимо, это было место, до которого трудно добраться. Дежурный стал звонить в штаб, полка через множество посредствующих звеньев, вызывая солнце, луну и все семь планет. Это заняло минут сорок, и он всё кричал в трубку:

- Старший лейтенант Тарараксин? Кто говорит? Тарараксин?

Так впервые Лунин услышал эту фамилию. Наконец дозвонился. Командир полка майор Проскуряков приказал новоприбывшему летчику явиться во вторую эскадрилью, в распоряжение капитана Рассохина.

- Второй эскадрильей командует капитан Рассохин, - сказал лейтенант, делая ударение на слове "капитан" и смотря на майорские нашивки Лунина.

Он, очевидно, хотел обратить внимание Лунина на то, что Лунин, майор, оказался в подчинении у капитана. Он внимательно посмотрел Лунину в глаза, стараясь отгадать, какое впечатление произвело на него это известие. Но Лунин ничего не понял. Он ощущал себя человеком штатским, и ему казалось естественным, что на войне всякий кадровый военный должен быть выше его.

3.

Оказалось, что во вторую эскадрилью сейчас отправляется грузовая машина, и дежурный усадил Лунина рядом с шофёром. Лунин оглядывался по сторонам, стараясь понять, где они едут. Он понимал только, что они находятся к северу от города, между городом и финскими войсками, наступавшими с севера по Карельскому перешейку и остановленными на линии Сестрорецк - Белоостров. Понимал он также, что приближается к морю.

Они без конца ехали мимо опустевших дач с пылающими

кустами георгинов у веранд. Иногда дачи пропадали и начинались картофельные поля, где женщины копали картошку. Лунин всё глядел вперед, всё ждал, что увидит море, но уже наступали сумерки, а моря всё не было. Так и не увидев моря, они въехали на аэродром.

Это был, конечно, не аэродром, а просто поляна в еловом лесу, на окраине пустого дачного поселка, приспособленная для взлета самолетов. Лунин, несмотря на сумерки, опытным взглядом сразу заметил все самолеты, стоявшие в разных местах по краям поляны под широкими лапами елей. Их было всего шесть - истребителей "И-16".

Шофёр показал Лунину тропинку к командному пункту Рассохина, и он пошел туда один, таща свой чемодан. Командный пункт помещался на краю аэродрома, в землянке, покрытой дерном, купол которой едва возвышался над землей. У входа стоял краснофлотец в металлическом круглом шлеме, с автоматом на животе. Он попросил Лунина подождать и нажал кнопку звонка.

Через минуту из землянки вышел крепкий, плотный человек очень маленького роста, в лётном комбинезоне, с непокрытой головой. "Вес пера", подумал Лунин. Лицо маленького человека было чем-то озабочено, и он оглядел Лунина не без досады.

- Старший лейтенант Кабанков, - представился он, однако, вполне вежливо. - Комиссар второй эскадрильи.

Лунин пожал ему руку и назвал себя.

- Вы к капитану? - спросил Кабанков.

- К капитану Рассохину, - сказал Лунин.

На маленьком твердом лице Кабанкова опять мелькнуло выражение досады. "Я, кажется, не во-время", - подумал Лунин.

- Вы из дивизии, товарищ майор? - спросил Кабанков, медля у входа.

- Из дивизии, - ответил Лунин и сразу почувствовал, что Кабанков неверно его понял. Он хотел сказать, что приехал из штаба дивизии, а Кабанков решил, что он - представитель штаба дивизии. Но поправиться Лунин не сумел.

Кабанков повел его вниз, толкнул дверь, провел темным подземным коридором, пол которого был устлан досками; под досками хлюпала вода. Кабанков открыл еще одну дверь, и они очутились в маленькой комнате, тускло освещенной керосиновой лампочкой с закопченным стеклом, висевшей на стене. Сладковато пахло сосновой смолой. Потолок был низок, Лунин почти задевал его фуражкой. Комната имела и вторую дверь, и два летчика в комбинезонах стояли возле этой двери и хмуро прислушивались к тому, что за ней происходило. При появлении

Кабанкова и Лунина они обернулись.

- Кабанок, ты видел его? - шёпотом спросил один из них, мальчик лет девятнадцати, простодушный на вид, с круглыми, девичьими щеками.

Кабанков кивнул.

- Правда, что он прожил еще минут двадцать?

- Не знаю... Минут восемь, может быть....- шёпотом ответил Кабанков, подходя к двери. - Он захлебнулся кровью. У него грудь прострелена навылет в двух местах. Когда его вынимали из самолета, кровь била между губами фонтаном.

- Он помнил что-нибудь? - спросил молоденький летчик с детским любопытством.

- Ничего не помнил, - ответил Кабанков.

- Перелетел через море с простреленной грудью! - сказал молоденький летчик. - Шел прямо за капитаном и Серовым и ни разу не сбился. Я видел, я сзади всех шел, за Байсеитовым. А ведь он уже умирал...

- Техник его на аэродроме только тогда начал догадываться, когда увидел, что он идет на посадку, не выпустив шасси, - сказал второй летчик, доселе молчавший.

Это был человек несколько постарше, высокий, худощавый, слегка сутулившийся, с добрым, грустным и умным лицом.

- Круг над аэродромом сделал правильно, но шасси не выпустил и самолет посадил на брюхо, - продолжал он. - Шасси у него в порядке - значит, просто сил не хватило. Он потерял сознание только когда посадил. Замечательно посадил! Костыль немного сбил в сторону. Техники за ночь исправят, и к утру самолет будет цел.

- Всё равно летать на нем некому, - сказал Кабанков.

Он слегка приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Все сразу замолчали. Он приоткрыл дверь шире.

Лунин тоже заглянул в дверь и впервые увидел капитана Рассохина.

Рассохин сидел за столом. На столе стояла большая керосиновая лампа, и лицо его было хорошо освещено. Широкие скулы, рыжие брови, шероховатая кожа с крупными веснушками - из тех лиц, которые называют конопатыми. К маленьким, подвижным, широко расставленным голубым глазам со всех сторон сбегались сухие, как щепочки, морщинки. Ему, пожалуй, лет тридцать. Деревенское, крестьянское лицо. И в то мгновение, когда Лунин его впервые увидел, на. этом лице было только одно выражение - бешенство.

Появившихся в дверях Кабанкова и Лунина Рассохин не заметил, - может быть, потому, что слишком яркий свет лампы на

столе мешал ему. Он глядел только на человека, стоявшего перед ним по другую сторону стола. Глядел с бешенством.

Это был смуглый красавец, сухощавый и прямой, горбоносый, черноволосый, с черными бровями, сросшимися на переносице. Из-под этих бровей он прямо смотрел в лицо Рассохину. В руках он держал свой лётный шлем, теребил и мял его. Каждые полминуты он оглядывался, словно боялся, что кто-то стоит у него за спиной, хотя за спиной у него никого не было.

- Ты бросил его аккуратненько, - говорил Рассохин, с ненавистью глядя ему в лицо. - Ты его ведомый и должен был смотреть, чтобы никто не зашел к нему в хвост. А ты аккуратненько бросил его.

- Я сбил "Юнкерс", - сказал горбоносый, глядя на Рассохина прекрасными, слегка навыкате глазами.

- Плевать я хотел, что ты сбил "Юнкерс!" - крикнул Рассохин. Он побледнел от гнева, и все щербинки у него на лице стали еще заметнее. - Ты погнался за "Юнкерсом", а его застрелили. Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего! Не бывает!

- Я сбил "Юнкерс", - повторил горбоносый упрямо и обернулся.

Он, видимо, уже очень много раз повторял эту единственную фразу.

Рассохин ударил веснушчатым кулаком по столу. Он хотел крикнуть, но бешенство перехватило ему горло, и он почти прошептал:

- Пошел вон!

Горбоносый свернул свой кожаный шлем в жгут и вышел из комнаты, протискавшись между Кабанковым и Луниным.

- Капитан, - сказал Кабанков, видимо страдавший, что всё это происходило при постороннем человеке. - К вам прибыл товарищ майор из дивизии.

Рассохин, жмурясь от света лампы, глянул в дверь и тут только увидел Лунина. Заметив майорские нашивки у него на рукавах, он неторопливо встал со стула и оказался человеком среднего роста, очень плотным, широким. Он глядел на Лунина с тем же выражением бешенства, с каким только что глядел на горбоносого.

- Явился в ваше распоряжение, товарищ капитан, - сказал Лунин, вытягиваясь и поднося руку к фуражке.

Рассохин не сразу понял и долго рассматривал сопроводительную бумажку, выданную Лунину в штабе дивизии. Наконец догадался и сел. Лунин снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб.

- Вы летчик? - спросил Рассохин, разглядывая лысеющую

голову Лунина и всю его несколько грузную фигуру.

- Летчик, - ответил Лунин.

Глаза Рассохина сузились и стали насмешливыми:

- Из гражданской авиации?

- Из гражданской.

- На истребителях летали?

- Очень мало. В запасном полку.

- В бою были?

- Не приходилось.

О своем участии в гражданской войне Лунин поминать не собирался.

- Так вас к нам на пополнение? - спросил Рассохин уже совсем издевательски. - Вместо Никритина?

Лунин молчал.

- Почему же вас одного? - продолжал Рассохин. - Нас осталось пять человек. Они вам об этом не говорили?

Лунин молчал.

Рассохин тоже замолчал и задумался. И вдруг сказал совсем по-иному, спокойно и без всякой насмешки:

- Дадим товарищу майору самолет Никритина. А, Кабанок?

- Другого нет, - сказал Кабанков.

- Байсеитов! - крикнул Рассохин.

Горбоносый летчик вошел в комнату, вытянулся и уставился на Рассохина черными упрямыми глазами.

- Вот майор Лунин будет летать на самолете Никритина, - сказал ему Рассохин. - Но я тебя ему не дам! Ты его погубишь. Ты, Бййсеитов, всякого погубишь! Я тебя никому не дам, я тебя себе возьму. Ты будешь моим ведомым вместо Серова.

Байсеитов ничего не сказал и только посмотрел себе через плечо, как будто искал кого-то у себя за спиной.

- А вам, майор, я, так и быть, отдам Серова, - продолжал Рассохин. Он мой ведомый с первого дня войны и ни разу меня не подвел. - Голос Рассохина стал мягким. - Серов!

Вошел один из тех летчиков, которые слушали за дверью,- тот, что постарше, сутуловатый. Он казался неуклюжим в своих огромных мохнатых унтах.

- Ну, Коля, мы с тобой расстаемся, - сказал Рассохин. - Теперь твоим ведущим будет майор Лунин. Он прибыл к нам командиром звена, на место Никритина.

- Есть, товарищ капитан, - сказал Серов.

Видно было, что он огорчен. Но, вероятно, он не хотел обидеть Лунина и вдруг улыбнулся ему доброй улыбкой.

- Ужинать, - сказал Рассохин, посмотрев на часы.

В столовую пошли вчетвером: Лунин, Серов, Байсеитов и

младший лейтенант Чепелкин - тот молодой летчик с девичьими щеками, который расспрашивал Кабанкова, сколько минут прожил Никритин после посадки. Байсеитов шел немного в стороне от остальных и вдруг запел с легким кавказским акцентом:

Иль погибнем мы со славой,

иль покажем чудеса!..

Он всё еще внутренне хорохорился и, видимо, ожидал, что товарищи с ним заговорят. Но все молчали, замолчал и он. Через каждые несколько шагов он поворачивал голову и глядел назад.

Лунин нес свой чемодан и ни с кем не заговаривал. Он понимал, что все они думают о погибшем. Один только Серов искоса поглядывал на него.

- Извините, товарищ майор,- спросил он наконец,- вы тот известный летчик Лунин?

Лунин никогда не считал себя известным и решил, что Серов принял его за кого-то другого.

Серов смутился, но всё-таки неуверенным голосом назвал один перелет, еще конца двадцатых годов, и спросил, не участвовал ли в нем Лунин. Лунин подтвердил, что участвовал.

- Ну, вот видите, я же сказал, что это вы! - воскликнул Серов обрадованно. - Никакого другого Лунина нет. Я многих ваших учеников встречал. Вы тот самый известный Лунин.

Возле столовой их обогнал Рассохин. Он очень спешил. Но, поровнявшись с Луниным, спросил:

- Вы вологодский, майор?

- Вологодский.

- Я сразу узнал. С первого слова. И я вологодский. Земляки.

- Я тоже сразу узнал, - сказал Лунин.

Рассохин опять улыбнулся, прибавил шагу и убежал от них. Он, видимо, хотел смягчить резкость, с которой встретил Лунина. Но глаза его попрежнему были насмешливы.

Столовую они называли по-морскому - камбуз. Этот камбуз находился в маленькой дачке с кривыми березками перед верандой, белевшими во тьме. Внутри окна были затемнены синей бумагой, сияла керосиновая лампа, освещая два небольших стола, стоявших в виде буквы Т. Накрыто было на шесть человек. Байсеитов, Чепелкин и Серов уверенно сели на свои места - в самом конце.

- Хильда! - крикнул Чепелкин. - Поскорей!

Лунин колебался, не зная, какое из свободных мест нужно занять. Серов указал ему стул между собой и Байсеитовым. Хильда, девушка-эстонка, маленькая, с беленьким милым личиком, как у куклы, внесла поднос с

тарелками. Полк первые месяцы войны провел в Эстонии и вывез ее оттуда.

Она остановилась в дверях, смотря на Лунина, сидевшего между Байсеитовым и Серовым. В глазах ее был ужас.

- Лейтенанта Никритина не будет? - спросила она.

Серов отвернулся.

- Не будет, - ответил Чепелкин угрюмо.

Слезы побежали у нее по лицу, и она не могла их вытереть, потому что руки ее были заняты. Она поставила поднос на край стола, закрыла лицо фартуком и убежала на кухню. Но через минуту она вернулась, умытая, спокойная, и поставила перед каждым тарелку мяса с рисом.

Ели молча все, кроме Байсеитова, который, ни к кому в отдельности не обращаясь, всё пытался завести разговор.

- Ничего нет лучше вольной охоты! - говорил он, блестя глазами. - На охоте сам себе господин. Почему нас теперь не пускают на охоту? Эх, поохотился я на немцев в Эстонии! Немецкие мотоциклисты едут цепочкой по дороге из Пярну в Таллин. Я выскакиваю из-за леса, пикирую, бью по передним. Передние валятся, загораживают дорогу, задние налетают на передних, валятся тоже. Каша! Я бью прямо в кашу!..

Он захохотал, потом обернулся и посмотрел, нет ли кого-нибудь у него за спиной. Все молчали, и он продолжал:

- Легковые машины! Люблю гоняться за легковыми машинами. В легковой машине едет какой-нибудь начальник. Гоняешься за ней, бьешь в нее - она вся как решето. Переворачивается вверх колесами. Хорошая охота!

Он опять захохотал, опять посмотрел через плечо. Никто не сказал ни слова. Он встал, оставив почти всё в тарелке, надел шлем и вышел. В дверях он столкнулся с Кабанковым. Они молча пропустили друг друга. Кабанков сел на свое место - рядом с пустым стулом Рассохина. Он был так мал ростом, что ноги его не доставали до пола.

- Хильда! - крикнул он. - Давай, пожалуйста!

Он подогнул под себя правую ногу и сел на нее. Сидя на ноге, он казался выше. Хильда принесла ему тарелку с мясом и взяла тарелку Байсеитова.

- Байсеитов ничего не ел? - спросил Кабанков, торопливо глотая.

- Ничего, - ответил Чепелкин. - Он нам рассказывал, как он любит вольную охоту.

- Вольную охоту всякий любит, - сказал Кабанков.

- Он сбил "Юнкерс", - мягко сказал Серов. - Я сам видел, и посты подтвердили. Он погнался за ним, догнал и сбил возле

Ораниенбаума. "Юнкерс" шлепнулся в воду как раз против пирса.

- Я не сомневаюсь, что он сбил "Юнкерс"! - сказал Кабанков сердито. Да разве так надо сбивать? Нет, не так. Надо так сбивать, чтобы при этом не погиб твой товарищ, который, к тому же, лучше тебя...

- Это верно, - подтвердил Чепелкин.

- Нет, ты подумай! - продолжал Кабанков, обращаясь к Чепелкину. - Мы с июня сбиваем "Юнкерсы". Вся Прибалтика, от Восточной Пруссии до самого Ленинграда, усыпана обломками "Юнкерсов". Если бы мы за каждый сбитый "Юнкерс" платили жизнью товарища, так нас всех давным-давно и в помине не было бы.

Они замолчали, и слышно было только, как вилки стучат по тарелкам. Лунин понимал, что все они думают о Байсеитове.

- А ты заметил, как он оглядывался? - спросил Кабанков, взглянув на Серова.

Серов кивнул.

- Он даже за едой оглядывается, - сказал Чепелкин.

- Мы-то с тобой знаем, что это значит, - продолжал Кабанков, обращаясь к Серову. - Помнишь Кулешова?

Серов опять кивнул.

- А что это значит? - спросил Лунин.

- Это значит, что он смотрит, не заходит ли ему в хвост "Мессершмитт", - сказал Кабанков. И, видя, что Лунин не понимает, пояснил:

- Нервный тик.

- Он оглядывается через каждые сорок секунд, как в воздухе, - сказал Серов. - В воздухе нужно оглядываться не реже чем через сорок секунд, чтобы "Мессершмитт" не зашел тебе в хвост.

- Кулешов стал оглядываться в камбузе, и на другой день его сбили, сказал Чепелкин.

Этого не следовало говорить. Кабанков хмуро посмотрел на него. Девичьи щёки Чепелкина порозовели. До конца ужина никто больше не произнес ни слова.

Когда они вышли из столовой, было уже совсем темно. Лунин, не спавший прошлую ночь, чувствовал себя усталым. Он засыпал на ходу. Летчики ночевали в соседней дачке. Эту дачку они называли тоже по-морскому - кубрик. Тут тоже горела керосиновая лампа, стояло шесть коек - три у одной стены, три у другой. Байсеитов лежал уже на своей койке и спал. Смуглое лицо его темнело на подушке.

Войдя, они сразу расселись по своим койкам и стали раздеваться, с наслаждением освобождаясь от унтов и комбинезонов. У них были крепкие, мускулистые молодые тела,

широкие грудные клетки. Особенно крепок был маленький Кабанков - мышцы ходили у него под кожей, как канаты. Но лица у всех были серые от усталости. У них не было сил даже разговаривать. Раздеваясь, они уже засыпали.

Лунин поставил чемодан на пол и стоял в нерешительности. Две койки были свободны. Он не знал, какую из них можно занять.

- Та койка - капитана, - сказал Серов, заметив, что Лунин не ложится. - Хотя он ночует больше на командном пункте, но и здесь у него есть койка. А вы ложитесь на эту, товарищ майор.

Лунин сел на койку и расстегнул китель. Возле койки у изголовья стояла тумбочка, покрытая салфеткой. На тумбочке, на салфетке, блестело круглое зеркальце, лежали сложенные в треугольники письма, стояла фотография, потускневшая, смятая и потом разглаженная, на которой изображена была пожилая женщина в шерстяном платке. Лунин вдруг понял, чьи это вещи, чья это койка. Он встал и оглянулся, не зная, как поступить.

Под этой простыней прошлую ночь лежал летчик Никритин. В это зеркальце он смотрелся, это фотография его матери. Все уже спали, кроме Серова, который лежал на соседней койке за тумбочкой. Но Серов молчал. Лунин разделся, лег и укрылся простыней.

- Вот мы уже у самого Ленинграда, - сказал вдруг Серов. - Больше нельзя отойти ни на шаг,

- У вас есть в Ленинграде кто-нибудь из близких? - спросил Лунин.

- Нет, сейчас никого, - сказал Серов. - Уехала, - прибавил он, и голос его дрогнул от тревоги. - Я пришел на квартиру, а она уехала с детьми...

- Ваши дети? - спросил Лунин.

- Считайте, что мои...

- А сколько вам лет?

- Уже двадцать семь.

Лунин значительно старше, а детей у него нет.

4.

- С "Мессершмиттами" не связывайтесь! За отдельными "Юнкерсами" не гоняйтесь! Главное - не дать им бомбить прицельно!

Рассохин повторил это раз десять. Кончив говорить, он спросил:

- Всё поняли?

- Всё, - ответил Чепелкин.

Лунин не совсем понял, но промолчал. Как это - не связываться с "Мессершмиттами"? Почему не гоняться за

отдельными "Юнкерсами"?

Когда они вышли из землянки командного пункта, уже светало. Последние звёзды гасли.

- Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса! - пропел Байсеитов.

- Замолчи! - сказал Рассохин.

Все шесть самолетов стояли уже на старте, против ветра. В редеющих сумерках Лунин ясно различал возившихся возле них техников. Впереди шел Рассохин, шагая косолапо, вразвалку. Он был плохо приспособлен к ходьбе по земле. За ним, не отступая ни на шаг, шел Байсеитов, оглядываясь через равные промежутки времени. Маленький Кабанков двигался быстрее всех, подпрыгивая в траве аэродрома, как стальной шарик. Его ведомый, Чепелкин, крупный и грузный, едва поспевал за ним. Они обогнали Рассохина и первые подошли к самолетам. Лунин и Серов шагали рядом.

- Вот ваш самолет, - сказал Серов.

Техник самолета вытянулся перед Луниным и козырнул.

- Всё в порядке, товарищ майор, - сказал он. - Костыль исправлен, шесть пробоин ликвидированы.

На фюзеляже и на плоскостях тщательно наложенными заплатками были запечатлены все бои Никритина и его последний бой, когда он, умирая, привел самолет на аэродром. Много раз раненная машина оказалась долговечней своего хозяина.

Лунин надел шлем, сел в кабину, застегнул ремни, запустил мотор. Теперь он чувствовал себя совсем спокойным. Он волновался пять минут назад, когда все они, невыспавшиеся, ежась от предутреннего холодка, стояли в землянке командного пункта и Рассохин, озаренный тусклым, желтым светом керосиновой лампы, говорил им, что немцы сегодня ударят по кораблям и что удар они нанесут с юго-запада. Тогда даже в их собственных тенях, падавших на стены, странных и огромных, было что-то тревожное. Но шум мотора сразу успокоил Лунина. Лунин привык к этому шуму за много лет, этот шум издавна приводил его нервы в порядок.

Быстро светлело, и было уже видно, как дрожала трава от ветра, поднятого пропеллером Рассохина. Самолет Рассохина разбежался и взлетел, и вслед за ним ушел в воздух Байсеитов. Они пошли на круг над аэродромом, когда взлетели Кабанков и Чепелкин. Пора! Лунин взлетел, и сразу за елками блеснуло море.

Обернувшись, Лунин увидел прямо за собой самолет Серова, уже в воздухе. Рассохин, набирая высоту, шел к морю. Они летели

широким треугольником: впереди Рассохин с Байсеитовым, справа от них - Кабанков с Чепелкиным, слева - Лунин с Серовым. Пересекли береговую черту. Вода светлела под ними, отражая светлеющее небо.

Ленинград был слева, на востоке, огромный, пересеченный Невой, сейчас почти неразличимый, потому что там поднималось солнце и смотреть туда было невозможно. Справа, на длинном, узком, плоском острове, лежал Кронштадт, весь в заводских трубах и подъемных кранах, между которыми возвышался собор, похожий на пасхальный кулич. Впереди, на южном лесистом берегу, белели низенькие здания Петергофа и Ораниенбаума. Этот клочок Финского залива в двадцать пять километров шириной, расположенный между Ленинградом и Кронштадтом, самый восточный выступ Балтики, называется Маркизовой лужей. Всё Балтийское море, кроме этой Маркизовой лужи, было уже захвачено немцами и финнами. Здесь, в Маркизовой луже, в южной ее части, между Кронштадтом и Петергофом, стоял теперь весь наш Балтийский флот.

Лунин хорошо видел корабли. Они были неподвижны, но башни их двигались, поворачивая стволы орудий. Корабли вели огонь. Все их орудия были повернуты на юг и юго-запад.

Но как раз то, что происходило там, на юго-западе, рассмотреть было невозможно. Огромная туча, серо-лиловая, неподвижно висела над всем южным берегом. Она доползла до береговой черты и застыла, словно какая-то невидимая стена преградила ей путь. Что скрыто под ней, отгадать было трудно. Лунин видел только самый берег, но на берегу не было ничего любопытного, и снаряды корабельной артиллерии разрывались где-то далеко за берегом.

Рассохин довел эскадрилью до тучи и пошел вдоль нее влево, на восток. Справа от Лунина, как горный хребет, вздымались исполинские клубы пара, медленно движущиеся, с глубокими пещерами, полными то лиловым, то перламутровым светом. Дойдя вдоль тучи почти до Ленинградского порта, Рассохин снова повернул на север. Они опять пересекли Маркизову лужу против устья Невы - и пошли вдоль северного берега на запад. Возле Лисьего Носа - длинного лесистого мыса, вдавшегося в море по направлению к Кронштадту, - снова повернули на юг и опять пошли прямо к туче.

Она росла перед ними, по мере того как они к ней приближались, словно горная гряда, непроницаемая, но колышущаяся и живая, как первобытная магма. И вдруг Лунин увидел, как из нее стали вываливаться немецкие самолеты.

Они высыпались из клубов пара пачками по восемь,

двенадцать, пятнадцать штук в разных концах и на разных высотах.

Сначала их было всего два-три десятка, черных, длинных, довольно медлительных, но они продолжали вываливаться из тучи, как осы из гнезда, пачка за пачкой, и скоро весь край неба от юго-востока до юго-запада был полон ими. Стягиваясь в группы, строясь и перестраиваясь, они двигались к флоту.

Лунин повернул голову и увидел всю эскадрилью Рассохина. Шесть маленьких самолетиков.

Стиснув ручку, Лунин глядел на самолет Рассохина. Что сделает Рассохин? Он вспомнил голос Рассохина, который говорил: "Не связывайтесь с отдельными "Юнкерсами!". А с таким множеством он не станет связываться и подавно. Да, действительно, где уж тут связываться! Вот Рассохин стал слегка заворачивать, менять курс. Сейчас он круто завернет и поведет их на аэродром.

Но Рассохин не повернул. Нацелившись в самую середину вывалившейся из тучи армады, он понесся вперед.

И Лунина, потрясенного, похолодевшего, вдруг охватил необъяснимый восторг. Он видел, как Байсеитов, Кабанков и Чепелкин, увеличивая скорость, понеслись за Рассохиным. Он тоже довел скорость до предела. И обернулся. Серов шел за ним, не меняя дистанции. Вшестером шли они навстречу бомбардировщикам, захватившим уже полнеба от горизонта до горизонта.

Лунин перестал дышать. "Юнкерсы" приближались и росли на глазах, крылья их словно раздвигались. Эскадрилья промчалась над восточной окраиной Кронштадта, и Лунин внизу увидел корабли. Весь воздух - и выше и ниже, и кругом - был полон внезапно возникающими и потом растекающимися пушинками дыма: это зенитная артиллерия Кронштадта вела заградительный огонь. Лунин вдруг понял, что "Юнкерсы" идут к кораблям; они стекались к ним с разных сторон, сгущаясь. Нужно опередить их. Он летел на предельной скорости, искоса поглядывая вправо на самолет Рассохина, который несся впереди.

Встретились они как раз над кораблями.

То один "Юнкерс", то другой, распластав огромные крылья, появлялся в стеклышке прицела, но сейчас же выползал из него, потому что всё двигалось. Лунин, полный нетерпения, сразу же начал стрелять, хотя до ближайшего "Юнкерса" оставалось метров четыреста. Длинные огненные жгуты, тусклые при солнечном свете, мотались перед "Юнкерсом", как усы. Это были очереди трассирующих пуль. "Юнкерс" вел огонь.

Через мгновение оказалось, что "Юнкерсы" повсюду - и

впереди, и сзади, и вверху, и внизу. Куда Лунин ни глядел, он ничего не видел, кроме черных вытянутых тел. Он ворвался в самую гущу их, в кашу. Огненные жгуты скрещивались и сплетались повсюду, окружая его, как сеть. Ему ежесекундно приходилось менять курс, чтобы не врезаться в "Юнкерс". Всякий раз, когда один из них попадал в стеклышко прицела - а это случалось почти беспрерывно, - он стрелял. Но они так быстро выплывали из прицела и заменялись другими, что о результатах своей стрельбы он не успевал узнать ничего. Он только видел, что они боятся его и шарахаются от него в стороны, как коровы от собаки, ворвавшейся в стадо. Это открытие доставило ему наслаждение, и он метался между ними, сбивая их в кучи и разгоняя.

В этой сумятице он давно забыл о том, что надо следить за Рассохиным, и давно потерял из виду и его и остальных товарищей. Но он чувствовал, что они здесь, неподалеку, когда "Юнкерсы" без видимой причины начинали метаться, почти наскакивая друг на друга. Обернувшись, он прямо у себя в хвосте заметил самолет Серова и удивился, как это Серов не потерял его в такой толчее.

Далеко под собой он видел узенькие щепочки кораблей, видел медленно и косо падающие бомбы, видел появлявшиеся рядами на гладкой поверхности моря белые пятнышки взрывов. "Юнкерсы" бомбят, но не попадают. Сбрасывают бомбы, не долетев! Так вот что значит - не давать бомбить прицельно! Их всего шесть человек, но всё-таки они добились своего, и бомбы упали в воду! И возбужденный, обрадованный, Лунин метался среди шарахающихся "Юнкерсов", стреляя почти без перерыва.

Каждый "Юнкерс", сбросив бомбы, сейчас же поворачивался и уходил назад, к туче. Уходя, они уже не держались вместе, пачками, а, напротив, разбредались в разные стороны, как бы избегая друг друга. Все они тянулись к туче, но до тучи было теперь не так близко, как раньше. Во время боя она отошла, отодвинулась к югу, со всеми своими зубцами, вершинами, башнями, и весь южный берег был теперь залит солнцем, озарявшим стелющиеся и мечущиеся дымы пожаров.

Вокруг Лунина вдруг стало пустынно. Он глянул туда, сюда, - ни одного "Юнкерса" вблизи. Его поразила такая перемена, и он не сразу понял, что она означает. Он был возбужден боем, ему хотелось догонять, стрелять. Те "Юнкерсы", которые он видел, были далеко от него и друг от друга, и он ежесекундно менял курс, не зная, какого из них выбрать для нападения. Они все двигались к югу на разных высотах, и он тоже уже перемахнул через береговую черту. Оглядываясь, он всякий раз видел за собой

самолет Серова, повторявший все его повороты.

И вдруг, повернув, Лунин неожиданно заметил два "Юнкерса", которые двигались вместе, крыло к крылу, метрах в четырехстах от него. Он устремился прямо к ним, с наслаждением видя, как они растут в стекле прицела. С обоих "Юнкерсов" вели по нему огонь, но он не обратил на это внимания. Он подошел к левому "Юнкерсу" слева и дал очередь по его левому крылу. Он чуть не налетел на "Юнкерс", но в последнее мгновение взял ручку на себя и пролетел над ним. Стараясь завернуть покруче, он на повороте видел, как Серов выстрелил в тот же "Юнкерс" и тоже пролетел над ним.

Густой черный дым валил из левого "Юнкерса" и заволакивал его всего. Горя, "Юнкерс" медленно двигался на одном моторе. Правый "Юнкерс" опережал его с каждым мгновением, и оба они приближались к туче, которая уже совсем недалеко, загородив половину неба, вздымала свои зубчатые башни.

"Не дать ему уйти, - думал Лунин, глядя на горящий "Юнкерс". - Ударить один раз, и ему конец!"

Обернувшись, чтобы посмотреть, идет ли за ним Серов, он далеко за Серовым, над морем, увидел самолет Рассохина. Рассохин раскачивал свой самолет с крыла на крыло. Лунин хорошо знал, что это значит: Рассохин зовет всех своих летчиков к себе. "Сейчас! - подумал Лунин, охваченный охотничьим азартом. - Подожди немного! Я только ударю разок по "Юнкерсу" и догоню тебя!"

Он очень торопился, потому что туча была уже совсем рядом. Но горящий "Юнкерс" оказался неповоротлив и сразу попал в прицел. Лунин решил бить наверняка и нажал гашетку пулемета, когда до "Юнкерса" оставалось не больше ста метров. Но выстрела не получилось: пулемет отказал.

Это было как колдовство, как в дурном сне. До сих пор пулемет работал превосходно. Что с ним случилось? Лунин проскочил над горящим "Юнкерсом" и стал сразу заворачивать, чтобы как можно скорее снова поймать его в прицел.

Белесые космы тучи уже почти касались "Юикерса", когда Лунин опять нажал гашетку. Никакого результата! Пулемет отказал снова. На предельной скорости Лунин ворвался в густой туман, и сразу всё исчезло - и "Юнкерсы", и земля, и небо, и море.

Вот досада! Несколько мгновений он из упрямства еще мчался вперед в непроглядном тумане. Он не видел даже плоскостей своего самолета. Было ясно, что найти "Юнкерс" в этом гигантском клубе пара немыслимо. Теперь всё внимание его было направлено на пулемет. Если бы пулемет не отказал в самую последнюю минуту, "Юнкерс" был бы сбит. Он еще раз

нажал гашетку. Пулемет молчал. И вдруг он всё понял. Пулемет в порядке, просто вышли все патроны. Он слишком много и нерасчетливо стрелял во время боя.

Тут только он вспомнил о Рассохине. Они, наверно, уже подходят к аэродрому. Продолжать погоню бессмысленно, надо немедленно возвращаться. Ориентируясь по приборам, он повернул и сквозь туман помчался назад, на север.

Вдруг наступила тишина.

Сумрачно и безмолвно, словно он попал на дно моря.

Почему здесь так тихо?

Да ведь это замолк мотор!

Он чувствовал, что теряет высоту. Он шел всё вниз и вниз сквозь тишину, сквозь клубящуюся толщу пара.

Что случилось с мотором?

Пуля попала в мотор, когда он гонялся за "Юнкерсами"!

Мотор, видимо, поврежден был не очень сильно, потому что вдруг он снова заработал. Лунин полетел к северу, набирая высоту. Но это продолжалось несколько мгновений. Мотор опять затих, и Лунин вновь стал опускаться планируя.

Так повторилось несколько раз: мотор то оживал, то замолкал. Наконец он замолк окончательно. Лунин изо всех сил тянул к северу, к морю. Побережье еще не захвачено немцами. Но, по правде сказать, он смутно представлял себе, где он находится, и мало надеялся дотянуть, потому что самолет с каждой секундой терял высоту.

Когда Лунин вышел наконец из тучи, он увидел море впереди, километрах в десяти - двенадцати. Но высоты оставалось метров восемьсот, дул слабый встречный ветер, и дотянуть до берега не было никакой надежды. Внизу под собой он видел лес и ползущий по нему дым, словно запутавшийся в щетине елок. Кто в этом лесу и что в нем происходит, определить он не мог.

Он внимательно вглядывался, стараясь найти какую-нибудь полянку для посадки, но полянок вблизи не было, - всё лес да лес. Он видел дорогу, вьющуюся по лесу, и деревушку, стоявшую вдоль этой дороги. Он потянул бы к деревушке, где можно сесть на выгон или на огород, если бы знал, что там нет немцев. Если там немцы, лучше садиться прямо на елки.

И вдруг он увидел ползущую по дороге машину, полную солдат. Красноармейцы! У него отлегло от души. Опускаясь, он уверенно тянул к деревушке.

Посадка оказалась исключительно трудной. То, что он принял вначале за выгон, было в действительности вырубкой со множеством пней. Проплывая над пнями, он чуть было не сел на капустное поле. Но поле было слишком узко, и, перемахнув через

плетень, он выскочил на дорогу, сел в дорожную пыль и остановился в пяти метрах от ближайшей избы.

Запахи и звуки земли сразу охватили его. Приторно пахло гарью: лес, начинавшийся тут же, у дороги, был полон дыма, клубившегося в ветвях. Снаряды, незримые, с пронзительным воем неслись над деревней. Этот вой всякий раз возникал где-то на севере, у моря, потом стремительно приближался, взвизгнув над самой головой, и уходил на юг, чтобы потонуть в гулком взрыве, от которого вздрагивал воздух. Это дальнобойная артиллерия наших кораблей вела огонь по наступающим немцам.

Лунин выскочил из кабины и кинулся осматривать мотор. Он сразу нашел повреждение, - он еще в воздухе понял, что произошло. На аэродроме Лунин исправил бы такое повреждение в две минуты, но здесь у него ничего не было под руками.

Обернувшись, он увидел двух мальчиков, босых и белоголовых, которые стояли на краю канавы и жадно разглядывали самолет. Одному было лет одиннадцать, другому - лет пять.

- Есть у тебя копейка? - спросил Лунин мальчика постарше.

- У меня рубль есть, - ответил тот и, пошарив в кармане, протянул Лунину рублевую бумажку.

- Нет, мне нужна копейка, - сказал Лунин. Маленький на крошечной ладошке протянул Лунину несколько монет. Лунин взял копейку и опять стал копаться в моторе. Мальчики подошли совсем близко и стояли у него за спиной. Лунин слышал их напряженное дыхание.

- Нет ли у тебя шила? - спросил Лунин мальчика постарше.

- Нету.

- Может быть, у кого-нибудь здесь есть. Попроси в деревне.

- В деревне никого нет. Все уехали.

- Что же, вы одни остались?. - удивился Лунин.

- С бабушкой.

- Отчего же не уехали?

- Мы дошли до Стрельны, а там снаряды на дороге рвутся. Бабушка забоялась, и мы вернулись.

"Стрельна! Это на берегу моря, у самого Ленинграда, - подумал Лунин. Если они прорвутся в Стрельну, весь этот южный берег будет от Ленинграда отрезан!"

- Мне нужен гвоздь, - сказал он. - Длинный, тонкий. Поищите мне длинный гвоздь.

Они убежали в деревню искать гвоздь и долго не появлялись. Снаряды проносились воя. Кузнечики трещали в траве. Высоко над собой Лунин услышал жужжанье мотора. Он поднял голову и увидел в небе, уже совсем ясном, "Мессершмитт", который кружил

и кружил на одном месте. Разведчик..

Мальчики вернулись. Старший принес десяток гвоздей разной длины, кривых и ржавых. Лунин выбрал самый длинный.

- Как тебя зовут? - спросил он маленького.

- Зёзя, - ответил тот.

- Зёзя? - удивился Лунин.

- Сергей его звать, - сказал старший.

Лунин продолжал работать. Шло время. Солнце поднималось всё выше. Мальчики не отходили от самолета ни на шаг. И вот - мотор в порядке. Теперь нужно взлететь. Но откуда взлететь?

Огород слишком мал, на вырубке пни. Только с дороги. Но дорога позади тянется лесом меж высоких елей, а впереди превращается в улицу, сжатую между двумя порядками изб. Лунин измерил шагами ширину улицы. Если рулить точно посередине, можно не задеть за дома. Однако беда заключалась в том, что улица скоро заворачивала, и как раз там, где ему нужно было оторваться от земли, стояла наискось изба.

Он пошел к этой избе, считая шаги и надеясь, что ошибся. Мальчики шли за ним, поглощенные всем, что он делал. Нет, он не ошибся. Оторваться от земли до поворота улицы нельзя. Он вернулся к самолету, не зная, как поступить. Мальчики шли за ним.

Они втроем стояли возле самолета, когда вдруг услышали громкий приближающийся гул. Подняв голову, Лунин увидел "Юнкерс", внезапно вынырнувший из-за леса совсем низко, и отрывающиеся от него бомбы.

- Ложись! - крикнул он мальчикам и скатился в канаву.

"Юнкерс" бомбил его самолет, который стоял на виду, ничем не прикрытый. Бомбы взрывались одна за другой. Серия. Мелкие, двадцатипятикилограммовые. Первая довольно далеко, вторая ближе. Третья совсем рядом. Лунина, лежавшего ничком в канаве, обсыпало землей. Четвертая - дальше, по ту сторону дороги. Пятая - еще дальше.

Лунин медленно поднялся, оглушенный, обтирая лицо руками. Самолет стоял на прежнем месте невредимый. Сухая земля, поднятая взрывом, сыпалась, шелестя, с веток деревьев.

И вдруг старший мальчик побежал прочь от него по деревенской улице, крича;

- Бабушка, Зёзю убило!

Лежавшего ничком Зёзю Лунин в первое мгновение принял за маленький тряпочный мешочек. Лунин склонился над ним и поднял его, сам не зная зачем. Он оказался удивительно легким - легкие, маленькие косточки. Не решаясь коснуться его белой головенки, Лунин изогнулся, чтобы сбоку увидеть его лицо. Лица

не было.

Прижимая к груди мертвого ребенка, Лунин долго стоял возле самолета и смотрел вслед старшему мальчику, который бежал по пустынной улице, крича и как-то странно подпрыгивая, пока не скрылся за поворотом.

Тогда Лунин перепрыгнул через канаву и положил Зёзю на мох под елку. Потом вернулся к самолету, влез в кабину и запустил мотор. Он решился. В эту минуту ему казалось совсем не страшным разбиться о стену избы.

Лоб самолета заслонял от него всё, что было впереди. Лунин с места дал полный газ и понесся. Хвост поднялся, и он увидел улицу и стоящую наискось избу, стремительно приближающуюся. Концы плоскостей почти задевали за деревянные крылечки справа и слева. Лунин мчался по самой середке, по тележным колеям. На выбоине самолет подпрыгнул, пролетел немного и ударился о землю. Эта выбоина сыграла роль трамплина и спасла его. Ударившись о землю, самолет подпрыгнул снова, гораздо выше, и перемахнул через избу.

За избой он опять пошел вниз, на какой-то плетень, на кучу старых ящиков, почти коснулся их, но выпрямился и взмыл. Лунин убрал шасси, набрал высоту и сделал круг над деревней.

На севере блестело море, стояли корабли. День был уже в разгаре, солнце сияло на юге. Повернувшись к солнцу спиной, он помчался к кораблям, к морю.

Он летел над водой, глядя, как перед ним скользит по волнам тень его самолета. Вдруг невдалеке он заметил еще какие-то тени, еле приметные. Он огляделся. И прямо над собой, в сияющем небе, увидел два самолета. Он сразу узнал их: это были немецкие истребители "Мессершмитты-109".

Они шли тем же курсом, что и он, держась метров на семьсот выше. И, несомненно, готовились напасть на него.

"Ну вот, хорош я! - подумал Лунин. - У меня ни одного патрона. И горючего почти не осталось!"

Он так досадовал на себя, что даже нисколько не испугался. "Вот уж отличился! Вот уж себя показал! Чего ж они медлят?"

Тут он заметил над морем еще один самолет. Свой! Советский истребитель "И-16", такой же самый, как тот, на котором летел Лунин. У Лунина сердце застучало от радости. Через несколько секунд они шли уже рядом, и Лунин узнал летчика. Это был Серов, улыбавшийся из-под шлема.

Где "Мессершмитты?" Что они сделают теперь? Но "Мессершмиттов" не было. Они сразу исчезли, словно растворились в лучах солнца.

Когда Лунин на последнем горючем, а потом и совсем без

горючего довел всё-таки свой самолет и посадил его на самый край аэродрома, у него от усталости кружилась голова. Он вышел из кабины. Всё плыло и качалось вокруг. Сияло солнце, жужжал шмель, травинки ласково цеплялись за унты, вдали, у дачки, где помещалась столовая, пылали георгины. К Лунину уже бежал техник его самолета и рядом с ним долговязый, сутуловатый Серов, севший возле посадочного "Т". Они оба улыбались на бегу.

- Спасибо вам, - сказал Лунин Серову. - Если бы не вы...

- Заметили, как они осторожны? - сказал Серов о немецких летчиках. Нападают только, когда их больше. Чуть нас стало двое - сразу ушли... Я потерял вас в туче. Уж я искал, искал! На аэродром вернулся и опять вылетел!..

Он был откровенно счастлив, что видит Лунина. Лунин чувствовал к нему нежность и легонько коснулся его плеча.

- А что капитан Рассохин? - спросил Лунин.

- Тревожился.

- Сердит?

- Рассердился на меня...

- За что?

- За то, что я вас оставил.

- Вы меня не оставляли! Это я, я во всем виноват! - воскликнул Лунин с жаром. - Идем к нему!

Он направился было к командному пункту, чтобы немедленно предстать перед Рассохиным. Он помнил, как Рассохин подзывал его к себе в воздухе, а он, увлеченный, бессмысленно погнался за двумя "Юнкерсами". Сейчас он будет стоять перед Рассохиным, как стоял вчера Байсеитов, и Рассохин будет кричать на него, как кричал на Байсеитова. Но Серов сказал ему, что идти на командный пункт не стоит. Сейчас обед, и все в столовой. Рассохин тоже. И Лунин заторопился в столовую.

- Вы ранены! - воскликнул Серов, шагавший с ним рядом.

- Нет, - сказал Лунин.

- У вас комбинезон в крови!

У себя на груди возле застежки "молния" Лунин увидел бурое пятнышко.

- Я цел, - сказал он Серову.

Это была кровь мальчика Зёзи, которого он прижал к груди. Но о мальчике Зёзе ему никому не хотелось рассказывать.

Рассохин, Кабанков и Чепелкин поджидали Лунина на крыльце. Они еще издали улыбались ему. Хильда, увидев его через дверь, всплеснула руками и тоже выскочила на крыльцо улыбаясь. Лунин остановился, смущенный этими улыбками.

- Заходите, заходите, майор, - сказал Рассохин. - Пообедаем.

Он улыбался каждой морщинкой своего веснушчатого лица.

Но Лунин медлил.

- Я, кажется, не всё правильно делал, товарищ капитан, - сказал он.

- Всё, - сказал Рассохин.

- Что всё?

- Всё неправильно, - сказал Рассохин. - Заходите.

Неожиданно оказалось, что в столовой за столом сидит комиссар дивизии Уваров. Узнав его, Лунин смутился еще больше. Но Уваров тоже улыбался.

- С боевым крещением, майор, - сказал он. - Вы заставили нас сегодня поволноваться.

- Я, товарищ комиссар... - начал было Лунин.

- А по правде говоря, я не сомневался, что вы выберетесь, - сказал Уваров. - Проголодались? Хильда, борщ товарищу майору!

Летчики были еще возбуждены боем, глаза их блестели. Они обсуждали события, рассказывали подробности, обращаясь к Уварову. Уваров молчал и внимательно слушал.

- Сколько их было сегодня? - спросил Чепелкин.

- Не так много - семьдесят три, - сказал Кабанков. - Вчера было больше - сто девятнадцать.

- А всё-таки мы три сбили, - сказал Чепелкин.

Это было новостью для Лунина: в суматохе боя он не заметил ни одного сбитого самолета. Оказалось, что два "Юнкерса" сбили Рассохин с Байсеитовым, а один - Кабанков с Чепелкиным. Они обсуждали весь ход битвы, и Лунин с удивлением убедился, что эта битва, в которой он сам участвовали которая представлялась ему сплошной сумятицей, им казалась чем-то стройным, подчиненным единому плану, расчлененным на отдельные звенья, имевшим начало и конец, и что они могли обстоятельно рассказать всё, что происходило.

Мало того, каждый из них ясно представлял себе, что делалось в это время на других аэродромах, лежащих вокруг Ленинграда. Они поминутно называли фамилии командиров полков и эскадрилий, они ощущали всю авиацию, оборонявшую Ленинград и флот, как нечто единое и отчетливо понимали те различные задачи, которые стояли перед каждой отдельной группой летчиков. Хотя во время боя они видели лишь самолеты друг друга, но ни одно мгновение не чувствовали себя одинокими, оторванными. Их очень волновало, как только что проведенный ими бой оценили в других эскадрильях, и в пехоте, и на кораблях.

- Я разговаривал со штабом флота, - проговорил вдруг Уваров. - Ни одна бомба не упала сегодня на корабли.

Все умолкли и повернулись к нему.

- Это - самое важное!-сказал Чепелкин с торжеством.

- Самое важное - что немцы окапываются, - продолжал Уваров.

- Окапываются? - удивился Чепелкин. - А что это значит?

- Это значит, что мы их остановили.- сказал Уваров. - Они рассчитывали захватить Ленинград и флот с хода, целенькими.

- И не вышло! - воскликнул Кабанков, подняв свой маленький крепкий кулак.

- Не вышло, - подтвердил Уваров.

- Что же они теперь будут делать? - спросил Чепелкин.

- Теперь они постараются взять город штурмом. Больше он не сказал ничего, потому что ушел вместе с Рассохиным в соседнюю комнату, где зазвонил телефон. Через минуту Рассохин вернулся.

- К самолетам! - сказал он.

Опять!

Гремя стульями, они хлынули из столовой, сталкиваясь в узких сенях. Мчась вслед за Серовым к своему самолету, который уже стоял на старте, Лунин на бегу видел за елками, на юго-востоке, над Ленинградом, разрывы зенитных снарядов.

Глава третья.

Дом на Васильевском

1.

Когда незнакомая женщина, с пятнами глины на юбке, сказала Соне, что мама убита, Соня сразу решила: дедушка этого знать не должен. А раз не должен знать дедушка, не должен знать и брат Слава. Никто не должен знать. Она вошла в квартиру с окаменевшим лицом и, накрывая к обеду на стол (это была ее обязанность), даже улыбалась, когда дедушка, выходя из кухни, взглядывал на нее. Но, расставив тарелки и вилки, она убежала в мамину комнату, где столько лет спала вместе с мамой, села за свой столик, на котором стоял игрушечный театр, склеенный из раскрашенного картона, и заплакала. Плакать нужно было молча, и она старалась не дышать, потому что при каждом вздохе изо рта вырывался звук, похожий на стон.

- Соня, обедать! - крикнул дедушка из столовой своим, высоким, резким голосом. (Готовить обед было его обязанностью.)

Она смахнула слезы и вышла улыбаясь. Он уже сидел за столом, важно откинув маленькую головку, и вдруг так пронзительно посмотрел на нее сбоку, что ей на мгновенье показалось: он всё понял. Однако он не сказал ничего. Чтобы выиграть время и лучше овладеть своим лицом, она торопливо отошла к открытому окну и крикнула вниз с шестиэтажной высоты:

- Славка, обедать иди!

С тех пор как мама уехала на оборонные работы, кухня перешла в ведение дедушки. Он готовил на троих и Соню к своим кастрюлькам не подпускал, как прежде не подпускал ее к своим книгам, картам и рукописям.

- Я путешественник, а все путешественники - кулинары, - говорил он, стоя перед плитой в своей профессорской ермолке, в голубом халате, в мягких красных туфлях. - Во всех экспедициях кулинария всегда лежала на мне.

И блюда, которыми он кормил Соню и Славу, были особенные, собственного его изобретения, до такой степени научно обработанные, что картошку порой нельзя было отличить от мяса, а мясо - от макарон.

Сонин дедушка, Илья Яковлевич Медников, был профессор очень сложной науки, которая называлась гидрологией. Он всю жизнь изучал реки и озёра. Он объездил и облазил всю страну, побывал в самых глухих местах. Когда-то он каждую весну отправлялся в экспедицию и возвращался только осенью. Но с возрастом экспедиции стали ему не по силам, выезжать он стал реже и всё свое время отдавал работе за письменным столом: систематизации накопленных материалов, решению важнейших теоретических проблем. Вот уже пять лет работал он над монографией о Ладожском озере, которая должна была стать главным трудом его жизни.

Катерина Ильинична была единственная дедушкина дочь. Давным-давно овдовевший, он не любил с ней расставаться и когда-то даже в экспедиции возил ее с собой. Семнадцать лет назад Катерина Ильинична, выйдя замуж, не решилась покинуть отца и поселила мужа в отцовской квартире. Муж Катерины Ильиничны, Всеволод Андреевич Быстров, тоже занимался наукой, но специальность у него была совсем другая, не та, что у дедушки, языкознание. С первых дней войны он был на фронте, но не здесь, под Ленинградом, а где-то очень далеко, на Украине. От него приходили письма, и из этих писем Соня знала, что в армии он на какой-то особой работе, где очень важно знание языков. Соня довольно часто писала ему. Она сразу решила, что непременно напишет о том, что случилось с мамой. Не сейчас, немного погодя, но напишет. Она почему-то чувствовала, что скрыть от него не имеет права. А дедушка не должен знать ничего.

Сонину маму дедушка любил болезненно и ревниво. До войны, если он приходил из своего института, а ее не было дома, он ждал ее напряженно, с тревогой и волнением, и при малейшем шорохе на лестнице летел, шаркая туфлями, открывать дверь. Он

всегда ревновал ее к мужу, и между ним и Всеволодом Андреевичем отношения были холодноватые. Но когда в начале августа Катерина Ильинична внезапно уехала на десять дней на оборонные работы, он перенес это стойко и никак не проявлял своего беспокойства. Десять дней прошли, прошли и вторые десять дней, прошли и третьи. Илья Яковлевич молчал и ждал. За это время эвакуировался институт, в котором он работал, со всем оборудованием, со всеми сотрудниками и их семьями. Эвакуировалась школа, в которой работала Катерина Ильинична. Илья Яковлевич молчал и ждал. Только маленькая петушиная головка его всё горделивее задиралась кверху да голос становился резче. И Соня знала, что это значит.

Он и прежде вот так закидывал голову и покрикивал таким резким голосом, когда говорил о своих научных противниках. В науке у него постоянно были противники - и на родине и за рубежом. За рубежом - в Германии, в Америке - специалисты оспаривали каждую его новую работу. И, насмешливо, едко, надменно говоря за столом о своих противниках, он всегда вот так же вскидывал гордую голову с голубыми усами и блестел темными глазами, которые Соня унаследовала от него, и голос его становился таким же пронзительным, резким. Эта закинутая голова означала вызов судьбе, означала, что он никому не поклонится.

Когда Соня была маленькая и ее спрашивали: "Ты чья?" - она отвечала: "Я дедушкина". Так ее долго и называли "дедушкина девочка". К дедушке властному, суровому, важному - она была привязана больше, чем к отцу. Она долго-долго верила, что дедушка всё на свете видел, всё знает и всё может.

Теперь, когда Соне минуло шестнадцать лет, ростом она была выше дедушки. Она словно впервые увидела, какой он маленький, худенький и старый. С тех пор как Катерина Ильинична уехала на оборонные работы, он еще похудел. Лицо его заострилось, горбатый нос стал больше, глаза увеличились и запали, шея его стала тощей и жилистой. На другой день после того, как она узнала, что мама убита, она встретила его на лестнице. Он возвращался из библиотеки, куда попрежнему ходил ежедневно на несколько часов, и нес подмышкой тяжелые книги. Утомленный, утонувший в своем порыжелом от времени пальто, стучащий зонтиком по ступенькам и шаркающий разъезжающимися ногами, он казался таким маленьким, хилым и легким, что ей захотелось взять его на руки и донести. Заметив ее, он бодро вскинул голову и заторопился, стараясь ступать как можно тверже. Но обмануть ее уже было невозможно. Она знала, что теперь она старшая, что судьба дедушки и Славы зависит от

нее и что она обязана заботиться о них...

Это всё так неожиданно получилось. Только что она была маленькая, у нее были папа, и мама, и дедушка, большие, сильные, всё знающие, жившие в том настоящем мире, в котором живут все взрослые, заслонявшие ее от этого мира и предоставлявшие ей играть, мечтать, учиться. Она никогда не интересовалась войной и презирала Славу за его любовь к танкам и самолетам. Она никогда не думала, что может быть война, и не знала, что это такое.

И вдруг всё изменилось сразу. Мама, мама!.. Соня проснулась среди ночи, внезапно разбуженная каким-то звуком. Она приподняла голову над подушкой, стараясь отгадать, что ее разбудило. Бомбят? Нет. Ночь была тиха; в густой осенней темноте, окружавшей ее, она не слышала ничего.

Однако она ясно помнила, что ее разбудил какой-то звук. Что это было?

Она лежала на своем диванчике рядом с маминой кроватью. На маминой кровати мягко и смутно белели подушки. Так белели они всегда, когда Соня просыпалась по ночам. Раньше Соня могла протянуть руку и дотронуться до мамы. Но теперь мамы там нет. И никогда не будет. Соня одна в огромной ночи, полной холода и страха.

Враги, убившие маму, окружили город, они совсем близко, там, за скатами этих крыш, еле видных в ночном окне. Что делать Соне? Соне нужно пойти на фронт. Она уже много раз думала об этом. Ей шестнадцать, она большая, ростом она выше дедушки. Ей вовсе не будет страшно, не страшнее, чем здесь, - там она тоже будет с людьми. Она прочитала в "Ленинградской правде" очерк о девушке, которая стала снайпером. Пойти бы на фронт и стать снайпером! Или не снайпером, а всё равно кем, лишь бы пойти на фронт и делать то, что нужно. Вот мама рыла землю лопатой, и ее убили... Соня не могла заснуть, глаза ее были широко раскрыты в темноте. Ночь окружала ее плотной тишиной.

И внезапно в этой тишине снова услышала она тот звук, который ее разбудил. Она сразу узнала его. Он донесся из темноты комнат, из глубины квартиры, и замолк. Соня села, вслушиваясь. Она старалась отгадать, что это было. Человеческий голос? Неужели человеческий голос может быть таким? И вдруг звук повторился.

Соня босиком побежала к двери. Белая длинная рубашка ее. на мгновение отразилась в темном стекле зеркала. Она вышла в столовую и остановилась.

В столовой спал Слава. Так было заведено давно, - по вечерам для него расставляли раскладушку возле буфета. Смутный свет

ночного неба падал через окно на его лицо. Он спал на спине и тихо посапывал. Его безмятежное круглое лицо с раскрытыми пухлыми губами казалось во сне совсем младенческим. Соня подумала, что завтра уложит его у себя, в маминой комнате, пусть спит рядом. Она стояла возле стола, прислушиваясь. Она уже стала зябнуть и хотела вернуться в постель. И вдруг снова услышала тот же звук.

Это был плач, громкий, прерывистый, высокий, такой отчаянный, что от него останавливалось сердце, и доносился он из комнаты дедушки. На самой громкой ноте он вдруг захлебнулся, словно плачущий уткнул лицо в подушку. Всё стихло, но Соня уже бежала по коридору. Она никогда не слышала, как плачут взрослые мужчины. Неужели он узнал о маме? Или догадался?

- Дедушка!

Из дедушкиной комнаты ни звука. Она остановилась перед дверью. Потом раздался его голос, такой же, как всегда, только чуть-чуть хриплый:

- Это я кашляю. Иди! Иди!

- Дедушка, мама вернется! Честное слово! Я знаю...

- Иди, иди! - повторил он свирепо.

- Спи, дедушка...

Она побрела к себе. В столовой она опять остановилась возле Славы. Как ей уйти на фронт? На кого ж их оставить?

2.

К тому времени, когда немцы начали штурм Ленинграда, город, опоясанный противотанковыми рвами, был уже крепостью. И каждый дом в городе был крепостью.

Стал крепостью и тот дом, где жила Соня.

В эти дни с Соней случилось важное событие - она влюбилась. Влюбилась в женщину лет тридцати восьми, среднего роста, просто одетую, с самым обыкновенным лицом, казавшимся, однако, Соне необычайно привлекательным. Звали ее Антонина Трофимовна, и именно она больше всех способствовала тому, что дом их превратился в крепость.

Соня и раньше встречала ее во дворе, еще перед войной. Антонина Трофимовна курила тоненькие папироски, старенькая жакетка сидела на ней как-то по-особенному ловко, нарядно, походка у нее была легкая, свободная, а голос - звучный и мягкий.

Соня впервые услышала этот голос в начале августа во дворе, когда один мальчишка, приятель Славы, бросил в Антонину Трофимовну картофелиной. Картофелина слегка коснулась ее юбки и разбилась о булыжник двора. Мальчишка сразу убежал, и Антонина Трофимовна, обернувшись, увидела только Славу. Она

внимательно посмотрела на него смеющимися глазами, строго сдвинула светлые брови и спросила:

- Ты что ж это, голубчик, а?

Слава промолчал и довольно глупо ухмыльнулся. Когда Антонина Трофимовна скрылась за воротами, Соня зашипела на него:

- Хулиган!

- Не я же бросил, - сказал Слава.

Старуха, видевшая и слышавшая всё это из раскрытого окна первого этажа, спросила через окно об Антонине Трофимовне у проходившей по двору дворничихи:

- Кто такая?

- Из шестнадцатого номера.

- Замужем?

- Муж на фронте.

- А дети?

- Детей отправила: теперь одна живет.

- Работает?

- Работала. На ниточной фабрике.

- Так ниточницы все эвакуировались, - сказала старуха.

- А эта осталась.

- Чего ради?

- Кто ее знает, - ответила дворничиха пренебрежительно.

А через месяц и эта старуха, и эта дворничиха, и остальные женщины, населявшие дом, почтительно слушали голос Антонины Трофимовны. Никто ее не назначал и не выбирал, а просто она вдруг начала распоряжаться, и все стали охотно выполнять ее распоряжения, потому что всем нужно было, чтобы кто-нибудь распоряжался.

Начала она с бомбоубежища. Бомбоубежище в доме было и раньше, но маленькое, сырое, темное, в которое в первую бомбежку набилось столько народу, что можно было только стоять. Она объявила, что бомбоубежище это нужно расширить, потому что дом их был единственный большой дом в квартале и под ним можно создать укрытие на две тысячи человек. Соня участвовала в первом походе по подвалам, которым предводительствовала Антонина Трофимовна. Никогда Соня не подозревала, что под домом существует такое огромное, глубокое, темное и таинственное царство - бесконечный лабиринт сводчатых коридоров, пересеченных склизкими трубами, бесчисленные стоячие озёра вонючей воды, никогда не видавшие света и казавшиеся бездонными, Антонина Трофимовна шла своей легкой походкой над их черной глубью по скользким досточкам, со стеариновым огарком в поднятой руке, а за ней

робко двигались женщины, человек двадцать, притихшие, подавленные мрачностью и огромностью подвала. Единственный мужчина среди них, дворник Абрам, высокий старый татарин со скорбным и торжественным лицом, хорошо знал этот подвал, но Антонина Трофимовна не нуждалась в провожатых: она сама вела всех, хотя была здесь впервые. Оступившись и попав ногой в воду, она спокойно сняла туфлю, вылила из нее жижу, снова надела и пошла вперед, продолжая говорить, какое здесь будет убежище.

- Мы построим здесь нары, - говорила она, - и набьем тюфяки, чтобы люди могли выспаться и утром свежими пошли на работу, У нас тут в квартале народ всё больше рабочий, а вы не хуже меня знаете, что сейчас рабочие делают... Проведем электричество, настелем пол, воду выкачаем насосами, поставим печурки и высушим стены, поставим громкоговоритель, чтобы все слышали отбой...

Трудно было поверить, что план ее можно выполнить - слишком уж огромен, мрачен и сыр был подвал, - но никто не возражал, все молчали. И когда она говорила: "Абрам, ведь у нас есть насос? Поставьте его на дворе..." или: "Тюфяки мы соберем у себя по квартирам. Ведь у вас, милые, наверно, у каждой есть лишний тюфяк", - никто с ней не спорил и не отказывался.

И в тот же день начали работать сразу два насоса, и желающих качать воду оказалось так много, что оба они скрипели без отдыха двое суток, вычерпав океан воды. Соня тоже качала, но покачать вдоволь ей не удалось, потому что ее оттаскивали от насоса, чтобы дать поработать другим. Особенно неистовствовали мальчишки которые часами стояли на дворе, чтобы иметь право покачать пять минут. Тот мальчик, который бросил в Антонину Трофимовну картофелиной, теперь заискивающе заглядывал ей в глаза, чтобы выпросить у нее разрешение покачать, потому что очередью заведовала тоже она.

Электричество и радио провели пятнадцатилетние подростки, оказавшиеся искуснейшими монтерами. И доски были настланы, и нары построены, и печурки поставлены, - всё сделалось так, как предсказала Антонина Трофимовна.

- Партийная, - многозначительно говорила теперь дворничиха, когда Антонина Трофимовна проходила по двору.

Под руководством Антонины Трофимовны расставили столы с домино, шашками, шахматами, прибили щит, на который каждый день наклеивали "Ленинградскую правду". И в первый же вечер, в тревогу, сюда действительно собралось население всего квартала. У стен было зябко, но жестяные печурки дышали жаром. Мамаши с детьми устроились на нарах, молодежь не отходила от столов. Рев зениток слышался здесь приглушенно, и

уже в одном этом было утешение. Каждый чувствовал над собой, над низким сводчатым потолком, шестиэтажную громаду и надеялся на ее защиту. При разрывах бомб воздух в подвале даже не вздрагивал. Тревога длилась всю ночь, отбой прозвучал только в пятом часу утра, но и после отбоя многие, пригревшиеся и заснувшие, остались в бомбоубежище.

С этих пор бомбоубежище стало самым людным местом в квартале. Народ там толпился всегда, даже в спокойные часы. Особенно много народу было в том углу, где Антонина Трофимовна поставила письменный стол и устроила штаб. Там сидела она под стосвечовой электрической лампочкой перед телефоном, окруженная плакатами, распределяла дежурства, раздавала поручения. Дел и обязанностей у нее было великое множество; одни дежурства требовали бесконечных согласований, увязок и переговоров, потому что дежурили почти круглосуточно - и на крыше, и у ворот, и у парадных. Затемнение в таком большом и населенном доме требовало тоже немало забот.

- Сходи, милая, на четвертую лестницу, на третий этаж, там окно светится.

- Что ж вы, милая, выдаете наш дом немцам? У вас там, в третьем окне, всё расклеилось.

- Абрам, бегите сейчас же в одиннадцатый номер, взломайте дверь. Уж темнеет, а они все ушли, свет не выключили и окон не занавесили.

А сколько хлопот было с переселением жильцов из разбомбленных домов в пустые квартиры эвакуировавшихся летом граждан! Дело это было сложное и хлопотливое до крайности, потому что нужно было и переселенных разместить, и во что бы то ни стало сберечь площадь военнослужащих, и не подвергнуть опасности оставленное имущество эвакуированных. Об эвакуированных и об их имуществе Антонина Трофимовна очень заботилась, но, кажется, ей милее были те, кто остался.

- Мы здесь на фронте, - повторяла она значительно, и слушавшие ее женщины с гордостью думали о том, что они остались, - даже те из них, которые не уехали только потому, что не успели.

Соня, сидя в подвале, влюбленными глазами глядела на Антонину Трофимовну, мечтая о том, что следующее поручение Антонина Трофимовна даст именно ей. Застенчивость мешала Соне просить, она не решалась заговаривать, и поручения выпадали на ее долю самые мелкие: сбегать куда-нибудь, что-нибудь кому-нибудь передать. Она бросалась их исполнять с необычайным рвением, и в конце концов Антонина Трофимовна обратила на нее внимание. Получилось это случайно: Антонина

Трофимовна пошла проверять ящики с песком, расставленные на чердаке и на всех лестницах, и взяла с собой Соню.

Эти ящики с песком были расставлены для того, чтобы тушить зажигательные бомбы. Вначале все смотрели на них, как на предметы военные, немного загадочные, и относились к ним почтительно. Но мало-помалу жильцы к этим ящикам привыкли и стали швырять в них что попало: окурки, мусор. Это был непорядок, и Антонина Трофимовна решила обследовать ящики.

- Ты внучка профессора Медникова? - спросила она вдруг Соню, когда они в четвертый раз поднимались на шестой этаж.

- Да, - ответила Соня, польщенная тем, что в голосе Антонины Трофимовны было заметно несомненное уважение к тому, что дедушка ее профессор.

- А почему твой дедушка никогда не ходит в бомбоубежище? Ведь вы на шестом этаже живете?

- Он не боится. Он всегда говорит, что в следующий раз пойдет, а сейчас немец непременно промахнется.

- Это неправильно, - сказала Антонина Трофимовна.

Соня промолчала.

- В каком же ты классе, милая? - спросила Антонина Трофимовна, когда они добрались до следующей площадки.

- В девятый перешла, - сказала Соня, еще больше польщенная таким вниманием. - Но наша школа эвакуировалась...

- Ты пионерка?

- Меня еще зимой в комсомол приняли...

Антонина Трофимовна легко шагала впереди по лестнице, не оборачиваясь. Соня почтительно следовала за ней.

- Погоди, я тебя со своими комсомолками сведу, - сказала Антонина Трофимовна. - Там у меня золотые девушки есть.

После этого разговора Соня стала принадлежать к ближайшей свите Антонины Трофимовны и постоянно получала от нее поручения: сбегать туда-то, сказать тому-то то-то. Она изучила все лестницы, все квартиры, все закоулки дома, чердаки знала не хуже, чем подвалы, и на крыше бывала не реже, чем на дворе.

На крыше Соня вначале чувствовала себя совсем неуютно. Железо так жутко грохотало при каждом шаге; ноги скользили по скату; шестиэтажная пропасть за краем словно втягивала в себя; упругий, плотный ветер, летящий с Финского залива, старался повалить и сбросить; тяжелый противогаз тянул вниз. (Противогазом этим наградила Соню Антонина Трофимовна, которая и сама теперь никуда не являлась без противогаза; таскать его с собой было очень неудобно, и всё же он доставлял Соне некоторое удовольствие, потому что придавал ей военный вид).

Особенно страшно бывало Соне, когда вместе с ней на крышу увязывался Слава. Страшно именно потому, что он не испытывал никакого страха. Он бегал по крыше как полоумный и нарочно грохотал железом, чтобы пугать Соню. Он ходил по самому краю, заглядывая сверху во двор, и даже садился на край, обхватив коленками верхушку водосточной трубы и свесив ноги вниз. Соня кричала от ужаса, а он нарочно поднимал руки, чтобы показать, что не держится.

Но со временем страх Сони перед высотой прошел, и она даже перестала понимать, почему раньше боялась. Крыша теперь казалась ей таким же устойчивым местом; как двор, и она полюбила бывать там, потому что оттуда виден был мир.

Тучи ползли над крышей, а под тучами лежал весь огромный осажденный город, перерезанный улицами, реками. Соня с удовольствием узнавала знакомые места и здания. Вон трамвай ползет по деревянному Биржевому мосту; там, за мостом, громады домов Петроградской стороны, горбатые "американские горы" и ветви облетающих деревьев Зоологического сада. Вон внизу длинная крыша Университета, за ней виден кусочек Невы, а там, на той стороне, Адмиралтейство и Исаакий и далеко за ними круглый низкий купол Казанского собора. А дальше во все стороны крыши, крыши без конца, теряющиеся вдали. А еще дальше со всех сторон - невидимый отсюда враг, осаждающий город.

По сигналу воздушной тревоги Соня теперь бежала не в бомбоубежище, а на крышу. Дежурить на крыше во время тревоги - это была самая опасная, а потому и самая почетная обязанность, которую несла небольшая группа смельчаков, отобранных Антониной Трофимовной. Они должны были тушить зажигательные бомбы, если немцы сбросят их на крышу. Немцы часто сбрасывали зажигательные бомбы в разных концах города, и по городу ходили бесчисленные рассказы о том, как их тушили. Слава, тот даже не скрывал, что ждет этих бомб с нетерпением - так ему хотелось тушить их. Но немцы ми разу не сбросили зажигательных бомб на тот дом, где жила Соня.

С крыши всё было видно от начала до конца. О появлении немецких самолетов возвещали зенитки, и всегда раньше видны были разрывы зенитных снарядов, а потом самолеты. Можно было следить, как они, черные, летят строем, то пропадая в тучах, то возникая из туч, и как зенитки разрушают их строй. Зенитки всё-таки здорово мешали немцам! Над городом самолеты расползались в разные стороны, и всё новые и новые батареи вступали в бой со всех концов. Когда самолет проходил прямо над домом, замирало сердце и голова сама вжималась в плечи.

Приходилось лезть в чердачное окно, потому что осколки разрывавшихся в воздухе снарядов сыпались на крышу, как дождь. Впрочем, в окно можно было лезть не спеша, так как падали они неторопливо и достигали крыши с большим опозданием, когда самолет был уже далеко за домом. Потом можно было опять, вылезть и смотреть, как самолеты пикируют, отгадывать, что они сейчас бомбят: Петроградскую сторону или Балтийский вокзал, порт или гавань, заводы или корабли на Неве. Соня ложилась на железо крыши плашмя, чтобы ее не скинуло воздушной волной. Когда бомба взрывалась, вся громада дома ощутимо раскачивалась под Соней. Не раз видела она, как зенитки сбивали самолет и как он, крутясь и горя в воздухе, падал. Тогда она прыгала от восторга, и кричала, и бежала вниз, в бомбоубежище,рассказать.

Часто бывала Соня на крыше и ночью. Город внизу скрывала тьма, загадочная, притаившаяся, зато небо сияло огнями. Голубые лучи прожекторов скользили по небу, скрещивались как мечи, и звёзды, видные сквозь них, туманились и меняли цвет. Вражеское кольцо, сжимавшее город, было теперь отчетливо различимо: оно отражалось в небе пятнами зарев.

Штурм Ленинграда продолжался. Грохот ни на минуту не затихавшего боя доносился сюда, в центр города, как грохот океана. Казалось, где-то там, за темными домами, исполинские волны непрерывно бьют в подножие исполинских скал.

Как все жители города, Соня давно уже научилась безошибочно по слуху отличать выстрелы от разрывов, нашу артиллерию от вражеской. По ночам особенно хорошо был различим могучий голос орудий главного калибра наших кораблей, от которого вздрагивал весь воздух над городом. А в те редкие мгновения, когда артиллерия замолкала, ветер приносил треск пулеметов.

Глава четвертая.

Осень

1.

Всё начало сентября немцы, заняв Гатчину, рвались к морю, к южному берегу Маркизовой лужи, и вышли наконец к воде на узком пространстве между Петергофом и юго-западной окраиной Ленинграда. Ни в одном месте не удалось еще им подойти к осажденному Ленинграду так близко, как здесь. Заняв Стрельну и Лигово, которые давно уже слились с городом, они были остановлены у кирпичных стен завода пишущих машинок "Ленинград", за которым начинался уже самый город. И нигде положение гитлеровских войск не было таким неудобным, как здесь, потому что вышли они к морю узким клином, а

расположенный к западу от Петергофа Ораниенбаум попрежнему находился в наших руках. Дальше, на запад от Ораниенбаума, прибрежная полоса шириной около двенадцати километров, с поселками Большая и Малая Ижора, Лебяжье, Гора-Валдай, тоже не была захвачена немцами, не преодолевшими могучего артиллерийского огня южных фортов Кронштадта. И так называемое "Ленинградское кольцо" состояло теперь из двух "колец", сообщение между которыми по суше было невозможно; в первое "кольцо" входил Ленинград и прилегающая к нему самая узкая часть Карельского перешейка, а во второе "кольцо" входил клочок южного побережья Финского залива, от Ораниенбаума до устья речки Воронки, впадающей в Финский залив с юга. Немцы, вклинившиеся между двумя этими "кольцами", весь сентябрь рвались вперед, в улицы города, сосредоточив здесь артиллерию, танки и большие авиационные силы.

Каждый день, а иногда по нескольку раз в день, немцы посылали на город и на флот армады бомбардировщиков. Их встречали небольшие отряды советских истребителей, поднимавшихся с аэродромов, расположенных вокруг города и даже внутри города. Здесь были истребители, входившие в состав войск Ленинградского фронта, и истребители, входившие в состав Балтийского флота; но подчинялись они в это время одному командованию, сражались по единому плану, в самом тесном взаимодействии. В условиях численного превосходства вражеской авиации постоянное взаимодействие всех частей было особенно необходимо.

Среди этих отрядов была и эскадрилья Рассохина. Рассохинская шестерка вылетала по четыре, пять, семь раз в день. Она атаковала вражеские самолеты, сколько бы их ни было.

В промежутках между нападениями армад немецкая авиация почти непрерывно действовала небольшими группами. То появлялся разведчик, висящий на страшной высоте над Кронштадтом, заметный снизу только по тянущемуся за ним белому следу, то корректировщик низко проползал над передовой, направляя огонь артиллерии, то бомбардировщик осторожно крался между тучами, стараясь неприметно доползти до какой-нибудь важной цели, то появлялся отряд немецких истребителей, стремившихся вызвать на бой рассохинскую шестерку и уничтожить ее. Висеть беспрерывно в воздухе вшестером они не могли, а потому в сравнительно спокойные дни вылетали на барраж парами поочередно. У старта стоял шалашик из еловых веток, и в этом шалашике они дожидались своей очереди. Лунин всегда вылетал с Серовым.

Десятого сентября Лунин впервые сбил самолет. Они с

Серовым пересекли море и вышли к Петергофу. За Петергофом всё горело, и под дымом, почти неподвижно висевшим в безветренном влажном воздухе, ничего нельзя было разглядеть. Летя вдоль этой дымовой полосы, они издали заметили двухместный немецкий самолет "Мессершмитт-110". Он держался низко и то исчезал в дыму, то появлялся снова, хлопоча над линией фронта. Чтобы не дать ему удрать, Лунин тоже нырнул в дым и пошел к нему наугад. В дыму ничего не было видно, только внизу багровели расплывчатые пятна пламени. Одно такое багряное пятно туманилось и наверху - солнце.

Серова Лунин не видел, но знал, что тот идет за ним. Неожиданно они выскочили из дыма и сразу наткнулись на немецкий самолет. Он боком висел в воздухе прямо перед ними.

Лунин дал короткую очередь и поспешно проскочил мимо, потому что с немецкого самолета заметили их на мгновение раньше и вели огонь. Экипаж "Мессершмитта-110" состоял из двух человек и был очень трудно уязвимым, так как одновременно мог вести огонь по разным направлениям - вперед и назад. На завороте Лунин видел, как Серов тоже дал очередь, и задний пулемет немецкого самолета замолчал. Вероятно, был убит стрелок-радист, охранявший самолет со стороны хвоста.

Тогда Лунин вышел немецкому самолету в хвост. Теперь нужно бить его, бить, пока он не упадет. Немецкий самолет нырнул в дым, но Лунин шел, стреляя, так близко за ним, что не потерял его даже в дыму. Когда они выскочили из дыма, Лунин увидел внизу танки. Танки были пепельного цвета, с черными крестами. "Я собью его на виду у немецких танкистов! - подумал Лунин. - Пусть они поглядят!" Он летел почти вплотную за врагом, повторяя все его повороты и ведя огонь.

Немецкий самолет, нырнув носом и вертясь, пошел вниз. Он ввинтился в землю в двухстах метрах от той поляны, где стояли немецкие танки, и сразу превратился в черный столб дыма.

В Лунина стреляли с земли. Но прежде чем уйти, он сделал круг над упавшим самолетом. Это было совсем лишнее, и впоследствии он никогда так не поступал.

Следующий день был сухой, но облачный, хмурый. Облака висели странно, в несколько слоев. Каждый слой был другого цвета, каждый двигался с другой скоростью. Пространства между слоями, полные мерцающего рассеянного света, располагались одно над другим, как этажи. В этих этажах, не замеченные с земли и воздуха, могли пройти десятки бомбардировщиков. Лунин и Серов пробивали слои облаков то вверх, то вниз, переходили из этажа в этаж, оглядывая их.

Облака клубились и под ними и над ними. Они пробили слой

вверх - опять облака и под ними и над ними. Пошли вверх, пробили еще слой - опять облака и вверху и внизу. Теперь наверху оставался, вероятно, только один слой облаков, потому что здесь уже чувствовалось солнце, - всё пространство вокруг напоминало огромный подводный грот, в который солнечные лучи проникают сквозь воду. И в этом гроте прямо перед собой они увидели одинокий "Юнкерс". Его гигантская расплывчатая тень ложилась на нижние облака.

Лунин и Серов начали стрелять одновременно. "Юнкерс" сразу нырнул вниз, в клубы пара, и потонул в них. Они тоже нырнули, прошли сквозь облака и оказались в нижнем межоблачном пространстве раньше, чем он. "Юнкерс" вылез сверху прямо на их пулеметы. Они успели дать только по одной короткой очереди. "Юнкерс" пошел вверх и исчез. Они устремились за ним, в верхние облака, но на этот раз обогнать его не успели. На миг мелькнул он над ними, уходящий вверх, в самый верхний слой облаков. Они помчались за ним, прошли сквозь последнее покрывало тумана и увидели солнце, сияющее в ясном небе над необозримыми холмами и долинами облаков.

Они оказались как раз между солнцем и "Юнкерсом". "Юнкерс" вел огонь неуверенно, потому что солнце слепило немцам глаза. Лунин и Серов в упор дали по нему несколько очередей, и правый пропеллер его перестал вертеться. Поврежденный "Юнкерс" ушел вниз в облака.

Теперь им ничего не стоило обогнать его, потому что он стал медлителен и неповоротлив. Он шел всё вниз и вниз, сквозь один слой облаков, сквозь другой, сквозь третий, и всякий раз они уже ждали его меж слоями и били до тех пор, пока он опять не исчезал в облаках внизу. Он уже горел, но левый пропеллер его всё еще продолжал крутиться.

Наконец они пробили самый нижний слой облаков и увидели под собой воду. "Юнкерса" нигде не было.

Лунин сделал круг, чтобы лучше оглядеться, и вдруг заметил всплеск воды. Вода сомкнулась над "Юнкерсом", и на поверхности не осталось ни следа.

Эти два сбитых немецких самолета дали наконец Лунину то, чего ему не хватало, - ощущение своего равенства с товарищами. Он больше не чувствовал себя новичком. Он пробыл пока в эскадрилье всего две недели, но за это время было столько событий, что ему казалось, будто он приехал много месяцев назад. И все к нему привыкли, и всем тоже казалось, что он так же давно в эскадрилье, как всякий другой.

Однажды они чуть было не погибли разом, все вшестером.

Посты наблюдения сообщили на аэродром, что "Юнкерсы"

движутся армадой к морю с юга. Рассохин поднял в воздух всю свою шестерку. "Юнкерсы" оказались очень далеко, и было их не больше десяти. Заметив рассохинские самолеты, они повернули на юг и исчезли. Рассохин, ведя шестерку над морем, уже заворачивал, чтобы вернуться на аэродром, как вдруг высоко над собой увидели они двадцать немецких истребителей "Мессершмитт-109".

Коротенький широколобый "И-16" с мотором воздушного охлаждения был увертливее "Мессершмитта", но скорость у "Мессершмитта" была несколько больше. А преимущество в скорости давало "Мессершмиттам" возможность уклоняться от боя или навязывать бой по своему желанию. Сейчас их было двадцать против шести, бой был им выгоден, и они навязали его.

Рассохин построил свои самолеты в круг. Лунину показалось это разумным: они все охраняли друг друга сзади и становились неуязвимыми. Серов охранял Лунина, Лунин - Чепелкина, Чепелкин - Кабанкова, Кабанков Байсеитова, Байсеитов - Рассохина, Рассохин - Серова. Так кружились они на одном месте, стараясь, чтобы расстояние между ними не увеличивалось и не уменьшалось.

Немецкие истребители тоже построились в круг - гороздо больший, вращающийся в противоположном направлении, и рассохинская шестерка оказалась внутри их круга. Они вертелись и вертелись, две карусели - одна в другой. Лунин не понимал, чего немцы хотят достигнуть таким вращением, и это беспокоило его. Немецкие самолеты проносились мимо, как вагоны поезда, и он стал считать их. Восемнадцать. А прежде их было двадцать. Где же еще два?

Он поднял голову и сразу увидел их - два "Мессершмитта", круживших высоко над каруселью. И вдруг они, словно сорвавшись, понеслись вниз, вниз и ударили сверху по самолетам Кабанкова и Чепелкина. Кабанков и Чепелкин, видя их приближение, задрали носы своих самолетов, чтобы встретить их огнем, и хвост самолета Байсеитова оказался незащищенным. И сразу же четыре немецких истребителя, разрушив свой большой круг, устремились сзади к самолету Байсеитова. Все остальные кинулись на Чепелкина и Кабанкова.

Лунин видел, как Байсеитов обернулся в кабине и посмотрел назад, навстречу летящим в него пулеметным струям. Он мог бы попытаться повернуть свой самолет и встретить преследовавшие его "Мессершмитты" огнем, но тогда хвост самолета Рассохина остался бы незащищенным. И Байсеитов продолжал идти за Рассохиным, обрекая себя на расстрел.

Лунин был от него на другой стороне круга и двигался в

обратном направлении. Он сразу круто завернул и сбоку ударил по "Мессершмиттам", гнавшимся за Байсеитовым. Те на мгновение шарахнулись от него, и он успел пристроиться к хвосту самолета Байсеитова, снова замкнув круг.

Но круг этот был меньше прежнего, он состоял всего из четырех самолетов - Рассохина, Байсеитова, Лунина и Серова. Кабанкова и Чепелкина Лунин потерял из виду и теперь озирался, ища их. Неужели их уже нет? Но вдруг он увидел их совсем близко: они вдвоем кружились на одном месте, защищая хвосты своих самолетов. "Мессершмитты", налетая на них со всех сторон, клевали их, как рыбы клюют брошенную в воду хлебную корку. Но всё же они вертелись и вертелись, всё ближе и ближе, и внезапно Кабанков нырнул вниз и, пройдя под "Мессершмиттами", двинулся снизу к самолету Лунина. Чепелкин в точности повторил его маневр. Лунин отвернул в сторону и впустил их на прежнее место. Круг был восстановлен.

Немцы тоже построились в круг, и опять завертелась двойная карусель одна внутри другой. Всё попрежнему. Чем это кончится? Лунин проверил горючее. Горючего осталось минут на двадцать. Еще двадцать минут можно вот так кружиться. А дальше? Да и дадут ли им эти двадцать минут? Восемнадцать "Мессершмиттов" шли один за другим. А где те два? Вот они, высоко наверху, блестят на солнце. Приготовились нырнуть вниз.

На этот раз они наметили .самолеты Лунина и Серова. Лунин принял удар не шевельнувшись. Пусть будет что будет, но круг разрушать нельзя. Пули хлестнули по плоскостям, самолет вздрогнул и качнулся. Лунин обернулся и увидел Серова. Серов шел за ним. Круг на этот раз уцелел. Но два "Мессершмитта" ушли далеко вниз, вышли из пике и опять стали набирать высоту. Через две минуты они снова спикируют. В конце концов они непременно собьют кого-нибудь, разрушат круг, и тогда всё кончится.

Он видел перед собой то Кронштадт, то Петергоф, то исполинский кран Северной верфи в устье Невы, то Лисий Нос. И опять Кронштадт, Петергоф, кран, за которыми марево крыш огромного города, Лисий Нос. Горючего еще на пятнадцать минут. Те двое, там, наверху, понеслись вниз.

На этот раз они ударили по Байсеитову. Байсеитов, защищавший хвост самолета Рассохина, не дрогнул и не отвернул. Самолет его, видимо, был несколько поврежден, потому что вдруг как-то нырнул и закачался. Но Байсеитов мгновенно справился с ним и занял прежнее место, за Рассохиным. Два "Мессершмитта" ушли вниз, чтобы подняться и нанести новый удар. Два круга, один в другом, вращались равномерно и быстро,

как колёса машины. Еще оборот, еще оборот, еще, еще... Горючего на двенадцать минут. И тогда конец, если не раньше. И нет выхода. Неужели нет выхода?

И вдруг "Мессершмитты" исчезли. Все двадцать, они повернули на юг и скрылись в солнечной голубизне неба. Лунин, не веря, не понимая, что произошло, не зная, откуда теперь ждать удара, попрежнему шел за самолетом Чепелкина.

Потом увидел восемь советских истребителей - четыре пары, которые шли к ним с востока на выручку, - и всё понял.

Это были соседи, летчики фронта. Их прислали на выручку. Немцы, заметив их, предпочли удалиться.

Когда Лунин на аэродроме вышел из самолета, елки еще долго вертелись вокруг него. Он не верил, что жив и что товарищи его невредимы.

Все, очевидно, чувствовали то же, что и он, потому что молчали и недоверчиво ступали по траве аэродрома. У Чепелкина и Байсеитова лица посерели и осунулись. Маленькие глазки Рассохина угрюмо глядели из-под рыжих бровей.

- Здорово! - сказал Чепелкин не то восторженно, не то растерянно.

- Что здорово-то? - закричал на него Рассохин, рассвирепев. - Что немцы плохо стреляют? Или что нас выручили? А какое право мы имели полагаться на выручку? Запоздай они на две минуты - и нас ни одного не осталось бы!..

Чепелкин, красный, стоял перед Рассохиным, смотрел в землю и старался догадаться, на него он сердится или не на него.

- Из круга нет никакого выхода, - сказал Рассохин, и стало ясно, что сердится он на самого себя. - Есть только одна хорошая оборона - бить!

Никто из них никогда больше не говорил об этой ужасной карусели, но Лунин чувствовал, что карусель эта еще сблизила их. Вообще между ними без разговоров и признаний установилась удивительная близость - оттого что всем им приходилось по многу раз спасать друг друга. Чтобы иметь душевные силы вести бой, каждый из них должен был доверять другому больше, чем самому себе. А чтобы другой мог доверять тебе, ты должен был любить его. И они доверяли друг другу, в каждом бою укрепляли это доверие и любили друг друга ясной, простой и ничем не омраченной любовью. И Рассохин мог нисколько не боятся вслух при всех сказать, что он, построив их в круг, совершил ошибку, которая только случайно не привела их к гибели, потому, что они любили его и доверяли ему, хотя он вечно разносил их и насмехался над ними.

Лунин всегда летал с Серовым, и цепь взаимных выручек

связывала его с Серовым еще крепче, чем с другими. Как раз вечером того дня, когда они вертелись в карусели, перед закатом Серов еще раз спас Лунина.

Они вдвоем возвращались домой над морем. Поднимался туман, и видимость была плохая, потому что огромное дымное солнце, спускаясь к воде, пронизывало туман багровым слепящим светом. В этой сверкающей мути на Лунина неожиданно налетел "Мессершмитт-109". К счастью, Лунин заметил его, когда между ними было еще метров пятьсот, повернул и пошел ему навстречу.

Они неслись друг на друга, стреляя в упор.

"Ты свернешь, а не я!" - думал Лунин. Но немец тоже не хотел сворачивать. Казалось, они сейчас расшибутся друг о друга. Но в последнее мгновение немец не выдержал и взял ручку на себя. Он пронесся над Луниным, перепрыгнул через него, едва не задев его брюхом своего самолета. Лунин продолжал лететь вперед, довольный своим упорством, как вдруг заметил, что сзади к нему тянутся струи пуль. "Мессершмитт", перескочив через него, перевернулся и пристроился прямо к хвосту его самолета. Он теперь бил в него сзади и, сколько Лунин ни сворачивал, повторял все его движения и стрелял, стрелял... И Лунин был бы сбит наверняка, если бы Серов не оказался позади "Мессершмитта". Немец не заметил Серова в светящейся дымке, и Серов убил его. И "Мессершмитт", тощей черной птицей скользнув по громадному солнечному диску, упал в воду, багровую, как пламя.

А потом через день Лунин спас Серова. Их опять было двое, и два "Мессершмитта" напали на них над морем. Вышло так, что они разделились: Лунин дрался с одним, а Серов - с другим. Лунин долго возился со своим "Мессершмиттом": они заходили друг другу в хвост, без конца переворачивались, атаковали сверху, снизу, сбоку. Неизвестно, удалось ли Лунину повредить его, или он ранил летчика, но "Мессершмитт" вдруг вышел из боя и удрал. Лунин оглянулся, ища Серова. Однако воздух был пустынен, нигде на километры вокруг не было видно ни одного самолета.

Что если Серов сбит? В тревоге и тоске Лунин помчался искать его.

Он кружил и кружил над морем, то поднимаясь, то опускаясь, то уходя далеко от места боя, то возвращаясь к нему, и постепенно терял надежду. Он искал, уже не надеясь, но оттягивая возвращение на аэродром до последней возможной минуты - ужасно было вернуться без Серова. И вдруг под собой, над самыми гребнями волн, он заметил два самолета.

Они неслись один за другим так низко, что сверху казалось,

будто они скользят по воде. Один самолет уходил, другой преследовал. "Мессершмитт" гнался за Серовым. Серов, прижатый к воде, метался из стороны в сторону, не стреляя и только пытаясь уклониться от огня. Значит, патроны у него уже кончились.

Лунин кинулся на немца сверху и едва нажал гашетку, как "Мессершмитт" перевернулся, шлепнулся кверху брюхом в пенистую воду и исчез. Это произошло мгновенно. Серов взмыл и закачал плоскостями, призывая Лунина. Они вместе вернулись на аэродром. Шагая рядом с Серовым по аэродрому, Лунин чувствовал к нему такую нежность, что несколько раз, словно нечаянно, коснулся его плеча.

Лунин и Серов иногда разговаривали по ночам, когда все кругом спали.

Они ложились сразу после ужина, сваленные усталостью. Чепелкин, Кабанков и Байсеитов засыпали мгновенно, едва касались подушек, и могли проспать сколько угодно часов подряд, пока их не разбудят. Кабанков с Чепелкиным просыпались в той же самой позе, в какой легли, ни разу не шевельнувшись за всю ночь. Байсеитов по ночам беспокойно метался, вскакивал, стонал, быстро-быстро бормотал что-то по-своему, по-азербайджански. Рассохин ночевал у себя, на командном пункте, и как он спит, Лунин не знал. Сам Лунин, несмотря на усталость, иногда подолгу не мог заснуть. И нередко замечал, что Серов, лежащий на соседней койке, тоже лежит с открытыми глазами.

- Отчего вы не спите? - спросил его Лунин.

- Так, - ответил Серов. - Думаю.

Желтый свет керосиновой лампы блестел в его глазах. "О жене, вероятно", - решил Лунин.

- Я писал в отдел народного образования и спрашивал, куда эвакуировалась одна школа, - сказал Серов.- Сегодня пришел ответ.

- Что ж ответили?

- Пишут, что пока не знают, но как узнают - сообщат.

- Это хорошо, - сказал Лунин.

- Да, хорошо, - согласился Серов неуверенно. Он как будто еще что-то хотел сказать, но не решился. Они помолчали.

- А вы давно женаты? - спросил Лунин.

- Я не женат.

- Не женаты? - удивился Лунин. - Вы ж мне рассказывали, что у вас двое детей.

- Это не мои дети, - сказал Серов. - Но всё равно что мои.

Они замолчали надолго. Лунину казалось, что Серов уже

спит. И вдруг Серов сказал:

- Не может она любить меня, вот что я думаю!

- Вот еще! - сказал Лунин возмущенно. - Почему не может? Что, она лучше вас, что ли?

- Гораздо лучше! - сказал Серов.

- Чем же лучше?

- Всем.

- Ну например?

- Например, она знает больше.

- Пустяки, - сказал Лунин. - Она одно знает, а вы - другое.

Они опять замолчали надолго. Теперь Серов думал, что Лунин уснул. И вдруг Лунин произнес без всякой, казалось бы, связи с предыдущим:

- Люби кого хочешь. Разве любовь - обязанность? А вот лжи перенести нельзя.

Он отвернулся, зашуршав соломой тюфяка, и закрыл голову одеялом.

Это было уже во вторую половину сентября, когда немцы, всё еще не веря, что штурмом Ленинград взять нельзя, подтянув громадные авиационные силы, старались мощной бомбежкой сломить сопротивление. Ленинград, Кронштадт, флот они бомбили почти беспрерывно. Вой зениток круглые сутки перекатывался из конца в конец по берегам Невы, Невок и Маркизовой лужи. Армады "Юнкерсов", по многу десятков самолетов в каждой, двигались одна за другой с механическим упорством. Иногда они шли с разных направлений одновременно. Отряды советских истребителей поднимались с разных аэродромов и встречали их. В числе этих отрядов была и шестерка Рассохина.

Бой в воздухе почти без перерывов шел каждый день с рассвета до заката. Возвращение на аэродром на несколько минут - и можно ничком полежать в траве, пока техники заправляют самолет горючим, перезаряжают пулеметы, - и снова вылет, снова бой. У Лунина уже не холодело внутри, когда они вшестером, не медля ни мгновения, бросались на восемьдесят огромных машин, идущих строем и стреляющих из ста шестидесяти пулеметов. Привычка притупила его впечатлительность. Он теперь очень хорошо знал "Юнкерсы", их неповоротливость, медлительность, и чувствовал свое превосходство над ними. Он умел зайти "Юнкерсу" в "мертвый конус" - в пространство, недосягаемое для пулеметов врага. Он научился даже прятаться в этих огромных стадах "Юнкерсов" от своих постоянных преследователей "Мессершмиттов-109", пользуясь поворотливостью, увертливостью своего самолета.

Бой с "Юнкерсами" больше не казался ему беспорядочным метаньем среди сплетающихся жгутов пулеметных струй. Он, как и другие, мог теперь после боя рассказать обстоятельно и по порядку всё, что происходило в бою, оценив действия каждого. Ему теперь понятна была тактика Рассохина - единственно возможная тактика при таком численном неравенстве, - не дать себя ничем отвлечь от самой важной задачи: помешать немцам бомбить прицельно.

Они встречали армады одну за другой и принуждали сбрасывать бомбы в воду. "Юнкерсы" боялись их, шарахались, обращались в бегство, завидев их издали. И всё-таки "Юнкерсов" было слишком много, чтобы натиск их можно было сдержать. Пока они разгоняли одну армаду, сзади появлялась другая и бомбила.

Флот, стоящий на рейде между Кронштадтом и Петергофом, мешал немцам жить в Петергофе спокойно. Могучая корабельная артиллерия, обстреливая их днем и ночью, не давала им сосредоточить там войска, построить укрепления. Немцы упорно бомбили флот, стараясь уничтожить его с воздуха. В течение всего сентября шла непрекращающаяся битва между немецкой авиацией и Балтийским флотом. Двадцать пятого сентября немцам наконец удалось поразить военный корабль "Сокол".

Произошло это на глазах у Лунина, когда они вшестером пытались отразить нападение ста тридцати "Юнкерсов". "Юнкерсы", как всегда, шарахались перед ними, но, раскинутые на много километров, упорно обходили их с флангов и тянулись к кораблям. Взрыв на "Соколе" был так силен, что Лунина качнуло в воздухе. Дым, почти черный, надолго скрыл весь корабль, и Лунину удалось рассмотреть его только на обратном пути, возвращаясь после погони за "Юнкерсами"; сразу обратившимися в бегство.

"Сокол" начал погружаться, но море было неглубоко, и палубы его и орудийные башни остались над водой. Колоссальные орудия его, торчавшие из башен, как растопыренные пальцы, двигались и стреляли. Разбитый, полузатопленный, он попрежнему вел огонь.

Так он вел огонь и на другой день, и на третий, и много, много дней потом, неподвижный, глубоко сидящий в воде, стоящий на виду перед берегом, захваченным немцами.

И когда остальные корабли, после того как немцы укрепились в Петергофе и поставили там береговые батареи, ушли в устье Невы, он один остался на прежнем месте и вел огонь. Он превратился как бы в новый форт Кронштадта, выдвинутый вперед, самый близкий к противнику.

Они видели его при каждом вылете. Иногда, если орудия были неподвижны, им начинало казаться, что жизнь покинула его, и они спускались к нему, проносились над ним в нескольких метрах. И всякий раз замечали краснофлотцев в черных бушлатах, которые каким-то чудом гнездились в его башнях. Он был жив и непобедим.

В эти последние дни сентября они стали молчаливы и никогда не говорили о "Соколе". Охранять флот с воздуха - это была их задача, и затонувший, но продолжающий драться "Сокол" был им упреком. Один только Байсеитов не чувствовал этой необходимости молчать. Всякий раз, возвращаясь с полета, он говорил: - А ты видел "Сокол"? Ну и бьет! И он долго и громко восхищался "Соколом". Байсеитов был всё такой же - оглядывающийся, угрюмо и страстно сверкающий глазами. Только очень похудел за этот месяц и стал похож на большую птицу с хищным клювом да еще неудержимее разговаривал во сне. Ведущего своего он больше никогда не покидал и защищал Рассохина в бою с каким-то вызывающим бесстрашием. Замечаний Байсеитову Рассохин больше не делал, и Лунин не раз подмечал, что когда он взглядывал на Байсеитова, в глазах его появлялось выражение, похожее на жалость.

Жалел Байсеитова и Лунин. У него было ощущение, что Байсеитов не выдержал перегрузки и где-то там, внутри, сломался. Мука, которую все они испытывали от сознания, что враг зашел так далеко, ненависть к врагу, ежеминутная возможность смерти, чудовищное утомление - всё то, что делало их собраннее и молчаливее, заставляло его метаться, говорить много и невпопад, петь о гибели со славой, мечтать о вольной охоте, о каком-то неслыханном удальстве.

Байсеитов был влюблен в Хильду, и все знали об этом, и Хильда знала.

В сущности, вся любовь Байсеитова выражалась только в том, что он не отрываясь смотрел на нее за завтраком, обедом и ужином. Беленькая, легонькая, такая не похожая на него, большого и черного, она, видимо, казалась ему чудом. До войны он, вероятно, умел бы ухаживать за ней как-нибудь иначе, но теперь у него не было времени и, главное, сил. Он был очень утомлен, тени усталости лежали на его похудевшем лице под большими глазами. Он только смотрел на нее, сидя на стуле, смотрел с напряженным и мрачным восхищением, поворачивал голову, когда она двигалась с тарелками вокруг стола. Она чувствовала его взгляд и иногда тоже посматривала на него - со смущением, испугом и жалостью в светлых простоватых глазах.

Он погиб в первых числах октября, погиб отважно, защищая

Рассохина. Они вдвоем летели вдоль северного берега Финского залива, между Лисьим Носом и Сестрорецком. Шел моросящий дождь, в трехстах метрах ничего нельзя было разглядеть. В этом мокром сумраке их выследили "Мессершмитты". Внезапно вынырнувший "Мессершмитт" атаковал самолет Рассохина с хвоста, и Рассохин был бы сбит наверняка, если бы Байсеитов опоздал хотя бы на ничтожную долю мгновения. Но Байсеитов не опоздал, он застрелил немецкого летчика; "Мессершмитт" нырнул и, крутясь, пошел вниз. Теперь Байсеитову следовало бы оглянуться, но он, всегда оглядывавшийся, на этот раз оглянуться не успел. И второй "Мессершмитт", которого он не видел, напал на него сзади, убил его и исчез в дождевой мгле.

Два самолета, один за другим, упали на широкую прибрежную отмель, на холодный, мокрый песок. Их разделяло всего несколько сот метров. Несмотря на дождь, они горели так жарко, что сбежавшиеся бойцы пехоты долго не могли приблизиться к ним.

Вернувшись на аэродром, Рассохин сел в полуторатонку и сразу уехал. За ужином Хильда плакала. Слезы опять собирались у нее на подбородке, и она опять не могла вытереть их, потому что руки ее были заняты тарелками.

Рассохин вернулся поздно ночью и, мокрый от дождя, вошел в кубрик. Никто еще не спал.

- Похоронили? - спросил Кабанков. Рассохин кивнул.

- Теперь нас пятеро, - сказал он.

С этого дня сплошь пошли дожди, аэродром размок, желтые листья неслись в ветре, и налеты немецкой авиации вдруг почти прекратились.

2.

К середине осени немцы наконец поняли, что шмурмом взять Ленинград невозможно.

В начале сентября они дошли вплотную до городских окраин, но с тех пор не продвинулись ни на сантиметр.

В течение семи недель они ежедневно бросали на город сотни бомбардировщиков - и не добились ничего. Они обстреливали город из крупных орудий, одна танковая атака следовала за другой, подходили всё новые свежие дивизии и втягивались в битву, а Ленинград стоял, как прежде.

Немцы не верили, что их остановили. Они воевали уже два года, они, маршируя, покорили всю Европу, и их никто еще нигде не останавливал. Они упрямо продолжали атаковать, но это приводило только к тому, что армады их самолетов редели, танки превращались в груды железа, дивизии изматывались и таяли.

В октябре началось наступление немцев на Москву, и шло

оно не так, как хотелось бы гитлеровскому командованию. Чем ближе они подходили к Москве, тем сильнее было сопротивление, которое им приходилось преодолевать. По их планам, Москва давно уже должна была быть взята, а они даже не подошли к ней. Они несли громадные потери, резервы их истощались, приближалась зимняя стужа. И они прекратили штурм Ленинграда и, сняв с Ленинградского фронта почти всю свою авиацию, перебросили ее к Москве, в помощь своим наступающим войскам. Так защитники Москвы своим беспримерным по упорству сопротивлением помогли защитникам Ленинграда.

Разумеется, немцы вовсе не отказались от мысли овладеть Ленинградом. Они решили справиться с ним другим способом, казавшимся им безошибочным.

Не одолев воинов, защищавших Ленинград, они теперь рассчитывали одолеть мирное его население.

* * *

Продукты в городе начали исчезать с сентября. В октябре по карточкам уже ничего, кроме хлеба, не выдавали. И хлеба выдавали столько, что Слава одним махом съедал всё, что полагалось на всю их семью на два дня.

Соня не сразу поняла, что это означает. Ей, увлеченной крышей, бомбоубежищем, казалось, что это что-то временное, не имеющее значения. Дома у них были еще кое-какие запасы крупы и картофельной муки, оставшиеся с маминых времен, и заведовал ими дедушка. Он по-прежнему каждый день готовил обед, и обед этот теперь состоял из одного трудно определимого блюда - не то суп, не то каша, не то кисель. Впрочем, с каждым днем блюдо это всё меньше походило на кисель и на кашу и всё больше на суп.

- Дедушка, еще! - говорил Слава, мгновенно вычерпав ложкой свою тарелку. Дедушка наливал ему еще.

- А ты, дедушка, отчего не ешь? - спрашивала Соня.

- Ну вот! Я на кухне наелся, пока готовил, - отвечал Илья Яковлевич.

И Соня верила ему.

Хлеб дедушка делил на части и выдавал каждому по кусочку - утром, в обед и вечером. Соня и Слава съедали свои кусочки мгновенно, пили горячий чай без сахара и бежали куда-нибудь: у них всегда было много дела.

Если бы Соню в те последние дни октября спросили, голодает ли она, она удивилась бы. Конечно, ей очень хотелось есть, очень. У нее было постоянное ощущение пустоты внутри, тоскливое и тянущее и никогда ее не покидавшее. Но она привыкла к этому ощущению, почти не замечала его, и ей даже казалось, что всегда так и было.

Запасы у дедушки кончились, и он теперь варил суп только в те дни, когда что-нибудь выдавали - сухие овощи или капустные листья. В остальные дни он говорил:

- Лучше пейте чай.

И они пили чай.

Дедушка стал молчалив. Он теперь подолгу с каким-то странным выражением смотрел в лица Сони и Славы, и от этого внимательного взгляда становилось нехорошо, тоскливо.

- Вы бы поменьше бегали, - сказал он им однажды. - Побольше бы сидели.

- Почему, дедушка?

- Так, - отвечал он. - Из экономии.

Слава, так же как и Соня, не учился больше в школе и нисколько этим не огорчался. В сентябре все дни проводил он на крышах и дворах, следя за воздушными боями. Он великолепно знал все типы советских и немецких самолетов и узнавал их на любом расстоянии. Он совершенно одичал за эту осень и домой приходил только есть и спать. В октябре двор и крыша родного дома уже не удовлетворяли его, и он с каждым днем уходил всё дальше и дальше. Он рассказывал Соне и дедушке о том, что происходило в самых отдаленных концах города. С тех пор как обед превратился в чаепитие, он не всегда возвращался даже к обеду.

Однажды он ушел рано утром и пропадал весь день. День был холодный и пасмурный, шел мокрый снег, дул пронзительный ветер, вода в Неве поднялась и пенилась. Дедушка спрашивал несколько раз:

- Где Слава? Не появлялся?

- Вернется, - отвечала Соня.

Но она и сама волновалась. Накинув шерстяной платок, она раза четыре выбегала из дому и исследовала окрестные дворы. И уже в сумерках собиралась бежать в пятый раз, когда он наконец явился.

Он был весь в мокрой глине. Пятна глины лежали даже на его озябшем, синем лице. Но он был доволен, глаза торжествующе блестели из-под мокрых бровей.

- Вот! - сказал он.

И вывернул из карманов на стол шесть больших грязных картофелин.

- Откуда? - спросил дедушка.

- Уж я знаю, откуда...

- Нет, ты скажи, откуда! - рассердилась Соня. Она боялась, что он украл.

- Выкопал, - сказал Слава.

- Выкопал? Где?

- Уж я знаю, где. Из земли. У меня было семь, но одну я съел.

- Сырую?

- Сырую. Теперь я знаю место. В следующий раз я дальше пойду.

- Никуда ты не пойдешь в следующий раз, - сказал дедушка.

Слава в ответ только свистнул. Дедушка пошел в кухню готовить картошку. Соня потребовала, чтобы каждому дали ровно две картофелины, но дедушка нарезал их на мелкие кусочки, и проверить, сколько досталось каждому, оказалось невозможным. На дне какой-то своей научной скляночки нашел он целую чайную ложку рыбьего жира.. Жареная картошка, пахнущая рыбой, оказалась необыкновенно вкусной. Соня и Слава ели ее в столовой. Дедушка уверял, что съел свою порцию, пока готовил.

Только поев этой восхитительной картошки, Соня почувствовала настоящий голод. Ей так захотелось есть, что ночью она просыпалась от голода. Утром томительное, тянущее чувство пустоты внутри еще усилилось, и она уже не находила себе места. Слава, напившись горячего чая и съев свой ломтик хлеба, сразу ушел. Она поняла, что он идет за картошкой, и не сказала ему ни слова.

Она ждала его весь день. День был морозный - первый морозный день в году, - вчерашние лужи замерзли, сыпал мягкий сухой снежок. В сумерках вернулся Слава. Он не принес ничего: земля смерзлась, и копать было невозможно.

На другой день на лестнице Соня встретила соседку, которая жила через площадку, в квартире 27. Соседка сильно изменилась. Соня пристально посмотрела на нее.

- Что, похудела? - спросила соседка.

Она действительно, может быть, немного похудела, но не в этом заключалась главная перемена,- она словно вся стала меньше, лицо потемнело.

- Я всё худею, худею! - быстрым шёпотом сказала она.- С меня юбка сваливается! Что с нами будет, Сонечка? Мы все умрем...

Рот ее был приоткрыт, губы дрожали.

- Мы не умрем,- сказала Соня хмуро.- Они умрут.

- Кто они?

- Немцы.

Соседка недоверчиво посмотрела ей в лицо:

- Ты так думаешь? Почему?

Соня совсем не знала, почему. Она сказала это неожиданно для самой себя. Она ничего не могла объяснить и потому прибавила как можно многозначительнее:

- Вот увидите. И ушла.

3.

Натиск немцев был отбит, налеты на город и на корабли стали редки. Но всем было ясно, что доверять этому нельзя. И эскадрилья день за днем с утра до вечера кружила над берегами, над морем, стараясь не пропустить врага в непроглядном тумане, который давно уже висел над водой и землей и не рассеивался.

Морозы в ту осень ударили рано, и намокшая после длинных дождей земля смерзлась, чуть припорошенная снегом. Аэродром стал тверд, как чугун, весь в жестких выбоинах и колеях. Самолеты при взлетах и посадках подскакивали, прыгали; всякий раз казалось, что уже следующего прыжка они не выдержат и просто рассыплются. Земля была как чугун, в воздухе стоял мороз, но море остывало медленно, и густой пар днем и ночью поднимался от теплой открытой воды. Этот пар и был тот туман, которого не мог разогнать никакой ветер, и все знали, что туман этот уже не рассеется до тех пор, пока лед не покроет воду.

Самолеты обмерзали, становились тяжелыми, как утюги, их прижимало к воде, к лесу. Нужно было не потерять в воздухе друг друга, двигаться приходилось только по приборам, и от постоянного напряжения внимания Лунин к вечеру так уставал, что лишался способности разговаривать.

Он не был уже новичком в эскадрилье, ему казалось, что он здесь давным-давно, что вся прожитая жизнь его делится на две части - прежнюю, далекую и почти нереальную, тянувшуюся до того дня, как он попал сюда, и новую, начавшуюся тогда, когда он приехал на этот аэродром; и обе части казались одинаково длинными. Серова, Рассохина, Кабанкова и Чепелкина, с которыми он не разлучался ни в полете, ни на аэродроме, ни в столовой, ни во время сна, он знал теперь как самого себя и удивлялся, как это могло быть такое время, когда он даже не слышал об их существовании.

Вечера теперь были бесконечно долгие, непроглядно черные, и они проводили их вместе в своем жарко натопленном кубрике. Измотанный блужданием в тумане, в дожде, в мокром снегу на обмерзшем самолете, Лунин лежал у себя на койке в одной рубашке, подложив руки под голову и пристально глядя на огонек керосиновой лампы. На соседней койке лежал Серов. Но Кабанков и Чепелкин не ложились. Они были моложе Лунина и крепче Серова, и усталость их не брала.

Маленький Кабанков - тот вообще, казалось, весь был сделан не из костей и мяса, а из стальных, очень тугих и гибких пружин. Лунин, давно привыкший к тому, что летчики обычно крепкие и сильные люди, дивился силе, ловкости и легкости Кабанкова. Кабанков не ходил, а прыгал, как мяч. В комнате он перескакивал

через койки, через стулья без всякого напряжения, без шума, и только светлый его хохолок вздрагивал при прыжке. Он очень любил плясать. Именно пляской всякий раз начиналось то странное представление, которое Кабанков по вечерам давал своим товарищам.

Он вдруг начинал помаленьку поскакивать, попрыгивать, пожимать плечами, пощелкивать пальцами, тихим, тоненьким голоском напевая себе под нос что-то отрывочное, невнятное. Мало-помалу прыжки его становились всё выше, он приседал, хлопал в ладоши, звонко бил себя по коленкам и, кренделем выворачивая свои коротенькие ножки, беззвучно переносился из одного угла в другой. Серов, лежа, тихо и ласково ему улыбался. Младенчески восхищенное, круглое, румяное лицо Чепелкина расплывалось в предчувствии наслаждения. А Кабанков плясал всё лише, всё стремительней, кружась в воздухе и почти не касаясь пола. Всё плясало в нем - руки, ноги, живот, плечи, каждый сустав,- только лицо, напряженное, серьезное, было неподвижно, как маска. Он уже не пел, и из полуоткрытых губ его вырывалось лишь:

- Эх! Эх! Эх!

Приседая, выбрасывая руки вперед, он крутился вокруг Чепелкина, вызывая его плясать. Чепелкин, неуклюжий, смущенный, жался к стене, забивался в угол. Тогда Кабанков, ни на мгновение не прерывая бешеной своей пляски, начинал сильно и больно колотить его маленькими своими кулачками. Чепелкин отступал от него, застенчиво улыбаясь и беспомощно махая руками; выгнанный из своего угла на середину комнаты, он волей-неволей тоже начинал плясать - из самозащиты. Движения его были медленны и тяжеловесны. Рядом с маленьким Кабанковым, стремительно носившимся вокруг, он казался медведем. Он как бы нехотя переминался с ноги на ногу, приседал и подпрыгивал, но мало-помалу пляска забирала и его, прыжки и приседанья становились всё быстрее, и выражение наслаждения не сходило с его широкого лица.

Бывало, что в эту минуту в кубрик входил Рассохин. Остановившись в дверях и хитро прищурив голубые глазки, он кричал:

- Опять пол бодаете?

- Бодаем! - тоненько, с вызовом отвечал Кабанков, хотя в действительности "бодал пол" один только Чепелкин, от прыжков которого колебались стены, мигала лампа и печально звенели оконные стёкла.

Рассохин садился на опустевшую койку Байсеитова и, согнувшись, широко расставив колени, пристально смотрел на

пляшущих. Потом на его жестком веснушчатом лице появлялось мягкое и как бы мечтательное выражение.

- Ты бы лучше сыграл, Кабанок,- говорил он. Чепелкин останавливался с размаху, хватал Кабанкова за руку и повторял умоляюще:

- Сыграй, сыграй, Игорь!

Кабанков не отказывался и не соглашался. То ли он сам не знал, играть ему или нет, то ли просто любил потомить ожиданием. Последний раз пронесясь по комнате, он, нисколько не запыхавшись, опускался на свою койку, вынимал из-под подушки дырявый носок, нитки, иголку и, словно не слыша просьб, принимался за штопку. Тоненькие его, девичьи пальцы ловко и уверенно работали иглой.

Его уже просил и Серов:

- Правда, Игорек, поиграл бы!..

- Да брось ты свой носок! - нетерпеливо кричал Рассохин.

По Кабанков не торопился. Отложив наконец носок, он принимался за какое-нибудь другое дело: опускался на корточки перед своей тумбочкой и начинал для чего-то перебирать в ней флакончики, письма, желтые пуговицы с якорями, коробки с зубным порошком. И только когда все уже уставали ждать и кто-нибудь даже заговаривал о чем-нибудь другом, он вдруг выдергивал из-под своей койки аккордеон, садился, положив ногу на ногу, опускал аккордеон на колено и широко раздвигал его.

Он никогда не играл какой-нибудь определенной песни, а беспрестанно с удивительной легкостью переходил от одного мотива к другому. Он никогда не играл того, что играл в прошлый раз, и никогда не мог ничего повторить даже если его просили. В том, что он играл, не было ни начала, ни конца: это был сплошной поток, разнообразный, живой и рвущийся из него, казалось, без всяких усилии, сам собой. Главная прелесть, и сила, и своеобразие его игры заключались в свободе, естественности и неожиданности переходов. Огненное веселье вдруг переливалось в такую нежную печаль, что слезы заволакивали глаза Чепелкина, и даже в скулах Рассохина появлялось что-то ласковое, умиленное. И, словно наслаждаясь своей властью над ними, Кабанков вдруг переходил к чему-то широкому, радостному, полному бодрости и счастья. В музыке его, так же как в нем самом, было что-то твердое, прочное уверенность в стойкости и непобедимости того, что он любил.

Лунин слушал, закрыв глаза, и все считали, что он спит. Он и вправду порой дремал, но и в дремоте продолжал думать. Волны звуков переливались через него, и он думал не мыслями, а как бы картинами, которые возникали у него в мозгу сами собой, без

всякой связи. Чаще всего это было просто повторение виденного им за минувший день. Туман, туман, туман, и вдруг тусклый блеск воды под плоскостью и возникшие на мгновение близкие, но еле видные башни полузатонувшего "Сокола". Берег, кромка жесткого льда, редкие елки Петергофа - только верхушки торчат из тумана. Вот неторопливо летят в него светлые фонарики трассирующих пуль. Ручку на себя - нужно взять метров на двести выше. Поворот влево. Вот он над городом. Туман, ничего не видно, смутно угадываются длинные провалы улиц, кружащиеся и кренящиеся при поворотах самолета. Мужественный, стойкий город!.. Трудно ему, конечно, трудно... Но разве только в Ленинграде трудно?.. По раннему, тонкому снегу немцы рвутся к Москве. Огромные клещи с севера и с юга - Калинин, Брянск, Орел. Орел - это ведь уже середина страны, Ока - самое русское место из всех русских мест. Донбасс, Одесса, Мариуполь... Всё идут, и идут, и идут, а мы всё отходим. Города, деревни... Трудно... Лиза когда-то жила здесь, в Ленинграде, на Моховой улице. Жила с матерью. В последний раз он видел Лизину мать в тридцатом году, тогда она была еще совсем не старая женщина. Она не любила Лунина, терпеть его не могла. Может быть, она и сейчас живет там, и он, может быть, сегодня пролетел над ней. Ей, должно быть, известно, куда уехала Лиза... Не всё ли равно, куда она уехала... Между ними всё кончено бесповоротно....

Кабанков был из тех разнообразно одаренных людей, чья одаренность выражалась не в чем-нибудь одном, а во всем, за что бы он ни брался. Он не только плясал и играл, но и рисовал и сочинял стихи. С первого дня войны он по собственной охоте ежедневно выпускал "Боевой листок". У него под койкой хранилась толстая пачка бумаги, и каждый день брал он из этой пачки один лист и выпускал очередной номер. Он не пропустил ни одного дня, - сотый номер вышел к сотому дню войны. Каждый из этих дней Кабанков был в бою, каждый из этих дней он участвовал в таком множестве событий, что другому хватило бы на целую жизнь, и всё-таки "листок" выходил. Кабанков так приноровился к нему, что тратил на его изготовление минут пятнадцать. Вывешивал он его то в столовой, то в кубрике, то на командном пункте. Летчики и техники каждый день с любопытством ждали, что он сегодня изобразит.

Текста в его "листке" было мало, всё дело заключалось в рисунках, большей частью смешных. Рисовал он их красно-синим карандашом. У него был дар двумя-тремя линиями изобразить человека так, что каждый мог его узнать. Темой ему обычно служило какое-нибудь сегодняшнее происшествие, иногда даже мельчайшее. Хильда, перепуганная крысой, влезла на стол.

Чепелкин бежит ей на помощь с кочергой, но сам явно боится крысы. Под этим подпись: "У него на счету двенадцать вражеских самолетов". Или долговязый техник Деев изображен в виде доктора, а к нему очередь больных самолетов: с перебитыми плоскостями, дырявыми фюзеляжами, свернутыми в сторону пропеллерами, развороченными моторами - и подпись: "Я и мертвых воскрешаю". Или опять же Чепелкин: летя над морем, он принял плывущее в воде бревно за вражеский катер и дал по нему очередь.

Особенно много было в "листке" Кабаыкова картинок, изображавших злоключения немецких асов, и тоже всегда подлинные, случившиеся на глазах у всей эскадрильи. "Юнкерс", удирая от Рассохина, безграмотно сделал разворот и врезался в сосну. Пять "Юнкерсов", заметив приближающиеся советские истребители, сбрасывают бомбы на свои войска, чтобы скорее удрать. "Мессершмитт", сопровождая "Юнкерс", неуклюже повернулся и протаранил его. Все эти картинки утверждали то, что каждому из них было уже известно по опыту: как летчики и воздушные бойцы они были искуснее немцев, обладали большим мастерством, и преимущество врага заключалось только в количестве самолетов.

Кроме своих рисунков, Кабанков помещал в "Боевом листке" и свои стихотворения. Впрочем, были это не стихотворения, а одна длинная поэма, не имевшая, как и музыка Кабанкова, ни начала, ни конца. Называлась она "Месть". В "Боевом листке" он помещал отрывки из нее, и всегда под заголовком каждого отрывка стояло в скобках слово "продолжение", а в конце - "продолжение следует". В отличие от рисунков, в поэме не было ничего смешного. Он писал в ней обо всем, что думал и что видел, и часто вспоминал Новгород, в котором родился и вырос:

Я вспоминаю Новгород родимый,
Знакомый домик, Волхов голубой.
На берегу высоком горделиво
Стоит собор с кремлевскою стеной.
Разрушил враг старинный русский город,
Мой дом сгорел, изрыт бомбежкой сад...
Напрасно ты, кровавый, хищный ворог,
Таким мечтаешь сделать Ленинград!
За грабежи, поджоги и убийства,
За девушек поруганную честь,
За всё, за всё проклятым кровопийцам
Месть!

Все важнейшие события, которые случались с летчиками в боях, на следующий день появлялись в очередном продолжении

поэмы. Когда Чепелкин, над которым Кабанков постоянно посмеивался в своих рисунках, оказался окруженным четырьмя "Мессершмиттами" и был спасен только тем, что ему на выручку кинулись все остальные летчики эскадрильи, он написал:

Да, смерть ушла от друга дорогого,
Его мы вырвали из вражеских когтей,
И как приятно чувствовать, что снова
Он с нами, здесь, летит среди друзей.

О немцах он писал не то что презрительно, а брезгливо и словно дразнил их тем, что им не удалось выполнить своих планов:

Пусть день и ночь грохочет канонада
Мы вытерпим; но вас из блиндажей,
Как погань, вышвырнем, - и Ленинграда
Вам не видать, как собственных ушей.

Из всех дарований Кабанкова Лунину самым удивительным казалось его умение сочинять стихи. Людей, умеющих плясать, играть на баяне, рисовать смешные картинки, Лунин встречал и раньше, но человека, умеющего сочинять стихи, встретил впервые. Поражало его то, что, хотя они жили в одной комнате, он никогда не видел, как Кабанков пишет стихи. Где и когда он их пишет? И однажды, оставшись с Кабанковым наедине, он спросил его об этом

- Я их не пишу, а придумываю,- сказал Кабанков.- Где придется. В полете.

И Лунин подивился еще больше. Как можно придумывать стихи в полете, когда всё внимание занято тем, как бы не заблудиться в тумане, не потерять товарищей, не врезаться в лес, не прозевать приказания Рассохина, не забыть о приборах, стрелки которых стремительно движутся, и, главное, не пропустить врага?

Кабанков был комиссаром эскадрильи, и Лунин нисколько этому не удивлялся. Хотя можно было бы спросить: почему Кабанков комиссар? Звание у него было строевое, а не политическое, ничего, кроме лётной школы, он не кончал. Член партии, конечно, но вот Серов, например, тоже член партии.

Оказалось, Кабанков стал комиссаром всего за день до прибытия Лунина в эскадрилью. В начале войны в эскадрилье был другой комиссар, человек нелетающий, кадровый работник. При эвакуации Таллина этот прежний комиссар погиб в Финском заливе, как и многие другие работники дивизии. Прибыв сюда на аэродром, эскадрилья оказалась без комиссара. Но приехал только что назначенный комиссар дивизии Уваров, переночевал с летчиками, поговорил с ними, послушал, как Кабанков играет на

аккордеоне, посмотрел "боевые листки" и, уезжая, назначил Кабанкова комиссаром эскадрильи.

Для всех это было неожиданностью. Никому прежде и в голову не приходило, что Кабанков будет комиссаром. Однако, едва это назначение состоялось, все почувствовали, что ничего естественнее и быть не может. В сущности, Кабанков был чем-то вроде комиссара и прежде, когда числился рядовым летчиком. Его любили, уважали и слушались, и он, не произнося речей, не отдавая приказаний, давно уже, сам того не сознавая, выполнял обязанности комиссара. Главная из этих обязанностей заключалась в том, что он присматривался к каждому человеку и пытался понять его. И когда понимал, старался помочь, или посоветовать, или поправить. Впрочем, возможно, он поступал бы так же, если бы и не был комиссаром эскадрильи. И, вероятно, даже если бы он и не был комиссаром, все чувствовали бы, что он здесь после Рассохина самый главный.

Тем не менее Кабанкову на первых порах нелегко было бы быть комиссаром, если бы не техник Деев, парторг эскадрильи.

За каждым самолетом был закреплен техник, которого так и называли "хозяин самолета". Если пять самолетов эскадрильи еще продолжали летать, несмотря на громадное перенапряжение, несмотря на множество пробоин, так только оттого, что техники каждую ночь, пока летчики спали, проверяли моторы, заменяли износившиеся части, залечивали раны. Это был тяжелый, изнурительный труд, не ограниченный никаким временем, не допускавший никаких промахов. Техники не успевали ни есть, ни спать, от мороза и ветра у них распухали, трескались пальцы.

Но тяжелее бессонницы и работы было сознание лежавшей на них ответственности. Летчик, вылетая, принимал свой самолет из рук техника и, вернувшись, опять отдавал его в руки техника. И все знали, что малейшая ошибка техника, малейший его недосмотр может привести к смерти летчика, к гибели самолета, к поражению в бою. Пока самолеты находились в воздухе и где-то там, за горизонтом, вели бои, техники не покидали аэродрома и молча ждали с бледными от напряжения и тревоги лицами. Они не отрывали глаз от неба: появятся или нет, вернутся или нет? И когда над верхушками елок возникал идущий на посадку самолет, "хозяин" узнавал его мгновенно и, пристально вглядываясь в его движения, жадно вслушиваясь в стук мотора, старался угадать, всё ли в нем цело, не ранен ли летчик.

Ежедневная многочасовая тревога за судьбу своего летчика привела к тому, что каждый техник относился к своему летчику с какой-то особенной, взволнованной, деятельной любовью. Он постоянно вглядывался в его глаза, чтобы узнать, хорошо ли он

выспался, не хочет ли он пить, не холодно ли ему, не жмет ли ему шлем под подбородком. Он старался помочь летчику всем, чем только мог, услужить, успокоить, избавить от лишнего труда.

- Наши техники как няньки, - говорил Кабанков. - У каждого из нас своя нянька.

И самая преданная нянька была как раз у Кабанкова - техник Деев. Этот долговязый, длиннорукий, длинноногий человек относился к маленькому Кабанкову с отцовской нежностью. Они были забавной парой, когда возились вдвоем у самолета; шутники рассказывали о них немало чудес: утверждали, например, что Деев берет Кабанкова на руки и сажает в кабину, как ребенка, или что Кабанков проходит у Деева между ногами. Между ногами он, конечно, пройти не мог, но под вытянутой рукой Деева проходил почти не сгибаясь, и этот номер демонстрировался не раз.

Дееву было уже за тридцать, и смотрел он на мир вокруг себя внимательными, серьезными глазами, в которых были и мягкость и суровость. От семьи своей, застрявшей где-то в захваченной немцами Смоленщине, он не имел никаких вестей, но страдал молча, не жалуясь. Он принадлежал к числу тех упорных, спокойных, скромных тружеников, которые несли на себе тяжесть войны, не согнувшись под нею. В эскадрилье к нему относились с особенным уважением, хотя он ничем, казалось бы, не выделялся. Прежний парторг эскадрильи летчик Ивашев был убит под Таллином, и парторгом стал Деев. И когда Кабанкова назначили комиссаром, Деев принялся помогать ему так же заботливо, как помогал на аэродроме у самолета.

Кабанкову долго не давалась одна из комиссарских обязанностей - он не умел проводить политинформации. Это было странно: обычно он легко и свободно говорил с любым человеком обо всем. О чем нужно говорить, он тоже хорошо знал: о народном горе, об ответственности каждого перед родной землей, перед будущим всего человечества, о стойкости, о долге, о вере в победу. Но когда он видел устремленные на него глаза всех мотористов и техников эскадрильи, собравшихся в заранее назначенный час, он словно немел, все мысли исчезали, голос становился глухим, и он ничего не мог произнести, кроме нескольких газетных фраз. И тут на помощь ему приходил Деев. Он задавал Кабанкову какой-нибудь вопрос и, не дожидаясь ответа, сам отвечал на него - спокойным, негромким, но всем слышным голосом. В сущности, этот ответ и был началом политинформации. Кабанков, позабыв о том, какое официальное мероприятие здесь проводится, вступал в разговор и обычно говорил очень хорошо - пылко, просто. В разговор вступали и

другие, и если было время, беседа долго не кончалась.

- Я без вас никак не могу, - жаловался Кабанков Дееву. - Вы мне нужны для прыжка. Как трамплин.

- Привыкнете, - говорил Деев. - Разговаривать не трудно научиться. Вы, главное, к людям присматривайтесь. Главное - люди.

Но это Кабанков знал и сам.

В минуты усталости и упадка Лунин часто замечал на себе внимательный взгляд Кабанкова. Что-то старался отгадать в нем Кабанков и не мог. Но Лунин не имел ни малейшего желания помочь ему. Кабанков, конечно, понимал это и ни о чем не спрашивал. Один только раз он как бы невзначай сказал Лунину:

- Я вижу, майор, вы никому писем не пишете.

- Никому, - ответил Лунин.

На этом разговор оборвался. И Кабанков никогда больше не делал никаких попыток узнать про Лунина то, о чем Лунин сам не говорил.

Зато в историю любви Серова Кабанков был посвящен полностью. В середине октября произошло событие, которое очень взволновало Серова, - из районо пришло наконец письмо, в котором сообщалось, где находится та школа, о которой он запрашивал. Назван был городок Молотовской области, о котором никто в эскадрилье никогда не слыхал. Кабанков тотчас же отправился на командный пункт и с торжеством принес оттуда карту, на которой был обозначен этот городок. Серов разложил ее у себя на койке, и все склонились над ней. Название городка было уже жирно подчеркнуто чернилами. Кабанков объяснял Серову, что это, безусловно, отличное место: районный центр, под боком река, до Молотова рукой подать, климат здоровый, и ни один немецкий самолет туда не долетит. Серов слушал и грустно соглашался.

- Ну, садись, пиши письмо! - сказал Кабанков.

- Хорошо, - сказал Серов.

Но не сел и письма писать не стал.

Вообще, к удивлению всех, известие из районо не только не обрадовало Серова, а, напротив, словно огорчило. Был он бледен, и молчалив необычайно. Ночью Лунин, просыпаясь, каждый раз замечал, что Серов не спит и смотрит в потолок блестящими глазами. На следующее утро в столовой Серов, поднимая ложку, вдруг замирал, не донеся ее до рта. Идя по аэродрому к своему самолету, он внезапно останавливался и стоял неподвижно до тех пор, пока Лунин не окликал его.

Вечером Кабанков спросил:

- Письмо готово?

- Нет еще...

- А ты пиши быстрее. Я для тебя замечательную оказию нашел.

И Кабанков рассказал, что послезавтра с одного из. ленинградских аэродромов отправляется в Молотов транспортный самолет штаба ВВС КБФ за дефицитными частями, а летчик с этого транспортного самолета - старинный приятель Кабанкова и верный человек. Завтра два оружейника со здешнего аэродрома едут на тот аэродром к транспортному самолету и могут передать письмо.

Возможность доставить письмо с оказией была чрезвычайно важна, потому что с тех пор, как немцы вышли на южный берег Ладожского озера, письма ходили по полтора месяца, а телеграмм частного содержания на ленинградском телеграфе просто не принимали. Но Серов, выслушав Кабанкова, ничего не сказал и писать письмо в тот вечер не садился.

В конце ночи Лунин проснулся, услышав громкий вздох. Серов, длинный, худой, сидел на койке, свесив босые ноги.

- Вы что? - спросил Лунин. - Не спится?

Серов, видимо, больше не мог терпеть.

- Когда я был у нее, школа еще не уехала, - сказал он. - Школа уехала только через шесть дней.

Лунин его не понял. Сбивчиво, свистящим от волнения шёпотом Серов объяснил. В середине августа он прилетел из Таллина в Петергоф. Из Петергофа его отпустили на несколько часов в Ленинград. Он был у своей знакомой на квартире, и соседка сказала ему, что его знакомая уехала из города вместе со своей школой. А теперь из ответа районо видно, что школа уехала только через шесть дней после того, как он был на той квартире...

- Ну и что? - спросил Лунин как можно спокойнее. Но и сам понимал, что тут что-то не то. Бедный Серов!

- Она не хотела меня видеть, - проговорил Серов. - И велела, соседке сказать, что уже уехала...

- Да что ты мелешь! - вдруг злобным голосом крикнул со своей койки Кабанков. - Ты что, знаешь что-нибудь? Ты ни черта не знаешь. Что ж ты врешь на нее?

Он скинул с себя одеяло и подбежал к Серову. Босой, он казался еще меньше. Маленькое личико его было красно от гнева.

Чепелкин, разбуженный, зашевелился и непонимающими глазами уставился на Серова. Серов весь осел, поник, губы его побелели. Он беспомощно озирался.

- Брось молоть! - кричал на него Кабанков, нисколько не сдерживаясь. Садись сейчас! Пиши! До подъема час остался. Успеешь!

И Серов, в рубашке, в кальсонах, сутулый и виноватый, покорно пошел к столу. Пока он писал, все молчали. Злобное выражение не сходило с лица Кабанкова.

Серов писал долго, потом сложил письмо треугольником и надписал адрес.

- Полевую почту нашу сообщил? - спросил Кабанков.

- Сообщил.

- Теперь напишешь второе письмо, - сказал Кабанков. - Слушай. Пиши.

И он продиктовал Серову письмо директору школы - с просьбой сообщить адрес Марии Сергеевны Андреевой.

- Это на всякий случай, - объяснил он. - Давай сюда!

Он взял оба письма и спрятал их к себе под подушку.

Письма были отправлены в тот же день, и о них больше не говорили. Да и вообще внимание было отвлечено от Серова новым обстоятельством: Чепелкин в столовой стал заглядываться на Хильду - точь-в-точь как прежде Байсеитов.

4.

Хильда действительно была хороша, а за последнее время даже как будто стала краше: легкая, тоненькая, лицо как из фарфора, с ярким румянцем от плиты, глаза голубые - кукла, ну просто кукла! Однако Чепелкин, относившийся к ней хорошо, как и все, никогда не обращал на нее особенного внимания - до тех пор, пока не случилось то происшествие с крысой, которое Кабанков изобразил в своем "Боевом листке". Крыса была большая и нахальная, она неторопливо и бесстрашно прогуливалась по столовой. Хильда была в столовой одна. Оглушительно визжа, Хильда влезла на стол. На ее крик в столовую вбежал Чепелкин, случайно стоявший в сенях. Он схватил кочергу и занял прекрасную позицию, отрезав крысе путь в кухню. Крыса с клочками седых волос на боках отступила в угол и черными злыми глазами глядела на Чепелкина. Хильда перестала визжать и, стоя на столе, подавала Чепелкину советы. Но Чепелкин действовал неуверенно. Медленно и не без колебаний двигался он к крысе. Крыса прыгнула ему навстречу. Чепелкин отступил. Правда, он тотчас же яростно стукнул кочергой по полу, но было уже поздно: крыса проскочила мимо него. Без особого страха и не очень быстро удалилась она в дверь кухни.

Хильда спрыгнула со стола. Она негодовала. Взяв кочергу, она стала показывать, как бы она действовала, если бы была Чепелкиным. В столовую вошли Кабанков и Серов. Она тут же всё рассказала им до мельчайших подробностей, показала, где стоял Чепелкин с кочергой, где сидела крыса. Чепелкин был посрамлен. Он пытался объяснить, какой ужасный у крысы хвост, длинный и

голый, но Хильда взглянула на него презрительно, и он замолчал.

С этого дня в отношении Чепелкина к Хильде произошла перемена, которую все сразу подметили. Сидя за столом, он молчал и смотрел на кухонную дверь. Когда Хильда появлялась, два ярких красных пятнышка возникали у него на щеках. Пока она двигалась по столовой, переставляя тарелки, он не отрываясь смотрел на нее, и пятнышки у него на щеках то разрастались, то сжимались. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он не понимал и отвечал не сразу, словно его разбудили. Что чувствовала при этом Хильда, неизвестно. Но она, конечно, тоже всё замечала и хмурилась, когда при ней вспоминали крысу.

* * *

В эти дни они наконец достоверно узнали то, о чем до сих пор к ним доходили только смутные слухи. Они узнали, что в Ленинграде голод.

Они защищали Ленинград и жили от него в нескольких километрах. Каждый день они по нескольку раз пролетали над Ленинградом. Но видели они его только сверху, с большой высоты. Жизнь их протекала либо в воздухе, либо на аэродроме, где не было ни одного гражданского человека.

О Ленинграде больше других должен был знать Рассохин: к нему то и дело приезжали разные люди из полка и из дивизии, да и сам он иногда ездил на своей полуторатонке в дивизию, на Поклонную гору, откуда до города рукой подать. Возможно, он и знал кое-что раньше других, но рассказывать не считал нужным.

Ни один из них не был ленинградцем. Все они, подобно Лунину, родились и выросли в провинции: Рассохин был вологодец, Кабанков - новгородец, Чепелкин - смоленский, Серов - тверяк. Перед войной полк их довольно долго стоял в Кингисеппском районе Ленинградской области, но и оттуда до Ленинграда было почти четыре часа езды, и один только Серов ездил в Ленинград каждый выходной день. Но, как все уроженцы русского Севера, они издавна тысячью нитей были связаны с Ленинградом. Он всегда поражал их .красотой, грандиозностью. Дни, проведенные в Ленинграде, каждый из них считал счастливыми днями, каждый мечтал быть там еще и еще. Имя Ленинграда возникало в их сознании сразу после имени Москвы.

И вот в Ленинграде голод. Они узнали об этом от оружейников. Обессилевшие от голода люди падали на улицах, и оружейники с аэродрома, ездившие в город на склад за вооружением, видели это собственными глазами. Летчиков теперь тоже кормили не так, как раньше. Раньше их кормили до того сытно, что никто из них не съедал положенного, кроме, пожалуй, Чепелкина. Теперь сразу всего стало меньше - и мяса и крупы.

Овощи исчезли совсем. Хлеб больше не ставили на стол, предоставляя каждому съесть столько, сколько он хочет, а делили на порции - по пятисот граммов в день на человека. Впрочем, Лунину, в общем, хватало и этого, несмотря на то что он привык есть много и несмотря на огромную трату сил во время ежедневных многочасовых полетов. Товарищам его, людям молодым, было, вероятно, маловато. Но никто из них не выразил никакого неудовольствия. А Серов, тот даже не съедал всего причитавшегося ему хлеба, а заворачивал в бумажку и. прятал в карман.

Дело в том, что техникам, обслуживавшим самолеты, давали только по триста граммов хлеба в день и по две тарелки супу - на обед и на ужин. И известие о том, что техники, эти самоотверженные, умные, изобретательные труженики, эти "хозяева самолетов", живут впроголодь, подействовало на летчиков угнетающе.

Стыдно и противно есть, зная, что твой товарищ, живущий рядом с тобой, голоден. Серов первый стал таскать свой хлеб своему технику. Глядя на Серова, и Лунин начал делать то же самое. К его удивлению, техник отказался брать хлеб. Лунин притворился обиженным, но и это не помогло. Тогда Лунин приказал. Техник был ему подчинен, не выполнить приказания не мог и взял хлеб. Так продолжалось несколько дней, пока об этом не узнал Рассохин.

Вечером Рассохин вошел в кубрик с расстроенным и злым лицом:

- Серов!

По его голосу, все интонации которого были уже хорошо изучены, стало ясно, что Серову предстоит разнос. Серов побледнел и вытянулся. Рассохин свирепо смотрел на него из-под рыжих ресниц.

- Вы что же, решили, что те, кто хлеб распределяет, ошиблись? спросил он Серова. - Вы думаете, что вы умнее их, и решили их поправить? Вы отдаете хлеб технику, а в Ленинграде дети голодают. Дети голодают, а нас кормят, чтобы у нас хватило сил прогнать немцев. Вам это непонятно, а?

Кончил он тем, что отвернулся и произнес, ни к кому не обращаясь:

- Не хлеб, а жизнь отдать надо...

Наступило молчание. Серов, бледный, продолжал стоять навытяжку. Лунину было неприятно, что влетело одному Серову, потому что он поступал так же, как Серов, и Рассохин, безусловно, знал это. Но Рассохин никогда не делал замечаний Лунину, - вероятно, оттого, что Лунин был старше его годами и

званием. Однако на этот раз он, помолчав, всё-таки сказал ему:

- А вам, майор, я удивляюсь.

Он повернулся и ушел.

В кубрике в этот вечер было тихо, - даже Кабанков и тот молчал и, сидя у себя на койке, с угрюмым видом штопал носки. Лунин лег не раздеваясь, закрыл глаза и притворился, что спит. Но сон не шел к нему, он знал, что не заснет, и, пролежав часа полтора, встал, накинул шинель и вышел.

С утра была оттепель, весь день лил дождь, снег растаял, и на дворе было так темно, что нельзя было разглядеть собственные руки. Лунин наугад побрел в этой тьме, радуясь, что холодный дождь стегает его по лицу. Внезапно он услышал чьи-то шаги; не успел посторониться и столкнулся с Рассохиным.

- Это вы, майор? - спросил Рассохин. - Куда вы?

- Так, - ответил Лунин.

- И я так, - сказал Рассохин.

Они стояли рядом, не видя друг друга, и молчали. Ноябрьский дождь шипел, и шлепал, и шелестел вокруг.

- Ну, я пойду... - сказал Рассохин и шагнул прочь. Однако опять остановился.

- У меня у самого пища в горло не лезет, - сказал он.

И ушел.

Лунин постоял, потом побрел, спотыкаясь о проволоки, которые накрутили здесь телефонисты, наткнулся на березу и прислонился к ней. Дети голодают. У Лунина не было детей, и жизнь сложилась так, что ему мало приходилось иметь с детьми дела. Может быть, от этого он, когда видел детей, так мучительно ощущал их хрупкость, слабость, незащищенность. Всякий раз, глядя на ребенка, он испытывал волнение: такой маленький, непонимающий, всё может обидеть его, уничтожить - автомобиль, человек, собака. Дети голодают и скоро начнут умирать.

Вот почему в последнее время немцы здесь сидят так тихо! Как это ему раньше в голову не приходило? Многомиллионный город - и никакого подвоза ниоткуда, кольцо, петля. Запасы? Разве можно запасти на три с лишним миллиона человек? Вероятно, есть запасы, вот их и тянут. Ну, еще месяц, ну, еще два... Немцы решили не рисковать, подождать немного и войти в мертвый город... Небывалый по жестокости замысел. Всё будет цело - дома, заводы. И тишина, тишина... Не будет только людей... Ему стало холодно, он вздрогнул.

А что там, в остальной России, за двумя линиями фронтов? Он приехал сюда два месяца назад и с тех пор не видел ни одного человека оттуда. Сюда доходят только сводки, краткие, тревожные. Мы оставили Орел, Брянск, Вязьму. Потом

Мариуполь. Это уже на Азовском море, недалеко от того места, где его училище, домик, сад. Потом появилось сообщение, что положение наших войск на Западном фронте ухудшилось и что немцы на одном участке прорвали нашу оборону. Так и сказано было. Западный фронт - это Москва. С тех пор прошло две недели. За эти две недели оставили Одессу, Таганрог, Харьков. А что же под Москвой? Под Москвой бои, больше ничего не известно...

Лунин вымок и продрог и нехотя побрел назад в кубрик. Он долго не мог во тьме найти крыльцо. Когда он вошел, в кубрике уже все спали, кроме Серова. Серов лежал с открытыми глазами, но, заметив Лунина, закрыл глаза и притворился спящим.

5.

Оттепель продолжалась несколько дней, потом опять прихватило морозцем, и пошел снег. Было только начало ноября, но казалось, что зима установилась окончательно. Снег шел много дней подряд.

Они теперь вылетали не часто, - не столько из-за снегопадов, сколько из-за полного бездействия немецкой авиации. Это вынужденное сидение на аэродроме томило и угнетало их. Им хотелось летать и сражаться во что бы то ни стало, потому что в эту трудную для страны осень, только летая и сражаясь, они могли жить, не чувствуя за собой вины.

- Неужели мы до Октябрьских праздников не собьем больше ни одного самолета? - говорил Кабанков.

Он быстро шагал по кубрику из угла в угол, сжимая свои маленькие крепкие кулаки.

До седьмого ноября оставалось всего несколько дней. К приближению этого привычного и любимого праздника в тот год относились с особым волнением. Враг угрожал всему, что было создано благодаря Октябрьской революции и что составляло смысл жизни каждого из них. И годовщину революции им хотелось отметить ударом по врагу.

Наконец утром шестого ноября тучи стали редеть, даже солнце показалось. Но слой тумана толщиной метров в восемьсот всё еще висел над морем и побережьем, и на рыжий солнечный диск, расплывчатый и огромный, можно было смотреть не мигая.

В это утро, по сообщениям постов наблюдения, кое-где были замечены немецкие самолеты. Только разведчики. Они бродили парами, держась низко, в тумане, и старались заглянуть в город, как заглядывают в кастрюлю, чтобы узнать, не готово ли.

- Лишь бы нам встретить их, лишь бы не разминуться! - говорил Кабанков, когда они по притоптанному яркому снегу бежали к своим самолетам.

Через минуту пять самолетов Рассохина, построившись клином, летели сквозь сияющий и дробящий солнечные лучи туман, как сквозь радугу. Держаться приходилось тесно, потому что даже при самом незначительном отдалении самолет соседа начинал двоиться, троиться и вдруг исчезал, словно его стерли резинкой. Они пошли к Ленинграду и прошли над устьем Невы. Нигде ни одного немецкого самолета. Свернули направо, прошли над Петергофом. Никого. Опять направо, к Кронштадту. Нет немцев. Может быть, и есть, но как их заметить, когда в пятистах метрах не видно ничего. Куда же теперь? По обычному пути к себе на аэродром, так ничего и не достигнув? Но над Кронштадтом Рассохин повернул к западу и повел их в открытый простор Финского залива.

Едва Кронштадт остался позади, как Лунин увидел перед собой четыре "Мессершмитта" - четыре темных длинных пятнышка с расплывающимися краями. Он видел их только одно мгновение, потому что Рассохин повернул и повел свою эскадрилью в сторону, чтобы "Мессершмитты" не успели ее заметить. Нужно было скрыться в тумане и напасть на немцев внезапно.

Самолеты эскадрильи легли на тот же курс, которым двигались "Мессершмитты", и, не видя их, шли параллельна им - левей и выше. Спустя минуту самолет Чепелкина отделился от остальных и ушел направо, в туман, один.

Это была уловка, которую они не раз обсуждали у себя в кубрике. Если "Мессершмитты" обнаружат, что их преследуют пять советских истребителей, они не примут боя, удерут, и туман поможет им скрыться. Нужно приманить их - и вот самолет Чепелкина будет отличной приманкой. Они непременно соблазнятся и нападут на одинокий советский самолет. Чепелкин завертит их, задержит, отвлечет их внимание, И уж тогда им удрать не удастся.

После того как Чепелкин исчез, они еще целую минуту шли, не меняя курса. Потом, вслед за Рассохиным, повернули направо.

Они не сразу нашли "Мессершмитты": проклятый туман заволакивал всё; они кружились, поднимались, опускались, а время шло, и Чепелкина могли убить. Они уже начали не на шутку тревожиться, когда вдруг выскочили прямо на немецкие самолеты. Четыре "Мессершмитта" со всех сторон клевали самолет Чепелкина.

Но Чепелкин был увертлив и ловок. Он крутился и переворачивался между летящими в него струями трассирующих пуль, он то взлетал вверх, то падал вниз, он виражил так круто, что "Мессершмиттам" ни разу не удалось поспеть за ним. При

этом он яростно огрызался, и как раз в то мгновение, когда товарищи увидели его, он убил немецкого летчика, и один из "Мессершмиттов" упал в скрытое туманом море.

За этой победой сразу же последовала еще одна. Когда три немецких летчика, заметив внезапно появившиеся советские самолеты, повернулись, чтобы отразить нападение, Чепелкин атаковал их сзади и сбил второй "Мессершмитт". Так уничтожил он два "Мессершмитта", прежде чем спешившие ему на помощь истребители успели вступить в бой.

Два уцелевших "Мессершмитта" пошли вверх и пропали в тумане.

Это было досадно. Разгоряченные погоней, обрадованные успехом Чепелкина, летчики мечтали о продолжении боя. Они довольно долго кружились над морем, надеясь снова наткнуться на вражеские самолеты. Наконец Лунин заметил впереди оба "Мессершмитта". Не желая принимать боя, они метнулись в сторону и сразу разъединились: один "Мессершмитт" пошел влево, другой вправо. Рассохин, Кабанков и Чепелкин понеслись за тем, который свернул влево, Лунин и Серов - за тем, который свернул вправо.

Лунин мчался на максимальной скорости и долго не терял свой "Мессершмитт" из виду. Но вдруг тот пропал. Пропал мгновенно, как будто его никогда и не было. Лунин никак не мог понять, куда он делся, и некоторое время мчался всё в том же направлении, надеясь, что вот-вот увидит его снова. Однако не видел ничего, кроме светящегося тумана, разделенного на радужные полосы - красную, оранжевую, желтую, зеленую, синюю.

Вероятно, "Мессершмитт" свернул, а он прозевал это, не заметил. Он обернулся, чтобы посмотреть, идет ли за ним Серов. Серова тоже не было. Нигде ничего не было, кроме тумана. Лунин остался один.

Он повернул, потом еще повернул; он возвращался и кружил, надеясь наткнуться на кого-нибудь из своих. Но все самолеты, и свои и вражеские, пропали бесследно. Лунин пошел вверх и поднялся над туманом. Огромный простор открылся перед ним. Холодное ясное небо бледно голубело. Но простор был пустынен - ни одного самолета. Горючее у Лунина шло к концу, а до аэродрома было далеко. Однако он решил еще раз попытаться найти своих и снова нырнул в туман. Он погружался в туман, как в мутную воду. Сквозь туман он увидел волны на поверхности моря. Увидев волны, он увидел две быстрые тени, скользящие по ним. Над самой водой "Мессершмитт" гнался за каким-то самолетом, уходящим широкими зигзагами.

Вероятно, это самолет Серова. "Мессершмитт" находился как раз под Луниным, и действовать нужно было сразу. Лунин спикировал на него, нажав гашетку. "Мессершмитт", пытаясь увернуться от Лунина, рванулся вправо, но на вираже задел крылом волну, перевернулся и исчез в воде.

Тем временем самолет, за которым гнался погибший "Мессершмитт", успел потонуть в тумане. Но Лунин скоро настиг его и подошел к нему. Нет, это не Серов, это Чепелкин. Лунин помахал ему плоскостями, пристроил его к себе и повел вверх. Горючего было мало, и он решил возвращаться над туманом, чтобы зря не плутать и иметь запас высоты. Но Чепелкин поднялся метров на сто и выше не пошел. Тут только Лунин заметил, что с самолетом Чепелкина что-то неладно.

Двигался самолет Чепелкина очень медленно и как-то рывками, словно прыгал. Может быть, "Мессершмитт" успел повредить ему мотор? Или Чепелкин ранен? Он не ответил Лунину, когда Лунин, подлетев, помахал ему рукой. До своего аэродрома Чепелкин может и не дойти. Нужно довести его до Кронштадта и там посадить.

Кронштадт долго не появлялся, и Лунин уже начал беспокоиться, не прошли ли они мимо. Но вот впереди из тумана выполз мыс, белый от снега, окруженный черной водой. Это был пустынный западный край острова Котлина, на котором расположен Кронштадт. Лунин почувствовал облегчение. Но, к его удивлению, Чепелкин на посадку не пошел. Он медленно двинулся дальше, на восток, над узким и длинным Котлином.

Это встревожило Лунина, но он успокоил себя, решив, что Чепелкин, конечно, знает, что делает. Он, безусловно, ранен, но, вероятно, уверен, что дойдет до своего аэродрома. Ну что ж, тем лучше!

Лунин много раз летал над Кронштадтом и хорошо знал его, хотя никогда в нем не был. Под ними потянулись длинные, прямые улицы с двухсотлетними угрюмыми каменными домами, сады и аллеи с редкими голыми деревьями. Из тумана выползла им навстречу громада собора. Они шли так низко, что купол был выше их. За собором - кирпичные стены заводов, высокие черные трубы, прямой канал, уже подернутый серым ледком. Моряки на улицах задирали головы, разглядывая самолеты, и Лунин ясно видел их лица. Чепелкин спустился еще ниже; Лунину показалось, что он всё-таки решил сесть. Можно сесть и здесь, в застроенной восточной части острова, на какой-нибудь пустырь. Но вот впереди уже выполз из тумана и восточный мыс, а Чепелкин всё летел и летел. Перевалив через последние крыши, они снова оказались над морем. Кронштадт остался позади.

Лунин хотел повести Чепелкина над островками, на которых расположены кронштадтские форты, но Чепелкин пошел прямым путем - наискось через Маркизову лужу, к Лахте. Радужный туман снова скрыл от них всё. Они тащились над самой водой, - теперь уже Чепелкин впереди, а Лунин метрах в тридцати от него, сзади. Под ними были большие плоские льдины и черные дымящиеся полыньи.

И вдруг самолет Чепелкина на глазах у Лунина неторопливо клюнул носом в полынью, погрузился и исчез.

Лунин кричал, хотя сам не слышал своего крика сквозь гул мотора. Крича, он всё кружил и кружил над тем местом, где исчез самолет Чепелкина. Он надеялся, что Чепелкин вот-вот покажется из воды, что не может всё так кончиться. Нет, он ни на что уже не надеялся. Он знал, что всё кончилось. Он просто не мог уйти от этого ужасного места и всё кружил и кружил...

Когда он очнулся, у него оставалось горючего на три минуты полета. Он взмыл и пошел к аэродрому. Пересекая береговую черту, он увидел впереди два самолета - это возвращались Рассохин и Кабанков. Где же Серов? Идя на посадку, он увидел на аэродроме самолет Серова. Значит, Серов вернулся первым.

Рассохин и Кабанков, только что приземлившиеся, стояли рядом с Серовым и, окруженные техниками, рассказывали. Когда Лунин, выйдя из самолета, подошел к ним, Кабанков обернулся к нему, блестя веселыми, счастливыми глазами.

- Майор! - закричал он. - Мы с капитаном на обратном пути еще один сбили! Недурно для праздника, а? Вдруг он увидел лицо Лунина и всё понял:

- Чепелкин?.. Лунин кивнул.

## Глава пятая.

## Перелет

### 1.

Двор большого дома на Васильевском острове в декабре был пустынен, заметён глубоким снегом, и только несколько, кривых тропок бежало от ворот к дверям. Дворник татарин Абрам по утрам выходил на борьбу со снегом. Он ужасно похудел за последний месяц и стал еще больше похож на великомученика с древней иконы: высокий, прямой, со скорбно-торжественным, испитым, темным лицом. Тощие ноги его болтались в широких новых валенках. Привычным движением он взмахивал лопатой и погружал ее в снег. Но после двух-трех взмахов вдруг останавливался и начинал странно качаться, словно длинное тело его не находило равновесия. Он садился на тумбу и, тяжело дыша, строго смотрел на снег. Он ненавидел его, но, обессиленный, ничего не мог с ним поделать. В этот час

профессор Медников обычно выходил во двор подышать свежим воздухом. Он останавливался возле Абрама, опершись на трость и важно откинув маленькую головку.

Все жившие в доме давно уже знали, что этот небольшой человек лет шестидесяти пяти, в пальто с дорогим мехом, в меховой шапке, в теплых ботах, с маленьким, воробьиным, но гордым личиком, - профессор. Хотя никому в точности не было известно, какой наукой он занимается, все - и женщины-домохозяйки, и дворник Абрам, и краснофлотец, делавший какое-то таинственное военное дело в одной из квартир второго этажа, - относились к нему с уважением, потому что уважали науку.

Чаще всего он молчал. Но иногда заговаривал с Абрамом. Речь его была монологом. Абрам сидел на тумбе, сурово смотрел на снег, и по лицу его нельзя было даже отгадать, слушает он или не слушает.

Однажды профессор протянул вперед левую руку, отодвинув рукав пальто, отогнул край перчатки и посмотрел на обнажившееся запястье, тоненькое, как у ребенка. Потом проговорил спокойно и назидательно:

- Когда нет пищи, человек съедает сам себя. Съедает сам себя в строгом порядке. Сначала он съедает весь жир, который ему удалось накопить за жизнь, всё, так сказать, лишнее, все запасы. Потом он начинает есть собственные мышцы.

Тут в раскрытых дверях, ведущих на лестницу, появилась Соня - в пальто, в белом шерстяном платке, в валенках.

- Дедушка, иди домой, ты замерзнешь, - сказала она. - Ты сегодня очень долго гуляешь. Идешь, дедушка?

Но дедушка, хотя и взглянул на нее, ничего не ответил. Он продолжал излагать свою мысль:

- Дольше всего остается неприкосновенным мозг, нервная система - самое драгоценное и самое невосстановимое в человеке. Когда человек начинает съедать свой мозг, возврата нет.

- Смерти боишься? - неожиданно спросил Абрам.

Профессор надменно взглянул на него.

- Своей смерти? - презрительно переспросил он. - Нет, своей смерти я не боюсь. Я со своей смертью никогда не встречусь: пока я жив, ее нет, а когда она придет, меня не будет. Вот смерть других...

Он нахмурился и замолчал.

- Кто не сдастся, тот не умрет, - проговорила Соня. -- Ну, дедушка, пойдем.

Она потянула его за карман пальто и увела домой.

Слова эти - "кто не сдастся, тот не умрет", - Соня выдумала не сама. Их сказала ей Антонина Трофимовна.

Соня одно время надолго потеряла Антонину Трофимовну из виду и только недавно встретилась с ней снова.

В октябре, когда налеты немецкой авиации на город почти прекратились, Антонина Трофимовна вдруг исчезла из того дома, где жила Соня. Она даже не заходила в свою комнату ночевать. Дежурствами по бомбоубежищу, по двору, по крыше теперь заведовали другие женщины; всех их обучила Антонина Трофимовна, и они строго соблюдали заведенные ею порядки. От этих женщин Соня узнала, что Антонине Трофимовне поручили какую-то более важную и ответственную работу и что там, на работе, она и ночует.

Как-то раз, через месяц, в очереди за хлебом одна девушка сказала Соне, что райком комсомола может устроить ее на военный завод. О военном заводе Соня думала давно; это, конечно, не то же самое, что пойти на фронт, но всё же она сможет работать, не покидая дедушку и Славу. В райкоме комсомола она до этого была всего один раз - весной, когда вместе с некоторыми другими девочками своего класса получала из рук секретаря комсомольский билет. Затем вскоре началась война, школа уехала, и всякая связь между Соней и комсомолом порвалась, только билет остался. Это очень смущало Соню, и в райком она пошла после долгих колебаний, с трудом преодолев робость.

В руке она держала свой комсомольский билет, из которого было ясно, что членские взносы она не платила уже несколько месяцев. Это особенно страшило ее. Но когда она вошла в райком, страх ее сразу пропал. С нею разговаривали девушки, самые обыкновенные, в платках и валенках. Они расспрашивали ее, и она сразу рассказала им о себе всё - про Славу, про дедушку, про смерть мамы. Оказалось, что устроить ее на завод вовсе не просто: одни заводы уехали, другие стояли, потому что не было топлива, а на тех, самых важных, где еще работали, людей хватало.

- Нужно ее к Антонине Трофимовне свести, - сказала одна из девушек, и все согласились.

Соне почему-то даже в голову не пришло, что это может быть та самая Антонина Трофимовна. Из райкома комсомола ее повели в райком партии, который помещался в том же здании. Они долго шли мимо дверей с табличками по длинным коридорам, где стоял мороз, как на улице. Антонина Трофимовна, в тулупе, в платке, в валенках, сидела в одном из ледяных кабинетов и говорила по телефону.

- Я вам, Антонина Трофимовна, одну дикую комсомолочку привела, сказала девушка из райкома комсомола. - Поговорите с

ней - может быть, она вам пригодится.

Она назвала Соню "дикой" не потому, что Соня действительно была дикая, а потому, что она не принадлежала ни к одной организации.

Антонина Трофимовна была всё такая же - с улыбающимися внимательными глазами под светлыми бровками. Только лицо ее несколько опухло, стало одутловатым.

- А мы хорошо знакомы, - сказала она, взглянув на Соню. - Что, удивилась? Меня теперь сюда поставили, Тут и сплю...

И сразу перешла к делу:

- В городе уже больше месяца не работает ни одна баня. Хочешь помочь мне открыть баню?

- Хочу, - ответила Соня, не поколебавшись ни на мгновение.

Лежавшие на столе пальцы Антонины Трофимовны, когда-то-такие тонкие и белые, распухли и плохо сгибались.

- В домах теперь не только помыться - и погреться нельзя,- говорила Антонина Трофимовна.- Все третий месяц спят не раздеваясь. И в городе ни одной бани. А как пустить? Топлива нет, транспорта нет, и людей, которые на ногах держатся, тоже нет... Ну, идем!

Она вылезла из-за стола. Тулуп на ней был короткий, из-под него торчала широкая, тоже короткая черная юбка, надетая поверх ватных брюк, вправленных в валенки. И всё-таки даже в таком наряде она не потеряла изящества и легкости движений.

- Я тут, в райкоме, наметила одну баньку, старинную, маленькую, говорила она, ведя Соню вниз по райкомовской лестнице. - У маленькой баньки и котлы меньше, топлива меньше нужно. Пойдем, поглядим, что там есть...

Они пошли по пустым, сияющим неправдоподобной чистотой снега линиям Васильевского острова. Мороз был такой, что у Сони дыхание спирало в горле.

- Ты чаю утром напилась? - спросила Антонина Трофимовна. - Если есть нечего, прежде всего, как встанешь, надо выпить стакан чаю или воды горячей, чтобы внутри не ссохлось и не захолодело...

Баня действительно была невелика. Занимала она столетнее одноэтажное каменное здание на углу двух переулков, шагах в ста от проспекта. Штукатурка на ней обвалилась от сырости, обнажив то там, то здесь голые кирпичи. Однако, пока они не свернули за угол, баня казалась им целой. Свернув за угол, они увидели, что все стёкла во всех окнах главного фасада выбиты. Дверь была не заперта, они толкнули ее и вошли в вестибюль. Крупные кристаллы снега блестели на чистом гладком полу, как нафталин. Казалось, что здесь еще холодней, чем на улице, -

холод тут был устоявшийся и прочный.

- Есть тут кто? Э-ге-гей! - крикнула Антонина Трофимовна.

Они прислушались. Тишина. Только ветер шелестел в разбитом окне, наметая на пол снежинки.

Перед ними было окошечко кассы, заложенное фанерой, справа - вход в первый женский класс, слева - в первый мужской. Темный коридор уходил куда-то вдаль, и что там - рассмотреть было невозможно. Но в углу вестибюля, в полумраке, они, приглядевшись, заметили еще одну дверь, пониже других, и прочли на ней надпись: "Дирекция". Антонина Трофимовна решительно подошла к этой двери и распахнула ее. И сразу отшатнулась. Им показалось, что они стоят над глубокой черной ямой. Крохотный огонек, как уголь, блестел далеко внизу, во тьме. В лица им пахнуло сырым теплом и .нестерпимым кислым запахом затхлого жилья.

- Дверь! - крикнул снизу хриплый женский голос. - Закройте дверь!

Взяв Соню за руку, Антонина Трофимовна осторожно шагнула вперед.

- Здесь лестница, - сказала она. - Не упади.

Они пошли вниз по скользким деревянным ступенькам. Фитилек, вставленный в баночку, бросал пятно тусклого света на стол. Приглядевшись, Соня рядом со столом различила какую-то кучу тряпья. Ей показалось, что тряпье это шевелится.

- Есть здесь кто-нибудь из дирекции? - громко спросила Антонина Трофимовна, и властный голос ее прозвучал необыкновенно трезво в этой жуткой, таинственной пещере.

- Я, - ответил хриплый женский голос.

- А кто вы?

- Директор...

Из груды тряпья выползла женская фигура, закутанная поверх пальто и платка одеялом. Старуха. Согнута, как горбунья. Лицо темное почти до черноты, острый горбатый нос, недобрые глаза. Настоящая ведьма, такая только во сне может присниться.

- А вам что здесь надо? - спросила она грозно.

- Мы из райкома, - сказала Антонина Трофимовна.

- А, проведать пришли! - сказала директорша насмешливо и враждебно. Ну вот, как видите... Я тоже сюда от райкома поставлена. В сентябре. Чтобы работу наладить...

- Э, да я вас помню! - воскликнула Антонина Трофимовна. - Вы еще ко мне заходили... Сколько же вам лет?

- Двадцать четыре, - ответила директорша. - Что, изменилась?

- Пожалуй, изменилась...

- Я в зеркало не смотрю,- сказала директорша угрюмо.

- А меня разве не помните? - спросила Антонина Трофимовна.

- Теперь по голосу узнала...

Они замолчали и долго молча смотрели друг на дружку. Потом Антонина Трофимовна оглядела каморку, в которой помещался директорский кабинет, и спросила:

- Почему здесь темно?

- Потому что затемнение не снято...

- А почему вы днем не снимаете?

- Вечером опять затемнять...

- Так нельзя, - сказала Антонина Трофимовна строго.

Она легко вскочила на стул, со стула на стол и сняла с окна штору из синей бумаги. Покрытое толстым слоем льда полуподвальное окно упиралось в сугроб, и дневной свет проникал только через самый верхний край его. Но всё же комната озарилась вся - с двумя заваленными тряпьем кроватями, с жестяной печуркой, с грудой каменноугольной пыли, сваленной прямо в угол, и огонек на фитильке стал почти невидим. Антонина Трофимовна потушила его, шумно слезая со стола.

- Вы здесь и живете?

- Пока живу.

- Что значит "пока"?

- Сами знаете. Пока живу, а завтра умру.

- Почему завтра?

- Ну, может, сегодня...

- И давно вы здесь ночуете?

- Давно, - сказала директорша. - У меня дома топить нечем.

- Одна?

- Нет, я тут была с Лизаветой...

- Какая Лизавета?

- Старшая банщица первого женского класса. Вот ее постель.

- А где она?

- Умерла. Третьего дня. Я ходила за хлебом, вернулась, а она уже застыла. Вчера я ее выволокла в первый женский класс, на мороз, положила на полок...

- Там она и лежит?

- Там и лежит...

Соня слегка отодвинулась от кровати Лизаветы. Лицо Антонины Трофимовны приняло строгое, замкнутое выражение. Она словно хотела сказать: "Ну, довольно болтать, с тобой до хорошего не доболтаешься, поговорим о деле".

- А баня как? - спросила она.

- Мы дольше всех в городе работали, - сказала Директорша. - У нас котлы маленькие, меньше угля берут.

- Ну, а сейчас?

- Что "сейчас"? - не поняла директорша.

- Сейчас не работаете?

Тощее, черное, птичье лицо директорши дернулось от смеха:

- Да вы что, не видите, что у нас все стёкла высадило?

- И стёкла высажены и угля нет?

- Почему угля нет? - сказала директорша с некоторой даже обидой. - Я же и говорю, что уголь есть. Я, как пришла сюда, прежде всего угля напасла. Мне угля еще месяца на полтора хватило бы. И в печке моей этот уголь горит, Лизавета из котельной натаскала. У меня хорошая истопница была, всё топила да топила, мы дольше всех работали, одни на весь город остались...

- А где ж она теперь?

- Истопница? Как стёкла вылетели, она домой ушла. А что ей здесь делать? Она уже еле на ногах держалась. Может, и умерла...

- Да,- сказала Антонина Трофимовна,- стекол мы не достанем. Их во всем городе нет. Да у вас все ли стёкла вылетели?

- В трех классах ни одного стекла не осталось. В первом женском, в первом мужском и во втором мужском. По всему фасаду.

- А это как же? - спросила Антонина Трофимовна, указав на стекло в окне директорского кабинета.

- Да это же во двор выходит. Во дворе окна целы...

- А у вас все классы окнами на улицу?

- Почему все? Второй женский окнами во двор. Там стёкла есть...

- Вот там и обогреть, - сказала Антонина Трофимовна.

- Один класс?

- Один класс. Посменно.

Директорша опять рассмеялась.

- Ну, это не раньше будущей зимы, если система весной оттает, сказала она. - Ведь система-то замерзла.

- Система?

- Ну, трубы, понимаете. В трубах лед. Их теперь без автогена не отогреешь.

- А мы автоген достанем, - сказала Антонина Трофимовна. - На любом заводе. Скажем: пришлите нам автогенщика, и первыми будете мыться.

- Нет, вы не шутите? - проговорила директорша хмуро, но без прежней враждебности.

- Не шучу, - сказала Антонина Трофимовна. - Я и не думала, не гадала, что у вас уголь есть. А раз уголь есть, мы всё остальное достанем.

Директорша задумалась.

- А кто же будет работать? Ведь я одна осталась, у меня никого нет...

- Дадим тебе народу, дадим! Вот она будет работать, - сказала Антонина Трофимовна, указав на Соню.- Сколько тебе человек надо? Десять? Пятнадцать? И пятнадцать дадим. Я тоже работать буду...

- Пойдемте, я вам всё покажу! - внезапно сказала директорша. - Там еще в одном классе можно обогреть, если два окна фанерой забить. Система - я не знаю как... Если истопница успела из системы воду спустить, так система, может быть, ничего.

Она сбросила с себя одеяло, швырнула его на постель и, тоненькая, сгорбленная, с грязным старушечьим личиком, заторопилась наверх, ведя за собой Антонину Трофимовну и Соню.

Так Соня приняла участие в восстановлении бани. Каждый день она с раннего утра шла в баню и проводила там всё время до вечера. Антонина Трофимовна действительно привела в помощь директорше девушек - не пятнадцать, конечно, а только пятерых, но и это было немало. Все они прежде работали на ниточной фабрике; фабрика летом уехала, а они по разным случайным причинам остались. Они входили в состав девичьей комсомольской бригады, которая сложилась в конце лета на строительстве укреплений под Ленинградом. Когда они вернулись в город, Антонина Трофимовна уговорила их бригаду свою не распускать, и они помогали ей в самых разнообразных работах, необходимых для того, чтобы люди могли жить.

Все они были закутаны с ног до головы - наружу торчали только закопченные носы и потрескавшиеся щёки - и никогда не раздевались, потому что никогда не бывали в тепле; у них от голода гноились пальцы на руках и пухли ноги, они с трудом ходили, а всё-таки по молодости были очень разговорчивы, смешливы и даже неравнодушны к своей наружности.

- Вот если бы ты видела меня до войны! - говорила Соне то одна из них, то другая.

Все они, подобно Соне, любили Антонину Трофимовну и, подобно Соне, отдавали все силы души, чтобы восстановить баню.

Но восстановление бани двигалось медленно. Всем распоряжалась директорша, которая вылезла из своей пещеры и оказалась очень дельной и властной. Она ревновала девушек к Антонине Трофимовне и старалась показать им, что в бане главная она, а не Антонина Трофимовна. Она даже умылась снегом, и лицо у нее теперь было белое, бледное, с морщинками, лицо девочки-старушки.

Два дня добывали они фанеру для окон, волокли ее на себе

через Неву по льду, потом еще день прибивали эту фанеру к рамам. Сначала казалось, что никто даже молотка приподнять не может, но когда Антонина Трофимовна взобралась на подоконник и сама прибила первый лист, никому отстать от нее не хотелось. Прибивание фанеры взяла в свои властные руки директорша и всё делала одна, разрешая девушкам только подавать гвозди. В котельную, опираясь на палку от швабры, приползла истопница. Всю ее раздуло от голода, переполнило водой, она дышала громко и часто, на ее одутловатом, распухшем лице глаз почти не было видно. Она села на кучу угля и сразу же разбранилась с директоршей, доказывая, что, уходя, всё сделала правильно, воду из системы спустила, и теперь нужно только что-то отключить и что-то отогреть - и будет тепло, и вода пойдет.

Ходить она не могла, и всё делали девушки: и трубы отключали, и уголь швыряли в топки, - а она только сидела и распоряжалась. Баба она была злая, ругательная, никогда никого не хвалила, на всех кричала и, рассердясь, замахивалась палкой от швабры, так что подходить к ней близко было опасно. У девушек появилась еще одна обязанность - крутить ей самокрутки. Она была курильщица и уверяла, что жить без еды может, а без табака умрет. К ужасу всех, она рассказывала, что выменивает свой хлебный паек на.табак. Но пальцы у нее распухли, и скручивать ими самокрутки она не могла. Она подзывала какую-нибудь из девушек и заставляла ее крутить, причем сердилась и бранилась, если самокрутка получалась не такая, как ей хотелось.

Но дело отопления она действительно знала и проявила много умения, находчивости, осторожности. Осторожность была особенно нужна, потому что, если бы хоть где-нибудь лопнула труба, всё пропало бы. Она медленно-медленно поднимала температуру в котлах и беспрестанно прислушивалась к шелестам в трубах. Ночевала она тут же, в котельной, директорша и Соня перенесли ей туда кровать Лизаветы. И на третьи сутки термометр во втором женском классе показывал уже два градуса тепла.

Это ужасно взволновало директоршу, которая теперь твердо уверовала в то, что баня будет работать. От былой ее слабости не осталось и следа: она возбужденно сновала вверх и вниз, всюду старалась поспеть, отдавала распоряжения своим хрипловатым голосом и за всякую работу бралась сама. Она решила вымыть второй женский класс, сняла с себя пальто, жакетку, юбку и, полуголая, тощая, как комар коси-сено, терла тряпкой каменный пол. Вот тогда-то, глядя на нее, Антонина Трофимовна и сказала Соне, что тот, кто не сдастся, не умрет.

2.

Финские войска захватили перешеек между озерами Ладожским и Онежским и вышли на северный берег реки Свири. Немцы двинулись им навстречу от станции Будогощь, заняли город Тихвин. Вокруг Ленинграда образовалось второе вражеское кольцо - с узким разрывом, километров в двадцать, между Тихвином и южным берегом Свири. По этому разрыву не проходило ни одной дороги - ни железной, ни шоссейной.

О потере Тихвина Совинформбюро сообщило тридцатого ноября. Лунина сообщение это особенно потрясло. На стене в землянке Рассохина висела карта Ленинградской области, и благодаря постоянному разглядыванию этой карты Лунин отчетливо представлял себе, что происходит. Ленинград, где множество людей сражалось, работало и умирало, как бы медленно вползал всё дальше, всё глубже в тыл врага.

Во время полетов Лунина невольно тянуло в сторону города, чтобы хоть сверху заглянуть в него. Он знал, что весь осажденный немцами прилегающий к Ленинграду клочок земли можно пересечь поперек на самолете за десять минут. Но летать над городом удавалось ему не часто, и рассмотреть что-нибудь сверху было нелегко.

Однажды в декабре он, сопровождаемый Серовым, пролетел над всем городом - с севера на юг.

День был довольно светлый, бледное небо ясно. Но понизу стлалась дымка изморози, и крыши зданий плыли в ней, как в молоке. Лунин видел ущелья улиц, прямых и длинных, но что было на дне этих ущелий, он различить не мог, хотя иногда спускался к самым крышам. А как ему хотелось увидеть, узнать! Трамваи не ходят, но пешеходы всё же есть.

Нет, это совсем не мертвый город! Осажденный город жив, и даже сквозь стлавшуюся метель Лунин безошибочно угадывал приметы его суровой жизни: батареи зенитных орудий на просторных площадях, движущиеся башни кораблей, уже вмерзших в лед Невы, деловито бегущие по улицам военные грузовые машины.

А когда они с Серовым проходили над южной частью города, сплошь застроенной громадными корпусами заводов, Лунин стал замечать то над одной высокой кирпичной трубой, то над другой слабенький дымок. Эти мужественные дымки, мотавшиеся на ветру, свидетельствовали, что в городе есть не только камни, но и люди, и что люди эти трудятся.

Лунин шел над заводами долго, минуты две, удивляясь громадности города, пока не увидел перед собой огромное поле, очень ровное, засыпанное тонким слоем снега. Линия фронта,

подошедшая на юго-западе к Ленинграду вплотную, с юга отступала от города километров на пятнадцать, на двадцать, а в районе Колпина даже на двадцать пять. Лунин хорошо рассмотрел этот край на карте и теперь сразу же узнал две железные дороги, которые пересекали поле, постепенно расходясь, как расставленные пальцы. Он видел на рельсах цепочки вагонов, паровозы.

И вагоны и паровозы были неподвижны, многие из них разрушены. Видел он и сероватую полоску автомобильной дороги, еле выделявшуюся среди окружающей белизны. По ней на большом расстоянии друг от друга ползли к фронту три машины с красноармейцами.

Далеко впереди он увидел широкий, приземистый холм, поднимавший над полем рощу из редких стволов. Помня карту, он догадался, что это Пулкова гора, и пошел к ней. Там находилась знаменитая Пулковская обсерватория. Фронт проходил совсем рядом. Но Лунин решил дойти до нее.

Следя за полем внизу, он теперь стал замечать, что на нем время от времени внезапно возникают маленькие темные пятна.

Он хорошо знал, что это такое: по полю бьет немецкая артиллерия, снаряд, разрываясь, переворачивает землю, и на снегу образуется темное пятно. Он решил набрать высоту, пройти над Пулковой горой и посмотреть, где стоят немецкие батареи. Но не успел он подняться на сотню метров, как у него замолк мотор.

В этом не было ничего неожиданного, так как перебои в его моторе случались не раз и раньше, - вероятно, еще и в то время, когда на этом самолете летал Никритин. За шесть месяцев войны самолет Лунина побывал в таких переделках, столько раз был пробит и залатан, что Лунин постоянно удивлялся, как это он вообще летает. Еще в самый первый свой полет на этом самолете он сделал вынужденную посадку из-за внезапной остановки мотора в воздухе. Впоследствии, когда мотор начинал глохнуть, он уже больше не садился на землю, так как знал, что стоит немного подождать - и мотор опять потянет. Но для этого нужен был запас высоты, а высоты у него не было. Он летал низко, потому что хотел получше рассмотреть город и поле. И земля быстро шла ему навстречу.

Хорошо, что он не успел перемахнуть через линию фронта. Теперь только бы переползти через ту часть поля, куда падают снаряды. Он осторожно планировал, надеясь, что мотор вот-вот заговорит. Но мотор молчал, до посадки осталось несколько секунд. Он выпустил шасси и сел на мерзлую землю, покрытую неглубоким снегом.

Пролетая над этим местом, он не представлял себе, что здесь так шумно. Воздух был полон отвратительного воя и грохота. Едва он сел, как справа от него, метрах в семидесяти, поднялся столб дыма, и самолет качнуло взрывной волной. Нужно торопиться. Лунин выскочил из кабины.

Он хотел добраться до мотора, но тут опять грохнуло где-то за спиной. Лунин упал на снег ничком. Ну и местечко для посадки! Он поднялся и осмотрелся, отфыркиваясь от снега, залепившего лицо. Серов, конечно, не ушел никуда, самолет его кружит и кружит над Луниным. Снежная равнина вокруг казалась Лунину пустынной. Пулкова гора смутно возвышалась вдали, закрывая горизонт. Город тоже был виден: он начинался прямо у поля громадами домов. Далеко сбоку, крохотные, как букашки, ползли те самые три грузовика с красноармейцами, которые Лунин видел сверху.

Только он залез руками в мотор, как снова отвратительный визг и взрыв. Лунин присел. Так они никогда не дадут ему кончить. И чего они бьют сюда? Ведь здесь, кажется, пусто. Может быть, они видели, как сел его самолет? Но они пахали снарядами всё это место, еще когда он был в воздухе. Вероятно, заградительный огонь.

Э, да здесь вовсе не так пусто!.. На куче земли, выброшенной из-под снега снарядом, кто-то копошился. Какая-то маленькая фигурка в черном. В первое мгновение Лунину даже показалось - собака. Но нет, не собака. Фигурка выпрямилась. Мальчик!

"Опять! - в ужасе подумал Лунин, вспомнив мальчика Зёзю. - Ну и везет же мне!.."

Но мальчик этот нисколько не похож на Зёзю. Ему было лет двенадцать, и одет он был, как одевают мальчиков в культурных городских семьях. Пальтишко на нем было добротное, хорошо сшитое, даже с мехом на воротнике, шапка кожаная, закрывающая уши, валенки аккуратные, прочные, с союзками. Держа в руке что-то похожее на полупустой мешок, мальчик со спокойным вниманием разглядывал Лунина и его самолет.

- Что ты здесь делаешь? Пошел! Пошел! - закричал на него Лунин, замахав руками.

Тут опять взвизгнул снаряд, и Лунин присел. Когда после взрыва он поднял голову, мальчик стоял на том же месте, не обратив на взрыв никакого внимания. Лунину стало неловко за свои приседания.

- Пошел! Пошел! - снова замахал он мальчику руками.

Но мальчик спокойно и неторопливо двинулся к самолету. У него было маленькое, посиневшее от холода, хрупкое детское личико со светлыми твердыми глазами. Он остановился рядом с

самолетом и довольно презрительно сказал:

- "Ишак".

- Ты что здесь делаешь? Зачем ты здесь? - сказал Лунин, возясь в моторе и поглядывая на мальчика одним глазом. Но мальчик не счел нужным ответить.

- Ведь "Лагг" лучше "ишака", правда? - спросил он быстро. - А "Миг-3"? Говорят, что "Миг" хорош только на большой высоте...

Опять вой, опять взрыв. Лунин втянул голову в плечи. Ему мучительно хотелось присесть. Но мальчик даже не нагнулся, а только мельком глянул в сторону взрыва. Конечно, после этого приседать было уже невозможно.

- Ты не боишься? - спросил Лунин.

- Нет.

- А вдруг тебя убьют?

Мальчик презрительно поморщился:

- Не попадут.

- Откуда ты знаешь?

- Я маленький, а поле большое, - сказал он. - Они ведь не по целям бьют, а по площадям...

Он еще подумал и поправился, как бы стараясь утешить Лунина:

- Мы с вами маленькие, а поле большое...

- А где ты живешь? - спросил Лунин.

- В городе.

- А сюда как попал?

- За картошкой.

Он подошел к Лунину и раскрыл свой мешок. Заглянув, Лунин увидел на дне что-то черное, похожее на комья земли.

- Это что?

- Картошка. Здесь было картофельное поле. Ничего не убрали, всё так и осталось. Они бьют сюда, переворачивают землю и картошку выбрасывают наверх.

- Так ты оттого сюда ходишь, что здесь стреляют?

- А ее иначе из-под снега не достать. Земля замерзла. Как железная.

Снова провыл снаряд, снова взрыв, но на этот раз Лунин даже не вздрогнул, ни на мгновение не оторвался от мотора, - ведь поле большое, а он маленький...

- Как тебя зовут? - спросил он мальчика.

- Ростислав.

- Ростислав?

- Ростислав Всеволодович Быстров.

- Отец у тебя есть?

- Он на фронте. Только не здесь, далеко.

- А мать?
- А мама не вернулась.
- Не вернулась?
- Поехала укрепления копать и не вернулась.
- С кем же ты живешь?
- С дедушкой.
- Это дед посылает тебя сюда за картошкой?

- Нет. Он не знает, где я достаю.

Лунин выхватил из рук мальчика мешок и влез в кабину. В кабине он достал весь свой "неприкосновенный запас" - шоколад, консервы, галеты - и, не распечатывая, сунул его в мешок. Потом кинул мешок в снег.

Мотор зарокотал. Винт завертелся, взвивая снежную пыль.

- Отойди! - крикнул он мальчику во всю мощь своих легких.

Помчался и взлетел. Обернувшись, он видел, как мальчик с мешком в руке стоял и смотрел ему вслед. Крошечная черная точка на снегу. "Вот после войны возьму такого мальчика и усыновлю, - думал Лунин. - Будем жить вдвоем, и никого больше не надо..."

В воздухе к нему пристроился Серов, и они пошли на аэродром.

3.

"Пока я жив, смерти нет. Когда смерть придет, меня не будет. Мы с ней никогда не встретимся".

Так думал Илья Яковлевич о своей смерти и горделиво вздергивал маленькую головку.

Он всегда был горд и самолюбив. В молодости он отличался слабым здоровьем, вид имел тщедушный и болезненный, и это было тяжело для его самолюбия. Вот почему он тогда так упорно стремился в самые трудные экспедиции. Реки русского Севера, реки Сибири, в те давние времена почти не изученные... Он был слабее всех, но не только не отставал ни от кого, а шел впереди сильных. Нет другой страны на свете, в истории которой реки имели бы такое значение, как в истории России. Да, реки честно служили России в прошлом, но в будущем они послужат ей еще несравненно лучше, в этом нет у него никакого сомнения... Он благодарен судьбе, что так много странствовал в молодости, что всё повидал своими глазами. Он накопил такое множество наблюдений, измерений, записей, цифр, что потом, когда настала пора обобщений, он чувствовал себя совершенно свободно.

Тогда, в те далекие годы, он - по зимам - тоже жил в этом городе, в этом же доме, в этой самой квартире. Жена умерла в первый год той войны, и он остался вдвоем с Катенькой. Катеньке шел тогда четырнадцатый год; она была тоненькая, болезненная, в коричневом гимназическом платьице, в черном переднике. Он тогда не женился, хотя мог бы жениться; не женился из-за Катеньки и ни разу потом не пожалел об этом. Ему никого не нужно было, кроме Катеньки. А чьи это шаги там, за стенкой? Не Катенькины ли? Нет, ведь Катенька всё еще не вернулась...

Илья Яковлевич почувствовал щекотанье в носу и слезы на глазах. Он медленно вытащил из кармана халата носовой платок

и грозно высморкался.

- Соня! - позвал он.

Но никто ему не ответил. Он один был в квартире. Дети постоянно то приходят, то уходят, ничего ему не говоря. А он не может уследить за их приходами и уходами, потому что часто засыпает.

Кухня. Он давно уже живет в кухне, возле жестяной печурки, очень давно, месяца два. Здесь он работает, здесь, на кухонном столе, стоит его чернильница. Здесь он закончил свою монографию о Ладожском озере. Поставил точку. И рукописи больше нет на столе, он отнес ее в библиотеку Академии наук: там будет сохраннее... Теперь он принялся за другую работу - так, пустяки, приводит в порядок кое-какие записки. Монография его кончена, он свое сделал.

Он привык к этой кухне. Кастрюли на полках блестят тускло, еле-еле, потому что оконное стекло покрыто толстым слоем льда. Печурка потухла и совсем остыла, - наверно, он опять заснул. Здесь, должно быть, очень холодно. За последнее время он стал почти нечувствителен к холоду. Руки и ноги у него одеревенели и ничего не чувствуют. Иногда перо вываливается из пальцев, а он и не замечает. Вот дети - те мерзнут, особенно Соня: у нее пальцы распухли, растрескались и гноятся... Триста шестьдесят граммов хлеба в день на троих - и больше ничего, совсем ничего. Ну, он часто не ест своей доли, осторожно подкладывает им, но это не всегда удается. Соня стала так подозрительна, догадывается, следит, требует, чтобы он ел при ней.

Как они тощи оба, и Соня и Слава! У Славы шейка такая, что всю ее можно обхватить двумя пальцами. Было бы еще хуже, если бы на прошлой неделе Слава внезапно не принес восемь картофелин, да еще пачку галет, консервы, шоколад. Всё это дал ему летчик, спустившийся с неба... Не очень правдоподобно... А впрочем, кто его знает?.. Неужели всё хорошее неправдоподобно, а правдоподобно только дурное?.. Дети, поев, спали часов двадцать от непривычки к еде, а потом проснулись и снова ели. Он тогда здорово обманул Соню, - всё-таки она простодушна, как младенец, обмануть ее ничего не стоит. Он всё раскрошил, чтобы куски нельзя было подсчитать, а потом помаленьку подбрасывал из своей порции. Да его стошнило бы от шоколада! Ему теперь от еды только хуже становится, он уже перешел черту, и возврата ему нет... Это Катенькины дети...

Он опять почувствовал щекотанье в носу и крякнул, прочистил горло. Нельзя опускаться, нужно пойти погулять, зайти в библиотеку. Подумать только - библиотека продолжает работать! В залах двадцатиградусный мороз, а библиотекарши,

обессилевшие от голода, лазают по стеллажам, переносят наиболее ценные экземпляры в подвал, чтобы уберечь от бомбежек... Ему нужно зайти в библиотеку по двум причинам. Во-первых, чтобы они там не беспокоились о нем, чтобы они знали, что он жив. А во-вторых, он хотел проверить - правда ли, что рукопись его монографии затребована Академией наук в Москву и отправлена туда на самолете. Удивительная у нас всё-таки страна: враг стоит у ворот Москвы и Ленинграда, а наука продолжает жить, науку не забывают, интересуются даже новой монографией о Ладожском озере...

Он принялся надевать валенки. Эти валенки дней пять назад перестали налезать ему на ноги, и тогда он обнаружил, что ноги у него распухли. Он разрезал валенки в нескольких местах лезвием безопасной бритвы, и теперь они снова налезали. Он снял халат, намотал вокруг шеи шарф, надел шапку, пальто, варежки, взял в руки трость, вышел и захлопнул дверь: у Сони и у Славы есть свои ключи.

По узкой тропинке между высокими сугробами он прошел через двор и вышел на улицу. Прежде чем направиться в библиотеку, он решил прогуляться. Тропинка, бежавшая вдоль стены, была так узка, что прохожим при встрече приходилось залезать в снег, чтобы пропустить друг друга. Впрочем, прохожих было очень мало. Дойдя до угла, Илья Яковлевич свернул и побрел к Неве.

По пути он увидел три трупа - два, лежавших здесь еще вчера, и один новый. Илья Яковлевич не разглядывал мертвых, чтобы грубым любопытством не оскорбить достоинство смерти. Проходя мимо, он слегка приподнимал свою меховую барственную шапку, служившую ему уже не менее двадцати пяти зим.

Он вышел на набережную и облокотился на парапет, оборотясь спиной к университету. Морозный туман стлался по Неве. Адмиралтейство и Исаакий на противоположном берегу словно не касались земли, словно плыли в воздухе. Справа - желтое здание Сената с прогоревшей от бомбы крышей, слева - Зимний дворец. Илья Яковлевич всё это видел уже тысячу раз, но и в тысячный раз задохнулся от величия и прелести того, что видел. Ну и город! Надменный, нарядный, моложавый! Илья Яковлевич чувствовал этот город частью самого себя и гордился тем, что прожил в нем жизнь.

От этих громадных неубранных сугробов снега, от всей суровой судьбы своей Ленинград только молодеет и хорошеет, как молодеет и хорошеет он от бурь и туч, постоянно висящих над ним.

Илья Яковлевич уже не в первый раз видит эти сугробы, эту

пустынность улиц. Так было и тогда, в девятнадцатом году. В городе не было еды, не было топлива, не было света. Юденич перерезал пути, но город стоял суровый, непреклонный и непобедимый.

В те годы, в годы революции, Илья Яковлевич не принадлежал к числу тех старых интеллигентов, которые трусливо сочувствовали белым и мечтали об эмиграции. Он не был большевиком, но большевики ему нравились с самого начала, он с любопытством и почтением приглядывался к ним. Ему нравилась их любовь к человеческой мысли, их уверенность в ее силе. Он тоже всю свою жизнь больше всего любил человеческую мысль и верил в нее. Он с самого начала, еще в дни саботажа, стал работать вместе с большевиками, и большевики знали, кто он такой, ценили его и всё предоставили ему, лишь бы он только работал.

И сколько он работал! Недоброжелатели утверждали, что он всего только наблюдатель, неспособный на обобщения. Но ведь надо сначала наблюдать, а потом обобщать. Когда он стал обобщать, нашлись люди, которые уверяли, что он, мол, слишком отрывается от практики, слишком заносится, что вся его возня с реками - пустое занятие.

Но ему сказали: не слушай, делай свое дело; то, что сегодня теория, завтра - практика... И когда страна окрепла и начались сооружения гидростанций по ленинскому плану, всем стало ясно, что он был прав.

Последние годы он занимался Ладожским озером, чтобы на одном объекте рассмотреть не один какой-нибудь вопрос, а все вопросы разом, во взаимосвязи,- и геологические, и тектонические, и климатологические, и биологические, и транспортные, и энергетические. Самое большое озеро в Европе - площадь зеркала восемнадцать тысяч квадратных километров... Двести километров с севера на юг и сто двадцать пять с запада на восток. Наибольшая глубина - двести пятьдесят метров, уровень - на четыре метра выше уровня мирового океана. Сколько энергии таится в этой тысяче кубических километров бутылочного цвета воды? А? Любопытные подсчеты, конечно, но даже не они в его монографии являются самым новым и самым интересным. Мы - северный народ, и половина нашей жизни проходит среди льдов: о льдах мы должны знать всё - и для мира и для войны. Самой новой и самой важной главой Илья Яковлевич считал ту, в которой приведены данные и изложены соображения об образовании льдов на Ладожском озере. Все сведения о сроках ледостава со времен Великого Новгорода... Толщина ледяного покрова, разрывы, передвижки льдин, прочность, трещины,

торосы...

Нева, Адмиралтейство, Исаакий качались у Ильи Яковлевича перед глазами, и он испугался, что сейчас заснет. С ним это часто случалось в последнее время: он вдруг неожиданно засыпал. Только бы не заснуть здесь, на улице!.. В библиотеку придется пойти завтра. Он вздернул голову, повернулся и побрел домой...

Идти домой оказалось очень трудно; он не подозревал, что так ослабел. Через каждые три-четыре шага он останавливался, опирался на трость и закрывал глаза. Но боязнь заснуть на улице вела его дальше. Еще четыре шага. А впрочем, не всё ли равно, что здесь, что дома? Нет, надо идти... Соня говорит: кто не сдастся, тот не умрет. А? Каково? Любопытная мысль. Мысль, рожденная в этом городе, вот в этой стране. Рецепт бессмертия... Город бессмертных... Они уверены в своем бессмертии, вот и возьми их! Нет, Илья Яковлевич, конечно, умрет, но не сдастся. Многие еще умрут, но не сдастся никто, и те, которые останутся живы, победят... Мысль бессмертна, Родина бессмертна, правда бессмертна... Нет, он дойдет, дойдет...

Труднее всего оказалось одолеть лестницу. Много раз ему друзья говорили, что в его возрасте нельзя жить на шестом этаже без лифта, но он только смеялся. У него было здоровое сердце. Однако теперь каждая ступенька словно гора. Он подолгу отдыхал на площадках. Только бы не заснуть!.. Он сказал, что человек, голодая, съедает сам себя. Сначала жир, потом мышцы, потом мозг... Неужели он уже ест свой мозг? Нет, мысли у него сегодня удивительно ясные, гораздо яснее, чем вчера и чем третьего дня. Ему, например, сегодня совершенно ясно, что Катенька никогда больше не вернется. Разве только сегодня это ему ясно? Вздор, это ясно ему давным-давно, и он лишь обманывал Соню, чтобы она думала, будто ей удалось его обмануть!.. Ну да, и себя обманывал... Вот и четвертый этаж... Еще два этажа осталось...

Он едва брел и почти ничего не видел; глаза заволокло каким-то туманом. Но ощущение ясности мыслей не покидало его. Да, жизнь его прожита. Он всегда был горд, самолюбив, всегда стремился к великому. Ну что ж, разве он плохо прожил свою жизнь? Он любил, трудился, по мере сил служил разуму, людям. Разве он не видел в жизни величия, не был причастен к нему, оказался его недостоин? Вот величие - наука. Вот величие - революция. Вот величие этот город... Твердыня, гордыня... Умирают, презирая тех, кто привел их к смерти...

Илья Яковлевич никак не мог попасть ключом в скважину французского замка. Он задыхался и ничего не мог разглядеть. Наконец дверь отворили изнутри, чьи-то теплые руки обняли его

и повели по коридору на кухню. Кто это? Катенька? Нет, Катеньки ведь нету, это Сонюшка... Сквозь туман увидел он яркое пламя, бушующее в печурке. Где это Соня всегда достает щепки? Как здесь тепло! Илья Яковлевич разучился чувствовать холод, но чувствовать тепло не разучился. С него снимают шубу, шапку, надевают халат. Не надо, я сам, сам. Его сажают в кресло, и ноги в распоротых валенках он протягивает к огню. Вот теперь можно заснуть. Как хорошо заснуть!..

4.

Сидя в землянке перед самой лампой, Кабанков писал статью о Чепелкине, писал долго и старательно, и статья вышла такая большая, что заняла три номера "Боевого листка".

Он летал с Чепелкиным с первого дня войны и никак не мог привыкнуть, что Чепелкина больше нет. Он тосковал по Чепелкину. Сундучок Чепелкина он передвинул себе под койку и заслонил им свой аккордеон. Серов заметил это и перед сном сказал:

- Ты что ж, Игорек, играть больше не будешь?

Кабанков нахмурил свое маленькое лицо.

- Пока не буду, - сказал он резко. Потом прибавил с угрозой:

- А придет время - поиграю!

Его статью о Чепелкине Уваров, посетивший эскадрилью, отвез в редакцию дивизионной газеты. В дивизионной газете статью сократили вчетверо, но всё-таки поместили, и Кабанков был очень доволен.

Уваров навещал эскадрилью нередко, и Лунин теперь хорошо его знал. Родом москвич, Уваров носил на Балтике прозвище "испанца", потому что был одним из тех советских летчиков, которые добровольцами сражались в Испании за республику. Там, в Испании, он был контужен, и эта контузия лишила его возможности летать на боевых самолетах. Однако "У-2" он до сих пор водил отлично. Перед самой войной он окончил училище, в котором готовили политработников для авиации. Комиссаром дивизии он стал всего за несколько дней до приезда Лунина в Ленинград.

В эскадрилье Уваров появлялся обычно на короткий срок и большей частью ночью. Их аэродром находился сравнительно недалеко от штаба дивизии, вот почему именно здесь обычно стоял тот самолет "У-2", на котором комиссар дивизии облетал все свои части и подразделения, разбросанные на громадном пространстве. Он всегда сам водил этот маленький безоружный самолет и нередко брал с собой еще и пассажира, какого-нибудь инструктора политотдела или штабного работника, которого нужно было забросить либо на южный берег Финского залива,

либо в Кронштадт, либо на побережье Ладожского озера. Всякий раз, улетая или прилетая, Уваров проводил час-другой в эскадрилье Рассохина.

Появлялся он внезапно, когда никто его не ждал. Одно его ночное посещение особенно запомнилось Лунину.

Шла уже вторая половина ночи и они крепко спали, когда Уваров вдруг вошел к ним в кубрик. Заметив, что Лунин и Кабанков зашевелились на своих койках, он замахал на них рукой и сказал:

- Спите, спите! Не обращайте на меня внимания. Я у вас посижу немного.

Вероятно, ему нужно было вылетать на рассвете, и он ждал, когда тьма начнет редеть. Хотя в кубрике было жарко, он не снял ни унтов, ни комбинезона, а только стащил с головы шлем и осторожно присел на край пустой койки Чепелкина. Он был очень возбужден. Это было то сухое, тяжелое возбуждение, которое возникает после слишком утомительного дня и не дает уснуть.

Лунин начал дремать, но Кабанкову хотелось побеседовать с комиссаром дивизии. Кабанкову постоянно казалось, что он недостаточно хорошо выполняет свои комиссарские обязанности, и он надеялся, что Уваров разъяснит ему, поможет. Его койка стояла рядом с койкой Чепелкина, и он заговорил вполголоса, и Уваров стал ему вполголоса отвечать. Разговор их тянулся до рассвета. Лунин то просыпался, то опять погружался в дремоту, и лишь случайные отрывки этого разговора доходили до его сознания.

Уваров говорил о самых обыкновенных вещах. Например, о том, что сейчас важнейший вопрос для авиации - защита аэродромов от заносов. Метели не прекращаются, а краснофлотцы, которые чистят аэродромы, валятся с ног от голода. Ведь их кормят не так, как летчиков. Они истощены, обессилены. Лопаты падают из рук, а они день и ночь копают на морозе. Нужно усилить заботу об аэродромщиках, мотористах, оружейниках, техниках, нужно, чтобы они чувствовали, что их работа оценивается так же, как бой.

- Война - это работа, - говорил Уваров. - Я это еще в Испании хорошо понял. И бой - работа. И подвиг - работа...

Лунин заснул и проспал, вероятно, довольно долго. Разбудил его возглас Кабанкова:

- Ну какой я комиссар, Иван Иванович! Не знаю я, что должен делать. А оттого, что не знаю, делаю всё...

- И я сначала не знал, - сказал Уваров. - И тоже стал делать всё...

- А теперь знаете?

- Знаю. Так и нужно - делать всё. Не вообще всё, а для людей всё. Вокруг меня люди, и я должен делать всё, чтобы этим людям было легче и лучше. Краснофлотцы аэродромного батальона потеряли свои простыни при отступлении - я добиваюсь для них новых простынь. Им мало отпускают продуктов - я слежу, чтобы продукты не раскрали, чтобы хорошо готовили. Они растеряли свои семьи - весь мой аппарат работает, помогая им найти родных: это - великая, важнейшая задача. Я смотрю, чтобы в землянках было тепло и сухо. Книги, газеты, бумага, почта - это тоже мое дело. Нас послала сюда партия, которая служит народу, и мы должны служить людям. И главная наша задача - добиться, чтобы всем были ясны наши цели, потому что цели у нас такие, что когда их понимаешь, всё возможно. Нужно пробудить в людях радость, нужно не дать им пасть духом, и я объясняю им, что победа неизбежна...

- А вы это знаете?- спросил Кабанков.

Уваров повернулся и глянул ему в лицо.

- Знаю, - сказал он строго.- Иначе разве я был бы еще жив? А вы разве не знаете?

- И я знаю,- сказал Кабанков.

Уваров на рассвете улетел, и после ночного разговора с ним Кабанков стал спокойнее, увереннее. Но о том, что Чепелкин убит, он не забывал ни на мгновение. По вечерам в землянке Рассохина он, сидя за столом перед лампой, молча чертил пером на листке какие-то завитушки. Всё это были "Юнкерсы", прекрасно изображенные, в разных ракурсах, с проломанными боками, горящие, с перебитыми плоскостями. Их было много, без конца, разбитых и искалеченных, и все они сплетались в причудливые цепи. С этих сплетенных "Юнкерсов" падали гитлеровцы, бесконечно разнообразные, смешные и поганые, с нечеловеческими лицами, искаженными от страха и боли. В этом жутком орнаменте, который он чертил целые часы, выражалась вся его мечта о мести.

В столовой он стал гораздо ласковее к Хильде, на которую раньше иногда покрикивал. Хильда осунулась за последнее время, похудела. Фарфоровые щечки ее поблекли, две складочки появились у уголков губ. Она вся стала тише, мягче и грустнее. И Кабанков, если она несла слишком тяжело нагруженный поднос, вскакивал и снимал с подноса тарелки, чтобы помочь ей. Это очень ее. смущало, а он, когда она уходила на кухню, объяснял:

- Она ведь так давно с нами. Она ведь всех знала...

Однажды за обедом Хильда сказала:

- О, как сердце хочет услышать что-нибудь хорошее!

По-русски она говорила вполне правильно, но в каждом слове

слышался легкий акцент.

- Услышим! И очень, скоро услышим! - воскликнул Кабанков с жаром.

Он не ошибся. Восьмого декабря по радио сообщили, что наши войска разгромили немцев под Тихвином, освободили город Тихвин и гонят остатки разбитых немецких дивизий по направлению к станции Будогощь. Вот это событие! Немцев разгромили, они бежали, у них отняли захваченный русский город, и случилось это не где-нибудь, а близко, на соседнем, Волховском фронте!

Лица прояснились. Все были убеждены, что это только начало. Все предчувствовали приближение новых событий, радостных и грандиозных.

- Вот другие немцев бьют, а мы тухнем в яме, как силос! - сказал Кабанков. - Опять уже сколько дней не летали!

Он от нетерпения не мог сидеть и, подпрыгивая, шагал по землянке из угла в угол.

Ждать ему пришлось недолго. Метель прекратилась, и ударил мороз градусов в двадцать. В этот первый ясный день немецкие бомбардировщики совершили огромный звездный налет на Ленинград, каких не было с сентября.

Чего хотели достигнуть немцы этим налетом - неясно. Казалось, .ими просто руководило желание сорвать злость за неудачу под Тихвином. На опустевшие в последнее время аэродромы вокруг Ленинграда они внезапно перекинули авиацию и ударили по городу четырьмя армадами с четырех сторон.

Когда Рассохину позвонили, армада, двигавшаяся с юго-запада, была уже видна с аэродрома. Выскочив из землянки и увидев вдали ползущие "Юнкерсы", Кабанков рассмеялся от радости. Они побежали к своим

самолетам по узким тропинкам, протоптанным в глубоком снегу. Кабанков бежал впереди, подпрыгивая, как мяч. Морозный ветер жег щёки.

Они взлетели над ослепительно белой и чистой землей, над елками, заваленными снегом. Кабанков сопровождал Рассохина, Серов - Лунина. Армада, широко распластавшись над Петергофом, двигалась к устью Невы. Рассохин повел свою четверку наискосок, над Лахтой, чтобы попытаться перехватить "Юнкерсы", прежде чем они окажутся над городом. Убрав шасси, они сразу перешли на предельную скорость. Маркизова лужа уже вся замерзла, и лед был покрыт снегом, чистым и ровным, как полотно, и только на западе, возле Кронштадта, чернели еще полыньи, над которыми клубился туман, оранжевый на солнце.

Они двигались к армаде под прямым углом и, сближаясь с

нею, набирали высоту. И вдруг высоко над собой Лунин увидел "Мессершмитты", поблескивавшие на заворотах, как иголки. Сосчитать их он не успел, но ему показалось, что их не меньше восьми пар. Они двигались впереди "Юнкерсов" и гораздо выше их. На этот раз "Юнкерсы" шли бомбить под защитой истребителей.

Рассохин тоже заметил "Мессершмитты" и сразу стал снижаться. Лунин мгновенно понял его. Если "Мессершмитты" навяжут им бой, всё пропало: пока они будут крутиться с "Мессершмиттами", "Юнкерсы" спокойно отбомбят и уйдут. Нужно постараться, не привлекая внимания "Мессершмиттов", нырнуть под армаду и атаковать ее снизу. "Юнкерсы" упорно шли над самой береговой чертой к городу, окруженные дымками зенитных разрывов; их синеватые тени ползли по снегу. "Мессершмитты" долго не замечали рассохинскую четверку; но, заметив, разом кинулись к ней, вниз, словно посыпались с неба. И опоздали: не только Рассохин с Кабанковым, но и Лунин с Серовым уже успели нырнуть под армаду.

Это случилось над самым юго-западным краем города - над Северной верфью, над Морским каналом. Когда черные туши "Юнкерсов" замелькали над головой, Лунин взял ручку штурвала на себя и стремительно пошел вверх. Он полоснул "Юнкерс" очередью вдоль всего брюха и проскочил вверх у него за хвостом. Не было времени оглянуться и посмотреть, что стало с этим "Юнкерсом". Авось его добьет Серов, идущий следом. Не это важно. Важно не пропустить "Юнкерсы" к центру города, к мостам, к крейсеру "Киров", который уже вмерз в лед в Неве перед мостом лейтенанта Шмидта. Лунин с удовольствием увидел, как всё стадо "Юнкерсов" заметалось, сбиваясь в кучи. И пошел вниз - в атаку.

Так они несколько раз прошили армаду своими самолетами - сверху вниз и снизу вверх. Иногда Лунин замечал "Мессершмитты" то внизу, то вверху, но сразу же уходил от них в самую гущу "Юнкерсов" - заслоняться от них. "Юнкерсами". "Юнкерсы", потеряв строй, бросали бомбы тут же, на лед, на окраинные пустыри, и отваливали поодиночке назад, на юго-запад. Некоторые из них пылали, но кто их поджег, Лунин не знал,- может быть, он сам, может быть, его товарищи, может быть, зенитки, бившие из города без перерыва.

Когда армада рассеялась, расползаясь во все стороны, Лунин опять увидел "Мессершмитты". Сначала только два, - они шли прямо на него и на Серова, навстречу, в лоб. Лунин дал по ним очередь и заставил их отвернуть, но сейчас же заметил еще два "Мессершмитта", которые пикировали сверху. Он вывернулся из-

под удара, но "Мессершмитты" не отставали. Вдвоем дрались они против четверых. Хуже всего было то, что "Мессершмиттам" удалось их разъединить. Лунин дрался с двумя, и Серов с двумя, на большом расстоянии друг от друга.

Стоило Лунину отогнать одного, как другой немедленно нападал на него сзади. Бой был сложный, маневренный. Лунин кидался то вверх, то вниз, то вправо, то влево, делал самые неожиданные развороты, кружился, переворачивался через крыло, а они гнались за ним, стараясь срезать углы, подстерегали его на поворотах и не давали уйти. Ему понадобился весь его двадцатилетний опыт пилотирования, чтобы избегать их тускло светящихся пулеметных струй.

Всё вертелось вокруг. Морозное солнце с расплывчатым диском сияло то вверху, то внизу. То вверху, то внизу, то сбоку проплывала громада Исаакиевского собора, игла Адмиралтейства. Город со всеми своими домами, улицами, с широкой лентой Невы, с мостами то дыбился, взлетая в небо, то обрушивался в бездну. Белая пелена залива то поднималась, чтобы навалиться на Лунина всей своей массой, то проваливалась. Иногда, метрах в семистах от себя, видел он на мгновение самолет Серова, который тоже дрался с двумя "Мессершмиттами". Рассохина и Кабанкова он не видел ни разу и ничего не знал о них. Они, может быть, где-нибудь неподалеку, но, конечно, тоже связаны боем, иначе пришли бы на помощь. У него не было времени оглядеться и поискать их, потому что "Мессершмитты" наседали с удивительным упорством, твердо решив доконать его.

Минута шла за минутой, и он чувствовал, что уже устает от чудовищного напряжения. Только он вывертывался из-под одной пулеметной очереди, как его уже подстерегала другая. Переворот, прыжок в сторону, опять переворот, спираль, вираж, теперь свечой вверх... Удар в упор по "Мессершмитту", тот отскакивает, но сзади уже настигает второй.

Взглядывая иногда вниз, Лунин уже видел под собой не город, не Финский залив, а черный лес с белыми полосами просек. Где он? Почему в него стреляют с земли? Неужели "Мессершмитты", кружа, загнали его за Петергоф, за линию фронта? Патроны на исходе. Если его не добьют за ближайшие две минуты, он пойдет на таран, чтобы скорее кончить.

И вдруг, уже изнемогая, Лунин увидел самолет Кабанкова, явившийся неизвестно откуда. Кабанков обрушился на "Мессершмитт", стрелявший в Лунина, и поджег его. Весь в черном дыму, тот повернул и пошел наутек, на юго-запад. Гонясь за ним, Кабанков пролетел в нескольких метрах от Лунина, и Лунин увидел его возбужденное твердое маленькое личико в

шлеме. И в то же мгновение заметил сноп пуль, летящих в Кабанкова сзади, в спину.

И самолет Кабанкова сорвался и полетел вниз, вниз, вниз, по всё суживающейся спирали. При каждом обороте спирали он на мгновение вспыхивал в солнечных лучах и сразу погасал. И наконец исчез в страшной глубине, среди елок, в захваченном немцами лесу.

5.

Соня обычно старалась устроить так, чтобы по дороге из бани остаться с Антониной Трофимовной наедине. Это не всегда удавалось, потому что другим девушкам тоже хотелось идти с Антониной Трофимовной, но когда удавалось, между ними начинались разговоры, которые Соня запоминала надолго. При этом говорила по большей части сама Соня, а Антонина Трофимовна слушала, спрашивала, произносила два-три слова. Соня обыкновенно просто рассказывала ей то, что особенно поразило ее за последние несколько дней.

Очень поразила ее смерть дворника Абрама. Он наколол для жены щепок, чтобы топить печурку, надел чистое белье, попрощался с женой, лег в дворницкой на лавку, закрыл глаза, полежал полчаса и умер. Так, по крайней мере, рассказывали женщины во дворе, и Соня угадывала в этих рассказах уважение к спокойному благолепию его смерти. Когда Соня зашла в дворницкую, Абрам лежал уже не на лавке, а на столе, и лицо у него было строгое, смуглое и красивое, как на иконе. Маленькая его дворничиха сидела возле стола на стуле, и на лице у нее было точь-в-точь то же самое выражение, что и у него. Она спокойно и здраво рассказывала посетителям о его смерти, но время от времени обращалась к нему с какими-то татарскими словами, как будто он был живой.

Антонина Трофимовна спросила Соню, знает ли она жильцов своего дома и часто ли у них бывает.

- Я прежде у всех бывала, - сказала Соня. - А теперь хожу меньше. Им хлеба принести надо, а у меня нету. А так я им на что?..

- Нет, ты ходи, ходи, - сказала Антонина Трофимовна. - Никто от тебя хлеба не ждет, где ты возьмешь? У других ноги не ходят, а у тебя ходят, вот ты и ходи. Люди не должны думать, что о них позабыли...

Антонина Трофимовна от всех своих девушек требовала, чтобы каждая из них непременно навещала соседей. Еще в те времена, когда строили бомбоубежище, Соня перезнакомилась со всеми жильцами своего большого дома. Она начинала тревожиться, если кого-нибудь долго не встречала на дворе, и

шла навестить.

Она шла с лестницы на лестницу, из этажа в этаж. Звонить теперь у дверей не приходилось: обычай этот, вывелся - дверей не запирали, люди перестали дорожить имуществом. По обледенелым прихожим и коридорам, среди затемненных, пустых, жутко гулких комнат Соня пробиралась в какой-нибудь самый дальний уголок квартиры, где еще была жизнь. Теперь сильно поредевшие обитатели каждой квартиры жили обычно все вместе в одной из комнат или в кухне, чтобы топить одну печку. Там Соня заставала их всех, озаренных одним фитильком в баночке, кормящих обломками мебели и паркетными плитками прожорливого горячего жестяного идола с коленчатой трубой, выходящей в форточку. Те из них, кто, подобно Соне, еще держался на ногах, продолжали работать. Заводы, на которых они работали, ремонтировали танки, автомашины, готовили оружие, используя последние скудные запасы топлива. Они работали до тех пор, пока не теряли способности ходить. И в каждой квартире были уже такие, которые всегда лежали и не могли встать. Положение их всех было очень тяжелым, и всё-таки они смеялись, когда слышали что-нибудь смешное, оплакивали смерть родных, радовались, получив письмо с фронта, делились друг с другом крохами пищи, читали газеты, слушали радио, вычерчивали на картах линии фронтов, спорили, думали, любили близких, ненавидели врага. На этой смертной грани жизнь их была не бедней, чем раньше. Соне они всегда были рады, потому что в гости теперь ходить перестали, и лежачие по целым неделям не видели никого, кроме обитателей своей квартиры. Соня приходила, читала письма, выслушивала сны, рассматривала фотографии и помогала тем, чем могла помочь: подметала, топила печку, выносила мусор.

А между тем у нее было немало и собственных забот. На ее попечении Слава, дедушка... Да, дедушка... Увлеченная работой в бане, она за последние дни мало видела дедушку и недостаточно думала о нем. Теперь она корила себя за это. Он очень изменился в последнее время, стал молчалив, всё дремлет. А всё-таки упорно ходит в библиотеку. Вдруг с ним случится что-нибудь на улице! Не надо больше отпускать его одного. Она теперь будет ходить вместе с ним... Хорошо бы завтра отвести его и Славу в баню...

Баня была уже почти готова к пуску! Температура в двух классах поднялась до пятнадцати градусов, и из кранов текла горячая вода - не совсем горячая, но теплая. Гудело и звенело радио: директорша включила репродукторы во всех помещениях. Было решено, что баню можно завтра открывать. По предложению

Антонины Трофимовны, работавшие над восстановлением бани вознаградили себя и прежде всего вымылись сами.

Они раздевались прямо в мыльной, потому что в раздевалке было еще слишком холодно: и Антонина Трофимовна, и директорша, и все девушки, - не было только истопницы, которая не отходила от котлов. Они были возбуждены своей победой, радовались теплу, чистым шайкам, воде, но приуныли, когда, раздевшись, взглянули друг на дружку. Какая жуткая худоба! У девушек и у директорши торчали наружу все ребра. А на теле Антонины Трофимовны была такая же одутловатость, такая же опухлость, как на лице у истопницы. Они приумолкли, отводя друг от дружки глаза.

Но помыться в бане, восстановленной собственными руками, было всё-таки приятно, ощущение теплоты, чистоты, победы возобладало, и, одеваясь, натягивая на свои исхудалые тела рубашки, юбки, теплые штаны, шубенки, платки, валенки, они опять развеселились. Баня откроется завтра с утра, и они говорили о том, как избежать очередей, как распределить заявки заводов и домоуправлений.

Они были уже почти одеты, когда вдруг музыка, вырывавшаяся из репродуктора, оборвалась. Они замолчали и прислушались, ожидая, что будет объявлена воздушная тревога. Но вот зазвучал голос диктора и провозгласил, что сейчас будут передавать чрезвычайное сообщение.

Так узнали они о разгроме немцев под Москвой.

Москва, Москва спасена! Враг под Москвой разбит и бежит!

Перестав дышать, вслушивались они в названия освобожденных подмосковных городков, такие милые для русского слуха. Потом следовало перечисление разгромленных немецких дивизий. Потом шли цифры: захвачено столько-то орудий, столько-то танков, самолетов, автомашин. И наконец последние, спокойные слова: "Наступление наших войск продолжается".

Директорша обняла Антонину Трофимовну и поцеловала ее в губы. И все девушки обнимались и целовались, прижимаясь друг к дружке мокрыми щеками. Москва!.. Спасена Москва!.. Слезы блестели у них на глазах, слезы радостного волнения. Все они вдруг ужасно заторопились: каждой хотелось поскорее добраться до дома, до близких, чтобы вместе с ними заново всё пережить, перечувствовать.

А слышал ли дедушка? Слышал ли Слава? Соня вспомнила, что когда она уходила, радио в их квартире было выключено. Дедушка, наверно, спит и ничего не знает. Надо его разбудить, надо сказать ему. Волосы у Сони еще не успели высохнуть, но она

не могла больше ждать. Она надела пальто, обмоталась шерстяным платком, выскочила из бани и побежала.

Короткий зимний день уже кончался, когда она, взлетев по лестнице на шестой этаж, открыла дверь квартиры своим ключом. Так и есть: радио молчит. И Слава еще не вернулся.

- Дедушка! Что я тебе расскажу!..

В кухне ничего не изменилось, дедушка сидел на своем кресле со смутно белевшим во мраке спокойным лицом. Однако она мгновенно поняла, что, пока ее не было, случилось что-то ужасное.

- Дедушка!

Он не шевельнулся.

Она подскочила к нему и схватила его за руку. Рука была твердая, холодная.

Не выпуская его руки и громко плача, она села на пол...

6.

С тех пор как пришла весть о победе под Москвой, в Ленинграде на всех лицах лежал какой-то новый свет. Казалось бы, ничто не изменилось - петля осады не стала шире, голод не стал меньше, - а между тем с несомненностью, например, установлено, что смертность в эти дни заметно упала. Так действовала на людей надежда, так действовала радость.

Такой же новый свет лежал на всем в землянке Рассохина.

Теперь их было трое.

Они совсем оставили свой кубрик и окончательно переселились в землянку командного пункта. Им не хотелось разлучаться даже ночью. Да и зачем? Землянка, как ни мала она была, вполне могла вместить весь лётный состав эскадрильи. Они теперь не только спали в ней, но и в столовую ходили редко, и Хильда в судочках приносила им в землянку обед, который с каждым днем становился всё хуже.

Они все трое поморозили себе лица во время битвы с "Мессершмиттами", и теперь кожа сползала с их щек и носов черными струпьями. Особенно сильно пострадал Рассохин; его широкое угловатое лицо с разросшимися рыжими бровями от больших черных пятен стало еще свирепее.

Каждый день, после целого дня тревожного ожидания, выслушивали они по радио названия освобожденных городов и селений: Рогачев, Яхрома, Солнечногорск. Как прежде назывался Солнечногорск? Или раньше просто не было этого города? Истра, Венев, Сталиногорск, Михайлов, Епифань. Потом Верховье, Дубно под Тулой. Потом Клин. Это на железной дороге Москва Ленинград в Московской области. Ясная Поляна. Там жил Лев Толстой. Калинин. Это родной город Коли Серова. Он родился в

деревне, в двадцати километрах от Калинина, и кончил в Калинине семилетку... Есть у него родные в Калинине? Нет, родных у него не осталось. Товарищи были... Часто они только из этих сообщений о победах узнавали, как всё-таки далеко зашли немцы. Пусть далеко, лишь бы их били; если их бьют, так ничего, что и далеко... Под Москвой их здорово бьют! А вот здесь тишина, всё стоит... Когда же и здесь наконец начнется?

Единственным событием в жизни эскадрильи за эти дни было письмо, полученное Серовым. Его принесли на командный пункт, и первым взял его в руки Лунин. Конверт был настоящий, довоенный, и фамилия Серова на нем была написана красивым и, несомненно, женским почерком. "От нее", - подумал Лунин и вдруг почувствовал, что кровь прилила к лицу: так он рад был за Серова. Пока Серов дрожащими руками разрывал конверт, Рассохин следил за ним из угла тем пристальным, напряженным взором, каким обычно следил за "Юнкерсами".

- Нет, нет, не от нее, - сказал торопливо Серов. - Я уже вижу, что не от нее.

Даже при свете керосиновой лампы было заметно, как он побледнел. Он прочитал коротенькое письмецо до конца и, словно не поняв, прочитал еще раз, потом еще раз...

- Да что там? - спросил наконец Рассохин.

- От директорши школы, - сказал Серов и протянул письмо Рассохину и Лунину.

Это был ответ на тот запрос, который Серов послал в школу по настоянию Кабанкова. В аккуратной со штампом бумажке сообщалось, что та преподавательница русского языка и литературы, о которой спрашивают, вместе со школой из Ленинграда не выезжала и что местопребывание ее в настоящее время никому из школьных работников не известно.

Серов больше не сказал про письмо ни слова, они тоже не заговаривали с ним о письме и жили попрежнему, как будто письма этого не было. Но через несколько дней, оставшись с Серовым вдвоем, Лунин всё же спросил:

- Ну как, написали куда-нибудь?

- Куда? - спросил Серов...

И, понизив голос, почти шёпотом прибавил:

- Зачем?

- Ну как - зачем...

- Зачем?- повторил Серов.- Она сама соседке своей велела передать мне, что уехала со школой, когда школа была еще в Ленинграде.

И Лунин подумал, что Серов, пожалуй, прав. И тут же подумал еще, что Кабанков всё-таки убедил бы его написать. И по

глазам Серова понял, что тот тоже в эту минуту подумал о Кабанкове.

Всё им напоминало о Кабанкове, рана была слишком свежа, - они никак не могли привыкнуть, что его больше нет с ними. Они вспоминали его любимые словечки, его повадки, голос его звучал у них в ушах. Они мысленно с ним разговаривали, советовались, рассказывали ему обо всем, что их волновало. А Серов - так тот просто отказывался поверить, что Кабанкова нет в живых, и утверждал, что он, наверно, бродит где-нибудь в тылу у немцев и вот-вот перейдет через фронт и явится. Лунин с ним не спорил, но сам, по правде говоря, мало верил в такую возможность.

Они каждый день вылетали втроем и упорно искали встреч с немецкими самолетами. Бой был бы радостью для них. Но воздух совсем опустел: вся немецкая авиация ушла под Москву, где гитлеровское командование делало отчаянные попытки остановить наступление наших войск. Здесь, под Ленинградом, немцы, видимо, считали уже излишним летать, драться, тратить горючее, рисковать людьми и самолетами. На аэродроме короткие мутные дни и бесконечные зимние ночи сменялись без всяких происшествий.

* * *

А между тем события исподволь надвигались. Все с волнением и надеждой чувствовали их приближение и с жадностью ловили признаки каких-то неизбежных, еще неясных перемен.

Сперва начались звонки из дивизии и из полка с требованием уточнить количество транспортных средств в эскадрилье. Потом на аэродроме побывал проездом один из техников третьей эскадрильи, стоявшей в Кронштадте; озябший во время переезда в кузове грузовика через залив по льду, он грелся в землянке командного пункта, пил горячий чай и рассказывал всё, что знал. Всю дорогу от Кронштадта до Лисьего Носа по машине, в которой он ехал, била немецкая артиллерия из Петергофа, и после пережитого волнения он был очень возбужден и разговорчив. Из рассказов техника они поняли, что третья эскадрилья на днях покидает Кронштадт и что он вызван в дивизию для разрешения каких-то хозяйственных вопросов, связанных с предстоящим переездом.

- У вас лётного состава трое осталось?- спросил он оглядывая Рассохина, Серова и Лунина. - А у нас в эскадрилье пока четверо, но у одного самолета нет.

А через несколько дней, в короткий промежуток между двумя метелями, к ним прилетел командир полка майор Проскуряков, огромный мужчина с широким лицом, с голубыми глазами, с

очень белыми зубами и очень громким голосом. Прилетел он на боевом истребителе, и на другом истребителе его сопровождал один из летчиков первой эскадрильи. У Проскурякова была еще довоенная слава: сражаться он начал на Халхин-Голе и оттуда вернулся с орденом. Лунин видел его впервые. Землянка командного пункта оказалась маленькой и тесной, когда Проскуряков, нагнув голову, вошел в нее, и им, вскочившим при его появлении, пришлось прижаться к стене.

Командир полка выслушал рапорт Рассохина, потом протянул свои лапищи и обнял его - сгреб в охапку. Когда ему представили Лунина, он с подчеркнутым уважением пожал ему руку, и пожатие это было таким сильным, что Лунин едва не скорчился, хотя у самого Лунина кулаки были как гири. Затем Проскуряков в сопровождении Рассохина отправился осматривать хозяйство эскадрильи. Лунин и Серов остались ждать их в землянке.

Минут через сорок Рассохин вернулся и стал торопливо переодеваться, напяливая на себя всё теплое, что имел.

- А где командир полка? - спросил Лунин.

- Ждет меня в полуторатонке. Мы с ним сейчас едем в дивизию. Ночью я вернусь.

Оглянувшись и убедясь, что в землянке, кроме Лунина и Серова, никого нет, он прибавил тихонько:

- Полк перебазируется.

- Когда? - спросил Лунин.

- Скоро.

- И мы тоже?

- Конечно.

- Куда?

- Не знаю.

- А Проскуряков знает?

- Может быть, и знает.

Оставшись одни, Лунин и Серов стали гадать, куда их могут перебазировать. Куда-нибудь далеко... В тыл, чтобы укомплектовать летчиками и самолетами? Вряд ли. Если бы были летчики и самолеты, они могли бы прилететь сюда. Неужели на какой-нибудь другой фронт?

И оба они почувствовали, что не хотят улетать отсюда. Здесь ничего еще не кончено, город всё еще в осаде, и до конца не близко. Здесь они дрались вместе с Кабанковым, с Чепелкиным, с Байсеитовым. Им казалось, что есть что-то постыдное в том, что они бросят сейчас Ленинград, даже если это случится не по их воле. Надо бы им быть здесь до конца.

Рассохин вернулся утром вместе с командиром полка, и

командир полка сразу же улетел. Рассохин, несмотря на бессонную ночь, проведенную в штабе дивизии, был возбужден и озабочен. Лунин и Серов никогда не спрашивали его о распоряжениях начальства, но он заговорил сам.

- Скоро, - сказал он.

- Когда же? - спросил Серов.

- А вот приказ будет. Нужно готовиться. Сначала поедет наземный состав - техники, мотористы. А потом полетим мы.

- Далеко? - спросил Лунин.

- Не очень, - сказал Рассохин. - Мы ведь флотские, нам далеко от флота нельзя.

Они почувствовали облегчение. Как это им раньше не пришло в голову? Раз флот в Ленинграде, и они должны быть недалеко от Ленинграда.

- Здесь сейчас тихо, делать нечего, - сказал Рассохин. - Есть места поважнее.

Он многозначительно прищурил свои рыжие ресницы, нагнулся и прибавил почти шёпотом:

- Дорога.

Лунин сразу понял, о чем он говорит.

- Значит, есть дорога! - воскликнул он.

Рассохин кивнул.

- Через Ладогу?

Рассохин кивнул опять и, торжествующе блеснув глазами, проговорил:

- Я знал, что нас без дороги не оставят.

Слухи о том, что по льду замерзшего Ладожского озера прокладывают дорогу, которая соединит Ленинград с остальной страной, проникли на аэродром уже несколько дней назад. Лунин не знал, верить или не верить этим слухам. Если бы такая дорога - хотя бы самая неудобная - существовала, самый последний и самый убийственный расчет немцев рухнул бы.

Но дорогу эту он представить себе не мог. Где она пролегает? Как можно проложить дорогу по льду озера, почти все берега которого захвачены немцами и финнами? Как оборонять эту узкую, длинную полоску на открытом со всех сторон льду, где невозможно сооружение никаких преград?

- Вот эту дорогу мы и будем охранять, - сказал Рассохин.

Ничего больше добавить он не мог, потому что и сам ничего большего не знал. Он сейчас же ушел с головой в хлопоты, связанные с предстоящей отправкой техников, мотористов и имущества на грузовых машинах.

* * *

Во всех этих хлопотах не было бы ничего особенно

затруднительного, если бы внезапно не возник вопрос, к которому Рассохин отнесся с неожиданной горячностью: как быть с Хильдой?

Дело в том, что Хильда, как и все остальные работники камбуза, подчинена была местному аэродромному начальству и должна была остаться здесь, на аэродроме. Но, в отличие от остальных работников камбуза, прибыла она сюда из Эстонии вместе с эскадрильей и сказала Рассохину, что не хочет с эскадрильей расставаться. Она однажды даже внезапно разрыдалась, принеся на командный пункт обед, и стремительно выбежала из землянки, закрыв лицо рукавом. И Рассохин решил во что бы то ни стало забрать ее с собою.

- Ведь так нельзя! - говорил он, как когда-то Кабанков. - Ведь мы к ней привыкли. Она всех наших знала!.. Она еще Кулешова помнит!..

Вначале ему казалось, что забрать ее с собой будет нетрудно. Но он ошибался. Никто не был особенно заинтересован в том, чтобы Хильда осталась на здешнем аэродроме, никто ему не противодействовал, но сам жесткий армейский порядок мешал ему. Хильда числилась краснофлотцем аэродромного батальона, и в эскадрилье для нее не было штатного места. Однако чем непреодолимей казалось это препятствие, тем горячее Рассохин стремился преодолеть его.

С красным лицом, на котором еще яснее выступали зёрна веснушек и черные струпья обмороженных мест, он звонил в полк, в дивизию, в штаб ВВС, к аэродромному начальству. Там выслушивали его благожелательно, давали советы, к кому обращаться, но никто не брал на себя ответственности разрешить этот вопрос.

По вечерам он объяснял Лунину и Серову, какую он принесет пользу, если увезет Хильду с эскадрильей. Хильда окажется на той стороне Ладожского озера, выйдет из пределов ленинградского кольца, и, следовательно, внутри кольца одним едоком станет меньше. А здесь на место Хильды возьмут какую-нибудь другую женщину, из голодающих ленинградок, женщина эта получит военный паек и, значит, станет несколько лучше питаться. Подобными рассуждениями он старался убедить себя, что поступает правильно, и Лунин с Серовым поддерживали его, потому что сами очень привыкли к Хильде. Рассохин кончил тем, что сел на полуторатонку и уехал в дивизию, чтобы "утрясти" это дело. "Утрясти" ему и на этот раз не удалось, но он, видимо, принял какое-то решение и перестал говорить об отъезде Хильды.

Штаб полка и первая эскадрилья были уже на новом месте - за Ладожским озером. Потом туда же перебралась и третья

эскадрилья - из Кронштадта. И вот наконец пришел приказ двигаться и им.

Сухой, колючий, снег крутился над темным аэродромом, когда наземный состав эскадрильи на трех грузовиках отправился в путь. Машины на минуту остановились перед командным пунктом, и Лунин вышел из землянки, чтобы попрощаться. Краснофлотцы и техники в тулупах и черных шапках-ушанках, завязанных под подбородками, казались одинаковыми, и Лунин с трудом различал их лица в темноте. Возле задней машины стоял Рассохин и подсаживал маленькую темную фигурку в кузов. Это была Хильда в черной краснофлотской шинельке, с маленьким чемоданчиком в руках. Рассохин решил похитить ее.

Она была уже в кузове, когда Рассохин вдруг воскликнул:

- Отчего ты не в тулупе?.. У тебя нет тулупа? Ведь ты замерзнешь!..

- Ничего, товарищ капитан, - сказала она. - Не беспокойтесь...

- Постой! - крикнул Рассохин водителю, уже включившему газ.

Громко стуча сапогами по деревянному настилу, он стремглав побежал вниз, в землянку, и через минуту вернулся со своим собственным тулупом, в котором обычно ездил в дивизию. Он подождал, пока Хильда закуталась в тулуп, потонув в нем с головой, махнул рукой и крикнул:

- Трогай!

Они должны были вылетать на другой день утром, но метель не пустила их ни на другой, ни на следующий. На третью ночь мороз усилился, небо прояснилось, и утром встало солнце.

7.

Небо прояснилось, но резкий, пронзительный ветер попрежнему гнал, и крутил над землей клубы мелкого, колючего снега. Всё кругом было полно вертящейся серебряной пыли. Задыхаясь от ветра, Лунин влез в самолет и взлетел вслед за Рассохиным. В последний раз увидел он привычный рисунок еловых вершин в конце аэродрома, над которым он так часто, так много взлетал. За елками сверкнуло белизной море, но они повернулись к нему спиной и легли курсом на восток.

Прежде всего им предстояло пересечь сорокакилометровую ширину Карельского перешейка. Они шли цепочкой: Рассохин - Лунин - Серов. Лес внизу виден был как в тумане, сквозь белую дымку поземки, змеистые вихри которой перекатывались через деревья. Справа, на юге, была Нева, еле угадываемая за стелющимися понизу снежными потоками. Там, сразу за Невой, немцы. Ветер вздувал сухой снег так высоко, что даже на высоте семисот метров в воздухе поблескивали снежинки. Выше

подниматься Рассохин не хотел, чтобы не потерять ориентиры на мало знакомой и очень узкой трассе. Ветер волочил сквозь пространство какие-то сгустки тумана, еле различимые, похожие от солнца на золотые пятна, слабо очерченные, но непрозрачные. И расплывчатое солнце, низко стоявшее на юго-востоке, слепило глаза.

Нева широкой дугою ушла на юг, скрылась из виду, потом снова возникла впереди. И за рябью пронизанного снежной пылью леса появился и стал стремительно расширяться огромный белый простор.

Они вышли к тому месту, где Нева вытекает из Ладожского озера. Возле самого входа в реку Лунин увидел маленький островок и что-то громоздкое на нем, похожее на бесформенную груду камней, запорошенных снегом. Он вдруг догадался, что это знаменитая Шлиссельбургская крепость, преградившая немцам путь через Неву и с августа стоящая под огнем немецкой артиллерии. Он ничего не мог разобрать в этом нагромождении камней, ему хотелось рассмотреть крепость поближе, но Рассохин круто свернул на север и повел их от Невы вдоль береговой черты озера. Так шли они до тех пор, пока не увидели низкий лесистый мыс, на котором стояла высокая красная башня, торчавшая, как поднятый палец, из снежных вихрей, крутившихся у ее подножия. Это был Осиновецкий маяк. Пройдя над ним, они снова свернули на восток и пошли прямо через озеро.

По льду озера бежали, текли, дымились длинные живые космы снега. Здесь ветер был еще сильнее. Низкий берег скрылся, и внизу, куда ни глянешь, ничего не было видно, кроме льда и косматого летящего снега над ним. Лунин внимательно смотрел вниз, стараясь заметить ту дорогу, которую они будут охранять.

И вдруг увидел ее.

Он увидел не дорогу, а колонну грузовых машин, которая медленно ползла по льду с востока на запад, в сторону Ленинграда. Машины дымились от снега, снежные вихри перекатывались через них, скрывая их из виду. Приглядевшись, он заметил, что движутся они вдоль длинного ряда мотающихся на ветру вешек. Это и был единственный путь, соединявший Ленинград с остальной страной. Движение на нем было оживленное. Через минуту он заметил другую колонну машин, двигавшуюся на восток. Впрочем, с самолета нельзя было определить, движутся ли эти машины, или застряли в снегу.

Но скоро ему пришлось оторваться от наблюдения за дорогой, потому что, по привычке оглядывая воздух, он вдруг увидел метрах в пятистах над собой два "Мессершмитта". Рассохин тоже следил за ними, закинув круглую голову в шлеме.

"Мессершмитты" шли над дорогой, над самолетами эскадрильи, и предугадать их намерения было трудно. Лунин понимал, что вступить сейчас в драку было бы очень некстати: драка задержала бы их в пути, и им не хватило бы горючего на весь длинный перелет через озеро. И почувствовал облегчение, когда "Мессершмитты" внезапно развернулись к югу и мгновенно исчезли, словно растаяли.

Справа и слева от дороги, на льду, видел он иногда краснофлотцев в тулупах. Вероятно, это была охрана дороги. Как они живут здесь, вечно в снегу, на ветру, на морозе, без всякого крова, не имея возможности даже зарыться в землю? Они иногда махали самолетам руками, и ему хотелось рассмотреть их получше, но это было невозможно, потому что прозрачность воздуха уменьшалась с каждой минутой. Солнце превратилось в большое мутное пятно, небо побледнело, дымка охватывала их всё теснее; даже самолет Рассохина, летевший в каких-нибудь ста метрах впереди, иногда затуманивался. Лунин часто оборачивался, оглядывая воздух, и на одно мгновение ему показалось, что он опять видит над собой "Мессершмитты". Возможно, ему померещилось. Однако у него осталось беспокойное ощущение, что за ними всё время следят, что их преследуют.

С дорогой они расстались, - Рассохин вел их теперь несколько севернее дороги. Под ними теперь ничего не было, кроме льда, по которому струились снежные вихри. До противоположного берега озера оставалось всего несколько минут полета, и его можно было бы уже разглядеть, если бы воздух был прозрачнее. Но Лунин ничего не видел, кроме крутящегося снега внизу, рыжего солнечного пятна вверху, самолета Серова сзади и самолета Рассохина впереди.

Вдруг перед ними в воздухе ясно обозначились четыре темных вытянутых пятнышка. Четыре "Мессершмитта"!

Они шли в строю с явным намерением преградить путь трем советским истребителям, не дать им пробиться к восточному берегу озера. До них оставалось немногим более тысячи метров, и решение нужно было принимать мгновенно. Обойти их или затеять с ними долгую карусель нечего было и думать: не хватило бы горючего. И Рассохин решил атаковать и проскочить.

Они встретились почти лоб в лоб. Произошла короткая схватка, в которой всё зависело от упорства, от уверенности в себе, от умения владеть самолетом, от меткости стрельбы.

На тридцатой секунде сбитый Рассохиным "Мессершмитт" уже падал на лед, вплетая черную струйку дыма в белые вихри метели.

Второй "Меесершмитт", поврежденный, как-то боком нырнул вниз, над самым льдом выпрямился и неуверенно пошел к югу.

Два остальных метнулись вверх, к солнцу, и пропали в рыжих лучах.

Путь был свободен.

Но тут краем глаза Лунин заметил, что самолет Рассохина, странно качаясь, скользит вниз.

Он быстро терял высоту и уже погружался в мутную снежную пыль, взметаемую ветром со льда. Лунин и Серов в тревоге кружили над ним, снижаясь. Мотор у Рассохина не работал. "Как это "Меесершмитт" успел перебить ему мотор? - думал Лунин. - Только бы он сам был цел!.. Только бы ему удалось посадить самолет!.."

Спланировать на лед без мотора при таком ветре было не просто. Потонув в снежных вихрях, самолет Рассохина коснулся льда и высоко подпрыгнул. Потом опять коснулся льда и, пробежав очень мало, остановился как-то косо, опустив одну плоскость и приподняв другую.

Если бы Рассохин вылез из самолета и принялся осматривать мотор, Лунин не особенно волновался бы.

Но Рассохин продолжал, не двигаясь, сидеть в самолете.

Лунин и Серов, снова и снова пролетая над ним, видели его голову в шлеме, и неподвижность его головы тревожила их. "Что с ним?-думал Лунин.Ведь он жив. Если бы он был убит, он не мог бы посадить самолет!"

Стараясь получше рассмотреть Рассохина, Лунин каждый раз опускался всё ниже и нырял в крутящийся надо льдом снег. И вдруг Рассохин поднял голову, потом руку. Он взглянул на Лунина и махнул ему рукой.

Взмах руки мог обозначать только одно: ложитесь на свой курс и продолжайте путь.

Это было приказание, но такое, исполнить которое они не могли. Не бросить же его здесь одного, без всякой помощи, не узнав даже, что с ним случилось! Лунин, снова сделав широкий круг, опять направился к нему. И уже на повороте увидел, что Рассохин вылез из самолета, сделал два-три шага к югу - туда, где километрах в семи проходила дорога, - и вдруг упал в снег. Он упал в снег и пополз.

Теперь Лунину стало ясно, что Рассохин ранен. Он не может идти и, конечно, никуда не доползет. Если оставить его здесь, его расстреляют "Мессершмитты", а если не расстреляют, он через полчаса замерзнет, потому что термометр показывает двадцать два градуса ниже нуля. Нужно что-то сделать немедленно. И Лунин понесся над самым льдом, подыскивая место для посадки.

Только теперь Лунин понял, почему самолет Рассохина так подпрыгнул при посадке. Лед здесь был весь в торосах, которые торчали, словно надолбы, и сесть тут, да еще при таком ветре, - значило разбить самолет. С трудом отыскал Лунин место поглаже - метрах в двухстах от Рассохина - и кое-как сел.

Серов остался в воздухе и кружил, кружил - для охраны.

Повернув свой самолет так, чтобы его не мог опрокинуть ветер, Лунин выпрыгнул в снег. Сухой снежной крупой хлестнуло его по лицу. Самолет Рассохина темнел за крутящимся снегом. И Лунин побежал к нему.

Рассохин был уже шагах в тридцати от своего самолета и упорно полз к югу. Лунин кричал ему, но он не оборачивался, да и мудрено было что-нибудь услышать при таком ветре. И вдруг Рассохин начал подниматься, явно пытаясь встать на ноги.

Сначала он встал на колени. Затем после долгой передышки уперся руками в лед и внезапно поднялся во весь рост.

Целую минуту простоял он в крутящемся снегу на странно расставленных ногах, широкий, косматый. Потом поднял вверх два сжатых кулака и погрозил ими. И рухнул со всего роста.

Когда Лунин подбежал к нему, он был мертв. Он лежал, глядя в небо, на подтаявшем от крови розовом снегу. Грудь его была пробита, большие кулаки сжаты. Так, со сжатыми кулаками, Лунин и отнес его к его самолету, возле которого вьюга уже наметала сугроб, и, закрыв парашютом, положил под плоскость.

Лунин взлетел, Серов пристроился к нему, и через две минуты они увидели впереди низкий берег. Он подплыл под них, и внизу опять потянулся лес, туманящийся в снежном дыму. Лунин без труда нашел ориентир - просеку с телеграфными столбами - и, снижаясь, пошел над ней. Ему хотелось лететь без конца, только бы не разговаривать с людьми, ничего не рассказывать. Но просека уже привела их к деревне, к белому лысому бугру, к выгону, на котором было выложено посадочное "Т".

## Глава шестая.

## Дорога

### 1.

Марья Сергеевна и ее дети были еще живы.

Они жили всё там же, на улице Маяковского, в тех же комнатах, те же стены окружали их, так же шаркала за дверью туфлями Анна Степановна, пробегая, как мышь, по коридору. И от этой неизменности окружающей обстановки и от того, что ухудшение их положения довершалось медленно, постепенно, Марья Сергеевна не всегда ясно сознавала перемены, происходившие с ней и с ее детьми. Да и самое страдание,

вызванное голодом, стало привычным. Никогда не проходившая усталость не давала возможности думать, застилала всё, как туманом. Но тем страшнее были для Марьи Сергеевны те минуты, когда она внезапно, словно очнувшись, видела, что предстоит ее детям.

То, что дети ее остались вместе с ней в Ленинграде, было ужасающим несчастьем, а между тем она далеко не сразу поняла, что это несчастье. Напротив, она в течение долгого времени считала, что это счастье, удача. В сентябре и октябре она постоянно встречала матерей, горько жаловавшихся на разлуку с детьми. Множество детей было эвакуировано летом, и их матери жили в постоянной тревоге, потому что письма шли долго и неаккуратно. Марья Сергеевна была рада, что дети ее с нею, несмотря даже на бомбежки, особенно частые в эти месяцы. Слыша по ночам дыхание своих детей, видя их ежеминутно днем, трогая их, кормя, одевая и раздевая, чувствуя в себе постоянную готовность защитить их от любой беды, она была почти спокойна.

В первую половину осени она особенно много работала. Школа ее уехала, как и большинство школ, но в городе оставалось немало детей школьного возраста, которых не успели эвакуировать за лето. Предполагалось открыть по две-три школы в каждом районе и собрать туда всех учащихся. По поручению районе Марья Сергеевна занялась хлопотливым и трудным делом организации одной из таких школ. Она подготовила и помещение, и педагогов, и учебные пособия, и детей приняла на учет. Но сентябрьские бомбежки и, главное, бесконечные воздушные тревоги, принуждавшие всех сидеть по подвалам, не давали начать занятия, и открытие школы откладывалось со дня на день.

В эти трудные дни только Ириночка и Сережа оберегали Марью Сергеевну от тех мыслей, с которыми она боролась изо всех сил: от мыслей о Серове.

Каждый день по многу раз она уверяла себя, что больше не будет о нем думать. Она уверяла себя, что встреча ее с Серовым была происшествием случайным, у которого не может быть никакого продолжения, происшествием настолько незначительным, что позорно о нем думать во время таких великих событий. Но никакие запреты не помогали. Она постоянно думала о Серове, и даже не думала, а всё время несла в себе особое тревожное и трудное чувство, от которого никак нельзя было избавиться. Чувство это и было - он.

С тех пор как она узнала от Анны Степановны, что он заходил к ней, когда она уезжала на оборонные работы, она постоянно ждала, что он зайдет еще раз. Она вздрагивала от каждого скрипа

двери, от шагов по лестнице. А между тем она отлично понимала, что ждать его бессмысленно, - ведь Анна Степановна сказала ему, что она уехала вместе со школой из города.

Однажды ночью она проснулась, как от толчка, с нестерпимой тревогой в душе. Что же случилось? Отчего в такой тоске сжалось сердце? И вдруг с необычайной ясностью представилось ей: Коля Серов убит.

И впервые почувствовала она, что для нее не то важно, о чем она беспокоилась до (сих пор, - любит ли он ее, или не любит, а другое - жив ли он. Она вспоминала его лицо, добрые, робкие глаза, сильные, большие руки, сутулые плечи. Только бы он был жив... Пускай он женится на другой, любит кого хочет, только бы был жив. Она заплакала и плакала до утра, пока дети не зашевелились в своих кроватях. Она перевернула свою подушку, чтобы Ириночка не заметила мокрого пятна на наволочке.

Обо всем, что происходило вокруг, узнавала она преимущественно от Анны Степановны.

Анна Степановна домой только забегала, - она постоянно носилась где-то по кварталу. Никогда еще за семь с лишним десятилетий своего существования не жила она такой полной и деятельной жизнью, как в эти месяцы. Она по-старушечьи почти не нуждалась во сне и часов двадцать в сутки могла предаваться своей страсти всё видеть, всё знать, во всем участвовать, со всеми разговаривать. Она с упоением посещала все окрестные бомбоубежища, потому что там можно было говорить до упаду и услышать бесчисленное множество новостей. После каждой бомбежки она, как тень, шмыгала по дворам и по лестницам, чтобы посмотреть, что разрушено. Она принимала участие во всех дежурствах - и у ворот и на крышах, причем охраняла свой дом с таким же рвением, как и соседние. То ли она не знала, что такое страх, то ли любопытство ее было сильнее страха, но она ничего не боялась. Ночами она вместе с мальчишками забиралась на крыши, и ветер, стараясь спихнуть ее, рвал и крутил ее жидкие седые волосы.

Школа открылась только во второй половине октября. До нее было далеко, трамваи почти всегда стояли, прохожих по тревоге загоняли в подворотни. Да и в самой школе из-за воздушных тревог всё шло кувырком, никакого порядка установить не удавалось. Детей с каждым днем приходило всё меньше. Стёкла в большинстве классов вылетели через несколько дней после начала занятий, а те классы, где стёкла уцелели, всё равно отопить было нечем, и уже в ноябре невозможно было писать, потому что чернила замерзли во всех чернильницах. Потом лопнули трубы центрального отопления, вода залила целый этаж,

замерзла, и образовался каток, на котором с разбегу катались мальчишки. Ноябрьские дни были коротки и темны, рассветало всего на два-три часа, а электричества почти никогда не было. И все силы работников школы и школьников уходили на беспрерывную борьбу с бедствиями. Через месяц после начала занятий вся школа оказалась загнанной в три маленьких комнатушки с забитыми фанерой окнами, отапливаемые жестяными печурками и освещаемые баночками с фитильками. К этому времени уже все тяжело голодали, на детей было жутко смотреть; стало ясно, что школа отнимет у них слишком много сил. И в начале декабря занятия прекратились.

Если бы у Марьи Сергеевны не было Ириночки и Сережи, она непременно ушла бы на фронт. В газетах она постоянно читала о женщинах-снайперах, о разведчицах, зенитчицах, санитарках и не сомневалась, что всё могла бы делать не хуже, чем они. Но о фронте нечего было и мечтать, потому что она не могла бросить Ириночку и Сережу. Для нее оставалось только одно: поступить в какое-нибудь предприятие, работающее на оборону. И когда школа закрылась, она поступила в мастерскую, в которой шили теплые шапки для красноармейцев.

Мастерская эта находилась неподалеку от ее дома. Она пришла туда вместе с другой учительницей, у которой там была знакомая, и их сразу зачислили. Марья Сергеевна умела и любила шить, и ей нравилось, с каким ожесточением работавшие в мастерской женщины старались изготовить как можно больше шапок. У всех этих женщин мужья были на фронте, и они ясно представляли себе, как необходимы там зимой теплые шапки. Марья Сергеевна с охотой включилась в работу, старалась ни от кого не отстать, и ей нравился этот осмысленный, напряженный совместный труд.

Но мастерскую нечем было отапливать, и пальцы женщин трескались от холода, распухали, нарывали. Еще больше страдали они от отсутствия света. Однако фронт нуждался в теплых шапках, производство никак нельзя было свертывать, и в декабре администрация предложила тем работницам, у которых дома были швейные машинки, брать работу на дом, чтобы остальных перевести в тесное маленькое помещение, которое хоть кое-как можно было отопить и осветить. У Марьи Сергеевны была дома собственная швейная машинка; она отнесла домой сукно, вату, подкладку и перестала ходить в мастерскую.

С того дня, как она перестала ходить в мастерскую, ею овладел страх за жизнь детей и, разрастаясь, мало-помалу вытеснил из души всё остальное.

Она шила по ночам при свете двух горящих фитильков. Стук

машинки мешал ей прислушиваться к дыханию детей, и она останавливала ее через каждые две-три минуты. Дети спали беспокойно. Ириночка стонала и плакала во сне, Сережа часто просыпался.

- Мама!

- Спи, мальчик, спи.

- Мама, дай хлеба!

- Спи, спи. Хлеб тоже спит.

Несмотря на голод, все дни их проходили в игре, они беспрерывно играли - с той минуты, когда просыпались, до той минуты, когда засыпали. Ириночка была почти на четыре года старше Сережи, и играла она не так, как он. Но игры не отвлекали их мыслей о хлебе, потому что играли они только в еду. Ириночка вырывала из тетрадок листочки, разграфляла их на квадратики, в каждый квадратик ставила чернилами цифру. Это были хлебные карточки. Целыми днями резала она эти карточки ножницами, сортировала талончики, воображая себя продавщицей булочной. Карточки ее были гораздо лучше настоящих: по ним хлеб выдавали безотказно каждые десять минут.

Сережа признавал только две игрушки - жестяной автомобиль и набитого ватой тряпочного слона. Как и прежде, он постоянно возил по полу свой дребезжащий автомобиль, издавая горлом звук, который должен был изображать гудение мотора.

- Би-би! Би-би! - кричал он.

Это был автомобильный гудок. Но автомобиль его возил теперь только хлеб - от хлебозавода к булочной. А когда хлеб возить надоедало, он принимался кормить своего слона кубиками. Слону разрешалось съесть только один кубик, все остальные оставлялись на завтра. Но, к счастью, завтра наступало через минуту, и слону разрешалось съесть еще один кубик.

За спинкой кровати Марьи Сергеевны, в темном углу возле пола, оборвались обои, обнажив осыпающуюся штукатурку. Время от времени Сережа заезжал со своим автомобильчиком в этот угол и там внезапно замолкал. Гудение мотора и "би-би" прекращались. Марья Сергеевна, удивленная, как-то заглянула туда и обнаружила, что он сидит на корточках, отковыривает штукатурку и сует ее себе в рот. Марья Сергеевна вывела его из угла, пальцем вытащила изо рта штукатурку, рассердилась на него, испугала, запретила. Он поплакал, потом занялся автомобилем, но через некоторое время опять затих и снова был пойман в том же темном углу за поеданием штукатурки.

Марья Сергеевна отапливала только одну из двух своих комнат, но тем не менее дрова, сохранившиеся у нее еще с

прошлого года, во второй половине декабря кончились, и в комнате стало холодно. Дети не вылезали из пальтишек, из валенок, и она так обматывала их шерстяными платками, что видны были только носы и глаза. Чтобы они не замерзли совсем, Марье Сергеевне приходилось теперь каждый день тратить несколько часов на заготовку топлива.

Ей ничего не удавалось бы заготовить, если бы не Анна Степановна. Анне Степановне были известны все ближайшие разбомбленные дома, она знала, как пробраться к ним и что в каждом из них можно найти. На заготовку дров они отправлялись вдвоем, захватив топор, мешок и салазки.

У Анны Степановны нос стал длиннее, глаза запали глубже, лицо пожелтело. Казалось, всё маленькое тело ее совсем ссохлось, превратилось в твердую легкую корку. Но она не потеряла еще своей быстрой, мышиной побежки и, впряженная в салазки, обгоняла Марью Сергеевну. По узким тропинкам в снегу и по цельному снегу, через пустые дворы и через выбитые двери пробирались они в разбомбленный дом. Обычно было темно - в декабре рассветало всего на несколько часов, - и в разбомбленном доме белели только кучи снега, наметенные через пробоины и окна, да серело небо в странных огромных арках между обвалившимися стенами. Безмолвие и тьма угнетали Марью Сергеевну, она говорила тише, осторожно ступала, оглядывалась. Но Анна Степановна чувствовала себя как ни в чем не бывало, шныряла повсюду уверенно, болтала не умолкая и заглядывала во все углы.

Дерева в разбомбленном доме было много, но искали они то, что легче было унести: обломки мебели, оконных рам, пластинки паркета. Однако разрушенные дома не им одним служили дровяными складами, и всё, что легче было унести, уже унесли. Им приходилось возиться с тяжелыми балками перекрытий - откалывать от них топором щепки. Это было очень утомительно и с каждым днем становилось всё труднее. Марья Сергеевна, несмотря на свой небольшой рост, была сильная, здоровая женщина, никогда не болевшая; еще совсем недавно она копала на оборонных работах землю по шестнадцати часов в сутки без всякого вреда для себя. А теперь топор казался ей таким тяжелым, что после двух-трех взмахов она валилась на брёвна и лежала, стараясь отдышаться. С удивлением смотрела она на Анну Степановну, которая, мелко и часто постукивая топором, нарубала целый мешок щепок, ни разу не передохнув.

Марья Сергеевна теперь почти совсем ничего не ела, по нескольку дней у нее ничего не бывало во рту, кроме горячей воды. Голод мучил ее, но она так ясно представляла себе, как он

мучит детей, что своего голода не замечала. Она не могла проглотить ни кусочка. Когда она возвращалась домой, дети прежде всего смотрели ей в руки - не принесла ли она хлеба. Она не могла есть хлеб, который так нужен был им.

В январе Сережа разучился ходить. Она ставила его на ножки, а он падал. Теперь он весь день сидел или лежал в кровати и возил автомобильчик по своему одеялу. Он по-детски привык к голоду, холоду, тьме, порой он даже бывал весел, смеялся. Слыша его смех, Марья Сергеевна падала ничком на кровать и тряслась от рыданий. Еще через несколько дней у него стал заплетаться язык, он неясно выговаривал слова, и Марья Сергеевна не всегда понимала, что он хочет сказать.

Ириночка еще бродила по комнате на своих длинных, тоненьких ножках, но стала совсем тихой и вялой. Днем она теперь обыкновенно сидела на стуле у печки, закутанная в белый шерстяной платок, и неподвижно смотрела на мать. Она понимала гораздо больше, чем Сережа, и Марья Сергеевна часто с ужасом старалась угадать, что совершается у нее в душе. Она понимала, например, что мать ничего не ест, и Марье Сергеевне приходилось обманывать ее. Но обман этот плохо удавался, и когда Марья Сергеевна, дав ей и Сереже по ломтику хлеба, садилась за швейную машину, Ириночка подходила к матери и клала перед ней половину своего ломтика:

- Съешь, мама.

- Спасибо. Я съем. Пускай, полежит здесь, пока я дошью.

Ириночка садилась на стул и съедала свою половинку ломтика. Потом начинала не отрываясь смотреть на ту половинку, которую дала матери. Промороженный кусочек хлеба влек ее к себе с неудержимой силой. Она слезала со стула и подходила к столу:

- Мама, я отщиплю только крошечку...

- Отщипни, конечно...

Ириночка отщипывала крошку, потом другую и съедала весь хлеб.

Марья Сергеевна слабела заметно и быстро. Это прежде всего сказалось на заготовке дров, и в комнате становилось всё холоднее. В последний раз в разбомбленном доме она не могла даже поднять топор, и рубить щепки пришлось одной Анне Степановне. Но и Анна Степановна сильно изменилась за последнее время. Речи ее стали еще сбивчивее и путаннее, и Марье Сергеевне порой казалось, что Анна Степановна уже не совсем ясно понимает, что происходит вокруг. Когда они в последний раз пришли в разбомбленный дом, Анна Степановна часто присаживалась на кирпичи, забывая, зачем они пришли

сюда, и Марье Сергеевне приходилось ей напоминать. Щепочки, которые Анна Степановна откалывала от бревен, стали очень маленькими, и не скоро им удалось наполнить мешок. Было очень холодно, от мороза их клонило в сон. Когда с набитым мешком и салазками вышли они из разрушенного дома, Марья Сергеевна вдруг стала падать на бок. Анна Степановна ухватилась за нее, чтобы поддержать, и они упали обе. Так, беспрерывно падая и цепляясь друг за дружку, они, совершенно обессиленные, добрались до дома.

Больше в разбомбленный дом за дровами Марья Сергеевна не ходила. Она понимала, что, если бы пошла туда, у нее не хватило бы сил вернуться. Она не могла даже шить, потому что рука отказывалась вертеть

колесо машинки, а в глазах появились желтые пятна, мешавшие видеть. Она давно уже помаленьку жгла свою мебель и теперь дожгла остатки. Последнее, что она сожгла, был стол. Швейную машину пришлось поставить на пол. А к утру вода, замерзнув, разорвала чайник. Марья Сергеевна понимала, что она умирает. Анна Степановна умирала тоже. Она лежала у себя в холодной комнате, укрытая кучей тряпья. Марья Сергеевна понимала, что они обе скоро, умрут, но ей уже было ясно, что дети умрут еще скорее.

Дети теперь всё время спали, и только по дыханию их она знала, что они еще живы. Она перенесла их к себе в постель и лежала вместе с ними, чтобы им было теплее. Если бы она могла, она накормила бы их собою, как кормила когда-то своим молоком. Но ей нечем было накормить их.

Иногда она забывалась, и в памяти ее всплывал Коля Серов и все ее такие короткие встречи с ним. Как давно это было! Из всего, что у нее было в жизни, это было лучшее. Но когда сознание ее прояснялось, она забывала о нем и только прислушивалась к дыханию детей. Они еще дышат. Но через час, через два они перестанут дышать. Неужели она будет еще существовать после того, как они перестанут дышать? Неужели ей еще предстоит вынести это мгновение полной тишины, когда они перестанут дышать?

И, зная, что это мгновение близко, Марья Сергеевна вдруг встала. Шатаясь, пошла она к двери. Ей невыносимо было лежать рядом с ними, когда она ничем не могла им помочь. Пусть всё свершится без нее. Она захлопнула за собой дверь квартиры, спустилась по ступенькам и вышла на улицу.

Был день, снег белел светло и ярко. Она пошла вдоль домов. Ее всё время качало и валило на бок, и она чувствовала, что сейчас упадет. Она хваталась за стены и выпрямлялась и шла,

шла, стараясь уйти как можно дальше.

2.

Весь полк был размещен в одной деревне, и хотя деревня была для северных краев большая, дворов в сорок с лишним, во всех домах жили военные, а по длинной ее улице с утра до ночи мимо кривых березок, растущих возле крылец, бродили пестро и разнообразно одетые люди - в комбинезонах, тулупах и черных флотских шинелях. Часовые, стояли возле изб, в которых помещались различные учреждения полка и батальона аэродромного обслуживания: оба штаба, строевая часть с секретным отделом, медсанбат, продотдел, рота связи, авторота, склады вооружения, парашютов, передвижные авиаремонтные мастерские и т. д. Вся эта масса людей и все эти учреждения предназначены были для руководства летчиками, для снабжения их и обслуживания, для снабжения и обслуживания многих самолетов. Но ни летчиков, ни самолетов в полку почти не осталось. На деревенском выгоне, кое-как превращенном в аэродром, стояло в наскоро сколоченных маленьких рефугах всего шесть самолетов: три самолета третьей эскадрильи, два самолета первой эскадрильи и самолет, на котором летал командир полка майор Проскуряков.

Во второй эскадрилье было два. летчика и ни одного самолета. Проскуряков решил воспользоваться тем, что немецкой авиации над озером еще не очень много, и капитально отремонтировать самолеты второй эскадрильи. И вторая эскадрилья, рассохинская, перешла в разряд нелетающих.

У этой нелетающей эскадрильи был теперь новый командир - майор Лунин.

Назначение Лунина командиром эскадрильи состоялось на другой день после похорон Рассохина. За телом Рассохина и за его самолетом была снаряжена целая экспедиция из техников полка и краснофлотцев аэродромного батальона, с грузовиками, лыжами, лопатами. С экспедицией этой отправился и Серов в качестве проводника. Он довольно точно и легко определил то место, где погиб Рассохин, однако тело его и самолет он нашел не сразу. Метель намела столько снега, что Серов не мог найти даже тех торосов, которые помешали Лунину сесть рядом с Рассохиным. Самолета нигде не было видно; некоторые стали высказывать предположение, что, может быть, немцы с юга или финны с севера пробрались сюда и похитили самолет. Однако поиски продолжали, и наконец один краснофлотец заметил край винта, торчащий из сугроба. Сугроб разбросали лопатами и откопали самолет, под крылом которого лежал Рассохин.

Поздно ночью экспедиция вернулась на аэродром, привезя

Рассохина и его самолет.

Похороны состоялись на другой день утром, и весь полк принял в них участие. По приказанию Проскурякова могилу приготовили на вершине лысого бугра, возвышающегося над аэродромом. Бугор этот служил хорошим ориентиром для всех самолетов, возвращавшихся на аэродром, и с голой его верхушки можно было разглядеть за лесами простор Ладожского озера.

Но в утро похорон шел густой снег, и бугор не виден был даже из деревни. Рассохина вынесли из избы штаба полка в раскрытом кумачовом гробу. Он лежал совсем такой, каким был при жизни, - в комбинезоне, в унтах, со строгим крестьянским лицом, шершавым, широкоскулым, твердогубым. Веки с рыжими ресницами были не совсем плотно опущены, и это еще больше придавало ему сходство с живым, - казалось, вот-вот он глянет своими маленькими голубыми разумными глазами. Но крупные снежинки, падавшие на его лицо, не таяли, так и оставались лежать, пушистые, в глазных впадинах.

В молчании гроб довезли на грузовике до подножия бугра. Машина не могла подняться по крутому склону, гроб сняли и понесли на руках. Первыми несли его Проскуряков, комиссар Ермаков, начальник штаба полка Шахбазьян и оба летчика второй эскадрильи - Лунин и Серов. Потом их сменили другие, других - третьи, только Лунин и Серов отказались сменяться. Нести было трудно, край гроба резал Лунину плечо, ноги вязли в глубоком снегу, скользили на крутом склоне, поднятая рука затекла и замерзла, но Лунину хотелось, чтобы идти было еще труднее, чтобы плечу и руке было еще больнее. Он слышал у себя за спиной утомленное дыхание Серова и сам уже начал задыхаться, когда наконец они вынесли гроб на вершину.

Здесь ветер был гораздо сильней, чем внизу. Мерзлые комья глины на снегу, мерзлая и глинистая яма, на рыжем дне которой уже белел пух свеженаметенного снега. Гроб поставили на краю могилы. Все чувствовали, что еще что-то надо сделать, прежде чем опустить его. Проскуряков, огромный, без шапки, со снежинками в волосах, нерешительно посмотрел на комиссара Ермакова. Ермаков, небольшой, плотный, ладный, уверенный в себе, выступил вперед, к гробу, и заговорил крутым своим тенорком. Он говорил о мести. Он от имени полка обещал Рассохину отомстить за него. По склоненным лицам слушавших Ермакова людей было видно, что каждый из них действительно клянется отомстить. "Ну да, конечно, мстить и мстить,- думал Лунин. - Это он правильно говорит..."

Ермаков замолчал, но гроб всё не закрывали. Лунин чувствовал, что ждут еще чего-то, и именно от него, как от

ближайшего соратника Рассохина. Нужно заговорить, а он никогда не умел говорить публично. И что сказать? Тоже о мести? И вдруг ему стало ясно, что слово "месть" гораздо меньше того, что он чувствовал и думал.

Половина родной земли под ногами у врага. Огромный город, обреченный на медленное умирание, там, за озером. Смерть Байсеитова, Чепелкина, Рассохина... Месть? Нет, тут не в мести дело. Тут любой мести слишком мало. Не мстить нужно, а мир нужно изменить, сделать таким, чтобы в нем жили, а не умирали. И, чувствуя, что ему всё равно не удастся высказать своих мыслей, Лунин, так ничего и не сказав, нагнулся и поцеловал Рассохина в крепкие холодные губы.

После Лунина его поцеловал Серов. Затем Проскуряков нагнулся над гробом и, заслонив Рассохина своей широчайшей спиной, тоже поцеловал его. Выпрямившись, Проскуряков сделал знак краснофлотцу, державшему крышку гроба, - закрыть.

Вдруг какая-то маленькая фигурка в не по росту большом тулупе протиснулась к гробу между Луниным и Проскуряковым. Лунин не видел лица, но сразу узнал: Хильда! Тулуп был на ней тот самый, который дал ей Рассохин, чтобы она не замерзла при переезде через озеро. Она упала головой на грудь Рассохина, на его сложенные холодные руки и несколько секунд пролежала так, не двигаясь. Краснофлотец с крышкой гроба в руках застыл над ней. Но вот она выпрямилась, повернулась и, закрыв лицо желтым рукавом тулупа, сразу побежала прочь, ни на кого не глядя, вниз по склону бугра, через прутья кустов, через сугробы, пока не скрылась за падающим снегом.

Грянул залп, и гроб с телом Рассохина опустили в могилу.

* * *

Когда Лунина вызвали на командный пункт полка и Проскуряков сказал ему, что он назначается командиром эскадрильи, Лунин спросил:

- Какой?

- Второй, конечно.

- А разве она еще существует?

Обширное лицо Проскурякова нахмурилось: слова Лунина ему не понравились.

- Это человек может умереть, а не эскадрилья, - сказал он. - Не такая эскадрилья! Рассохин убит, но рассохинская эскадрилья будет жить. Вы живы, Серов жив. Придут машины, придут новые люди...

- А придут машины и люди? Рассохин всё ждал, ждал...

- Теперь вы будете ждать, - сказал Проскуряков, хлопнув огромной ладонью по столу.

Он рассердился. Он часто сердился, и в полку его боялись. Но Лунин никак не мог заставить себя бояться его. Рассохина, например, он боялся, а Проскурякова нисколько. "Экой добряк! - думал Лунин, разглядывая светлые глаза Проскурякова, его мясистый бесформенный нос, широкий лоб, мягкие губы. - Экой удивительный добряк!"

И не прошло минуты, как Проскуряков уже улыбнулся.

- Немцы, по-моему, до сих пор не поняли, - сказал он подмигнув.

- Чего не поняли? - спросил Лунин.

- Дороги не поняли, которую провели у них перед самым носом. Дороги через озеро. Не поняли еще, что эта дорога для них значит.

- Откуда вы знаете, что не поняли?

- Да я вижу. Я там летаю. Они ведут над дорогой разведку, обстреливают ее с берега из пушек, штурмуют кое-где "Мессершмиттами", но настоящего значения не понимают. Не понимают, что дорога сделает для них бессмысленной всю осаду Ленинграда. И чересчур дерзкая эта затея - дорога по льду - не верится им... Но машин на дороге становится всё больше, и они уже начинают понимать.

- Начинают понимать?

- По-моему, начинают. И скоро поймут.

- И что тогда?

- Вот тогда и начнется настоящий бой за дорогу, - сказал Проскуряков. - Придется подраться, товарищ майор.

- Вам, может быть, и придется, а мне нет, - сказал Лунин. - Я безлошадный.

- Ну, ну! - сказал Проскуряков, опять нахмурясь.

* * *

Каждый день Лунин, шагая по рыхлому снегу, проходил до конца всю длинную деревенскую улицу и заходил в большой холодный сарай, стоявший на самом крага деревни возле леса. Тут помещался ПАРМ - передвижные авиаремонтные мастерские, - тут несколько техников в промасленных комбинезонах ремонтировали самолеты эскадрильи. Руководили ими инженер полка Федоров и техник Деев.

Инженер Федоров был так же долговяз и костляв, как Деев, и, по словам полкового врача Громеко, тоже напоминал Дон-Кихота. Многие так их и называли: "наш полковой Дон-Кихот" и "наш Дон-Кихот эскадрильный". Федоров даже больше был похож на Дон-Кихота, чем Деев, потому что держался очень прямо и носил светлую жесткую бородку клинышком, удлинявшую лицо. Впрочем, кроме внешности, ничего донкихотского в нем не было.

Это был трезвый, сдержанный человек лет тридцати пяти, со строгими глазами и неторопливыми движениями, такой же спокойный и немногословный, как Деев. И хотя многие, повторяя слова всё того же полкового врача Громеко, называли их план восстановления самолетов "донкихотством", в действительности это был вполне серьезный и хорошо продуманный замысел.

Работа в ПАРМе шла чуть ли не сутки сплошь, но подвигалась вперед крайне медленно, потому что самолеты были очень повреждены, а у ПАРМа не было ни необходимых станков, ни запасных частей. ПАРМы создавались для мелкого ремонта, а для капитального ремонта самолеты надлежало отправлять в какие-то особые мастерские, куда-то под Вологду. Но Проскуряков не соглашался отправлять самолеты за пределы полка, так как не верил, что они вернутся к нему в полк. И самолеты второй эскадрильи ремонтировались в ПАРМе.

Лунин, хорошо знавший авиатехнику, всё проверял собственными руками, обсуждал с инженерами все подробности ремонта, радовался каждому их успеху, волновался из-за каждой неудачи. Они из трех самолетов делали два, потому что самолет Рассохина оказался совершенно невосстановимым, но зато благодаря ему можно было надеяться восстановить два остальных. Лунин оставался в ПАРМе до обеда, потом шел в столовую.

Он старался пообедать пораньше, пока летчики первой и третьей эскадрилий не вернулись с полетов. Ему неприятно было теперь видеть их усталые, красные от зимнего ветра лица, он неловко себя чувствовал в их присутствии. Он несколько раз просил Проскурякова разрешить ему и Серову хоть иногда летать на их самолетах. Если летчиков больше, чем самолетов, можно установить очередность. В этой просьбе его очень поддержал комиссар Ермаков, который считал справедливым, чтобы все одинаково летали и одинаково отдыхали. Но Проскуряков упорно не соглашался.

- Каждый летчик должен отвечать за свой самолет,- говорил он.- За чужой самолет никто отвечать не может, потому что нельзя отвечать за самолет, которого не знаешь. Только те самолеты похожи друг на друга, которые вчера с завода выпущены, а у каждого повоевавшего самолета свой характер.

Столовая помещалась в двухэтажном доме, самом большом в деревне. До войны в нем было сельпо - внизу лавка, наверху правление. Теперь внизу обедали техники, а наверху летчики и командование полка. По крашеной скрипучей деревянной лестнице Лунин поднимался на второй этаж. В большой комнате, полной прочного печного тепла, стояли столы. В этот час за столами почти никого не было. Впрочем, Серов обычно уже сидел на своем месте и ждал Лунина. Он никогда не начинал есть, пока не приходил Лунин.

Едва Лунин садился за стол, как за дверью на кухне раздавался женский голос:

- Хильда, твои пришли.

Похищение Хильды, совершённое Рассохиным, прошло вполне благополучно. Проскуряков и Ермаков, слегка нарушив какие-то правила, зачислили ее в здешний аэродромный батальон и назначили подавальщицей в лётную столовую. Кроме Хильды в столовой работали еще две подавальщицы, но Хильда не разрешала им подать Серову и Лунину хотя бы солонку или стакан воды.

Хильда была всё такая же, как и прежде, - в том же белом фартучке, с тем же ярким кухонным румянцем на нежных щеках, - и не такая. Лунин отчетливо видел происшедшую в ней перемену, но не мог бы определить, в чем она заключалась. Просто вся она стала как бы тише - тихой-тихой. Уже не так бросалось в глаза, какая она вызывающе хорошенькая, хотя лицо ее ничуть не потускнело.

В те немногие дни вынужденного безделья Серов мучился еще больше, чем Лунин. Когда он ничего не делал, его начинали одолевать воспоминания и тревоги. В нем появилась новая черта,

которой Лунин прежде у него не подозревал, - раздражительность.

Лунин всегда считал, что представить себе человека терпеливее, добродушнее и спокойнее Серова невозможно, и вдруг оказалось, что Серов способен затевать за обедом бессмысленные ссоры с совершенно, в сущности, безобидными людьми - с полковым врачом, например.

Военврач третьего ранга Громеко был самый лихой человек в полку. Он ходил в лётном комбинезоне и носил его с таким шиком, с каким не удавалось носить комбинезон ни одному летчику. Весь он был украшен какими-то значками в виде серебряных крылышек, корабликов, пушечек. Единственный во всем полку, он носил усы - узенькие и довольно нахальные. Хотя спереди волосы его уже слегка редели, но по мальчишеским глазам сразу можно было сказать, что он всего год назад окончил институт. Говорил он громко, мужественным баском и раскатисто картавил. Вообще он как бы постоянно играл этакого старого солдата, этакого боевого парня, которому всё нипочем. Рассказывали со смехом, что корреспондент какой-то газеты, приехав в полк, принял полкового врача за самого заслуженного летчика и расспрашивал, сколько немецких самолетов он сбил.

Полковой врач тоже приходил в столовую рано и обычно обедал вместе с Луниным и Серовым. Он был приветлив с ними, словоохотлив и старался привлечь к себе их внимание. Обращался он преимущественно к Серову, - Лунин уже одним своим возрастом внушал ему, кажется, некоторую робость.

Он говорил Серову "ты" и называл, картавя, "стай-лейт". В сущности, в этом не было ничего обидного: люди на фронте легко переходили на "ты" и старших лейтенантов часто называли старлейтами. И Серов, конечно, никогда не стал бы обижаться, если бы его так называл кто-нибудь другой, а не этот доктор. Но тут его всего словно корежило и от этого "ты" и от этого "стай-лейта". Один вид полкового врача Громеко приводил его в раздражение, которого он почти не в силах был скрыть, но полковой врач ничего не замечал и обращался к нему, как к короткому и задушевному приятелю.

Всё, что рассказывал полковой врач Громеко, было полно лихости и бесшабашности. Спирт, чистейший, медицинский, девяностошестиградусный, занимал в его рассказах первое место. Обладание медицинским спиртом придавало ему особое могущество, особый блеск, и он тщеславно рассказывал, какие большие люди искали его дружбы и благосклонности, чтобы воспользоваться медицинским спиртом. По его словам, сам он способен был выпить сколько угодно и, казалось, умение пить

медицинский спирт считал величайшей из человеческих доблестей. Кроме спирта, важное место в его рассказах занимал патефон. Он был единственный человек в полку, обладавший патефоном, и патефон этот был какой-то удивительный, заграничный, приобретенный в то время, когда полк стоял в Таллине. Доктор так дорожил своим патефоном, что только его и спас из всего своего имущества, когда транспорт, на котором он эвакуировался из Таллина, затонул и пришлось пересесть в шлюпку. Два чемодана с вещами бросил, взял только сумку с хирургическими инструментами, фляжку со спиртом и патефон. Жаль, пластинки погибли. А какие пластиночки были! Доктор чмокал, вспоминая о них. Впрочем, три пластиночки, самые забористые, у него сохранились. Вот он как-нибудь зайдет к ним вечерком - он знает, где они живут: в той избе, перед которой раздвоенная береза, как вилка,- зайдет и спирту принесет и патефон...

Лунин не выразил ни малейшей радости при этом обещании, а Серов сморщился, словно проглотил что-то кислое, но доктор ничего не заметил. До самого конца обеда он дружелюбно занимал их разговорами. Любил он поговорить и о своей медицине, но и о ней он говорил всё так же: с лихостью и старательным цинизмом. В медицине уважал он, по его словам, только хирургию, всё остальное - клистирная наука. Вот поработать скальпелем - это действительно удовольствие!

- Заходите ко мне, дйузья, я вам что-нибудь отйежу! - кричал он, картавя, и это была его любимая шутка.

Конечно, кроме патефона и спирта, у доктора была еще одна тема, в которой он охотно проявлял свою лихость, - женщины. О женщинах он говорил презрительно и победоносно.

Надо сказать, что Лунин слушал доктора спокойно, без негодования. Доктор не был ему противен, а скорее вызывал к себе жалость. Глядя на тонкое, нервное, подергивающееся лицо доктора, Лунин не мог отделаться от ощущения, что этот мальчик, надев на себя один раз глупую маску, тяготится ею, но не умеет от нее избавиться. Серов же не прощал доктору ничего, мгновенно замолкал в его присутствии и следил за ним с мрачным отвращением.

Однако он всё терпеливо сносил до тех пор, пока доктор не обнял Хильду за талию. Хильда оттолкнула доктора спокойно, но Серов вдруг привстал и крикнул неожиданно тонким голосом:

- Оставьте!

Доктор сразу же оставил Хильду, обернулся к нему и рассмеялся.

- Йевнуешь, стайлейт? - спросил он его, смеясь. - Э, да я

совсем позабыл, что это кйаля втойой эскадйильи, что вы ее с собой пйивезли... Да что ты, бйат, что ты!..

Он слегка отпрянул, загремев стульями, - с таким страшным лицом подступал к нему Серов.

- Шут! - говорил Серов. - Вы просто шут! Вы понимаете, шут!

- Ну, ну, это уже лишнее,- сказал доктор, продолжая отступать. - Я этого тейпеть не могу...

Но, к несчастью, сделал попытку опять улыбнуться. Серов не выдержал этой улыбки и замахнулся.

- Серов! - сказал Лунин.

Серов мгновенно опустил руку и повернулся к Лунину. Простояв неподвижно минуты две, он, не сказав ни слова, ссутулясь, быстро вышел из столовой.

- Скажите, майой, что он у вас, пйипадочный? - спросил доктор, подсаживаясь к Лунину. - Чего он кипятится? А я, пйаво, ему зла не желаю. Я с ним помийюсь... Я с ним еще сегодня помийюсь...

3.

Лунин жил с Серовым в избе у глухой старухи, которая, сидя на печи, бессонно бормотала что-то и днем и ночью.

Изба была чистая, без клопов и тараканов, вышитые полотенца висели возле окошечек, сухим жаром дышала печь, за стеклами видна была раздвоенная береза, прелестно посеребренная изморозью. Кровать Лунина, большая и мягкая, стояла за цветной занавеской, в углу. На этой кровати он по ночам часто лежал без сна и думал.

Он думал о войне, о людях, с которыми прожил минувшую осень, и о тех людях, которых знал до войны. Воспоминания возникали сами собой, без всякого усилия с его стороны, и он не знал, как остановить их поток. Ему вспоминалось много такого, о чем он собирался никогда не вспоминать. От всех этих воспоминаний в нем возникало ощущение недовольства собой. Многое, казалось ему, он в своей жизни сделал не так, как надо.

Среди разных давних обстоятельств мучило его одно обстоятельство, совсем недавнее. Он четыре с лишним месяца прожил возле самого Ленинграда и не попытался разыскать свою бывшую тещу. Правда, он много раз собирался заняться наведением справок, но потом передумывал, откладывал. И так дотянул до самого перелета. Теперь, когда Ленинград стал для него недосягаем, он постоянно укорял себя за это.

С Лизой он разошелся несколько лет назад и с тех пор ничего о ней не слышал. Только от ее матери Лунин мог узнать, куда она уехала и где она теперь. Но он ничего не желал знать о Лизе и именно оттого и не зашел к своей бывшей теще, чтобы старуха не

подумала, будто он желает узнать, где Лиза.

Однако эта старуха - единственный знакомый ему человек в Ленинграде... Конечно, после того как он расстался с Лизой, все его обязательства по отношению к ее матери исчезли. Но так можно было рассуждать до войны, а сейчас это неправильное рассуждение. Он обязан был разыскать ее и помочь ей. Во-первых, он мог зайти к ней и ничего не спросить о Лизе. А во-вторых, если бы она сама сказала, где Лиза, не всё ли ему равно... Даже если бы она сказала, что Лиза в Ленинграде...

Ужинать Лунин с Серовым в столовую не ходили. Им, не летающим, не хотелось выслушивать рассказы летчиков о том, как они сегодня летали, а избежать этих рассказов было невозможно, потому что за ужином в столовой одновременно собирались все летчики полка. И вестовой Хромых приносил ужин Лунину и Серову к ним в избу.

Доктор посетил их, когда они только что поужинали: пришел мириться с Серовым.

- Бйось, дйуг, дуться, бйось, стайлейт! - говорил он, стоя над Серовым, лежавшим на койке. - Что, книжку читаешь? Бйось, зачитаешься. А на ту хойошенькую эстонку из столовой я и не гляжу... ей-богу, не гляжу. На что мне она?.. Бйось книжку, смотйи, что я пйинес...

На его комбинезоне, украшенном значками, таяли снежинки; за окнами слегка мело. На столе возле койки Серова горела маленькая керосиновая лампочка, и громадная черная тень доктора качалась по потолку и стенам. Доктор поставил на стол чемоданчик, который, когда его раскрыли, оказался патефоном. Потом из большого кармана над левым коленом извлек он склянку со светлой жидкостью:

- Эй, бабка, слазь в подпол, пйинеси нам по огуйчику... Этот стакан годится... А, и капустка кислая нашлась? Девяносто шесть гйадусов! Ты как, стайлейт, йаз-бавляешь или нет? Я обычно не йазбавляю... ну, да сегодня уж ладно... Зови своего командийа. Эй, товайищ комэск, вылезайте из-за занавески...

Серову попрежнему был неприятен доктор, но он давно уже остыл и понимал, что ссориться глупо. Ему теперь было стыдно, что он так погорячился в столовой.

Загремел патефон. Лунин с удовольствием выпил стакан разведенного спирта, но от второго отказался. Бабка тоже выпила стаканчик, глаза ее подобрели, она уселась в углу и смотрела на Серова и доктора, ничего не слыша, но наслаждаясь. Доктор и Серов выпили и по второму и по третьему. Они сидели обнявшись и пели; патефон пел одно, они - другое. Лунин, начавший уже дремать у себя за занавеской, думал, что вот-вот доктор уйдет, а

Серов ляжет спать. Но оказалось, что им не хочется расставаться. Они вышли вместе, унеся с собой поющий патефон. Они так и по улице пошли - с заведенным патефоном в руках, - и Лунин долго еще слышал постепенно затихающую мелодию.

Лунин проснулся среди ночи, когда вестовой Хромых принес Серова. Серов был весь в снегу и совершенно невменяем. Когда Хромых поставил его на пол, он не упал, но глаза его были закрыты. Хромых раздел его и уложил в постель.

- Я их возле самых зениток нашел, - объяснил Хромых. - Хорошо, что они к зенитчикам пошли, а то здесь, в деревне, комиссар непременно их заметил бы. Они, видно, в землянку шли, где зенитчики живут, но с тропки сбились, провалились в снег по пояс, и ни туда ни сюда. Доктор сидит в снегу, патефон заводит, а наш старший лейтенант заснул...

- А как же вы у зениток очутились, Хромых? - спросил Лунин.

- А я за ними с самого начала шел. Не мог же я старшего лейтенанта бросить. Ведь если б он пьющий был... Пьющий не пропадет... А ведь он непьющий...

Утром завтракать Лунин пошел один. Серова ему будить не хотелось: нет, так больше нельзя. Нужно поговорить с командиром полка, пусть он дает ему и Серову какую угодно работу, хоть снег на аэродроме подметать. Безделье душу вымотает и до добра не доведет.

Метель улеглась, утро было тихое, серенькое, реденький снежок падал с неба. Лунин медленно брел между изб по улице, как вдруг услышал характерное тарахтенье. К деревне приближался самолет "У-2". Лунин приподнял голову и увидел, как он выполз с западной стороны из-за леса и низко-низко перетянул над крышами, двигаясь к аэродрому. "Неужто из Ленинграда? - подумал Лунин. - И без сопровождения, один. На таком безоружном тихоходе повстречать над озером "Мессершмитт" радости мало..." Он вспомнил, что Уваров летает на "У-2". А вдруг это Уваров?"

Лунин взошел на крыльцо, почистил ноги еловым веником и поднялся в столовую. Обычно за завтраком он встречался в столовой с Проскуряковым и Ермаковым, но на этот раз столовая оказалась совсем пустой. Он с удивлением убедился, что ему предстоит завтракать и полном одиночестве.

Хильда подала ему завтрак.

- Еще никто не завтракал,- сказала она.- Комиссар дивизии прилетел, и все пошли встречать его на аэродром.

Лунин всегда радовался встречам с Уваровым, потому что Уваров был очень ему интересен. Встречался он с ним в землянке Рассохина или в лётном кубрике в присутствии двух-трех очень

близких людей и разговаривал попросту, почти как с равным, без всякой торжественности. Здесь же дело было совсем другое: здесь находился полк, и в полк этот прибыл комиссар дивизии; естественно, что встреча должна была носить вполне официальный характер. Здесь Уваров - не хорошо знакомый, близкий человек, а начальник; и Лунин, который терпеть не мог лезть на глаза начальству ни до войны, ни теперь, заторопился, чтобы поскорей позавтракать и уйти.

Прилет Уварова отчасти даже, встревожил Лунина. Если Проскурякову и Ермакову известно что-нибудь о вчерашних похождениях Серова, так появление комиссара дивизии только к худшему. Командование полка нетрудно было бы уговорить посмотреть на поступок Серова снисходительно, но в присутствии такого высокого начальства они, пожалуй, не осмелятся выгородить его.

Наскоро поев, Лунин, как всегда, направился к техникам своей эскадрильи, а от них - в ПАРМ. Проведя в ПАРМе около часа, он вышел оттуда вместе с Деевым, который торопился на комсомольское собрание, происходившее в избе, где жили мотористы.

- Ко мне сегодня заходил Серов, - сказал Деев.

- Когда?- удивился Лунин.

- Когда вы завтракали.

Деев чуть-чуть усмехнулся, и по этой усмешке Лунин понял, что Серов, проснувшись, сразу пошел к парторгу и рассказал всё.

- Что же вы ему сказали?

- Я? - переспросил Деев. - Ничего. А что ему сказать? Он сам не хуже меня понимает. По-моему, пустяки. Такой не сопьется. Здесь другое плохо...

- Другое? - спросил Лунин.

- Тоскует он очень, - сказал Деев. -Дела у него нет сейчас. Без дела с тоской сладить трудно...

Шагов десять прошли молча. Потом Лунин спросил:

- А Ермаков знает?

- Да мы с Ермаковым еще ночью знали.

- Ну, и как он?

- Ермаков насчет пьянства крут. Не терпит.

- Что же будет?

- Он доктора уже с утра к себе вызвал.

- Только доктора?

- Только доктора. Затеял-то ведь всё доктор... Ермаков решил доктора разнести.

- Разнес?

- Не успел. Прилетел Уваров, и всё отложилось.

- А Уварову скажут?

- Не знаю.

Деев еще рассказывал, а Лунин уже смотрел на Уварова, который стоял у крыльца избы мотористов и поджидал их обоих, издали им улыбаясь.

- А, Константин Игнатьич! - сказал он, когда они подошли к крыльцу, и пожал руку сначала Лунину, потом Дееву. - Нет уж, заходите, мы вас не отпустим. Тут одного из ваших мотористов в комсомол принимают.

Смотря в приветливое, веселое лицо Уварова, Лунин и сам повеселел. Он вовсе не думал идти на комсомольское собрание, но теперь с удовольствием вошел в эту большую, полную махорочного дыма избу, где со всех сторон на них глядели молодые, огрубевшие от мороза и ветра лица. Комсомольцы эскадрильи - главным образом мотористы и несколько молоденьких техников сидели на всех нарах и лавках.

- Не вставайте! Сидите! Продолжайте! - сказал Уваров. - Здравствуйте, здравствуйте! - и тихонько присел в углу вместе с Луниным и Деевым.

Посреди избы стоял Иващенко - моторист, обслуживавший самолет Серова, большой, плечистый парень девятнадцати лет. Его принимали в комсомол, и он волновался. Крупные капли пота текли по его красному лицу. Не зная, куда деть могучие руки с толстыми коричневыми пальцами, он, с трудом находя слова, рассказывал свою коротенькую и простую биографию.

Когда он кончил, комсорг эскадрильи, молоденький техник, одновременно и польщенный и встревоженный присутствием комиссара дивизии на собрании, предложил задавать вопросы. Все молчали, - они слишком хорошо знали Иващенко, и им казалось, что спрашивать его не о чем.

И вдруг Деев попросил разрешения задать вопрос.

- Сколько вылетов с начала войны сделала машина, которую ты обслуживал? - спросил он.

- Двести два, - ответил Иващенко.

- А сколько раз она возвращалась, не выполнив боевого задания?

- Ни разу.

Иващенко отвечал с откровенной гордостью. Всем было ясно, что, если летчик Серов на своем самолете за полгода такой войны мог вылететь двести два раза, значит, у него хороший моторист. И все поняли, что Деев задал свои вопросы не потому, что он не знал числа вылетов, а для того, чтобы комиссар дивизии услышал: двести два вылета и ни одного невыполненного боевого задания. Пусть комиссар дивизии увидит, какой дельный народ

вступает в комсомол у них в эскадрилье!

Иващенко приняли в комсомол, и собрание закрылось. Лунин вместе со всеми вышел на крыльцо.

- Проводите меня немного, если у вас есть время, - сказал ему Уваров.

Они вдвоем неторопливо пошли вдоль деревенской улицы.

- Я брожу здесь, с людьми разговариваю и всё думаю о Рассохине, начал Уваров. - Вас увидел, и тоже о нем подумал. Я ведь много лет хорошо его знал. Учились вместе, потом служили вместе. Я всегда его уважал, но только за эту осень он по-настоящему показал, какой он человек. Большой человек, большой воин! Мы месяц назад представили его к званию Героя Советского Союза. Сегодня получил сообщение, что он уже Герой посмертно...

- Ему теперь всё равно, - сказал Лунин.

- Ему-то всё равно,-согласился Уваров. - А вам разве всё равно?

- Нет, мне не всё равно, - сказал Лунин и почувствовал, что краснеет.

- И мне не всё равно, - сказал Уваров. Они дошли до столовой, но не остановились, а пошли по улице дальше.

- А вас я поздравляю, майор, - сказал Уваров.

- С чем? - удивился Лунин.

- Вы командуете лучшей эскадрильей полка.

- Эскадрильей, которой нет!

- Как - нет? Разве можно сказать про рассохинскую эскадрилью, что ее нет? Это до войны любую часть можно было расформировать и сказать, что ее нет. Каждое подразделение было таким же; как любое другое, и отличалось только номером. А теперь, после полугода этой войны, каждое подразделение имеет свою личность, свою судьбу. И, странное дело, мертвые продолжают жить в своих частях, продолжают учить и вести живых. Это удивительно, но это так. И вторая эскадрилья жива и будет жить. И не случайно, что ее командиром стали вы, а не кто-нибудь другой. Разве вам это не ясно?

Они прошли уже всю деревню насквозь, и улица превратилась в лесную дорогу. Куда они идут? Но тут Уваров повернул назад, и Лунин понял, что они просто прогуливаются.

- Так и я могу сказать, что я комиссар дивизии, которой нет, продолжал Уваров. - У нас три полка да, сверх того, отдельные подразделения, штабы, политорганы, тылы, инженеры, мастерские, строевые отделы, а поднять все самолеты в воздух - так одной полной эскадрильи не получится. И всё же мы дивизия, хотя бы потому, что немцы считают нас за дивизию.

- А они считают? - спросил Лунин.

- Наверно, считают, раз до сих пор не решились ударить с воздуха по дороге. Они ведут себя очень осторожно, подтягивают авиацию.

- Авиацию подтягивают?

- Есть такие сведения.

- Значит, они поняли, в чем смысл дороги?

- Начинают понимать. Еще не до конца поняли, но начинают. Окончательно раскумекают, чуть в Ленинграде станет лучше.

- Еще не лучше? - спросил Лунин.

- Пока нет.

- А когда станет лучше?

- Не знаю. Откуда я могу знать? Для того чтобы увеличить нормы, нужно сначала поднакопить продовольствия, а город огромен, в нем, кроме жителей, несколько армий, а дорога, видимо, пропускает немного... Но поднакопят, если мы выдержим удар...

- Когда же будет этот удар?

- Вот человек - всё ему надо знать, когда! - рассмеялся Уваров. - Как раз к тому времени, как ваш самолет выйдет из ремонта.

- Не раньше?

- Не думаю.

Они замолчали и молча прошли мимо столовой. Уваров искоса поглядывал на Лунина. Потом вдруг спросил:

- Вам тяжело ждать, майор?

- Очень, - сказал Лунин.

- А разве вы не рады отдохнуть?

- Нет, - сказал Лунин. - Мне хуже всего отдыхать.

Уваров внимательно посмотрел на него сбоку, но ничего не сказал. Потом вдруг слегка усмехнулся, словно внезапно вспомнил о чем-то.

- А на доктора пришлось наложить взыскание, - проговорил он.

- Вот как! - осторожно сказал Лунин.

Теперь уже нельзя было сомневаться, что Уваров про вчерашнее знает всё. "Для Серова это плохо", - с беспокойством подумал Лунин. Не решаясь спросить о Серове, он ждал, не скажет ли Уваров чего-нибудь сам. Но Уваров имени Серова не произнес.

Он вдруг круто к нему повернулся и спросил:

- А вы эту Ледовую дорогу, когда над ней летели, хорошо разглядели?

- Совсем не разглядел, - ответил Лунин. - Поземка мела, да и

трасса наша не совпадала. Мы дорогу только раза два пересекли.

- Вот я тоже летел сегодня утром и ничего не видел. Туман. А нужно бы повидать, раз мы над ней драться будем.

- Нужно, - согласился Лунин.

- Поездить по ней нужно, со льда на нее посмотреть, - сказал Уваров. Поезжайте по Ледовой дороге.

Лунин от неожиданности не сразу понял.

- Я? - спросил он.

- Вы, раз у вас сейчас свободное время есть. Через озеро и назад.

- Слушаю, - сказал Лунин.

Подумав, он спросил:

- А в Ленинград заехать можно?

- У вас кто-нибудь есть в Ленинграде?

- Нет, никого... - ответил Лунин. - Да, есть...

- Что ж, заезжайте. Возьмите в продчасти, что вам по норме положено, сухим пайком вперед. А на кого вы эскадрилью оставите?

- На Серова.

- На Серова? - переспросил Уваров и задумался.

"Ох, после вчерашнего не разрешит на Серова оставить", - подумал Лунин.

- Ну что ж, оставляйте на Серова, - сказал Уваров. - Он почувствует ответственность, это ему полезно будет. Вы, кажется, здесь живете...

Лунин обернулся и увидел, что стоит у раздвоенной березы. Уваров довел его до самого дома.

- До свидания, - сказал Уваров и ушел.

4.

Штабом полка называли избу, в которой жили Проскуряков, Ермаков и начальник штаба Шахбазьян, а командным пунктом полка - землянку, в которой днем и ночью находился оперативный дежурный старший лейтенант Тарараксин. Как известно, должности оперативного дежурного не существует, дежурство это несет группа лиц из командного состава полка, поочередно сменяя друг друга. Но старший лейтенант Тарараксин был прирожденный оперативный дежурный, настолько лучше, чем все остальные, исполнявший свои обязанности, что с первого дня он дежурил постоянно, и его не сменяли, а только "подменяли" на. несколько часов в сутки, пока он спал или ел.

Это был очень долговязый, сутуловатый малый лет двадцати трех, с робкой улыбкой и добрыми глазами. Цвет лица у него был землистый, вероятно, оттого, что его жизнь проходила под землей. Он первый узнавал о всех воздушных боях, но по неделям

не видел неба. Раз сорок в сутки он в разные концы сообщал по телефону о состоянии погоды, но сам про погоду знал только из метеосводок. Сгорбился он, вероятно, тоже оттого, что низкий потолок землянки никогда не давал ему вытянуться во весь рост. В огромной, мешковатой черной флотской шинели с коричневыми пятнами на боках от частого прикосновения к раскаленной жестяной трубе печурки сидел он перед шестью телефонными аппаратами, кричал разом в две трубки и держал связь с эскадрильями, с дивизией, со штабом ВВС КБФ, со всеми аэродромами, с флотом, с тремя фронтами - Ленинградским, Волховским и Карельским. Его знали тысячи людей на огромном пространстве от Кронштадта до Вологды и от реки Свири до станции Будогощь - не его самого, а голос его и фамилию. Он слегка заикался, и поэтому его называли Тарарараксиным, и даже Тарарарарараксиным. Он тоже знал всех и всё. Ни один самолет в районе Ладоги - ни наш, ни вражеский - не мог подняться так, чтобы об этом не знал Тарараксин. Да что самолет - он знал каждый рейс каждой машины автопарка тыла дивизии! Вот почему Лунин, собравшись ехать через озеро в Ленинград, засел со всей своей поклажей на командном пункте полка и ждал, пока Тарараксин, звоня по телефонам; найдет машину, которая может его захватить.

Поклажа у него оказалась неожиданно тяжелой, потому что, когда два дня назад в полку стало известно, что майор Лунин собирается в Ленинград, ему со всех сторон стали приносить хлеб, банки консервов, кульки с пшеном, концентраты:

- Вот, товарищ майор, отвезите вашим родным...

- Да у меня нет там родных...

- Ну всё равно, кому-нибудь отдайте...

Все эти принесенные ему остатки пайков да свой собственный паек за четыре дня вперед Лунин сложил в два мешка, а мешки связал так, чтобы один висел на груди, другой на спине, и поклажа получилась такая увесистая, что даже он с трудом взваливал ее на плечо. На командном пункте полка засел он с вечера, потому что Тарараксин сказал ему, что машины из тыла дивизии обычно проходят здесь на рассвете. Ложиться ему не хотелось, и он продремал всю ночь на скамейке возле жаркой печурки под звон телефонов, под раскатистый голос Тарараксина.

- Температура всё падает, майор, - говорил Тарараксин Лунину. - Ветер северо-восточной четверти, небо ясно. Вас на озере поморозит.

И действительно, когда часа за два до рассвета Лунин вышел из землянки поглядеть на звёзды, холодный воздух обжег ему горло. Млечный Путь был отчетливо виден, каждая звездочка

мерцала отдельно. Снег звонко хрустел под ногами, треск деревьев в лесу можно было принять за винтовочные выстрелы. Лунин вернулся в землянку и сразу заснул, присев возле печки. Проснулся он, услышав громкий голос Тараракcина, спрашивающий:

- Ну как, майор, вы на этой поедете или будете ждать следующей?

Лунин вскочил.

- Конечно, на этой, - сказал он. - Она уже здесь? А чем она нехороша?

- Да тяжела очень, - сказал Тараракcин. - Снаряды везет.

- Не всё ли равно! Мне лишь бы ехать.

Ему надоели все эти сборы и ожидания. Взвалив на плечо свои мешки, он торопливо вышел из землянки.

Холодное солнце только что встало над лесом, и снег так ярко сверкал разноцветными огнями, что Лунин зажмурился. Огромный "ЗИС" с невыключенным мотором стоял перед землянкой, дрожал и фыркал. Деревянные ящики заполняли весь его кузов. Радиатор его был укрыт и увязан тряпками, рогожами, рваным ватником. Маленький шофёр в громадных валенках нетерпеливо похаживал рядом и ежился, весь в клубах пара. Круглое, очень юное лицо его было черно от мороза, мазута и копоти.

- Скорей, скорей, товарищ командир, - сказал он Лунину без особой почтительности. - Нет, мешки с хлебом в кузов нельзя, - стащат еще. Давайте их сюда, в кабину. Уж как-нибудь поместимся...

Он насмешливо и с чувством превосходства смотрел на Лунина, который казался неуклюжим в своем светлом, чистом тулупе и в новеньких, необношенных валенках, только что со склада. Однако охотно и расторопнопомог ему освободиться от мешков и расположить их в кабине.

- Нет, так нельзя их класть, - сказал он. - Так вы дверцу мешком загородили. А если прыгать придется, как же вы дверцу откроете?

- Прыгать? - спросил Лунин.

- Ну да, если под обстрел попадем. Вот мы их здесь положим. Вы в эту дверцу прыгать будете, а я в эту...

Они уселись и сразу поехали. С грохотом покатили они по улице деревни. Над трубами изб уже стояли прямые, золотые от солнца столбы дыма, казавшиеся неподвижными. Вот и крыльцо столовой. Деревня кончилась. Потянулась узкая, извилистая лесная дорога между двумя рядами елок. Машина ходко шла по хорошо укатанному снегу, наполняя застывший в морозном

воздухе лес лязгом и грохотом. Но сидеть было не совсем удобно: мешки мешали выпрямить ноги.

- Это и лучше, что неудобно, - сказал шофёр. - Не уснешь. Некоторые шофёры подвешивают котелки в кабинах, чтобы стукали по затылку и не давали уснуть. Или винтовку за спиной приладят, чтобы врезалась в лопатки... На таком морозе всегда в сон клонит. На озере бело, ничего, кроме белого, не видишь, морозом прихватит - и засыпаешь. Словно колдовство.

- Вы с самого начала видели, как строили дорогу через озеро? - спросил Лунин.

- С самого начала никто здесь не видал. Самое начало в Москве было. Рассказывают, в Москву осенью затребовали все труды про наше озеро.

- Труды?

- Ученые. Всё, что написано. Ведь лед у нас хитрый, подлый лед, с ним без науки нельзя. В Центральном Комитете партии прочитали и сказали: строить. А уж дальше я всё сам видел - с ноября, когда озеро покрылось первым льдом. Провод через озеро перетянули, вешки на льду поставили - вот и вся дорога. Стали продовольствие в Ленинград перебрасывать - впряжется красноармеец в салазки и волочит их на другой берег перед самым носом у немцев. За день перейти не успеют, куда там... так на голом льду и ночуют. Много ли на салазках перевезешь!.. Вот как эта дорога начиналась.

- А когда же машины пошли?

- До машин еще лошади ходили. В Кобону с железной дороги разными тропками непроезжими, потому что настоящих путей тогда не было, навезли продовольствия и пригнали лошадей. Стали лошадьми продовольствие на тот берег перевозить - машины еще проваливались. Двинулись через лед обозы. Я сам этих лошадей видел, когда в первый раз через озеро ехал. Прямо скажу, рисковое это тогда было дело - на машине по льду. Одна машина ничего, а плохо, когда получалась пробка и машины скоплялись. Лед лопнет, и пока через трещину мост наладят, машин сорок наберется. И вдруг весь лед под всеми начинает оседать, и вода выступает и плещет по колесам, и груженые машины сами собой боком ползут к трещине, переворачиваются и проваливаются. А тут еще немец заметит - и давай крыть! Вот когда страшно... Они въехали в Кобону. Над старинным Круголадожским каналом стояла церковь, вокруг нее десятка полтора изб. Церковь была деревянная, старорусская, с зелеными луковками куполов. Избы из мохнатых от старости бревен были большие, как строят на русском Севере, на высоких подклетях, в которых хранится рыболовная снасть, сбруя, картошка. Машина

по мосту переползла через канал, и Лунин вдруг увидел груды ящиков и мешков, кое-как прикрытые брезентом и щедро посыпанные снегом. Они были очень высоки, эти груды, - выше изб и чуть пониже церкви. Никаких складских помещений в Кобоне, конечно, не было, и продовольствие, свезенное сюда для отправки через озеро, лежало пока под открытым небом. "Вот что немцы будут бомбить, когда подтянут сюда авиацию", - подумал Лунин.

Машина свернула за угол, вползла на последний бугор, и Лунин увидел перед собой всю ширь озера и бегущую по льду дорогу. Он невольно прищурился - так озеро сияло, сверкало, блестело на солнце нестерпимой своей белизной. Дорогу узнал он по веренице машин, тянувшейся до горизонта. Машина, в которой ехал Лунин, скатилась вниз по пологому склону, бревно шлагбаума проплыло над ними, и они покатили по льду.

Дорога имела в ширину метров пятьдесят, была хорошо укатана, вычищена и с двух сторон ограждена от заносов метровыми стенками, сложенными из снежных кирпичей. Пока они ехали лесом, погода казалась Лунину безветренной, тихой, но здесь, на озере, видимо, всегда был ветер, и огромные сугробы, наметенные вдоль дороги, дымились на ветру. Этот снежный кристаллический дым горел на солнце тысячами огоньков, перелетал через ограды, искрящимися бегущими струйками стлался по дороге и накапливался белой рыхлой трухой, в которой вязли шины. И всюду, где трухи этой набиралось много, стояли красноармейцы в тулупах и лопатами расчищали путь.

Вообще людей, обслуживающих дорогу, было много.

Через каждые два-три километра стоял регулировщик, совсем как на каком-нибудь городском перекрестке. У выкрашенных в белый цвет зенитных орудий бродили зенитчики. Саперы поправляли стены из снежных кирпичей. Автоматчики в белых халатах гуськом пересекали дорогу и двигались по нерасчищенному льду куда-то к югу. Где живут все, эти люди, где они спят, едят, отдыхают от мороза и ветра? Неужели вот здесь, на льду?

- А вон палатки, - сказал шофёр.

Лунин, вероятно, так и не заметил бы этих палаток, если бы ему не показали их. Белые, низкие, почти плоские, занесенные снегом, они сливались со снежной равниной. Но после того как ему показали, он быстро научился различать их сам - по коротким теням, которые они бросали на снег, по бегущим к ним по снегу тропинкам, по дымкам над ними.

- Землянок на льду не выроешь, вот так и зимуют, - сказал шофёр.

- А где же спят? Прямо на льду?

- Нет, зачем на льду. На еловых ветках. Там, в каждой палатке, весь пол поверх снега еловыми ветками выложен. Пока печка горит, в палатке тепло. Иногда даже просто жарко бывает, если ветер не очень сильный.

- А лед под палаткой от печки не тает?

- Вот для этого ельник и кладется, а то там всегда была бы мокрота. Я сам в этих палатках ночевал, когда пурга на озере заставала. Тут такие палатки есть, где тебя горючим заправят, и такие, где тебе машину подремонтируют. Всё продумано. А самые лучшие палатки - санитарные. Они первые на льду появились, когда еще никаких других не было. В них замерзших пешеходов отогревали.

- Пешеходов?

- Ну да, вначале, когда многие из Ленинграда пешком шли. Дорога тогда еще едва намечена была, метелью ее заметало, время года темное, рассветает на три часа в сутки - ну как тут не заблудиться! Вот заблудятся, разбредутся во все концы поодиночке, выбьются из сил, лягут - и конец. Санитары по ночам выходили на поиски, искали их по озеру и таскали в палатки обогревать. Я одну девушку знал, санитарку, здоровенную, она бывало за ночь человек двенадцать к себе в палатку приволочит. Принесет на спине, положит возле печки - и, опять в темноту, в буран, шагать по льду, пока на другого не наткнется. До сих пор на льду живет. Я ее недавно видел хорошая девушка! Роста не очень большого, но такая широкая, крепкая...

Прямо перед собой Лунин всё время видел машину, груженную мороженными бараньими тушами. Ничем не покрытые, лилово-рыжие, туши эти казались удивительно яркими среди белизны снегов. Машина с тушами то уходила вперед метров на триста, то оказывалась совсем близко, и, глядя на нее, Лунин почему-то чувствовал сонливость. Шофёр давно замолчал и неподвижно смотрел перед собой. У Лунина слипались глаза, он с усилием открывал их, но через минуту они слипались снова. Правая нога его начала мерзнуть, - вероятно, оттого, что мешки с хлебом мешали ему поставить ее удобно. Он чувствовал, что надо передвинуть мешки и переставить ногу, но не хотелось двигаться, он всё откладывал и терпел.

Вдруг хрустнула, открываясь, дверца, и струя холода ворвалась в кабину. Мгновенно очнувшись от дремоты, Лунин увидел, что шофёр, не выпуская из рук руля и не останавливая машину, глядит через полуотворенную дверцу на небо. И сейчас же услышал певучее жужжанье самолетов.

- Наши, - сказал шофёр, не отрывая глаз от неба.

Лунин и сам уже по звуку моторов знал, что это наши.

Тени самолетов пересекли дорогу, побежали по снегу. Лунин приоткрыл свою дверцу и тоже глянул вверх. Шесть истребителей, сверкающих на солнце, двигались строем в морозной синеве, оставляя за собой длинные полосы белого пара. Это шел Проскуряков со всем своим полком. И вдруг Лунин почувствовал нестерпимое желание быть там, вверху, в ветре, вместе с ними. Он огорченно отвернулся и захлопнул дверцу.

- А немцы бомбят дорогу? - спросил он.

- А как же, - ответил шофёр. - Вон воронка, посмотрите.

Лунин увидел маленькую лунку во льду, огороженную деревянными козелками, и вспомнил, что они проехали уже несколько таких козелков. Он удивился. Ему казалось, что даже те мелкие бомбы, которые сбрасывают "Мессершмитты-110", должны были оставлять воронки куда больше.

- Мы их не особенно боимся, когда они бомбят, - сказал шофёр. - На льду бомбежки совсем не такие получаются, как на суше. Здесь бомба пробивает лед и уходит на дно. Видите, дырочка какая маленькая. Если она и взорвется, так осколков совсем немного. Вот страшно, когда "Мессершмитт" начинает из пулеметов обстреливать. Он летит над дорогой и выглядывает, где несколько машин гуськом идут. Выглядит - и давай стрелять по передней машине. Ему главное - остановить переднюю машину: подожжет ее, или убьет водителя, или заставит его из кабины выскочить. Чуть первую машину он остановит, все остальные собьются в кучу и тоже остановятся. Вот тут ему тогда раздолье: кружит и бьет, кружит и бьет. Шофёры бегут, но на льду всё плоско - куда спрячешься?

- Спрятаться тут мудрено, - сказал Лунин. - А часто немецкие самолеты стреляют по машинам?

- Раньше часто, а теперь реже. Стали сильно опасаться нашей авиации. Вот артиллерией бьют по дороге часто. В ясную погоду им с берега хорошо в трубу видно, что на дороге делается. Если пурги нет, редко спокойно проедешь, всякий раз под обстрел попадешь.

- Значит, нам сегодня повезло, - сказал Лунин. - Пурги нет, а никто не стреляет.

- Нехорошо так говорить, - проговорил шофёр хмуро. - У нас еще полдороги впереди.

Машина с бараньими тушами была легче и всё стремилась уйти вперед, но мосты через трещины во льду мешали ей разогнаться, и они всякий раз заново догоняли ее. Этих трещин, пересекавших дорогу, было довольно много, и Лунин всегда издали замечал их по клубам пара, крутившимся над открытой

водой. Странно было видеть открытую воду в такой мороз; странно, что такой мощный ледяной слой внезапно лопался. Озеро продолжало жить подо льдом неспокойной, изменчивой жизнью, словно ледяной панцырь был слишком тесен для него и оно раздраженно разрывало его на себе. Через трещины были наскоро переброшены мосты из толстых, необтесанных бревен.

Лунин с любопытством разглядывал устройство этих мостов. На одной стороне трещины концы бревен твердо вмораживались в лед, а противоположные концы на другой стороне трещины лежали на льду свободно. Сделано это было, очевидно, для того, чтобы трещина могла суживаться и расширяться, не ломая моста. Медленно и осторожно проходили машины по шаткому бревенчатому настилу над черной дымящейся водой.

Лунина больше не клонило в сон. Ноги его замерзли и болели, он всё время пошевеливал ими, ежеминутно меняя положение. Впрочем, не так уж они болели, чтобы по-настоящему досаждать, а просто ему теперь хотелось поскорее доехать. Как обычно бывает с путниками, перевалившими за половину пути, Лунин вдруг потерял любопытство к дороге и всей душой перенесся к цели своего путешествия. Ему впервые с необычной ясностью представилось, что через несколько часов случится то, чего он так не желал и так желал, что он опять, после стольких лет, поднимется по той лестнице, войдет в ту самую дверь и, может быть, узнает, наверное, даже узнает то, чего он так не желал и так желал узнать.

И когда он вдруг услыхал знакомый, унылый, противный визг летящего снаряда, он ничего не испытал, кроме досады, что обстрел может задержать их.

Шофёр, несмотря на всю свою бывалость, отнесся к обстрелу далеко не равнодушно. Лицо его несколько побледнело, и пятна грязи на щеках стали заметнее.

- Если к нам в кузов попадет, в Ленинграде услышат, - сказал он, нервно усмехаясь. - Вот будет музыка! До самого неба.

Он теперь старался ехать как можно скорее, и они полетели. Снаряды взвизгивали не слишком часто и как бы лениво. Взрывы были гулкие, словно лопался весь просторный воздушный океан под синим куполом неба.

- Вот, чёрт, как разыгрался сегодня! - сказал шофёр сдавленным голосом. - Перелет - недолет, перелет - недолет. На вилку нас берет, проклятый!

Слово "вилка" - техническое артиллерийское слово - казалось ему, видимо, зловещим. Действительно, разрывы стали ложиться ближе, греметь громче. Он еще ускорил ход. Как назло, дорога, до сих пор такая гладкая и накатанная, теперь сделалась шершавой -

так и пошли рытвины да колдобины. Машина подскакивала, звенела, сотрясалась всем телом при каждом обороте колеса. Ящики в кузове глухо гремели. Шедшая впереди машина тоже неслась во всю мочь, и было видно, как отчаянно подскакивает она на ухабах и как болтаются и скачут в ней бараньи туши.

- Вот где накрыл нас, перед самым девятым километром!- сказал шофёр. Здесь, того и гляди, еще застрянем.

- Что за девятый километр? - спросил Лунин.

- А тут самые главные трещины. На всем озере нет другого такого места.

Действительно, вокруг себя Лунин всюду видел следы борьбы с разрывами льда и водой, залившей лед. Вся эта тряска происходила оттого, что на льду буграми намерзла не раз разливавшаяся здесь вода. Дорога тут, видимо, особенно часто меняла направление, потому что во все стороны расходился целый лабиринт брошенных путей и объездов.

Снаряды продолжали падать неё ближе и ближе к дороге, а между тем машина их двигалась теперь совсем медленно. Бараньи туши ползли еле-еле, торчали перед самым радиатором и загораживали путь. Шофёр попытался их объехать, но оказалось, что впереди всё уже забито сгрудившимися, едва ползущими машинами. Их всех задерживали узкие бревенчатые мосты, проложенные через многочисленные разветвления длинной, сложной и извилистой трещины. Пока одна машина, раскачиваясь над водой, осторожно ползла по шатающемуся мосту, все остальные ждали.

Иногда вся колонна совсем останавливалась, шофёры, не выключая моторов, выходили из кабин, перекрикивались, разминали ноги, прислушивались к вою снарядов. На людях шофёр Лунина всем своим видом показывал, что он совершенно равнодушен к обстрелу; он даже сонливо позевывал, когда снаряд разрывался где-нибудь неподалеку. Потом машины опять начинали ползти друг за дружкой, медленно одолевая мосты.

Лунин уже думал, что все препятствия остались позади, как вдруг прямо перед собой увидел густые и черные клубы дыма.

- Попал! - сказал шофёр, побледнев. Дым, тяжелый, жирный, мотаясь на ветру, огромным, конским хвостом разлегся по снегу справа налево, заслонив впереди весь горизонт. Так могла гореть только нефть.

- Автоцистерна, - сказал шофёр. - Вот ведь угодил!

Машины не решались приблизиться к пылающей на льду автоцистерне и сначала остановились, а потом одна за другой стали съезжать с дороги и, буксуя в сухом снегу, объезжать ее. Объезд этот совершался медленно, и тем временем не менее пяти

снарядов разорвалось где-то совсем близко. Но мало-помалу снова выбрались на дорогу. Здесь лед был гладкий, без заструг и трещин, и машина понеслась.

Немцы не то прекратили обстрел, не то перенесли его на другую часть дороги. Впереди Лунин уже различал синюю полосу леса, которая расширялась приближаясь. Скоро он заметил и Осиновецкий маяк, возвышавшийся над лесом, тот самый, который он видел, когда летел через озеро. Замерзшие ноги Лунина ныли, и он усердно постукивал ими, но обращал на них мало внимания. Скорей! Скорей!

Наконец они вползли на берег и поехали по колеблющимся синим теням, падавшим от сосен на снег. На берегу раскинулся небольшой и нестройный поселок из каких-то ободранных бараков. С удивлением Лунин услышал свист паровоза. Товарный состав стоял на железнодорожной ветке. Как и в Кобоне, здесь на снегу громоздились мешки и ящики, прикрытые брезентом. Это было продовольствие, перевезенное через озеро на машинах. Отсюда его по железнодорожной ветке везли в Ленинград на Финляндский вокзал. До Ленинграда оставалось сорок километров, но шофёр внезапно остановил машину.

- Сейчас мы обогреемся, - сказал он.

Перед дощатым, наскоро сколоченным бараком, на размолотом колесами снегу стояло уже штук десять груженых машин. Из всех жестяных труб на крыше барака валил дым. При мысли о задержке Лунину стало досадно. Но уж слишком было заманчиво немного погреться.

- Только недолго, - сказал он. И вслед за шофёром вошел в барак. Барак был разделен не доходившей до потолка перегородкой на две комнаты. В той первой комнате, длинной и просторной, куда вошел Лунин, пылали разом три железные печки. Благодатным жаром дохнуло Лунину в лицо, блаженнейшее тепло охватило его со всех сторон. Несколько шофёров с разомлевшими, счастливыми лицами уже стояли и сидели вокруг печек. Они грели воду в ведрах и в больших чайниках, вода кипела, и горячий пар клубился под потолком. Они с наслаждением пили горячую воду из кружек, держа в черных пальцах куски мерзлого хлеба.

- Вот и мы сейчас закусим, - сказал шофёр Лунина. - Садитесь, товарищ начальник.

Он, видимо, хорошо был знаком со всеми этими шофёрами и приятельски с ними переговаривался. Из кармана ватных штанов вытащил он большую копченую рыбину, завернутую в газету, разложил ее на скамейке и принялся чистить.

Вдруг из второй комнаты барака вышел какой-то человек,

тоже, вероятно, шофёр, и что-то негромко сказал. Слов его Лунин не расслышал, но шофёры сразу умолкли. Один за другим все потянулись во вторую комнату, за перегородку. Шофёр Лунина покинул свою рыбину на скамье, ушел туда же. Лунин остался один.

От тепла замерзшие ноги его разболелись еще сильнее. Он снял валенки, по-новому перемотал портянки, опять надел валенки. Ногам стало легче. Он в одиночестве похаживал вокруг печек, ожидая.

Шофёр его вышел наконец из-за перегородки и сказал вполголоса:

- Умерла.

- Кто умерла? - спросил Лунин.

- Женщина. Жена капитана. Тут капитан один, с Волховского фронта, ездил в Ленинград в командировку, вывез оттуда жену. Довез до озера, а она здесь стала умирать. Он двое суток с нею в этом бараке промучился, кормил ее, кормил, но организм уже не принимает. Всё равно умерла.

- Сейчас?

Шофёр кивнул. Он нерешительно смотрел на свою рыбу.

- Вы будете кушать, товарищ начальник?.. - спросил он Лунина. - Я тоже не буду. Не могу я на этом берегу кушать. Как перееду через озеро, ничего не кушаю.

Он завернул рыбу в газету и сунул в карман.

- Поедем, что ли?

- Едем! Едем! - сказал Лунин и вышел из барака.

5.

Лунин въехал в город через Ржевку, Охту, Выборгскую сторону, мимо металлургического завода и Финляндского вокзала и переехал через Неву по Литейному мосту. Солнце еще не зашло, и громады зданий были залиты красноватым сиянием его последних лучей. Лунин настороженно и жадно смотрел на заметенные снегом улицы с еле заметными пешеходными тропинками, на ярусы и арки разбомбленных зданий. Ни автомобилей, ни лошадей, ни ворон, ни трамваев. Ему вспомнились какие-то рассказы о городах, погруженных на дно моря. Очень редкие пешеходы придавали этому впечатлению особую реальность они брели так медленно и с таким трудом, словно двигались сквозь плотную воду.

Переехав через Литейный мост, Лунин очутился в той части города, которую знал лучше всего. Лиза девушкой жила недалеко отсюда, на Моховой. Сколько раз когда-то Лунин провожал ее по этим улицам до дверей! И, увидев внезапно с Литейного моста весь Литейный проспект, Лунин совсем разволновался. Сколько

раз проходил он здесь в то лето, смотрел на эти дома, на эту прямую, уходящую вдаль улицу! Нет, он вовсе не ожидал, что будет так волноваться... Машина шла меж двумя рядами высоких сугробов по направлению к Невскому. Лунин считал перекрестки, он всё хорошо помнил. На углу улицы Пестеля он попросил шофёра остановиться.

Шофёр вместе с ним вышел из кабины, помог ему взвалить мешки на плечо и распрощался по-приятельски. Озябшие ноги Лунина затекли от долгого сидения в кабине и вначале плохо его слушались. Неуверенно ступая, раскачиваясь под тяжестью мешков, медленно побрел он по улице Пестеля, по узкой тропинке вдоль стены. Встречая прохожих - всё больше женщин, еле бредущих, сгорбленных, в разрезанных валенках, с закутанными в шерстяные платки лицами, - он робко сторонился, уступая им тропинку и заходя в глубокий снег. Вот за этой витриной был прежде цветочный магазин. "Аптека им. Тува"... Как он помнит эту вывеску! Сердце его стучало оглушительно, и он даже приостановился, чтобы дать ему поутихнуть.

Он подходил к тому месту, где улицу Пестеля пересекает Моховая, и вдруг увидел, что один из четырех углов на перекрестке сметен бомбой, словно отрезан. Все квартиры всех пяти этажей углового дома были видны снаружи - комнаты, оклеенные разноцветными обоями, столы, заваленные снегом, шкафы, зеркала. "Как близко от них упала бомба", - подумал он с тревогой. Действительно, они когда-то жили совсем близко - не то в третьем, не то в четвертом доме от угла. Он свернул за угол и сразу увидел этот дом.

Сначала ему показалось, что дом их не изменился. Шестиэтажная угрюмая темносерая стена с какими-то мрачными лепными украшениями. Вон их парадное. Он вспомнил кислый, пыльный запах этого парадного и грязноватые его окна, на которых из множества цветных стекол складывались изображения рыцарей, очень занимавшие его, провинциала.

Он сделал еще несколько шагов и остановился, потрясенный. Как это он сразу не заметил, что все окна во всех этажах этого дома выбиты!

Уже всё поняв, но всё еще надеясь, он поспешно подошел к дому. Нет, от дома осталась только коробка, только фасад, а крыши нет, ни одного междуэтажного перекрытия нет, весь дом как пустой орех. Сквозь впадины выбитых окон видел он переплетение сорванных, изогнутых взрывом балок.

Только теперь, когда стало совершенно ясно, что Лизиной матери здесь нет, он впервые понял, как ему хотелось с ней повидаться. Он боялся этой встречи, но очень ждал... Только от

нее одной он мог узнать что-нибудь о Лизе... Когда он ехал сюда, у него была надежда, в которой он ни разу себе не признался: что Лиза тоже здесь, что старуха и Лиза опять живут вместе, как раньше...

Он стоял перед разрушенным домом, придавленный мешками, и думал. Нельзя ли спросить кого-нибудь о старухе, узнать о ней что-нибудь? Но кого тут спросишь? Дом разрушен, конечно, давно, - вероятно, еще в сентябре. Ну и досталось же этой Моховой? Куда ни глянешь - ни одного уцелевшего окна. Здесь никто не живет... И ни одного человека на улице... Ох, как тихо!..

Солнце уже зашло, и между домами клубились голубые морозные сумерки, хотя небо еще сияло, Лунин медленно побрел назад, к углу. Он не знал, куда пойдет теперь. Ему было всё равно, куда идти. Один-единственный раз сделал он попытку узнать о Лизе, и ничего не вышло. Теперь он больше никогда о ней не услышит...

Он дошел до улицы Пестеля и машинально свернул в сторону Фонтанки. По узкой тропочке между сугробами дошел он до набережной Фонтанки и остановился.

Мешки давили его, но он не замечал их. Перед ним, на другой стороне Фонтанки, был Летний сад. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, между голыми редкими деревьями видны были зенитки.

Он стоял и неподвижно смотрел перед собой, как вдруг какая-то маленькая женщина вынырнула из-за угла и прошла мимо него. Несмотря на мороз, пальто на ней было расстегнуто, и шерстяной платок не завязан, а только накинут на волосы.

Ее лицо он видел не больше мгновения. Это было исхудавшее личико, обтянутое синеватой кожей, с бледными, плотно сжатыми губами. Страшнее всего показались ему ее глаза. В глазах ее было столько боли, что всё перевернулось в нем.

Она пошла прочь от него по набережной Фонтанки, а он стоял и смотрел ей вслед. Она, видимо, очень торопилась, словно хотела убежать от чего-то как можно дальше, но ноги в темных валенках едва повиновались ей, волочились, заплетались. Она старалась держаться поближе к стене и часто хваталась за нее рукой, чтобы не упасть. Но всё же упала в снег. Сразу поднялась, сделала два-три шага и упала опять. И снова поднялась.

Тогда, не в силах забыть выражения ее глаз, Лунин побежал догонять ее. Он слегка задыхался под тяжестью своих мешков.

- Постойте!.. Постойте!..

Но она, вероятно, не слышала его и продолжала идти не оборачиваясь. Однако расстояние между ними быстро

уменьшалось.

- Извините... - сказал он над самым ее ухом. Она качнулась, остановилась и взглянула прямо ему в лицо невидящими глазами. И сейчас же опять пошла..

- Да постойте же! - сказал он, хватая ее за рукав.

Когда она снова остановилась, он сбросил свои мешки в снег и, полный внезапной решимости, начал поспешно развязывать их, боясь, как бы она опять не ушла.

- Вы, верно, очень есть хотите... Вы давно не ели.. - бормотал он, стараясь справиться закоченевшими, негнущимися пальцами с замерзшим узлом.

Она стояла, не понимая, и безучастно глядела на него невидящими, полными страдания глазами.

Наконец узел поддался, он засунул обе руки в мешок и вытащил первое, что попалось, - буханку хлеба.

- Вот, - сказал он и протянул ей буханку.

При виде хлеба лицо ее вздрогнуло, губы разжались, в глазах появилось что-то вроде испуга. Она слегка отпрянула.

- Возьмите... Да берите же!..

Он положил буханку ей в руки.

- Это вы мне? - спросила она, не веря.

- Ну вам, конечно, - сказал он, переполненный жалостью и нежностью к ее тонким рукам.

Она смотрела то на хлеб, то на него.

- Почему мне? - спросила она.

- А мне не надо... - забормотал он поспешно. - Я приезжий и опять уезжаю... У меня есть, и мне не надо.

И вдруг он увидел, что слезы брызнули у нее из глаз на хлеб. И прежде чем он успел что-нибудь сообразить, она упала перед ним на колени.

Этого он уж никак не мог перенести. Он испуганно схватил ее и поднял.

- Я дам вам еще, еще! - говорил он, засовывая банку консервов в карман ее пальто. - Ешьте! Отчего вы не едите? - Он весь дрожал от волнения. Съешьте кусочек хлеба - вам сразу станет лучше. Я вам дам еще, у меня много...

Ему ужасно хотелось, чтобы она тут же, при нем, начала есть. Но она спрятала буханку под пальто и замотала головой.

- Почему? - спросил он.

- Дети, - сказала она,

- У вас есть дети? Она кивнула.

- Много?

- Двое.

- Где они?

- Дома.

- А куда же вы шли?

- Я убежала... Мне нечего было им дать...

Лунин нагнулся, связал свои мешки и поднял их на плечо.

- Пойдемте, - сказал он. - Покажите, где вы живете.

Он торопился, и она не поспевала за ним. Она старалась даже бежать. Он останавливался, чтобы подождать ее, потому что не знал, куда идти. Когда ему казалось, что она вот-вот упадет, он хватал ее за локоть. Они вернулись на улицу Пестеля, прошли по ней до Литейного и перешли через Литейный. Быстро темнело. По узкой хрусткой тропочке пересекли они пустынную площадь, позади которой смутно белела большая церковь в чугунной ограде. Они прошли мимо церкви и свернули направо, на улицу Маяковского.

- Скоро? - спросил Лунин.

- Сейчас, - сказала она еле слышно.

"Дети..." - думал Лунин. Всё он мог перенести, смерть и мучения взрослых он мог перенести, но мучения детей перенести нельзя. Они вошли во двор. "Однако она далеко успела уйти... - думал он. -Живы ли они еще?.."

- Здесь?.. Выше? - спрашивал он ее, поднимаясь в темноте по незнакомой лестнице.

Обессиленная, она уже не могла отвечать ему. Он остановился на площадке и ждал ее. Еле заметная во мраке, она, прижимая хлеб к груди, одолела наконец лестницу, поровнялась с ним и толкнула дверь квартиры. Дверь была не заперта.

Он вошел в квартиру вслед за нею. Тут тьма была полная, - занавешены окна. В квартире оказалось ничуть не теплее, чем на лестнице. Он двигался в темноте только по слуху: слышал ее шаги и шел за нею. Они вошли еще в какую-то дверь. И тут не теплее. Он с грохотом наткнулся на железную печурку и ушиб колено. Вероятно, пришли. Он опустил свои мешки на пол и полез в карман за электрическим фонариком.

Когда желтый кружок света побежал по стенам, ему показалось, что комната пуста. Ни стола, ни стула, ни шкафа, - ничего. Где же она? Он услышал шелест, повернул фонарик и увидел ее, стоявшую перед большой кроватью.

Две обвернутые платками головки лежали на подушке. Она легла плашмя поперек кровати, прикрыв детей своим телом.

Он стоял и, не дыша, рассматривал их лица. Живы? Всё завязано, только носики торчат. И всё же видно, что вот эта, постарше, девочка, а это мальчик. Неужели не дышат? И вдруг девочка поморщилась от падавшего ей на лицо света и открыла глаза.

Через минуту она уже сидела и ела хлеб, тоненькими, скорченными пальчиками отрывая куски мерзлого мякиша от разломанной буханки. В углу, на полу - потому что никакой мебели, кроме кровати, в комнате не было, - уже сиял огонек на фитильке, вставленном в скляночку, и неподвижно отражался в больших глазах девочки. Мальчик тоже был еще жив, однако разбудить его не удавалось. Мать набила ему рот хлебом, но он, видимо, был совершенно к этому равнодушен. Хлеб так и лежал во рту. Прошло несколько страшных мгновений, когда казалось, что его уже невозможно заставить есть. Вдруг ротик его задвигался.

- Жует, жует! - закричал Лунин. - Смотрите, глотает!

Он нашел несколько старых газет и расстелил их на полу возле огонька. Торопливо он вытаскивал всё, что у него было в мешках, и раскладывал на газетах. Вот еще буханка хлеба, вот еще полбуханки, обрезки, ломти, сухари. Жестянки, жестянки. Копченая рыба, пакетики с сахаром, пакетики с крупой... Он словно боялся, как бы в мешках чего-нибудь не осталось, он тряс их и выворачивал наизнанку.

- Детям не хлеба одного нужно, а супа, каши, - говорил он. - Вот мы сейчас сварим...

Вдруг он заметил, что женщина так до сих пор ни кусочка и не съела. Он рассердился. Он накинулся на нее, накричал, и она села на край кровати, испуганно и послушно взяла ломоть и стала жевать. Съев ломоть, она спросила:

- А можно кусочек на кухню снести? Одной старушке?.. У нас там на кухне старушка одна лежит...

- Ваша мамаша?

- Нет, просто старушка... Можно?

- Конечно, можно! Это всё, всё ваше! - сказал он в восторге. Распоряжайтесь, как хотите...

Она ушла на кухню, а он, осмотревшись, увидел на полу, рядом со швейной машинкой, топор. Теперь главное - сделать, чтобы было тепло. Он схватил топор и, освещая себе дорогу фонариком, вышел из квартиры. Он не знал еще, где он достанет дров, но не сомневался, что достанет. Он чувствовал неодолимую потребность трудиться и совершать подвиги ради этой женщины и ее детей. Накормить их, согреть их, заставить их жить - высшее счастье, которое может выпасть на долю человека...

Ночью спать ему не хотелось, и он сидел на полу возле печурки, поджав колени к подбородку. Вся комната была полна блаженным теплом, а накаленная печурка всё еще раскрывала свою пасть, полную золота углей, и глотала щепки, которые он бросал в нее. Он уже сделал всё, что можно было сделать: нашел

в какой-то пустой, брошенной квартире скамейки и полки, принес их и наколол на дрова, наварил полную большую кастрюлю странного кушанья, не то супа, не то каши - из круп и сала,- заставил всех съесть это варево, а мальчика, так и не проснувшегося, даже сам кормил с ложки. И теперь женщина и дети спали на кровати, а он сидел на полу, подстелив под себя свой тулуп, и с наслаждением прислушивался к их сонному дыханию.

Он был слишком возбужден и взволнован, чтобы спать. Ему не хотелось пропустить ни мгновения вот этой радости - сидеть здесь и слушать, как они, накормленные им, дышат. Завтра он уедет. Того, что он оставит им, хватит на несколько дней. А что потом?

- Как вас зовут? - услышал он вдруг и вздрогнул.

Женщина, оказывается, проснулась. Озаренный светом, падавшим из раскрытой дверцы печурки, он повернул голову в сторону кровати. Может быть, она уже давно не спит? Но кровать стояла во мраке, и он ничего не увидел.

- Константин Игнатьич, - ответил он. Помолчал немного и спросил:

- А вас как?

- Маша, - сказала она.

Она замолчала; он подумал, что она снова заснула, и не осмелился больше ни о чем спрашивать.

Как он завтра уедет? Как он бросит их здесь одних?

6.

Он сам не заметил, как в конце концов заснул, свернувшись на своем тулупе. Утомленный дорогой, морозом, он спал крепко, без снов, и проснулся очень не скоро.

За замерзшим окном был уже белый день, и зимний дневной свет наполнял комнату. Печурка уже опять топилась, на ней, тоненько звеня, закипал чайник. Лунин не сразу вспомнил, как сюда попал, а вспомнив, смутился, потому что лежал на самой середине комнаты и со всех сторон смотрели, как он потягивается, просыпаясь.

Дети смотрели на него с кровати, - теперь уже и мальчик не спал. Все платки с них были сняты, потому что в комнате стало тепло, и оба они не лежали, а сидели среди подушек, как птенцы в гнезде, и видны были их голые, неправдоподобно тонкие ручки. Мать их стояла у окна и тоже молча смотрела на него. Из раскрытой двери смотрела какая-то старуха, которую он в первый раз видел. Впрочем, старуха почти сразу исчезла, закрыв за собой дверь.

Они все, очевидно, давно уже ждали, когда он проснется. Он сразу заметил, что, пока он спал, они не притронулись к еде.

- Завтракать! Завтракать! - закричал он, улыбаясь.

Через минуту они уже пили кипяток с сахаром, заедая хлебом. Каша варилась в котелке. Лунину доставляло наслаждение кормить их, смотреть, как они едят.

Женщина разговаривала с Луниным просто, словно со старым знакомым. Она рассказала ему, что мальчик ее вот уже несколько дней как совсем разучился говорить, а сегодня заговорил опять.

- Сережа, тебе нравится этот дядя? - спросила она сына.

Мальчик, с полным ртом, застеснялся, улыбнулся, отвел глаза и ничего не ответил. Какая тощая у него шейка!

- А кто я такой? - спросил Лунин.

- Моряк! - ответил мальчик, с восхищением глядя на золотые нашивки у него на рукавах.

Проглотив несколько ложек каши, дети снова заснули. Они были так слабы, что насыщение немедленно вызывало в них сонливость. Их мать и Лунин продолжали пить кипяток; он - сидя на своем тулупе, она - присев на край кровати.

- А я вчера не рассмотрела, что вы во флоте служите, - сказала она. На вас был тулуп...

Она, кажется, что-то хотела спросить, но передумала и умолкла.

Однако ему показалось, что он догадался, о чем она хотела узнать.

- А где их отец? - негромко спросил он, кивнув в сторону детей.

- Умер, - сказала она.

- Убит?

- Нет. Умер до войны. От болезни.

Он, конечно, ошибся. А ему было подумалось, что она хочет спросить, не встречал ли он ее мужа...

Он узнал от нее, что она учительница, что школа ее эвакуировалась летом, а она застряла, потому что копала противотанковые рвы. Она рассказала ему, как пошла работать в мастерскую, где шили теплые шапки для бойцов. Она показала Лунину несколько десятков готовых шапок, но из слов ее он понял, что в мастерскую она не заходила уже давненько, потому что у нее. не было сил крутить машину.

- Но сегодня непременно схожу, - сказала она. - Вы мне только помогите, пожалуйста, машину на подоконник поставить. Вот поела немного и опять могу шить. Я к ним схожу, эти шапки снесу, новых заготовок возьму...

- Если есть еще эта мастерская, - проговорил он с сомнением. - Если они там еще работают...

- Ну, они-то работают, - сказала она уверенно.

- Неизвестно, - продолжал он сомневаться. - Ведь вы вот не могли машину крутить. А они, наверно, не больше вашего хлеба получают.

- Не больше, - сказала она. - Да остались там почти только бездетные...

- Какая же разница... - начал было он, но вдруг осекся, потому что внезапно понял, какая разница: бездетная женщина сама съедала свой хлеб, как бы мало его ни было, а мать всё отдавала детям.

"Как же ее тут оставить?" - подумал он. Он продлил им жизнь на несколько дней, - вот и всё, чего он достиг. Но он уедет, и она умрет, и дети ее умрут. "Как же ее оставить?.."

Глядя на ее маленькое, изможденное, бледное лицо, ставшее для него необыкновенно дорогим, он мог думать только о неизбежности ее смерти, и это было так тяжело для него, что он вдруг заторопился и стал натягивать свой тулуп.

- Вы уже уходите? - спросила она и робко, доверчиво, грустно положила руку на рукав его тулупа.

- Ухожу.

- Но вы ведь еще не уезжаете? Вы еще придете?

- Я не знаю, когда поеду... Не позже чем завтра... Когда

попутная машина будет. Послезавтра я уже должен быть у себя в части...

- А где ваша часть? Далеко?

- По ту сторону кольца...

- Я так и думала... Но ведь вы еще зайдете перед отъездом? Зайдете?

- Зайду.

- Непременно?

- Непременно зайду, - сказал он. Он уже надел шапку, но она всё еще держала руку на рукаве, и он не решался отодвинуться от нее.

- Я не благодарю вас, потому что всё равно никакой благодарности не хватит, вы сами знаете, - сказала она. - Я понимаю, что вы это не для меня сделали, и мне легко принять от вас...

"Нет, я не могу ее тут оставить", - думал он, глядя на ее ровный, чистый лоб.

- Маша... - начал было он.

Она подняла на него глаза, но он, так ничего и не сказав, повернулся и вышел.

Ему нужно было разыскать на Васильевском острове какого-то товарища Шарапова, работника политотдела дивизии. Этот Шарапов должен помочь ему устроиться на машину, идущую в полк. Обратиться к Шарапову посоветовал ему перед отъездом Тараракси́н. Вот если бы и ее посадить на машину вместе с детьми и перевезти через озеро...

7.

Ему не терпелось всё это скорее выяснить, устроить, и он торопился. Он знал, что политотдел дивизии, расположенный вместе со штабом на Поклонной горе, имел в городе какое-то дополнительное помещение, в котором останавливались и ночевали люди из полков, проезжая через Ленинград. Именно там постоянно находился тот краснофлотец Шарапов, который был ему нужен. День был такой же морозный, солнечный, как вчера, только ветер стал сильнее, колючее... Лунин пошел в сторону Невского по заметенной снегом улице Маяковского, которая казалась очень широкой, потому что была совершенно пустынна.

За углом, на улице Жуковского, была булочная, и перед дверью ее на ветру стояли закутанные черные фигуры. Дверь булочной была на замке. Ждали, когда привезут хлеб. Давно уже ждали, очень давно. Он вышел на Невский и зашагал в сторону Адмиралтейства. На Невском сугробы дымились под ветром совершенно так же, как на Ладожском озере. Редкие маленькие фигурки пешеходов терялись в огромности этих сугробов.

Бледное светлое небо, и мертвенное, негреющее солнце на нем, и холодная красота громадных зданий...

Осажденный город открывался перед Луниным во всем своем суровом и строгом величии. Город в беде, город в смертельной опасности, но нигде ни тревоги, ни слабости, ни страха. Спокойно и твердо смотрели на него глаза закутанных в платки женщин и исхудавшими, потемневшими лицами; и такими же спокойными были глаза осунувшихся бойцов в огромных овчинных тулупах, которые приветствовали его, встречаясь с ним на углах. Под этими взглядами Лунин и сам становился спокойнее и тверже. Нет, не жалости требовали от него эти люди...

В конце Невского, перед Адмиралтейством, тропинка, по которой шагал Лунин, сделалась такой скользкой, что стало трудно идти. Притоптанный снег был покрыт ледяной коркой. Лунин скоро понял происхождение этого льда. Навстречу ему стали поминутно попадаться женщины с полными ведрами. Вода на ходу выплескивалась из ведер и замерзала, превращая дорогу в каток.

Они изнемогали под тяжестью ведер, они через каждые три-четыре шага садились в снег отдохнуть. Видимо, в этой части города, примыкающей к Неве, водопровод не действовал совсем. Глядя на женщин, неподвижно сидевших на обледенелом снегу со своими ведрами, Лунин всякий раз со страхом думал, что они уж никогда не встанут. Но нет, они становились на четвереньки, потом, скользя, медленно поднимались и волочили вёдра дальше.

Тут, вероятно, было самое людное место в городе. Сюда сходились все, кто шел за водой с Невского, с Гороховой, с Вознесенского. По скользкой, обледенелой дорожке среди звона ведер и плеска воды Лунин обошел Адмиралтейство справа, мимо Дворцовой площади, где метель на просторе крутила снежные смерчи, позолоченные солнцем, и вышел к Дворцовому мосту.

Нева открылась перед ним. Над ее простором курилась пронизанная солнцем голубовато-золотая морозная дымка. Прежде всего он заметил два колоссальных пожара на Петроградской стороне. Горели два громадных дома, стоявшие невдалеке от Биржевого моста, очень близко друг от друга, отлично видные с этого берега. Столбы рыжего дыма, мотаясь и клубясь, поднимались в самый зенит. Но женщины с ведрами не смотрели ни на дым, ни на горящие дома. Они толпились у широкой каменной лестницы, спускавшейся с набережной на лед.

Когда Лунин подошел к гранитному парапету и глянул вниз, он увидел большую черную прорубь, пробитую шагах в пятидесяти от берега и окруженную женщинами. Женщины с ведрами робко подползали к ней на коленях, потому что вокруг

было слишком скользко от пролитой и замерзшей воды, чтобы можно было идти во весь рост. Зачерпнув, они так же ползли от проруби, волоча тяжелое ведро и обливаясь холодной водой. Отдышавшись, они начинали вставать. Обессиленные, они вставали, держась друг за дружку. Теперь им предстояло самое трудное: подняться с полными ведрами по скату на набережную.

Каменная лестница, засыпанная снегом и многократно политая водой, превратилась в ледяной скат трехметровой вышины, отполированный, гладкий, наклоненный под углом в сорок пять градусов. Даже здоровому человеку одолеть его было бы не просто. Женщины, еле живые от многомесячной голодовки, карабкались по нему с тяжелыми ведрами, полными воды, карабкались, держась друг за дружку, ползли по нему на коленях, на четвереньках, проливали воду, скатывались вниз и снова ползли. Это была нескончаемая битва за воду, битва с множеством жертв. Похожие на безобразные кучи тряпок, внизу лежали вмерзшие в лед трупы тех, кому так и не удалось подняться.

По длинному мосту, задыхаясь от ветра, Лунин перешел на Васильевский остров. Здесь было еще пустыннее, еще больше рыхлого, непримятого снега на улицах. Он знал, что Шарапова следует искать где-то позади университета, и обошел всё длинное университетское здание вокруг, не встретив ни одного человека.

Библиотека Академии наук. Какие-то институты. Огромные здания, узкие переулки. Он заблудился в переулках, и не у кого спросить, как пройти.

Вдруг он остановился, вздрогнув от внезапно возникшего громкого, очень ему знакомого звука.

Это был гул только что запущенного авиационного мотора, гул неровный, с перебоями. Мотор, судя по звуку, был неисправен, и его, очевидно, испытывали.

Подняв глаза, Лунин увидел длинный дощатый забор, позади которого белели заваленные снегом крыши приземистых зданий. Гул доносился оттуда, из-за забора. Что это? Завод? Военно-ремонтные мастерские? Во всяком случае, там, безусловно, шла работа. В осажденном городе, где не было ни тока, ни топлива, ни хлеба - ничего, кроме неслыханного упорства, - работал завод...

Гул мотора замолк.

- Здравствуйте...

Лунин обернулся и увидел мальчика в черном добротном пальтишке, в валенках, в шапке-ушанке. Истощенное маленькое личико. Спокойные, широко расставленные глаза, которые Лунин уже однажды видел.

- А! - воскликнул Лунин. - Ростислав Всеволодович! Ведь так?

- Так, - с достоинством сказал мальчик. - Я с одного взгляда вас узнал, я вон от того угла бегу за вами...

- А картошку копать ходишь? - спросил Лунин.

- Давно не ходил. Смысла нет. Немцы теперь редко по полю бьют, всё больше по городу. Да и снег стал такой глубокий - не подойдешь.

- А как твой дедушка?.. Ты ведь с дедушкой живешь?- сказал Лунин. Видишь, я всё помню.

- Умер.

- Умер! - воскликнул Лунин. - Так с кем же ты? Совсем один остался?

- Нет, я с сестрой.

- А сестра такая же, как ты?

- Сестра у меня большая.

- А тут как ты очутился?

- А я тут живу. В том самом доме, который вы ищете.

- Откуда ты знаешь, какой дом я ищу?

- Ну, вот еще! - засмеялся мальчик. - Я сразу понял, куда вы идете. Давайте я вас проведу.

Они пошли вместе. Идти рядом по узкой тропинке было невозможно. Мальчик бежал впереди и беспрестанно оглядывался.

- Вы сегодня уедете? - спросил он. - Ну, ясно. Зачем вам тут оставаться, вам летать нужно. Знаете, о чем я хотел вас попросить? Возьмите меня с собой.

- Куда?

- На аэродром.

Лунин удивился:

- Зачем тебе на аэродром?

- Я люблю самолеты. Я больше всего люблю самолеты. Я хочу летать. Нет, вы не смейтесь. - Он обернулся посмотреть, не смеется ли Лунин, но Лунин не смеялся. - Я вовсе не думаю сразу летать. Я постепенно выучусь. А пока я всё буду делать... Снег убирать... Ну, там чистить что-нибудь... Флагом махать, если нужно. Что скажут, то и буду делать. Возьмите меня!

- Не могу, - сказал Лунин.

- Почему не можете? Права не имеете или не хотите?

- Права не имею.

Мальчик задумался.

- Слушайте, - сказал он через минуту, - а если Уваров разрешит вам меня взять?

- Уваров? - удивился Лунин. - Ты знаешь Уварова?

- Знаю, - сказал мальчик. - Он ведь ваш начальник, Уваров? Он ведь главнее вас?

- Главнее.

- Он ведь может пустить меня на аэродром? Он ведь может разрешить? Ну, ясно, может. Он согласится, если я ему скажу, что вы согласны. А вы согласны, правда? Можно ему передать, что вы согласны? Ну, я вижу, что можно!..

Они тем временем свернули в ворота высокого дома и вошли во двор, до того заваленный снегом, что идти пришлось между сугробами выше человеческого роста.

- Вот сюда, вот по этой лестнице, - сказал мальчик,

открывая перед Луниным дверь. - Вам во второй этаж. Осторожно, здесь еще ступенька... Эй, Шарапов, смотрите, кого я вам привел!.. А где Шарапов?

Слава вошел храбро и бесцеремонно, как к себе домой. Видимо, ему хотелось показать Лунину, что он здесь свой человек, - да несомненно он и был здесь своим человеком. Несколько техников с белыми эмблемами на флотских черных шапках и несколько краснофлотцев, заполнявших комнату, смотрели на него без всякого удивления, как на хорошего знакомого.

- Шарапов вышел. Сейчас придет.

Лунин огляделся. Раскаленная железная печурка, черная труба которой проходит над письменным столом и выходит в форточку. Шкафы, шкафы, пишущая машинка, кипы аккуратно разложенных бумаг. Очень жарко и очень чисто, даже паркет натерт. Внезапно Лунин заметил в углу человека в командирской флотской шинели, который смотрел на него и улыбался. Нашивки старшего политрука на рукавах. "До чего знакомое лицо!" - подумал Лунин. И воскликнул:

- Как, это вы?

Перед ним стоял тот самый человек, вместе с которым он в августе пробирался в Ленинград сначала на паровозе, потом на попутной машине. Лунин множество раз с тех пор вспоминал и то путешествие и своего спутника.

- Ну вот и встретились, - сказал старший политрук, пожимая Лунину руку.

Они оба обрадовались встрече и смотрели друг на друга с приязнью и любопытством. "Он, кажется, единственный во всем городе нисколько с тех пор не похудел, - подумал Лунин. - Он и тогда был такой, заморыш, что шинель болталась на нем, как на палке. И лицо было такое же желтое. Пожалуй, он даже поправился немного..."

- Помните бочку?

- Еще бы! - воскликнул Лунин. - Ее до смерти не забудешь. Она чуть кости нам не разломала. А как давно это было! Словно в

детстве, хотя еще и полгода не прошло!

- Мы, наверно, последними проехали в Ленинград по сухому, хотя и не знали об этом.

- Да, не слыхал, чтобы кто-нибудь проехал после нас, - сказал Лунин. Неужели вы у нас в дивизии?

- Представьте.

- Вы, кажется, журналист... Уж не в нашей ли дивизионной газете вы работаете?

- Да, в "Крыльях Балтики". Я редактор.

- Вот оно что! - воскликнул Лунин. - "Редактор А. Ховрин". Так в конце каждого номера напечатано. Это, значит, вы? Я должен был раньше догадаться.

- Ну, а про вас я, конечно, всё знаю. Вас в дивизии всякий знает, сказал Ховрин.

Действительно, Лунин не без смущения заметил, что его со всех сторон разглядывают с каким-то особенным вниманием. Техники и краснофлотцы не спускали с него глаз и слушали его разговор с Ховриным, стараясь не пропустить ни слова.

- Я вижу, вы последнего нашего номера еще не читали... - сказал Ховрин. - Цветков, дайте номер.

Краснофлотец развернул перед Луниным лист, и он прежде всего увидел свой портрет - в шлеме, в комбинезоне, с широким лицом, которое показалось ему непристойно самодовольным и глупым. Рядом с портретом была напечатана статья во всю страницу под заглавием "Командир Энского подразделения". Наверно, что-нибудь напыщенное и очень мало похожее на правду... Что он такого сделал?.. Только неловко перед товарищами в полку... Лунин отстранил от себя газетный лист и сухо спросил:

- А где же этот Шарапов?

Лунину показалось, что Ховрин несколько обижен его пренебрежением к статье.

- Шарапов сейчас явится. Да зачем он вам нужен?

Лунин объяснил, что надеется с помощью Шарапова сесть на машину.

- Это он может, - подтвердил Ховрин. - Не сегодня уедете, так завтра. Я и сам жду здесь машины, чтобы ехать на Поклонную гору. Жаль, нам не по пути.

Лунин задумался. Ему вдруг пришло в голову, что хорошо бы посоветоваться с этим Ховриным. Редактор многое должен знать. Человек он, кажется, доброжелательный, а Лунин так нуждался в совете. Он стоял и нерешительно смотрел Ховрину в лицо.

- Знаете, я хотел бы поговорить с вами, - сказал он наконец. - Кое о чем спросить вас... Если можно...

- Пойдемте, пойдемте сюда, - сказал Ховрин с готовностью. - Мне ведь тоже хотелось бы с вами потолковать.

Он провел Лунина в соседнюю пустую комнату, прикрыл за собою дверь, усадил Лунина на койку, сам сел рядом и с любопытством уставился ему в лицо, ожидая.

- Вам, вероятно, известно,-начал Лунин после некоторого колебания, можно ли гражданскому населению уезжать из города по Ледовой дороге?

Глаза Ховрина удивленно блеснули.

- Не знаю, - сказал Ховрин, - но думаю, что пока нельзя.

- Пока нельзя? Почему?

- Если бы было можно, об этом знал бы весь город.

- Нет, почему - пока?

- Потому что потом будет можно.

- Когда потом? Когда все умрут? - спросил Лунин, чувствуя, что начинает горячиться.

Ховрин холодно посмотрел на него и промолчал.

- Нет, я просто хочу понять смысл, - сказал Лунин, жалея о своей горячности и сдерживая себя. - Во всем должен быть смысл. Вы понимаете, почему пока нельзя?

- Кажется, догадываюсь, - сказал Ховрин, подумав. - Потому что пока еще дорога к этому не подготовлена. Дорогу только что проложили, ею прежде всего воспользовались, чтобы подбросить в город хоть немного продовольствия, чтобы подвезти вооружение, чтобы сменить некоторые воинские части. А что было бы, если бы теперь, в январские морозы, на дорогу хлынули толпы женщин и детей, еле живых от голода? Они просто все умерли бы, до одного человека, только и всего. Разве не так?

- Так, - согласился Лунин, отчетливо вообразив себе всё, о чем говорил ему Ховрин. - Но почему же потом будет можно?

- Не думайте, что я знаю что-нибудь, это просто предположение, не больше, - сказал Ховрин. - Люди, не нужные для обороны города, должны быть отсюда вывезены. Они здесь только бесполезно гибнут, съедая то немногое, что удается завезти в город. Вывозить из города людей так же важно, как завозить в город продовольствие. Это, в сущности, одно и то же, и дорога через озеро предназначена, конечно, и для того и для другого.

Но, чтобы вывозить больных и слабых людей, нужно создать в пути питательные пункты на сотни тысяч человек, нужны помещения, в которых могли бы обогреться все эти толпы, нужны машины с крытыми кузовами, нужны хорошие подъездные пути между озером и железной дорогой. Да и мало ли что еще нужно, чтобы вывезти людей живыми, а не завалить дорогу трупами.

Нужен, например, план эвакуации, нужна строжайшая очередность, потому что необходимо вывезти сотни и сотни тысяч, а пропускная способность дороги мала...

- А скоро ли начнется этот организованный вывоз людей? - спросил Лунин.

- Я уверен, что делается всё, чтобы он начался как можно скорее, сказал Ховрин. И, помолчав, прибавил:

- Тут дело не только в сроке. Тут дело еще и в- том, как будут вести себя немцы, когда начнется массовая эвакуация. Очень может статься, что бой за дорогу весь еще впереди.

- Вы тоже так думаете?.- спросил Лунин, вспомнив свой разговор с Уваровым.

- Так мне кажется...

Они помолчали. Ховрин понимал, что Лунин еще о чем-то хочет спросить, о главном, и ждал. Лунин хмурился - начать ему было не просто.

- Вы видите, что творится в городе? - спросил он угрюмо. v

- Вижу.

- Ну и что же, по-вашему, делать?

- Каждый должен делать то, что в его силах.

- Вот я, например, в силах вывезти отсюда женщину с двумя детьми. Должен я это сделать или нет?

Ховрин внимательно посмотрел ему в лицо:

- А вы действительно можете их вывезти?

- Конечно, могу, если разрешат! - сказал Лунин пылко. - Ведь я сам еду. Я знаю, что некоторым разрешают. Когда я ехал сюда, я встретил одного капитана с Волховского фронта. Он в Ленинград попал по командировке, точь-в-точь как я, и вывез отсюда жену. Правда, она только до озера доехала и умерла...

- Вот видите, - сказал Ховрин. - Он тоже считал, что может вывезти, и не довез. А почему вы думаете, что вы довезете? Ехать придется на грузовике, на каких-нибудь ящиках или бочках; мороз, сами знаете, какой... Они тоже, может быть, умрут в пути.

- Может быть, умрут, - сказал Лунин. - Но здесь они умрут наверняка. Нет, если бы мне только разрешили... Ведь вот разрешили же этому капитану...

- Ему, вероятно, разрешили оттого, что жена...

- Это моя жена и мои дети, - проговорил Лунин, прямо глядя Ховрину в глаза.

И вдруг вспомнил, как сам сказал Ховрину, что жены у него нет.

И хотя на лице Ховрина не отразилось ничего, Лунин безошибочно почувствовал, что Ховрин тоже это вспомнил.

Лунин солгал и знал, что ему не верят. Но ни один мускул на

его лице не дрогнул, как будто он издавна привык лгать. Он только ждал, что скажет и сделает Ховрин.

- Жаль, что вы Уварову у себя в полку не сказали, - проговорил Ховрин. - Если бы вы сказали Уварову, что хотите вывезти свою семью, он бы вам помог. На прошлой неделе он помог мне вывезти семью моего печатника Цветкова. Две женщины и младенец в очень тяжелом состоянии. Пристроили их на машину, которая развозит: авиабомбы по аэродромам. Шофёр обещал их довезти, но еще нет сведений, доехали они или нет... Жаль, что вы не сказали Уварову...

- Да, жаль, - подтвердил Лунин, хотя во время своего разговора с Уваровым он еще не знал, что у него в Ленинграде есть жена и двое детей, которых нужно вывезти. - Жаль, но...

- ...Но теперь поздно жалеть об этом, - подхватил Ховрин. - Что ж делать, постараемся устроить и без Уварова... Нет, с Шараповым вам говорить не стоит. Я сам сейчас с ним поговорю.

"Неужели он действительно может помочь? Неужели выйдет? - с робостью и надеждой думал Лунин, когда Ховрин, оставив его одного в кабинете Уварова, вышел за дверь. - Он славный, добрый человек, хотя у него такое желтое лицо... Он мне еще в тот раз понравился, суховатый, сдержанный, но добрый человек... Только бы вышло у него, только бы вышло..."

Ховрин долго не возвращался, и Лунин не знал, выходит или не выходит. Он понимал, что речь идет о необходимости подписать нужный документ. А вдруг Шарапову, как работнику политотдела, известно, что у Лунина нет ни жены, ни детей... Наверно, ему известно... Наконец дверь опять распахнулась, и Лунин услышал, как Ховрин сказал:

- Я всё беру на себя.

И еще:

- С полковым комиссаром я буду объясняться, а не вы.

Прикрыв за собой дверь, Ховрин подошел к Лунину и проговорил:

- Приходите сюда завтра утром. Получите документ, дождетесь машины, заедете за своими и уедете...

Лунин заторопился. Ведь ему нужно еще ее уговорить. Ведь он ей еще не сказал ни слова.

До дверей его провожали все - и Ховрин, и техники, и краснофлотцы, и мальчик Слава. Они все смотрели на него ласково и дружелюбно, и, безусловно, все были в курсе дела. В дверях Лунин вспомнил, что он даже не поблагодарил Ховрина. Он обернулся и сжал ему руку обеими руками.

- Вы не знаете, что вы сделали для меня, - сказал он.

Слава вышел вместе с Луниным и проводил его до угла.

- Значит, вы завтра сюда еще зайдете? - говорил он, заглядывая Лунину в лицо. - Так я скажу Уварову, что вы согласны, чтобы я жил на аэродроме...

8.

Через озеро они ехали ночью. Лунин лежал на спине в кузове грузовика и смотрел на мелкие северные звёзды, поблескивавшие, как соль, в неизмеримой черноте неба. Он ничего не видел, кроме звезд, и ему казалось, что земля исчезла, а он висит в пустом пространстве среди тьмы и нестерпимой стужи. Стужа обступала его со всех сторон, и было только одно теплое место во всей этой леденеющей вселенной - у него под тулупом спал ребенок и грел ему бок, как маленькая печка.

Лунин боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ребенка. Ощущение тепла этого живого комочка наполняло его радостью. Ведь вот он не стынет, этот мальчик, - значит, он жив еще, жив!

Сам Лунин жестоко озяб, не чувствовал своих ног и не был даже уверен, может ли он еще шевелить ими. Грузовик вез длинные сигароподобные торпеды для бомбардировщиков-торпедоносцев, и Лунин лежал во впадине между двумя торпедами, прикрытыми рогожей. Они были еще холоднее, чем воздух, и он через рогожу, через тулуп чувствовал ледяное прикосновение их выгнутых металлических спин. В другое время такое путешествие показалось бы ему мучительным. Но с того мгновения, когда он на набережной Фонтанки отдал незнакомой женщине привезенный с собой хлеб и решил спасти ее и детей, он беспрестанно находился в каком-то особом душевном состоянии, которое не позволяло ему думать о себе и сделало нечувствительным ко всем лишениям и неудобствам.

Расставшись с Ховриным, он торопливо зашагал назад на улицу Маяковского, чтобы как можно скорее уговорить ее ехать вместе с ним и помочь ей собраться. Он вспомнил, что она хотела идти в свою мастерскую, и очень боялся не застать ее дома. Его охватило нетерпение, он с досадой думал о каждой возможной задержке. Поспешно взбежал он по лестнице, толкнул дверь и вошел в квартиру. Остановился в прихожей и прислушался. Ни звука. Он вошел в её комнату. Она лежала одетая на кровати между своими детьми.

У него сердце остановилось от страха, когда он увидел их неподвижные бледные лица, такие бледные, каких не бывает у живых людей. Но, прислушавшись, он услышал их тихое дыхание. Они спали. Он не ожидал застать ее спящей и растерянно оглядывался, не зная, будить ее или нет.

У него не хватило духу разбудить, и он стал ждать, надеясь, что она вот-вот проснется. В комнате уже опять было прохладно,

и он снова растопил печку. Он заметил, что в ведре нет ни капли воды, и отправился в подвал за водою. Потом принялся заново перекладывать провизию в углу на газете. Всем этим он занимался, не стараясь особенно соблюдать тишину, и беспрестанно поглядывал - не проснулась ли она.. Особенно шумно получалось, когда он раскалывал топором доски, чтобы бросить их в печурку. Но ни она, ни дети не просыпались даже при стуке топора.

Никакого дела ему больше не находилось, и он, облокотясь о спинку кровати, стал смотреть ей в лицо. Впервые он подумал о том, сколько ей может быть лет. Голод стирал возрастные различия на лицах женщин, и все они, и совсем молодые и пожилые, казались одинаковыми, лишенными возраста. Нет, она не пожилая, но ей всё-таки не меньше тридцати. До войны она, верно, была круглолицей, с коротеньким, пухлым носиком. Лицо миловидное, но очень обыкновенное. Однако сейчас об этом можно было только догадываться. Щёки ее ввалились, и лицо вовсе не казалось круглым. От темных пятен под веками глазные впадины стали огромными. Приподнятые, словно удивленные, брови на светлом, чистом лбу придавали лицу выражение беззащитности, от которого у Лунина щемило сердце. Изнемогая под бременем нежности, он смотрел и смотрел на нее и не мог насмотреться.

Внезапно услышал он за дверью быстрые шлепающие шаги и вспомнил, что в квартире есть еще какая-то старуха. Хорошо, что хоть она не спит. Лунин открыл дверь в прихожую и увидел, как старуха шмыгнула в кухню. Лунин пошел вслед за нею на кухню.

Это была очень старая старуха, сгорбленная, с темным морщинистым лицом, с совиными глазами без ресниц, с большими кистями костистых рук. Она стояла у кухонного окна и смотрела на Лунина не мигая.

- Здравствуйте, - сказал Лунин.

Она ответила ему что-то, но он не понял, что она ему ответила. Она что-то торопливо рассказывала ему, но у него создалось впечатление, будто он слышит ее рассказ с середины и не понимает, потому что не знает начала. Она рассказывала про какого-то человека, совершенно ему неведомого, и Лунин понял только, что человек этот тоже военный и что продукты должен был бы на самом деле привезти им этот человек, а вовсе не Лунин, - тогда всё было бы хорошо, правильно.

- Да про кого вы говорите?

- Про него, - сказала старуха. - Летом он пришел, сидел со мной весь день, всё уйти не мог, а ушел - ни одного письма не написал.

- Да кто он такой? - спросил Лунин. - Муж?

- Нет, не муж. Муж ее умер. Хороший был человек.

Тоже ее мучил - болел, болел и умер. А этот - не знаю, кто такой. Военный. И до войны военный был. Всю весну каждое воскресенье приезжал. Как не нужно было, так ездил, а как стало нужно - пропал.

"Так вот оно что! Ее вдобавок бросил какой-то мерзавец!" - подумал Лунин нахмурясь. Его жалость к ней стала еще острее. Он не колеблясь произвел того неведомого военного в мерзавцы. Обмануть ее, предать мог только мерзавец.

- А она ждет его?

- Не знаю. Если спросить, скажет, что не ждет.

- А если не спросить?

- Если не спросить, так ждет.

Лунин замолчал.

Старуха тоже помолчала, потом сказала:

- А может быть, его убили.

Конечно, очень могло быть, что его убили и что гнев Лунина несправедлив и напрасен. Лунин понимал это, но всё равно не мог думать о нем с приязнью. Хотя, впрочем, какое ему дело, это всё чужие дела, нисколько его не касающиеся. Нужно увезти ее отсюда, вот и всё...

- Давно спит? -- спросил он шёпотом.

- А как вы ушли, так и заснула.

- И в мастерскую не ходила?

- Совсем уже было собралась, да заснула нечаянно и спит.

- А как вы думаете, скоро проснется?

- Нет, теперь так и будет спать.

- До каких же пор?

- А пока не разбудят. Потому что поела.

- А вы отчего же не заснули? Ведь вы тоже поели.

- Я уж высплюсь, когда умру. До тех пор мне сна нет.

Так, в нерешительности, просидел он до вечера. Много раз заходил он в комнату к спящим и подолгу стоял над ними, смотрел, как они спят. Он кашлял, гремел ведром, печкой, несколько раз даже, словно нечаянно, толкнул спинку кровати. Однако и она и дети продолжали спать. Отчаяние охватило его. Когда стало темнеть и пришлось зажечь свет, он поставил фитюльку с огоньком так, чтобы свет падал ей прямо в лицо. Веки ее вздрогнули, но она не проснулась. Тогда он набрался храбрости и взял ее за

Она открыла глаза, показавшиеся ему при мерцании огонька огромными, темными и блестящими.

- Это вы? - спросила она тихо и еле заметным движением

пальцев пожала ему руку.

Много раз он потом вспоминал, как она обрадовалась, увидев его, и как пожала ему руку. Она спустила ноги с кровати, села, поправила волосы, ласково смотря ему в лицо. Он сейчас же, торопясь и волнуясь, стал ей выкладывать всё.

Она слушала молча. Ее молчание он истолковал как несогласие. Ему стало страшно, что она откажется ехать, и он настаивал, требовал, громоздя один довод на другой. Он говорил ей, что здесь она погибнет без всякой пользы, для победы, что здесь она и ее дети едят хлеб, который так нужен бойцам, защищающим город; что у нее нет никакого права бессмысленно жертвовать детьми; что это Гитлер хочет, чтобы дети ее погибли, для того он и устроил осаду, и она, спася своих детей, разрушит планы Гитлера; что там, за озером, поправившись и поправив своих детей, она сможет работать или воевать, как ей больше понравится, и быть полезнейшим для страны человеком, и главное - опять и опять, что она не имеет права жертвовать детьми.

Она слушала молча, но выражение лица ее постоянно менялось, и он жадно следил за ее лицом, стараясь отгадать, что в ней происходит.

- Хорошо, - сказала она. - Но как же Анна Степановна? Анну Степановну я оставить не могу.

Анна Степановна? Какая Анна Степановна? Вот эта старуха, которая на кухне? А он-то о ней и не подумал. Но не беда, не поздно исправить; завтра он попросит и старуху вписать в документ - ну, скажем, родственница, тетка или даже мамаша. Он сейчас сам пойдет на кухню и сам скажет Анне Степановне, что возьмет ее завтра с собой.

Но на кухню идти не пришлось, потому что оказалось, что Анна Степановна стоит тут же, в дверях, выставив вперед голову и повесив перед собой свои тяжелые восковые руки с выпуклыми, старческими жилами. Он сразу объявил ей, что возьмет ее завтра с собой, и она сразу же сказала ему, что никуда не поедет. Он удивился, подумал, что она не поняла, и принялся с жаром объяснять ей заново, но оказалось, что она всё отлично поняла, а просто все его доводы считала совершенно неубедительными. Она с ним не спорила и никаких своих доводов не приводила, но бесповоротно отказалась. Ей некуда и незачем было ехать, она прожила в этом квартале три четверти столетия, знала в этом квартале каждый камень, каждую лестницу, каждого жителя, сама была частью этого квартала, и та сила, которая заставляла ее жить - деятельное любопытство, - вся была направлена на этот квартал. Жить и умереть она могла только здесь.

- Ну, тогда и я не поеду, - сказала Маша.

Лунин с отчаянием взглянул на нее. Он почувствовал себя совершенно беспомощным, но выручила его сама Анна Степановна.

- Нет, вы поедете, - сказала она недовольно. - Разве вам можно на меня равняться? Мне кормить некого...

Анна Степановна как начала говорить, так и говорила без перерыва, долго и сбивчиво, отступая очень далеко и приводя совсем непонятные Лунину примеры, но всё возвращалась к тому, что кормить ей некого, а детям еще жить и жить. Потом они обнялись, целовались и плакали. Впрочем, старуха, кажется, не плакала, она оказалась не из жалостливых.

Так всё решилось...

Они выехали к концу следующего дня на тяжелой машине, груженной торпедами. Дети были плохи: мальчика два раза вырвало перед самым отъездом, а девочка всё спала, почти не просыпалась, даже ела в полусне. Как везти их, таких слабых, морозной ночью в грузовой машине?

Шофёр оказался пожилым человеком, очень усталым и, вероятно оттого, угрюмым. Он поморщился, узнав в политотделе, что ему нужно еще заехать за семьей майора Лунина, однако потом старался сделать всё возможное, чтобы им ехать поудобнее. В тесную свою кабину усадил он обоих детей и их мать; помог Лунину закутать их как можно теплее. Дети с завязанными лицами в кабине сразу уснули, прижавшись к матери. Сгущались сумерки. Лунин влез в кузов, и машина двинулась.

Сорок километров до озера тащились они больше двух часов. Дорога, пересекавшая Карельский перешеек, шла лесом, темные ели тесно обступили ее, и совсем уже потемневшее небо текло над Луниным, как узенький звездный ручей. Лунин ничего не знал о том, что происходит в кабине, и ничего не мог узнать. Только одно это и мучило его, а не холод торпед, на которых он лежал, не ледяной ветер. Тревожнее всего было то, что шофёр очень торопился, а тяжело нагруженная машина шла медленно, и поэтому не было надежды остановиться и обогреться. А торопился шофёр оттого, что ему было приказано доставить торпеды на станцию Волховстрой к рассвету, и приказ этот нарушить он не мог.

Они и до озера двигались с горящими фарами и на озеро съехали, не выключив фар. Встречные машины, попадавшиеся на льду поминутно, тоже шли при полных огнях. Весь путь через озеро был отмечен множеством огоньков, убегающих во тьму. Ледовая дорога работала по ночам без светомаскировки. Ко второй половине января опыт уже показал, что ни немецкая

артиллерия, ни ночные немецкие бомбардировщики не могут причинить столько вреда и убытков, вызвать столько катастроф, сколько причиняет медленная езда на ощупь в полной тьме среди всё новых трещин, узеньких мостиков, сугробов, заструг, торосов и внезапно возникающих из мрака встречных машин. И водителям разрешили включать фары.

Они проехали по льду километра три, не больше, когда машина вдруг остановилась и шофёр вышел из кабины. Лунин в тревоге поднял голову.

- На вас тулуп добротный, - тихо сказал Лунину шофёр, вплотную подойдя к кузову. - Мальчик у меня мерзнет в кабине, боюсь - не довезем. Вы расстегнитесь и положите его к самому телу - может быть, отойдет. У меня уже был такой случай, хорошо помогает. Да и вам теплее будет...

Спрыгнув и кое-как передвигая застывшие ноги, Лунин подошел к кабине. Оттуда, из темноты, на него глянули испуганные глаза женщины. Вытащив мальчика из кабины, Лунин долго не мог понять, дышит он еще или нет. Ее ужас мгновенно передался ему. Впервые он усомнился в том, что поступил правильно, вывезя их из города.

Мальчик всё-таки еще дышал, хотя и очень слабо. Лунин, распахнув и тулуп, и китель, и рубаху, прижал его к своему телу. Сначала ему показалось, что мальчик обжигающе холоден. Запахнувшись вместе с ним тулупом как можно плотнее, он снова взобрался в кузов и лег на прежнее место. Машина двинулась. Всё исчезло, кроме рассыпанных, как соль, холодных звезд. Но мальчик с каждой минутой становился всё теплее. Он не только сам потеплел, он согревал Лунина. Он был жив.

Звёзды значительно передвинулись. Лунин так давно устал ждать конца дороги, что удивился, когда машина вдруг поползла вверх и он увидел над собой между звездами острые вершины елей. Остановка. Он приподнял голову над бортом кузова. Смутные очертания большой избы во тьме. Неужели наконец Кобона!..

Шофёр вышел.

- Слезайте, товарищ майор, - сказал он. - Можно часок погреться. Теперь я уже не опоздаю.

Они вошли в избу - впереди шофёр со спящей девочкой на руках; за шофёром она, показавшаяся Лунину удивительно маленькой, еще меньше, чем прежде, за нею Лунин с мальчиком. Блаженнейшим, немыслимо прекрасным теплом дохнуло им в лица - теплом, пахнущим добрыми человеческими запахами: махоркой, хлебом, овчиной. Большая русская печь посреди избы топилась, и отсветы пламени прыгали по углам, по стенам.

Никакого другого света не было, но и этого было достаточно, чтобы увидеть, что весь пол избы завален спящими. Мужчины и женщины в тулупах, шинелях, ватниках, платках спали не раздеваясь, спали вповалку с запрокинутыми головами и открытыми ртами, равнодушные в своем утомлении даже к большим черным тараканам, ползавшим по их щекам и лбам. Здесь были шофёры, дорожники, грузчики, кладовщики- и едущие из Ленинграда, и едущие в Ленинград, и всякий иной люд всех военных и гражданских профессий, потому что в избу эту, стоявшую у фронтовой дороги и давно потерявшую хозяев, всякий мог войти, всякий мог лечь в ней, отыскав незанятый кусочек пола.

Шофёр с уверенностью бывавшего здесь не раз и всё знавшего человека повел их, широко шагая через раскинутые тела, в какой-то дальний угол, где было немного посвободнее, и усадил их на какие-то мешки. Тут только Лунин стал извлекать мальчика из глубины своего тулупа, и она с напряженным вниманием следила за движениями его рук. Мальчик спокойно дышал во сне, раскрыв пухлые губки; руки и ноги у него были теплые.

Она нетерпеливо, даже грубо, взяла его у Лунина, положила к себе на колени, прижала к груди. И вдруг мальчик потянулся, открыл глаза, узнал мать и улыбнулся.

- Ну, теперь ему ничего не сделается, - сказал шофёр.

Звеня своим изогнутым солдатским котелком, он отправился раздобыть кипяточку, и через несколько минут они уже пили горячую воду, поочередно отхлебывая из жестяной кружки и жуя хлеб. Мальчик тоже деятельно пил и ел, и девочка пила и ела, прижавшись к матери, с любопытством разглядывая избу, печь, спящих. Заметив Лунина, она улыбнулась ему застенчиво и ласково, как старому знакомому.

Мать ее тоже улыбнулась Лунину и даже спросила, не замерз ли он в кузове, но была вся поглощена детьми, счастливая тем, что они живые и что они едят. И Лунин присел несколько в сторонке, в темном углу, где лица его не было видно, и молча следил оттуда за нею и за детьми.

Он знал, что ему осталось видеть ее еще полчаса или, может быть, даже и меньше.

Дело в том, что он твердо решил не провожать ее до Волховстроя, а расстаться с ними здесь и на рассвете отправиться прямо на свой аэродром, до которого было отсюда всего одиннадцать километров. Он накормил их, он перевез их через озеро, и теперь ничего дурного случиться с ними не может. Сегодня же, через несколько часов, они сядут в поезд, в натопленный вагон, и их повезут до Вологды, а оттуда - куда она

пожелает; и все люди, которые встретятся им на пути, будут так же стараться помочь им во всем, как этот пожилой, усталый, угрюмый шофёр. А Лунину нужно поскорее на аэродром, к Серову, к Проскурякову, к своим техникам; неудобно так долго отсутствовать, даже если никто ему и не сделает замечания, - ведь Уваров отпустил его только посмотреть Ледовую дорогу...

Дети, поев, опять заснули, прижавшись к ней, и она, не шевелясь, чтобы не потревожить их, ласково и доверчиво поглядывала в тот темный угол, где сидел Лунин. Но Лунин всякий раз, когда она взглядывала на него попристальней, закрывал глаза, чтобы она подумала, что он спит. И она поверила, перестала на него поглядывать и задумалась о чем-то своем, а он сквозь полусомкнутые ресницы смотрел и смотрел на светлое ее лицо и считал:

"Вот еще пятнадцать минут буду ее видеть, вот еще десять минут, вот еще пять..."

Шофёр долго ел и пил, потом много раз уходил куда-то в дальние концы избы поговорить то с тем, то с другим, - здесь у него было много знакомых. Наконец он объявил, что выйдет на улицу посмотреть машину. "Вот еще три минуты..." - подумал Лунин. Но шофёр провозился неожиданно долго, так долго, что она успела задремать, опустив голову на голову дочери. Лунин смотрел и смотрел на нее. Он уже начал надеяться, что с машиной что-нибудь случилось и они останутся здесь до утра. Однако шофёр вернулся, и пришло время расставаться.

Когда Лунин сказал ей, что не поедет с ними дальше, она, как ему показалось, была огорчена. Он поспешно объяснил ей, что дальше он ей совсем не понадобится. Если б она попросила его, он, конечно, не выдержал бы и поехал бы с ними до Волховстроя. Но она не попросила. Шофёр уже понес девочку к выходу, а она всё еще стояла с сыном на руках перед Луниным и нерешительно глядела ему в лицо.

- Мы еще увидимся когда-нибудь? - вдруг спросила она.

- Как придется, - ответил он.

Она, видно, еще что-то хотела спросить, но не решалась, а он не помог ей. Он первый шагнул в сторону двери, и они вместе вышли из избы.

Звёзды уже погасли; на востоке, за лесом, занималась холодная заря. Шофёр усадил ее с детьми в кабину.

- Теперь лесом поедем, теплее будет, - сказал он.

Последний взгляд, последнее пожатие маленькой руки в варежке. Машина поползла и скрылась за поворотом, за соседней широкой избой.

Лунину следовало бы вернуться в избу и дожидаться

попутной машины, которая подвезла бы его к аэродрому. Но духота избы показалась ему теперь отвратительной. Несмотря на бессонную ночь, он не чувствовал ни малейшей сонливости, поклажи у него не было никакой, и он внезапно решил идти на аэродром пешком.

Он быстро шел по светлеющему лесу и думал о ней. Не думал, а без конца вспоминал ее лицо, руки, глаза, походку, улыбку, слова. Он словно нес ее, невидимую, с собою. Он видел, как встало солнце, как замелькало

оно - ослепительное - между малиновыми шелушащимися стволами сосен. Она спросила его на прощанье, увидятся ли они когда-нибудь... О чем еще она хотела у него спросить?.. Может быть, ему следовало бы дать ей номер своей полевой почты?.. Впрочем, для чего? Он ей больше совсем не нужен. Ведь она только так, только из вежливости, только оттого, что не хотела быть неблагодарной... Ведь она вся полна другим, разве он не видит... Ну и не нужно!

"Ну и не нужно, не нужно, не нужно", - повторял он широко шагая по скрипучему, накатанному снегу навстречу всё поднимающемуся солнцу, сторонясь перед машинами и весело отвечая на приветствия бойцов. От скрытых в лесу многочисленных землянок пахло дымом, хлебом. Не прошагав и двух часов, он увидел впереди, за деревьями, лысый бугор, на вершине которого был похоронен Рассохин, и почувствовал себя дома. Здесь всё ему было нужно. Вот длинная улица, вот прямой столб дыма над двухэтажным зданием столовой. Там Хильда уже ждет его к завтраку. Вот и раздвоенная береза с кружевом заиндевевших ветвей. Лунин вошел в избу. Серов, только что вставший, сидел перед окошечком и брился. Вот кто ему нужен!..

Он был тронут тем, что Серов обрадовался ему. Ой и сам обрадовался, даже больше, чем ожидал. Впрочем, ничего особенного друг другу они не сказали. Пока Лунин умывался, Серов докладывал ему о происшествиях в эскадрилье - всё мелочи, ничего значительного не произошло. И только уже по дороге в столовую спросил:

- Ну как, товарищ майор, удалось вам повидать своих?

- Я уже говорил вам, что никого своих у меня там нету, - ответил Лунин хмуро.

- Ну, тех, кого собирались повидать?

- Нет, не нашел.

- Куда же отдали, что привезли?

- А первой встречной. Не всё ли равно.

- И правильно, - сказал Серов.

"Ну и не нужно".

Глава седьмая.

Гвардия

1.

После восстановления бани девушки собрались в одной из холодных комнаток райкома комсомола и стали "комсомольским отрядом помощи населению". Сначала было не совсем ясно, как они будут помогать, но всё же они сознавали, что у них есть огромное преимущество перед множеством людей: они еще могут ходить; вот этим преимуществом и решено было воспользоваться для помощи тем, кто ходить уже не мог. По совету Антонины Трофимовны решили для начала доставлять хлеб тем, кто уже не в силах спуститься в булочную. А там видно будет.

За Соней был закреплен дом, в котором она жила, и несколько домов по соседству. И на следующий день с утра она отправилась по квартирам.

Хотя морозное утро было светлым и солнечным, она взяла с собой дедушкин, электрический фонарик. По опыту она знала, что во многих квартирах ее даже днем ждет полная тьма. Люди были слишком слабы, чтобы каждый вечер заново затемнять окна, и поэтому по утрам не снимали с окон светомаскировочных штор, проводя дни в такой же тьме, как и ночи. Переступив порог первой же квартиры, Соня погрузилась в такое множество забот, приобрела столько обязанностей, что стало ясно, что ей понадобились бы месяцы, если бы она вздумала обойти все те дома, которые ей поручили.

Она не замечала ни исключительности, ни величавости своего дела. Мысль ее была всегда проста и конкретна, как та непосредственная задача, которая в данную минуту стояла перед ней: принести воды, нарубить паркет на дрова, отгородить жилую комнату от хлынувших из уборной нечистот, уговорить недоверчивого человека с отнявшимися ногами доверить ей хлебную карточку.

В большинстве квартир Соню встречали радостно, с дружелюбием и благодарностью. Она часто брала с собой Славу - во-первых, чтобы он не болтался зря, а во-вторых, чтобы он помог ей возиться с печурками. Топя и чиня печурку у себя дома, он за эту зиму сделался настоящим специалистом по печуркам и понимал в них гораздо больше, чем Соня. Он умел заставить гореть сырые дрова, умел сделать так, чтобы печурка не дымила, умел усовершенствовать тягу, переставить трубу. Занимался он этим охотно, усердно, с сознанием своего превосходства, потому что в большинстве квартир не было мужчин, а женщины - что они понимают в печах!

Войдя в квартиру через никогда не запираемую дверь, Соня и

Слава обычно долго шли по промерзшему коридору и пустым комнатам. Вот наконец единственная дверь в квартире, за которой еще сохранились тепло и жизнь. Соня осторожно отворяла ее, пропускала вперед Славу и входила сама.

С расставленных вдоль стен кроватей на Славу и Соню смотрели добрые, дружелюбные глаза. В этой обширной квартире перед войной жило несколько многолюдных семейств, но одни из ее обитателей ушли на войну, другие успели уехать еще летом, третьи ночуют на тех предприятиях, где работают, и уже давно не являются домой, четвертые умерли, а те, что остались, переехали, забыв все семейные перегородки, в одну комнату, чтобы топить одну печку. Они постепенно слабели, почти незаметно для самих себя, всё реже выходили из комнаты, всё меньше двигались, больше лежали, потом совсем перестали выходить и уже давно не видались ни с кем из внешнего мира, кроме Сони и Славы. Правда, к одной старушке заходила еще изредка ее дочка, работавшая на папиросной фабрике, где теперь делали патроны, но Соню и Славу здесь любили даже больше, чем старушкину дочку.

Эти люди, так же как другие такие же люди, жившие в соседних квартирах, ослабевая телесно, попрежнему с жадностью слушали радио, следили за всем, что происходит на свете, волновались ходом войны, мучительно беспокоились за своих близких на фронте и нисколько не потеряли способности любить их. Духовная жизнь их вовсе не становилась слабее. До последней минуты они не теряли ни одной человеческой черты.

Все они откуда-то знали, что Соня и Слава - внуки профессора, что старик-профессор умер, что мать их убита, что отец их на фронте и что они живут совсем одни. Старухи встречали их возгласом:

- Наши сиротки пришли!

Войдя, Соня и Слава сразу принимались за работу. Принести хлеб, принести воду, вынести ведро, подмести пол, затопить печку. Выслушать письма - и те, которые пришли за последние дни, и те, которые они уже слушали в прошлый раз. Рассказать, что говорят о надеждах на новую прибавку хлеба, о Ледовой дороге, о том, какая продавщица в булочной заболела, о том, кто в каком доме и в какой квартире умер, а кто еще, оказывается, жив. Вообще разговоров бывало очень много, потому что приход Сони и Славы был для этих лежащих людей развлечением, и женщины, уже давно всё рассказавшие друг дружке, в их присутствии начинали рассказывать с новым жаром. Время шло, и Соня никогда не успевала навестить всех тех, кого ей следовало бы навестить.

А между тем Антонина Трофимовна вскоре поручила ей новое дело, такое важное и требовавшее столько времени и сил, что Соня стала успевать еще меньше.

В этом новом деле Слава тоже принимал участие. Они искали совсем маленьких детей, оставшихся без родителей.

Антонина Трофимовна, по поручению райкома партии, занималась организацией в районе "Дома малютки".

Удалось в чрезвычайном порядке выделить кое-какие продовольственные фонды - правда, совершенно ничтожные. У Антонины Трофимовны как раз к этому времени распухли и отнялись ноги. Одетая в белый халат, она неподвижно сидела в своем кабинете и через раскрытую дверь смотрела в большую комнату, где стояли детские кроватки. "Дом малютки" занимал одну квартиру, которую после недельных хлопот и усилий удалось отопить. Помогала Антонине Трофимовне докторша, еще не потерявшая способности ходить. Было и несколько нянечек - из тех комсомолок, которые вместе с Соней восстанавливали баню.

Соня и Слава больше не держались домов своего квартала, где всё им было слишком хорошо известно, а шли каждый раз в новые дома, к новым людям. Там на каждом шагу подстерегали их неожиданности, там приходилось быть осторожным, наблюдательным, сообразительным.

Соня обыкновенно начинала с расспросов, чтобы не искать наугад. У жильцов квартир 12 и 14 она спрашивала о жильцах квартиры 13. Почему квартира 13 всегда заперта и никто из нее не выходит? Ах, вот как, оттуда все уехали еще летом. А квартиры 17, и 19, и та, внизу, которая рядом с дворницкой? Если в разговоре участвовало несколько человек, число упоминаемых домов и квартир увеличивалось, всплывали всё новые имена, всё новые судьбы. Так у этой Клавы из квартиры рядом с дворницкой был грудной младенец? А как же, она рожала в апреле, еще снег лежал, ему теперь, значит, десятый месяц пошел. А когда ее видели в последний раз? Начинались припоминания, догадки. Соня и Слава отправлялись на поиски.

Слава обычно шел впереди. Он отдавался поискам всей душой, без остатка, и в эти часы ничем посторонним нельзя было его отвлечь. Он любил, когда в запертую квартиру приходилось влезать через разбитое окно или пролом в стене, любил чердаки и разрушенные лестницы, любил действовать на основании сложных догадок, и чем эти догадки были замысловатее, тем тверже он верил в них.

Один найденный ими осиротевший младенец неожиданно сблизил Соню с краснофлотцем Шараповым - с тем самым Шараповым, который делал какое-то таинственное военное дело в

одной из квартир их дома и с которым Слава был хорошо знаком.

Соня и Слава забрели в чье-то жилье. Там было темно, морозно и пусто; мебель сожжена, печки остыли, окна завешаны. Никого живого. Они уже дошли до кухни, как вдруг услышали легкий шелест в соседней комнате. Они вернулись и вошли в нее, темную, как пещера.

Круглый блик фонарика осветил женщину, лежавшую на кровати. По женщине ползал младенец. Приподняв голову, он не мигая смотрел на свет.

Мать была мертва. Часы на руке у нее успели уже остановиться. Мальчику было на вид около года. Едва его завернули в одеяло, как он сразу уснул. Соня и Слава нашли его довольно близко от своего дома, но далеко от "Дома малютки".

У Сони был уже печальный опыт, сделавший ее очень осторожной, младенец, которого она нашла в прошлый раз, умер у нее на руках, пока она несла его по улицам к Антонине Трофимовне.

- Занесем его к нам,-сказала Соня.

- Конечно, - согласился Слава. - Пусть попьет кипяточку.

На дворе они встретили Шарапова. Он посторонился, поздоровался и с любопытством посмотрел на большой сверток, который Соня несла в руках.

Слава не мог не похвастать:

- Шарапов, посмотрите, что у нас есть!

Соня отогнула край одеяла и показала Шарапову крохотное, старческое личико с шевелящимися губками. У Шарапова дрогнуло лицо.

- Нашли?

Соня кивнула.

- Для "Дома малютки"? Я слышал, что вы ищете детей...

Он с восхищением и даже как-то робко поглядел на Соню.

- Это уже шестой! -сказал Слава. - Был бы седьмым, да умер один по дороге, не донесли...

- А как его зовут? - спросил Шарапов.

- Неизвестно, - сказал Слава. - Как-нибудь назовут. И фамилию дадут. Сначала всем им давали фамилию Ленинградский, а потом стали и другие фамилии давать. Этому, наверно, дадут фамилию Сонин, потому что Соня его отыскала. Там уже Сониных несколько...

- А зачем вы его к себе несете?

- Кипятку нагреем и напоим.

- Да у нас полный чайник кипятку! - воскликнул Шарапов. - Вы идите! Я сейчас принесу!..

Соня видела, что он очень взволнован, и это ей нравилось. Ей

вообще нравилось, что этот взрослый человек, военный, относится к ней, как ко взрослой, и даже с каким-то особым почтением, которое она чувствовала, смущаясь и не совсем понимая, чем оно вызвано. И была рада, когда минуты две спустя он, запыхавшись, вошел в их квартиру, неся большой чайник, из которого клубился пар.

В кухне еще не остыла печурка и ребенка можно было развернуть.

- Подержите его, - сказала Соня Шарапову. - Мы сейчас его перепеленаем.

Шарапов испуганно вытянул руки вперед, и Соня положила на них младенца. Впервые в жизни Шарапов держал на руках ребенка и боялся шевельнуться, чтобы не повредить ему. Мальчик вдруг заплакал бессильным голоском, и Шарапов испугался еще больше.

- Вы ему головку поднимите, - сказала Соня. - Одну минутку, я сейчас его у вас возьму.

Она точными, быстрыми движениями разорвала простыню на большие лоскуты и разложила их у себя на кровати. Потом взяла ребенка, сразу замолчавшего, раздела его и туго спеленала. Когда он превратился в твердую белую куколку, она села на кровать и положила его к себе на колени.

Она налила кипятку в стакан. Шарапов вытащил из кармана шинели черный сухарь и протянул ей:

- Будет есть, как вы думаете?

- Посмотрим, - сказала она и накрошила сухарь в кипяток.

Она дула в ложечку и кормила ребенка. Слава и Шарапов с удовольствием смотрели, как усердно ел он размоченные крошки сухаря. Оказалось, что во рту у него четыре зуба, которые громко звенели об ложечку. Он спокойно съел всё, что было в стакане, но потом вдруг начал корчиться и кричать.

- Это у него рези в животике, - сказала Соня. - Он слишком долго не ел.

Шарапов испугался, особенно когда заметил, что Соня испугалась тоже. Они не знали, что сделать, чем помочь; крик корчившегося мальчика мучил их. Соня подняла его, прижалась к нему лицом и стала дуть ему в живот через пеленку. Помогло ли это средство, или боли сами собой прекратились, но мальчик вдруг успокоился, замолк и уснул.

Соня закутала его в одеяло и понесла в "Дом малютки". Ей необходимо было переговорить с Антониной Трофимовной - и не только о найденном мальчике. Перед Соней как раз в это время встала новая трудность, очень ее мучившая. Она внезапно получила письма от отца и не знала, как на них отвечать.

Письма эти пришли целой пачкой, штук пять сразу. Всеволод Андреевич написал их в конце ноября и в начале декабря, когда узнал наконец из сентябрьского Сониного письма о гибели Катерины Ильиничны. Одни из его писем были адресованы Соне, другие - покойному Илье Яковлевичу.

Всеволод Андреевич находился на одном из отдаленнейших от Ленинграда фронтов - повидимому, где-то возле Воронежа. Он понимал, что Ленинград в беде, но имел об этом самые смутные представления. Весть о смерти жены потрясла его. Он никак не мог понять, почему семья его не уехала из Ленинграда, если немцы подошли так близко. Сам он, видимо, всё это время жил очень трудной, занятой и полной событий жизнью, но жгучая тревога о семье не покидала его ни на минуту, и всякий раз, когда у него появлялась возможность, он садился и торопливо писал письмо, состоящее из множества советов и вопросов. Но на вопросы его ответить было очень трудно, а советы его были совершенно неисполнимы.

Он, например, то советовал продать свою библиотеку и купить где-нибудь под городом несколько мешков картошки, то умолял обратиться за помощью к своим друзьям, которых давно не было в городе. Он настойчиво убеждал их уехать куда угодно, лишь бы подальше от фронта, и в то же время боялся потерять их, если они уедут. По подробным указаниям, которыми он сопровождал свои советы, видно было, что он считал своего тестя довольно-таки бестолковым стариком, а Соню - совсем маленькой девочкой. Невозможность помочь своей семье причиняла ему, очевидно, нестерпимую боль, и у Сони, когда она перебирала его письма, глаза наполнялись слезами от жалости к нему.

Она отнесла письма к Антонине Трофимовне и попросила у нее совета, что ответить. Антонина Трофимовна внимательно прочитала письма, но с советом не торопилась. Она понимала, каким страданием будет для отца Сони узнать, что тесть его умер от голода и что дети остались совсем одни в голодном городе. Что же делать? Не писать? Если не писать, будет еще хуже: он решит, что Сони и Славы нет в живых. Не сообщать ему о смерти старика?

- Нет, врать я не могу, - сказала Соня. - Всё равно он узнает, что дедушка умер.

Ей хотелось во что бы то ни стало приободрить отца. Но как приободрить?

- Нельзя же написать: дедушка умер, всё хорошо! - говорила Соня, нахмурив брови. - Выйдет слишком глупо.

Она в нерешительности перебирала затрепанные бумажонки, измазанные печатями, исписанные крупным, неровным почерком.

Это было двадцать третьего января 1942 года. На следующий день, двадцать четвертого января, в булочной Соне выдали на ее карточку не сто двадцать пять граммов хлеба, а двести пятьдесят граммов.

Соня в первое мгновение подумала, что продавщица ошиблась. Но, увидев улыбающиеся лица вокруг, внезапно догадалась.

- Правда? - поспешно спросила она, всё еще не вполне веря.

И все, кто был в булочной - и продавщицы и покупатели, - все, все закивали ей со всех сторон.

Ну и событие!

Это был первый ощутимый дар Ледовой дороги.

И хотя прибавка была незначительна, хотя положение оставалось крайне серьезным, всем было ясно, что в осаде пробита брешь, что город больше не отрезан от страны и что план гитлеровцев не удался.

День спустя Антонина Трофимовна спросила Соню:

- Написала отцу?

- Написала, - ответила Соня.

- Что же ты написала?

- Всё. Что мы живы и ждем его.

* * *

К февралю дорога через озеро была так хорошо налажена, что по ней можно было без особого риска начать перевозить большие массы людей. Вот когда наконец возобновилась прерванная в августе, полгода назад, эвакуация гражданского населения из Ленинграда. Машины, пересекавшие озеро, теперь везли с востока на запад продовольствие, а с запада на восток - людей.

Решено было постепенно вывезти из Ленинграда всех тех, кто не нужен был для обороны. Это необходимо было сделать не только для того, чтобы спасти уезжающих, но и для того, чтобы спасти остающихся. Чем меньше оставалось в Ленинграде людей, тем легче было их прокормить.

Уезжавшие ленинградцы садились на Финляндском вокзале в вагоны, поезд пересекал Карельский перешеек и довозил их до западного берега Ладожского озера, до мыса Осиновец. Здесь, у мыса Осиыовец, они пересаживались в кузовы грузовых машин и неслись по Ледовой дороге до восточного берега, до Кобоны. К этому времени в Кобону уже была проведена железная дорога. Перевезенных кормили, сажали в вагоны и везли через Тихвин, Череповец, Вологду - на восток...

И Антонина Трофимовна однажды сказала Соне:

- Ну вот, желание твоего папы исполняется. "Дом малютки" уезжает на Урал, и ты как нянечка поедешь вместе с ним.

Вопрос о выезде детских учреждений возник сразу же, едва возобновилась эвакуация. "Дому малютки" дали трое суток на сборы, С младенцами отправлялся и весь обслуживающий их персонал, который даже расширили перед отъездом, потому что нелегко управиться с такими маленькими детьми в таком трудном пути.

- А вы тоже поедете? - спросила Соня Антонину Трофимовну.

- Я - дело другое, - сказала Антонина Трофимовна. - Я не поеду, потому что я с райкомом связана, а не с "Домом малютки". Когда "Дом малютки" уедет, у меня здесь найдется чем заняться...

- Я тоже не поеду, - проговорила Соня.

- Вот еще! - сурово сказала Антонина Трофимовна. - Почему?

- Не могу Славку оставить...

- Зачем же его оставлять? - сказала Антонина Трофимовна.- Ясно, что он поедет с тобой. Это еще лишний резон, что тебе ехать надо. С "Домом малютки" вы не пропадете, везде сыты будете...

- Боюсь, Славка не захочет ехать... Один летчик обещал взять его на аэродром...

- Глупости, - сказала Антонина Трофимовна. - Очень он нужен на аэродроме.

- Знаете, какой он упорный! Он уже со всеми сговорился. И сам комиссар дивизии обещал ему...

- Пустяки, пустяки! Иди домой, и чтобы вы оба были готовы!

Антонине Трофимовне Соня ничего больше не сказала и вернулась домой. Но вечером, когда стемнело, она, накинув на себя платок, внезапно выскочила из квартиры, перебежала через двор и поднялась к Шарапову. Никогда еще она у него не была. Шарапов сидел за столом, освещенный маленькой керосиновой лампой, и, вооружась линейкой, чертил какую-то таблицу.

- А, это вы! - сказал он. - Садитесь, пожалуйста.

Она села возле стола. Желтый огонек отражался в ее темных глазах.

- Я долго думала, с кем мне посоветоваться, - сказала она, - и решила прийти к вам...

Она рассказала ему, что "Дом малютки" уезжает, и спросила:

- Ехать мне или не ехать?

- Конечно, ехать! - ответил он без всякого колебания.

Она долго молчала, глядя на огонек, и думала.

- А я надеялась, что вы мне посоветуете не ехать, - сказала она наконец.

Он стал убеждать ее, что ехать необходимо. Он приводил много доводов, один убедительнее другого. Она слушала его молча, не возражая.

- А Славе вы уже сказали, что собираетесь взять его с собой? - спросил Шарапов.

- Нет еще. Если я ему сейчас скажу, он ни за что не согласится. Он ждет, когда его отправят на аэродром. Не знаю, как я его повезу... Он убежит, спрячется...

Шарапов, конечно, хорошо знал все Славины планы и сам принимал некоторое участие в их осуществлении. Он неоднократно присутствовал при том, как Слава, поминутно ссылаясь на согласие Лунина, упрашивал Ховрина и самого Уварова пустить его в полк. И Уваров обещал ему отправить его к Лунину. Вначале Шарапов не был уверен, не шутит ли комиссар дивизии, и как-то раз, оставшись с Уваровым наедине, спросил его об этом. Но оказалось, что Уваров и не думал шутить.

- Надо мальчишку подкормить, а то на него глядеть жалко, - сказал он.-Что?.. Непорядок? Ничего, это потом с нас спишется. Другое не спишется, а это спишется...

Однако теперь всё изменилось. Благоразумнее всего и Славе и его сестре уехать с "Домом малютки". И Шарапов предложил:

- Я попрошу комиссара дивизии сказать ему, что он не пустит его на аэродром.

Соня не возразила, а только, помолчав, спросила:

- Комиссара дивизии нет здесь сейчас?

- Нету.

- А когда он вернется?

- Завтра или послезавтра.

Она не сказала больше ни слова. Итак, всё было решено.

Уваров приехал спустя несколько дней, перед вечером, в сумерках. Он послал Шарапова во двор - взять из машины пакеты с книгами. Нагруженный пакетами, Шарапов поднимался по лестнице, как вдруг услышал за собой быстрые, легкие шаги. Он подумал, что это Слава, и остановился. Это была Соня - ее светлый шерстяной платок белел во тьме.

- Товарищ Шарапов, подождите!

Она бежала и запыхалась. Поровнявшись с Шараповым, она прошептала:

- Я догнала вас, чтобы попросить... Не говорите, пожалуйста, вашему начальнику насчет Славы... Пусть Славу возьмут на аэродром...

Шарапов остановился.

- Вы не хотите, чтобы Слава ехал с вами? - спросил он.

- Нет, почему не хочу... - Она замялась. - "Дом малютки" уже уехал.

- Уехал? - удивился он. - Когда?

- Сегодня утром.

- А бы?

- Я их проводила.

- Отказались ехать?

Она промолчала. Он вглядывался ей в лицо, старался рассмотреть ее глаза, понять.

А наверху, у себя в кабинете, Уваров в это время разговаривал с редактором дивизионной газеты Ховриным, который уже больше часа ждал его у Шарапова.

Уваров приехал оживленный, веселый, с радостно блестящими глазами.

- Знаете, откуда я только что? - спросил он Ховрина. - Из Военного Совета флота. И знаете, какая новость?

Прищурив веселые глаза, Уваров помолчал, чтобы помучить Ховрина ожиданием. Потом выговорил:

- Полк Проскурякова на днях станет гвардейским.

- Да ну!

Всё значение этой новости Ховрин оценил сразу. Гвардейские части в Красной Армии были введены совсем недавно. Пока, их всего несколько на всем громадном протяжении фронтов - легендарных частей, совершивших что-нибудь особенно героическое и, главное, что-нибудь особенно важное. И вот этой почести удостоена одна из частей их дивизии!

- Завтра утром мы с вами поедем в полк к Проскурякову через озеро, сказал Уваров. - Будем присутствовать при вручении полку гвардейского знамени. Мне нужно, чтобы вы там кое-что написали.

- Для газеты?

- Нет, не для газеты. Для газеты, конечно, напишете тоже. Там будет о чем писать для газеты. Мы приедем в горячее время. Ведь немцы-то на дорогу наседают...

- Наседают?

- Еще как! Пока только авиацией, но авиации у них здесь с каждым днем всё больше. Бомбят и штурмуют, и полк Проскурякова каждый день в деле. Таких воздушных боев, как сейчас, с самого сентября не было... - Услышав за дверью шаги, Уваров крикнул: - Шарапов!

Шарапов вбежал.

- Сходите к тому мальчишке, - сказал Уваров.- Пусть он готовится. Завтра я отвезу его на аэродром к Лунину.

2.

Ховрин и Слава, прибыв на аэродром, поселились в избе, перед которой стояла раздвоенная береза. Сойдя с машины, они спросили, где живет Лунин, и их привели прямо сюда.

Койка Лунина стояла за цветной занавеской; под койкой

лежал его чемодан. Но в избе никого не было, кроме глухой, молчаливой хозяйки. Лунин и Серов уже дней пять не заходили в избу.

Они снова летали, снова участвовали в боях. Из трех самолетов второй эскадрильи - Рассохина, Лунина и Серова - в ПАРМе сделали два. Лунин и Серов ночи проводили в землянке на старте, а с рассвета дежурили в своих самолетах. Вспыхивала ракета. Лунин и Серов, подняв столбы светящейся снежной пыли, взлетали. Тени двух их самолетов еще бежали по снегу аэродрома, а уже оперативный дежурный полка старший лейтенант Тараракси доносил.в дивизию:

- Вторая эскадрилья в воздухе!

Над лысым бугром они проходили очень низко, - такой у них здесь установился обычай. Это было нечто вроде салюта Рассохину. Остроконечный серый камень, лежавший на могиле, проплывал под шасси. Они сами вместе со своими техниками приволокли сюда этот камень через несколько дней после похорон; и теперь он сразу бросался в глаза каждому, кто улетал с аэродрома и кто возвращался на аэродром. Ветер сметал с вершины бугра снег, и камень оставался на виду даже после самых сильных снегопадов...

Миновав бугор, они шли, набирая высоту, к железнодорожной ветке, проложенной к Кобоне и законченной всего несколько дней назад. Чем выше они поднимались, тем шире раскрывался перед ними простор озера. Береговую черту они пересекали над Кобоной. Далеко внизу, в прозрачной глубине, как на дне пруда, видели они под собой крошечные избенки, вагончики, хлопотливые паровозики и тени клубов дыма, колеблющиеся на сверкающем снегу. Там, в Кобоне, перевезенные через озеро дети и женщины пересаживались в железнодорожные вагоны. Лунин и Серов делали над Кобоной несколько кругов, внимательно оглядывая весь воздушный простор. Но вот и Кобона уплывала назад, и белая пелена озера занимала всё пространство от края до края. Впрочем, они шли так, чтобы не терять из виду, синеющий на юге лес. Там, на южном берегу, были немцы.

Дорога прямой линией рассекала белую пелену. Они шли не над дорогой, но видели ее почти всё время. С востока на запад везли продовольствие и оружие, с запада на восток - людей... Самолеты сворачивали к северу. Южный берег таял позади, исчезала позади и дорога, и под ними ничего не было, кроме белой пелены, бескрайной, сверкающей и мертвой. Они не меняли направления до тех пор, пока далеко впереди не появлялся крохотный, занесенный снегом островок, различимый

среди льда только благодаря торчавшей на нем игрушечной башенке маяка. Островок этот носил странное название - Сухо. Заметив его, Лунин и Серов круто сворачивали. Они доходили до устья Волхова, над Новой Ладогой снова сворачивали, возвращались к аэродрому и шли на посадку, промчавшись над самой вершиной лысого бугра, над могилой Рассохина.

Этот маршрут стал им так же привычен, как привычен был тот, прежний, над Маркизовой лужей, между Ленинградом, Кронштадтом и Петергофом. Конечно, пройти весь путь целиком им удавалось только в тех случаях, когда не было стычек с "Мессершмиттами". А стычки с "Мессершмиттами" становились всё чаще, редкий вылет обходился теперь без них.

Когда немецкое командование обнаружило, что из осажденного города организованно уходят сотни тысяч людей, оно все усилия своей авиации в районе Ленинграда направило на то, чтобы помещать движению по дороге.

И с каждым днем "Мессершмитты" вели себя всё назойливее.

Они гонялись за машинами на Ледовой дороге, убивая шофёров; они старались перехватить наши транспортные самолеты, летавшие через озеро в Ленинград и обратно; они обстреливали улицы и только что построенные железнодорожные пути в Кобоне, загоняя переехавших через озеро ленинградцев в лес, в глубокий снег и не давая разгружать вагоны; они нападали посреди озера на вооруженные лопатами дорожные батальоны, беззащитные на открытом льду, и затевали постоянные стычки с советскими истребителями, стремясь, видимо, подавить их, чтобы дорога оставалась без прикрытия с воздуха.

Но в этих стычках они не проявляли ни особой настойчивости, ни особого искусства. Казалось, это были уже не те немецкие летчики, что полгода назад. Да, может быть, и в самом деле не те.

Пожалуй, главное, чему научился Лунин за месяцы войны, было искусство сразу определять характер летчика, с которым ему предстояло сразиться. По одному движению угадывал он необстрелянного новичка, идущего в бой с трепетом в душе, и опытного, но слишком дорожащего своей жизнью солдата, который стремится не к бою, а к инсценировке боя - покрутиться, обменяться очередями и разойтись. Громадное большинство немецких летчиков владело искусством пилотажа хуже его; он сознавал это и постоянно стремился вести бой в самых трудных для маневра условиях - над верхушками деревьев или даже в пойме реки, между откосами берегов, - зная, что противник проявит здесь нерешительность, неуверенность в себе и неизбежно будет побежден.

Опытных любителей инсценировки боя он тоже узнавал мгновенно, несмотря на всю их кажущуюся напористость и воинственность. Именно эта демонстративная воинственность выдавала их. Он твердо знал, что победа достанется тому, кто ради победы не боится рискнуть жизнью. Так побеждал Рассохин, бросая свою шестерку против многих десятков "Юнкерсов" и "Мессершмиттов". Чувствуя за своей спиной одного Серова и видя перед собой восемь, десять, двенадцать "Мессершмиттов", Лунин прежде всего давал понять немцам, что он готов погибнуть ради того, чтобы сбить хоть одного из них. И немцы это понимали сразу. А так как они вовсе не готовы были погибнуть ради того, чтобы сбить его, бой, несмотря на всё преимущество противника в численности, превращался в кружение, в ряд замысловатых виражей, в перестрелку на приличном расстоянии. Именно в этом прежде всего сказывалось то не поддающееся подсчету и измерению свойство, которое часто называют моральным преимуществом над противником.

Однажды с утра подул западный ветер, потеплело, и повалил густой, тяжелый снег. Это был один из немногих почти нелётных дней в феврале, и вот в этот почти нелётный день какие-то черные "Мессершмитты" вели себя с удивительным нахальством. Началось с того, что они штурмовали идущий к Кобоне поезд, причем слегка повредили паровоз и ранили двух железнодорожниц.

В ясные дни "Мессершмитты" не рисковали нападать на железную дорогу и обычно только ходили на высоте двух-трех тысяч метров, следя за движением поездов. Они воспользовались для нападения снегопадом, так как думали, что при снегопаде им удается действовать безнаказанно. Об их нападении сразу сообщили на аэродром. Лунин и Серов взлетели через несколько минут после обстрела поезда.

Не видно было ничего, крале падающего снега. Даже леса внизу почти не было видно, хотя Лунин старался идти как можно ниже, чтобы не пропустить железной дороги. Серов шел за ним почти вплотную: стоило ему отстать на два десятка метров, и они потеряли бы друг друга. Железнодорожный путь они должны были пересечь на четвертой минуте полета, но прошло уже пять минут, а рельсов они не видели. Лунин повернул назад. Опять они прошли над железной дорогой, не заметив ее. Лунин понимал, что в таких условиях на встречу с "Мессершмиттами" не было никакой надежды: они могли пройти в нескольких метрах от "Мессершмиттов", не заметив их. Но то, что он не нашел даже железной дороги, раздражало его. Он упрямо продолжал поиски. Идя на бреющем, он раз пять сворачивал вправо и влево, но узкая

просека, по которой проложены были рельсы, никак не попадалась ему на глаза. С каждой минутой снег шел всё гуще, и ничего нельзя было разобрать за косой сетью падающих хлопьев.

Лунину показалось, что на северо-западе, над озером, небо несколько светлее, и он пошел к озеру. Он решил искать железнодорожную линию со стороны Кобоны. По береговой черте они дошли до Кобоны и там сразу заметили рельсы. Здесь действительно было несколько светлее и снег падал не так густо. Над самыми рельсами, чтобы не потерять их, они пошли к югу. Они перегнали паровоз, который, усердно дымя, бежал от Кобоны, - должно быть, на смену тому, простреленному. Через минуту они дошли и до простреленного паровоза, но увидеть его было невозможно, потому что весь он был окутан паром, выходившим из пробоин в его котле. Состав был длинный, смешанный - и пассажирские вагоны, и товарные, и открытые платформы и цистерны. Возле пассажирских вагонов на снегу стояли кучки людей.

"Мессершмиттов", конечно, здесь уже не было, да и глупо было бы их тут искать. Совершенно убежденный в том, что встретить их сегодня уже не удастся, Лунин повернул к аэродрому.

Мелькание снега начало утомлять Лунина, он чувствовал себя ослепленным и оглушенным. Едва линия железной дороги осталась позади, как он снова потерял ориентировку и пошел наугад. Это несколько беспокоило его: он понимал, что найти аэродром может оказаться еще труднее, чем найти железную дорогу, - мимо аэродрома так легко проскочить. И почувствовал облегчение, когда внезапно разглядел торчавшую над елками вершину лысого бугра.

Они низко-низко прошли над могилой Рассохина и потянулись к рыхлому снегу, покрывавшему аэродром, чтобы сесть. Собираясь выпустить шасси, Лунин глянул вниз и увидел нескольких бегущих техников. Что-то странное померещилось ему в том, как они бежали. Он повернул голову и справа от себя увидел "Мессершмитт", который мчался, стреляя по аэродрому.

Мгновенно развернувшись, Лунин нырнул под "Мессершмитт", едва не задев земли, сделал горку и полоснул его по брюху очередью. Руки и ноги Лунина действовали так быстро, что сознание, казалось, не поспевало за ними. Проскочив под "Мессершмиттом" и продолжая подниматься, он увидел на краю аэродрома шесть самолетов своего полка, стоявших в снегу возле елок, и пикировавший на них "Мессершмитт". Конечно, это был другой "Мессершмитт", не тот, в который он только что стрелял. Нападение на самолеты полка, которых и без того осталось так

мало, привело Лунина в ярость. "Мессершмитт", полоснув очередью по стоявшим на земле самолетам, вышел из пике, стал подниматься, и Лунин увидел, что за ним уже гонится, "висит у него на хвосте", самолет Серова. Но за Серовым несся еще один "Мессершмитт". Третий! И Лунин помчался за третьим "Мессершмиттом", стараясь поймать его в прицел.

Он увидел мелькнувшие рядом тусклые огоньки трассирующих пуль и понял, что его тоже преследуют. Сначала он подумал, что это тот "Мессершмитт", самый первый. Но тут же заметил столб дыма, мотавшийся на ветру посреди аэродрома. Нет, Лунин сбил-таки его, тот, первый "Мессершмитт", а гонится за ним четвертый! Это те самые четыре "Мессершмитта", которые двадцать минут назад обстреляли поезд. Нарочно они сюда пришли или забрели, заблудившись в снегопаде?

Серов сделал переворот, сам вышел из-под огня и атаковал тот "Мессершмитт", который гнался за Луниным. Пять самолетов, кружась и переворачиваясь, носились в падающем снегу над аэродромом, ловили друг друга и обменивались короткими очередями.

Немецкие летчики были напористы и умелы, но Лунин всё же чувствовал, что они не прочь выйти из боя: вид горящего посреди аэродрома "Мессершмитта" угнетал их. Тем не менее им всё-таки хотелось отквитаться, и, кроме того, их было трое против двоих. Однако им никак не удавалось воспользоваться своим преимуществом, - с таким неистовством атаковали их Лунин и Серов. Когда немцы решили наконец уйти, летчики стали задерживать их. Серов, обогнув лысый бугор, на мгновение растворился в падающем снегу и, внезапно появившись сбоку, атаковал над лесом собравшийся уходить "Мессершмитт". Тот перевернулся через крыло и неторопливо нырнул в ели. Два остальных "Мессершмитта" шарахнулись в разные стороны и исчезли.

Посадив свой самолет и выскочив из него в снег, Лунин, весь в поту, сорвал с головы шлем и расстегнул комбинезон на груди. Слишком жарко он был одет для такого стремительного боя над самой землей в мягкую погоду. Возле его самолета стоял уже майор Проскуряков. Выпрямившись, Лунин принялся было докладывать Проскурякову, но тот сказал:

- Оставьте, Константин Игнатьич, я всё видел сам...

Действительно, бой этот во всех подробностях видел весь аэродром: летчики, техники, краснофлотцы, шофёры, писаря строевого отдела, работники кухни. Они знали об этом бое даже больше, чем Лунин, потому что они видели всё целиком, а Лунин в каждое отдельное мгновение видел только тот самолет, в

который стрелял. Один лишь оперативный дежурный полка старший лейтенант Тарараксин не видел ничего, потому что не мог оторваться от своих телефонов, но уж он то, во всяком случае, знал больше всех, так как через него шли все донесения в дивизию и в штаб ВВС.

- А как самолеты, люди? - спросил Лунин. - Целы?

Оказалось, что ущерб, причиненный нападением "Мессершмиттов" на аэродром, совсем невелик. Они ничего не успели сделать. Им никого не удалось ни убить, ни ранить, а стоявшие на снегу самолеты получили всего несколько пулевых пробоин, которые сразу были заделаны.

"Мессершмитт", горевший посреди аэродрома, пылал долго, до сумерек, растопив весь снег на десять метров вокруг. Жар был такой, что труп немецкого летчика сгорел почти бесследно. На другой день техники, роясь в остатках фюзеляжа, нашли почерневший "железный крест".

На поиски второго "Мессершмитта", сбитого Серовым, отправилась целая экспедиция, состоявшая из доктора Громеко и краснофлотцев, свободных от нарядов. Когда они вошли в лес, доктор вытащил из кобуры пистолет,- он считал возможным, что летчик с "Мессершмитта" скрывается где-нибудь здесь в лесу. Но они нашли его мертвым, - он сидел в своем самолете с простреленной головой. Самолет его оказался поврежденным незначительно и, вероятно, не упал бы, если бы Серов не застрелил летчика.

Ни один из многочисленных боев, в которых до сих пор участвовали Лунин и Серов, не приносил им такой славы, как этот бой над аэродромом, потому что этот бой своими глазами видел весь наземный, нелетающий состав полка. Все как-то по-новому смотрели на Лунина и Серова, замолкали, когда они проходили мимо.

Лунин с удивлением убедился, что, по мнению всех наблюдавших с земли за боем, они с Серовым подвергались крайней опасности. Сам он во время боя над аэродромом ни разу не подумал о том, что бой может кончиться для него или для Серова плохо.

Но зато в ближайшем же бою он пережил несколько мгновений, в течение которых считал себя погибшим.

Снег шел всю ночь, но утро настало ясное, морозное. Весь мир, засыпанный свежим снегом, был в колеблющихся голубых тенях разной густоты. Лунин и Серов взлетели. Чем выше поднимались они, тем шире раскрывался перед ними простор. В воздухе, словно промытом, не было ни малейшей мути, и они отчетливо видели разом чуть ли не всю Ледовую дорогу из конца

в конец. На высоте трех тысяч метров они шли по своему обычному маршруту и уже приближались к острову Сухо, как вдруг увидели далеко позади себя, над Кобоной, дымки зенитных снарядов. Они круто повернули и понеслись к Кобоне.

Над Кобоной, сверкая на солнце при поворотах, ходили "Мессершмитты". Шесть штук. Они штурмовали. Издали они казались огромным колесом, крутящимся в вертикальной плоскости, - "Мессершмитт" за "Мессершмиттом" подлетал к земле, словно клевал ее, потом взлетал вверх, чтобы, пролетев по кругу, снова клюнуть землю.

Приближавшихся Лунина и Серова они заметили издали, прекратили штурмовку и, набрав высоту, атаковали их.

Чтобы не попасть под огонь сразу четырех "Мессершмиттов", Лунину пришлось прибегнуть к ряду стремительных и чрезвычайно сложных маневров, которые кончились тем, что на одном слишком крутом повороте он внезапно сорвался в штопор. Это само по себе не слишком его встревожило, так как у него был достаточный запас высоты, чтобы выйти из штопора. Но, крутясь и падая, он видел "Мессершмитт", который весьма умело шел вниз рядом с ним, чтобы убить его в тот момент, когда он будет выходить из штопора.

Лунин знал, что, выходя из штопора, он будет в течение нескольких долгих мгновений совершенно беспомощен перед "Мессершмиттом", и от сознания этого ему захотелось продолжать крутиться и падать до тех пор, пока самолет его не стукнется об лед. Его охватило ощущение неизбежности своей гибели.

Но его руки и ноги - руки и ноги человека, двадцать лет водившего самолеты, - сами машинально проделали всю работу и вывели самолет из штопора. И в те мгновения, когда Лунин был беспомощен, никто в него не стрелял. Серов, заметив всё, что с ним произошло, вырвался из боя и атаковал сверху тот "Мессершмитт", который преследовал Лунина. И на этом всё кончилось, потому что майор Проскуряков, подняв свои шесть самолетов в воздух, уже подходил с ними к Кобоне, и "Мессершмитты", заметив их, ушли на юго-запад. Но Лунин долго не мог забыть ощущения близости гибели, испытанного в этом бою.

3.

Лунин очень обрадовался, узнав о приезде на аэродром Ховрина и Славы.

Их приезд был радостью для всех, потому что вместе приехал Уваров и привез весть о том, что на днях полку будет вручено гвардейское знамя. Весть эту во всех землянках и избах выслушали серьезно, с молчаливым волнением. В лётной

столовой старались привыкнуть к новым, странно и торжественно звучавшим званиям: "Товарищ гвардии лейтенант, передайте, пожалуйста, горчицу", "Вы забыли на столе кисет, товарищ гвардии капитан". Говорили даже "гвардии Хильда". Начальник штаба полка капитан Шахбазьян вывесил в штабной землянке большой лист, на котором было цветным карандашом обозначено, что сделано полком с начала войны:

Сбито 139 вражеских самолетов.

В том числе: Бомбардировщиков ..... 62

Истребителей ..... 59

Разведчиков и корректировщиков ..... 18

Все заходившие на командный пункт полка долго рассматривали эту таблицу, а старший лейтенант Тараракси́н, положив телефонную трубку, пояснял:

- Сто тридцать девять самолетов - это почти пять авиационных полков такого состава, каким был наш в первый день войны.

Летчикам не нравилось только одно - что цифра "139" не круглая.

- Нужно бы до вручения знамени еще хоть один сбить, чтобы вышло, ровно сто сорок, - сказал Серов.

И слова его повторяли все.

Лунин, узнав о том, что приехал Слава и поселился у него в избе, забеспокоился. Он до вечера никак не мог уйти с аэродрома, и ему всё казалось, что мальчика там не накормили и, может быть, даже печку для него не затопили. Уже совсем стемнело, когда ему удалось наконец забежать в деревню и заглянуть в свою избу. Печь пылала, в избе было жарко. Слава лежал на койке Серова и спал, Ховрин сидел без кителя за столом и что-то писал при свете керосиновой лампочки.

Увидев Лунина, Ховрин поднялся улыбаясь. И Лунин почувствовал, что этот тощий желтолицый человек, с которым он встречается всего третий раз, действительно рад ему. Он и сам очень обрадовался Ховрину, - больше, чем ожидал. Всё то, что связывало их,- паровоз, путешествие в машине с катающейся бочкой, раздобывание пропуска для той женщины с детьми, - было дорого Лунину. Пожав друг другу руки, они долго стояли и улыбались, не зная, с чего начать разговор. Лунин сказал, что он прибежал, потому что беспокоился о Славе.

- Напрасно беспокоились, - ответил Ховрин. - Его устроили и без нас с вами.

Действительно, беспокоиться об устройстве Славы было нечего. На аэродроме не было ни одного человека, который не старался бы накормить его и устроить. Он был мальчик из

Ленинграда - голодный ребенок, вырванный у смерти. Он и не подозревал, какую бурю чувств вызвал вид его исхудалого личика в каждом из окружавших его здесь людей. Техники затащили его в свою избу и сообща принялись кормить. Они сами достаточно наголодались в начале зимы на ленинградских аэродромах, и теперь, когда еды у них было вдоволь, каждый хотел, чтобы голодный мальчик съел хоть кусочек из его пайка. И Слава ел; он не знал, что значит слово "сыт", он давно уже забыл, что у человека может быть такое состояние, когда ему не хочется есть. Мясные консервы он ел с таким же удовольствием, как и овощные; он ел у техников хлеб, масло, шпиг, копченую рыбу. Потом за ним зашел Уваров. Слава стал просить, чтобы ему позволили пойти на аэродром посмотреть самолеты и поискать Лунина, но Уваров сказал, что сначала надо пообедать. Он отвел Славу в лётную столовую, где они застали Проскурякова и Ермакова. Для женщин, работавших в столовой и на кухне, появление голодного мальчика было таким же волнующим событием, как и для техников. Несмотря на присутствие самого комиссара дивизии, они толпились в дверях и умиленно разглядывали Славу. И тарелки, которые несли Славе из кухни, были полны до краев и содержали количество калорий, не предусмотренное никакими нормами. Слава всё съедал с добросовестностью человека, не верящего в то, что на свете может существовать сытость. Это, безусловно, кончилось бы плохо, если бы не вмешался комиссар полка Ермаков. Суховатый и благоразумный, Ермаков оказался проницательнее других и первый сообразил, что Славе угрожает опасность. Он отодвинул от него тарелки и сказал:

- Хватит!

Слава собрался после обеда идти на аэродром, но, едва от него отодвинули тарелки, почувствовал непреодолимую сонливость. Многочасовое путешествие на морозе, а потом непривычное количество пищи привели к тому, что он заснул тут же на стуле, да так, что растолкать его не было никакой возможности. Кончилось тем, что Хильда одела его сонного, а Ермаков на руках снес его в избу к Ховрину и положил на койку Серова. Слава спал так крепко, что за много часов ни разу даже не пошевельнулся. А тем временем карьера его быстро развивалась: он был мобилизован, зачислен краснофлотцем в аэродромный батальон, поставлен на довольствие и определен на работу в вещевой склад.

Лунин торопился в штаб полка, и потому первый его разговор с Ховриным был короток.

- Ну, как вы тогда?.. Перевезли?.. - спросил Ховрин.

- Да, перевез... благополучно... - ответил Лунин, нахмурясь,

Ховрин понял, что о той женщине с детьми, которую Лунин назвал в Ленинграде своей женой, говорить не нужно, и замолчал.

- Что это вы пишете? - спросил Лунин. - Для газеты?

- Нет, не для газеты, - ответил Ховрин. - Комиссар дивизии приказал кое-что написать, да вот не получается. Всё черкаю..

Действительно, по столу было разбросано несколько исписанных и перемаранных листов бумаги.

- Это у вас-то не получается! - сказал Лунин. - Не поверю.

- Честное слово, не получается! Сколько часов уже пишу, а так ничего и не написал...

На следующее утро Лунин повел Славу к месту его службы - на вещевой склад. Чтобы дойти до склада, нужно было пройти деревенскую улицу почти до конца, и они зашагали по рыхлому снегу. Слава сначала, по своему обыкновению, бежал впереди и подпрыгивал, но потом стал отставать, и Лунину приходилось останавливаться и поджидать его. Бойкий и ничего не боявшийся, Слава на этот раз оробел. Он даже побледнел, и чем ближе они подходили к складу, тем медленнее перебирал ногами.

- А нужно сказать: явился в ваше распоряжение? -- спросил он.

- Нужно, - ответил Лунин.

- Константин Игнатьич, войдите вместе со мной. Хорошо? Ну, пожалуйста...

Перед избой, в которой помещался вещевой склад, расхаживала девушка-часовой, в тулупе, в валенках, с автоматом на груди. Вся команда, обслуживавшая вещевой склад аэродрома, состояла из девушек-комсомолок. Все они были землячки, с Урала, небольшого роста, плотные, всем им было по восемнадцати лет, и все они добровольно пошли на фронт в конце 1941 года. Они находились в непосредственном подчинении у сержанта Зины - высокой, сухощавой девушки со строгим лицом.

Лунин и Слава вошли в избу. Увидев Лунина, сержант Зина встала из-за стола, великолепным жестом придвинула правую руку к правому виску и щелкнула каблуками кирзовых сапог. "Прибыл в ваше распоряжение" получилось у Славы очень невнятно. Но Зина всё уже знала от Ермакова, и разъяснять ей ничего не пришлось.

- Сейчас мы тебя оденем, - сказала она.

Позади стола до самого потолка громоздились вороха черных шинелей, бушлатов, брюк. С этих ворохов на Славу со смехом и любопытством глядели девичьи лица, круглые и румяные.

Получив приказание сержанта Зины, девушки с охотой и усердием принялись подбирать для Славы одежду- всё, что положено краснофлотцу по вещевому аттестату. Они отыскали самую маленькую тельняшку, самые маленькие кальсоны, самые маленькие ботинки, самые короткие брюки, самый узкий бушлат. Все эти вещи давно уже лежали на складе, и никто их не брал, и было непонятно, для кого они сделаны. Девушки думали, что они никогда никому не пригодятся, и обрадовались, когда оказалось, что есть в них необходимость. Славе они были велики, и пришлось их тут же ушивать и укорачивать. Он стоял перед зеркалом, а девушки ползали вокруг него на коленях с булавками в губах, с иголками и ножницами в руках. Сержант Зина давала им указания.

- Кукла! Ну, настоящая кукла! - восхищались девушки, вертя и тормоша его.

Слава хмурился, чтобы не потерять достоинства. Он не без удовольствия посматривал на себя в зеркало - таким бравым и мужественным казался он себе в матросской одежде. Голубой воротник, черные брюки, великолепнейший пояс с якорем на бляхе! Жаль, что нельзя выдать ему сейчас бескозырку, но и черная зимняя шапка-ушанка с красной звездочкой хороша, а бескозырку он получит весной. Через несколько минут он совершенно освоился, робость его прошла, и только на сержанта Зину он поглядывал опасливо. Лунин, уходя, так и оставил его перед зеркалом, с подколотой булавками штаниной, окруженного девушками. Решено было, что ночевать Слава придет к Лунину в избу.

Так началась новая Славина жизнь. Работа не показалась ему трудной: перекладывать с места на место ворох шапок да пересчитывать рубахи. Конечно, ничего особенно интересного в этой работе не было, но он выполнял ее тщательно и не без важности. Уваров сказал ему, что в вещевой склад он направлен только временно, для начала, и этим очень его обнадежил. С девушками он сошелся коротко, совершенно на равных, и отбивался кулаками, когда они слишком тормошили его. Три раза в день он вместе с ними строем отправлялся в краснофлотскую столовую завтракать, обедать и ужинать. Место его в строю находилось на самом левом фланге, хотя, по его мнению, одна из девушек была ничуть не выше его, и он уступал ей только из нелюбви к спорам. Всё, что ему давали, он съедал с неизменным аппетитом, но когда девушки пытались уступить ему, как ленинградцу, свои порции супа или каши, он отказывался - из гордости. Своего командира Зину он слушался, но поглядывал на нее хмуро. Когда какое-нибудь ее приказание

ему не нравилось, он тихонько ворчал себе под нос: "Зина-резина", находя это сочетание слов чрезвычайно язвительным.

Но всё это не слишком его волновало. Он прибыл сюда ради самолетов, и внимание его занято было самолетами.

Изба, в которой помещался вещевой склад, делилась на две половины теплую и холодную. В теплой жили девушки, стоял стол, за которым Зиной совершались все таинства учета, происходила выдача по аттестатам, примерка, а в холодной хранилась большая часть вещей. В самом конце холодной половины светлело небольшое оконце, добраться до которого можно было, только переползя на животе через груду шинелей. Из оконца этого виден был весь аэродром, во всю ширь, от деревни до подножия высокого бугра.

Оконце это показали Славе девушки, которые не раз глядели в него, лежа на шинелях. Но девушки, несмотря на то что прожили на аэродроме уже два месяца, понимали в самолетах гораздо меньше, чём Слава, и не способны были смотреть на них так долго, как он. Слава мог лежать в холодной половине у оконца сколько угодно часов подряд. Когда ему становилось слишком холодно, он зарывался в шинели.

То, что он видел оттуда, было интереснее всего на свете. Он видел, как время от времени у землянки командного пункта полка появлялся капитан Шахбазьян с огромным пистолетом в руке и пускал в небо цветные ракеты. Он видел, как, повинуясь ракете, со старта срывались самолеты и мчались по снегу, чтобы взлететь и скрыться за лысым бугром. Он видел посадочное "Т", темневшее на снегу, и похаживавших возле него Проскурякова, Ермакова, доктора Громеко и техников тех самолетов, которые находились в воздухе. Он видел, как самолеты шли на посадку, как они касались аэродрома, взвихрив снежную пыль, как эластично подскакивали, чтобы коснуться аэродрома еще раз, и затем неслись по снегу, всё замедляя бег. Он видел, как техники во весь дух бежали им навстречу, хватали их, уже погасивших скорость, за плоскости и помогали им подрулить к командиру полка. И вот торжественное мгновение - летчик выходит из самолета и рапортует Проскурякову. Из оконца самолеты казались крошечными, черные фигурки на снегу - игрушечными. Но Слава безошибочно отличал одну фигурку от другой и понимал всё, что происходит, а то, чего не понимал, дополнял воображением.

Но, конечно, наблюдение за аэродромом через оконце не могло его удовлетворить. Ему надо было всё видеть и слышать вблизи. Когда он замечал, что дела ему на складе не находится, что случалось нередко, он подходил к Зине и просил:

- Разрешите отлучиться, товарищ сержант.

- Что ж, пойди отлучись, - говорила Зина, подумав.- Только к обеду не опоздай. Эй! - кричала она ему вслед. - Валенки надел? А то смотри!..

Вообще он совершенно напрасно называл Зину резиной и ворчал на нее. Строгая к своим девушкам, к нему она была очень снисходительна. Девушек она действительно старалась не отпускать от себя ни на шаг. Ей казалось, что здесь, на аэродроме, девушки ее ежеминутно подвергаются опасности влюбиться. Но Слава, конечно, опасности влюбиться не подвергался, и она охотно его отпускала. "Пусть побегает, - думала она. - Ему свежий воздух полезен".

А Слава, получив разрешение и боясь, как бы его не остановили, не терял ни секунды. Выскочив за дверь и обогнув избу, он мчался прямо к старту, задыхаясь от ветра и жмурясь от сверкания солнца. Он любил, когда на накатанной дороге вокруг аэродрома его нагонял бензозаправщик с надписью "огнеопасно". Слава поднимал руку. Бензозаправщик замедлял ход, и Слава вскакивал на его подножку. Держась за раму выбитого окна в дверце и глядя сбоку на выпачканное соляром лицо шофёра, Слава на бензозаправщике лихо подъезжал к старту. Он уже издали видел, что Лунин сидит в своем самолете, и, соскочив с подножки, мчался прямо к нему.

Он знал всех летчиков в полку, но с Луниным познакомился раньше, чем с другими, и потому был приверженцем второй эскадрильи. Он сразу определял, кто находится в воздухе, справлялся у техников, чья очередь взлететь. Летчики в шлемах, сидя высоко над ним в самолетах, улыбались ему. Они скучали в ожидании полета, и появление мальчика развлекало их. Лунин разрешал ему взбираться на плоскость своего самолета. Стоя на плоскости, усеянной множеством заплаточек в тех местах, где были пулевые пробоины, Слава заглядывал в кабину. Лунин показывал ему приборы и объяснял их назначение. Однажды он даже вылез из кабины и посадил Славу на свое место. Стоя на плоскости и склонясь над Славой, Лунин позволил ему коснуться штурвала, заглянуть в стеклышко прицела. Слава сидел в кабине, замирая от счастья. Он старательно отодвигался от гашетки пулемета, боясь нечаянно задеть ее.

- А ну нажми! - вдруг сказал ему Лунин.

Слава, не веря, повернулся и взглянул ему в глаза. Нет, Лунин не шутил. Побледнев от радостного волнения, Слава коснулся гашетки. Раздался короткий треск, и сверкающая полоса пуль пересекла пустыню аэродрома. Слава отдернул руку и опять взглянул на Лунина. Лунин улыбался всем своим красным от

мороза лицом.

Несмотря на весьма серьезное отношение к еде, Слава не в силах был по доброй воле покинуть аэродром ради обеда. Сержанту Зине всякий раз приходилось звать его. Она появлялась позади своего склада и махала ему рукой. Он нередко притворялся, что не видит ее, но Лунин замечал ее сразу и говорил:

- Надо идти! Нехорошо.

И Слава с угрюмым лицом бежал к Зине. Отбежав на несколько шагов, он оборачивался и кричал Лунину:

- После обеда я опять отпрошусь!

Ел он торопливо и, набив полный рот хлебом, с важностью рассказывал девушкам, что произошло сегодня на аэродроме. Девушки слушали его внимательно, с завистью.

Да и как было ему не завидовать!

Весь этот сияющий героический мир полетов и воздушных боев, к которому они были только отдаленно причастны, который они наблюдали лишь сквозь окошечко в холодной половине склада, он видел вблизи, он был вхож в него. Он чувствовал эту зависть и, конечно, хорохорился, задавался. В своих рассказах он употреблял разные термины, подслушанные у техников,- лонжерон, фюзеляж, триммера, стабилизатор, - и презрительно улыбался, когда его спрашивали, что значит то или иное слово. О боях он рассказывал так, чтобы слушательницы поняли возможно меньше, - столько он нагромождал разных летчицких словечек. Лунина он называл по-домашнему Константином Игнатьичем, а Серова - Колей Серовым и даже Колькой Серовым.

Проглотив второе и дожевывая последний кусок хлеба, он начинал проявлять крайнее нетерпение и ежеминутно взглядывал на Зину.

- Да уж беги, беги, - говорила она. - Только сам приходи к ужину, я больше тебя звать не стану. Опоздаешь - ничего не получишь.

За ужином он говорил гораздо меньше, чем за обедом, и от усталости едва жевал. Глаза его слипались. Бредя из краснофлотской столовой в избу с раздвоенной березой, он почти спал на ходу и натыкался на встречных.

По вечерам в избе он заставал не только Ховрина, но и Лунина.

Лунин теперь каждый вечер после ужина заходил в избу и вдвоем с Ховриным часа два сидел за столом перед керосиновой лампой. В избе было жарко, и жара эта доставляла наслаждение Лунину, намерзнувшемуся за день; крупные капли пота выступали на его увеличенном лысиной лбу; он сидел, расстегнув

застежку "молния" на комбинезоне, и добрыми своими глазами смотрел на Ховрина.

Говорил он мало. Ховрин был гораздо говорливее. Они теперь оба занимались тем делом, которое Уваров вначале поручил одному Ховрину. Слава знал, что это за дело: они писали слова клятвы, которую должны были произнести летчики, принимая гвардейское знамя.

Ховрин написал уже вариантов десять, но Уваров все забраковал один за другим.

- Пышности много, а сердечности мало, - сказал он. - Нужно строже написать и притом так, чтобы каждый почувствовал, что он говорит не заученное, не чужое, а то, что сам выстрадал, самое свое дорогое. Нет, видно, вам одному не справиться, вам в помощь настоящий летчик нужен. Попросите Лунина, когда он придет. Прочитайте ему все варианты и послушайте, что он скажет...

Лунин выслушал все варианты и все похвалил. И, вероятно, совершенно искренне. Он восхищался искусством Ховрина, его умением писать, находить нужные слова. Он рассмеялся, узнав, что Уваров хочет, чтобы он помог Ховрину, - где уж ему! И всё же Ховрин понял, что все варианты Лунину не понравились.

- Слишком хорошо, - говорил он. - Летчик так не скажет.

- А как же летчик скажет?

- Не знаю... Что-нибудь попроще. Что-нибудь про штурвал, про магнето...

Ховрин вскакивал и ходил по комнате, швыряя свою сутулую тень со стены на стену. Он упорно вглядывался в лицо Лунина, стараясь отгадать, что тот имеет в виду. Придумав фразу, он произносил ее и спрашивал:

- Так? Так?

- Так, - отвечал Лунин, - Не совсем так, но вроде.

Слава к разговорам их не прислушивался и в суть не вникал. Каждый вечер, едва он ложился в постель, его вдруг охватывала тоска, по Соне.

Днем его осаждало столько впечатлений, что он не успевал вспоминать о ней, но стоило ему лечь и закрыть глаза, как она сразу возникала из тьмы. Она теперь совсем одна живет в кухне, где умер дедушка, в пустой, холодной квартире. Сейчас она вскипятила воду в чайнике и пьет в темноте кипяток. Весь свой хлеб она, конечно, съела еще утром, и к вечеру у нее не осталось ни кусочка...

- Товарищ старший политрук, - говорил он внезапно, - вы отвезете сестре посылочку?

- Конечно, отвезу, - отвечал Ховрин. - Ведь я сказал уже.

Об этой посылке для Сони Слава мечтал с первого дня своей жизни на аэродроме. Сначала он собирался есть поменьше хлеба и насушить сухарей. Но работники краснофлотской столовой объяснили ему, что он всё равно не съедает своего хлеба и для посылки сестре в Ленинград ему в любую минуту могут выдать буханку, а то и две, да еще крупы и, может быть, консервов... Действительно ли это было так, или две буханки ему собирались выдать из каких-нибудь иных ресурсов, но Слава твердо верил, что это так.

- Константин Игнатьич, а Соне можно будет меня навестить? Как вы думаете? Не сейчас, конечно, а потом... ну, весной? Сейчас, ясно, рано говорить об этом с Уваровым, он только рассердится, но немного погодя

можно поговорить. Чтобы она приехала только на один день или на два... Вы поговорите?

- Спи, спи! - отвечал Лунин. - Поговорю...

Через минуту мысли Славы принимали другое направление.

- Константин Игнатьич, как вы думаете, - спрашивал он, - собьют еще одного немца, чтобы ровно сто сорок было? Успеют?

- Не знаю. Спи.

И Слава проваливался в сон.

Лунин был один из тех немногих людей на аэродроме, которых очень мало волновало, что 139 - не круглое число. Происходило это, вероятно, от возраста. Он заметил, что чем моложе был человек, тем увлеченнее он мечтал о том, чтобы к моменту вручения гвардейского знамени на счету полка числилось ровно сто сорок сбитых немецких самолетов. Сам же Лунин нисколько не сомневался, что сто сороковой немецкий самолет будет скоро сбит, а произойдет ли это на день раньше вручения знамени, или на день позже, считал безразличным. Однако, выйдя из избы и заметив, что мороз стал крепче, а звёзды ярче, он понял, что завтра день будет ослепительный, ясный, и летать придется с самого рассвета, и будут, конечно, бои, и подумал, что сто сороковой немецкий самолет, весьма возможно, будет сбит именно завтра.

И действительно, вылеты начались, едва забрезжила заря. Посты наблюдения с разных концов сообщали о замеченных "Мессершмиттах". "Мессершмитты" - небольшими группами - держались очень высоко, ходили над железной дорогой, над Кобоной, над Ледовой трассой. Штурмовать не пытались. Встреч с советскими истребителями, видимо, избегали.

Восемь самолетов полка взлетали попарно, соблюдая очередь; обходили весь свой район и возвращались на аэродром без единой стычки, хотя "Мессершмитты" были постоянно видны где-

нибудь на краю неба - то два, то четыре. Было это, конечно, неспроста: немцы к чему-то готовились.

Ни разу еще не было столь ослепительного дня. Несмотря на двадцатиградусный мороз, в сверкании солнца чувствовалось уже что-то весеннее. В его сторону нельзя было смотреть - глаза сами собой закрывались от блеска. Это усложняло задачу летчиков: несмотря на совершенную прозрачность воздуха, "Мессершмитты", зайдя в сторону солнца, мгновенно растворялись в сиянии.

Особенно мешать солнце стало к концу дня, перед закатом, когда Лунин и Серов совершали свой четвертый очередной полет. Огненный шар солнца висел низко на юго-западе, охватив холодным своим пламенем половину небосвода, и что творилось там, в этом пламени, нельзя было разобрать.

Но случилось так, что эта огневая завеса помогла не немцам, а Лунину и Серову. Они находились в самом юго-западном углу порученного их охране района, когда на северо-востоке от себя увидели девять "Юнкерсов", которые цепочкой направлялись бомбить Кобону.

"Юнкерсы" шли на высоте трех тысяч метров, и еще выше их и еще северо-восточнее параллельным курсом шли охранявшие их "Мессершмитты". Час для бомбежки был выбран ими обдуманно и удачно: со стороны Кобоны их нельзя было заметить, потому что прямо за ними было солнце. Но самолетов Лунина и Серова они сами не заметили, потому что солнце помогало Лунину и Серову. Тяжелые "Юнкерсы", нагруженные бомбами, самоуверенно шли мимо в каких-нибудь двух тысячах метров от них, ничего не подозревая, и сердце Лунина забилось в охотничьем азарте. Он покачал плоскостями, чтобы дать знак Серову, и они оба пошли в атаку.

Науку сбивания "Юнкерсов", которые казались огромными, медлительными и неповоротливыми в сравнении с их собственными самолетами, они хорошо изучили еще осенью под руководством Рассохина. Цепь "Юнкерсов" дрогнула, изогнулась. Через мгновение два из них уже горели на льду.

"Сто сорок один! Опять не круглое число!" - успел подумать Лунин и усмехнулся.

Никакой цепочки уже не было, все семь "Юнкерсов" двигались в разные стороны, и далеко внизу, на белой пелене озера, взрывались бомбы, которые они сбрасывали, чтобы облегчить себе бегство.

"Мессершмитты" кружились беспорядочным клубком, видя гибель двух "Юнкерсов", но не видя советских истребителей. Чтобы и дальше остаться для "Мессершмиттов" невидимыми,

Лунин и Серов стали уходить на юго-запад. Солнце сверкало им прямо в глаза. Они уже пересекли береговую черту и летели над темной щетиной леса. Вдруг Лунин, ослепленный сверканием, заметил впереди что-то темное, быстро увеличивавшееся.

Навстречу ему, на мгновение заслонив солнце, выскочил "Мессершмитт". Мелькнул рядом, прошел мимо и исчез далеко позади.

"Почему он меня не сбил? - подумал Лунин, содрогнувшись. И сразу вспомнил о Серове: - Где Серов?"

Он обернулся,

Самолет Серова пылал.

Он весь был охвачен пламенем, которое каралось ярким даже в этом ослепительном воздухе. Удивительнее всего было то, что, пылая, самолет продолжал идти прежним курсом.

- А-а-а-а-а! - кричал Лунин, не слыша своего крика в гуле мотора. А-а-а-а-а! - орал он в отчаянии.

Внезапно, на высоте двух тысяч ста метров, Серов вывалился из своего самолета.

Крутясь и странно размахивая руками, он полетел вниз.

Он не раскрыл парашюта, и Лунин решил, что всё кончено. Продолжая кричать во весь рот, Лунин круто спикировал и понесся вниз вслед за падающим Серовым, словно собирался врезаться в лес, Серов падал, и так же стремительно падал к горизонту огненный шар солнца, становясь всё огромнее и краснее.

И вдруг на высоте тысячи двухсот метров над Серовым раскрылся парашют. Тряхнуть после такой большой затяжки должно было очень сильно. Зонтик парашюта рвануло, качнуло, и Серов повис неподвижно на вытянутых стропах. Неизвестно, сознательно ли он сделал такой затяжной прыжок, чтобы "Мессершмитты" не расстреляли его в воздухе, или просто не сразу нашел в себе силу дернуть кольцо на груди. Но одно теперь было ясно Лунину: Серов жив!

Парашют спускался с томительной медленностью. Лунин кружил в воздухе, охраняя его. Высоко в сияющем небе поблескивали два "Мессершмитта". Они, конечно, отлично видели яркий кружок парашюта... Пока Лунин здесь, они на Серова не нападут... Земля всё ближе, ближе. Теперь уже ясно, что парашют опустится вон там, среди тех редких молодых сосен. Солнце, падая, уже почти коснулось горизонта. Вершины сосен еще ярко озарены, но внизу между стволами уже всё потухло. Парашют опустился между двумя соснами, не задев ни одной ветки. Серов лег на снег.

Лунин отлично видел, как он лежит - ничком, неестественно

скорченный, - и не двигается. Парашют, опавший, сбившийся в комок, лежал рядом с ним и тоже не двигался, - там, внизу, совсем не было ветра. Лунин делал круг за кругом над самыми соснами, не спуская с Серова глаз. Неужели Серов так и не шевельнется?

Но наконец, когда Лунин делал уже двенадцатый круг, Серов слегка приподнялся и пополз. Он полз как-то странно, боком, волоча по снегу правую руку и правую ногу, таща за собой на стропах парашют и даже не пытаясь от него освободиться. Доползя до сосны, он приподнялся и сел, прислонясь спиной к стволу. Левой рукой он торопливо хватал снег, прикладывая его к лицу, и, как показалось Лунину, глотал его. Вероятно, его мучит жажда, раз он ест снег! У него, наверно, обожжено лицо!

Стараясь привлечь внимание Серова, Лунин метался над ним, над сосной. Неужели Серов его не замечает? Но вот наконец Серов приподнял над головой левую руку и слабо махнул ею Лунину.

Лунин в нерешительности кружил и кружил над соснами. Серов ранен, тяжело ранен и обожжен. Что надо сделать?

"Мессершмитты" ушли. Солнце внизу уже зашло, по лесу поплыли сумерки. Если бы поблизости нашлось место, хоть сколько-нибудь годное для посадки, Лунин, конечно, посадил бы свой самолет и побежал бы к Серову, чтобы узнать, помочь. Но сесть поблизости было невозможно: кругом лес да лес, ни просеки, ни вырубки, ни полянки. Вон там дорога... Нет, она слишком узка, на нее самолет не посадишь. Помочь Серову можно было только с аэродрома.

Сделав прощальный круг, Лунин помчался на аэродром.

4.

О том, что Лунин и Серов сбили два "Юнкерса", на командном пункте полка узнали в ту самую минуту, когда это случилось. Бой происходил над Ладожским озером, и все посты наблюдения, расположенные на озере,

видели его и обо всем сообщили Тараракcину по телефону. Но то, что произошло с Луниным и Серовым, дальше, над лесом, осталось неизвестным.

Проскуряков сразу понял, что задуманная немцами бомбежка Кобоны уже не осуществится. Однако убежденным в этом он быть не мог; на всякий случай он поднял в воздух все находившиеся на аэродроме самолеты и улетел с ними сам. На опустевшем поле остались техники, комиссар полка Ермаков и военврач Громеко.

Солнце только что село, зимний закат пылал над лесом пышно и ярко. В небе было еще совсем светло, но здесь, внизу, уже предчувствовались сумерки. Снег звонко хрустел под ногами.

Мороз мешал стоять на месте, и все похаживали, поглядывая на небо. Лунин и Серов, по всем расчетам, должны были уже вернуться. Но минута шла за минутой, а их не было.

Ермаков знал, когда должно было кончиться у них горючее, и поглядывал на часы. Если они не прилетят в ближайшие три минуты, они не прилетят совсем.

Но вот самолет Лунина вынырнул из-за лысого бугра и пошел на посадку.

Лунин выпрыгнул из самолета, и по лицу его все увидели, что произошло несчастье.

- Он жив? - спросил Ермаков.

Лунин кивнул.

- Где?

Лунин приподнял коленом висевший на ремешке планшет с картой. Место, где упал Серов, было километрах в сорока от аэродрома. Всё лес да лес, ни одной деревушки вблизи.

- А вот и дорога, - сказал Ермаков. - Далеко ли от нее?

- Нет, недалеко, - ответил Лунин. - Может, всего метров семьсот, вот сюда, вправо. Я хорошо видел дорогу, думал даже сесть на нее, но слишком узка, сесть невозможно.

- А проедем? Не завязнем в снегу?

Лунин этого не знал: сверху определить трудно. Машин на дороге он не видел.

- Проедем, - сказал Ермаков, подумав. - Ведет в сторону фронта значит, накатана.

Небольшой, плотный, уверенный, он отдавал распоряжения ровным, негромким голосом. У Ермакова было такое свойство, - чем больше он волновался и досадовал, тем ровнее и увереннее становился его голос.

Спокойствием своим он действовал успокаивающе на Лунина. "Значит, он всё-таки надеется", - думал Лунин. Сам он переходил от надежды к отчаянию, от отчаяния к надежде. "Только бы скорее выехать, только бы времени не терять..."

Но всё делалось очень быстро. Возле доктора появилась девушка-санитарка, коротенькая, со строгим личиком, в тулупе, из-под которого выглядывала черная юбка, в больших валенках, с огромной сумкой на боку. Потом подкатила "эмка" командира полка. Ермаков сказал, что водителя не нужно, - он сам поведет "эмку". Стали рассаживаться. Доктор сел на переднее сиденье рядом с Ермаковым, санитарка с Луниным - сзади.

Тем временем подъехала вызванная Ермаковым полуторатонка с краснофлотцами. Обе машины выехали с аэродрома через десять минут после возвращения Лунина, - раньше, чем вернулся Проскуряков.

Сумерки становились всё гуще, но снежная укатанная дорога отчетливо белела впереди. Ермаков гнал машину как мог, полуторка скоро отстала и исчезла из виду. Но Лунину казалось, что они еле движутся. Тревога овладевала им всё сильней. Серову предстоит не менее двух часов пролежать на морозе. Даже если его раны незначительны, это нелегко перенести. Ну, а если он истекает кровью... Неужели и Серова не будет и ему предстоит остаться единственным из всех?..

Доктор молчал и ни разу не обернулся. Он, видимо, тоже был очень взволнован и казался Лунину совсем другим, чем всегда. Ни лихости, ни мальчишеского бахвальства в нем теперь не было, он весь стал подтянутым, собранным.

Санитарка как села в машину, так ни разу не двинулась и напоминала о своем присутствии только тем, что, подскакивая на ухабах, сердито посапывала носом.

Совсем стемнело, деревья с обеих сторон слились в сплошные темные стены. Дорога стала узкой, извилистой. Машина, налетая со всего хода на колдобины и выбоины, тряслась и подскакивала. Ермаков гнал и гнал, но прошло не меньше полутора часов, прежде чем они оказались вблизи того места, где упал Серов.

Вблизи... Но когда Ермаков обернулся и спросил Лунина, остановиться ли и начать поиски или проехать немного дальше, Лунин не знал, что ответить. С воздуха он мгновенно нашел бы то место, где оставил Серова, но с земли всё кажется иным. Он опять разложил на коленях планшет с картой и осветил его электрическим фонариком. Остановили машину. Ермаков с Луниным вышли, осмотрелись, посовещались. Проехали еще немного и снова остановились.

Лунин помнил, что дорога делает крутой поворот налево как раз у того места, где она ближе всего подходит к Серову. Сверху он безошибочно отличил бы этот поворот, но на земле ночью все повороты казались одинаковыми. У каждого поворота влево он с Ермаковым выходил из машины. Каждый поворот казался ему не тем, пока они стояли возле него, и начинал казаться тем самым, чуть только они оставляли его позади.

Уже в пятый раз они с Ермаковым вышли из машины.

- Ну что? Здесь? - спросил доктор, приоткрыв дверцу.

Лунин с сомнением оглядел зубчатые вершины елей. Холодные звёзды мерцали над дорогой.

- Здесь, - ответил он.

Но в голосе его не было решительности.

- А может быть, дальше поедем? - сказал Ермаков. - Вы не торопитесь, майор, смотрите хорошенько. Мы гораздо больше времени потеряем, если начнем искать не в том месте.

- Нет, тут поворот куда круче, чем прежние...- сказал Лунин.

Он не вполне был убежден, но, если они поедут дальше, круто заворачивающая дорога может так далеко увести их от Серова, что они никогда его не найдут. Доктор и санитарка тоже вышли и остановились на краю дороги. Решено было: Ермакову остаться у машины и ждать полуторатонку с краснофлотцами, а всем остальным немедленно идти на поиски.

- Вот сюда, вправо, - сказал Лунин. - Елки скоро кончатся и начнутся сосенки...

В лесу было гораздо темнее, чем на дороге, однако всё лежавшее на снегу было хорошо заметно. Снег был жесткий, плотный, крупнозернистый, и проваливались они в него не глубоко. Там, где ели стояли погуще, ветер намел рыхлые сугробы, но они обходили их.

Лунин, шагая тяжелыми, широкими унтами по снегу, всё время думал, правильно ли указал поворот, где нужно начать поиски. Он вспомнил, что оставил Серова в молодом сосновом лесу, довольно редком, а здесь лес был густой и по преимуществу еловый. Правда, он видел с самолета, что ближе к дороге растут елки, и потому вначале был спокоен, так как думал, что еловый лес вот-вот кончится и начнется сосновый. Но он шел и шел, а кругом попрежнему были мохнатые лапы елей. Он пошел быстрее, чтобы поскорее миновать еловую полосу, но за елками появлялись новые елки. Тогда ему стало казаться, что он сбился с пути и идет вдоль дороги, вместо того чтобы отходить от нее; он изменил направление, потом изменил его снова, но попрежнему видел вокруг одни только тяжелые, темные ели.

Теперь он уже почти бежал, глубоко проваливаясь в снег, и поминутно менял направление. Он кидался туда, где ему чудился просвет за елками, но вместо просвета находил новые елки. Ему казалось, что он отошел уже очень далеко от дороги, что искать нужно совсем не здесь, что он показал не тот поворот и что по его вине они потеряли очень много времени. Время всё идет, идет, идет. Его ошибка, быть может, стоила Серову жизни. Сделав еще несколько попыток выбраться из елок, он окончательно отчаялся. Он решил вернуться на дорогу и созвать всех, чтобы ехать к следующему повороту.

И едва он это решил, еловый лес, как по волшебству, кончился. Елки расступились, и он увидел пологий склон бугра, поросший редкими невысокими соснами. Здесь было гораздо светлее. Снег блестел, звездное небо казалось ярким и близким, разноцветные звёзды словно висели на легких и прозрачных сосновых ветках.

- Сюда! - крикнул Лунин. - Ко мне!

Ему издалека ответило несколько молодых голосов, - краснофлотцы, успевшие тем временем подъехать и вступившие вместе с Ермаковым в лес. Не дожидаясь их, Лунин пошел вверх по пологому склону. Здесь видно было довольно далеко, и он несколько раз замечал на снегу темные пятна, похожие издали на сидящую или лежащую человеческую фигуру. Он подбегал с замирающим сердцем, но это неизменно оказывался пень или можжевельник.

Внимательно глядя по сторонам, он дошел до вершины бугра и стал спускаться по противоположному склону, такому же пологому. И на вершине и на противоположном склоне рос всё тот же редкий молодой сосняк. Но чем ниже спускался Лунин, тем отчетливее видел он впереди нечто вроде темной зубчатой стены. Это опять были елки.

Пройдя сосновый лес до конца, Лунин повернул и пошел обратно. Чтобы увидеть побольше, он возвращался не по собственному следу, а в сотне метров от него. Не дойдя до вершины, он встретил краснофлотцев, которые прочесывали лес, растянувшись широкой цепью. Доктор и Ермаков шли вместе.

- Они сейчас найдут его, майор, - сказал Ермаков Лунину. - Сосновый лесок невелик. Они сейчас найдут его, если он тут.

- Он упал как раз в такой лесок, - сказал Лунин.

- Мало ли здесь таких лесков, - сказал Ермаков. - Здесь видите как: всё бугры да низинки. Во всех низинках елки, а на всех буграх сосны.

Лунин продолжал искать, но этих слов Ермакова забыть не мог. Уверенность, охватившая его, когда он вышел к соснам, исчезла. Он теперь опять был почти убежден, что ошибся поворотом и что они здесь только теряют время. Через три минуты он снова оказался возле елок и снова свернул. В третий раз поднимаясь к вершине бугра, он на каждом шагу натыкался на следы валенок. Весь сосняк во всех направлениях был уже пересечен краснофлотцами. Не осталось ни одного необысканного места. Пока они все здесь топчутся по вине Лунина, Серов, быть может, замерз или истек кровью... Лунин окончательно решился. Нужно было действовать, не теряя больше ни минуты.

Он отыскал Ермакова и прямо признался в том, что, безусловно, ошибся. К его удивлению, Ермаков колебался.

Зато Лунин не колебался больше нисколько: он твердил, что теперь всё ясно вспомнил, что и поворот дороги не тот и сосны там были не такие. Ему теперь и в самом деле казалось, что в том месте, где упал Серов, сосны были побольше - тоже молодые, но всё же не такие мелкие. Ермаков ничего не мог возразить, хотя,

кажется, он всё еще продолжал колебаться.

Вдруг доктор нашел парашют. Он закричал, и все побежали к нему. Парашют, сбившись в бесформенный ком, лежал на снегу. Когда Лунин, бежавший впереди всех, добежал, доктор, стоя в снегу на коленях, перебирал груду шелка, всё еще надеясь найти под ней Серова. Но парашют был, а Серова не было.

- Ушел... - сказал Ермаков.

- Не мог он уйти! - воскликнул Лунин. - Он даже встать не мог...

Доктор уже лежал на животе и разглядывал снег. При ночном свете пятна крови на снегу казались черными, и потому глаз не сразу отличал их от сухих сучьев, от кусочков сосновой коры. Много, однако, крови. Снег тут жесткий, плотный, весь примят кругом. Ага, здесь он полз... Он, конечно, уполз отсюда. Возможно, он слышал шум машин и догадался, что в той стороне дорога...

Доктор встал и, низко согнувшись, пошел по следу. Сколько крови! Серову пришлось продираться через эти кусты. Доктор влез в кусты, раздвигая прутья. Снег между кустами рыхлый. Высокий сугроб. Идя по снегу, доктор влез в сугроб. Раздался грохот падения, треск ломаемых сучьев.

- Где вы, доктор? - крикнул Лунин.

Доктор исчез.

Лунин полез в сугроб, проваливаясь в рыхлый снег по пояс.

- Стойте! - услышал он голос доктора откуда-то снизу. - Стойте, а то скатитесь.

- Да что здесь? Воронка?

- Канава или войонка, чёйт его знает что. Обойдите кйугом, подойдите с дйугой стойоны. Он здесь. Я лежу на нем...

- Здесь? Серов? Он жив?

Доктор не ответил.

С треском ломая сучья и проваливаясь в снег, Лунин двинулся вперед, стараясь приблизиться к смутно темневшей перед ним яме. Вдруг на дне ямы вспыхнул свет: это доктор зажег электрический фонарик. В кружке света возникло запрокинутое лицо Серова, странно измененное какими-то темными пятнами на щеках и на лбу. Глаза Серова были открыты.

- Коля, Коля! - закричал Лунин. - Он не слышит меня! Он жив?

- Пока жив, - сказал доктор.

- Зрачки у него сужаются от света, - объяснила санитарка, уже стоявшая рядом с доктором.

Фонарик погас. Быстрым, сильным движением доктор поднял Серова и вынес его из ямы.

- Отойдите, не мешайте! - сказал он Лунину властно.- Все отойдите!

Услышав окрик доктора, все покорно расступились, чувствуя, что теперь он здесь главный. Образовался широкий круг, в центре которого находились Серов, доктор и санитарка.

- Носилки, - сказал доктор вполголоса.

Носилки тащил один из краснофлотцев. Их мгновенно расставили на снегу, и доктор стал опускать на них Серова. Голова Серова, пока его опускали, странно свесилась, как у куклы, и при виде этого неживого движения Лунин вздрогнул. "Пока жив", - повторил он про себя, стараясь проникнуть в смысл этих слов. - "Пока..."

Доктор, стоя на коленях перед носилками, работал. Санитарка, раскрыв свою большую сумку, передавала ему по его приказаниям то один предмет, то другой. Он разрезал меховой сапог на правой ноге Серова, снял его и отшвырнул.

- Жгут! - произнес он.

Отрезав тяжелый от крови край комбинезона, он туго перетянул голую ногу Серова жгутом чуть повыше раны, чтобы остановить кровотечение. Санитарка светила ему фонариком, пока он рассматривал рану в ноге несколько ниже колена, стараясь определить, значительно ли задета кость. Затем он занялся правой рукой Серова. Здесь всё смешалось - обломки и осколки костей, обрывки холста, клочья ваты, куски порванных мышц, - всё было слеплено запекшейся кровью в один ком. Доктор очищал руку по частям быстрыми, мелкими, точными движениями. Когда он выпрямил ее, Серов, вдруг глухо простонал, не приходя в сознание. Доктор наложил тугой жгут возле самого плеча, сделал перевязку и упаковал руку в лубок.

Лунин, конечно, не понимал смысла того, что доктор делает, да и почти ничего не видел, но уверенность доктора, его решительность, спокойствие всё это внушало Лунину доверие. Так уверен и спокоен может быть только человек, знающий свое дело. Особенно удивительной в докторе была именно уверенность, потому что каждый, кто видел его изо дня в день на аэродроме, чувствовал, что его излишняя грубоватость, все эти разговоры о спирте и женщинах происходят от постоянной неуверенности в себе. Сейчас, склоненный над раненым Серовым, он был, казалось, совсем другим человеком. Даже движения у него были другие, даже голос другой. Это чувствовали все - не только Лунин, но и Ермаков и краснофлотцы - и относились к нему по-другому: с уважением и надеждой.

- Подымайте, - сказал доктор. - Не качайте! Идем!

Укрытого чьим-то бараньим тулупом, Серова понесли на носилках через лес к дороге. Санитарка возвращалась на аэродром в грузовой машине вместе с краснофлотцами, и в "эмке"

с Серовым ехали трое: Ермаков, доктор и Лунин. Носилки в "эмку" не поместились, и доктор с Луниным всю дорогу назад держали Серова у себя на руках. Голова Серова лежала у Лунина на груди, и Лунин старался не только не шевелиться, но даже не дышать, чтобы не тревожить его.

Несмотря на темноту, Лунин довольно ясно видел его лицо, обезображенное ожогами, распухшее, в черных пятнах. Теперь глаза Серова были закрыты. Ермаков, сидевший за рулем, время от времени оборачивался и тоже поглядывал на лицо Серова. Черные пятна ожогов, видимо, тревожили его.

- Здорово он опален, - сказал наконец Ермаков доктору.

- Пустяки, - ответил доктор. - Главное - глаза целы. Ожоги заживут. Конечно, если...

Доктор не договорил. "Если он жив останется", - догадался Лунин.

- Он много крови потерял, - проговорил Ермаков.

- Очень много, - сказал доктор. - И главная для него была опасность,стужа. Это ему повезло, что он в яму скатился. В яме снег мягкий, он глубоко вошел в снег, его засыпало - под снегом теплее, - вот он и не закостенел.

Километров через пять Ермаков спросил:

- А как у него нога?

- Навылет, - ответил доктор. - Но кость либо совсем не задета, либо задета мало. Ногу ему в госпитале наладят. Ходить будет.

Эти слова несколько утешили Лунина, но вдруг доктор проговорил:

- А вот пйавую йуку я у него сейчас отниму. Сейчас, как пйиедем.

- Как - отнимете? - не понял Лунин.

- Отйежу, - объяснил доктор.

Лунин взглянул в лицо Серова, такое знакомое, милое, мужественное, и содрогнулся. Как беззащитен и беспомощен Серов в этом своем забытьи! С ним можно сделать всё что угодно. Лунин почувствовал к доктору неприязнь. Он вспомнил, как охотно говорил доктор о своей любви "резать", и поморщился. "Резать легче всего, - подумал Лунин. - Ты не режь, а вылечи - это потруднее..."

Лунин ничего не сказал, но доктор, кажется, что-то почувствовал. Когда Серова наконец привезли и внесли в ту избу, которую занимал доктор со своими санитарами и санитарками, он был явно недоволен, что Лунин вошел тоже. Изба была разделена на две части не доходившей до потолка дощатой перегородкой. То, что было перед перегородкой, называлось "приемной"; то, что было за перегородкой, называлось "палатой".

Лунин остановился в "приемной", не осмеливаясь идти дальше. Света в "приемной" не было, но в "палате" горела керосиновая лампа, и все щели в перегородке светились. Оттуда, из-за перегородки, доносились шёпотом отдаваемые приказания, слышно было, как передвигали железную койку, переносили стол. Лунин простоял в темноте пять минут, не осмеливаясь двинуться, не решаясь сесть, надеясь, что никто не обратит на него внимания. Но надежда эта не сбылась. Доктор долго, старательно мыл руки у умывальника, а потом появился в дверях - не в лётном комбинезоне, как привык видеть его Лунин, а в белом халате, с полотенцем, с обнаженными до локтей руками. Он посмотрел на Лунина и сказал:

- Вам надо идти, комэск. Ложитесь спать. Я пошлю за вами, когда его будут увозить.

Это сказано было так твердо и властно, что Лунину оставалось только подчиниться. Но его смутная неприязнь к доктору усилилась. Особенно рассердили его слова "ложитесь спать". "Какой заботливый! - думал он, уходя. - Как же, так я и лягу..."

Только он отошел от крыльца, как услышал тяжелые шаги и, обернувшись, увидел, как на крыльцо взошел Проскуряков. Лунин хотел его окликнуть, но Проскуряков уже исчез за дверью. Тогда Лунин решил дождаться его и поговорить.

Ему пришлось долго стоять посреди темной деревенской улицы. Во всех избах уже не было света, светились только окошечки санчасти. Там, за этими тускло мерцавшими окошечками, беспрестанно мелькали тени, двигались люди. Это мелькание теней казалось Лунину зловещим, и он с тревогой следил за ним. Но вот наконец дверь со стуком отворилась, и на скрипящем под тяжестью крыльце возникла громадная фигура Проскурякова.

- Товарищ командир! - окликнул его Лунин.

- А, это вы, майор, - сказал Проскуряков, без всякого, впрочем, удивления. Казалось, он считал вполне естественным, что Лунин стоит ночью посреди улицы перед санчастью.

- Вы видели его? - спросил Лунин. Проскуряков кивнул и сказал:

- Он будет жить.

- Я знаю, - сказал Лунин. - Но ему сейчас отрежут правую руку...

- Беда... - горько проговорил Проскуряков. - Такой великолепный летчик!

- А может быть, можно не резать?

- Мне говорил доктор, что вы ему не верите, - сказал

Проскуряков.

- Говорил? - удивился Лунин.

- Я и сам сейчас сюда пришел, чтобы узнать, нельзя ли не резать. Мне Ермаков рассказал. Но, видно, нельзя, - надо.

Лунин вздохнул.

- У него рука перебита в четырех местах, кости превращены в кашу, продолжал Проскуряков. - Руки уже нет, так что спасать всё равно нечего. Завтра с утра его нужно везти на Волховстрой. Там его положат в санитарный поезд и отправят на восток. Если не отрезать, у него в пути сделается гангрена, и он погибнет.

Лунин молчал.

- Что мы с вами в этом понимаем, майор! - грустно сказал Проскуряков. - Я предпочел бы, чтобы меня прикончили сразу, чем резали по частям, да и вы, наверно, тоже... Жаль, что не будет его с нами, когда привезут гвардейское знамя.

И они разошлись.

Лунин побрел на аэродром, в свою землянку.

В землянке, как всегда, было жарко. Ласково шумела железная печь. Хромых, в огромных валенках, бесшумно встал перед Луниным. Он как-то по-особенному внимательно посмотрел Лунину в лицо и ничего не сказал. И Лунин был ему за это благодарен.

Хромых поставил перед Луниным его ужин, но Лунин есть не мог. Спать он тоже не собирался - он был убежден, что не заснет, хотя чувствовал себя очень усталым. Сняв шлем, как был - в комбинезоне и унтах, - он присел на деревянную лавку, прислушиваясь к знакомому треску печурки. И вдруг заснул - нечаянно, не заметив.

Вздрогнув, он проснулся с чувством вины, - будто проспал что-то важное, чего не имел права проспать. Он посмотрел на часы. С того времени, когда они вернулись на аэродром, прошло уже больше трех часов. Всё, наверно, уже совершилось. У Серова, наверно, уже нет руки... Лунину показалось, что в землянке нестерпимо душно. Он натянул шлем, вышел наружу и зашагал по аэродрому к санчасти.

Ночь стала темнее и угрюмее. Лунин глянул вверх и увидел, что звёзды сохранились только на восточной половине неба. С запада ползла невидимая туча и гасила их - одну за другой. От этой наступающей тьмы, от гаснущих звезд Лунину стлало еще тоскливей.

В оконцах санчасти попрежнему был свет. Лунин открыл двери и вошел в сени.

- Кто там?.. Тише! - услышал он шёпот доктора.

Теперь керосиновая лампочка горела в "приемной", а не в

"палате". Под лампочкой на скамье сидела санитарка - та самая, которая ездила искать Серова, - и сидя спала. Доктор в халате стоял перед раскрытым шкафом, в котором помещалась аптека, и, позвякивая, переставлял какие-то склянки. Когда вошел Лунин, он обернулся. Что-то новое было в его лице: он, показалось Лунину, был измучен.

- Я зашел только узнать... - начал Лунин вполголоса.

- Спит, - сказал доктор.

- Спит?

- Очнулся и уснул. Очень слаб.

- Больно ему?

- Его мучат ожоги.

- А рука?

- Пока его мучат только ожоги.

Лунин хотел узнать - отрезали уже Серову руку или нет, но у него не хватило мужества спросить. Однако доктор сам догадался и сказал: - Нет. Пока еще нет.

Санитарка внезапно открыла глаза и сказала строго:

- Мы сделали ему переливание крови и решили подождать до утра.

- А утром? - спросил Лунин.

- Утром температура покажет, - сказала санитарка.

- Если не подымется, я так отвезу его к поезду, - проговорил доктор.

- А если подымется?

- Если подымется, тогда, возможно, будет уже поздно.

Доктор отвернулся от Лунина, прошелся по комнате и произнес изменившимся голосом:

- йиск!

Больше они не сказали друг другу ни слова. Лунин опустился на скамейку рядом с умолкшей санитаркой, а доктор продолжал шагать по комнате от стенки к стенке. Лунин с благодарностью и состраданием смотрел на его осунувшееся лицо. Этот доктор не такой уж любитель резать, как сам про себя рассказывает. Он действительно человек, чувствующий свою ответственность за жизнь, здоровье, будущность Серова, мучающийся от сознания этой ответственности. Лунин понимал, что эта ночь сблизила его с доктором.

- Идите спать, - сказал доктор. - До утйа он всё йавно не пйоснется.

Лунин неохотно ушел, решив зайти на рассвете.

Он опять был убежден, что, конечно, не уснет, и опять нечаянно задремал, усыпленный теплотой и тишиной землянки. Разбудил его телефонный звонок.

Звонил Тараракси из командного пункта полка и сообщил, что на аэродром сегодня прибудут представители командования для вручения полку гвардейского знамени. Лунин повесил трубку и выбежал из землянки.

Ему казалось, что он проспал, опоздал, что Серова уже отвезли на Волховстрой и он больше не увидит его.

Почти совсем рассвело, но утро было хмурое, сумрачное. Тучи ползли низко, задевая грязноватой своей бахромой за вершину лысого бугра. Чувствовалось, что вот-вот пойдет снег. У крыльца санчасти стояла длинная санитарная машина. Заметив ее издали, Лунин заторопился еще больше. Такой машины не было ни в полку, ни в аэродромном батальоне; доктор, очевидно, вызвал ее откуда-то, .чтобы перевезти Серова.

- Я уже думал посылать за вами, - сказал доктор, встретив Лунина на крыльце. - Он очнулся и хочет видеть вас.

- Температура?

- Пока ничего...

Значит, руку еще не отрезали! Задыхаясь от волнения, Лунин вошел в "приемную". Навстречу ему шла маленькая женщина в платке и тулупе. Хильда! Кажется, она плакала. Кивнув Лунину, она вышла.

- Вы не заставляйте его вам отвечать, - шепнул доктор. - Ему больно шевелить губами. Ожоги...

Стараясь не стучать, Лунин вошел в "палату".

Лицо Серова было забинтовано, видны были только глаза. Когда Лунин вошел, глаза эти, такие знакомые, двинулись и улыбнулись ласково и печально. Углы рта у Лунина задрожали, как когда-то в детстве, но он пересилил себя и тоже улыбнулся.

Доктор вышел, чтобы не мешать им.

Они никогда не разговаривали слишком много друг с другом, а если говорили, так только о простом и обычном. Их близость создалась не с помощью слов, и слова вовсе не были им необходимы для того, чтобы понимать друг друга. По глазам Серова Лунин мгновенно отгадал всё, что происходит в нем, и Серов, увидев лицо Лунина с дрожащими уголками губ, тоже всё отгадал.

Им предстояла разлука. Лунин попросил Серова писать ему, сообщать свои адреса. Он и сам обещал писать обо всем, что творится в полку, чуть только получит адрес госпиталя, в который положат Серова. Серов отвечал ему движениями глаз, что понимает и совершенно согласен.

- Чемодан я ваш поберегу, - сказал Лунин. - Потом, при оказии, переправлю...

Грустная тень мелькнула в глазах Серова, и Лунин сразу

понял, что она означает.

- Да, вернее всего, и не придется переправлять,- прибавил он поспешно. - Чемодан полежит у меня, пока вы не вернетесь в полк...

Он замолчал. Со двора доносился голос доктора, который распоряжался, устраивая что-то в санитарной машине. Шофёр наливал воду в радиатор, готовясь к поездке. Лунин молчал и смотрел на Серова, чувствуя, что видит его уже последние мгновения. Тяжелый топот раздался на крыльце, и Лунин, скосив глаза, заметил через окошко Проскурякова и Ермакова, которые шли проститься с Серовым.

Вот и всё. Им больше уже не быть наедине.

И вдруг бинт, закрывавший губы Серова, зашевелился. Серов что-то старался сказать.

Лунин нагнулся к нему и услышал:

- Если придет письмо...

Лунин сразу понял, о каком письме он говорит. Если придет в конце концов письмо от той женщины...

- Я перешлю, перешлю, - сказал Лунин, кивая. - И вам перешлю и ей напишу.

Вошли Проскуряков с Ермаковым. Лунину не хотелось оставаться с Серовым при других, и он тихонько вышел на крыльцо. У санитарной машины уже собрались многие, чтобы проводить Серова. Все поглядывали на Лунина, но никто не заговорил с ним, так как всем было понятно его состояние.

Лунин услышал, как доктор в сенях сказал Проскурякову:

- Я не отнял, но это еще ничего не значит. Могут отнять в госпитале...

Они вышли, прошли мимо Лунина. Доктор раскрыл дверцу санитарной машины, заглянул внутрь, показал Проскурякову. Санитары вынесли Серова на носилках - закутанного, прямого, длинного, неподвижного. Лунин хотел еще раз увидеть его глаза, но глаза его были закрыты. Носилки с Серовым внесли в машину, доктор уселся рядом с ним, дверца захлопнулась, и машина покатила между двумя рядами изб.

- Майор, - сказал Проскуряков Лунину, - пойдем посмотрим, как живут ваши техники. А то приедут со знаменем - могут поинтересоваться.

- Есть! - ответил Лунин.

Теперь он один остался из всех рассохинцев и обязан был довести их дело до конца.

5.

День был темный, хмурый; казалось, что всё еще утро, что вот-вот рассветет, но так и не рассвело даже к обеду, а после

обеда стало еще темнее.

Ховрин сидел у себя в избе и писал, когда за окном у раздвоенной березы остановилась машина. Раздался стук шагов на крыльце, и в избу вошел Уваров.

Ховрин сразу всё понял.

- Уже? - спросил он, вставая.

Уваров был бледнее и сдержаннее, чем обычно.

- Надевайте шинель, - сказал он. - Поедемте со мной. Вам надо это видеть.

Он усадил Ховрина рядом с собой в машину, и они поехали.

- Вы знаете, кто привез полку новое знамя? - спросил Уваров.

- Командующий ВВС?

- Нет!

- Кто же?

- Жданов!

Впереди шла другая машина - большая, черная.

Белое поле аэродрома, окаймленное почти невидимым в сумерках лесом, казалось огромным и пустынным. Теряясь в этом огромном белом пространстве, на краю аэродрома чернела короткая цепочка людей.

Это авиаполк стоял в строю.

Пока машины шли по краю аэродрома, Ховрин жадно смотрел в окно. Вот он, весь полк. Вот эти два промежутка разделяют между собой эскадрильи. Первая, вторая, третья. Эскадрильи построены в два ряда - сзади техники, впереди летчики. Вот это - все летчики, оставшиеся в полку, несколько человек... Перед техниками второй эскадрильи только один летчик - Лунин...

Командование полка - Проскуряков, Ермаков и Шахбазьян - стояло отдельно. Рядом со своим комиссаром и начальником штаба Проскуряков казался гигантом.

Обе машины, подкатив, остановились.

Первым из передней машины вышел Жданов. Полк узнал его. Один из руководителей партии здесь, на аэродроме! Этого не ожидал никто.

Вслед за Ждановым из машины вышел командующий ВВС, невысокий и несколько грузный, а за ним адмирал - тонкий, стройный, в черной с золотом шинели,- с новым знаменем в руках. Он передал его Жданову. Ветер шевельнул тяжелое полотнище.

Проскуряков, выступил вперед, остановился перед Ждановым и отдал рапорт.

В усах и бровях Жданова блестели пылинки изморози. Он пристально вглядывался в лица стоявших перед ним людей. По

твердо сжатым губам было видно, как взволновала его эта встреча с поредевшим полком. Когда он заговорил, голос его, негромкий, но слышный всем, прозвучал просто и неожиданно мягко.

- Партия и правительство, - сказал он, - доверили мне вручить это знамя вам, зная, что вы будете достойны его.

Он протянул древко знамени Проскурякову. Проскуряков принял знамя, опустясь на колено.

И весь полк опустился перед знаменем на колени.

- Родина, слушай нас! - проговорил Проскуряков на коленях.

И полк, коленопреклоненный, повторил за ним:

- Родина, слушай нас!

- Сегодня мы приносим тебе святую клятву верности, - продолжал Проскуряков, - сегодня мы клянемся еще беспощаднее и яростнее бить врага, неустанно прославлять грозную силу советского оружия...

Ховрин слушал и не узнавал этих слов, написанных им самим вместе с Луниным, - такими сурово-торжественными казались они, медленно и негромко произносимые Проскуряковым и повторяемые полком, стоявшим на коленях перед своим знаменем.

- Родина, пока наши руки держат штурвал самолета, пока глаза видят землю, стонущую под фашистским сапогом, пока в груди бьется сердце и в жилах течет кровь, мы будем драться, не зная страха, не ведая жалости, презирая смерть во имя полной, окончательной победы.

Так клялся полк перед своим новым знаменем, завоеванным подвигами живых и тех, кого уже не было в живых.

- Гвардейцы не знают поражений... - продолжал Проскуряков.

"Правда, правда! - подумал Ховрин. - Их мало, но они ни разу не были разбиты".

- Гвардеец может умереть, но должен победить... - сказал Проскуряков.

"Правда, правда"! - думал Ховрин, как будто слышал эти слова впервые. Слезы выступили у него на глазах - может быть, от слишком резкого ветра, дувшего прямо в лицо.

- Под знамя смирно! - скомандовал Шахбазьян, начальник штаба.

Полк поднялся. Проскуряков, со знаменем в руках, прошел по всей цепи, и знамя проплыло над всеми головами. Он вручил его знаменосцу. Полк, отчетливо видный на белом снегу, прошел вслед за новым своим знаменем мимо Жданова, мимо командующего ВВС.

Быстро темнело.

"Может умереть, но должен победить, - повторял Ховрин,

жмурясь от ветра. - Правда, правда..."

Глава восьмая.

Ураганы

1.

Слухи о том, что полку вот-вот дадут новые самолеты, стали проникать на аэродром еще весной.

Всё упорнее рассказывали, что советская промышленность стала выпускать новые самолеты-истребители, которые по всем показателям гораздо лучше прежних. Некоторые даже видели их, - правда, издали, в полете. Из всех их качеств особенно прельщала летчиков быстроходность. Утверждали, что эти новые самолеты куда быстроходнее "Мессершмиттов-109", и летчики мечтали о том, как, получив их, расправятся с "Мессершмиттами".

Однако неделя шла за неделей, а новых самолетов полк не получал. Время от времени в полк подбрасывали то один самолет, то другой, - но всё это были "И-16", такие же много раз пробитые и много раз побывавшие в ремонте, как те, которые находились в полку с начала войны. Правда, это означало, что какие-то части вооружают новыми самолетами, а старые самолеты забирают у них и передают на усиление другим частям; следовательно, перевооружение авиации идет, движется.

- А раз движется - значит, дойдет и до нас, - рассудительно говорил комиссар полка Ермаков. - Нужно только подождать.

- Как же, дождемся... - хмуро говорил Проскуряков, Всегдашний трезвый и спокойный оптимизм Ермакова раздражал его. Он не мог примириться с тем, что его гвардейский полк как бы обходят.

- И дождемся, - отвечал Ермаков.

- А пока в наш полк сметают мусор со всех фронтов! - ворчал Проскуряков. - Мы что ж, хуже других?..

- Мы никого не хуже, да другие сейчас, видно, нужнее, - говорил Ермаков всё с той же рассудительностью.

- Это кто же? - спрашивал Проскуряков, и огромное лицо его краснело. Где же это нужнее? - гудел он обидчиво. - И так уж немцы над озером совсем изнахалились - с тех пор как лед сошел, каждый день норовят бомбить перевалочные базы...

Проскуряков был прав: с тех пор как лед растаял и грузы для Ленинграда переправлялись через озеро на баржах, значение истребителей, несущих охрану, еще увеличилось, потому что большие баржи были уязвимее с воздуха, чем грузовые машины. И всё-таки в душе Лунин больше соглашался с Ермаковым. С приходом теплых дней на юге началось новое наступление немцев, и он чувствовал, что события, назревающие там, вдали, гораздо грандиознее и важнее всего, что сейчас совершается

здесь, у Ленинграда.

За весну в полк прибыло и несколько новых летчиков. Но, так же как самолеты, летчиков этих, в сущности, неправильно было назвать новыми, были это люди, раненные в начале войны на разных фронтах, отлежавшие свое в госпиталях и теперь вернувшиеся в строй. Одного летчика получил и Лунин в свою эскадрилью. Впрочем, летчик этот никогда ранен не был, да и летчиком его назвать можно было только условно.

В полк привез его комиссар дивизии Уваров: прилетел на своем "У-2", а сзади у него сидел высокий сержант с костистым лицом, довольно угрюмый на вид. Звали его Антон Кузнецов, и до случайной встречи с Уваровым он служил в одном из аэродромных батальонов - корчевал пни, подметал снег.

- А, знакомый! - сказал, увидя его, Уваров, обладавший замечательной памятью на лица.

Этого Кузнецова он встречал до войны в одном из лётных училищ и сразу припомнил его историю. Кузнецов был исключен из училища за пьянство.

Он тоже узнал Уварова и стал еще угрюмее.

- Как вы сюда попали? - спросил Уваров.

- На войну, товарищ полковой комиссар? - переспросил Кузнецов, вытянувшись перед Уваровым. - По мобилизации.

В этом нарочито глупом ответе был вызов, но Уваров сделал вид, что ничего не заметил.

- Не на войну, а в батальон аэродромного обслуживания.

- Сюда в батальон? Выпросился, - объяснил Кузнецов уже без всякого вызова, но всё так же хмуро. - Меня хотели в какую-то автороту направить, потому что я с мотором знаком, а я выпросился в аэродромный батальон. Всё-таки к самолетам поближе.

- Любите самолеты?

- Люблю...

Он умолк. Этот разговор явно тяготил его.

- А летать не разучились? - спросил Уваров.

- Не знаю... С тех пор не пробовал...

- А хотели бы попробовать?

Кузнецов исподлобья посмотрел на Уварова - не шутит ли.

Но Уваров не шутил.

- Вы, конечно, курса не кончили, но я помню, как вы летали, - сказал он. И как вы стреляли по конусу, помню... Из вас получится летчик-истребитель. Как вы думаете?

- Не знаю, - сказал Кузнецов.

Он всё еще не был убежден, что Уваров говорит серьезно.

- А я знаю, - сказал Уваров. - Раз я вам говорю, что из вас

получится летчик-истребитель, можете не сомневаться. Было бы желание...

- Желание есть, товарищ полковой комиссар, - проговорил Кузнецов твердо.

В полку к Кузнецову отнеслись недоверчиво. Летчики не верили в его уменье летать. Но особенно не понравился он Ермакову. Ермаков был человек непьющий, глубоко презиравший пьяниц и склонный относиться к ним сурово. Он поморщился, услышав, что Уваров хочет назначить Кузнецова во вторую эскадрилью.

- В такую эскадрилью, товарищ полковой комиссар!

- Ну так что ж, - сказал Уваров. - Лунину нужен ведомый.

- А если он запьет?

- Он теперь не пьет.

- Совсем не пьет?

- Совсем.

- Простите, товарищ полковой комиссар, а откуда это известно?

- Он мне сказал.

- Ах, вот что... - протянул Ермаков, не смея спорить с комиссаром дивизии, но откровенно дивясь его легковерию. - А если он всё-таки запьет?

- Тогда отправьте его в штрафную роту, - сказал Уваров. И прибавил, смеясь:

- И меня вместе с ним.

Кузнецову дали один из новоприбывших "И-16", и под руководством Лунина он произвел несколько пробных полетов. Летал он сначала неуверенно, чувствовалось отсутствие навыка и тренировки, но Лунин опытным взором инструктора, обучившего за свою жизнь сотни летчиков, сразу подметил и оценил его находчивость, понятливость, упорство и отвагу.

Дней через десять Проскуряков спросил у Лунина:

- Будет из него толк?

- Толк будет, - сказал Лунин.

- Смотрите, гвардии майор; как бы он вас не подвел, - сказал Ермаков. - Ведь ему защищать ваш хвост.

- Не подведет, - ответил Лунин.

И через день взял Кузнецова с собой на боевое задание.

В первых же стычках с "Мессершмиттами" над озером Кузнецов показал себя дисциплинированным, смелым, разумным бойцом. На него действительно можно было положиться: он не вырывался вперед и не отставал, не покидал Лунина в опасности и всё свое внимание направлял на то, чтобы охранять его самолет сзади.

В полку и в эскадрилье к Кузнецову скоро привыкли, однако довольно долго был он окружен некоторым холодком. В столовой Хильда обслуживала его равнодушно, не глядя на него, и явно не считала его своим. В холодке этом был виноват прежде всего он сам, - он со всеми держал себя суховато. Видом своим он словно говорил:

"Я знаю, что вы обо мне дурно думаете, но мне это всё равно. Я делаю свое дело и вашим мнением не интересуюсь".

Лунин относился к нему, пожалуй, лучше всех. Он чувствовал к нему симпатию и, безошибочно знал, что Кузнецов втайне относится к нему с уважением и благодарностью. Но холодок оставался и между ними. И главная причина этого заключалась, вероятно, в том, что Лунин, не отдавая себе отчета, в глубине души не мог простить Кузнецову, что тот, став его ведомым, занял место Серова. Лунин слишком любил Серова, чтобы позволить себе относиться к своему новому ведомому так же, как к прежнему.

Всё это произошло в мае, а в июне Проскуряков был вызван в штаб ВВС и вернулся оттуда радостно озабоченный. Он привез замечательный приказ: одной из эскадрилий полка вместе со всем хозяйством явиться на аэродром, расположенный далеко в тылу, чтобы принять там новых летчиков и получить новые самолеты.

- Вот теперь мы наконец посмотрим, что за новые самолеты! - говорил Ермаков. - Хоть одна эскадрилья будет у нас полностью укомплектована.

Командование полка само должно было решить, какую из трех эскадрилий отправить на переформирование. Проскуряков и Ермаков решили отправить вторую. Многое заставляло их принять такое решение: и уважение к памяти Рассохина, и то, что из трех командиров эскадрилий Лунин был самый опытный летчик, и то, что как ни мало осталось летчиков и самолетов в первой и третьей эскадрильях, во второй их осталось еще меньше. И Лунин стал готовить свою эскадрилью к отъезду.

Ему пришлось наконец расстаться со своим самолетом, который он получил в августе прошлого года и на котором до него летал Никритин. Он отдал его в первую эскадрилью, где был летчик, потерявший самолет. Кузнецов отдал свой самолет в третью.

Ехать должны были железной дорогой, эшелоном со станции Волховстрой. Перед отъездом на командный пункт полка позвонили из штаба дивизии и сообщили, что восемь молодых летчиков, предназначенных для укомплектования второй эскадрильи, уже находятся на тыловом аэродроме и ждут. Так как

эшелон мог добраться туда только через несколько дней, Ермаков решил немедленно вылететь к ним на "У-2", чтобы устроить их, разместить, принять, не оставить без надзора и, главное, посмотреть, что это за народ. Вместе с ним вылетел и инженер полка, так как все были уверены, что вслед за летчиками прибудут и самолеты.

Лунин выехал на станцию Волховстрой вместе с Кузнецовым, со всеми своими техниками и мотористами, со Славой и Хильдой, которую на этот раз не пришлось похищать, - все уже настолько привыкли видеть в ней нечто вроде собственности второй эскадрильи, что никто не пытался ее задерживать. Лунин не был на Волховстрое с августа прошлого года и был поражен тем, как тут всё изменилось. Деревянные домики, заборы, сараи, столбы были повалены взрывами, деревья поднимали к небу обгорелые, мертвые сучья. Машины беспрестанно сворачивали то вправо, то влево, объезжая огромные воронки старые, доверху полные воды и лягушечьей икры, и новые, вырытые в рыжей глине, еще совсем сухие. От вокзала и всех привокзальных построек остались только груды битых кирпичей.

Немецкая авиация бомбила Волховстрой уже почти год, стремясь разрушить плотину Волховской гидростанции и, главное, железнодорожный мост через Волхов, по которому шли к перевалочным базам на Ладоге составы с грузами, предназначенными для Ленинграда. Немецкая авиация бомбила Волховстрой почти ежедневно, перепахала кругом чуть ли не каждый метр земли, а плотина и мост до сих пор стояли нетронутые. Это казалось почти непостижимым, однако это было так. И чудилось, что эти громадные прекрасные сооружения своей неуязвимостью издеваются над бессильной злобой врага.

Здесь на станции Волховстрой, на широко раскинувшихся железнодорожных путях, Лунин впервые в жизни подвергся бомбежке и впервые с земли наблюдал за воздушным боем. Он десятки раз видел, как от "Юнкерсов" отделяются бомбы, но никогда прежде не приходилось ему самому находиться под этими бомбами. Когда из реденьких, пронизанных солнцем туч над Волховстроем вывалились черные, противно гудящие птицы и из них с какой-то омерзительной неторопливостью посыпались бомбы, Лунин растерялся. Очень уж непривычным для него было ощущение полной своей беспомощности, - он был безоружен, он ничего не мог сделать, ему оставалось только смотреть. Когда бомбы стали рваться по зеленым склонам берегов, возле железнодорожного моста, метрах в двухстах от того места, где они стояли, он побежал за Славой, как наседка за цыпленком, схватил за руку и не отпускал от себя, словно мог уберечь его

тем, что до синевы сжимал его руку.

Не без смущения он вспоминал впоследствии, с каким спокойствием отнеслись к бомбежке работавшие вокруг него железнодорожники. Рвались бомбы, оглушительно трещали зенитки, а маленький маневровый паровозик по-прежнему развозил вагоны по путям, заливаясь пронзительным свистov возле стрелок; дежурный, похаживая, махал машинисту флажком; смазчики заглядывали под колёса, проверяя буксы. Едва бомбы перестали рваться и "Юнкерсы" скрылись в тучах, как к мосту помчалась дрезина с ремонтными рабочими, чтобы немедленно заменить погнутый взрывом рельс. Туда же побежали и санитары в белых халатах, с пустыми носилками, тяжело стуча большими кирзовыми сапогами. Значит, были и раненые.

"Юнкерсы" опять мелькнули в облаках. Они, видимо, собирались пойти на второй заход, но тут им наперерез помчались советские истребители. Двое ведущий и ведомый. Заметив их, "Юнкерсы" мгновенно переменили курс и вновь ушли в облака. А навстречу советским истребителям двинулись два "Мессершмитта", чтобы прикрыть отход своих бомбардировщиков.

И начался бой - неистовый, стремительный. Положения всех четырех самолетов менялись каждые две-три секунды. Треск коротких очередей, похожий с земли на кваканье лягушек, пение моторов на немыслимо крутых виражах. Сколько раз Лунину приходилось самому участвовать в подобных стычках с "Мессершмиттами"! Там, в небе, он обычно даже не испытывал волнения, мгновенно ориентировался, всегда понимая, что нужно делать. Но, следя за боем с земли, он мучительно волновался, именно потому, что не принимал в нем участия. Он словно впервые понял, как страшен в действительности воздушный бой. "Мессершмитты" шли в атаку на советских летчиков, а он ничем не мог им помочь!.. Эх, если бы он находился в воздухе!.. И когда все четыре самолета, сражаясь, скрылись наконец за вершинами леса, он почувствовал себя таким утомленным, что не мог стоять, и сел на траву.

- Как долго они здесь кружились!.. - сказал он, сняв фуражку и вытирая лоб платком.

- Немного меньше трех минут, - сказал Кузнецов. - Я следил по часам.

...До тылового аэродрома было каких-нибудь триста километров, но добирались они до него трое суток. Дни стояли жаркие, крыши товарных вагонов накалялись. Сквозь раскрытую дверь Лунин видел с детства знакомый северный лес. Цвела земляника, повсюду были рассыпаны белые звездочки ее цветов. Нагретые почти незаходящим солнцем бугры, заросшие жесткой

брусникой и вереском, дышали жаром. Сыростью и холодом веяло с болота, где под осинами стояла черная, торфяная вода.

На станции их, встретил Ермаков с грузовой машиной, чтобы ехать на аэродром. Техники и мотористы набились в кузов, а Лунин и Ермаков уселись в кабине "ЗИСа" рядом с водителем.

- Ну как? - спросил Лунин.

- Самолеты еще не прибыли, - ответил Ермаков.

- А что слышно?

- И не слышно ничего.

- А как они?..

Ермаков повернулся, взглянул на Лунина и понял, что Лунин спрашивает о новых летчиках.

- Детский сад, - сказал Ермаков.

2.

И действительно, в новых летчиках эскадрильи прежде всего поражала крайняя их молодость.

Лунин привык к тому, что он постоянно окружен людьми, которые гораздо моложе его. Он был старше всех не только в полку, но и в дивизии. В этом отчасти сказывалась и молодость всей авиации, - летающий человек, переваливший за сорок лет, казался каким-то обломком минувших столетий, помнящим доисторические времена. Лунин привык быть окруженным молодежью, и всё-таки новоприбывшие летчики в первую минуту поразили его. Долговязые школьники. Ребята, ну просто ребята!

Ермаков, Лунин и Кузнецов, подходя к зданию сельской школы, в которой были поселены новые летчики, еще издали услышали звуки далеких и тяжелых ударов, вырывавшиеся из открытых окон. Подойдя ближе и заглянув в окно, они увидели странно скачущие фигуры. Там играли в чехарду.

Когда они поднялись на крыльцо, игра мгновенно прекратилась. Застигнутые врасплох, игроки перепугались. Кто-то срывающимся от испуга голосом крикнул: "Смирно!" - и крупный, неуклюжий парень, грузно стуча сапогами, выскочил им навстречу. Споткнувшись на пороге и с трудом удержав равновесие, он вытянулся перед Ермаковым и заговорил, спеша и отчаянно сбиваясь:

- Товарищ комиссар полка... дежурный по кубрику гвардии сержант Остросаблин... Во время дежурства., никаких происшествий...

Пот тек по его широкому красному лицу, и видно было, что он сам только что играл в чехарду.

Остросаблин... Что-то хорошо знакомое было в его говоре, в походке, даже в крепких кривоватых ногах. "Казак! - вдруг понял Лунин, долго живший в казачьих краях и немало перевидавший

казаков. - Да еще какой казак! На коне был бы хорош, а будет ли хорош на самолете..."

Они вошли в класс, уставленный койками.

- Вольно, - сказал Ермаков.

И Лунин впервые увидел своих новых товарищей.

Он не сразу разобрался во всех этих лицах, раскрасневшихся от игры и испуганных внезапным появлением начальства.

Одно лицо, сразу же замеченное им, поразило его своей яркостью - очень черные кудрявые волосы, очень черные брови, смуглые от загара щёки, очень красные пухлые губы и очень белые крупные зубы. "Неужто цыган?" - подумал Лунин. Глаза тоже цыганские, черные, с голубоватыми белками, внимательные, спокойные, веселые глаза. Уверен в себе и нелегко расстанется с этой уверенностью...

Зато стоявший рядом с ним мальчик, круглолицый, веснушчатый и курносый, был полон детской робости и застенчивости. "Ну, уж этот, конечно, ни разу еще не брился", - решил Лунин.

Ермаков представил им Лунина, и все глаза повернулись в его сторону. Вот он наконец, их командир, которого они столько ждали и о котором уже немало слышали. Они с уважением разглядывали его. Впрочем, в некоторых взглядах подметил Лунин и удивление: вероятно, они представляли его совсем другим.

Ермаков вышел, чтобы дать им возможность лучше познакомиться. Лунин сел на стул и предложил всем сесть. Они расселись по койкам; за их ногами, под койками, стояли их запыленные сундучки и чемоданчики. Все они были сержанты: их подготовили ускоренно, за шесть месяцев, и выпустили сержантами, а не младшими лейтенантами, как выпускали летчиков, учившихся до войны.

Лунин, зараженный общим смущением, обратился к веснушчатому, круглолицему, которого считал самым молодым:

- Как ваша фамилия? Тот вскочил.

- Рябушкин.

"Ну дитя, совсем дитя!.."

- Сколько же вам лет?

Если бы Рябушкин ответил, что ему семнадцать, Лунин не удивился бы. Но оказалось, что Лунин ошибся.

- С четвертого мая двадцать первый пошел, - сказал Рябушкин, задохнувшись.

Он побледнел от волнения, и веснушки на его лице стали еще заметнее. Вероятно, это был для него весьма болезненный вопрос. Он, видимо, претерпел уже немало мук от того, что все считали

его моложе, чем он был на самом деле.

Оказалось, что в эскадрилье есть летчики и моложе Рябушкина. Например, похожему на цыгана было всего девятнадцать. И вовсе он был не цыган, а уроженец одного из шахтерских городков на Донбассе. Звали его Илья Татаренко. Он объяснил Лунину, что до войны работал в шахте навалоотбойщиком, хотя всегда мечтал стать летчиком. Чуть началась война, он отправился в лётное училище, и его приняли. Отец его и два старших брата работали в шахте.

- В нашем роду никто по земле ходить не хочет, - сказал он, улыбнувшись и блеснув яркой белизной зубов. - Мы либо под землю, либо в небо.

Чем больше Лунин смотрел на него, тем больше он ему нравился. Высокий, крепкий, красивый. Вот уже действительно ладно скроен. Только будет с ним, пожалуй, трудновато. "Характерный, - думал, глядя на него, Лунин. - Слишком самоуверенный".

После Татаренко внимание Лунина привлек тоненький белокурый молодой человек с небольшими бачками и золотым обручальным кольцом на пальце. Видно было, что он неравнодушен к своей внешности. Имя у него было звучное Вадим, фамилия - Лазаревич, и поглядывал он вокруг себя с какой-то небрежной томностью. И эта томность и бачки Лунину поначалу не понравились, до тех пор пока Лазаревич не улыбнулся. Но когда он улыбнулся, всё лицо его преобразилось и оказалось простодушным, доверчивым и очень славным.

Он был уроженец маленького южного городка, на главной улице которого считались модными и такие бачки и такая томность. Он охотно показал Лунину фотографию своей жены - извлек из элегантного бумажника с застежкой "молния". На фотографии изображена была полная девушка с черными завитыми волосами.

- До войны она работала в кондитерской, - веско сказал Лазаревич, видимо считая, что это очень изысканная работа.

Мало-помалу Лунину удалось заставить их разговориться.

- Товарищ гвардии майор, разрешите узнать, - спросил Татаренко, скоро мы получим самолеты.

Все лица оживились, все глаза устремились на Лунина. Очевидно, вопрос этот занимал их всех до крайности. Им надоело ждать и терпеть. Война продолжается уже второй год, а они ее до сих пор даже не видели. Им так хотелось иметь самолеты, летать, сражаться...

- Скоро, - ответил Лунин, хотя знал об этом не больше их.

Впрочем, он не стал притворяться, что знает больше. Они

принялись гадать, что это будут за самолеты, и он гадал вместе с ними. Оказалось, что о новых советских истребителях они могут рассказать даже больше, чем он. Там, где они учились, недавно появилось несколько самолетов самой последней конструкции - самолет, созданный Яковлевым, и самолет, созданный Лавочкиным.

Некоторые из них - например, Татаренко да еще Костин, длинный толстогубый малый, - успели даже сделать на новых самолетах по два-три вылета.

Блестя глазами, они наперебой рассказывали. Новые самолеты устойчивы, легко управляемы, поворотливы. Вооружение сильное, но главное - быстрота! Они сыпали техническими терминами, стараясь показать, что они настоящие авиационные люди. И по их увлеченным лицам Лунин видел, что они все пошли в авиацию по страстной любви к ней, как и сам он когда-то.

Со следующего дня он стал вести с ними занятия. Самолетов не было, и потому они могли заниматься только теорией. Они не слишком много знали, но всё же оказались подготовленными лучше, чем он ожидал.

Костин, например - тот, губастый, - даже удивил его своими познаниями. Он отлично знал математику и физику; крупный, довольно нескладный, он стоял перед Луниным и, отвечая на его вопросы, объяснял густым басом, как отрываются вихри воздуха от плоскостей летящего самолета, и приводил наизусть одну сложнейшую формулу за другой. Размышляя вслух, он упорно смотрел в пол или в стену, как будто там начерчены были цифры. Его интересовало всё, что относилось к авиации; видно было, что учился он основательно и серьезно. Когда он отвечал Лунину, остальные внимательно слушали его, и Лунин старался задавать ему такие вопросы, которые были бы поучительны для всех.

В ожидании самолетов Лунин постарался по мере возможности загрузить их занятиями, ученьем, понимая, что ничего не может быть для них тягостнее и вреднее, чем безделье. Теорией полетов занимался он с ними сам, один из техников разбирал с ними мотор, а один из оружейников - пулемет; политзанятия вел то Ермаков, то парторг эскадрильи техник Деев. Перед ужином они каждый день ходили за деревню на выгон, где стреляли из пулеметов и бросали ручные гранаты.

3.

Это было тревожное время. Каждые два-три дня приходила какая-нибудь новая тяжелая весть. Третьего июля стало известно, что наши войска оставили Севастополь. Восьмого июля оставили Старый Оскол. Двенадцатого июля Кантемировку и Лисичанск.

Пятнадцатого июля - Богучар и Миллерово, девятнадцатого - последний областной центр Украины - Ворошиловград.

Северные и центральные фронты были неподвижны. Но там, на юге, в двух тысячах километров от той вологодской деревушки, где они находились, немцы шли вперед и вперед, и было неясно, когда и где их остановят.

Летчики, с которыми Лунин начал войну - Рассохин, Серов, Кабанков, Чепелкин, - были уроженцы северных областей России. Но случайно получилось так, что новые летчики эскадрильи сплошь оказались южанами. Лётная школа, которую они все окончили, комплектовалась на юге, и все они были уроженцы Донбасса, Ростовской области, Кубани; один только Рябушкин был родом откуда-то из-под Саратова. И все эти места, о которых ежедневно сообщало радио, были хорошо им знакомы.

Они мучительно тревожились за своих родных. Уезжая, они оставили их далеко в тылу, а теперь там был фронт, там наступал враг. И надо же было случиться так, что как раз в эти дни они бессмысленно сидели где-то в глуши- и ждали самолетов, вместо того чтобы летать и драться! Каждое утро, когда Лунин входил к ним в кубрик, его прежде всего спрашивали, не слышно ли чего-нибудь нового о самолетах.

Но о самолетах ничего не было слышно.

Один только Слава в это тревожное время был весел и, видимо, чувствовал себя вполне счастливым. Стояли прекрасные теплые летние дни, небо голубело, травы поднялись в полный рост. Перед отъездом на тыловой аэродром Слава был отчислен от вещевого склада и перечислен в распоряжение командира второй эскадрильи. Бомбежка в Волховстрое его ничуть не испугала, и длинное путешествие сначала в поезде, потом на автомобиле было для него беспрерывной цепью развлечений. А на новом аэродроме ожидало его полнейшее раздолье. Здесь не было даже сержанта Зины, чтобы на него покрикивать. Поселился он в одной избе с Луниным, но весь день был предоставлен самому себе. Он сразу же сошелся с деревенскими мальчишками, несмотря на то что глядел на них свысока, как человек фронтовой да к тому же еще обладающий настоящей бескозыркой и настоящими флотскими брюками. Он наслаждался уважением этих мальчишек, разговаривал с ними особым, мужественным голосом и громко командовал ими, бродя с ними по лесу, катаясь на плоту по глубокой тихой реке, протекавшей возле деревни, купаясь по многу часов, до синевы, до дрожи.

Двенадцатилетнему мальчику год кажется длиннее, чем взрослому десятилетие. Довоенное время, когда он жил в городе с папой и мамой, с дедушкой и Соней, представлялось теперь Славе

безмерно далеким. Целая жизнь прошла с тех пор. Голодная зима в Ленинграде, поле, где немецкие снаряды помогали ему выкапывать картошку из промерзлой земли, смерть дедушки - всё это тоже отошло уже вдаль. Он ничего не забыл, но, как все дети, он всегда был слишком поглощен настоящим, чтобы отдаваться воспоминаниям.

Ему казалось, что он знаком с полком, с эскадрильей, с Луниным уже бесконечно давно. Жизнь полка он знал если не лучше, чем сам Проскуряков, то, во всяком случае, подробнее. Он знал всех в полку, знал характер каждого, знал, кто получает письма и кто не получает, знал их шутки и любимые поговорки. И все его знали. Он был частью полка и чувствовал себя в жизни устойчиво и прочно, так как был уверен, что в любую минуту каждый человек в полку и весь полк в целом готов встать на его защиту.

Новые летчики сразу обратили на него внимание. Сначала они решили, что он сын Лунина. Но им объяснили, что это воспитанник эскадрильи, спасенный от голода ленинградский мальчик. Они прониклись к нему симпатией и стремлением ему покровительствовать.

Новые летчики с самого начала проявляли жадное любопытство к прошлому своего полка и своей эскадрильи. Они гордились тем, что из училища их направили в знаменитую гвардейскую часть.

Минувшей зимой в центральной печати появлялись заметки о подвигах Рассохина, Лунина, Кабанкова, Чепелкина, и они, не пропускавшие в газетах ничего, что имело отношение к авиации, к летчикам, запомнили эти имена. Они гордились тем, что их командиром стал Лунин - "тот самый, известный Лунин", хотя внешность Лунина не вполне соответствовала их представлению о внешности, подобающей герою. Особенно возрос их интерес к своей эскадрилье, когда Ермаков дал им посмотреть полный комплект "боевых листков", выпущенных Кабанковым.

После исчезновения Кабанкова комиссар собрал все его "боевые листки" и бережно хранил их. Он придавал им очень большое значение и всё-таки не ожидал, что эти раскрашенные цветными карандашами листы бумаги произведут на новых летчиков такое громадное впечатление. Они разложили их по койкам и читали, разглядывали, обсуждали без конца. Они никогда не уставали перебирать их. Кабанков при всей примитивности своей рисовальной техники легко схватывал сходство и с замечательной точностью передавал всякое действие. Из этих листков перед ними возникали образы Серова, Рассохина, Чепелкина, Байсеитова, Никритина и тех, кто дрался и погиб еще

раньше, в Эстонии. Перед ними вставали армады "Юнкерсов", идущие бомбить осажденный город, вставали бесчисленные воздушные битвы, и они заучивали наизусть печальные и грозные строки поэмы "Месть". Чем больше они узнавали, тем больше им хотелось знать. Техник Деев, парторг эскадрильи, был прежде техником самолета Кабанкова; он хранил в своем сундучке все номера дивизионной газеты "Крылья Балтики", в которых находились статьи Кабанкова или рассказывалось о Кабанкове. Все эти номера извлечены были теперь из сундучка, передавались из рук в руки и читались, читались...

Нашлись у Деева и фотографии летчиков, служивших во второй эскадрилье с начала войны. Всеми этими фотографиями завладел Миша Карякин - маленький, вихрастый летчик с раскосыми веселыми глазами; он наклеил их на огромный лист картона под изображением гвардейского знамени, вырезанным из красной бумаги. Под каждой фотографией летчик Коля Хаметов каллиграфическим почерком подписал звание, имя, отчество, фамилию каждого и сколько он сбил самолетов. Этот лист картона повесили в кубрике, и новые летчики внимательно разглядывали его, пристально всматриваясь в лица.

Им хотелось быть похожими на них - не на всех сразу, а одному на одного, другому на другого. Миша Карякин, например, находил в себе сходство с Кабанковым. Правда, сходство это, кажется, заключалось в одном только росте: Карякин, как в свое время Кабанков, был ростом меньше всех в эскадрилье. Карякин не умел рисовать, писать стихи, играть на аккордеоне, как Кабанков. Но зато он умел и любил пошутить, посмешить, а Кабанков, вероятно, тоже был шутник и весельчак, - ведь вот какие смешные у него карикатуры! Кроме того, Миша Карякин был певец, знал множество песен и романсов, и в этом у него было даже преимущество перед Кабанковым.

Остальные тоже отдавали должное Кабанкову, но всё-таки не он был их идеалом. Рассохин - вот кто поразил воображение Ильи Татаренко. Вот это был командир! Вот это был летчик!

Впрочем, не один только Татаренко мечтал стать таким, как Рассохин. Костин тоже. Прочитав в старом номере дивизионной газеты заметку о том, как командир подразделения Рассохин рассеял восемьдесят вражеских самолетов, шедших бомбить флот, Костин сказал:

- Тактика - это наука. Воздушный бой нужно строить на научных основах.

Летчик Кузнецов, услышав эти слова, усмехнулся. Костин заметил его усмешку и обернулся к нему.

- Я знаю, отчего вы усмехаетесь, Кузнецов, - заговорил он

сквозь толстые губы, нисколько, впрочем, не обиженно. - Вы думаете про меня: вот он рассуждает о тактике боя, а неизвестно еще, как он будет вести себя под огнем. Ведь так? Вы это подумали?

Кузнецов промолчал.

- Ну что ж, вы вправе были так подумать, я еще под огнем ни разу не был, - продолжал Костин рассудительно. - Но, совершенно независимо от того, как я лично буду себя вести, мысль моя верна. Воздушный бой нужно строить на научных основах.

- Значит, по-твоему, Рассохин строил свои бои на научных основах? спросил Татаренко.

- Безусловно! - ответил Костин с убеждением.

- Ну нет, - сказал Татаренко, - я думаю, у него были совсем другие основы.

- Какие же?

- Не знаю, как и назвать, - произнес Татаренко, задумавшись. - Скорее всего, вдохновение.

Смуглое лицо его порозовело, когда он выговорил это слово. Он посмотрел на Кузнецова - не усмехнулся ли тот. Но Кузнецов на этот раз уже ничем не выдал своих мыслей. С новыми летчиками он был так же замкнут и неразговорчив, как и со всеми в полку. Они объясняли это тем, что он, как человек, побывавший в боях, смотрит на них, необстрелянных новичков, свысока.

В лётной столовой они все, конечно, обратили внимание на Хильду. В этом не было ничего удивительного: она попрежнему была хороша, как кукла, ее бело-розовое личико попрежнему сияло среди пара, клубящегося над тарелками. Но к их вниманию примешивалось и сознание того, что ведь она "та самая Хильда". Кабанков не раз рисовал ее в своих "боевых листках", ее можно было узнать, например, на том смешном рисунке, где изображалось, как Чепелкин сражается с крысой. Она знала их всех, этих почти сказочных летчиков эскадрильи, она видела их своими глазами и каждый день трижды кормила. И для новых летчиков она была не просто очень молоденькая и очень хорошенькая девушка, но еще и нечто вроде священной реликвии.

Даже Слава и тот казался им реликвией, - всё-таки старожил эскадрильи, хоть и не такой древний, как Хильда. Он и сам это отлично понимал и чувствовал свое превосходство над ними, новичками. В действительности не они ему покровительствовали, а он им. Как старожил, он дал им немало дельных советов, по вопросам, связанным с получением обмундирования, легкого табака, дополнительных пайков. Кроме того, он был близко знаком с командиром эскадрильи и даже с комиссаром полка, и новые летчики не без робости слушали его, когда он толковал им,

что может понравиться Лунину и что может ему не понравиться. Слава порой и сам начинал разговаривать с ними таким тоном, будто он был их начальник. Впрочем, по большей части отношения между ними были самые простые, приятельские.

Татаренко обычно подзывал его криком:

- Эй, Славка, давай повозимся!

Он хватал бегущего ему навстречу хохочущего Славу и поднимал высоко над своей черной кудрявой головой. Он заставлял Славу становиться на плечи, на голову, вертел, кувыркал, переворачивал в вышине. Потом обрушивал его сверху, подхватывал над самой землей и начинал кружить его колесом между своими длинными расставленными ногами. Иногда в этой возне принимал участие еще кто-нибудь - чаще всего Карякин и Остросаблин. И возня становилась совершенно неистовой: они бросали Славу друг к другу, как мяч, вырывали его друг у друга, прыгали друг через друга со Славой в руках. Слава порой сопротивлялся, пытался вырваться, но не мог, потому что хохотал и совсем ослабевал от хохота.

Возня прекращалась, когда все участники доходили до полного изнеможения.

Они присаживались отдохнуть и, отдышавшись, начинали расспрашивать Славу.

Слава тоже никогда не видел ни Рассохина, ни Кабанкова, ни Чепелкина, ни Байсеитова. Он знал только могилу Рассохина на вершине бугра. И всё же он попал в эскадрилью, когда память о них всех была еще совсем свежа, когда о них говорили как о людях, которых только что, совсем недавно, видели. И, кроме того, он сам, своими глазами, много раз видел Колю Серова.

Он видел, как Лунин и Серов вели бой с "Мессершмиттами", напавшими на аэродром. Вместе с доктором Громеко он ходил в лес к "Мессершмитту", сбитому Серовым. Об этом он рассказывал много раз, всё с новыми подробностями, и они никогда не уставали его слушать. Это делало Славу сопричастным подвигам летчиков, давало ему право небрежно говорить: "Мы, рассохинцы".

Как раз у Славы и научились они этому выражению - "рассохинцы". И стали называть свою эскадрилью рассохинской, а себя рассохинцами.

Лунин был несколько даже удивлен, заметив, как гордятся они своей эскадрильей и с каким волнением произносят имена погибших летчиков, своих предшественников. В этом удивлении была, конечно, прежде всего радость, гордость, но была и грусть. Грустно, что никто из тех, погибших, не увидел своей славы. Была и ревность. Рассохинцы? Вот эти мальчики, которые еще ничего

не совершили? А будут ли они достойны этого имени?

В середине июля Ермаков как-то вечером зашел в избу к Лунину и, весело подмигнув, сказал:

- А ну, гвардии майор, ответьте, сколько английских ярдов в тысяче метров?

- Представления не имею. А зачем вам? - удивился Лунин.

- Сколько футов в тысяче метров? Сколько метров в миле?

- Никогда не знал.

- Придется узнать и других научить. Приказ есть.

- Приказ?

- Получен приказ вашей эскадрилье немедленно изучить английские меры длины. Как вы думаете, для чего?

Лунин стал в тупик. И вдруг догадка блеснула у него в глазах.

- Вот, вот! Вы угадали, - сказал Ермаков. - Вы будете летать на английских самолетах.

- На английских?

- На "Харрикейнах". Видели такие?

- Нет.

- Их никто здесь не видел. Но все читали в сообщениях из Англии: сегодня над Лондоном "Харрикейны" сбили два немецких бомбардировщика. Вот такие самые... Что? Вы, кажется, недовольны? Не тревожьтесь, Константин Игнатьич, нам плохого не пришлют.

4.

Девятнадцатого июля наши войска оставили Ворошиловград, а двадцать седьмого июля - Новочеркасск и Ростов-на-Дону.

Однако об этом летчики не говорили. Они словно все условились: о том, что происходит на фронтах, сейчас не упоминать. Но как бы тень легла на их лица от этих тревожных и страшных событий.

Один только маленький вихрастый Миша Карякин балагурил и пел наперекор судьбе. В его постоянной веселости был вызов. Просыпаясь, он хитро щурил свои по-монгольски прорезанные глазки и запевал:

К "ишаку" подходит техник,
Нежно смотрит на него,
Покачает элероном
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он качает...

- Ты это оставь, Карякин, - говорил Татаренко. - Про "ишаков" забыть пора.

- Ну, это мы еще посмотрим, - отвечал Карякин. - Как бы не пришлось их вспомнить. Когда увидим, что пора, тогда и забудем.

Они все уже слышали, что будут летать на английских самолетах, но не знали, как отнестись к этому известию. Оно несколько сбило их с толку. Они ждали новых советских самолетов, достоинства которых уже проверены и несомненны. И вдруг... А впрочем, кто их знает... может, английские еще лучше, ведь англичане - изобретательный народ...

- "Харрикейн" по-английски значит "ураган", - объяснил Костин.

Оказалось, что Костин знает английский язык.

- Плохо знаю, - говорил он, словно стесняясь, - но в английской технической литературе кое-как разбираюсь.

О "Харрикейнах" он, конечно, знал больше всех, - вернее, только он один хоть что-нибудь знал о них. Полгода назад он прочел о них статейку в английском авиационном журнале "Эвиэшн" и запомнил некоторые цифры. В статейке "Харрикейны" очень хвалили. А из цифр важнее всех, конечно, были те, в которых выражалась скорость полета.

- Здорово! - сказал Татаренко, когда услышал от Костина,

сколько километров в час делает "Харрикейн". - В полтора раза быстрее, чем "И-16"! Тут только одно удивительно - как это немцы отваживаются совершать налеты на Лондон...

Из этой же статейки Костин узнал, что истребители типа "Харрикейн" снабжены моторами "Мерлин-XX", изготовленными знаменитой фирмой Роллс-Ройс.

- Чем же знаменита эта фирма? - спросил Карякин.

- До войны она была знаменита тем, что изготовляла шикарно отделанные автомобили, - ответил Костин. - В рекламах о них писалось так: "Роллс-Ройс" - самый дорогой и самый неэкономичный автомобиль в мире".

Эта реклама поразила всех. Татаренко не поверил Костину.

- Какой же смысл в такой рекламе? - спросил он.

- Смысл - в шике, - объяснил Костин. - Автомобиль "Роллс-Ройс" предназначен для богачей и должен служить свидетельством богатства. Дьявольски шикарно иметь самый дорогой и самый неэкономичный автомобиль в мире.

- А самолет у них тоже самый дорогой и самый неэкономичный? - спросил Карякин. Костин нахмурился.

- Не знаю, - ответил он сухо.

Он не любил непроверенных и недостаточно обоснованных суждений.

Они упорно учились переводить футы в метры и метры в футы, потому что приборы на "Харрикейнах" показывали скорость и высоту в английских мерах. Они добились того, что переводили футы в метры совершенно механически, мгновенно. Тем временем на аэродром прибыла радиоаппаратура для новых самолетов. К их удивлению, вся она оказалась советской, изготовленной на советских заводах. Значит, англичане продали нам свои истребители без радиоаппаратуры.

Теперь уже, казалось бы, "Харрикейны" должны были вот-вот прибыть. Но один за другим проходили знойные июльские дни, а "Харрикейнов" всё не было. Их уже надоело ждать, о них уже не хотелось говорить, в них уже перестали верить.

И вдруг с железнодорожной станции позвонили на аэродром, что самолеты прибыли.

На станцию за ними выехали Ермаков, Лунин и инженер полка в сопровождении техников и всех грузовых машин автороты батальона аэродромного обслуживания. Дорога была длинная, лесная, машины подскакивали на корнях; в болотистых местах настланы были гати, и трясло так, что зубы лязгали во рту. И всё же машины, подпрыгивая и гремя, мчались на предельной скорости, - так всем не терпелось повидать новые самолеты.

Но и на станции повидать самолеты не удалось, так как оказалось, что все они упакованы в большие деревянные ящики. Десять ящиков почти кубической формы лежали вдоль железнодорожной ветки. На их белых стенках чернели аккуратные надписи, из которых прежде всего бросался в глаза адрес: "Port Murmansk". Их везли из Англии северным путем, вокруг Нордкапа, через Баренцево море.

Добротный вид этих ящиков на всех произвел впечатление.

Ермаков похлопал по одному из них ладонью и сказал:

- Отличная упаковка!

Инженеру полка тоже, видимо, понравились ящики. Однако он проговорил:

- А доски-то из нашего леса. Лес они у нас получают.

Распаковывать самолеты на станции было бы, конечно, бессмысленно. Их нужно было так, в ящиках, и доставлять на аэродром. Дело это оказалось трудным, сложным и заняло много времени. Пришлось прибегнуть к помощи тягачей и громоздких, построенных плотниками сооружений, напоминавших сани. Первый ящик с самолетом на аэродром прибыл в темноте, при звездах. Решили раскрыть его, когда рассветет.

В эту ночь никто не ложился. Когда солнце показалось на востоке, протянув через весь аэродром длинные тени сосен, плотник аэродромного батальона влез на один из ящиков и принялся осторожно отваливать топором переднюю стенку. Визгнули гвозди, стенка упала. В темной глубине ящика блеснули стёкла самолета. И, подталкиваемый руками техников, первый "Харрикейн" выполз на свет, оставляя темный след в поседелой от утренней росы траве.

Лунин, как и все, жадно глядел на него. Он по опыту знал, как важно первое впечатление от новой машины. Удачную конструкцию почти всегда можно узнать с первого взгляда - по изяществу и выразительности линий. Он вспомнил, как несколько лет назад он впервые увидел "И-16"; тогда "И-16" сразу же поразил его широкой бульдожьей мордой и короткими плоскостями. "У этого цепкая хватка, - подумал он тогда. - Это настоящая боевая машина". Так потом и оказалось.

А в "Харрикейне" не было ничего характерного. Все линии его показались Лунину вялыми и неопределенными. Он был сразу похож на все самолеты и не имел ничего своего, особенного. Однако Лунин не собирался составлять о нем суждение до испытания. "Посмотрим, посмотрим, - думал он. - "Ишак" устарел, у него скоростенка мала. Если у этого "Харрикейна" скорость действительно в полтора раза больше, чем у "ишака", ему любые недостатки можно простить..."

Инженер полка рассматривал мотор, а Лунин влез в кабину, потрогал ручку, осмотрел приборы. В кабине показалось ему тесновато и неудобно. Впрочем, вероятно, это дело привычки... Приборы тоже ему не понравились. Хороша только отделка, много стекла и блестящих металлических частей, а по существу всё это довольно примитивно. Он никак не ожидал найти в английском самолете такие приборы. Однако и с этими приборами можно летать. А вот вооружение... Вооружение на "Харрикейне" было явно слабее, чем на "И-16". Нет, с таким вооружением против "Мессершмитта" и сунуться нельзя...

- Вы на вооружение не смотрите, Константин Игнатьич, - сказал Ермаков, стоявший рядом с самолетом и внимательно следивший за лицом Лунина. - Мы получили предписание всё вооружение с "Харрикейнов" снять и заменить нашим, посильнее.

Лунин промолчал. Конечно, вооружение заменить необходимо. Однако это утяжелит самолет и сбавит скорость. Впрочем, если "Харрикейн" и вправду в полтора раза быстрее, чем "И-16", сбавить ему скорость процентов на десять не страшно, всё равно он перегонит "Мессершмитт"...

Чтобы не терять времени, к переоборудованию "Харрикейнов" приступили немедленно. Всем руководил инженер полка Федоров - "полковой Дон-Кихот". Так же как и Лунин, он пока не высказывал своего мнения о "Харрикейнах", Если его спрашивали, он отвечал:

- Всё выяснится в полете, в бою.

И он сам и его техники, оружейники, радисты приступили к работе энергично, с удовольствием. Руки их истосковались по делу, - у них так давно не было самолетов. Прежде всего они радиофицировали все десять "Харрикейнов". Теперь каждый летчик будет иметь двустороннюю связь с землей, и каждый будет слышать в полете своего командира. Замена вооружения на "Харрикейнах" оказалась делом более сложным, потому что вооружение самолета всегда тесно связано с его конструкцией, но и с этим справились в несколько дней.

Наступило утро, когда Лунин, как самый опытный из летчиков, должен был сесть на "Харрикейн" и взлететь.

В лётной школе, где он работал до войны, он всегда первым взлетал на каждом новом самолете и потому за себя не беспокоился нисколько. Но за самолет он волновался. Каким окажется "Харрикейн" в полете? Можно ли будет на нем воевать?

"Харрикейн" легко оторвался от земли и взлетел хорошо. Лунин взял ручку на себя, задрал нос самолета и, как говорят летчики, "свечой пошел вверх". "Харрикейн" поднимался не хуже, но и не лучше, чем "И-16". Гм, значит, вертикальный маневр у

него не лучше, чем у "И-16", а у "Мессершмитта" вертикальный маневр лучше. Следовательно, это преимущество за "Мессершмиттом" остается... На высоте двух тысяч метров Лунин выровнял самолет и ввел его в крутой вираж. Нет, вираж, пожалуй, не так крут, как вышел бы на "И-16". Желая себя проверить, Лунин делал круг за кругом; он старался поворачивать круто, чтобы диаметры этих кругов были как можно меньше. Сомнений быть не может: горизонтальный маневр у "И-16" лучше, чем у "Харрикейна". Это обидно. Лунин вспомнил, сколько раз они сбивали "Мессершмитты", используя огромные боевые возможности, заложенные в горизонтальном маневре. Впрочем, чем больше скорость, на которую способен самолет, тем, естественно, слабее его маневренность в горизонтальной плоскости. А преимущество в скорости важнее любых других достоинств.

Но прежде чем перейти к испытанию скорости "Харрикейна", Лунину захотелось проверить одно свое ощущение. Ему показалось, что "Харрикейн" хотя и слушается летчика, но выполняет всё то, что от него требуется, не так точно, как "И-16". Проверить это ощущение было довольно сложно, потому что неточность тут могла выражаться лишь в каких-нибудь долях секунды, в каких-нибудь ничтожных сантиметрах.

Он проделал над аэродромом несколько фигур высшего пилотажа. Потом вошел в пике и вышел из него. Потом опять мертвые петли, бочки... Самолет слушается, но неточность, безусловно, есть. Тут, вероятно, дело как раз в бесхарактерности, безличности конструкции. Незначительная неточность - доли секунды, сантиметры. Однако жизнь и смерть в воздушном бою зависят от долей секунды, от сантиметров.

Наконец Лунин приступил к испытанию скорости "Харрикейна" и пришел к самым неожиданным выводам.

Оказалось, что, вопреки всем ожиданиям, обычная скорость "Харрикейна" нисколько не больше скорости "ишака". И только с помощью особого приема так называемого "форсажа" - скорость его можно было увеличить незначительно, всего на несколько десятков километров в час. Этот "форсаж" мог, к тому же, продолжаться всего несколько минут и потреблял огромное количество горючего, что в результате приводило к резкому сокращению пребывания самолета в воздухе.

Нет, это слишком дорогая цена за две-три минуть! полета со слегка повышенной скоростью.

Теперь Лунину всё было ясно. Сделав круг над аэродромом, он пошел на посадку.

Для Лунина всё уже было ясно, однако для тех, кто наблюдал

за "Харрикейном" с земли, всё было неясно попрежнему. Целый каскад фигур высшего пилотажа, который Лунин проделал над аэродромом, представлял собой замечательное зрелище. Совершенно о том не заботясь, он невольно обнаружил перед зрителями весь блеск своего зрелого мастерства. Восхищенные, они не могли вообразить, что он проделывает все эти чудеса на самолете, которым он недоволен и которому не доверяет. Ермаков, улыбаясь, первым подбежал к самолету. Но улыбка сползла с его губ, когда он увидел хмурое лицо Лунина, выходившего из самолета.

- Ну как? - спросил он.

- Хуже, чем я опасался, - ответил Лунин.

Ермаков посмотрел на него с недоумением. Он не мог не верить Лунину и всё-таки, кажется, не совсем верил.

- Но воевать на них можно?

- Воевать на них нужно, - ответил Лунин, подумав. - Новых советских самолетов пока не хватает на всех, и кто-то должен воевать на этих. Нам не повезло, но воевать мы будем.

Ермаков был расстроен. Помолчав, он сказал:

- А вы всё-таки не очень разочаровывайте ваших ребят. Летчик должен верить в свою технику.

- Зачем же разочаровывать! - согласился Лунин. Однако подумал: "Да разве от них скроешь? Полетят и сами увидят".

5.

С этого дня начались полеты. Перед Луниным стояла задача - за две-три недели подготовить свою эскадрилью к боям, передать новым летчикам хотя бы основы того громадного тактического опыта, который накопился у советской авиации за первый год войны.

Летать, летать, летать - вот что им необходимо. Все приемы отработать до автоматизма, чтобы делать их механически. Времени оставалось в обрез, нельзя было терять ни часа. И все длинные летние дни, от утренней зари до вечерней, они взлетали, строились и перестраивались в воздухе, отрабатывали фигуры высшего пилотажа, проводили учебные бои, учились стрельбе, садились, опять взлетали.

С первого же полета Лунин определил, что Татаренко летает лучше остальных. Подготовка у него была такая же, как и у его товарищей, но он, казалось, обладал каким-то особым повышенным ощущением пространства, дававшим ему возможность удивительно точно направлять самолет и избавлявшим его от нерешительности и колебаний. Татаренко чувствовал себя в воздухе легко, ненапряженно, и нервные реакции его были так быстры, что ему всегда хватало времени на

обдумывание своих действий.

Он великолепно сознавал свои преимущества, и в этом, вероятно, заключался главный его недостаток. В воздухе он вел себя чересчур резко, делал излишние виражи и перевороты, старался выскочить вперед, удивить, привлечь к себе внимание. Лунин наказывал его тем, что ничему не удивлялся; он заставлял Татаренко проделывать все те упражнения, что и остальных, хотя тот явно считал их слишком элементарными и потому для себя ненужными. Татаренко выслушивал замечания Лунина добродушно и выполнял всё, что тот ему приказывал, без всякой обиды, но всем видом, казалось, говорил: "Ты отлично знаешь, что я летаю лучше всех, а заставляешь меня заниматься всякими пустяками только из разных там своих педагогических соображений. Ну и пускай, меня это ничуть не задевает, из уважения к тебе я выполню всё, что ты потребуешь, но мы с тобой оба понимаем, что мне всё это совершенно не нужно".

Лучше других летал и Костин. Всё, что он знал и всё, что он делал, он знал и делал основательно. Он был скромен, старателен, к указаниям Лунина относился серьезно и любил порассуждать над ними. В полете он тоже был склонен рассуждать над каждым своим движением, и это приводило его к медлительности. Ничто ему так не мешало летать, как склонность к рассуждениям. Он рассуждал там, где нужно было действовать инстинктивно, мгновенно. И, занимаясь с ним, Лунин больше всего усилий потратил на то, чтобы приучить его делать главнейшие из необходимых летчику движений автоматически, без раздумий.

Неплохо летал и Коля Хаметов, юноша из Краснодара, небольшого роста, с темными женственными глазами, с правильными, но мелкими чертами лица. У него был негромкий голос и красивый, аккуратный почерк, которым он два раза в неделю писал письма своим родителям в Краснодар. Папа и мама его были педагоги, преподавали в школе, и сын их до войны ни разу не разлучался с ними. С тех пор как пал Ростов и стало ясно, что немцы идут к Краснодару, хорошенькое смуглое личико Коли Хаметова бледнело от страха, когда он думал о папе и маме. Успеют они эвакуироваться или нет? Письма от них перестали приходить...

Но летал он бесстрашно, занимался любовно, старательно и Лунину нравился. В полетах его, правда, никогда не было ничего выдающегося, но всё, что ему поручали, он выполнял хорошо. Полет Коли Хаметова был похож на его почерк - ясный, ровный, аккуратный, и Лунин чувствовал, что из него выработается умелый летчик, на которого всегда можно будет положиться.

Карякин и Рябушкин в первых полетах не отличались особым уменьем, но когда эскадрилья приступила к стрельбе по конусу и вслед за тем к инсценированным "воздушным боям", они проявили незаурядную меткость, ловкость и находчивость.

В небе тянули длинный полотняный конус, и летчики поочередно атаковали его и обстреливали с разных дистанций. После каждого "нападения" в конусе подсчитывали пробоины. И оказалось, что Карякин лучше всех, лучше даже самого Татаренко, а вслед за Татаренко по числу попаданий идет Рябушкин. Но Карякин нисколько не гордился своими успехами. А когда ему случалось промахнуться, он охотно подсмеивался над собой.

- Попал в белый свет, - говорил он.

И называл себя:

- Мастер стрельбы в белый свет, как в копеечку.

Миша Карякин любил петь и нередко пел даже во время полета, вероятно, сам того не замечая. Но эту его привычку разоблачило радио. Сидя у себя на командном пункте, Лунин не раз слышал в репродуктор пение Миши, кружившегося над аэродромом на высоте трех тысяч метров.

Лунин и сам не сразу привык к радио и порой попадал из-за него впросак. Однажды он с Ермаковым наблюдал за учебным "воздушным боем", который вели над аэродромом Карякин и Рябушкин. Они наскакивали друг на друга, как петушки, кружились, вертелись, заходя друг другу в хвост, поминутно обманывали друг друга, проявляя немало ловкости, сметливости и самообладания. После одной особенно эффектной атаки Карякина Лунин сказал Ермакову:

- Молодец Миша!

И вдруг услышал голос Карякина:

- Благодарю, товарищ гвардии майор.

Лунин рассмеялся.

- Это я не вам, Карякин, а комиссару полка, - сказал он. - Не подслушивайте.

Карякин постоянно был весел, и его веселость ценилась всеми в эти дни, когда летчики уставали от постоянных упражнений, а с юга приходили всё новые тревожные вести. Шутки его смешили всех до слез, несмотря на то, что обычно были довольно незатейливы и часто повторялись. По утрам летчики отправлялись из деревни на аэродром в кузове грузовой машины. Ехали они стоя, так как кузов был переполнен. Въезжая на аэродром, машина проходила под шлагбаумом, и все вынуждены были нагибаться. И каждое утро метров за триста от шлагбаума Карякин внезапно кричал:

- Головы!

Все испуганно приседали, особенно стремительно самые высокие Татаренко и Костин. Увидев, что до шлагбаума еще далеко, хохотали. Несмотря на многократные повторения, эта шутка всегда имела одинаковый успех.

Миша Карякин создал забавную легенду о самонадеянном и глупом летчике, который всё делает невпопад, по собственной тупости терпит множество злоключений, но в своих бедствиях винит не себя, а тех, кто его учил летать. Легенду эту Карякин рассказывал десятки раз, всегда с новыми подробностями, намекающими на какое-нибудь действительное происшествие. Наибольшим успехом пользовался рассказ о том, как этот легендарный летчик совершал посадку. Он делал всё то, чего не должен делать летчик, совершающий посадку, и Карякин под смех слушателей подробно изображал каждый его промах. Кончалась посадка тем, что самолет разбивался вдребезги. Когда еле живого летчика вытаскивали из-под обломков самолета, он, нисколько не потеряв самодовольства, разводил руками и говорил укоризненно: "Так учили!".

Это карякинское "так учили" сделалось в эскадрилье поговоркой. Когда кого-нибудь постигала неудача, в которой он сам был виноват, ему со всех сторон кричали: "Так учили!".

"Так учили!" - кричали, Рябушкину, когда его самолет при посадке четыре раза "дал козла", то есть подпрыгнул. "Так учили!" - кричали бойцу из автороты, который засадил тяжело груженную машину в канаву. И Татаренко, опрокинувший за обедом на чистую скатерть тарелку с супом, говорил Хильде, смеясь над самим собой: "Так учили".

Чаще всего выслушивать "так учили" приходилось" Вадиму Лазаревичу и Ивану Дзиге: они летали несколько хуже других. Необходимые летчикам навыки они усваивали не так быстро, как остальные, и потому на них сильнее сказались недостатки ускоренной подготовки.

В отличие от изящного, но узкогрудого горожанина Лазаревича, украинский колхозник Иван Дзига обладал широчайшей грудной клеткой и мускулами молотобойца. По силе никто в эскадрилье не мог с ним сравниться, но вся эта сила не шла ему впрок, потому что был он на редкость неуклюж. Его могучие руки беспомощно путались в кабине самолета, не знали, за что браться. Так же как Лазаревич, он был очень угнетен своими неудачами. Во всем разные, Лазаревич и Дзига имели одну общую черту: упрямство. Они решили статьлетчиками-истребителями и трудились упорно, не жалея сил.

Лунин разбил всю эскадрилью на пары и определил, кто в

каждой паре будет ведущим, а кто ведомым. Это разделение на ведущих и ведомых не могло, конечно, не взволновать летчиков. Однако почти во всех случаях им самим было ясно, чем руководствовался Лунин, они понимали справедливость его решений и в глубине души совершенно соглашались с ними. Например, разве можно было возражать против того, что Кузнецов должен быть ведущим, - ведь он единственный, кроме Лунина, имел уже некоторый боевой опыт. И вполне справедливо, что неуклюжий увалень Остросаблин, летавший не плохо, но и не особенно хорошо, стал его ведомым. Все соглашались, что Карякин и Рябушкин - прекрасная боевая пара и что в этой паре Карякин должен быть ведущим, а Рябушкин ведомым. Невозможно было спорить и против того, что Костин и Хаметов должны стать ведущими, а Лазаревич и Дзига - ведомыми. И только одно решение Лунина многим казалось непонятным: Илью Татаренко Лунин назначил ведомым. Правда, своим собственным ведомым, ведомым командира эскадрильи, но всё же не ведущим, а ведомым.

Было ли это честью для Татаренко? Или, напротив, с ним поступили несправедливо? Вот что занимало молодых летчиков. Коля Хаметов, например, утверждал, что Татаренко оказана большая честь. Коля Хаметов был назначен ведущим, но считал бы себя счастливым, если бы Лунин сделал его своим ведомым. Хаметову свойственно было увлекаться людьми, и сейчас он был увлечен Луниным. Лунин поразил его воображение чуть не с первого взгляда. Он считал Лунина непогрешимым, хотел быть во всем похожим на него и краснел от радости, когда Лунин обращался к нему с каким-нибудь вопросом.

Зато Рябушкин полагал, что уж кто-кто, а Татаренко должен быть ведущим. Сам Рябушкин был ведомым у Карякина и за себя нисколько не огорчался; но за Илюшу Татаренко огорчился. Рябушкин тоже любил Лунина, восхищался им и был горд, что у него такой командир. Но Илюшей Татаренко он восхищался не меньше. Татаренко поразил его еще в лётной школе, где они встретились и подружились. В этой дружбе Татаренко, конечно, первенствовал, а скромный, маленький Рябушкин дивился достоинствам своего друга, нисколько не тяготясь своей второстепенной ролью. И вдруг Татаренко - ведомый, словно он сам или Ваня Дзига... Этого Рябушкин не мог понять.

Один только Лазаревич считал решение Лунина легко объяснимым.

- Что тут непонятного? - говорил он. - Назначил его ведомым, чтобы он не задавался.

Лазаревич, как и все, был в отличных отношениях с

Татаренко и вполне отдавал ему должное, но всё-таки утверждал, что тот задается.

Лунину, конечно, хотелось бы знать, как сам Татаренко отнесся к своему назначению. Но Татаренко не выразил своего отношения никак. Он попрежнему улыбался, блестя крупными белыми зубами, а глаза его, казалось, говорили: "Старый почтенный чудачина! Делай со мной что хочешь, я всему подчиняюсь, потому что всё это не имеет никакого значения. Ты сам знаешь, что я летаю отлично и безусловно добьюсь славы".

Может быть, Татаренко думал не совсем так, но такими представлялись его мысли Лунину. "Не я чудак, а ты, - думал Лунин. - Не знаешь ты, как беспощаден бой. Война свирепо наказывает тех, кто зазнаётся, кто выскакивает вперед, кто ищет личной, а не общей славы. Ты чувствуешь в себе большие силы и, вероятно, не ошибаешься, но тебя убьют в первой же стычке, если я не присмотрю за тобой..."

По правде сказать, Лунин и сам восхищался Ильей Татаренко не меньше, чем Рябушкин. Он восхищался порой даже больше, чем Рябушкин, потому что лучше, чем Рябушкин, мог оценить его. Он восхищался находчивостью его в воздухе, быстротой, изобретательностью, отчетливостью его решений во время полета. Он безошибочно угадывал самолет Татаренко в небе среди многих других самолетов, - угадывал по изяществу виражей. Для того чтобы так летать, нужно было действительно любить авиацию, предаться ей всем сердцем.

Было много причин, почему Лунин назначил Илью Татаренко своим ведомым. Прежде всего он вовсе не разделял мнения молодых и неопытных летчиков, будто обязанности ведомого легче, чем обязанности ведущего, и будто от ведомого требуется меньше мастерства. Серов, например, был сначала ведомым Рассохина, потом ведомым Лунина, однако Лунин считал его одним из самых искусных летчиков. Затем, Татаренко был талантлив, а талантливого ученика обучать всего интереснее. Затем, Лунин был убежден, что Татаренко с его самоуверенностью больше нуждается в постоянном строгом надзоре, чем остальные. Он боялся за Татаренко больше, чем за остальных, и хотел держать его всегда рядом с собой, у себя под боком.

Лунин выделял Татаренко из всех, однако, постоянно опасаясь, как бы его не заподозрили в том, что он оказывает Татаренко предпочтение, был с ним официальнее и строже, чем с остальными, реже хвалил, чаще делал ему замечания. И многим казалось, что он не любит Татаренко и придирается к нему.

Лунин умел скрывать свои чувства, а Хильда не умела.

Она так краснела при виде Татаренко, так смущалась и терялась, когда он заговаривал с ней, так стремительно кидалась подать ему солонку или перечницу, что не заметить этого было невозможно. Летчики замечали, но не смели говорить: Хильда знала старых рассохинцев, героев, а что перед ними Илюшка Татаренко, никогда не бывший в бою!

Один только Лазаревич не постеснялся заговорить о своих наблюдениях вслух.

- Она в тебя втюрилась, Илья, - сказал он. - Теперь тебе вторая порция всегда обеспечена.

Лунин тоже кое-что заметил и с удивлением смотрел на Хильду. Он окончательно удостоверился в правильности своих догадок, когда Хильда вдруг круто изменила свое отношение к Татаренко. Она перестала замечать его, она в его присутствии не поднимала глаз, не произносила ни слова, она убегала на кухню, когда он входил, и руки у нее дрожали, когда она подавала ему тарелку супа.

Лунину всё это было почему-то непонятно. Может быть, потому, что ведь в Хильду был влюблен Байсеитов, был влюблен Чепелкин и - кто знает? возможно, и другие. Она всех их любила, но ни в кого из них не была влюблена. Думая о Хильде, Лунин обычно вспоминал сказку про царевну, которая жила в лесу у двенадцати братьев. Братья уходили на охоту, а царевна оставалась дома и вела их хозяйство. Царевна ни в кого не была влюблена; если бы она влюбилась, сказке пришел бы конец...

Самым странным во всем этом было то, что Татаренко оставался к Хильде совершенно равнодушным. Никто из посетителей лётной столовой не обращал на нее так мало внимания, как он. Ее чистое, милое, бело-розовое личико с голубыми глазами, ее тонкая талия и светлые легкие волосы не производили на него ровно никакого впечатления. Он один не замечал того, что замечали все, даже Лунин: ни ее особого внимания к нему, ни ее особого невнимания. Он просто никогда не смотрел на нее и ел принесенный ею суп так, словно тарелка с супом сама собой появилась на столе.

6.

В тот год лето в северной России стояло на редкость жаркое. Казалось, конца не будет солнечным знойным дням. Всё высохло кругом, пыль клубилась над дорогами, где-то горели леса, воздух был полон гари. Небо над аэродромом было серым от пыли и дыма, и солнце сквозь пыль и дым казалось красным и большим. В зное, в пыли, в дыму, под этим большим красным солнцем беспрестанно взлетали и садились самолеты.

Каждый навык Лунин заставлял своих летчиков вырабатывать

в себе бесконечным повторением. Плохо сел - взлетай и садись до тех пор, пока не посадишь свой самолет отлично десять раз подряд, двадцать раз подряд. Лица летчиков изменились за эти дни - похудели, стали темными от загара и пыли. У них уже не было ни сил, ни охоты играть в чехарду или возиться со Славой; возвращаясь в темноте с аэродрома, они валились на койки и засыпали каменным сном, без сновидений. А едва начинало светать, как их уже будил дневальный, и, торопливо позавтракав, они ехали на аэродром.

Лунин тоже устал, похудел, загорел, наглотался пыли. Он поминутно снимал с себя шлем и вытирал крупные капли пота, беспрестанно выступавшие на его лбу. Работа поглощала его всего, дни мчались стремительно, времени не хватало ни на сон, ни на еду, ни на то, чтобы оглянуться, задуматься. Шел уже август, каждый день можно было ожидать приказа об отправке на фронт, и необходимо было работать, работать, работать...

Лунину, старому, опытному летчику-инструктору, нравилась эта работа педагога, он чувствовал себя в ней уверенно и отдавался ей весь, целиком; он любил знойное поле аэродрома, дрожащие под крутящимся пропеллером ромашки и головки клевера, любил видеть вокруг себя молодые, мужественные, обожженные солнцем лица.

За все эти недели он один только раз остался наедине с собой и мог подумать о том, что не было связано непосредственно с его эскадрильей.

Получилось это случайно. Он давно уже, много дней, мечтал выбрать минутку и выкупаться в реке. И вот такая минутка настала. Летчики обедали, а он приехал с аэродрома на полчаса раньше их и успел уже пообедать. Он вышел из столовой, свернул от деревни в сторону, чтобы никто не глазел, и по крутому зеленому склону спустился к темной воде.

Сколько лет он не купался в реке! С детства, с юности. Перед войной много лет купался только в соленой морской воде, плотной, зеленой, не до конца освежающей. Но он ничего не забыл, он с наслаждением обнаружил, что всё осталось таким, как было в детстве, в юности, - и широкие листья кувшинок, и густые тени ив, и шуршащие, сухие трубочки камыша, и флотилии маленьких рыбок, поворачивающихся все вдруг, как по команде, и там, впереди, на стрежне, сверканье серебряных струй.

Он разделся, прыгнул и с наслаждением погрузил свое разгоряченное тело в холодную, темную от свисающих с берега ветвей воду. Он почувствовал, как вода струится у него между пальцами ног. Течение ласково и властно подхватило его, закружило и понесло. Он не противился. Вода сомкнулась у него

над головой, и несколько мгновений он продолжал еще опускаться, пока не коснулся пятками мягкого ила. Глаза он не закрыл и видел над собой ветви, проломленные рябью воды, и меж ветвями колеблющееся солнце. Он взмахнул руками, вынырнул, проплыл саженками на середину реки, оглянулся, вернулся и вылез на берег, радостно отдуваясь. Вместе с потом и пылью река смыла с него и усталость и заботы. Одеваясь, он вдруг заметил, что весь склон над ним порос густым малинником и в зелени листьев темнеют крупные ягоды. Не думая, потянулся он за ними, стал их срывать и класть в рот. С детства не собирал он лесной малины, но в детстве он часами бродил по диким малинникам от ягоды к ягоде. Забыв обо всем, подчиняясь внезапно проснувшейся привычке, он побрел от ягоды к ягоде, в глубь зарослей. Каждая ягода, похожая на маленький красный фонарик, была нанизана на белый стерженек. Он ловко снимал их со стерженьков и отправлял в рот. Кончики пальцев его порозовели от румяного сока малины.

Эти фонарики ягод и эти розовые пальцы пробудили в нем множество воспоминаний. Ведь он находится почти в своих родных местах: отсюда до городка, в котором он родился, немногим больше ста километров. Там тоже была река с такими же крутыми зелеными берегами, и. такой же лес, и малина. И говорили там так же, как в этой деревне, где они сейчас живут, и сам Лунин говорил так же - круто, по-северному. Ему вспомнилась главная улица, замкнутая с одного конца белым каменным собором, а с другого - старинной деревянной церковью, за которой начиналось кладбище. Кроме главной улицы, в городе, собственно, ничего и не было - так, слободки, ничем не отличавшиеся от деревень. Дремучие заросли бузины, а в бузине - сарай, где когда-то Лунин мастерил свои первые модели самолетов. Настоящие самолеты он видел только на картинках, но сколько отдал им дум и сердечного жара, как мечтал о полетах!.. Лунину вспомнились лица соседей, родных, лица мальчиков и девочек. Где они теперь? Какие они? Узнал бы он их сейчас, если бы увидел? Может быть, некоторые из них до сих пор живут там же... Он вдруг вспомнил девушек, которые когда-то ему нравились. Он долго хранил их в памяти, но встретил Лизу и сразу всех забыл и не вспоминал до этого дня... Если бы хоть несколько часов свободных, туда можно было бы съездить на машине. Но свободных часов нет и не будет. Долететь туда на самолете, пронестись над главной улицей на бреющем? Нет, пустяки, фантазия...

Любопытно, узнал бы он свой город с воздуха? Ориентиры: собор, деревянная церковь, изгиб реки, деревянный мост на сваях.

Да есть ли еще этот деревянный мост? Там, по слухам, теперь новый, арочный, железный. За вторую пятилетку там выстроили стекольный завод, - Лунин читал об этом в газетах. И собора, может быть, нет...

Странно, он столько мечтал о своем городе о полетах и ни разу не видел его сверху. Над таким множеством городов он пролетал, но только не над тем городом, в котором родился.

Малина, растущая на крутом береговом склоне, связала его прошлое с настоящим. Он вдруг радостно ощутил единство всей своей жизни. Здесь, в этом краю, отделенном от мира лесами, родилась когда-то у него, маленького мальчика, мечта - летать, и всю свою жизнь отдал он этой мечте. Сколько он летал! Пожалел он об этом когда-нибудь? Никогда. Ни разу. Лишь летая, был он счастлив. Лишь летая, чувствовал он себя нужным, сильным. Каких друзей удавалось ему находить, потому что он летал! Он умел летать - и стал полезен своей Родине и научился защищать ее...

Лунин вдруг взглянул на часы и поспешно зашагал вверх, ломая хрупкие прутья малины. Там, наверху, озаренный солнцем, стоял уже сибиряк Хромых, когда-то вестовой Рассохина, а теперь вестовой Лунина. Его послали отыскать командира эскадрильи и доложить ему, что машина для поездки на аэродром уже готова и ждет. Хромых долго простоял там, над склоном, - смотрел, как Лунин ест малину, и не хотел мешать ему.

* * *

Шестнадцатого августа 1942 года наши войска оставили Майкоп. Девятнадцатого августа пал Краснодар, родной город Коли Хаметова.

Дни стали короче и прохладней, всё чаще перепадали дожди, на березах появились первые желтые пряди. Как-то утром на аэродроме приземлился самолет "У-2", и из него вышел Уваров. Появление комиссара дивизии в эскадрилье все истолковали одинаково: пора на фронт.

Впрочем, о цели своего прибытия Уваров вначале не сообщил никому, даже Ермакову и Лунину. Начал он, по своему обыкновению, с мелочей, с быта, интересовался столовой, обмундированием, простынями. Узнал, аккуратно ли доставляются газеты, журналы, какие статьи из центральной печати обсуждались на политинформациях. С каждым он поговорил, о каждом порасспросил, с незнакомыми познакомился.

- А как Кузнецов?- спросил он, между прочим, у Лунина и Ермакова.

Лунин знал, что Ермаков недолюбливает Кузнецова, и

поспешил ответить:

- Летает хорошо.

- Дисциплина? - спросил Уваров.

- Пока нормально... - сказал Ермаков хмуро.

Два дня провел Уваров на аэродроме, следил за полетами. И приезжал вместе с летчиками и уезжал вместе с ними. После каждого вылета он подзывал летчиков к себе и расспрашивал их о подробностях полета. Летчики скоро перестали перед ним робеть и рассказывали ему с увлечением и просто.

Спрашивал он их, между прочим, и о том, нравятся ли им новые самолеты. Но о качествах "Харрикейнов" летчики говорили неохотно и как-то неопределенно. А Татаренко, так тот прямо ответил:

- Не могу знать.

- Как же так? - удивился Уваров. - Ведь вы на нем летаете!

- А нам сравнивать не с чем, - ответил Татаренко. - Много ли мы видали самолетов? Вы лучше к гвардии майору обратитесь - вот он может сравнить.

Ермаков всякий раз, когда Уваров начинал расспрашивать о "Харрикейнах", прислушивался. Вопрос об этих английских самолетах он считал для себя не вполне решенным. Порой ему начинало казаться, что мнение Лунина о них пристрастно и несправедливо. Он видел, каких больших успехов добились молодые летчики за несколько недель подготовки. Ермаков не был ни летчиком, ни техником, никогда не кончал лётной школы, но много лет прослужил в авиации и сам водил "У-2". Он вполне способен был оценить их успехи, он ясно видел, что в августе они стали летать гораздо лучше, чем летали в июле. Могут ли быть плохи самолеты, если летчики добились на них таких результатов? Да и вообще похоже ли это на правду, что английские машины хуже наших?

Ему казалось, что отношение Лунина к "Харрикейнам", даже если оно отчасти и справедливо, может принести только вред. Легко ли, в самом деле, молодому летчику летать на самолете, если он догадывается, что его командир считает- этот самолет барахлом?

Все эти сомнения Ермаков честно выложил Уварову. С особенным удовольствием произнес он фразу: "Летчик должен верить в свою технику", потому что фраза эта была не его, а уваровская, он сам слышал ее от Уварова по другому поводу несколько месяцев назад.

Уваров улыбнулся.

- А если техника такая, что верить в нее нельзя? - спросил он.

- Мне кажется, товарищ полковой комиссар, что наши

молодые летчики вполне доверяют своим самолетам, - сказал Ермаков. - Вот вы спрашивали их, и ни один не пожаловался, не сказал о своем самолете ничего плохого.

- Да, это они здорово! Ни один не проговорился! - сказал Уваров, очень, видимо, довольный.

На третий день он объявил, что эскадрилья должна немедленно вернуться к Ладожскому озеру, на тот аэродром, где стояла зимой. А сюда, в тыл, поедут две другие эскадрильи полка, - за новыми летчиками и самолетами.

Глава девятая.

Синявино

1.

Соня теперь редко бывала дома и совсем отвыкла от своей опустевшей квартиры на шестом этаже.

Она попрежнему работала в комсомольской бригаде, той самой, которая прошлой зимой восстанавливала баню, и обычно ночевала вместе с девушками там, где работала. Бригадой попрежнему распоряжалась Антонина Трофимовна.

Состав бригады за это время сильно изменился: две девушки умерли ранней весной, из остальных многие уехали в эвакуацию, за озеро. Но взамен выбывавших приходили новые, и Соня, одна из младших по возрасту, была в бригаде одной из самых старших по стажу.

Никаких постоянных обязанностей у бригады не было. Делали то, что в каждый данный момент было важнее всего.

Весной и летом больше всего сил бригада отдавала огороду.

Как только растаял снег, на всех пустырях, в садах, во дворах, в скверах горожане принялись вскапывать землю. У Ленинграда окрестностей не было, их захватил враг, и огороды пришлось заводить в центре города. На Марсовом поле вокруг стоявших посередине зениток во все стороны побежали аккуратные грядки. И Таврический сад, и Михайловский, и острова Невской дельты, и не облицованные гранитом береговые склоны многих речек, пересекавших город, и вообще все места, свободные от камня и асфальта, были перерыты, засеяны, засажены.

Кроме хлеба, жители города получали крупу, немного мяса, масла и сахара. Но овощей у них не было, потому что везти в Ленинград овощи было труднее всего: овощи при перевозке занимали слишком много места. Каждый мешок с продуктами, направляемый в Ленинград, дважды перегружали - сначала из вагона на баржу, потом из баржи в вагон, "Картофель нетранспортабелен", - говорилось в интендантских управлениях Ленинградского фронта. Однако овощи были необходимы. Ленинградцы варили щи из крапивы, пили настойку из еловых

игл. И с весны стали огородниками.

Семенной картошки и всяких огородных семян завезли достаточно. Огороды были индивидуальные, принадлежавшие отдельным семьям, и общественные, принадлежавшие различным учреждениям, профсоюзам, городу. Огород, на котором работала комсомольская бригада, находился в ведении райсовета, и урожай с него предназначался для снабжения детских учреждений района. Занимал он обширный пустырь, с трех сторон ограниченный кирпичными стенами домов, а с четвертой стороны выходивший на набережную одной из Невок.

На этом пустыре лет сто ничего не росло, даже бурьяна, - до того он был весь захламлен и утоптан. Прежде чем начать вскапывать землю, девушкам пришлось потратить несколько дней на уборку мусора. А потом оказалось, что земля совсем не желает поддаваться лопатам. Стараясь вогнать лопату в землю, они всякий раз натыкались на кирпич, или на железный обруч, или на жестянку. В каждой горсти этой земли был либо черепок, либо осколок стекла. По костям, попадавшимся ежеминутно, можно было установить всех животных, птиц и рыб, которых ели жители города со времен Петра. Вначале девушкам казалось, что целого лета не хватит на то, чтобы очистить и разрыхлить землю этого пустыря. Однако мало-помалу они приспособились к ней, попривыкли и вскопали весь пустырь меньше чем за неделю. Только грядки были словно посыпаны солью, - это блестели мельчайшие осколки стекла.

К лету город совсем опустел. Большинство жителей успело эвакуироваться. В его огромном каменном теле осталась едва ли одна шестая прежних обитателей. Прохожие встречались редко; порой взглянешь из-за угла на какую-нибудь прямую улицу, видную из конца в конец, и с удивлением обнаружишь, что на ней нет ни одного человека. В переулках между булыжниками возникли зеленые стрелки травинок, и заунывно гудящие комары появились в самом центре, куда они не осмеливались залетать с XVIII века. Над каменными громадами, домов, дворцов, соборов небывалая стояла тишина, изредка прерываемая слышным за десять кварталов грохотом какого-нибудь одинокого трамвайного вагона на мосту или взрывом снаряда, внезапно ворвавшегося в город и поднявшего в воздух облако дыма, пыли, мелкого щебня. А вверху, за аэростатами заграждения, качавшимися в небе, сияли длинные летние зори, незаметно переходившие одна в другую. И нежный их свет отражался во всех еще не выбитых стеклах окон, во всех каналах и реках.

В той далекой северной части Васильевского острова, где девушки трудились на огороде, было еще пустыннее, еще тише.

Уверенные в том, что никто их здесь не увидит, они, когда им становилось жарко, раздевались почти догола. Если солнце начинало слишком припекать, они всей бригадой, бросив лопаты, бежали на набережную Невки и здесь же, посреди города, купались с хохотом, шумом, визгом в еще нестерпимо холодной воде, не обращая внимания даже на часового, который охранял деревянный мост и посматривал на них сверху.

Зазеленели первые всходы, и огород пришлось сторожить. Соорудили посередине не то шалаш, не то будку из старых досок, обветренных и шершавых, и каждую ночь там ночевали две-три сторожихи по очереди. Это была обязанность, которую все исполняли особенно охотно. Иногда со сторожихами оставались ночевать еще две-три подружки - "для смелости", как говорили они, а на самом деле для того, чтобы проговорить всю прозрачную, светлую ночь, а потом вдруг заснуть крепчайшим, сладким сном в тесноте на соломе. В будке никогда не бывало душно, потому что в щели между досками дул ветер и заглядывали далекие бледные звёзды. Порой над будкой с визгом пролетал снаряд и взрывался, - иногда подальше, иногда поближе. Если снаряду удавалось их разбудить, они начинали гадать, куда он попал - в соседний ли дом, или в мост, или в сад за Невкой - и не поджег ли чего, но выходить из будки никому не хотелось, и они засыпали снова. К взрывам они привыкли, их гораздо больше пугали тихие шелесты, еле слышные скрипы.

Они отлично знали, кто там шелестит и скрипит. Это крысы!

После голодной зимы в городе не осталось ни лошадей, ни голубей, ни собак, ни кошек, даже вороны и галки пропали, даже воробьи стали редкостью. Одни лишь крысы не покинули город, не вымерли. Из обезлюдевших домов, где нечем было поживиться, они с наступлением теплых дней вышли на улицы. Дерзко нападали они на огороды, шныряли между грядами, вырывали из земли аккуратно разрезанную, уже пустившую ростки семенную картошку, а позже не брезгали и ботвой. Длиннохвостые, облезлые, кидались они девушкам прямо под ноги, заставляя их вскрикивать от отвращения. Бригада сражалась с крысами упорно, ожесточенно, то побеждая, то терпя поражения. У входа в сторожевую будку всегда лежала кучка камней, щепок, черепков для метания. По ночам девушки нередко все вместе выскакивали из будки, как из осажденной крепости, и, громко крича, прыгали через грядки, разгоняя крыс. Но случалось и так, что крысы загоняли их в будку обратно.

Несмотря на крыс, картофельная ботва становилась всё выше, всё пышнее. Одни работы на огороде сменялись другими - окучивание, прополка. В августе картошка зацвела. Но к этому

времени у бригады было уже много дел и помимо огорода.

С августа началась заготовка топлива для будущей зимы. В городе не осталось ни угля, ни дров. Нечего было и думать снабжать город топливом через озеро, с двумя перегрузками, а все ближайшие окрестные леса находились в руках у немцев. Топливо нужно было найти в самом городе, и его нашли. Решено было разобрать на дрова деревянные дома городских окраин.

Большинство из этих домов к тому времени пустовало. А тех, кто еще продолжал жить в них, переселили в центр города, в опустевшие квартиры каменных зданий. И принялись за работу.

Бригада Антонины Трофимовны должна была работать в той части города, которая носит название Новой Деревни. Там находились целые улицы одноэтажных и двухэтажных деревянных домов. В райсовете девушкам выдали ломы, топоры, пилы, тачки, и они двинулись к Новой Деревне по широким мостам, по пустынным аллеям через зеленые парки островов.

Шли они довольно неохотно, так как предстоящая работа казалась им мало привлекательной. И не потому, что она была трудна, а потому, что им не хотелось участвовать в разрушении родного города. Они несколько даже стыдились того дела, которое им поручили; и действительно, что за доблесть - превращать дома в дрова! Особенно смутились они, когда наконец увидели эти домики - покосившиеся, дряхлые, давным-давно некрашенные, но совершенно целые, со следами только что покинувшей их жизни.

Перед каждым из них был палисадник, в котором сиротливо цвели георгины и астры. Перед каждым из них на длинных жердях торчали уютные ящички скворечников. Сияло солнце, чахлые рябины бросали тень на истертые ногами крылечки. Всё было безмолвно и пусто вокруг, но казалось, что хозяева вот-вот вернутся сюда, что вот-вот опять зазвучат здесь голоса детей.

Однако Антонину Трофимовну нисколько всё это не смущало. Она брезгливо и презрительно поглядывала на деревянные домики, на палисадники, на скворечники. Она давно подметила колебания своей бригады, но ничуть не разделяла их.

- Грязь, хлам, гниль! - отрывисто говорила она, проворно шагая по деревянным мосткам вдоль домов с тяжелым ломом в руках. - Зараза, духота, клоповый рассадник! Позор для города! Их давно пора снести, да руки не доходили. Разве такое жилье должно быть у человека? Война многое помогла нам расчистить. Вот увидите, какие дома мы тут с вами построим!

- Построим тут дома?

- Конечно. Этажей на восемь каждый... А ну, начнем.

Размахнувшись, она ударила ломом по толстому бревну,

служившему основанием двухэтажному дому. Лом вошел в бревно без всякого сопротивления, словно оно сделано было из картона, и мелкая сухая труха посыпалась на землю.

Девушки приободрились и повеселели. Среди всеобщего разрушения, которое они видели вокруг себя уже в течение целого года, слова Антонины Трофимовны о строительстве новых домов поразили их. Так, значит, придет еще время, когда они будут не разрушать, а строить! Да и сейчас - разве они разрушают? Они превращают мусор в дрова и расчищают место для будущих новых домов...

Всю осень разбирали они деревянные домишки, пилили и складывали трухлявые, изъеденные жучками брёвна. Одновременно продолжали работать и на огороде. А в конце сентября, когда они наконец выкопали свою картошку и сдали ее райсовету, им пришлось заняться еще одним важным делом - ремонтом водопровода.

Прошлой зимой, в самые морозы, водопровод перестал работать, и во многих местах полопались трубы. Их чинили и заменяли всё лето, но старые водопроводчики находились на фронте, умелых рук не хватало, и работы подвигались медленно. И осенью, когда возникла опасность, что водопровод кое-где не успеют восстановить к зиме, в эту работу вовлекли многих, в том числе и девушек из комсомольской бригады. Ни знаний, ни опыта у них, конечно, не было, и они исполняли обязанности только подручных.

На огороде, на разборке домов они работали под открытым небом - под солнцем, под дождиком. Теперь им пришлось спуститься в подвалы, в темные и сырые подземные переходы. Как и при устройстве бомбоубежища год назад, этот мрачный, скрытый мир подвалов и подземелий поразил Соню своей огромностью. Целый город, тайный, невидимый, существующий в ближайшем соседстве с городом видимым, явным. Теперь он открылся перед нею гораздо шире, чем в прошлом году: ей пришлось поработать в его тьме несколько месяцев, познакомиться со многими его закоулками, изучить его законы.

Сначала она, как и все девушки из бригады, выполняла самые простые обязанности: таскала тяжелые свинцовые трубы, вычерпывала ведром вонючую воду, подавала водопроводчикам инструмент. Водопроводчиками были мальчики лет восемнадцати и даже шестнадцати. Они держались с необыкновенной важностью, говорили басом, еле роняя слова, курили махорку, ходили вразвалку, топая большими сапогами. Впрочем, ростом они не вышли, сквозь бас у них время от времени прорывался дискант, а сапоги были им велики и грозили соскочить с ног.

Однако работали они уже с самой весны, учителями их были настоящие мастера, и водопроводное дело они знали. И девушки хотя и посмеивались над ними, но уважали за уменье и слушались их.

Из всего того, что умели мальчики-водопроводчики, Соню особенно привлекала автогенная сварка. Этот яркий, шумный огонь, горящий в темноте подвала и способный сделать любой, самый твердый металл мягким, сияющим тестом, казался ей удивительно красивым, могущественным и таинственным. Когда он вспыхивал, всё озарялось вокруг голубоватым театральным светом, превращавшим грязные подземелья в пышные дворцовые залы. А возможность соединить с помощью этого огня два обрезка трубы так плотно, что потом не заметишь даже места спайки, была похожа на волшебство.

Соня, не отступая, ходила за важным мальчиком с автогенным аппаратом, выполняла все его распоряжения, позволяла ему покрикивать на себя и безропотно сносила все его замечания.

Его бледное детское личико почти целиком тонуло в огромных предохранительных очках с темными стеклами. Он разговаривал с Соней свысока, как и подобало настоящему мастеру, хотя ростом был гораздо меньше ее. Однако он не мог не оценить ее усердия и скоро стал всякий раз требовать, чтобы его подручной была именно Соня, а не какая-нибудь другая девушка.

Она раздобыла себе такие же очки, как у него, и он позволял ей поддерживать трубы, которые сваривал, но долго не давал ей даже дотронуться до своего аппарата.

Впрочем, с течением времени он мало-помалу становился всё снисходительней, как бы оттаивал. Когда она задавала ему вопросы, он сначала шмыгал носом, что означало полное недоверие к ее способности понимать, но потом всё-таки объяснял ей тайны своего искусства. Главная из этих тайн заключалась в знании того, что огонь слоист и каждый его слой имеет другую температуру. Он утверждал, что всё мастерство сварщика основано прежде всего на умении в правильной последовательности пользоваться голубым слоем пламени, и желтым, и белым.

Наконец он позволил ей самой сварить две трубы, и Соня стала сварщицей. Сначала она работала только вместе со своим учителем, но потом их разлучили, и она стала работать самостоятельно.

Занятая этими подземными работами, она не заметила, как промелькнула большая часть осени. И удивилась, когда однажды, выйдя из подвала на двор, увидела легкие снежинки, медленно

опускавшиеся на побелевшую землю.

2.

Ходила она теперь в брюках, - Антонина Трофимовна достала для нее синий мужской комбинезон, и Соня носила его не снимая. Комбинезон этот давно уже не был синим - столько он впитал в себя копоти, масла, ржавчины, глины. Из его огромных оттянутых карманов постоянно торчали клещи, или молоток, или моток медной проволоки. Соню, длинноногую и тоненькую, часто принимали за мальчишку. Ей почему-то это не нравилось, и она стала свои темные, коротко остриженные волосы повязывать выцветшей косынкой, чтобы иметь на себе хоть что-нибудь девичье.

По работе, по умелости она была далеко не последней в бригаде, но по возрасту - самой младшей. Бригада попрежнему называлась комсомольской, хотя в течение лета в нее вступили несколько вполне взрослых и даже не очень молодых женщин. Да и девушки были в большинстве года на два, на три старше Сони, и Соня, несмотря на дружбу с ними, невольно держалась несколько особняком.

Это был особый женский мир, с которым она не могла вполне слиться. У женщин постарше были на фронте мужья, у девушек - женихи или просто знакомые парни, с которыми они переписывались. Разлука, неуверенность в том, что свидание когда-нибудь состоится, делали их любовь томительной, напряженной и возвышенной. Их упорная, самоотверженная работа тоже была связана с любовью: они хотели быть достойными тех, кого любили.

Когда кто-нибудь в бригаде получал письмо, это сразу становилось известным всем. Замужние, получая письма от мужей, были немногословны.

- Ну, что твой пишет?

- Пишет, что живой.

Но девушки полученные письма давали читать подругам и без конца обсуждали всё, что в них было написано. А. написано было в этих письмах главным образом про любовь, и они без конца говорили о любви.

Соня видела, что все они считали любовь делом чрезвычайно важным. В бригаде была комсомолка Нюра, которую называли Красивой Нюрой, в отличие от нескольких других Нюр. Красивая Нюра была рослая, крепкая светловолосая девушка с круглым, милым лицом и голубыми глазами. Парень, которого она любила, служил в каком-то батальоне, стоявшем где-то возле Пулкова, всего в нескольких километрах от города. Иногда, примерно раз в месяц, ему удавалось под каким-нибудь предлогом отпроситься в

город. Где бы ни работала бригада, он разыскивал ее и являлся за Нюрой. Его появление всякий раз приводило всех в волнение, вызывало общий переполох.

- Нюра! Нюра!.. Где Нюра? К ней Вася пришел! - возбужденно перекрикивались девушки, кидаясь в разные стороны и разыскивая Нюру.

И Нюра, счастливая, смущенная, вытирала крупные руки о мокрую тряпку и выходила к Васе. Вася ждал ее, невзрачный, ниже ее ростом, в слишком широкой шинели, и они вдвоем шли гулять. Бригада продолжала работать, а Нюра гуляла, и никому не приходило в голову упрекнуть ее за это. Даже Антонина Трофимовна и та, видя уходящую с Васей Красивую Нюру, только улыбалась и никогда не делала ей замечания. В этом женском мире уважали любовь и признавали за ней особые права. Нагулявшаяся до темноты, но нисколько не уставшая, Нюра возвращалась к подругам и до рассвета рассказывала им о своих чувствах. И ей самой и ее слушательницам всё то, что она чувствовала, казалось удивительным и необычайно интересным. Она любила Васю то меньше, то больше, иногда даже утверждала, что совсем разлюбила его, и девушки в испуге уговаривали ее опять полюбить, и она, раскаявшись, клялась в вечной любви. Вася при каждой встрече дарил ей пакетик с леденцами, накопленными за целый месяц, - ему их выдавали вместо сахара. Добросердечная и щедрая Нюра угощала этими леденцами подруг. И вкус этих леденцов казался девушкам особенным, потому что это были не просто леденцы, а леденцы, освященные любовью.

Соня слушала все эти толки о любви, но не принимала в них участия и первое время даже удивлялась тому, что они так занимают ее старших подруг. Сама она о любви не думала. Перед войной она упорно утверждала, что никогда ни за что не выйдет замуж, и вполне верила в свои слова. Она вообще тогда не понимала, чего ради девушкам выходить замуж. С тех пор, за минувший год, ее житейский опыт значительно расширился, и теперь она, конечно, не стала бы повторять подобные детские глупости. Она слишком много повидала за этот год, чтобы не понимать, что значат для людей слова: семья, муж, жена, дети. Но в разговорах о любви она участия не принимала. И ей было неприятно слушать намеки, что она сама влюблена или что в нее кто-нибудь влюблен.

А девушки, ее окружавшие, на подобные намеки и предположения были очень щедры. Они, например, выдумали, что тот мальчик, который обучал Соню автогенной сварке, влюблен в нее. Они добродушно поддразнивали ее этим

мальчиком. И хотя Соня отлично знала, что всё это вздор, ровно ни на чем не основанный, и что они сами не верят своим словам и не придают им никакого значения, она тем не менее терпеть не могла этих поддразниваний, сердилась и хмурилась.

Дело в том, что ей вдруг стало ясно, что она очень некрасива и что в нее никто влюбиться не может.

Прежде она никогда не думала о том красива она или некрасива, - ей это было ни к чему. У нее бывали красивые ленточки, красивые кофточки, красивые туфли, но ей не приходило в голову, красива ли она сама. Она была просто она, Соня, вот и всё. И вдруг она как бы посмотрела на себя со стороны и убедилась, что она некрасива.

Лицо, казалось ей, может быть, и ничего - обыкновенное, заурядное лицо. Но дело ведь не только в лице. Она теперь постоянно ощущала себя нелепо долговязой, нескладной и неуклюжей. И это внезапно проснувшееся в ней ощущение своей нескладности было так сильно, что она невольно краснела всякий раз, когда кто-нибудь смотрел на нее.

Если бы она еще была как-нибудь одета... Но, кроме грязного рабочего комбинезона, ей нечего было носить, потому что из всех платьев, которые до войны сшила ей мама, она выросла. А какие у нее руки! Грубые, растрескавшиеся, с несмываемыми коричневыми пятнами... Глупо даже думать, что на нее кто-нибудь может обратить внимание...

Впрочем, она в этом нисколько не нуждается. Пусть эти девчонки постоянно шепчутся о любви, ей и без того есть о чем подумать. Она гордо закидывала голову, как когда-то ее покойный дедушка. Вот еще! Очень надо!

Да и действительно, что хорошего в любви? Счастье ли любовь? Все, кого Соня видела вокруг себя, были разлучены со своими любимыми, тосковали, места себе не находили от беспокойства. Так же тосковали, как Соня по маме.

Не было ни мамы, ни дедушки, и никогда больше не будет... По правде говоря, Соня не умела в это поверить. Она, конечно, понимала, что никогда их больше не увидит, но в уме постоянно вела длинные разговоры с ними.

И особенно с мамой.

Всё, что Соня видела, всё что ее волновало за день, она ночью, в тишине, мысленно рассказывала маме. Она так привыкла к этому, что многое ей самой становилось ясным только после ночных разговоров с мамой. И мама отвечала ей, и садилась на край постели, и, когда Соня засыпала, становилась настоящей мамой, живой и теплой. Проснувшись, Соня искала маму глазами. Но мамы не было, и Соня вдруг всё вспоминала и

холодела от нового приступа старой, знакомой тоски.

Из живых она больше всего тосковала по Славе. Странное дело, когда они жили вместе, она и не подозревала, что так к нему привязана. Перед войной они часто ссорились и иногда даже дрались, несмотря на такую

значительную разницу в возрасте. А теперь ей постоянно его не хватало, и чем дальше, тем больше. Она вечно тревожилась о нем и места себе не находила:, если долго не получала от него письма.

Она требовала от него, чтобы он писал ей раз в неделю. На такую аккуратность он, конечно, не был способен, но письма два в месяц она от него получала. У них была хорошо налаженная связь: Ермаков пересылал письма Славы через политотдел Шарапову, а тот передавал их Соне. По большей части это были короткие, грубоватые письма, лишенные всякой чувствительности. Слава находился в том возрасте, когда выражение каких бы то ни было чувств считают недостойным мужчины, и потому письма его часто начинались со слов: "Здорово, Сонька!" или даже просто без обращения: "Как ты живешь? А я живу хорошо". Соню это нисколько не обижало, потому что ничего другого она от него и не ждала, а слова эти лишь помогали ей припомнить его голос. В чувствах же его она не сомневалась, так как он доказывал их ей другим способом. Иногда Шарапов вместе с письмом передавал ей тщательно упакованную посылку, в которой оказывались черные сухари. Когда она в первый раз взяла в рот присланный Славой сухарь, она долго не могла проглотить ни кусочка, - ей мешал комок, возникший в горле от сдерживаемых слез.

Вначале она хотя и тосковала по брату, но была довольна, что он на аэродроме, - там он, по крайней мере, ест вволю. Однако потом, когда вопрос питания перестал быть таким важным, у нее появилось множество беспокойств, и с каждым днем их становилось всё больше. В своих письмах к нему она спрашивала, ходит ли он в баню, не завшивел ли, не зарос ли волосами, есть ли у него белье, не протекают ли у него ботинки, не мокрые ли у него ноги. Но на все эти вопросы он никогда ей ничего не отвечал, видно считая их слишком ничтожными, а кратко сообщал ей о разных аэродромных происшествиях, в которых она ничего не понимала, так как не представляла себе жизни на аэродроме.

Хорошо бы самой съездить на аэродром, провести там хоть денек, повидать Славу, всё понять, обдумать, устроить... Но об этом она не смела и мечтать. Кто ее туда пустит? Где достать все необходимые пропуска, и с какой стати их ей дадут?

А между тем ей хотелось побывать на аэродроме вовсе не только ради Славы.

В Славиных письмах нередко описывались воздушные бои, и притом в самых непонятных технических выражениях. Ни одно его письмо не обходилось без таких слов, как фюзеляж, штопор, элерон, магнето, иммельман, вираж, посадка на три точки. В словах этих Соня и не пыталась разобраться, полагая, что Слава употребляет их только для важности. Но имена запоминала. Не все, конечно, а те, которые повторялись в письмах особенно часто. Она знала, например, что Ермаков - комиссар полка, Лунин - командир эскадрильи, а Илюша Татаренко - замечательный летчик, герой, и притом лучший приятель Славы.

Никогда прежде она не увлекалась авиацией, - может быть, именно потому, что авиацией увлекался Слава. Самолеты она относила к тому вздору, которым всегда увлекаются мальчишки... Так она думала до войны.

Но во время войны ее отношение к самолетам и летчикам изменилось. Сколько раз она, замирая, следила за воздушными боями над городом, за мельканием в облаках крохотных металлических птиц, внезапно вспыхивавших на солнце! Сколько раз, следя за ними, переходила она в течение нескольких секунд от тревоги к отчаянию, от отчаяния к надежде, к радости, к восторгу! Сколько раз прислушивалась она к доносимому ветром треску пулеметов, догадываясь о страшном значении этих звуков! Там, в просторе неба, отважные люди ведут свои стремительные битвы.

Летчики!

Всем девушкам из комсомольской бригады это слово казалось совсем особенным - горделивым и прекрасным. Даже моряки, даже танкисты, по их твердому убеждению, не могли равняться с летчиками. Все девушки переписывались с кем-нибудь на фронте, но ни одной из них не доводилось переписываться с летчиком. Они живо интересовались письмами, которые Соня получала от брата, именно потому, что брат ее жил на аэродроме. Сам по себе Слава интересовал их очень мало, но то, что он окружен был летчиками, озаряло в их глазах особым светом и его самого и даже Соню.

Слыша, с каким любопытством говорят девушки о летчиках, Соня и сама стала думать о них гораздо больше.

Она пыталась представить себе тех людей, о которых Слава упоминал в письмах. Сделать это было нелегко, потому что Слава не давал своим друзьям никаких характеристик. Илюша Татаренко привлек внимание Сони меньше всего именно оттого, что его звали Илюшей, как маленького, и что Слава называл его

своим приятелем. Соня представляла его себе мальчишкой вроде самого Славы. Комиссар Ермаков... Это, видимо, добрейший человек, и очень важный, и, конечно, совсем взрослый - может быть, даже пожилой. Сонино воображение недолго на нем задерживалось. Остросаблин! Удивительная фамилия! Каким должен быть человек с такой фамилией? Хаметов, Рябушкин... Нет, как она ни старалась, она ничего не могла себе вообразить. Лунин... Вот кого она представляла себе так ясно, словно видела много раз!

О Лунине она слышала от Славы еще до его отъезда, имя Лунина упоминалось в Славиных письмах чаще всех других имен. Он высокий, строгий и очень смелый. Молодой ли? Соня сама была так молода, что люди двадцати пяти лет не казались ей молодыми. Именно таким он ей и представлялся. Лицо, конечно, суховатое, острое, нос с горбинкой, орлиный, тонкие губы. Он очень добр, он так много сделал для Славы. И всё же Соня оробела бы перед ним, если бы ей пришлось с ним познакомиться.

Увидит ли она его когда-нибудь, познакомится ли с ним? Признаться, она часто об этом думала. У всех девушек из бригады есть знакомые на фронте, вот был бы и у нее. Она иногда уверяла себя, что даже обязана с ним познакомиться, чтобы поблагодарить его за Славу. Если ей суждено когда-нибудь с ним встретиться, она подойдет к нему, назовет себя и поблагодарит от своего имени и от имени отца. Ей казалось, что так будет значительнее и приличнее. Она ясно представляла себе эту сцену: она говорит, а он, высокий, слушает, глядя на нее сверху строго и серьезно.

Сказав всё, она кивнет головой и уйдет. Она не станет навязывать ему свое общество, потому что оно не может быть для него интересно... Впрочем, он разговаривает со Славой, а Слава на целых пять лет младше ее... Ну, со Славой он разговаривает как с ребенком - не всерьез, он слушает Славин вздор и улыбается. А Соня даже не ребенок...

Может быть, лучше ей с ним не знакомиться, а просто написать ему письмо? Он не будет видеть ее, не будет знать, какая она. Так легче. Он ей ответит, она снова напишет ему, и завяжется переписка... Не раз она уже почти готова была взять перо, бумагу и начать письмо. Однако фразы, которые складывались у нее в уме, почему-то получались тяжеловесными, холодными. И письма она не писала.

Но думать о Лунине не переставала. Чего-чего только она не придумывала! Вот, например, его слегка ранили и раненого привезли в город. Слава, конечно, с ним и говорит ему: "Зачем

вам ложиться в госпиталь? У нас большая квартира, вам там будет отлично, моя сестра будет ухаживать за вами". Ох, какие глупые мечты!.. Но о них всё равно никто не узнает...

3.

Двадцать пятого августа в сводке Информбюро был впервые упомянут Сталинград. С тех пор имя этого города упоминалось ежедневно во всех сводках в течение многих месяцев. На юге страны немцы, наступая, достигли Волги, и там, между Доном и Волгой, началась величайшая битва в истории человечества.

А на севере - у Финского залива, у Ладожского озера, у Волхова причудливые очертания фронтов, сложившиеся еще около года назад, с тех пор почти не изменились. Ленинград попрежнему был осажден, и в осаде этой попрежнему была брешь - путь через Ладожское озеро.

Однако в соотношении сил всё время происходили незримые изменения. Уже сама неподвижность фронтов, столь длительная, свидетельствовала об ослаблении немцев. Существование дороги через озеро превращало осаду Ленинграда в бессмыслицу, и эту бессмыслицу они не могли изменить в течение такого долгого времени. Стало ясно, что враг не смеет уже и мечтать о наступлении на всех фронтах сразу, как летом 1941 года, и что, собрав все силы для наступления на юге, он лишил себя возможности совершать на севере даже небольшие по масштабу операции. Расположение фронтов здесь осталось почти то же, но суть мало-помалу изменилась: немцы перешли к обороне, а напор советских войск всё возрастал. Осажденные постепенно превращались в осаждающих, а осаждающие в осажденных.

Процесс этот шел медленно, подспудно и обнаруживался внезапно во время стычек и небольших боев.

Таких небольших боев, возникавших теперь только по инициативе советского командования, летом 1942 года, когда Лунин со своей эскадрильей находился на тыловом аэродроме, было несколько. Двадцатого июля, например, совершилась так называемая Старо-Пановская операция, к юго-западу от Ленинграда. Цель ее была совсем незначительная: на одном участке оттеснить немцев на несколько сот метров, чтобы помешать им вести огонь по некоторым нашим прифронтовым коммуникациям. И цель эта была полностью достигнута: немцы не выдержали стремительной атаки наших войск и отошли на новый рубеж, оставив в наших руках мощные оборонительнее сооружения своего переднего края, который они укрепляли в течение стольких месяцев. Чтобы исправить положение, они несколько раз ходили в контратаки, но не вернули себе ни метра земли.

Три дня спустя, двадцать третьего июля, нашими войсками юго-восточнее Ленинграда было проведено наступление на захваченную немцами деревню Путролово - узел нескольких шоссейных дорог, сходившихся к мосту через речку Ижору. Это наступление, уже несколько большее, чем Старо-Пановская операция, тоже увенчалось успехом, несмотря на отчаянное сопротивление немцев. Деревня Путролово была полностью освобождена.

После короткого затишья второго августа наши войска завязали бой за поселок Ям-Ижору, расположенный в том месте, где речку Ижору пересекает шоссе, идущее из Ленинграда в Москву. Этот ожесточенный дневной бой, длившийся пять часов, тоже закончился успешно: Ям-Ижору освободили.

Значение этих боев в масштабе такой громадной войны само по себе было ничтожно, однако после них стало ясно, что железное кольцо, стягивавшее Ленинград, не столь уже нерастяжимо и неподатливо.

А в сентябре наши войска вовлекли немцев в новые бои, на этот раз в районе южного берега Ладожского озера.

Немецкое командование мечтало снять наиболее боеспособные части с северных бездействующих фронтов и перебросить их к Сталинграду. Но сделать это не удалось, потому что бездействующие фронты оказались вовсе не бездействующими. Сентябрьское сражение у южных берегов Ладожского озера, в которое немцы были вовлечены против своей воли, не только не дало немецкому командованию возможности отвести часть своих войск к Сталинграду, но, напротив, потребовало переброски к Ладоге новых и немалых подкреплений.

* * *

Десять самолетов-истребителей поднялись с тылового аэродрома ранним туманным утром и журавлиным клином понеслись над лесами - низко, почти на бреющем.

Седой осенний туман клубился в океане лесов, путался в ветвях, бугрился над вершинами, и самолеты то ныряли в его гигантские волны, то снова выскакивали из них. Лунин, шедший во главе клина, тревожно оглядывался - все ли идут за ним, не застрял ли кто-нибудь в тумане, не сбился ли, не поломал ли строй. Но клин всякий раз выскакивал из тумана таким же целым и монолитным, как и нырял в него. Лунин мог быть доволен: летчики его шли превосходно, строй держали отлично. Никогда еще не чувствовал он себя таким могучим. Десять самолетов, повторяющих каждое его движение, готовых исполнить каждое его повеление! Над шершавым океаном северных лесов вел Лунин

свою эскадрилью к фронту, чувствуя свею силу и радуясь ей.

Он вывел самолеты прямо к лысому бугру, и они прошли над самой могилой Рассохина. До чего знаком этот аэродром, до чего знакома каждая еловая вершинка вокруг него, каждая изба на длинной деревенской улице! Сделав круг, они сели - один за другим. Их встретил Проскуряков, огромный и веселый. Лунин отрапортовал ему и представил новых летчиков. Проскуряков обнял Лунина, и они поцеловались.

Всё здесь, на этом аэродроме, казалось Лунину родным и близким, все люди были милы - и Тарараксин, вечный оперативный дежурный полка, и сержант Зина, и даже доктор Громеко. С удовольствием пообедал он в лётной столовой на втором этаже деревянного дома и с удовольствием отправился вечером ночевать в избу, перед которой росла раздвоенная береза. Глухая старуха-хозяйка встретила его как родного, полезла в подпол за огурцами и капустой и постелила для него кровать за цветной занавеской.

Следующим утром Проскуряков с двумя эскадрильями отправился на тыловой аэродром за новыми летчиками и самолетами. Его очень волновал вопрос: дадут ли ему для первой и третьей эскадрилий советские самолеты или, так же как для второй, "Харрикейны". Впрочем, теперь он уже почти не надеялся получить новые советские истребители. Уезжая, он поручил тот участок, охрану которого нес полк, второй эскадрилье. И вторая эскадрилья снова начала воевать.

Сентябрьские бои к югу от Ладожского озера получили название Синявинских, - по имени поселка Синявино, переходившего из рук в руки. Важен был не сам поселок, а так называемые Синявинские высоты, на которых он расположен.

В древние времена Балтийское море было значительно больше, чем теперь, и Ладожское озеро являлось его частью. Это древнее полноводное море плескалось в высоких берегах, а не в таких низких и плоских, как теперь. Синявинские высоты - остаток тех древних высоких берегов. Вода отошла от них, отступила много тысяч лет назад, и прежние берега сохранились в виде не слишком высокого, но очень длинного, заросшего лесом уступа, похожего на ступеньку гигантской лестницы.

Весь этот Синявинский уступ был в руках у немцев, а наши войска находились внизу, под уступом, на плоской равнине. Немцы чрезвычайно дорожили таким преимуществом, считали его очень существенным для своих позиций под Ленинградом, и когда наши войска начали атаковать Синявинские высоты, они напрягли все силы, чтобы удержать их.

Бои у Синявина велись обеими сторонами с исключительным

ожесточением. Стремясь во что бы то ни стало удержать высоты за собой, немцы по мере нарастания наших атак вынуждены были подтягивать к месту боев всё новые и новые силы. Но именно в этом и заключалась основная задача, поставленная перед нашими северными фронтами во время Сталинградской битвы - оттянуть на себя возможно больше сил противника, - и задача эта выполнялась успешно.

Советские бомбардировщики и штурмовики наносили удар за ударом по вражеским укреплениям в районе Синявина. Советские истребители должны были охранять их в полете.

Эскадрилья Лунина стала "шапкой". Так на аэродромах называли группы истребителей, сопровождавшие другие самолеты в качестве прикрытия.

В первый же день боев Лунина вызвал к телефону командир дивизии и сказал ему:

- Подымите шесть самолетов. Пойдете "шапкой" с бакановцами. Встреча в пятнадцать ноль ноль, квадрат двадцать восемь, над мысом.

Бакановцами называли штурмовиков, которыми командовал майор Баканов.

Прикрыть штурмовики, отправляющиеся через озеро на штурмовку Синявинских высот, - интереснейшее задание! Наконец-то Лунин увидит, как они работают!

В то время о замечательных советских самолетах-штурмовиках много говорили на всех аэродромах. Нигде в мире не было еще тогда самолетов, специально приспособленных для штурмовки. Такие самолеты раньше всего появились в советской авиации, - их сконструировал Ильюшин. Конечно, осенью 1942 года штурмовики не были уже новинкой, однако в начале войны они встречались редко и только теперь стали поступать на Балтику в значительном числе. Итак, Лунину предстояло впервые сопровождать штурмовики в полете.

К вылету приготовились три пары: Лунин и Татаренко, Кузнецов и Остросаблин, Карякин и Рябушкин. Лунин, идя по аэродрому к самолетам рядом с Татаренко, сказал ему вполголоса:

- Только не отрывайтесь. Куда я, туда и вы. Ваше дело - идти за мной.

Ему показалось, что по лицу Татаренко пробежала тень неудовольствия, и он прибавил, невольно нахмурясь:

- Всё остальное вас не касается.

Шесть самолетов, один за другим, помчались по мокрой траве аэродрома, - недавно шел дождик и, вероятно, скоро пойдет опять. Лунин взлетел первым, прошел над могилой Рассохина.

Обычно отсюда уже виднелось озеро, но день был на редкость хмурый, тучи плыли над самыми верхушками елок, и видимость не превышала двух-трех километров. Небо было мрачно, зато лес был ярок алел, желтел осенней листвой. Самолеты построились и понеслись.

Вот и берег, такой знакомый Лунину. Темная вода, белые барашки волн. Чем ближе они подлетали, тем шире раскрывался перед ними озерный простор; но горизонта не было видно, - он терялся за бахромой туч, спускавшейся к самой воде. Они пошли над береговой чертой вправо. Низко над мысом, как раз там, где было условлено, они увидели шесть самолетов с горбатыми спинками. Штурмовики!

Летчики так их и называли - "горбатые". Встретясь у мыса, истребители и штурмовики легли курсом на юго-запад и пошли над водой: штурмовики несколько впереди и совсем низко, истребители - немного сзади и выше, под нижней кромкой туч. Лунин время от времени оборачивался и смотрел, идет ли за ним Татаренко. И всякий раз с удовольствием убеждался, что Татаренко движется точно по его следу, повторяет все его повороты и не отстает ни на шаг.

Если бы видимость была лучше, они давно бы уже видели и берег, к которому летели, и лесистый Синявинский уступ за ним. До цели оставалось лететь всего две-три минуты, как вдруг из туч выскочили четыре "Мессершмитта" и двинулись прямо вниз, к штурмовикам, шедшим над самыми волнами.

Эту четверку "Мессершмиттов" нужно было немедленно перехватить и связать боем. Но если в бой с ними ввяжутся все шесть советских истребителей, штурмовики останутся без прикрытия и их собьют над целью. И Лунин по радио приказал Кузнецову и Корякину, не принимая боя, продолжать путь вместе со своими ведомыми, а сам, сопровождаемый самолетом Татаренко, устремился прямо к "Мессершмиттам" и атаковал их, прежде чем они успели настигнуть штурмовиков.

Удастся ли им вдвоем связать боем всех четырех, удастся ли сделать так, чтобы ни один из четырех не прорвался к штурмовикам? Если бы у Лунина был опытный ведомый, он не сомневался бы в успехе. Но Татаренко первый раз в бою. Поймет ли Татаренко, что успех возможен только в том случае, если он при любых обстоятельствах не оторвется от своего командира и будет защищать его, ни на мгновение не выходя из-под его защиты?

Немецкие летчики, увидев самолеты Лунина и Татаренко, повернулись и понеслись им навстречу. Имея такое явное преимущество в численности, они охотно приняли бой.

Лунин и Татаренко немедленно перешли к обороне. Защищаясь от "Мессершмиттов", они теперь ходили друг за другом по кругу. Татаренко охранял хвост самолета Лунина, а Лунин охранял хвост самолета Татаренко. "Мессершмитты" нападали на их круг снаружи, стараясь подстеречь момент, когда хвост одного из советских самолетов окажется незащищенным. Но Лунин беспрестанно сам переходил к нападению; это вынудило "Мессершмитты" тоже защищать хвосты друг друга и тоже построиться в круг - гораздо больший, чем тот, по которому ходили советские самолеты. Так образовались два круга один в другом. Внешний круг состоял из немецких самолетов, а внутренний из самолетов Лунина и Татаренко. Внешний круг вращался в одну сторону, внутренний - в противоположную.

Лунин намеренно вовлек немцев в это кружение, хотя отлично помнил, как предупреждал его Рассохин о бесплодности и опасности подобных кругов. Он не сомневался, что сейчас Рассохин одобрил бы его, приняв во внимание задачу, перед ним стоящую. Сейчас нужно было во что бы то ни стало задержать "Мессершмитты" до тех пор, пока штурмовики не сделают своего дела и не вернутся. А для задержки нет ничего лучше, чем это бессмысленное кружение круг в круге: Конечно, если не сделать ни одной оплошности и, главное, ничем не соблазняться... К тому же, кружатся они под самыми тучами, и чуть только круг станет не нужен, можно будет нырнуть в тучу и пропасть.

Всё по кругу, по кругу... Поворот, еще поворот, опять поворот... Немцам стала надоедать эта карусель. Вот как они мечутся, чтобы заставить внутренний круг распасться! Но ничего у них не выйдет, если только Татаренко не увлечется, не соблазнится. Тут всё дело в характере. Преодолеть соблазн сбить вражеский самолет - для этого нужен характер.

Да, они хитрят, они ловят его на этом!

Один из "Мессершмиттов" вырвался из своего круга, поднялся на несколько десятков метров и, нырнув в тучу, сверху спикировал на самолет Лунина. Пикируя, он промахнулся и, пролетев как раз между самолетами Татаренко и Лунина, пошел вниз, к воде.

Опускаясь, он соблазнительно подставил Татаренко свой хвост.

Татаренко не удержался и пошел вслед за ним.

Внутренний круг распался. Самолеты Лунина и Татаренко разъединились.

"Мессершмитты" мгновенно этим воспользовались. Еще один "Мессершмитт" вышел из круга и пошел вниз, вслед за самолетом Татаренко. Лунин дрался со своими двумя под тучами, а

Татаренко - внизу, у воды.

За себя Лунин не тревожился. Он был достаточно умелым и опытным воздушным бойцом, чтобы не дать сбить себя. Беспрестанно переходя в нападение, он вынудил обоих своих противников держаться на некотором . расстоянии. А если они станут слишком уж наседать на него, у него всегда есть возможность уйти от них в тучи. Нет, за себя Лунин не тревожился, но за Татаренко тревожился очень.

С двумя "Мессершмиттами" Татаренко не совладать. Да и положение у него гораздо труднее, чем у Лунина, Там, внизу, рядом с ним - вода, а вода - не туча, это сосед опасный. Возле воды - так же как возле земли - всякий маневр рискован. Чуть-чуть не рассчитаешь какой-нибудь поворот, ошибешься на метр - и врежешься.

И вдруг Лунин заметил, что самолет Татаренко опустился еще ниже и понесся, кружась, над самой водой, едва не задевая гребней волн.

Зачем Татаренко это сделал? Нечаянно, по незнанию или обдуманно?

Если обдуманно, так это великолепно!

Два "Мессершмитта" вертятся над ним, боятся опуститься так низко. Только очень искусный и уверенный в себе летчик способен отважиться на такую штуку. Ой для них неуязвим, потому что они боятся приблизиться к воде. Он верит в себя больше, чем они в себя, и на этом он построил свой расчет. Конечно, он поступил безобразно, оставив Лунина, но до чего он всё же смелый и способный мальчик...

Внезапно один "Мессершмитт", находясь прямо над самолетом Татаренко, спикировал на него сверху.

Это оказалось самоубийством.

Пытаясь выйти из пике, "Мессершмитт" задел крылом за поверхность воды и переломился надвое.

Катастрофа эта произошла на глазах у всех, и немецкие летчики, видевшие ее, растерялись. Лунин воспользовался мгновенным их замешательством и точной очередью сбил один из нападавших на него "Мессершмиттов".

Тогда два уцелевших "Мессершмитта" обратились в бегство и исчезли в тучах.

Татаренко поднялся к Лунину и пошел за ним.

Самолеты их эскадрильи, сопровождавшие штурмовики до самого Синявина, вернулись раньше их и находились уже на аэродроме. Так Лунину и не удалось на этот раз повидать работу "горбатых".

Лунин и Татаренко приземлились почти одновременно и

почти одновременно вышли из самолетов. И Лунин увидел лицо Татаренко - возбужденное, счастливое лицо!

Это выражение довольства и счастья на лице у Татаренко внезапно привело Лунина в состояние бешенства. Так он, к тому же, доволен собой! Еще бы, ведь он побывал в бою, и "Мессершмитт", который на него пикировал, благодаря его находчивости оказался в воде. Он чувствовал себя героем! Значит, он ничего не понял. Ну что ж, Лунин заставит его понять...

- Гвардии сержант Татаренко!

Татаренко стоял возле своего самолета, окруженный летчиками и техниками. Большие его ладони двигались вверху, изображая собой самолет, это он рассказывал о бое, в котором только что принимал участие, о том, как перевернулся и нырнул в озеро "Мессершмитт". Кудрявая его голова возвышалась над всеми, глаза блестели, и со всех сторон на него были устремлены восхищенные взоры. Услышав голос Лунина, он удивленно поднял брови - Лунин обычно звал его просто Татаренко, а не гвардии сержантом - и проворно подбежал к своему командиру. Все повернули головы, ожидая, что скажет ему Лунин. Татаренко стоял перед Луниным почтительно, но с легкой улыбкой на губах, и было ясно, что он не ожидает ничего, кроме похвалы.

Эта улыбка окончательно взорвала Лунина.

- Гвардии сержант Татаренко! - сказал он, не узнавая своего собственного голоса, точно это говорил не он, а кто-то другой. - Вы вели себя позорно...

Лицо Татаренко дернулось.

- Вы сегодня бросили меня в бою, - продолжал Лунин. - Более позорного поступка летчик совершить не может.

- Товарищ майор! - воскликнул Татаренко, и лицо его стало густо малиновым. - Я... я не бросал вас...

- Если это повторится, вы будете отстранены от полетов, - сказал Лунин, не слушая.

- Так получилось... Я пошел за "Мессершмиттом"...

- Всё, - сказал Лунин. - Идите.

Татаренко повернулся и зашагал прочь, опустив голову, подняв угловатые плечи. Все молча смотрели ему вслед, а он не смел оглянуться, не смел ни с кем встретиться глазами. И Лунин вдруг проникся к нему острой жалостью.

Он уже не был уверен, что поступил правильно. Он вспомнил свой собственный первый бой. Да ведь он вел себя тогда куда глупее, чем Татаренко, а между тем Рассохин не сказал ему ничего... Впрочем, Рассохин, конечно, видел, что Лунин сам понял свои ошибки, и только потому не сказал ему ничего, а

Татаренко не понял и был вполне доволен собой, а ему необходимо было сказать. Но, вероятно, не так резко, не горячась... Или нет, даже еще резче, но не при других... Главное, не при других: он самолюбив, ему тяжелее всего, что это слышали все... А впрочем, кто знает... Да уж теперь всё равно ничего не изменишь... Тяжело управлять людьми - куда тяжелей, чем управлять самолетом...

С этого дня, с этого первого боя эскадрилья почти беспрерывно была в боях. Татаренко оставался ведомым Лунина, и они постоянно находились вместе - и в небе и на земле. Тот первый бой казался теперь самым маленьким, самым незначительным, и о нем они никогда не говорили. Однако, глянув в глаза Татаренко, Лунин всякий раз убеждался, что тот всё помнит. И Татаренко в глазах Лунина читал, что он не забыл ничего.

4.

Они сопровождали штурмовики и бомбардировщики в район Синявина и каждый раз неизменно встречались с "Мессершмиттами". Иногда эти встречи происходили над лесом - то над нашими наземными войсками, то за линией фронта, над немцами, - но чаще над озером, так как "Мессершмитты" постоянно стремились перехватить советские самолеты возможно дальше от цели. В бой втягивались то две-три пары, то :вся эскадрилья целиком.

По мере того как бои за Синявинские высоты становились упорнее, количество "Мессершмиттоз" всё возрастало. Но росло и число советских самолетов. За лето вблизи Ладожского озера было оборудовано несколько новых аэродромов на затерянных в лесах полянах, и на этих аэродромах теперь разместили новые авиационные эскадрильи и полки. Никогда еще не было над Ладогой столько авиации, и вражеской и нашей, как в эти дни. Среди вновь созданных советских авиационных частей были, конечно, и истребители, и Лунин нередко встречался с ними в воздухе. Порой число сражающихся истребителей доходило до нескольких десятков с обеих сторон. Когда одни самолеты возвращались на аэродромы за горючим, другие занимали их место в бою, и огромный клубок стреляющих, догоняющих друг друга самолетов кружился над озером от зари до зари.

Уже через каких-нибудь три-четыре дня молодые летчики эскадрильи стали чувствовать себя старыми, опытными бойцами. Да так и все к ним теперь относились, - столько раз каждый из них за эти несколько дней встречался со смертью. У них даже лица изменились, выражение глаз, еще недавно совсем детское, стало другим, суровым. У многих из них было уже на счету по

нескольку сбитых вражеских самолетов, - у Татаренко, например, целых пять. Правда, из этих пяти только один считался сбитым Татаренко самостоятельно, - тот, который в первом бою переломился, зацепившись крылом за воду, - а остальные числились как сбитые им совместно с Луниным. Татаренко теперь никогда не отставал от Лунина, никогда не покидал его, следовал за ним всюду, сражался только рядом с ним, и никак невозможно было определить, какой из "Мессершмиттов" сбит Луниным, а какой Татаренко.

Это были утомительные дни, трудные, страшные и всё же радостные: летчики чувствовали, что они сильнее немцев. Несмотря на все старания, "Мессершмиттам" почти никогда не удавалось помешать нашим бомбардировщикам бомбить и нашим штурмовикам штурмовать. Советские истребители всякий раз перехватывали "Мессершмитты", отбивали все их атаки, связывали их боем и не отпускали до тех пор, пока штурмовики или бомбардировщики, сделав свое дело, не возвращались домой.

В этих воздушных боях потери немцев, несомненно, были очень велики. Однако эскадрилья Лунина тоже несла потери, и немалые. И притом такие, которых, как казалось, можно было бы избежать.

Началось с того, что Кузнецов потерял свой самолет, и при довольно странных обстоятельствах. Над озером Кузнецова и Остросаблина атаковал "Мессершмитт", причем атаковал вяло, трусливо: дал одну очередь с дистанции метров в триста, повернулся и пошел наутек. Попадания Кузнецов не заметил и вдруг, обернувшись, увидел, что его "Харрикейн" горит. Через несколько мгновений пламя охватило весь самолет, проникло в кабину, и Кузнецов выпрыгнул на парашюте.

Всё это произошло на глазах у Остросаблина, и Остросаблин был поражен, потому что никак не мог понять причины подобного бедствия. У него тоже сложилось впечатление, что "Мессершмитт" если и задел своей пулеметной очередью самолет Кузнецова, так только едва-едва.

На Кузнецове был спасательный пояс, автоматически надувавшийся при соприкосновении с водой. Попав в воду, Кузнецов прежде всего освободился от парашюта. До ближайшего берега было не меньше десяти километров, но за себя он не беспокоился, так как видел над собой самолет Остросаблина и знал, что будет спасен. Сентябрьская вода была холодна, обожженные руки болели. Однако не стужа мучила его, не боль ожогов; его мучило сознание, что он потерял самолет.

Остросаблин связался по радио с аэродромом, с Луниным. Лунин с помощью Тараракcина дозвонился до штаба Ладожской

флотилии, и на поиски Кузнецова немедленно был выслан катер. Остросаблин помог катеру отыскать Кузнецова в озере. Кузнецов пробыл в воде всего один час десять минут. В Кобоне его уложили в полевой госпиталь: опасались, как бы у него не началось воспаление легких. Но он даже насморка не схватил и на следующее утро пешком пришел на аэродром совершенно здоровый, если не считать небольших ожогов на руках. Однако давно уже его не видели таким угрюмым.

Его былая молчаливая угрюмость за последнее время стала проходить, особенно с тех пор, как начались бои. Он уже никого не сторонился, подружился со своими новыми товарищами, и Лунин, заходя в землянку, где летчики поджидали своей очереди взлететь, часто слышал его громкий смех. Он пользовался общим уважением как летчик, уже имеющий некоторый военный опыт, и в первых же боях добился значительных успехов - сбил два "Мессершмитта": один самостоятельно, а другой совместно с Остросаблиным. Всё это окрылило его, подняло его в собственных глазах. И вдруг всё рухнуло. Он вернулся домой без самолета.

Вернуться живым, потеряв самолет, - это было редким происшествием в полку. Чаще случалось так, как было с Никритиным и его самолетом: летчик погиб, а самолет продолжал летать. Хуже всего было то, что Кузнецов не мог даже толком объяснить, отчего его самолет загорелся.

Особенно недоверчиво ко всему этому отнесся Ермаков, как раз в тот день прилетевший на "У-2" с тылового аэродрома.

- А он не выпил перед вылетом? - спросил Ермаков Лунина, когда они остались одни.

Лунин поморщился. Он нисколько не сомневался в том, что перед вылетом Кузнецов был трезв. А вот как бы Кузнецов теперь не запил после всего, что с ним случилось... Он остался без самолета и, следовательно, без дела. Все летали, а он один сидел весь день в избе, где жили летчики, вместе с дневальным. И, глядя в его сухое, помрачневшее лицо, Лунин всерьез опасался, что он не выдержит и запьет.

Но вскоре случилось новое несчастье и заслонило собой происшествие с Кузнецовым, В один и тот же день, в одном и том же бою загорелись и погибли самолеты Остросаблина и Дзиги.

Это был ветреный, холодный, но ослепительно ясный сентябрьский день, когда очертания всех предметов необычайно резки, когда с самолета видно на двадцать пять километров кругом и когда на высоте тысячи метров можно встретить сухой, желтый лист, подхваченный вихрем в лесу и взнесенный ввысь. К этому дню часть Синявинского уступа перешла уже в наши руки, но немцы, подтягивая всё новые и новые силы, беспрерывно бросались в контратаки, чтобы вернуть потерянное. Наши бомбардировщики и штурмовики с утра до вечера крупными группами тянулись через озеро к линии фронта, и охранявшие их истребители с утра до вечера вели бои с "Мессершмиттами", стремившимися прорваться к ним и атаковать их. Огромный крутень сцепившихся самолетов за этот день не раз перекатился через озеро с одного берега на другой.

В этом бою эскадрилья Лунина принимала участие в полном составе. Бой был трудный, напряженный, но успешный и для эскадрильи и для всей нашей авиации. Истребителей у немцев было несколько больше, чем у нас, но чувствовалось, что преимущества искусства, натиска, упорства на нашей стороне. Бомбардировщики и штурмовики перелетали через озеро, бомбили, штурмовали и возвращались, не неся почти никаких потерь.

Благодаря радио Лунин во время боя слышал у себя в самолете голоса всех своих летчиков.

- Напился! Напился! - кричал Карякин в восторге.

Это означало, что "Мессершмитт", за которым он гнался, "напился воды", то есть рухнул в озеро.

- Это уже второй напился, - отвечал Карякину рассудительный бас Костина. - Первого сбили мы с Лазаровичем.

А через несколько минут Карякин, возбужденный погоней и упоенный победой, уже снова кричал:

- Напился!

И Костин подсчитывал басом:

- Это уже третий.

И вдруг Лунин увидел, что один из "Харрикейно;в" горит.

Пламени не было видно, - может быть, оттого, что солнечный свет был слишком ярок, - но густой, черный дым тянулся за самолетом расширяющейся полосой чуть ли не через всё небо.

Кто это?

По крупной цифре на фюзеляже Лунин узнал самолет Остросаблина, ужаснулся и удивился.

Дело в том, что Остросаблин только что летал на аэродром за горючим и патронами и, возвращаясь, не успел еще, в сущности, вступить в бой. Его подожгли с очень большой дистанции, где-то на периферии боя.

Самолет Остросаблина горел, но продолжал лететь, и Остросаблин упорно вел его к берегу, к аэродрому, медленно снижаясь. Лунин, боясь, как бы не произошел взрыв, приказал Остросаблину прыгнуть. Но радиосвязь уже, видимо, была нарушена. Остросаблин ничего не отвечал и не прыгал, продолжая лететь на горящем самолете.

Два "Мессершмитта", прячась в дыму, пристроились к нему сзади, чтобы расстрелять его в воздухе, когда он выпрыгнет на парашюте. Но Лунин заметил их, обогнал и вместе с Татаренко пошел вслед за Остросаблиным - для охраны.

Остросаблин хотел, вероятно, дотянуть до аэродрома, но это ему не удалось. Однако через береговую полосу он перетянул и выпрыгнул над лесом с высоты не больше пятисот метров. Лунин и Татаренко видели, как парашют его повис на елке, а сам он спустился на землю н махнул им рукой: обо мне, мол, не беспокойтесь.

Они расстались с ним и полетели над озером обратно, туда, где оставили сражавшуюся эскадрилью. И, не долетев до места боя, встретили еще один горящий "Харрикейн".

Это был самолет Дзиги. Они заметили его как раз в то мгновение, когда Дзига выбросился из него на парашюте. Случилось это над ладожской трассой, и его падение заметили с буксирного пароходика, тащившего две баржи. Целый и невредимый, он был немедленно извлечен из воды и через час доставлен в Кобону.

И Остросаблин и Дзига вернулись на аэродром одновременно. Подобно Кузнецову, они не в состоянии были достаточно убедительно объяснить, отчего загорелись их самолеты. Немцы, конечно, стреляли в них, но с довольно большой дистанции, и если и задели их своими очередями, то еле-еле двумя-тремя пулями, находившимися, к тому же, уже на

излете. Лунин подумал о том, сколько раз был пробит пулями тот "И-16", на котором он летал весь первый год войны, но ни разу он не загорелся.

Теперь уже три летчика эскадрильи остались без самолетов и печально бродили по аэродрому, по деревенской улице, пока остальные летали. Кузнецов угрюмо томился, Остросаблин и Дзига не способны были слишком долго оставаться в бездействии: их сильные руки требовали работы. И работа им нашлась - колоть дрова для камбуза. Все работники кухни и столовой выходили на двор посмотреть, как они, мрачно размахивая тяжелыми

колунами на длинных топорищах, с одного удара разваливали метровые березовые чурбаки толщиной в обхват. Они срывали на поленьях свою досаду, и гора наколотых дров всё росла и росла.

А еще день спустя новый состав эскадрильи понес первую утрату: сгорел вместе со своим самолетом летчик Вадим Лазаревич.

Случилось это возле Синявина, над передовой. Бомбардировщики под охраной Лунина, Татаренко, Хаметова и Лазаревича бомбили немецкие дзоты на холме. С холма по советским самолетам стреляли зенитки, но вялый огонь причинял мало беспокойства. Потом появились два "Мессершмитта" и, кружась, сделали новую неуверенную попытку прорваться к бомбардировщикам. Но четыре советских истребителя отогнали их, и они до конца бомбежки вертелись в стороне, время от времени постреливая. И вдруг самолет Лазаревича загорелся.

Пламя сразу охватило его, и, весь в черном дыму, он быстро терял высоту. Лунин не спускал с него глаз, нетерпеливо ожидая, когда наконец от него отделится человеческая фигурка с парашютом. Но Лазаревич так, из самолета и не выпрыгнул. Неизвестно, что ему помешало прыгнуть: был ли он ранен, или обожжен, или потерял сознание от дыма и жара, или просто растерялся. Самолет, пылая, упал в лес - немного позади нашего переднего края, и Лазаревич сгорел вместе с самолетом.

Это была первая смерть среди летчиков нового состава. Боль, вызванная гибелью Лазаревича, показала им самим, как они сроднились друг с другом за короткое время. Карякин, с начала боев выпускавший по примеру Кабанкова "Боевой листок", выпустил номер с портретом Лазаревича в траурной рамке и большой статьей под названием: "Мы отомстим за тебя, Вадим!". Вспомнили, что Лазаревич был женат, и решили написать письмо его жене. Писали сообща, вечером, после полетов, при свете керосиновой лампы, и письмо вышло торжественное и

трогательное. В нем они называли Вадима Лазаревича героем, павшим смертью храбрых за Родину, рассказывали, как любили его, клялись довести до конца то дело, за которое он отдал жизнь, и вечно хранить о нем память, обещали молодой его вдове дружбу и помощь...

За одну неделю боев от десяти новых самолетов, которых так долго ждали, осталось только шесть. Боевая мощь эскадрильи сократилась почти вдвое. Лунин и Ермаков были очень удручены этим, тем более что такой значительный урон был не вполне объясним.

- Что ни говори, а всё-таки тут летчики тоже виноваты, - утверждал Ермаков. - Остросаблин, Дзига и бедняга Лазаревич - это всё народ послабей. Небось у вас и у Татаренко самолеты не загорятся.

Но Лунин был убежден, что здесь летчику не поможет ни опытность, ни искусство. И через несколько дней стало ясно, что он прав.

5.

Все эти события происходили у Славы почти на глазах: он провожал летчиков в каждый полет, он встречал их на аэродроме при возвращении, он тут же, у самолетов, слышал их рассказы обо всем, что случилось с ними в бою. Пока самолеты находились в воздухе, он проводил время с Кузнецовым, Дзигой и Остросаблиным, выслушивал их сетования, утешал их как умел и горевал вместе с ними.

Вместе с Луниным и всеми летчиками. почувствовал он себя обиженным, когда до аэродрома дошла весть, что первая и третья эскадрильи полка, перевооружившиеся в тылу, получили не "Харрикейны", а новые советские самолеты, те самые, о которых они слышали еще весной. Вышло несправедливо: вторая эскадрилья, которую из уважения к ее заслугам раньше всех отправили на перевооружение, оказалась обделенной.

- Хоть бы посмотреть, как на них летают... - вздыхал Иван Дзига.

- А я и смотреть не хочу! - с горячностью говорил Остросаблин. - Очень надо! Они будут летать и драться, а мы слоняться по аэродрому...

И Слава вполне разделял его горячность и тоже негодовал на обидное положение, в котором оказалась эскадрилья.

Но, кроме забот и огорчений, общих для всей эскадрильи, были у Славы и свои собственные, личные заботы и огорчения.

Вернувшись из Вологодской области после безмятежно проведенного лета, он нашел целую кипу писем от отца. Отец его, Всеволод Андреевич, наконец с громадным опозданием узнал обо

всем, что случилось с семьей. Он знал уже не только о гибели жены, но и о смерти тестя. Как и до всех во всей стране, докатилась до него страшная весть о голоде в Ленинграде. Представление обо всем, что происходило в его родном городе, было у него довольно неясное, но от этой неясности всё казалось ему еще ужаснее. Двое осиротелых детей, беспомощных, слабых, брошенных среди чужих людей в вымирающем от голода осажденном городе, под обстрелом, под бомбами, среди разрушенных домов и валяющихся по улицам трупов... Он сам всё это время был беспрерывно в боях, дивизия, в которой он служил, сражалась в верховьях Дона, он жил трудной, до предела напряженной жизнью, но о детях своих он не забывал никогда. Однако что он мог сделать? Как им помочь? Он мог только писать письма. И он писал письма.

От Сони он узнал - тоже с, большим опозданием,- что Слава уехал из города и живет где-то на аэродроме, у летчиков. Соня писала, что там его хорошо кормят, но это мало успокаивало. Всеволода Андреевича. Аэродром фронт, а фронт вовсе не место для двенадцатилетнего ребенка. К тому времени у Всеволода Андреевича установилась переписка с одной родственницей, пожилой и семейной. женщиной, которая вместе с заводом, где работал ее муж, эвакуировалась из Харькова в Сибирь. У нее тоже были дети, и она соглашалась взять к себе Славу. И, несмотря на то что согласие свое она сопровождала в письмах множеством ссылок на разные житейские трудности, множеством дополнений и оговорок, которые заставляли несколько сомневаться в ее искренности, Всеволод Андреевич считал, что Славе, раз ему удалось выехать из города, следует ехать к ней.

От Сони он узнал номер полевой почты тех летчиков, которые приютили Славу, и стал писать - прежде всего, конечно, самому Славе, а затем и комиссару части, то есть Ермакову. Он сердечно и пылко благодарил комиссара за спасение мальчика от голода, за заботу о нем, и тут же умолял посодействовать отъезду Славы в Сибирь к двоюродной тете.

Ермаков с самого начала принимал не меньшее участие в Славиной судьбе, чем Лунин. Он жалел Славу, любил его, привык к нему и, в сущности, очень баловал, относясь с бесконечной снисходительностью ко всему, что Слава делал. И письма Всеволода Андреевича читал он с сомнениями, колеблясь и не зная, как поступить.

Ему вовсе не хотелось расставаться со Славой, и он не был уверен, что это необходимо. Например, для здоровья Славы пребывание в полку было, безусловно, полезно: тут не могло быть двух мнений, стоило только посмотреть на его розовые круглые

щёки и вспомнить, каким он был, когда его привезли из Ленинграда. Сказать по правде, Ермаков в глубине души считал, что пребывание Славы в полку полезно и для полка, хотя, пожалуй, не мог бы объяснить, чем именно. Конечно, в утвержденных списках личного состава авиационных частей не предусмотрено место для двенадцатилетнего мальчика, а Ермаков весьма уважал всякие списки и наставления, однако он не мог не заметить, как смягчались и прояснялись лица летчиков и техников, когда они видели Славу, как смеялись и шутили они, разговаривая с ним, и не мог избавиться от мысли, что всё это идет им на пользу. Читая письма Всеволода Андреевича, он испытывал враждебное чувство к этой уехавшей в Сибирь двоюродной тете. С какой стати и за какие заслуги полк должен отдать ей мальчика, которого они спасли от голода, одели, пригрели, с которым сжились и которого полюбили как дружка, как братишку?

Но, с другой стороны, отец есть отец, с этим нельзя не считаться. Да и не дело, пожалуй, воинской части, второй год находящейся в беспрерывных тяжелых боях, воспитывать ребят. И, главное, мальчику Славиного возраста необходимо учиться в школе, а на фронте школ нет.

Этот довод Ермаков считал самым убедительным из всех доводов, приводимых в письмах Всеволодом Андреевичем. Когда Славу привезли на аэродром, он был слишком слаб и ни о каком ученье нечего было и думать, его нужно было кормить, а не учить. Но теперь, когда он окреп, он должен учиться. Один год он уже потерял, нельзя допустить, чтобы он потерял и второй. А где он может учиться? Только живя у двоюродной тети...

Из писем отца, из слов Ермакова Слава знал об этих планах и всякий раз, услышав про свою уехавшую в Сибирь тетю, бледнел от ненависти и страха. Уехать к тете - это для него значило навсегда расстаться с Луниным, с летчиками, с полком, который давно стал для него родным домом. А так как он понимал, что отправка в Сибирь ему действительно угрожает, он стал чувствовать себя как человек, находящийся в крайней опасности.

Но он сразу забыл о своих тревогах, когда на аэродром внезапно пришла весть, что Лунин выпрыгнул из горящего самолета за линией фронта, а Илья Татаренко пропал без вести.

Это случилось при сопровождении штурмовиков, громивших немецкие батареи под Синявином. Немцы встретили самолеты сильным зенитным огнем. Лунин привык не слишком считаться с немецкими зенитками, так как знал, что в его маленький и увертливый самолет нелегко попасть. Маневрируя, он оставлял разрывы зенитных снарядов либо далеко позади, либо сбоку.

Внезапно самолет его вздрогнул от легкого толчка. Его задели - не снарядом, конечно, а маленьким осколком, далеко отлетевшим при взрыве. Лунин оглянулся, чтобы посмотреть, куда именно попал осколок, и увидел, что самолет его горит.

Пламя не успело еще разгореться, и Лунин сделал попытку сбить его. Он кинул свой самолет в переворот, потом в пике, он делал одно стремительное и резкое движение за другим. Но проклятый "Харрикейн" был горюч, как береста. Пламя крепко держалось за его бока и быстро ползло по ним к кабине, к бакам с горючим.

При каждом повороте Лунин видел позади себя самолет Татаренко и белые венчики зенитных разрывов вокруг него. Теперь немецкие зенитки охотились за Татаренко. "И чего он идет за мной! И чего он не уходит! - думал Лунин. Ведь они сейчас и его подожгут!"

Поняв, что сбить пламя невозможно, Лунин повернул на восток, чтобы успеть пересечь линию фронта. Если уж прыгать, так не над немцами.

Пламя подступило к горючему. В кабине стало нестерпимо жарко. Когда на Лунине загорелся комбинезон, он прыгнул.

Высота была не очень велика, - метров восемьсот, не больше. Он почти сразу дернул кольцо на груди. Парашют раскрылся, и он повис, качаясь на стропах.

И сразу для него возник весь мир звуков, заглушаемый в самолете гулом мотора. Лунин услышал грохот фронта, равномерный и непрерывный, как грохот морского прибоя. В этом грохоте он различал и рев орудий; и треск пулеметов. Воздух тяжко вздрагивал от взрывов.

Раскачиваясь под шелковым куполом парашюта, Лунин жадно глядел вниз, стараясь угадать, по какую сторону от линии фронта он упадет.

Но осенняя земля была так пестра, что на ней ничего нельзя было разобрать. По ней в беспорядке двигались пятна теней от быстро несущихся разорванных туч, а между тенями солнце так ослепительно отражалось в болотах и лужах, что больно было смотреть. Опавшая листва, ярчайшая -оранжевая, красная, желтая, - всё скрывала и путала, как самая лучшая маскировка. Болота, болота, осина, ольха, береза... Чьи пушки, чьи дзоты в этих болотах - немецкие или наши?

На небо было смотреть спокойнее, и он стал смотреть на небо. И сразу же в небе, совсем недалеко от себя, увидел черную полосу дыма.

Это горит самолет!

В первое мгновение он принял его за свой самолет и

удивился: неужели его самолет еще в воздухе, до сих пор, не упал? Нет, так не бывает. Значит, это другой самолет. Чей? Татаренко?

Но тут порыв ветра нагнул купол парашюта и заслонил от Лунина ту часть неба, где горел самолет.

Вообще, чем ниже спускался Лунин, тем сильнее его крутило и швыряло ветром. Тучи шли с запада на восток, и, следовательно, ветер должен был гнать Лунина к востоку, как раз туда, куда он стремился. Но оказалось, что весь воздух слоист и что на высоте четырехсот метров дует в противоположном направлении. Лунина поволокло к западу. Он услышал жужжание пуль и понял, что в него стреляют. Несколько дырочек возникло в шелке парашюта. Но ниже ветер опять переменился. Стремительный и порывистый, он погнал парашют с Луниным к востоку, над вершинами, вместе с поднятыми с земли листьями, и этим спас его от расстрела. Несколько раз Лунин, вися, уже почти задевал ногами за деревья. Но вихрь опять подхватывал его, подбрасывал и волок дальше.

Наконец ему удалось ухватиться за голый ствол совсем уже облетевшей старой осины. Парашют, раздуваемый ветром, старался сорвать его и волочить дальше.

Лунин запутался в парашютных стропах и понял, что освободиться можно только с помощью ножа. Обхватив левой рукой ствол, он правой достал нож и одну за другой перерезал все стропы.

Он освободился от парашюта, теперь ему оставалось только слезть с осины. Пять метров отделяло его от земли.

Кругом были вершины, ветки, листья, он начего не видел в десяти шагах от себя. Но весь, воздух гремел. С омерзительным воем пролетали над ним снаряды, - неизвестно откуда и неизвестно куда. Короткие очереди автоматов доносились со всех сторон, но определить, чьи это автоматы и в кого они стреляют, было невозможно.

Переступая с сука на сук, всем телом прижимаясь к шершавому мокрому стволу, он стал спускаться. Вдруг толстый сук, на который он поставил ногу, треснул и обломился. Лунин не удержался, выпустил ствол из рук и, ломая ветки своим плотным пятипудовым телом, полетел вниз.

Земли он коснулся прежде всего ногой. Но нога подвернулась, что-то хрустнуло в ней, и он опрокинулся на спину. Боль в бедре была так сильна, что он потерял сознание.

Он очнулся потому, что холодные капли упали ему на лицо. Шел мелкий дождик. Лунин лежал на черной, торфяной земле, мокрой, топкой, пронизанной корнями и прикрытой листьями.

Здесь было сумрачно, безветренно, поднимались корявые, кривые стволы, пахло гнилыми пнями, опенками. Вокруг гремело, не умолкая, но здесь только листья неторопливо слетали с веток на землю да сыпались капли дождя. Лунин шевельнулся и услышал свой собственный стон, так сильна была боль. Левая нога казалась огромной, больше его самого. При каждой попытке переменить положение, двинуться боль становилась непереносимой.

Он стиснул зубы, чтобы стоном не выдать себя. Кто это стреляет - наши или немцы? Вон тут немцы, а здесь наши? Или, наоборот, тут наши, а здесь немцы? А вдруг и тут и здесь немцы, а наши вон там, вдалеке? Если бы он мог двигаться... А может быть, как раз в этой чаще безопаснее всего... Нет, какая тут безопасность.. Каждую минуту сюда могут прийти... И слишком мокро...

Он лежал, в сущности, в воде, и весь его комбинезон намок, отяжелел от влаги. Именно мокрота заставила его в конце концов двинуться. Зажмурясь от боли, с трудом воздерживаясь от крика, он повернулся на живот и поднялся на локтях. Вот так, на локтях, с помощью колена правой ноги, он будет ползти. Куда? Пожалуй, сначала влево, где выстрелы ближе всего. Нужно узнать, кто там. Если там немцы, он поползет в другую сторону...

Левая нога совсем не повиновалась ему, волочилась по земле, задевала за все корни. Через каждые два-три метра он останавливался и долго лежал ничком, ожидая, когда нестерпимая боль в поврежденном бедре хоть немного утихнет. Ползя, он обливался потом от боли; однако после каждой остановки опять упорно полз вперед.

Мало-помалу роща осин осталась позади, и он очутился в кустах ольхи, очень густых, хотя наполовину уже облетевших. Выстрелы казались еще ближе. Проползти сквозь кусты ему не удалось, и он ополз их кругом. Но впереди тоже были кусты, и прежде чем оползти их, он, изнемогая от боли, прилег передохнуть.

Вдруг хрустнула ветка, и совсем близко он услышал шаги. Он бесшумно вытащил пистолет из кобуры, положил его перед собой и замер. Кто-то шел там, за кустами. Судя по звуку, двое. Они приближались. Внезапно сквозь густую сетку прутьев он увидел их. Рассмотреть их как следует было невозможно. Однако он мгновенно определил: немцы.

Вероятно, там, за кустами, пролегала тропинка. Оба немца шли осторожно, низко пригнувшись. На головах - шлемы. Разговаривали они шёпотом; но Лунин ясно слышал их шёпот, - так близко они прошли. Здесь тропинка, видимо, сворачивала, и

они стали удаляться.

Лунин, забыв про боль, смотрел им. вслед не отрываясь. Он воевал уже больше года, он сбил десятки немецких самолетов, но ни разу не слышал звуков чужой речи.

Еще минута, и стук их тяжелых сапог затих. Теперь было ясно, что в той стороне, куда он полз, - немцы. Остается узнать, кто там, в другой стороне.

И Лунин, преодолевая боль, пополз назад. Опять вокруг кустов, опять между осинами. Дождь перестал, выглянуло солнце, потом снова пошел дождь, а он всё полз. Вот наконец то место, где он упал, сорвавшись с осины.

Здесь он опять полежал неподвижно, чтобы боль хоть немного поутихла. Он так изнемог от боли, что ему не хотелось больше никуда двигаться. Но он пересилил себя и пополз дальше.

Однако скоро он обнаружил, что с каждым метром, который он преодолевает, земля становится всё более рыхлой и мокрой. Он полз по воде, стоявшей в траве, и локти его глубоко вязли в грязи. Он упорно продолжал ползти, но наконец, несколько раз окунув в грязь подбородок, понял, что перед ним трясина, которую ему ползком преодолеть не удастся. Он повернул и после долгих усилий снова приполз к той осине, с которой упал.

Теперь он уже больше никуда отсюда не поползет. Он никогда не думал, что такая боль может существовать... Она заслоняла от него всё. При каждом движении она росла, росла... Нет, лучше не двигаться.

Забытье охватило его.

Вдруг он очнулся.

Шорох!

Он мгновенно повернул голову и прислушался.

Словно кто-то ползет - там, за стволами осин. Совсем уже рядом... Руку с пистолетом Лунин положил перед своим лицом. Он будет стрелять - сначала в них, потом в себя. Живьем он не дастся...

Щорох... Шелест...

Потом шёпот:

- Не стреляйте! Это я!

И прямо за черным стволом своего пистолета Лунин увидел приподнявшееся над землей лицо Ильи Татаренко.

- Я так и знал, что вы здесь! - прошептал Татаренко. - Я видел, как вы упали в эти осины.

Черные глаза его блестели: он был рад, что нашел Лунина.

От боли, от волнения, от радости Лунин не мог произнести ни слова, а Татаренко продолжал торопливым шёпотом:

- Я всё время шел за вами... Меня подожгли через минуту

после вас, еще раньше, чем вы выпрыгнули. Видели?.. Нет? А я всё время вас видел. Когда вы прыгнули, и я прыгнул...

- Сразу? - спросил Лунин, пораженный внезапной догадкой.

- Ну да... почти... Ведь я горел...

- А вы не могли больше тянуть?

- Тянуть?.. Сильно уже припекало... Пожалуй, немного еще потянуть я мог бы. Еще секунд десять... А потом всё равно прыгать...

- Но через фронт перетянули бы?

- Через фронт перетянул бы... Но мне не хотелось от вас отрываться... Мне показалось, что вас понесло прямо к немцам...

Он внезапно умолк, не уверенный, одобряет Лунин его поведение или нет. А Лунин, всё поняв, смотрел на него, потрясенный. Татаренко мог выпрыгнуть позже, над нашими. Но он видел, что Лунин падает над немцами, и выпрыгнул, чтобы не оставить его там одного.

- Ветер крутит... Меня понесло в одну сторону, а вас в другую, продолжал он. - Я упал возле наших.

- А где наши? - спросил Лунин.

- Где-то там... - Татаренко махнул рукой в сторону трясины, через которую Лунину не удалось переползти. - А там немецкий блиндаж, я сейчас видел. Близко - ну, метров сто отсюда. Там чего-то накопано, проволоки накручено, и сидят они, зарывшись, как суслики... А здесь ничья земля болото; на одной стороне - они, на другой - наши... Вы удачно в этот осинник спустились - тут густо и можно в двух шагах мимо пройти и вас не увидеть... Знаете, я под этой осиной был уже раз. Вы что, уходили?

Лунин кивнул.

- Хорошо, что я вернулся...

Татаренко вдруг умолк, как-то по-особенному взглянул на Лунина, потом спросил:

- Товарищ гвардии майор, а вы не ранены?

- Нет, - ответил Лунин. - Так... ушибся.

- Нога?

- Да.

- Сломана?

- Не знаю. Ходить не могу.

- Эх я, болван! - прошептал Татаренко. - Как я сразу не... Вы и ползти не можете? У, как вам больно!..

Его юношеское выразительное смуглое лицо сморщилось, когда он представил себе, какую боль должен был терпеть Лунин, Он подполз к Лунину, лег с ним рядом, поднял его руку и обвил ею свою шею.

- Держитесь так, - сказал он.

И Лунин сразу оказался, лежащим на его широкой, гибкой, крепкой спине. Он пополз, легко и осторожно неся на себе Лунина.

Он старался, чтобы больная нога Лунина не волочилась по земле, не задевала за кусты. Он полз через топь, под тяжестью Лунина всем телом погружаясь в жидкую грязь. Вокруг болота попрежнему стреляли, над ними попрежнему с визгом пролетали снаряды, и разные подозрительные трески и шелесты, совсем близкие, заставляли их надолго останавливаться. Дождик то шел, то переставал, иногда на несколько мгновений выглядывало солнце, быстро спускавшееся, светившее уже сбоку, сквозь прутья кустов. Татаренко двигался наугад, но быстро и уверенно принимая решения. Он был очень возбужден всем случившимся, и Лунин почти всё время слышал его горячий, торопливый шёпот.

- А ведь я ваш парашют нашел раньше, чем вас, - рассказывал он. Лежал в луже... От вас метрах в двухстах... Далеко его отнесло...

Он возмущался непривычной для него сыростью северных лесов:

- Здесь все так и живут, по уши в воде... А у нас в степи сейчас, в сентябре, сушь, теплынь, в любом месте ложись в траву и спи...

Потом вдруг вспоминал, что он остался без самолета!

- И двух недель не пролетал... А когда дадут новый?.. Может, долго не дадут? А что делать? Ходить в столовую, потом домой, потом снова в столовую?.. Нет, вправду, может, долго не дадут? Может, всю зиму не дадут?..

И беспрестанно спрашивал, как чувствует себя Лунин, удобно ли ему!

- Вы налегайте, налегайте на меня, товарищ командир, не беспокойтесь... Очень болит? Или легче?

- Немного легче, - отвечал Лунин.

На самом деле ему нисколько не становилось легче. Боль не отпускала. Он весь одеревенел и обессилел от боли.

На них выскочил красноармеец, размахивая гранатой. Увидев, что это свои, он сказал:

- Вы прямо на минные поля ползете.

Здесь, оказывается, можно было не ползать, а ходить, и он повел их по узкой мокрой тропинке через старую облетающую березовую рощу, где почти у всех берез были срезаны снарядами вершины, Татаренко нес Лунина, как ребенка, посадив его себе на руки.

- Опустите меня на землю... - несколько раз просил Лунин.

- Вам неудобно, товарищ гвардии майор? - спрашивал

Татаренко.

- Мне-то удобно, да ведь вы устали. Этак нельзя. Надо вам отдохнуть.

- Я нисколько не устал, - возражал Татаренко. - Вот еще! Вы только держитесь за меня покрепче,

И продолжал шагать.

Наконец они оказались в ходе сообщения - длинном окопе, на дне которого по колено стояла черная вода. Им теперь поминутно попадались красноармейцы с автоматами; многие из них дремали, стоя в воде, прислонясь к стенке окопа. Затем Татаренко и Лунин попали в землянку, где их приветливо встретил очень молоденький лейтенант; закутанный в плащ-палатку, он, поджав ноги, сидел на нарах, как птица на жердочке, потому что на дне землянки стояла вода.

- Мокро живем, - пожаловался он Татаренко. - Вот зима придет, так посуше станет, а до тех пор и спим в воде, и едим в воде...

Татаренко с любопытством приглядывался к незнакомому пехотному житью-бытью.

- И давно вы в этих болотах стоите? - спросил он,.

- Да, почитай, уже год, - ответил лейтенант, подумав. - Те, что справа от нас, под Синявином, те дерутся, - прибавил он с завистью, - а у нас тихо. Полеживаем, постреливаем... Не слыхали, когда пойдем в наступление, освобождать Ленинград?

Он впервые видел летчиков вблизи и, кажется, полагал, что они должны быть гораздо более осведомлены обо всем, чем он сам. Принял он их радушно и участливо расспрашивал о ноге Лунина. Он объяснил, что у них есть и медсанбат и доктор, и даже сам вызвался проводить их туда. Но Лунин, обессилевший от боли и до сих пор молчавший, вдруг запротестовал. Его охватил ужас перед возможностью оказаться в чужом медсанбате, далеко от своих, он стремился во что бы то ни стало вернуться домой, к себе в полк.

- Не оставляйте меня! - шептал он Татаренко. - Я вполне могу терпеть... Только не оставляйте!

Татаренко сначала колебался, не зная, как правильнее поступить, но, заметив неподдельную тревогу в глазах Лунина, принялся стойко обороняться от всех попыток уложить его в чужой медсанбат. Он просил машину, чтобы довезти своего раненого командира до аэродрома. Лейтенант усердно звонил по телефону и минут через двадцать сообщил, что начальник штаба полка предоставляет в распоряжение раненого летчика "эмку".

Устроить Лунина в легковой машине было трудно, потому что он из-за больной ноги не мог сидеть. И Татаренко до самого

аэродрома держал его грузное тело у себя на руках, чтобы по возможности избавить от толчков и ударов.

Солнце давно уже зашло, осенняя ночь навалилась на землю густой и влажной тьмой. Эту тьму время от времени разрывали яркие сполохи взрывов, на фоне которых мгновенно возникали, чтобы сразу исчезнуть, причудливые очертания уже почти голых березовых ветвей. Много часов ехали они в темноте по лесным дорогам, с шелестом расплескивали лужи, подскакивали на корнях и колдобинах, и перед ними бежало пятнышко голубого света, падавшего из почти целиком заклеенных, выкрашенных синей краской фар.

Стараясь не стонать, Лунин думал, что вот так же он вез Серова. А теперь его самого везут. У Серова рука, а у него нога... Неужели и он, как Серов, уедет теперь куда-нибудь вдаль и навсегда расстанется с эскадрильей, с полком и не увидит, что с ними будет дальше?... Эта мысль приводила его в ужас, мучила сильнее боли. Хорошо, что Татаренко его не выдал и он попадет не к чужому доктору, а к своему... Гвардии военврач третьего ранга Громеко... Чужой доктор непременно отправил бы, а со своим он сговорится.

Несмотря на боль, он в конце концов всё-таки задремал и проснулся от шума голосов и яркого света. Его внесли на руках в избу санчасти. Ермаков, Хильда, Слава, Коля Хаметов, Костин, Деев, Ваня Дзига... Как бледны их лица... Или это только так кажется от света керосиновой лампы?.. Огоньки дрожали в зрачках их встревоженных глаз.

На аэродроме в эту ночь никто не ложился, все ждали. О том, что Татаренко, которого вначале считали пропавшим без вести, нашелся и что он везет Лунина, все уже знали от Тараракcина, до которого эта весть дошла по телефону.

- Всех пйошу удалиться! Сколько йаз еще повтойять? - говорил доктор Громеко, поспешно надевая халат. - Вот сюда его кладите, на стол. Остойожно!

- Доктор, вы не отправите меня отсюда, как Серова? - спросил Лунин. Не отправляйте... Делайте со мной всё, что хотите, но только оставьте здесь...

- Вас? Отпйавлять? Куда? - громко переспросил доктор, ловкими и быстрыми движениями освобождая Лунина от его намокшего, грязного комбинезона. - Зачем вас отпйавлять? С такими пустяками мы и сами спйавимся. Все кости целы. У вас пйосто вывих. Не пейелом, а вывих... Минутку... Я впйавлю вам ногу в сустав, и чейез тйи дня вы будете пйыгать...

Доктор обхватил руками больную ногу.

- Уже? - спросил Татаренко, всё еще державший Лунина за

плечи.

Доктор взглянул ему в лицо. У Татаренко дрожали губы.

- Сейжант Татайенко, вы тйусите, как баба. Уходите, вы мне не нужны! приказал доктор. - Маша! - крикнул он санитарке. - Подойдите. Станьте здесь. Дейжите гвайдии майойа за плечи. Вот так!

Он дернул Лунина за ногу, и Лунин потерял сознание от боли.

7.

Бои у Синявина к концу сентября поутихли. Они не внесли сколько-нибудь существенных изменений в очертания фронтов вокруг Ленинграда и Ладоги. Но дело свое они сделали: немцы теперь знали, что не могут отсюда увести на Сталинградский фронт не только ни одной дивизии, но ни одного полка, ни одного батальона.

- С немцем случилось, как с тем дураком, который кричал, что он поймал медведя, - сказал Уваров, зайдя навестить Лунина в санчасть. - Ему кричат: "Тащи его сюда!". А он: "Не могу, медведь не пускает!".

Лунин никогда не видел Уварова таким оживленным и веселым, как в этотраз. Он словно знал что-то хорошее, но не хотел сказать. Лунин спросил его, как дела под Сталинградом.

В те дни все спрашивали Уварова о Сталинграде. Гигантская битва на Волге продолжалась, волнуя все сердца, а сообщения сводок были скупы и сдержанны.

- Мне об этом известно столько же, сколько и вам, - ответил Уваров. И думаю я об этом то же самое, что и вы..

- Как? - удивился Лунин. - Что же вы думаете?

- Что тетива натянута до предела, - сказал Уваров неторопливо и серьезно.

- И что ее скоро спустят?

- Вот-вот.

- Да, и мне так думается... - сказал Лунин.

Уходя, Уваров проговорил:

- Скорее поправляйтесь, гвардии майор. Вас ждет сюрприз.

Лунин, после того как доктор Громеко вправил ему, вывихнутую ногу в сустав, выздоравливал довольно быстро. Нога его распухла и стала похожа на бревно, но доктор усердно лечил ее припарками и горячими ваннами, и опухоль постепенно спадала. Больных, кроме Лунина, в полку не было, и Лунин лежал один в той половине избы санчасти, которая именовалась "палатой". Впрочем, на одиночество он жаловаться не мог; у его койки постоянно сидели посетители.

Летчики его эскадрильи начинали свои посещения с утра.

Приходили по два, по три человека и рассаживались на деревянной скамье, перенесённой из "приемного покоя" в "палату". В конце концов здесь собралась бы вся эскадрилья, если бы доктор не начинал выгонять посетителей, когда их становилось слишком много. Летчики вынуждены были сидеть у койки Лунина посменно. И Лунин, глядя в их мальчишеские, открытые, милые лица, дивился их любви к нему.

Он сам успел привязаться к ним, хотя знал их всего каких-нибудь два месяца. Когда он не видел их несколько часов, начинал скучать. Проснувшись, он ждал их и радовался, услышав стук двери и суровый окрик доктора:

- Йябушкин, вытйите ноги! Опять гйязи нанесете В палату...

Иногда ночью, вспоминая их, Лунин даже радовался тому, что у него нет никакой семьи. Разве мог бы он любить их так безраздельно, если бы у него была семья?.. Особенно часто бывал у него, конечно, Татаренко, Откровенный, общительный и пылкий, он раз двадцать за день забегал в санчасть и делился с Луниным каждой новостью.

А новостей было немало. Например, сразу же после Синявинских боев все молодые летчики получили звание младших лейтенантов. В радости их по поводу этого события было много детского. Все они приходили к Лунину покрасоваться в новеньких кителях с новыми нашивками на рукавах и откровенно наслаждались блеском своих золотых пуговиц.

Но радость эта была отравлена сознанием того, что эскадрилья оказалась, в сущности, без самолетов, и изменить этого не могли ни новые звания, ни новые кители. Правда, четыре "Харрикейна" у них еще оставались, но к ним ни у кого уже не было никакого доверия, и после окончания Синявинских боев командование запретило на них летать.

Хуже всего было то, что летчики второй эскадрильи не могли рассчитывать на скорое получение новых самолетов. Ведь эти "Харрикейны", которые так их подвели, они получили совсем недавно. А тут случилось событие, с особой ясностью показавшее, как печально их положение. К первому октября из тыла прилетели две эскадрильи полка на новых советских самолетах.

Лежа в санчасти на койке, Лунин весь день слышал бодрый и певучий гул моторов. Майор Проскуряков, зашедший проведать Лунина и сразу заполнивший собой всю "палату", сиял от счастья и гордости: никогда еще полк, которым он командовал, не владел такой прекрасной и могучей техникой.

Летчики второй эскадрильи, обделенные, с жадным вниманием рассматривали эти новые машины, им не доставшиеся, завистливо вздыхали и бегали к Лунину поделиться

своими впечатлениями. Их восхищению не было предела. Как красивы эти новые самолеты, как они легко отрываются от земли, как круто набирают высоту, как проста на них посадка! И главное - быстрота! Такой скорости никогда не достигали ни "И-16", ни "Харрикейны", ни "Мессершмитты".

Все с нетерпением ждали известий, как будут вести себя "Мессершмитты" при встречах с новыми советскими истребителями. И оказалось, что "Мессершмитты" склонны вести себя крайне осторожно. Когда летчики первой и третьей эскадрилий появлялись над озером, "Мессершмитты" просто исчезали или ползали где-нибудь на краю неба, над горизонтом.

- Придется перестраивать всю тактику боя с "Мессершмиттами", рассуждал Костин, выпятив полные губы.

- "Перестраивать"! - передразнил его Татаренко.- Не тактику перестраивать, а догонять их нужно!

Этот разговор происходил у койки Лунина. Внезапно на клочке неба, видном через маленькое окошко "палаты", появилась и, мелькнув, исчезла светлая металлическая птица.

- Видели, товарищ командир? - воскликнул Татаренко. Красавец-самолет! До чего сильный, ладный! Когда я вижу этот узкий фюзеляж, этот еле заметный выгиб плоскостей, мне прыгать от радости хочется.

Да, "Харрикейны" принесли несчастье. Теперь это было ясно всем, и никто больше не пытался их защищать. Не защищал их, конечно, и Ермаков. Напротив, он, раздосадованный тем, что вначале проявил легковерие, нападал теперь на них с особым ожесточением.

- Как это вы себе представляете, Константин Игнатьич? - спрашивал он Лунина в недоумении. - Англичане и сами летают на плохих самолетах?

Лунин не умел ответить на этот вопрос. Да и как он мог знать?

- Вероятно, они и сами летают не на очень хороших самолетах, - говорил он. - Посмотрите, как нахально немцы бомбят их города. У нас немецкие летчики не чувствовали себя так вольготно даже в самые первые недели войны...

Опухоль на ноге постепенно спадала, нога стала сгибаться, но Лунину казалось, что выздоровление идет медленно, и он с нетерпением ждал того дня, когда можно будет встать. Хотя, по правде сказать, куда ему было торопиться? Почему ему было не полежать, когда у него всё равно нет самолета? Это ему говорили все, и тот же Ермаков не раз ему повторял:

- Вы поправляйтесь основательно, Константин Игнатьич. Поправляйтесь и отдыхайте. Вы достаточно поработали, отчего

вам не отдохнуть? Раз уж такой случай вышел, что пришлось положить вас на койку, так, по крайней мере, отдохните...

Но Лунин только морщился. К отдыху он не стремился. Да он нисколько и не уставал летая, а если и уставал, так до этого никому дела нет. Беспомощность - вот что тяготило его, ему тяжело было чувствовать себя беспомощным. Он не привык, чтобы за ним ухаживали, о нем заботились; одиночество приучило его самому заботиться о себе, и забота, которой он был окружен, лежа в санчасти, приводила его в смущение. А в нем, в здоровье его и благополучии, принимали участие все: и Уваров, и Проскуряков, и Ермаков, и летчики, и техники, и санитарка Маша, и особенно доктор Громеко.

Доктора, жившего тут же, в санчасти, за перегородкой, он видел теперь чаще всех и смотрел на него совсем другими глазами, чем раньше, когда-то. Он никак не мог понять, что случилось: то ли доктор круто изменился, то ли сам он разглядел в нем то, чего прежде не видал.

И приходил к убеждению, что, вероятно, и то и другое.

Разве знал он раньше какие у этого молоденького доктора сильные, ловкие, умелые руки, когда он вправляет кость в сустав, или делает перевязку, или ставит припарки, или всаживает шприц в вену, или просто поворачивает больного на бок, чтобы у того не затекла спина? Разве знал раньше Лунин, что этот доктор так внимателен и так деятельно добр? Или что он так много знает?

Лунин отлично сознавал, что не может быть судьей в области познаний, так как сам знал мало, - он ведь ничего не кончил, кроме средней школы. Но в последние годы перед войной, особенно после того как расстался с женой, он очень много читал. Он читал преимущественно научно-популярные книги - по астрономии, истории Земли, биологии. И теперь, оставаясь с доктором наедине, он задавал ему множество вопросов, и доктор отвечал ему обстоятельно, увлеченно и убежденно. Они говорили о войне, об истории, о происхождении жизни на Земле, о галактиках, о солнечной системе. Доктор рассказывал Лунину о Пастере, о Мечникове, о вакцинах, о том, как устроена живая ткань. Разговоры эти обыкновенно возникали по вечерам, и керосиновая лампочка горела в "палате" далеко за полночь, пока санитарка не начинала ворчать.

Конечно, этот умница доктор еще не совсем избавился от своей удивлявшей Лунина склонности к фанфаронству и показному молодечеству. И чем больше присутствовало людей, тем эта склонность проявлялась в нем сильнее. Вообще на людях он был совсем не тот, что наедине с Луниным. Он словно хотел,

чтобы никто не догадался о его достоинствах, чтобы все судили о нем как можно хуже. У него даже голос менялся - он начинал говорить грубовато и изо всех. Сил старался, чтобы его принимали за циника, за этакого бесшабашного гуляку, которому море по колено. Как и раньше, весь этот тон казался Лунину ходульным, неестественным и вызывал чувство жалости, так как служил, видимо, доктору для прикрытия некоторой робости, неуверенности в себе.

Однако Лунин давным-давно уже заметил, что после столкновения с Серовым из-за Хильды доктор совсем перестал говорить о своих победах над женщинами. Как видно, урок пошел на пользу. А теперь, в присутствии Лунина, он получил новый урок, который лишил его еще одной излюбленной темы - о медицинском спирте.

В "палату" к Лунину зашел Кузнецов - в первый раз в командирском кителе, с нашивками младшего лейтенанта. Доктор, скромно помогавший санитарке стирать пыль с оконниц, сразу, как всегда при появлении посторонних преобразился, швырнул мокрую тряпку в угол и лихо закричал:

- Эге-ге, гвайдии младший лейтенант! Стыдно, стыдно, командийский китель надо вспйыснутъ. А ведь говойят, что вы пьете спийт не йазбавляя. Пйавильно, зачем добйо пойтить... Нет того, чтобы пйийти вечейком к полковому вйачу, да поклониться ему, да йаздавить с ним вместе баночку.." Эх, и завили бы мы с вами дым вейевочкой!..

Он говорил, а лицо Кузнецова бледнело. Наконец и доктор стал догадываться, что происходит что-то не то, и осекся.

- Понимаю, на что вы намекаете, доктор, - начал Кузнецов голосом тихим, но не предвещавшим ничего хорошего. - Интересно знать, это вы сами придумали или вас научили? Впрочем, мне безразлично. Но смеяться над собой я никому не позволю! Этого в уставе нет... Смеяться не позволю!..

Последние слова он угрожающе выкрикнул и двинулся к доктору с таким видом, что еще мгновение - и Лунин, позабыв о своей больной ноге, соскочил бы с койки, чтобы броситься между ними.

Но Кузнецов внезапно повернулся и выбежал из санчасти, громко хлопнув наружной дверью.

Доктор, потрясенный, стоял посреди "палаты". Он только сейчас догадался, почему Кузнецов решил, что он над ним смеется. Он хотел было что-то сказать Лунину, но, виновато взглянув на него, промолчал. И Лунин больше уже ни разу не слышал, чтобы он с кем-нибудь заговаривал о спирте.

Одним из самых частых посетителей Лунина был, разумеется,

Слава. В санчасть он забегал, как домой, иногда даже обедал с Луниным, постоянно ссорился с санитаркой и выпрашивал у доктора коробочки из-под пилюль, которые почему-то очень ему нравились. Вначале он был потрясен и перепуган случившимся с Луниным. Он всё норовил схватить Лунина за руку и спрашивал:

- Вам больно?

- Немного, - отвечал Лунин.

- А я знаю, что очень больно!

Слава не забыл о грозившей ему поездке в Сибирь к тете.

Да и как он мог забыть об этой угрозе, когда Ермаков при каждой встрече с ним неизменно заговаривал про Сибирь и про тетю! Ермаков всё больше склонялся к убеждению, что Славу необходимо отправить, и не скрывал, что только ждет подходящей оказии. Мысль о том, что Слава растет без школы и ничему не учится, не давала ему покоя.

Однажды Ермаков и Деев зашли в санчасть навестить Лунина как раз в то время, когда у него сидел Слава. Увидев Славу, Ермаков, по своему обыкновению, сразу же заговорил о необходимости отправить его к тете учиться.

- Вот растешь неучем, - сказал он. - А в наше время неуч ни на что не годится. Бесполезный член общества.

У Славы сразу же стали испуганные глаза. Обращаясь к Лунину, Ермаков продолжал:

- Если уж правду говорить, мы все очень виноваты перед мальчишкой. Он для нас забава, нам жаль с ним расстаться, и мы калечим ему жизнь. Он ведь человек, а не игрушка. Если его не учить, он пропадет.

И вдруг Деев произнес:

- Товарищ комиссар, разрешите, я буду с ним заниматься.

- Вы?

- Я ведь сначала собирался стать учителем и педагогический техникум кончил...

Ермаков задумался.

- У вас, Деев, и без того нагрузка немалая, - сказал он с сомнением. И так у вас времени на отдых не остается.

- Время найдем.

- Да ведь если учить его, то надо серьезно...

- Я серьезно, товарищ комиссар.

Сомневаться в его словах было невозможно, - в полку слишком хорошо знали, с какой основательностью выполнял Деев всё, за что брался. И предложение его было принято. Ермаков объявил, что в таком случае он согласен оставить Славу в полку еще на некоторое время. При этом он сделал Славе строжайшее предупреждение: если Слава станет лениться или вздумает хоть

раз не послушаться Деева, он будет немедленно свезен на станцию Волховстрой, посажен в вагон и отправлен к тете.

Так Слава начал ежедневно заниматься с Деевым. Нельзя сказать, что он с большой охотой принялся за ученье. Он никогда не учился особенно хорошо, а за войну совсем отвык от занятий и перезабыл почти всё, что знал. Однако Деев взялся за него твердо, со спокойным упорством и никаких поблажек ему не давал.

Начали они с самого начала - с простейших арифметических задачек и основных грамматических правил. И Слава под страхом отъезда к тете каждое утро по нескольку часов сидел в избе над заданными ему уроками, а потом, прежде чем явиться к Дееву, которого побаивался, тащил свои тетради в санчасть к Лунину на проверку.

Отцу немедленно было отправлено письмо, в котором и Ермаков и Лунин просили оставить Славу в полку и обещали заняться его образованием.

Однажды Слава принес в санчасть весть, которая заставила Лунина встать с постели раньше, чем рассчитывал доктор. Слава вбежал в палату и закричал;

- Прибыли! Прибыли!

- Кто прибыл?

- Самолеты! Десять штук для нашей эскадрильи! Такие же самые, как в первой и в третьей!

- Доктор, дайте мне мои брюки, - сказал Лунин. Он мгновенно оделся и, хромая, опираясь на палку, вышел из санчасти.

Глава десятая.

Остров Сухо

1.

Всякий раз, когда Лунин летал над Ладожским озером, он видел неподалеку от трассы крохотный островов с высокой башней маяка. Островок этот носит странное название - Сухо. Огонь на маяке в годы войны не загорался, и островок казался брошенным, пустынным, безжизненным.

Однако это впечатление было неверным. На острове жили моряки. Жили особенной, замкнутой, трудной и строгой жизнью.

Подъем был в шесть тридцать. Изо дня в день, из месяца в месяц, с точностью до одной секунды.

С такой же точностью и с таким же постоянством на острове совершалось всё: построение, зарядка, завтрак, политинформация, чистка оружия, упражнения в стрельбе - и так до самого отбоя, до сна. Ежедневно в одни и те же часы орудийные расчеты упражнялись возле трех своих пушек, повторяя в том же порядке затверженные наизусть приемы.

Ежедневно в одни и те же минуты сменялись дежурства на дальномерном посту, где дальномерщики, ни на мгновение не отрываясь от трубы, озирали вечно изменчивый и вечно живой водный простор, так тесно обступивший остров со всех сторон.

Если бы не эта точность, если бы не постоянная занятость, существование на острове стало бы невозможным. В сущности, это был даже не остров, а просто большой камень, слегка возвышавшийся над водой. Ни одного дерева, ни кустика, ни травинки, ни ручейка, только кое-где бурый мох, такой же жесткий и мертвый, как камень, И тридцать человек, уже второй год жившие здесь бессменно. Тридцать человек, маяк и три пушки. У подножия маяка стоял крохотный деревянный домишко, в котором до войны жил смотритель. Когда началась война, смотритель уехал, а в жестком, каменистом грунте острова вырыли землянки и накрыли их бревнами в пять накатов.

В землянках жили краснофлотцы: в одной - артиллеристы, в другой зенитчики. Их привезли сюда больше года назад, когда гитлеровские войска еще только шли к Ленинграду, и с тех пор ни один из них ни разу не покидал острова.

Больше года не видели они ничего, кроме башни маяка, уходившей над ними прямо в зенит, да воды кругом. Менялись только времена года, только ветры. Тучи шли то слева, то справа. Сияли огромные зори. Летом, если ветры стихали, небо бледно голубело, и вода в притихшем озере тоже становилась небывалого голубого цвета. Зимой в ясные дни беспредельная снежная гладь вокруг сверкала так ярко, что от нестерпимой белизны воспалялись глаза. Но ясные дни и зимой и летом выпадали редко. Гораздо чаще туманы обступали остров со всех сторон, и низкие тучи задевали за верхушку маяка. Зимой метели крутились над островом неделями, а весной, летом и осенью неделями секли его дожди. Штормы шли за штормами, огромные волны, перекатываясь через остров, били в подножие маяка, и тогда в землянках за плотно задраенными дверями казалось, что наверху гремит канонада.

Больше года не видели они ничего, кроме волн и крутящихся чаек, но жили они заодно со всей страной. Каждый вечер, перед тем-как заснуть, они, лежа на двухъярусных нарах, построенных вокруг стола и железной печурки, слушали рассказ жестяного дребезжащего репродуктора обо всем, что случилось на фронтах за день.

Парторг Полещук, старшина второй статьи, небольшого роста человек, разворачивал на столе карту, подклеенную на сгибах папиросной бумагой, и батарейцы, свесив с нар головы, разглядывали ее.

Прошлой зимой по этой же карте следили они за разгромом немцев под Москвой, с наслаждением смотрели, как жирно подчеркивал Полещук названия всё новых и новых подмосковных городков, освобожденных нашими войсками. С тех пор прошла весна, и лето, и половина осени. По этой же карте следили они, как немцы перешли Дон, вышли на Северный Кавказ, дошли до Волги. Вот уже два месяца подряд каждый вечер слышали они краткое упоминание о боях в районе Сталинграда. Две тысячи километров отделяли их от Сталинграда, упоминания были скупы, но самое постоянство этих упоминаний ясно говорило им, что там, у Сталинграда, происходит что-то огромное и чрезвычайно важное.

Кроме жестяного репродуктора, у них была и другая связь с миром катерок, привозивший им снаряды, продукты и почту. Они любили этот катерок нежной любовью, потому что он привозил им письма матерей и жен, и на него невольно распространялась часть их любви к своим близким.

Катерок этот приходил нерегулярно, в штормы не приходил вовсе. Ждали они его с нетерпением, мечтали о нем, ликовали, когда он появлялся, и даже самое время делилось для них не на недели, не на месяцы, а на промежутки от одного прихода катера с почтой до другого.

Газеты он привозил для всех, но не всем привозил письма. Полещук, например, родные которого жили в белорусской деревне, за все время своего пребывания на острове не получил ни одного письма. Каждое полученное письмо обсуждалось всей землянкой, - им нечего было таить друг от друга. И из этих писем, нежных, мужественных, полных тоски и надежды, вставала перед ними вся страна, вся война.

Впрочем, война была видна и с острова Сухо. Южный берег озера был захвачен немцами, а северный - финнами, и там, на этих берегах, постоянно что-то горело. Днем с острова видны были далекие дымы пожаров на горизонте, а ночами мутно-багровые пятна зарева висели по краям неба. И почти ежедневно над островом происходили воздушные битвы. Летчики, так часто проносившиеся над башней маяка, и не подозревали, с каким вниманием следят за ними оттуда. Обитатели острова научились на любом расстоянии различать все типы наших и вражеских самолетов и даже утверждали, что узнают отдельные самолеты, которые особенно часто появляются над маяком.

В воздухе над островом было оживленно, но еще оживленнее было в окружающих остров водах. По водам Ладожского озера пролегал единственный путь, соединявший осажденный Ленинград с остальной страной. В ясные зимние дни с маяка на

острове Сухо были видны вдали длинные цепочки груженых машин, двигавшихся по льду. Даже ночью, присмотревшись, можно было заметить во тьме вспышки голубого света: это водители осторожно включали фары, чтобы не сбиться, не столкнуться, не попасть в полынью. А летом по тому же пути с востока на запад и с запада на восток - двигались пароходы, таща за собою баржи. Мели и подводные камни, окружавшие Сухо, мешали судам приближаться к нему, но в светлые дни с острова всегда были видны два-три дымка, двигавшиеся у горизонта.

Немцы беспрестанно пытались прекратить движение через озеро. "Мессершмитты" обстреливали из пулеметов колонны машин на открытом льду, где невозможно спрятаться. "Юнкерсы" бомбили караваны барж, пикировали на корабли, совершали налеты на порты, на перевалочные пункты. Всё существование "дороги жизни" было беспрерывной битвой, длившейся, не утихая, вот уже целый год.

Эта напряженная битва происходила возле самого острова, и гарнизон видел ее, но участия в ней не принимал.

Одни только зенитчики составляли некоторое исключение: им случалось стрелять по вражеским самолетам. А батарейцам, основному костяку гарнизона, за четырнадцать месяцев жизни на острове не пришлось сделать ни одного выстрела по врагу.

- Кому какая судьба, - говорил главстаршина Иван Мартынов. - Сидим как в клетке.

Главстаршине Мартынову остров казался особенно тесным, потому что сам Мартынов был высок ростом, плечист, здоров и, главное, очень подвижен. Упражняясь, он без труда перекидывал гранату через весь остров с одного конца на другой. Когда выпадало свободное время, он шагал на длинных своих ногах вокруг маяка, он делал круг за кругом - то справа налево, то слева направо.

Ни у кого на острове не было такого боевого опыта, как у главстаршины Мартынова. Во время войны с белофиннами зимой сорокового года он служил в морской пехоте и участвовал в штурме Выборга. Отечественная война началась для него тоже чрезвычайно бурно: он дрался в морской пехоте за Ригу, за Пярну, за Таллин, за Петергоф, дрался под самым Ленинградом. И вдруг из разгара боев попал на остров Сухо и застрял на нем.

В землянке по вечерам он часто рассказывал о боях, в которых участвовал. Все уже знали эти рассказы наизусть, но тем не менее слушали их попрежнему охотно. А ему самому казалось, будто он с разгона влетел в западню, которая сразу захлопнулась. Бегая вокруг маяка, он действительно напоминал медведя в клетке.

Старший лейтенант Гусев, командир батареи, терпеть не мог этой медвежьей беготни. Заметив Мартынова, мотающегося у маяка, он подзывал его к себе и изобретал для него дело. И Мартынов охотно принимался за работу, потому что постоянно чувствовал потребность в деятельности, и работа успокаивала его.

Старший лейтенант Гусев был не только командиром батареи, но и комендантом острова. Весь остров и все, кто жил на нем, подчинялись ему одному. Он был сухощав, несколько узкоплеч и держался удивительно прямо. Жил он не под землей, как остальные, а в маленьком деревянном домике у подножия маяка, где когда-то жил смотритель. Кроме старшего лейтенанта Гусева, в этом домике жил один только Сашка Строганов, его связной.

Проснувшись, Сашка Строганов прежде всего бежал к коку за кипятком, чтобы старший лейтенант мог побриться. Сам Сашка по крайней своей молодости не брился еще никогда, но старший лейтенант Гусев следил за своей внешностью, словно жил не на дикой скале посреди Ладоги, а в большом городе, где каждый день нужно ходить в клуб или в театр. На брюках его всегда были складки, пуговицы сверкали, ботинки были начищены до блеска, подворотнички на кителе менялись каждый день. Этого же он требовал от всех своих подчиненных, и на острове возникали целые бури, когда он замечал шершавый подбородок или тусклую пуговицу.

С подъема до отбоя следил он, чтобы всё шло по раз раведенному порядку и чтобы все были заняты. Праздности он не терпел. Он боялся праздности, понимая, что на этом крошечном, тесном клочке земли ничего не может быть опаснее, чем не заполненное делом время. И орудийные расчеты каждый день по многу часов обучались стрельбе, добиваясь того, чтобы все приемы были отработаны до секунды и совершались с механической точностью. И каждый день в одни и те же часы бойцы изучали ручную гранату, винтовку, автомат, пулемет. И каждый день на острове всё чистилось, мылось, прибиралось, надраивалось, приводилось в порядок, как на корабле.

- Когда придет наш черед, мы должны быть как железо, - сказал он однажды парторгу Полещуку.

Маленький Полещук приподнял свое спокойное лицо с добрыми глазами, окруженными мелкими морщинками, и сказал просто:

- Будем, товарищ старший лейтенант.

- А придет наш черед? - спросил Сашка Строганов, связной командира.

Но ему никто не ответил.

2.

Утро двадцать второго октября 1942 года началось на острове Сухо так же, как начиналось каждое утро.

- Подъем! - звонким голосом крикнул, войдя, дневальный.

В землянке всё мгновенно изменилось, ожило. Стало тесно и шумно. Все разом попрыгали с нар и разом принялись одеваться. Краснофлотцы один за другим взбегали по дощатому настилу, открывали дверь и вместе с клубом пара вырывались из землянки на воздух.

Ветер быд так силен, что в первое мгновение трудно было перевести дыхание. Грохот волн, хорошо слышный в землянке, здесь, наверху, был оглушителен.

Снег!

За ночь выпал снег, впервые в этом году, и на острове Сухо всё побелело.

Остров был бел, и от этого еще темнее казалась вода вокруг. Низкие быстрые тучи проносились над самым маяком. Не вполне еще рассвело, мглистая дымка закрывала горизонт, и чувствовалось, что день сумрачный.

На маленькой ровной площадке перед маяком уже стоял старцшй лейтенант Гусев, свеже выбритый, прямой, с ним его связной Сашка Строганов. Гусев всегда сам присутствовал на утреннем построении батареи. Батарейцы строились, рассчитывались по номерам, сдваивали ряды, поворачивались и маршировали перед маяком, повинуясь командам, которые подавал главстаршина Иван Мартынов, способный перекричать любой ветер.

Сашка Строганов был моложе всех на острове. На лице его, круглом, свежем, улыбающемся, были две совсем детские ямочки - одна на левой щеке, другая на подбородке. Он, несомненно, считал себя лихим малым, - это чувствовалось в его повадке, в каждом шаге, в манере носить бескозырку, небрежно поводить плечами.

Внезапно к Гусеву подошел дальномерщик и доложил, что в дальномерную трубу видны какие-то суда.

- Сколько их? - спросил Гусев.

- Точно не скажу, - ответил дальномерщик. - Но больше двадцати.

- Куда они идут?

- Пока прямо на нас.

- Откуда?

- С северо-запада, товарищ старший лейтенант. Вон оттуда.

И дальномерщик махнул рукой вдаль, в сторону горизонта.

Стоявшие в строю батарейцы разом повернули головы и стали смотреть туда же, но ничего не увидели, кроме волн и мутной дали.

Не обернувшись, не сказав ни слова, Гусев протянул руку назад, и Сашка Строганов, мгновенно поняв его, вложил ему в руку бинокль.

Гусев долго молча смотрел в бинокль.

- Не наши, товарищ старший лейтенант, - сказал краснофлотец с дальномерного поста. - У нас на Ладоге таких нет.

Но Гусев не склонен был разговаривать.

- Мартынов! - крикнул он. - За мной!

Он повернулся и через узенькую дверь вошел в маяк. За ним туда же нырнул и долговязый Мартынов. За Мартыновым - Сашка Строганов.

В полумраке башни маяка Гусев побежал вверх по железной лестнице, вьющейся вокруг высокого столба, - всё кругом, кругом, кругом. В стенах башни кое-где светлели маленькие круглые окошечки. Сквозь них видны были только волны - всякий раз всё ниже. Наверху стало светлее. Свет проникал сюда сквозь раскрытую настежь дверь. Гусев шагнул в нее и очутился на маленькой площадке, висевшей на страшной высоте прямо над морем.

Мартынов и Сашка Строганов догнали его.

Ветер здесь был так силен, что Сашка обеими руками вцепился в перила. Волны надвигались на остров, на маяк, но у стоявших наверху было ощущение, будто это площадка маяка движется, плывет над волнами.

Гусев стоял, слегка расставив нога, и смотрел в бинокль. Потом молча передал бинокль Мартынову.

- Это что же, в первой колонне катера такие? - спросил Мартынов, не отрываясь от бинокля.

- Катера, - подтвердил Гусев. - Орудия видите?

- Кажется, по два на каждом...

- По два. Одно на носу, другое на корме.

- А во второй колонне что за суда? - разглядывал Мартынов. - Длинные, узкие...

- Самоходные баржи, - сказал Гусев. - Видите, сколько на каждой народу. Черно! Это десант. Десантные баржи.

- Тоже на каждой по два орудия. Теперь уже не нужно было бинокля, чтобы видеть приближавшиеся суда. Темные, в белых бурунчиках, они сначала шли двумя отдельными колоннами, потом колонны объединились, и суда стали расползаться, охватывая остров большим полукругом с востока, с севера и с

запада.

- Перестраиваются, - сказал Сашка Строганов.

- Тридцать штук, - проговорил Мартынов, не отрываясь от бинокля.

- Как раз сколько нас, - сказал Сашка.

- Что? Что? - переспросил Гусев, не то не поняв, не то не расслышав из-за ветра.

- Я говорю, их тридцать, и нас здесь на острове тридцать, - объяснил Сашка, улыбнувшись и сверкнув зубами. - На каждого по кораблю. Силы равные, товарищ старший лейтенант.

Три орудия против шестидесяти, - сказал Мартынов.

Гусев нахмурился.

- Тут считать нечего, - сказал он резким голосом. - Тут либо мы выстоим, либо дверь в Ленинград захлопнется.

- А я не считаю, - сказал Мартынов. - Сами знаете, сколько месяцев я их жду...

- Идите вниз! - приказал Гусев, беря у Мартынова бинокль. - Боевую тревогу!

Внизу все уже были на своих местах - расчеты возле орудий, остальные таскали ящики со снарядами из землянки, служившей складом. Командиром первого орудия был Баскаков, командиром второго - Павел Уличев, командиром третьего - Пугач. С сосредоточенными, суровыми лицами они наводили орудия, и длинные стволы медленно двигались. Всё было готово, ждали только команды Гусева.

Но Гусев команды не подавал. Гусев стоял на камне возле маяка и следил за неприятельскими судами. Суда приближались, дистанция сокращалась. Гусев ждал: он хотел бить наверняка.

Неприятельские суда подошли еще ближе. Теперь уже и пушки и люди были на них отчетливо видны. На головном катере сигнальщики размахивали флажками. Суда опять перестроились: катера пропустили десантные баржи вперед.

Командиры застыли у орудий.

Весь остров ждал, что старший лейтенант Гусев вот-вот скажет: "Огонь!.."

Но сказать он не успел.

Случилось нечто такое, чего никто предвидеть не мог.

Где-то слева, не близко, раздались два орудийных выстрела - бах, бах! И возле головного неприятельского катера поднялись два столба воды. Гусев, с биноклем у глаз, побежал вокруг маяка.

И вдруг снова - бах, бах! И столб пламени поднялся на том месте, где был неприятельский головной катер, и воздух над озером вздрогнул от взрыва.

И все увидели маленький военный кораблик, вынырнувший

откуда-то сзади, из-за острова, летящий навстречу вражеской эскадре и стреляющий из двух своих пушек.

3.

Корабль, первым открывший огонь по вражеским Судам, был маленький тральщик, входивший в состав Ладожской флотилии и называвшийся "ТЩ-100". В ночь на двадцать второе октября 1942 года он нес патрульную службу в этой части озера.

Тральщиком командовал старший лейтенант Петр Константинович Каргин. Ему шел двадцать восьмой год, и он был настоящий моряк, любящий море и с детства мечтавший о плаваниях, хотя родился и вырос в степях Казахстана, в самом центре материка.

В это раннее мутное утро краснофлотец доложил ему, что видит какие-то суда, приближающиеся с северо-запада к острову Сухо. Каргин взял бинокль, увидел катера, увидел самоходные десантные баржи, вооруженные орудиями, и сразу всё понял.

Немцы решили овладеть островом Сухо и оттуда угрожать последней коммуникации, соединявшей осажденный Ленинград с остальной страной.

Они, видимо, долго и основательно к этому готовились. Где-то в северо-западном углу озера, вероятнее всего в захваченном финнами Кексгольме, они в полной тайне сосредоточили и вооружили специально приспособленные для десантных операций суда. Никаких барж, никаких катеров до сих пор на Ладожском озере встречать не приходилось. Значит, их откуда-то привезли по железным дорогам в разобранном виде и здесь собрали именно для этой операции.

Немцы готовились тщательно, чтобы удар нанести наверняка. Они не хотели рисковать. Прежде чем выступить, они создали подавляющее превосходство в силах. Они обеспечили себе внезапность удара. Самое трудное они уже совершили: за ночь, оставшись незамеченными, пересекли всё озеро от Кексгольма до Сухо. Остальное - захват островка с горсточкой моряков - они считали, безусловно, совсем легкой задачей...

Радист тральщика Соколюк по приказанию Каргина немедленно сообщил обо всем в штаб флотилии. Но Каргин понимал, что командование в ближайшие два-три часа ничем острову помочь не может, так как знал, что корабли флотилии разбросаны на большом пространстве и вблизи нет ни одного. А всё совершится в ближайшие тридцать минут, и потом будет поздно.

Случилось так, что его тральщик как раз в это утро оказался возле Сухо. Может ли это обстоятельство изменить положение? Два орудия тральщика против шестидесяти... Если здраво

рассуждать, при таких обстоятельствах "ТЩ-100" ничего изменить не может. Впрочем...

Вот в чем было дело: Каргин подозревал, что неприятель до сих пор не заметил его тральщика. В этот мглистый час очертания "ТЩ-100", вероятно, слились с неясными очертаниями острова Сухо и окружающих остров торчащих из воды скал.

Под прикрытием острова и маяка тральщик пошел на сближение с неприятелем. Остров был так низок, что Каргин со своего мостика видел весь широкий полукруг неприятельских судов. Охватив остров с севера полукольцом, они перестроились: катера пропустили десантные баржи вперед. Один только катер всё время держался как бы вне строя. Он носился слева направо и справа налево, и на палубе его беспрерывно торчали сигнальщики, усердно работавшие флажками.

Пора.

"ТЩ-100", зарываясь носом в высокую волну, обогнул остров с запада и возник перед неприятельскими судами.

Уж теперь-то его, конечно, заметили. Головной катер внезапно замедлил ход, десантная баржа, стоявшая на самом правом фланге, как-то нелепо подалась влево.

Каргин сразу определил дистанцию до головного катера: двадцать восемь кабельтов. "ТЩ-100" полным ходом шел на сближение. Двадцать пять кабельтов. Медлить больше нельзя...

- Огонь!

Корпус тральщика вздрогнул, два столба воды поднялись перед катером.

- Огонь.

Попадание.

Головной катер накренился, зачерпнул правым бортом воды и выпрямился. Потом два желтых языка, два языка пламени, возникли над ним, и тяжкий гул взрыва покатился над озером. Это на катере взорвались бензобаки. Катер пылал весь разом, от носа до кормы. Черный дым, мотающийся и крутящийся на ветру, скрыл его из виду.

Каргин услышал торжествующий шум голосов, глянул вниз и увидел возбужденные, радостные лица своих краснофлотцев.

- Огонь!

Надо пользоваться, пока немцы растеряны, надо не дать им опомниться.

- Огонь! Огонь! Огонь!

Теперь "ТЩ-100" летел, стреляя, прямо к длинной барже, ближе всех подошедшей к острову. Она подставила под его выстрелы весь свой плоский правый борт. На палубе ее черно от солдат.

- Огонь! Огонь!

Взрыв. Нос баржи стал быстро погружаться в воду; все солдаты столпились на неестественно вздыбленной корме. Им там, пожалуй, тесновато!

Еще попадание... Кто же это?.. Да ведь это бьют с острова! Островная батарея вступила в бой! Да как метко!.. Вот еще, еще...

Баржа погружалась, но моторы на ней продолжали работать и заставляли ее выделывать странные порывистые движения. Она шла как-то боком и наискось и с каждым мгновением приближалась к острову, пока наконец, круто склонясь на бок, не застряла на мели среди белеющих бурунов.

"ТЩ-100" перенес огонь обоих своих орудий на другие цели, и только пулеметчики продолжали обстреливать круто наклоненную палубу полузатонувшей баржи. Стоя за дрожащими и стрекочущими пулеметами, они смотрели, как очищалась палуба от солдат, падавших в волны.

Однако тем временем положение "ТЩ-100" значительно усложнилось. Преимущества внезапного нападения были им уже исчерпаны до конца. Противник успел опомниться. И хотя три орудия острова тоже не переставая вели огонь, неравенство сил с каждым мгновением ощущалось всё резче. Все орудия барж и катеров били по тральщику. Вода вокруг него пенилась и бурлила, вздымаясь столбами. Некоторые снаряды разрывались уже так близко, что фонтаны брызг окатывали палубу. Каргин швырял "ТЩ-100" из стороны в сторону, вел его широким зигзагом, менял курс по два раза в минуту, чтобы затруднить попадание. Но огонь вражеской артиллерии всё усиливался, и было ясно, что надо уходить.

"ТЩ-100" опять обогнул западную оконечность острова Сухо и, выходя из-под обстрела, пошел к югу.

За отважным нападением одинокого маленького тральщика на вражеские корабли гарнизон острова следил с восхищением. Пламя, охватившее головной катер, батарейцы встретили радостным гулом голосов:

- Вот это попадание! Здорово! А? - подпрыгнув, крикнул Сашка Строганов главстаршине Мартынову. - Всё их начальство к рыбам! А?

И батарея острова Сухо сразу вступила в бой. Большую баржу, ближе других подошедшую к острову, она вместе с артиллеристами тральщика разбила и потопила. Метания баржи и гибель ее на глазах у всех в нескольких сотнях метров от островка наполнили батарейцев радостным ощущением своей силы. Три орудия батареи продолжали вести непрерывный огонь.

У старшего лейтенанта Гусева было нечто вроде своего

командного пункта - маленький блиндаж со смотровой щелью, через которую можно было глядеть во все стороны. Блиндаж этот находился позади орудия Уличева и был соединен телефоном с командирами всех трех орудий. Однако особой надобности в телефоне не было: орудия стояли так близко, что из командного пункта нетрудно было подавать команды без всякого телефона. Вообще на этом крохотном островке всё размещено было тесно, до всего было рукой подать - и до дальномерщика с дальномерной трубкой, и до радиста, помещавшегося со своей аппаратурой в отдельной маленькой землянке рядом с командным пунктом.

В свой командный пункт Гусев вошел не сразу. В начале боя он стоял возле дальномерщика, прямой, подтянутый, чуть-чуть более бледный, чем всегда, и следил в бинокль за движениями кораблей. Дальномерщик докладывал ему всё время изменявшуюся дистанцию до цели, и Гусев отдавал приказания спокойным, ровным, звонким голосом, как на учебных занятиях.

Отрывая по временам глаза от бинокля, он следил за работой бойцов у орудий. Это была первая проверка его батареи, проверка. всей его деятельности за целый год. Хорошо ли он учил своих бойцов? И он с удовольствием видел, как слаженны и уверенны все их движения, как быстро и безошибочно исполняют они его приказания, как твердо каждый знает свои обязанности и как часто следуют один за другим залпы, Длинные стволы орудий легко поворачивались, потом дергались; и Гусев сквозь круглые стеклышки своего бинокля видел взрывы снарядов как раз там, где хотел их увидеть.

Он понимал, что сумятица, созданная дерзким нападением тральщика на вражеские корабли, не будет продолжительной, и спешил воспользоваться ею возможно полнее. Он бил и бил из трех своих пушек. Стараясь усилить растерянность врага, выбирая наиболее уязвимые цели. Вот снаряд попал в громоздкую баржу. Она потеряла управление и закружилась на одном месте. Вот еще из одной баржи повалил дым. Там пожар... Попадания бойцы встречали дружными криками.

Но с каждым мгновением Гусева всё больше тревожило положение тральщика.

С острова отлично было видно, какой неистовый огонь открыли по "ТЩ-100" неприятельские корабли, словно внезапно опомнившись. Вода кипела от разрывов и перед тральщиком, и позади него, и справа от него, и слева. Воздух над озером тяжело вздрагивал от нестройной орудийной пальбы. Тральщик петлял и кружил, но казалось, куда он ни повернет, всюду его ждет гибель. Теперь Гусев все усилия направил к тому, чтобы выручить

тральщик. Он старался бить как раз по тем катерам, которые были ближе к тральщику и особенно яростно на него наскакивали. Это, несомненно, облегчало положение "ТЩ-100", однако порой Гусев не верил, что тральщику, удастся вырваться из огневого кольца, и вместе со всеми обрадовался, когда "ТЩ-100" наконец обогнул остров и скрылся.

Враги не преследовали тральщик, так как, видимо, не придавали ему особого значения, несмотря даже на то, что этот небольшой корабль внезапным нападением нанес им довольно значительный урон. Неприятельские корабли продолжали выполнять свою основную задачу, которая была заранее обдумана, детально разработана и разделена на ряд последовательных действий. Теперь им по плану надлежало обрушить огонь всей свой артиллерии на остров, чтобы исключить возможность сопротивления десанту. И едва "ТЩ-100" скрылся, баржи и катера начали обстрел острова из всех своих пушек.

Когда много десятков орудий одновременно обстреливают с близкого расстояния маленький клочок земли, существовать на нем становится трудно. Осколки камня и железа под оглушительный гул сливающихся друг с другом взрывов перелетали через весь остров из конца в конец, всё сокрушая на своем пути. Каменистая почва острова, такая твердая и плотная, что разбить ее, казалось, немыслимо, в несколько минут была перепахана, перерыта.

Когда начался обстрел острова, Гусев неторопливо спустился в маленький блиндаж своего командного пункта и продолжал командовать оттуда, наблюдая за противником сквозь смотровую щель. Десантные баржи, охватив остров широким полукругом и непрерывно ведя огонь, медленно приближались. Ураган огня, обрушиваемый на остров, усиливался с каждой минутой.

"А мы всё-таки будем бить и бить!" - думал Гусев. Он понимал, что весь этот шум поднят только для того, чтобы три его пушки перестали стрелять. Но батарея ни на минуту не прерывала стрельбу, она продолжала стрелять дружно и метко, залп за залпом. Гусев с удовольствием видел, что вражеские корабли всё больше считаются с огнем его пушек. Движение барж к острову становилось всё медленнее, всё неувереннее. Они, в сущности, уже топтались на месте. Весь огонь своей батареи Гусев всякий раз сосредоточивал на той барже, которая хоть немного вырывалась вперед. И тотчас же эта баржа начинала отступать, метаться, и соседние баржи отходили от нее, прячась одна за другую. Но барж было много, они растянулись длинной линией; отходя в одном месте, они в другом продвигались вперед. И

батарее приходилось часто и быстро менять цели, перенося огонь из одного края в другой.

Вражеские катера время от времени делали попытки помочь десантным баржам приблизиться. Выскочив вперед, они неслись к острову на полном ходу, бешено стреляя. Но батарейцы переносили на них весь свой огонь и не давали им сделать даже половину пути. Катера начинали метаться среди взлетающих к небу столбов воды и, отвернув, поспешно уходили назад, за баржи.

И всё-таки положение батареи становилось с каждой минутой всё тяжелее. Брустверы, охранявшие орудия, были уже в нескольких местах повреждены снарядами. Появились первые раненые. Было мгновение, когда Гусеву показалось, что обрушилась башня маяка, - такой невероятный грохот услышал он сзади. Но, глянув назад, он увидел, что маяк цел, хотя весь окутан дымом. У его подножия пылал подожженный снарядом деревянный домик, тот самый, в котором жил Гусев.

Потом снаряд угодил прямо в блиндаж Гусева. Добротная бетонированная стенка блиндажа выдержала. Гусев и находившийся вместе с ним в блиндаже Сашка Строганов отделались только тем, что их сильно тряхнуло и обсыпало землей с потолка. Но тяжелые брёвна кровли слегка сдвинулись, осели, и край смотровой щеля оказался придавленным, закрытым. Западная часть горизонта выпала из поля зрения. Находясь в, блиндаже, нельзя было больше видеть весь строй вражеских кораблей. И Гусеву пришлось покинуть свой командный пункт.

Он вышел, отряхнулся и устроился с биноклем за бруствером орудия Павла Уличева. Все три орудия батареи продолжали вести огонь...

Катера и баржи еще приблизились. Видны были не только орудия, но на палубах барж можно было разглядеть каждого солдата в отдельности.

Плоскодонные десантные баржи сильно раскачивало на волнах; это мешало им вести прицельный огонь. Несмотря на близость острова, многие снаряды с протяжным воем перелетали через него или не долетали и падали в воду, поднимая серебристо-дымные столбы. Однако попаданий было тоже немало, весь остров казался перерытым, камни изменили свои привычные очертания.

Орудие Пугача первым вышло из строя. Умолкшее, оно теперь лежало на виду среди раскиданных камней бруствера, задрав исковерканный ствол кверху, словно хобот. Но два других орудия продолжали вести огонь. Бруствер вокруг орудия Уличева

еще сохранился, и за этим бруствером сидел старший лейтенант Гусев. Когда взрывались снаряды, он даже не наклонял головы. Левой рукой он держал бинокль, а правой размахивал командуя. Тут же, за бруствером, у его ног сидел Сашка Строганов. Гусев иногда кричал ему на ухо какое-нибудь приказание, и Сашка отправлялся ползком выполнять его. Нужно было то помочь подносчику снарядов, то перетащить нового раненого в землянку, то передать что-нибудь по радио в штаб флотилии.

Разрывы снарядов, падавших на остров, и рев обоих уцелевших островных орудий сливались в почти беспрерывный грохот, но во время короткого затишья раздался радостный шум голосов. Краснофлотцы, обслуживавшие орудие Баскакова, повскакали с земли и весело замахали в воздухе бескозырками. Их крики подхватили и краснофлотцы, обслуживающие орудие Павла Уличева. Весь остров торжествовал удачу комендора Баскакова, которому удалось поджечь одну из десантных барж. Густой дым валил из баржи, она крутилась на одном месте, а катера, обступив ее, снимали с нее людей.

Через несколько минут после того, как загорелась баржа, Павлу Уличеву удалось прямым попаданием потопить катер. Эта новая удача была встречена таким же ликованием. Но половина защитников острова к этому времени уже выбыла из строя. И враг, раздраженный задержкой, всё яростнее обстреливал остров, стремясь подавить всякое сопротивление.

Снаряд разорвался перед самым бруствером орудия Павла Уличева. Сидевший за бруствером старший лейтенант Гусев сначала выронил бинокль, потом покачнулся и сполз на руки к Сашке Строганову. Уличев и все краснофлотцы его расчета кинулись к Гусеву,

- Товарищ старший лейтенант... Я вас сейчас в землянку... Держитесь за меня... - бормотал Сашка.

Но Гусев с силой оттолкнул его от себя и сел на свалившийся с бруствера камень. Он был ранен осколком снаряда в ногу чуть повыше колена. Брюки вокруг раны набухли от крови, лицо побледнело. Но он зло посмотрел на сгрудившихся вокруг краснофлотцев и крикнул:

- По местам! Никто не смеет оставлять орудие!..

Краснофлотцы смущенно вернулись на свои места, а Гусев с искривленным от боли лицом вытянул вперед раненую ногу, взял у Сашки бинокль и взмахнул рукой:

- Огонь!

Но тут случилась беда страшнее всех прежних. Вражеский снаряд попал в один из ящиков с боеприпасами, сложенных в неглубокой лощинке позади орудий. Боеприпасы вытащили из

землянки, служившей складом, и перенесли в эту лощинку, потому что от склада до орудий было слишком далеко, а число рабочих рук на острове быстро уменьшалось. Разбитый ящик с боеприпасами загорелся, и раздался взрыв.

Такого ужасного взрыва на острове ещё не слыхали. Все, кто стоял или сидел, свалились на землю. Вершина маяка заметно качнулась, и казалось, что маяк не устоит и рухнет, рассыпавшись на кирпичи.

Маяк устоял, но три краснофлотца, подносившие снаряды к орудиям, были убиты, и изуродованные трупы их отбросило далеко от места взрыва.

Но это было еще не всё. Гусев, приподнявшись, увидел на дне лощины желтое пламя, которое, расползаясь по щепкам и треща на ветру, подбиралось к другим ящикам с боеприпасами.

Ящики эти без всякого порядка были раскиданы по дну лощины. Взрыв переворошил их, расшвырял, покалечил, и вокруг них повсюду валялись обломки их деревянной обшивки. Сухие эти щепки - превосходный горючий материал, и ветер не даст им потухнуть. Когда пламя подберется к ящикам, грянет взрыв, после которого на острове не останется ни одного снаряда и, быть может, ни одного живого человека.

- Саша! - позвал Гусев.

Сашка Строганов глянул туда, куда показал ему командир.

- Вижу, - прошептал он, - Я пойду..

Гусев грустно посмотрел на него и кивнул головой. Нужно было попытаться потушить пламя в лощине. Пока не поздно... Если еще не поздно... Он любил Сашку Строганова и знал, что Сашка любит его. Кого же послать. Он пополз бы сам, если бы мог, но раненая нога лишила его возможности двигаться. Орудие должно стрелять, от орудия нельзя было оторвать ни одного человека. Больше никого под рукой не было. Оставался один Сашка.

Сашка выполз из-за бруствера и пополз меж камней. Гибкое его тело двигалось легко и быстро. Когда снаряд падал и разрывался, Сашка на мгновение пригибался к земле и замирал. И сразу же полз дальше. Гусев следил одновременно за орудием Уличева, за неприятельскими судами, за Сашкой. Доползет Сашка или не доползет? Успеет он или не успеет?

Сашка доползти успел, но его опередили.

Внизу, в дыму, копошился человек небольшого роста, топтал ногами горящие щепки, хватал пальцами раскаленные головни и швырял их из лощины в разные стороны. Головни долетали до самой воды и с шипеньем гасли.

Это был парторг Полещук. Когда подносчиков снарядов

убило взрывом, он стал сам подносить снаряды к орудию Баскакова. Увидев пламя, разгоравшееся на дне лощины, он всё понял. Нужно было либо немедленно бежать куда-нибудь на край острова, либо спрыгнуть вниз и потушить пламя, прежде чем грянет взрыв. И он спрыгнул вниз.

На некоторых ящиках со снарядами уже тлела деревянная обшивка. Другие ящики были разбитыми вывалившиеся снаряды лежали среди дымящихся щепок. Кашляя от дыма, Полещук торопливо работал - топтал пламя, швырял головни, переворачивал ящики, засыпал их землей, оттаскивал снаряды... Но он не мог поспеть сразу всюду, да к тому же дым мешал ему видеть. Полещук тушил пламя и каждое мгновение ждал взрыва.

Сквозь дым заметив приближающегося Сашку Строганова, он замахал руками, чтобы заставить его убраться. Но так как Сашка, вместо того чтобы убраться, спрыгнул в лощину, Полещук стал показывать ему, что надо делать, и они почти сразу сбили пламя.

Теперь подноска снарядов целиком легла на них двоих. Орудия должны были вести огонь во что бы то ни стало, и Сашка с Полещуком под не затихающим ни на мгновение артиллерийским обстрелом ползали между орудиями и лощиной. Полещук обслуживал орудие Баскакова, Сашка - орудие Павла Уличева.

Орудия острова продолжали стрелять, и Баскакову удалось потопить еще один вражеский катер. Но снаряд разорвался возле самого орудия Павла Уличева и повалил часть бруствера. Сашка Строганов в эту минуту возвращался ползком от лощины со снарядом в руках. В первое мгновение ему показалось, что все возле орудия убиты - и Гусев, и Уличев, и остальные. Они лежали кто ничком, кто запрокинувшись - и не двигались. Однако, когда Сашка подполз ближе, Уличев вдруг зашевелился и медленно поднялся перед ним во весь рост.

- Давай, - сказал он и протянул руки за принесенным Сашкой снарядом.

Уличев едва держался на ногах, его качало. Лицо его было залито кровью, порванный бушлат намок в крови. Он был ранен и, вероятно, уже не впервые. Но нужно было стрелять, и он не мог покинуть орудие. Остальные краснофлотцы, раскиданные взрывом, тоже зашевелились и стали подниматься.

Сашка кинулся к Гусеву:

- Товарищ командир!..

Гусев лежал на спине, приоткрыв рот, и громко дышал. На этот раз он был ранен осколком снаряда в грудь, и при каждом вздохе в груди у него что-то клокотало.

- Подыми меня, - сказал он, когда Сашка склонился над ним.

- Держитесь за меня, товарищ старший лейтенант. Я вас отнесу в землянку...

- Подыми меня! - повторил Гусев сердито и, обхватив рукой Сашкину шею, сам стал приподниматься. - Вот так... Посади меня... Ты что, перестал понимать?

- Товарищ командир...

- Исполняйте, что вам приказывают!

Сашка посадил его.

Гусев вцепился рукой в камень, чтобы не упасть. В глазах у него потемнело от потери крови, но всё же он разглядел, что десантные баржи подошли еще ближе. "Только бы не упасть..." - думал он.

Он сделал рукою знак Уличеву:

- Огонь!

Звук выстрела потонул в реве падающих на остров снарядов. Взрывы, сливаясь, превратились в несмолкаемый вой. Осколки, визжа, разлетались и со звоном ударялись о металлический щит орудия.

И вдруг всё стихло. Обстрел острова прекратился.

Дивясь неожиданной тишине, Гусев подумал: "Они начали высаживать десант".

Однако он ошибался.

5.

Неприятельские суда прервали обстрел острова потому, что им пришлось обрушить весь огонь своих орудий на тральщик "ТЩ-100", который опять устремился в бой.

Из первого своего нападения на врага "ТЩ-100" вышел благополучно. В него попал лишь один снаряд - самый последний, пущенный вдогонку, когда он уже обогнул остров и уходил к югу.

Снаряд этот, никого не убив, вывел из строя радиосвязь. "ТЩ-100" внезапно оказался изолированным от штаба флотилии.

А между тем именно теперь, как никогда, старшему лейтенанту Каргину следовало бы знать, где находятся остальные корабли Ладожской флотилии, куда они направляются и что собираются предпринять. Ему следовало бы согласовать действия своего тральщика с их действиями, включиться вместе с ними в какую-нибудь общую операцию...

Он вызвал к себе радиста Соколюка.

Соголюк явился - с перевязанной головой, с куском медной проволоки в зубах, с плоскозубцами в руке.

- Что это у вас? - спросил Каргин, взглянув на повязку у него на голове.

- Что? - не понял Соколюк. - А, это... - пренебрежительно

махнул он рукой. - Это фельдшер. Вернадский...

При взрыве снаряда Соколюк стукнулся теменем о перегородку, и кровь залила ему лицо. Он не обратил на это никакого внимания. Вытирая тыльной стороной ладони лоб, чтобы кровь не попадала в глаза, он сразу же стал подбирать и приводить в порядок остатки своих аппаратов и приборов, чтобы спасти то, что можно было спасти. Фельдшер тральщика Вернадский почти насильно сделал ему перевязку.

- Ну, докладывайте, - сказал Каргин. Соколюк перечислил все разрушения, произведенные взрывом.

- Нам нужна связь, - сказал Каргин, с надеждой глядя в глаза Соколюку. - Вы должны ее наладить, Ваня. Можете?

Соколюк задумался.

- Могу, товарищ старший лейтенант,:- ответил он.

- Сколько вам надо для этого времени?

- Сорок минут.

Каргин посмотрел на часы.

- Даю вам полчаса, - сказал он.

Соколюк нахмурился и снова задумался.

- Есть полчаса, товарищ командир! Разрешите идти?

- Идите!

Полчаса! Это громадный срок. За полчаса немцы займут остров, и всё кончится.

"ТЩ-100" находился теперь к югу от острова, и остров с башней маяка отчетливо вырисовывался за его кормой на фоне хмурого неба. Они удалялись от него, но все глядели туда, назад, - и старший лейтенант Каргин и краснофлотцы.

Они догадывались, что там происходит. Огонь вражеских орудий, от которого они только что ушли, теперь всей своей мощью обрушился на остров. А ведь остров неподвижен, он лишен возможности маневра, он не в состоянии выйти из-под обстрела, как вышли они... Нет, ждать полчаса, пока Соколюк наладит радио и свяжется со штабом, невозможно. Надо действовать немедленно, сейчас же!

И Каргин повернул свой только что вырвавшийся из-под огня тральщик и повел его назад, к острову Сухо.

"ТЩ-100" во второй раз за это утро шел к острову Сухо с юга... Опять за низким островом виден был широкий полукруг неприятельских судов. Но разница заключалась в том, что тогда, в первый раз, Каргин мог рассчитывать на внезапность своего нападения, а теперь на внезапность рассчитывать он не мог.

Неприятель, конечно, видит тральщик. Однако все снаряды попрежнему рушатся на остров, а вокруг тральщика - тишина.

Десантные баржи теперь подошли к острову на предельно

близкое расстояние, - подойти еще ближе им не давали окружавшие остров мели и подводные камни. Немцы, уже готовились начать высаживать десант и подвергали остров последнему сокрушительному обстрелу. Они действовали по заранее разработанному плану с невозмутимой самоуверенностью. Они не сомневались в превосходстве своих сил, и новое появление маленького советского корабля не заставило их изменить намеченный планом порядок действий.

В этом невнимании к своему кораблю Каргин почувствовал пренебрежение. "Ну ладно, посмотрим", - подумал он.

"ТЩ-100" шел прямо на десантные баржи. Ближе, ближе, ближе...

- Огонь!

На палубе ближайшей баржи солдаты возились с надувными лодками из темной резины, - готовились переправляться на остров. Попадание, еще одно попадание, еще одно... Баржа начала тонуть, осела, накренилась. Но потонуть не могла, потому что было слишком мелко. Волны перекатывались через нее пенясь, и немцы прыгали в воду, стараясь доплыть до других барж, соседних...

За дальнейшей ее судьбой с тральщика не уследили. Он мчался вдоль строя барж и катеров, стреляя из орудий и пулеметов. Он так быстро проносился мимо, что моряки на нем не всегда успевали замечать результаты своих попаданий. Но он заставил-таки немцев обратить на себя внимание. Он несколько испортил выполнение их железного плана, он вынудил их прервать обстрел острова и добился того, что все орудия всех их барж и катеров стали стрелять в него.

Вода вокруг "ТЩ-100" кипела и пенилась от взрывов. Опять он шел зигзагами, кидаясь то вправо, то влево. Строй катеров и барж спутался: они сбились в кучу и палили не в лад. Только благодаря этому "ТЩ-100" и удавалось лавировать среди множества летевших в него со всех сторон снарядов. И всё-таки несколько снарядов попало в него, и на стальных его боках появились глубокие вмятины.

К счастью, машины и орудия на нем были пока целы. Люди тоже. Нужно вырваться из-под огня и уйти. На этот раз противник провожал его огнем гораздо упорнее, чем прежде. Несколько катеров даже помчалось за ним вдогонку. Но комендор тральщика точной стрельбой заставил катера отстать. Обогнув с запада остров Сухо, "ТЩ-100" снова понесся на юг.

Каргин посмотрел на часы. С тех пор как Соколюк начал чинить свою разбитую аппаратуру, не прошло еще и двадцати минут. Связаться со штабом пока невозможно. Но дожидаться

нечего, - надо продолжать бой. Надо мешать им, тревожить их, не давать им ни мгновения передышки. Надо сделать всё исполнимое, чтобы заставить их высадить свой десант как можно позже. "ТЩ-100" еще плавает, орудия его еще могут стрелять. Так назад, под огонь, в самую гущу врагов, чтобы не дать им покоя!

И "ТЩ-100" в третий раз вернулся к острову Сухо.

Теперь встречен он был далеко не с таким равнодушием, как прежде. Не успел он еще обогнуть западную оконечность острова, как вражеская эскадра обрушила на него весь свой огонь.

"Так, так! - думал Каргин. - В нас бейте, в нас! Уж мы как-нибудь... уж мы вывернемся. Бейте в нас, но оставьте в покое остров. Время - важнее всего. Теперь главное - выиграть время".

И "ТЩ-100" упорно продолжал свою бешеную игру с неприятельскими судами. Несясь по сложной, ломаной линии, петляя и крутясь, врывался он в самый их строй, стреляя из обоих своих орудий и всех пулеметов. Потом, когда огонь вражеской артиллерии становился нестерпимым, он выскакивал из гущи неприятельских судов, уходя по еще более ломаной линии, прятался за остров и шел к югу. Но едва снаряды переставали его догонять, он поворачивался, возвращался, и игра начиналась сначала.

"ТЩ-100" наскакивал и уходил. Но с каждым разом наскок становился всё короче, а уходить оказывалось всё сложнее. Вражеские артиллеристы, приноровившись, стали стрелять более метко, снаряды рвались ближе, попадания сделались чаще, вмятин в броне его становилось всё больше. И главное, вражеские катера принялись всерьез защищать от него десантные баржи. Теперь, когда он появлялся, катера норовили выскочить вперед. Они нападали на "ТЩ-100", как охотничья свора, и со страшным шумом, тратя огромное количество снарядов, гнали его прочь от острова. "ТЩ-100" бешено огрызался и, кидаясь из стороны в сторону, старался оторваться от своих преследователей.

Пришло наконец мгновение, когда Каргин стал опасаться, что оторваться от катеров больше не удастся. Они упорно вцепились в маленький тральщик и, видимо, твердо решили не упустить свою добычу. Пеня воду, "ТЩ-100" носился вокруг острова среди взрывов и взлетающих кверху столбов воды, преследуемый дюжиной быстроходных и отлично вооруженных катеров.

И вдруг Каргин заметил еще один катер, не похожий на остальные. Несколько крупнее, палубный... Да ведь это советский катер типа "морской охотник!" Откуда он взялся?

В бинокль Каргин различил надпись у него на борту: "МО-171". Кто командует катером "МО-171"? Каргин редко встречался с командирами из дивизиона "морских охотников" и

мало знал их. Однако командира "МО-171" он вдруг припомнил. Тоненький, очень молодой... ну, года двадцать три, наверно. Белокурый, а глаза темные. Фамилия его - Ковалевский... Лейтенант Ковалевский. Каргин видел его несколько раз в Новой Ладоге, а перед войной они встречались в Кронштадте, в Доме флота. Однажды Каргин играл с ним на бильярде и без труда выиграл у него партию...

"МО-171", появившись, на полном ходу устремился в пространство между "ТЩ-100" и вражескими катерами. Что он задумал, этот Ковалевский? Что он собирался делать?

Внезапно из "морского охотника" повалил густой дым, потянулся за ним как исполинский мохнатый хвост, и, тяжелый, непроглядный, клубящийся, разлегся на волнах, становясь всё шире и поднимаясь всё выше.

Дымовая завеса!

Так вот что придумал Ковалевский, первым пришедший на помощь Каргину! Он сразу оценил положение и прежде всего решил дать "ТЩ-100" передышку, дать ему возможность уйти от погони. Весь огонь вражеских катеров он принял на себя и повел за собой всю их свору, отгородив дымовой завесой тральщик Каргина от боя, от неприятельских судов, от острова Сухо...

- Товарищ старший лейтенант...

Каргин обернулся.

Перед ним стоял Соколюк.

- Ну как? - спросил Каргин и взглянул на часы. Прошло тридцать четыре минуты. Почти, тридцать пять.

- Радио работает уже четыре минуты, - сказал Соколюк.

- Передали в штаб?

- Всё передал.

- А что приняли?

- Принял приказание командующего флотилии.

Он подал Каргину радиограмму. Командующий сообщал, что помощь острову идет, и приказывал Каргину делать всё возможное, чтобы задержать высадку десанта.

- Благодарю, товарищ Соколюк, - сказал Каргин. - Спасибо, Ваня! А приказание командующего мы уже давно выполняем.

И он повел свой тральщик в обход дымовой завесе, чтобы помочь "МО-171", который принял на себя всю тяжесть боя.

6.

Двадцать второго октября эскадрилья Лунина совершила свой первый боевой вылет на самолетах новой конструкции.

Лунин не думал, что ему придется вылететь в это мглистое октябрьское утро. Уже несколько суток вся авиация сидела на земле, прижатая туманом, низкой облачностью, моросящими

дождями. Ночью выпал первый снег и побелил поле аэродрома. К рассвету снег почти весь растаял и лежал кое-где сероватыми пятнами. Рассветало вяло, хмуро, небо грозило дождем или новым снегом. Лунин уже собирался идти в лётную столовую завтракать, как вдруг ему в землянку позвонили из командного пункта полка и приказали готовить к вылету всю эскадрилью.

- Задачу сообщу дополнительно, - сказал ему по телефону начальник штаба полка Шахбазьян.

Землянка командного пункта полка находилась всего в нескольких десятках метров от землянки Лунина. И уже через две-три минуты из полка прибежал в эскадрилью техник и рассказал, что немцы пытаются высадить десант на остров Сухо.

Все летчики много раз видели остров Сухо, хорошо знали, где он находится, и смысл услышанной новости стал им всем ясен сразу. Судьба острова Сухо - это судьба Ленинграда. Если остров Сухо падет, сообщение с Ленинградом будет прервано и кольцо блокады сомкнется.

Начальник штаба сообщил задачу:

- Прикрывать штурмовики. Встреча, как всегда, над мысом.

Эскадрилья взлетела и мгновенно пропала в тумане. Лунин, оборачиваясь, не видел всего строя своих самолетов, даже ближайшие то возникали, то пропадали. Но по радио он слышал голоса своих летчиков и знал, что они идут за ним.

Он еще не привык к своему новому самолету - он всего несколько дней назад впервые поднялся на нем - и теперь наслаждался тем, как он удобен, послушен, стремителен, точен, устойчив, как умны и бдительны на нем приборы. Вообще вся эта изящная, могучая машина казалась ему таким воплощением разума, что он невольно чувствовал к ней уважение, словно она живая. И в то же время эта машина была как бы продолжением его самого, повиновалась только ему, превращала его в сказочного великана, увеличивая его силу в тысячу раз. И сейчас, когда он в помощь себе получил такую разумную силу, ему не терпелось встретиться со своими давнишними испытанными врагами - "Мессершмиттами". Посмотрим, как они будут вести себя теперь... если только они осмелятся вылететь в такую погоду...

Вода в озере казалась черной, только у берегов угрюмо белела пена бурунов. Истребители к месту встречи пришли первыми. Тучи неслись так низко, что порой задевали вершины сосен, торчащих на мысу. Эскадрилья Лунина делала над мысом круг за кругом, стараясь держаться как можно ниже, чтобы не прозевать штурмовики.

Через минуту они увидели их - шесть горбатых серых теней,

перевалivших через береговую черту и шедших над самой водой. Истребители сопровождали их как конвой: спереди, сзади, справа, слева. Мыс потонул позади в тумане, и с самолетов ничего не было видно, кроме черной воды да туч, спускавшихся к волнам. В ясную погоду остров Сухо был заметен с самолета чуть ли не от самого мыса, но на этот раз они летели довольно долго, прежде чем он наконец появился.

Лунин раньше всего увидел два столба дыма, упиравшиеся прямо в тучи. Это были два пожара - один на острове, другой на воде. На острове горел деревянный домик у подножия маяка, на воде пылала большая баржа, - нос ее погрузился в воду, а корма, высоко поднятая в воздухе, была вся охвачена пламенем.

Разбитых судов возле острова заметил он несколько, - их обломки, хорошо видные сверху, плавали на воде. Но целых судов было гораздо больше. Обхватив остров подковой, они вели по нему огонь из многих орудий, и видно было, как рвутся снаряды, вздымая то светлые столбы воды, то темные вихри песка и щебня.

На всё это Лунин смотрел не больше мгновения, потому что внимание его сразу же было отвлечено. К югу от острова он увидел маленький военный корабль - тральщик - и черный "Юнкерс" над ним, выходящий из пике и бомбящий. Он увидел задранные кверху зенитки на тральщике, ведущие огонь, и второй "Юнкерс", вывалившийся из туч, а за ним третий, четвертый. Отбомбив, "Юнкерсы" уходили в тучи, делали новый заход и снова бомбили...

Затеяв поход на остров Сухо, немцы вначале, видимо, собирались обойтись без авиации. Погода была дурная, да и подавление одной береговой батареи на острове казалось им делом несложным. Авиацию они вызвали уже во время боя, чтобы отделаться от назойливого тральщика "ТЩ-100", который раздражал их и задерживал высадку десанта. "Юнкерсы" атаковали тральщик, когда он - в который уже раз - укрылся за южным берегом острова, готовясь к новому нападению на баржи. "Юнкерсы" вываливались из низких туч прямо над тральщиком и сразу шарахались, устрашенные огнем его зениток, бивших в упор. От этого страха перед зенитками они до сих пор ни разу еще не попали в него, и бомбы, взрываясь вокруг в воде, только оплескивали его палубу тяжелыми холодными потоками. Но "Юнкерсы" были упорны: они уходили в тучи и возвращались.

Лунин оставил шесть самолетов для охраны штурмовиков, а сам с Татаренко, Карякиным и Рябушкиным двинулся к "Юнкерсам". "Юнкерсы" ушли в тучи, и над тральщиком истребителям удалось настичь только один. Атакованный с четырех сторон, он мгновенно был опрокинут в воду. Карякин и

Рябушкин, углубившись в тучу, наткнулись еще на один "Юнкерс". Они сразу же сбили его, и Лунин узнал об этом, услышав в своих наушниках восторженные крики Карякина.

Тогда обнаружилось, что здесь есть и "Мессершмитты", пришедшие сюда, должно быть, для охраны "Юнкерсов". Десять "Мессершмиттов", выскочив из туч, сделали попытку напасть на штурмовики в то самое мгновение, когда те атаковали баржи.

Произошла схватка столь стремительная, что Лунин при всей своей опытности не успел уследить за ней. Шесть советских истребителей, охранявших штурмовики, сбились над баржами в один клубок с "Мессершмиттами". Но уже через полминуты этот клубок распался. Три "Мессершмитта" вывалились из него и упали в воду между пятящихся барж. Остальные стремительно отпрянули в разные стороны, стараясь как можно скорее скрыться в тучах.

Лунин, не участвовавший в этой схватке, внезапно увидел "Мессершмитт", удиравший на бреющем Над самыми волнами. Вместе с Татаренко он погнался за ним. Немецкий летчик сразу обнаружил погоню и рванулся вперед, стараясь выжать из своей машины всю скорость, на какую она была способна. Но у новых советских самолетов скорость оказалась большей. Расстояние между "Мессершмиттом" и его преследователями уменьшалось с каждым мгновением. И Лунин, готовясь нажать гашетку, с радостно бьющимся сердцем видел, как "Мессершмитт" рос и рос в прицеле.

Поняв, что уйти по прямой невозможно, немецкий летчик круто задрал нос своего самолета и свечой пошел вверх. Он привык к тому, что в вертикальной плоскости "Мессершмитт" всегда быстрее и поворотливее тех самолетов, с которыми ему приходилось сражаться. Но самолет Лунина без малейшего промедления тоже пошел вверх и под тем же самым углом. Они почти одновременно врезались в тучу.

В туче Лунин сразу же потерял "Мессершмитт" из виду. Плотный, мутный туман тесно обступил его самолет со всех сторон. Но он продолжал подниматься, не сбавляя скорости и не меняя угла подъема. Он уже не слишком надеялся снова увидеть "Мессершмитт", за которым гнался, но, разгоряченный погоней, не хотел свернуть, тем более что туман вокруг светлел и слой туч был, вероятно, не так уж толст.

Внезапно ослепительный свет заставил его зажмуриться. Он увидел солнце и бледносинее ясное небо над собой, а под собой - клубящийся океан туч без конца, без края.

"Где же "Мессершмитт"?"

Лунин оглядел весь простор вокруг себя, но нигде на всем

безграничном пространстве над тучами не было видно ни одного самолета.

И вдруг "Мессершмитт" выскочил из туч, как пробка из воды, - в каких-нибудь пятидесяти метрах от Лунина.

И Лунин понял, что его новый самолет поднимался быстрее "Мессершмитта" и обогнал его на подъеме.

Подойдя к "Мессершмитту" со стороны солнца, Лунин дал очередь, и "Мессершмитт", перевернувшись брюхом вверх, погрузился сначала в тучу, потом в воду.

Опустясь к воде, Лунин встретил Татаренко, с которым разминулся в тумане. Воздух под тучами был пустынен - ни штурмовиков, ни истребителей. Пока Лунин гнался за "Мессершмиттом", штурмовка окончилась и самолеты ушли.

Лунин и Татаренко помчались вдогонку за штурмовиками. Они пронеслись над островом Сухо, над верхушкой маяка. Дым пожаров, которых стало еще больше, заволакивал всё, и они не видели, как вражеские солдаты плыли в резиновых лодках с барж к острову. Они не видели, что некоторые из этих солдат добрались уже до прибрежных бурунов и, выпрыгнув из лодок, по пояс в воде шли к берегу.

7.

К этому времени положение защитников острова стало отчаянным. Половина из них была убита, живые - почти все ранены. Державшихся на ногах оставалось человек десять-двенадцать, но и среди них раненых было большинство. Снаряд подбил еще одно орудие - комендора Уличева. И только орудие комендора Баскакова продолжало стрелять.

Штурмовики заставили немецкие суда сбиться в кучу, подожгли катер, потопили баржу, убили и ранили много солдат. Однако, едва штурмовики ушли, баржи вернулись на прежние места, и высадка десанта началась.

Мель, мешала баржам подойти к берегу вплотную, и десантники двинулись к острову в надувных резиновых лодках. Лодки эти, набитые немецкими солдатами до предела, были медлительны, неуклюжи и сильно подскакивали на волнах. Снаряд Баскакова попал в одну из них и уничтожил на глазах у всех и лодку и тех, кто в ней находился. Но остальные лодки продолжали двигаться к острову. Шагах в пятидесяти от берега было уже достаточно мелко, и солдаты прыгали в воду. По грудь в воде они шли к берегу, беспорядочно стреляя из автоматов.

Неприятельская артиллерия вынуждена была прекратить огонь, чтобы не бить по своим.

Защитники острова легли меж камней и приготовились к встрече.

На острове было два пулемета. Один из них Гусев приказал установить на высоком месте у подножия маяка, другой - среди развалин орудийного дворика, окружавших перевернутую пушку Пугача. Это позволяло держать под пулеметным огнем почти всё мелководное пространство перед островом. Орудие Баскакова било по резиновым лодкам, продолжавшим отплывать от барж. Брустверы всех трех орудийных двориков служили прикрытием для краснофлотцев, стрелявших из винтовок и автоматов в приближавшихся к берегу немцев.

То один вражеский солдат, то другой опрокидывался и исчезал под водой, чтобы больше уже не встать. Но их было слишком много, всё новые и новые появлялись на месте убитых. Видно было, как их насильно спихивали с резиновых лодок в воду, фельдфебельская брань доносилась до острова даже сквозь шум ветра и треск стрельбы. Попав в воду, каждый солдат изо всех сил спешил к берегу, потому что возле самого берега громоздились большие камни, в которых можно было укрыться. И те, кому удавалось добежать, прятались там, между камнями, уже недосягаемые для пуль. Укрытые береговыми скалами, они готовились к атаке.

Старший лейтенант Гусев вдруг приподнялся, и все краснофлотцы увидели его бледное сухое лицо.

- Друзья! - крикнул он. - Стоять насмерть! К нам идет помощь!..

Он взмахнул руками и упал лицом вниз.

Его ранили в третий раз.

Сашка Строганов кинулся к нему, приподнял его, перевернул на спину. Глаза Гусева были закрыты. Но он дышал, он был еще жив. Сашка взвалил его себе на спину и пополз к землянке. Ползя, он услышал, как главстаршина Мартынов крикнул:

- Слушай мою команду! За Родину! Вперед!

Мартынов принял на себя командование гарнизоном и повел его за собой в атаку, чтобы опередить немцев и сбросить их в воду.

За ним побежали все, кроме пулеметчиков, - всего около десяти человек.

Подбежав к берегу, Мартынов швырнул в солдат, прятавшихся под береговыми скалами, ручную гранату. Граната взорвалась. Но сейчас же на скалах появились немцы и бросились навстречу Мартынову.

Их вел за собой офицер, размахивая револьвером. Мартынов с разбегу проткнул его штыком, опрокинул и перепрыгнул через него. Несколько немецких солдат было тут же заколото штыками, а остальные, не выдержав натиска краснофлотцев, отпрянули и

попрыгали обратно, вниз, под скалы.

Мартынов и Полещук кинули в них сверху две гранаты, одну за другой, и, когда гранаты взорвались, прыгнули туда сами. Краснофлотцы хлынули за ними, и после короткой схватки те немногие немцы, которые остались в живых, побежали в воду, в волны, стараясь добраться до своих резиновых лодок.

Это было торжество гарнизона. Ни одного живого вражеского солдата не осталось на острове.

Но торжество это было минутное. С резиновых лодок сбрасывали в воду всё новых и новых солдат. Они стреляли из автоматов и шли к острову.

Один из краснофлотцев вскрикнул и упал, раскинувшись между камнями. Мартынов наклонился над ним. Он был мертв. И в то же мгновение Мартынов, задетый пулей, сам свалился на мертвого краснофлотца.

Стало ясно, что здесь, у воды, оставаться им больше нельзя: здесь их всех перестреляют. И, покинув берег, они опять ушли наверх, к орудийным дворикам, под защиту брустверов.

Теперь командование гарнизоном принял на себя парторг Полещук. Ему не пришлось даже объявлять об этом, - он просто стал распоряжаться, и ему все повиновались. Главстаршина Мартынов был жив, но тяжко ранен. Уличев вынес его с берега на себе и тут, наверху, положил рядом с собой на земле. Мартынов, большой и сильный, очень мучился, громко стонал и что-то бессвязно говорил. Полещук увидел Сашку Строганова, который только что отнес в землянку Гусева, и приказал ему отнести туда же и Мартынова. Такая выпала Сашке судьба - относить раненых командиров. Он взгромоздил Мартынова себе на спину и пополз.

Тем временем немецкие солдаты опять собрались в камнях под береговым откосом. Там они готовились к нападению, и, чтобы опередить их, Полещук повел защитников острова в новую атаку. Они сверху забросали десантников гранатами, снова спрыгнули вниз и, вероятно, снова завладели бы прибрежными камнями, если бы Полещук не заметил, что на этот раз нескольким немецким солдатам удалось достигнуть берега левее того

места, где шла схватка. Невозможно было с такой маленькой горсткой бойцов оберечь всю береговую линию острова. Им грозило окружение. Если немцы отрежут их от брустверов, от маяка, от землянки - конец.

И защитники острова опять отступили. Полещук повел их сначала к разбитому орудию Уличева, а потом еще дальше, к орудию Баскакова, где бруствер хорошо сохранился.

* * *

Орудийная пальба смолкла, но тихо не стало. Воздух был полон оглушительного треска пулеметов и автоматов, отрывисто щелкали винтовки. Таща на себе Мартынова, Сашка полз извилистым, длинным путем, укрываясь от пуль в низинках и за камнями. Сквозь трескотню пальбы и шум ветра доносились какие-то крики, голоса. Сашка полз осторожно, часто останавливался, замирал. Наконец он увидел широкую впадину меж камней вход в землянку.

По ту сторону впадины, в камнях, он заметил что-то серое, движущееся.

Что это?

Немцы. Кажется, двое. Так же как и Сашка, они ползут меж камней, хоронясь от пуль. Они уже возле самой землянки! Как же быть с Мартыновым? Неужели впустить их в землянку, где раненый Гусев, где столько раненых?

Не двигаясь, Сашка следил за обоими солдатами. Они, кажется, его еще не видят. Куда они ползут? Быть может, они проползут мимо и не заметят землянки... Нет, дверь землянки слишком заметна. Вот один уже у края впадины и смотрит вниз. Он подманил второго и показывает ему дверь. Они совещаются, что делать дальше. Вот они оба встают...

Сашка выполз из-под тяжелого тела Мартынова, вскочил, размахнулся и бросил гранату.

Солдаты упали. Один скатился вниз, во впадину, и разлегся ничком на досках перед самым входом, неестественно подогнув голову в железной каске себе под грудь. Второй пролежал не больше мгновения, вскочил и, низко пригнувшись, побежал прочь.

Сашка спустился в землянку. Ему пришлось переступить через убитого немца. Этот немец здорово вымок в озере, переправляясь на остров, с его шинели текла вода. В землянке лампа почти погасла, - кончился керосин. Сашка уложил стонавшего, но не приходившего в сознание Мартынова рядом с Гусевым: Гусев лежал неподвижно- казалось, спал..Жив ли он еще?

В углу землянки хранился ящик с гранатами. Сашка склонился над ящиком и стал засовывать гранаты в карманы, за пояс, за пазуху, Нагруженный, он вышел из землянки.

Переступив через убитого немца в мокрой шинели, он остановился и прислушался.

Стрельба продолжалась и стала громче, чем прежде. Но теперь вся она словно сосредоточилась в одной части острова и доносилась откуда-то слева. Из впадины перед дверью никого не было видно. Но голоса, незнакомые, кричавшие что-то на чужом языке, были слышны совсем близко, почти рядом.

Сашка осторожно выглянул. На расстоянии одного шага от своих глаз он увидел, ноги в мокрых сапогах. Немцев действительно было много, они заполняли всё пространство от берега почти до самого маяка. Они лежали на животах, прячась меж камней, протянув ноги в сторону землянки, и стреляли из автоматов по орудийному дворику, за бруствером которого находилось орудие Баскакова.

Горсточка уцелевших краснофлотцев не могла оборонять весь остров, и Полещук отвел свой отряд в тот орудийный дворик, который был меньше разрушен, чем два других. Оттуда они отстреливались, а немцы, уже чувствовавшие себя на острове хозяевами, залегли вокруг и готовились к штурму, чтобы одним ударом покончить с последним сопротивлением.

Слабость обороны этого орудийного дворика заключалась прежде всего в близости той самой лощинки, в которой хранились снаряды. Дно ее было недосягаемо для пуль. А от нее до бруствера оставалось всего несколько метров, которые нетрудно было преодолеть. Нападающие это сообразили и пытались проникнуть в лощину.

Конечно, Полещук понял их замысел. Пространство, прилегавшее к лощине, он держал под огнем. Но на краю лощины лежал большой камень. Этот камень служил отличным прикрытием для вражеских солдат. Под его

защитой они поодиночке подползали к краю лощины и потом, улучив мгновение, прыгали на дно ее. То был медленный способ, но единственно верный. Немцы накапливались на дне лощины, и помешать этому Полещук не мог.

Всё то, что проделал Сашка Строганов, вышло совершенно случайно. У него не было никакого плана. Не он напал на немцев, а они на него. Просто один солдат обернулся и вдруг заметил Сашкину голову в бескозырке, торчавшую из впадины. Солдат выстрелил, Сашка присел. Пули с противным визгом пролетали над ним. Сашка, с посинелыми от бешенства, сжатыми губами, стал хватать с земли одну гранату за другой и швырять их. Гул взрывов покатился над островом.

Размахивая гранатой, Сашка вскочил и побежал вперед. Убитые гранатами немцы лежали тут и там. Сашка спотыкался о трупы, перескакивал через них на бегу. А живые, вскочив, бежали, ошеломленные внезапным нападением сзади. И Сашка, возбужденный успехом, помчался за ними, крича и бросая гранаты.

Целый год учил его старший лейтенант Гусев искусству метать гранаты, и наука эта ему пригодилась. В несколько прыжков домчался он до лощины, с разбегу вскочил на большой,

камень и глянул вниз. Увидев в лощине немцев, он метнул туда две свои последние гранаты.

Даже если бы взорвалась одновременно целая дюжина ручных гранат, не было бы такого взрыва. На дне лощины взорвались не только две Сашкины гранаты, но и сложенные там боеприпасы.

Взрыв получился такой, какого на острове с начала боя еще не было. В лощине не уцелел никто. Взрывная волна сорвала Сашку с камня и отбросила метра на три.

Сознание Сашка потерял не сразу. Он услышал топот ног вокруг себя, крики. Подняв голову, он увидел бегущих вперед краснофлотцев. Это Полещук, воспользовавшись взрывом в лощине, повел свой отряд в атаку.

Эта была третья - и последняя - атака защитников острова. Они бежали коротенькой цепью - восемь-девять человек, - стреляя из автоматов, из винтовок, швыряя гранаты. Их вел за собой Полещук. Меньше всех ростом, он, словно шар, катился между камнями всё вперед и вперед. Немцы удирали от них, и нашим опять удалось освободить почти весь остров. Уже и вход в землянку и орудие Уличева далеко позади. Вперед, вперед! Немцы уже на самом краю - за перевернутым орудием Пугача...

Но успех этот был краток, почти мгновенен. Немцев на острове много, очень много. Паника среди них улеглась, они снова ползут, окружают, ведут огонь из десятков автоматов...

И отряд Полещука, еще поредевший, снова отступил к орудийному дворику Баскакова, под защиту брустверов.

8.

Всё происходившее лучше всего видел Лунин, потому что смотрел он сверху, с самолета, и наблюдал не отдельные детали боя, а весь бой сразу.

Во главе своей эскадрильи он то покидал остров Сухо, то возвращался к нему вновь. Эскадрилья его сопровождала всё новые группы штурмовиков и бомбардировщиков, которые волнами двигались к неприятельским судам, столпившимся возле острова. Удар за ударом наносили они по десантным баржам, по защищавшим их катерам. И в каждой последующей волне было больше самолетов, чем в предыдущей, и каждый последующий удар был сильнее предыдущего.

Силы советской авиации над островом Сухо беспрерывно нарастали. А немецкая авиация в этот хмурый осенний день вдруг оказалась совершенно бессильной. Немецкие летчики явно боялись новых советских истребителей. "Юнкерсы", исчезнув, долго не появлялись, а "Мессершмитты" хотя иногда и обнаруживали свое присутствие, вынырнув из туч, но даже не

пытались защитить суда от штурмовки и бомбежки.

Бомбардировщики потопили еще одну самоходную баржу, подожгли еще один катер. Этот катер запылал как-то особенно зловеще. Низкое пламя, охватившее его, при свете тусклого дня казалось очень ярким. На пылающем катере взрывались боеприпасы, и при каждом взрыве он весь болезненно вздрагивал, словно живой. Мотор на нем долго еще работал, заставляя его метаться из стороны в сторону, и он, пылая, натыкался на соседние суда, в ужасе шарахавшиеся от него.

Пытаясь захватить остров, немцы понесли громадные и совершенно ими непредвиденные потери: много их судов погибло, на прибрежных камнях висели трупы, мертвецы качались на волнах, подплывали к бортам, а островок с маяком всё еще не был взят, всё еще на нем отстреливалась кучка краснофлотцев, вынуждая немцев терять время и тем самым подвергая их суда опасности нападения главных сил Ладожской флотилии.

В третий раз летя от мыса к острову, эскадрилья Лунина обогнала колонну военных кораблей. Это был отряд канонерок - самых крупных кораблей Ладожской флотилии. Еще ближе к острову Лунин увидел большую группу "морских охотников", которые мчались полным ходом, зарываясь носами в волну. Одновременно с ними, но с другого направления, к острову подошли советские бронекатера.

"Морские охотники", растянувшись цепью, стали охватывать неприятельские суда с севера, со стороны открытого озера. Этот маневр был тотчас же замечен немцами и встревожил их чрезвычайно. Охват с севера грозил преградить им путь к отходу,

И немецкие катера, на обязанности которых лежала охрана десантных барж, покинули баржи, отдалились от острова и подались к северу, чтобы защитить путь отхода. Баржи последовать за ними не могли, так как не могли оставить десантников, находившихся на острове и всё еще сражавшихся с отрядом Полещука. Так началось разделение неприятельских судов на две группы, сыгравшее немалую роль в дальнейшем.

Опять появились "Юнкерсы". Немецкое командование, поняв угрожавшую десанту опасность, послало их бомбить советские корабли. "Мессершмиттов" тоже стало гораздо больше, - скрываясь в тучах, они неожиданно выскакивали, стараясь внезапно атаковать наши самолеты. Но численность советских самолетов нарастала с поражавшей Лунина быстротой. Никогда еще с начала войны Лунин не видел столько советских самолетов сразу. Всюду, куда ни кинешь взгляд, проносились штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы, истребители. Только теперь,

только в этом бою, Лунин мог оценить всю громадность перемен, происшедших в советской авиации за последнее время.

"Юнкерсам" не удалось попасть ни одной бомбой ни в один наш корабль, "Мессершмиттам". не удалось сбить ни один наш самолет. В воздушной битве, закипевшей над маяком, над волнами, над кораблями, немецкая авиация потерпела полное поражение. Советские истребители на глазах у Лунина сбили в течение нескольких первых минут один за другим четыре немецких самолета три "Юнкерса" и один "Мессершмитт". А второй "Мессершмитт" сбил в те же несколько минут сам Лунин вместе с Татаренко.

Тем временем к острову подошли канонерки. Они приближались к десантным баржам, не встречая почти никакого сопротивления, потому что немецкие катера находились значительно севернее барж и там, вдали, у самого горизонта вели бой с "морскими охотниками" и советскими бронекатерами. Приблизившись, канонерки построились и обрушили на баржи всю мощь огня своих орудий главного калибра.

Этого немцы не вынесли, - они обратились в бегство.

Прежде всего побежали солдаты, находившиеся на острове. Овладевшие уже почти всем островом, они бросили осажденную ими горсточку краснофлотцев и в панике, не соблюдая никакого порядка, кинулись в холодную октябрьскую воду, стараясь добраться до резиновых лодок, до барж. Неизвестно, получили ли они какой-нибудь приказ к отступлению. Вероятнее всего, действовали они без всякого приказа, - просто догадались, что баржи собираются уходить. И, боясь, что их оставят на острове одних, отрезанных, без всякой поддержки, они кинулись в воду спасать себя.

* * *

Из комендоров батареи к этому времени в сознании находился один только Уличев, но и он, раненный недавно в четвертый раз, лежал на камнях, истекая кровью, и не мог приподняться. Однако единственное уцелевшее орудие батареи опять уже вело огонь по неприятельским судам. Стрелял из него Полещук, а помогал ему Сашка Строганов.

Во время взрыва в лощине Сашку взрывной волной сбросило с камня; он расшиб себе лоб и потерял сознание. Когда краснофлотцы отходили под защиту бруствера после атаки, Полещук заметил, что Строганов начал шевелиться, и за ногу втащил его в орудийный дворик.

Там Сашка окончательно пришел в себя. На лбу у него был огромный синяк, и правый глаз так запух, что почти не открывался, но левый попрежнему бойко и смело смотрел вокруг.

Полещук был ранен в ногу. Он прыгал на одной ноге, хватаясь руками за бруствер, за орудие. Когда немцы, покидая остров, отхлынули от бруствера, он оглядел своих товарищей, обдумывая, кто мог бы ему помочь. Все были ранены, но некоторые еще стреляли из автоматов по убегавшим немцам. Нет, раненых трогать нельзя, они не справятся. Полещук заметил раскрытый левый глаз Сашки и спросил:

- Ты можешь встать?

- Могу, - сказал Сашка. И поднялся.

- Подай мне снаряд!..

Так орудие заговорило снова.

Полещук внезапно воскликнул:

- Смотри, Саша!.. Видишь?

И показал в сторону соседнего орудийного дворика, где лежало поврежденное орудие Уличева.

- Вижу, - сказал Сашка.

Уже почти все немцы покинули остров, но там, возле орудия Уличева, еще возились, пригнувшись, несколько солдат.

- Что они там делают? - спросил Сашка.

- Тол подкладывают, - сказал Полещук. - Взорвать орудие хотят, чтобы мы не могли его поправить.

Немцы выскочили из орудийного дворика и, всё так же пригнувшись, побежали прочь. Полещук схватил автомат и пустил им вслед очередь. Но они успели прыгнуть с берега вниз за прибрежные камни.

Сашка заметил над орудием Уличева легкий дымок.

- Это шнур горит, - сказал он. - Сейчас будет взрыв!

Полещук уперся руками в бруствер и перекинул через него свое небольшое тело. Оказавшись за бруствером, он тяжело заковылял к орудию Уличева. Простреленная нога его волочилась, и двигался он очень медленно.

- Куда ты? - удивленно крикнул Сашка. - Стой! Тебя взорвет!

Но Полещук махнул рукой и двинулся дальше. Однако сразу же споткнулся и упал.

Тут только Сашка понял, что хотел и не мог сделать Полещук.

- Я сам! - крикнул он. - Я сейчас!

Одним прыжком перескочил он через бруствер и помчался к орудию Уличева.

- Уже поздно! - закричал ему Полещук. - Назад! Ложись! Ложись!

Но Сашка не слушал его.

И добежал.

Он успел. Он вырвал почти уже догоревший шнур и выгреб

из-под орудия тол.

* * *

Десантные баржи, содрогаясь от падавших вокруг снарядов, покидали остров Сухо. Вражеские катера были уже далеко впереди: они уходили обратно, на северо-запад, ведя непрерывный бой с преследовавшими их советскими бронекатерами. Началось бегство всей неприятельской эскадры, ничего не достигшей, поредевшей, потерпевшей поражение и теперь удиравшей в напрасной надежде избежать полного разгрома.

Разгрома избежать было уже нельзя. Немецким судам предстояло пройти длинный путь через всё озеро до своей базы - захваченного финнами порта Кексгольм. Только там они могли найти себе убежище. И всё это многочасовое плавание они вынуждены были совершать под бомбами советской авиации, под непрерывным огнем артиллерии советских кораблей.

Бегство немецких судов от начала и почти до конца прошло у Лунина на глазах. Его эскадрилья весь этот день провела в воздухе. Вместе со своей эскадрильей он сопровождал и охранял всё новые и новые волны бомбардировщиков, которые одна за другой, непрерывной чередой шли бомбить удалявшиеся немецкие суда. Изредка в воздухе возникали короткие стычки с "Мессершмиттами", неизменно кончавшиеся их поражением, и бомбардировщики наносили уходящим судам удар за ударом, не встречая почти никакого противодействия.

Немецкие суда, еще у самого острова Сухо разделившиеся на две группы, так, двумя группами, и шли через всё озеро. Первую их группу, состоявшую из катеров, преследовали советские бронекатера и "морские охотники". Особенно досаждали немцам бронекатера

маленькие, верткие, прекрасно вооруженные, быстроходные, неуязвимые и бесстрашные. Они беспрестанно атаковали, одна атака следовала за другой, и так до самого Кексгольма, на протяжении многих десятков километров. И немецкие катера, которых становилось всё меньше, тащились через озеро, устало огрызаясь, изнемогая.

А далеко позади, всё дальше и дальше отставая, двигались самоходные баржи с солдатами, и положение их было еще тяжелее. Их преследовал другой отряд "морских охотников" и отряд канонерок. Огнем своих пушек самоходные баржи старались заставить советские корабли держаться в отдалении. Но канонерки приближались к ним под защитой дымовых завес, которые ставили юркие "морские охотники", и били их почти в упор из своих мощных орудий. Преследуя врага, советские

корабли вели с ним беспрерывный многосложный бой, изнуряющий бой на уничтожение. А сверху, над караваном неприятельских судов, всё более растягивавшимся и редевшим, кружили самолеты, бомбя и штурмуя.

Короткий осенний день кончился рано. На озере спустилась тьма, и в этой тьме на всем протяжении от острова Сухо до Кексгольма ярко пылали гибнущие немецкие суда.

Вечером, когда утомленные летчики собрались в столовой на ужин, в их глазах еще сияли отсветы этих пожаров. Они не могли говорить от усталости, руки онемели, ноги еле двигались, но глубокая радость победы и торжества переполняла их.

- Если бы они это видели! - вырвалось вдруг у Лунина, когда он садился за стол.

- Кто они, товарищ гвардии майор? - не понял Костин.

Татаренко сердито посмотрел на Костина: какой недогадливый! Сам-то он сразу догадался, что Лунин думает о Рассохине и о тех, о рассохинских, летчиках.

9.

Тральщик "ТЩ-100", первым начавший бой, в преследовании неприятельских судов участия не принимал, потому что, получив еще две пробоины, потерял способность двигаться быстро. Однако на воде он держался хорошо, и все люди на нем были целы. И старший лейтенант Каргин получил приказ подойти к острову Сухо и снять с него раненых.

К этому времени все суда скрылись уже за горизонтом. Озеро вокруг было пустынно, только догорала еще полузатонувшая самоходная баржа да через остовы других затонувших барж и катеров перекатывались, пенясь, волны. Каргин подвел "ТЩ-100" настолько близко к острову, насколько это было возможно, и приказал спустить шлюпку. В шлюпку сел фельдшер Вернадский с двумя краснофлотцами.

Фельдшер Вернадский был нескладный малый с большой головой, мясистым носом и мягкими, добрыми губами. Уже больше года служил он на военном корабле, но в его неуклюжей фигуре не было ничего ни морского, ни военного. Несмотря на все усилия Каргина привить ему военные навыки, в нем до сих пор сразу угадывался штатский, и шинель сидела на нем как халат.

Шлюпка, подскакивая на волнах, двинулась к берегу. Фельдшер, прижимая к животу большую сумку, полную бинтов, ваты, склянок, инструментов, удивленно вглядывался в остров.

На, острове его больше всего поражала неподвижность. Там двигался и колебался только столб дыма над всё еще догоравшим домиком у подножия маяка. Остальное - недвижимо.

Беспорядочное нагромождение камней, обломки укреплений. И ни одного человека.

Где же люди?

Когда шлюпка, шурша днищем по гальке, уткнулась носом в берег, Вернадский увидел трупы. Много трупов - на камнях и между камнями, у самой воды и выше, на береговых скалах. Только немцы. Выпрыгнув из шлюпки, Вернадский и его спутники зашагали вверх по тропинке, в сторону маяка. Здесь тоже было много трупов и тоже только немцы. Дорого, же заплатили они за попытку овладеть островом!

- А вот и наши, - сказал один из спутников фельдшера, шедший перед ним.

Он склонился над двумя краснофлотцами, лежавшими возле развороченного снарядами бруствера.

- Раненые? - спросил, подходя, Вернадский.

Но тот покачал головой: краснофлотцы были мертвы.

Неужели на острове не осталось ни одного живого человека?.. Воронки, осколки снарядов... Всё усыпано патронами, обломками камней. Три орудия: одно перевернуто и исковеркано, другое просто перевернуто, третье как будто в порядке. Из него недавно стреляли по отходившим вражеским судам, на тральщике все это слышали. Кто же, в таком случае, стрелял? Значит, есть здесь живые!..

Вдруг в одной из впадин, которую они приняли за воронку, что-то зашевелилось, и оттуда поднялся молоденький краснофлотец с огромным синяком над заплывшим глазом.

Краснофлотец этот был Сашка Строганов.

- Хорошо, что вы пришли, - сказал он, приложив руку к бескозырке. - Я один ничего не могу сделать.

- Один? - переспросил Вернадский. - А остальные? Все убиты?

- Не все убиты. Раненые.

- И ты один не ранен?

- Один.

- А ваш командир?

- Старший лейтенант жив, он даже очнулся и разговаривал... Потом опять бредил... Там многие бредят. И все воды просят: пить, пить! Вот Полещук послал меня за водой...

У ног Сашки стояло пустое ведерко.

- Да где ж они? - спросил Вернадский нетерпеливо.

- Здесь, в землянке.

Вернадский заглянул во впадину, из которой вышел Сашка, и увидел деревянную дверь. Звеня ведром, Сашка побежал к берегу за водой, а фельдшер и его спутники вошли в землянку.

Раненых оказалось человек пятнадцать, и большинство в очень тяжелом состоянии.

Вернадскому и двум его спутникам предстояла трудная работа. Помочь им могли только Сашка Строганов да Полещук, оказавшийся отличным и умелым санитаром. Полещук прыгал между нарами на одной ноге и не соглашался показать Вернадскому свою рану до тех пор, пока все раненые не были осмотрены и перевязаны.

Двое умерли, прежде чем их успели перевязать. Очень

плох был и главстаршина Мартынов: не приходя в сознание, он метался и стонал. Тяжко ранен был и комендор Уличев. Сознания он не потерял и очень страдал, но, как и Полещук, требовал, чтобы прежде помогли другим. Когда наконец Вернадский стал отрывать от его ран присохшую, пропитанную кровью одежду, он, несмотря на страшную боль, не проронил ни звука.

Старший лейтенант Гусев то приходил в себя, то снова терял сознание. Но и очнувшись, он, кажется, не совсем ясно понимал, где он находится и что с ним происходит. На мясистое лицо незнакомого фельдшера смотрел он недоверчиво и всё требовал к себе Сашку Строганова и Полещука.

Сашка Строганов не отходил от Гусева, но Гусев, хотя и не отпускал его, с ним не разговаривал. Он разговаривал с одним Полещуком.

- Ты здесь, Полещук? - спрашивал он поминутно.

- Здесь, здесь, товарищ старший лейтенант, - отвечал Полещук.

- Полещук! А ведь верно я говорил, что артиллерист должен уметь метать ручные гранаты?

- Верно, верно, товарищ старший лейтенант.

Гусев был очень возбужден и всё никак не мог успокоиться. Глаза на бледном лице его ярко блестели. Обычно молчаливый, он теперь говорил не умолкая. Ему порой мерещилось, что он всё еще руководит боем, и он отдавал приказания, требовал снарядов, кричал: "Огонь!". А в минуты прояснения он, обращаясь к Полещуку, обсуждал только что закончившийся бой:

- Они думали, что если их больше, так они сильнее. А ведь не так. Правда, Полещук?

- Правда, правда, товарищ старший лейтенант.

Гусев рассмеялся:

- Они думали, что мы такие же, как они! Разве они понимают, за что мы деремся? Разве они могут понять? Верно, Полещук?

- Верно, верно!

- Думали сломить нас железом, а мы крепче железа! Правда, Полещук?

- Правда, правда...

Когда Гусева вынесли на носилках из землянки и он понял, что его сейчас увезут с острова, он, видимо, огорчился. Слишком важная часть его жизни прошла здесь, среди этих голых камней. Поворачивая бледное свое лицо, с жадностью оглядывал он и старую башню маяка, и кирпичную трубу сгоревшего домика, в котором он жил, и разбитые снарядами брустверы, и каменистую землю, усыпанную осколками металла, и чаек, круживших над волнами. Здесь он, комендант этого маленького острова, работал, мечтал, учил, учился, сражался и, победил. И, глядя вокруг, он хотел, казалось, увезти остров с собой.

## Глава одиннадцатая.

## Труды и мечтания

### 1.

Первого декабря Лунин внезапно получил письмо.

Это было из ряда вон выходящее происшествие. Все в полку знали, что командир второй эскадрильи никогда не получает писем. Сколько разных предположений высказывалось по этому поводу в землянках техников, в кубриках летчиков, на командных пунктах эскадрилий, в обоих камбузах командирском и краснофлотском! И вдруг - наконец-то! - сложенный треугольником лист сероватой тетрадной бумаги, на котором написано: "Константину Игнатьевичу Лунину".

Прежде чем попасть в руки к Лунину, письмо обошло весь полк, вызывая всеобщее любопытство. Сначала его принесли в избу, перед которой росла раздвоенная береза. В избе Лунина не было, но зато здесь находился инженер полка Федоров, который заходил сюда иногда после обеда, чтобы вздремнуть полчаса в тишине на лунинской койке. Приняв треугольное письмо,

инженер повертел его перед своим лицом и внимательно рассмотрел все штемпеля. Отдыхать он раздумал и, натянув сапоги, тотчас же направился на командный пункт второй эскадрильи, где надеялся застать Лунина.

На командном пункте эскадрильи Лунина тоже не было. Зато находились там два летчика - Кузнецов и Хаметов. Приняв от инженера письмо, Хаметов с крайне многозначительным видом показал его Кузнецову.

- Гвардии майор еще, вероятно, обедает, - сказал Кузнецов и приказал вестовому Хромых немедленно отнести письмо в лётную столовую.

Лунина не оказалось и в столовой. Но обед еще не кончился, и за столиками сидело немало летчиков всех трех эскадрилий. Появление Хромых с письмом, адресованным Лунину, произвело на всех большое впечатление. С разных столиков закричали, что майор Лунин вместе с Ермаковым и Проскуряковым десять минут назад направился на командный пункт полка. Нашлось много желающих сбегать туда и немедленно отнести письмо. Но Хромых вовсе не собирался доставлять им такое удовольствие. Крепко зажав письмо в своем большом кулаке, он зашагал к командному пункту полка.

В землянке командного пункта полка Проскуряков, Ермаков, Шахбазьян, Лунин и Тараракси разглядывали большую карту, разложенную на столе. Это была карта Сталинградской области, - карта, которой Шахбазьян, обладатель множества карт, сейчас особенно дорожил. Каждый день он наносил на нее всё, что узнавал из сводок Совинформбюро об окружении немецких войск под Сталинградом. Расположения фронтов, беспрестанно менявшиеся, он вычерчивал разноцветными карандашами, направления ударов отмечал стрелками, и карту его, чудо наглядности, мечтал посмотреть каждый человек в полку.

В передаче письма Лунину приняли участие все присутствующие:

- Вам письмо, товарищ гвардии майор.

- Возьмите письмо, майор.

- Константин Игнатьевич, тебе письмо.

Оторвавшись от карты, все с любопытством вглядывались Лунину в лицо. И все заметили, что он побледнел. Рука, которой он взял письмо, слегка дрожала. Он осмотрел его с одной стороны, потом повернул и осмотрел с другой, словно не решаясь раскрыть. Однако, видя, что на него смотрят, совладал с собой и развернул сложенный треугольником лист.

Едва он прочитал несколько первых строк, как побледневшее лицо его густо покраснело.

- Это от Серова, - сказал он. - От нашего Коли Серова.

Глаза его блестели от радости.

- Да ну! - воскликнул Проскуряков громовым голосом - Значит, он жив!

С тех пор как Серова увезли, они ничего о нем не знали и уже стали сомневаться, жив ли он.

- Что ж он пишет?

- Где он?

Письмо Серова, написанное крупным, неровным почерком, было кратко, и сведений извлечь из него удалось немного. Долгое свое молчание Серов объяснял тем, что не надеялся когда-нибудь вернуться в полк. "Только сейчас появилась надежда, что буду еще в полку, - писал он - Если не летчиком, то хоть писарем в вещевом складе. Нахожусь я в госпитале в городе Барнауле, в четырех тысячах километров от фронта. В общем, почти здоров, но осталась одна пустяковина, которая пока задерживает..."

Далее Серов просил Лунина написать ему подробнее о полке, а также передать привет командиру, комиссару и всем, всем, кто его еще не забыл. Кончалось письмо довольно грустной мыслью: мы, мол, с вами оба бобыли, и вы должны понять, что полк для меня - единственный дом родной. А после подписи приписано было мелко-мелко: "Если есть на мое имя письмо, перешлите".

Все сразу поняли, от кого Серов ждет письмо.

- Так она ему и напишет, держи карман шире! - хмуро проговорил Проскуряков.

В полку твердо укоренилось мнение, что женщина, в которую Серов был влюблен перед войной, намеренно порвала с ним. И, любя Серова, все осуждали ее бесповоротно.

- Оно и к лучшему, что она не пишет, - сказал капитан Шахбазьян. - По крайней мере, она себя этим обнаружила. Он погорюет, да другую найдет. Разве такой он женщины достоин?

- Чёрт ли в ней! - сказал Тараракси́н. - Важно, что он сам жив и поправляется.

Добрые, близорукие глаза Тараракси́на за стеклами очков сияли радостью: он любил Серова.

- Уж вы напишите ему, Константин Игнатьич, как мы его все ждем, сказал Ермаков. - Да я и сам ему напишу...

Счастливая весть о том, что от Серова пришло письмо, облетела весь полк за каких-нибудь полчаса. Вестовой Хромых, шагая вслед за Луниным на командный пункт эскадрильи, улыбался и всё повторял:

- Значит, жив наш старший лейтенант... Так, так... А я уж не чаял о нем услышать... Значит, жив...

Молодые летчики второй эскадрильи весть о том, что Серов,

один из тех легендарных "рассохинцев", жив и, может быть, скоро вернется в полк, чтобы летать вместе с ними, приняли как весть о чуде. И на аэродроме у самолетов, и в столовой, и вечером в кубрике без конца говорили они о предстоящем возвращении Серова. На Лунина они поглядывали ласково и многозначительно: им уже по собственному опыту было известно, что такое боевая дружба, и они понимали, что творилось в его душе.

Но чуть ли не больше всех в полку выздоровлению Серова обрадовался доктор Громеко. Он, несомненно, очень беспокоился о Серове и вовсе не был уверен в его судьбе. Теперь, когда выяснилось, что пациент его поправляется, он преисполнился гордости.

- Я ведь говоййл, что йуку йезать не надо! - закричал он, встретив Лунина в столовой. - Йезать легче всего, йезать всякий дуйак умеет...

Но, подойдя к Лунину поближе, он всё-таки тихонько спросил его с сомнением в голосе:

- А может быть, он не сам написал? Может быть, он диктовал кому-нибудь?...

- Нет, - ответил Лунин, - он сам написал, я почерк его знаю...

- Ну, значит, сам, - сказал доктор с облегчением. - Однако он, может быть, научился левой йукой писать... А? Не думаете?

После ужина Лунин отправился к себе в избу, чтобы там, в тишине и покое, написать Серову ответ. Слава уже мирно похрапывал на своей койке. Лунин поставил керосиновую лампочку на стол, достал лист бумаги, чернильницу и долго сидел, размышляя.

Ему хотелось сообщить Серову так много, что он не знал, с чего начать. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что, даже если бы он писал целый месяц не отрываясь, он не успел бы рассказать обо всем. Решившись, он наконец написал Серову, что его очень ждут в полку, что все желают ему здоровья и что писем на его имя нет. Что же еще написать? Подумав, он спросил, не переслать ли оставленный чемодан в Барнаул.

Письмо вышло коротенькое. Перечитав, Лунин вздохнул и сложил лист треугольником.

На другой день в полк прилетел на "У-2" Уваров.

Он вошел в землянку командного пункта полка как раз в тот момент, когда все в ней находившиеся рассматривали сталинградскую карту Шахбазьяна. Проскуряков скомандовал: "Смирно!" - и все мгновенно вскочили. Выслушав рапорт, а затем каждому пожав руку, Уваров и сам подошел к расчерченной карте, покрывавшей весь стол начальника штаба.

- Нам бы, товарищ полковой комиссар, над ленинградской картой сидеть, а мы вот сталинградскую изучаем, - сказал Шахбазьян и виновато улыбнулся.

- Что ж, и правильно, - сказал Уваров. - Вам позавидовать можно: прекрасная карта! Впрочем, у меня тоже такая есть, я на нее все глаза проглядел. Судьба Ленинграда сейчас под Сталинградом решается.

Как всегда, Уваров, прежде чем объявить о цели своего приезда, обошел не спеша весь полк, посетил все землянки, поговорил со множеством людей. Побывал на двух комсомольских собраниях - в первой эскадрилье и в третьей, - где много шутил и смеялся с молодыми мотористами. Обедал в столовой вместе со всем лётным составом; за обедом говорил мало, больше слушал, но многие заметили, что вид у него сегодня особенный - решительный и довольный. Ясно было, что он привез какую-то новость.

После обеда командиры эскадрилий были вызваны на командный пункт полка. Здесь, всё над той же сталинградской картой Шахбазьяна, Уваров объявил наконец то, ради чего приехал: полку предстояло спешно перебазироваться.

- Назад, через озеро? - спросил Ермаков.

Уваров кивнул.

- Теперь уже не на восток, а на запад, - сказал он значительно.

Несколько мгновений все сидели молча, чувствуя важность этого известия. Чего-то в этом роде втайне ждали уже давно. Ежедневные сталинградские сводки укрепляли надежду, усиливали нетерпение. Надвигались какие-то большие события, какие-то перемены, которые, быть может, решат наконец судьбу Ленинграда, Ладоги, Балтийского флота.

Самолеты должны были совершить перелет завтра утром, в предрассветных сумерках, чтобы по возможности не привлечь к себе внимания. Наземному составу полка предстояло переправиться через озеро еще раньше - ночью, в самые темные и глухие часы - на транспортных самолетах, которые прилетят за ними ровно в полночь. Сборы в путь надо было начинать немедленно, потому что времени оставалось в обрез.

Лунин заторопился к себе в эскадрилью: ему предстояло много хлопот. Он один из первых покинул землянку. Вслед за ним вышел Уваров.

- Постойте, Константин Игнатьич, - окликнул он Лунина.

Лунин остановился. Уваров подошел к нему:

- Вы очень спешите? Успеете. Проводите меня немного. Я обещал побывать у зенитчиков, меня там ждут...

Был всего пятый час, но уже совсем стемнело. Под тонким слоем снега, покрывавшим аэродром, при каждом шаге чуствовалась мерзлая земля.

Необычайно тихо было вокруг; в этой тишине можно было уловить только невнятный, далекий-далекий шум. Трудно было сказать, гудел ли это фронт или просто шумели леса, скрытые мраком. Уваров и Лунин шагали рядом. Они чувствовали друг к другу приязнь, оба знали об этом и радовались, что находятся вместе.

- Серов просит пересылать ему письма? - спросил Уваров.

- Да, - ответил Лунин, нисколько не удивленный тем, что Уваров уже знает о письме Серова. - Но никаких писем нет.

- Я знаю, - сказал Уваров. - Он всё еще любит и надеется, хотя уже полтора года прошло. Сейчас многие потеряли друг друга и не могут найти.

- Она, пожалуй, и не хочет.

- Возможно, и не хочет, - согласился Уваров. - Впрочем, я вовсе не склонен думать о ней дурно. Я совсем ее не знаю, но я знаю Серова. Дурной человек не мог бы его привлечь.

- В человеке можно ошибиться, - сказал Лунин.

Он думал не только о той женщине, которую любил Серов, и Уваров это заметил и понял.

- Можно в себе самом ошибиться, а в другом человеке и подавно, продолжал Лунин.

- Оно верно, - сказал Уваров, - иной раз в человеке можно ошибиться. И всё-таки не так уж часто мы ошибаемся в людях. Если бы вы знали, сколько раз мне приходилось смотреть на человека и думать: можно оказать ему доверие или нельзя? Порассуждаешь, взвесишь то да это, потом вдруг откинешь все рассуждения и решишь: можно. И обрадуешься, потому что в человека радостно верить...

- Как, как вы сказали? - переспросил Лунин. - В человека радостно верить?

- Ну да. Вы разве не согласны?

- Нет, согласен. Это вы очень хорошо сказали, Иван Иваныч.

- И, знаете, потом почти никогда не приходилось жалеть, что поверил человеку, - продолжал Уваров. - Почти никогда.

- И всё же Серов мог ошибиться, - повторил Лунин упрямо.

- Серов мог ошибиться, - согласился Уваров. - Но мы не должны ошибиться. Мы не знаем, что с ней случилось, и мы должны не гадать, а узнать. Мы обязаны найти ее и узнать, почему она ему не пишет.

- Это правильно, - согласился Лунин. - Было бы неплохо, если бы мы узнали. Но как ее найти?

- Надо постараться, - сказал Уваров. - Я попробую.

Задумавшись, они опять замолчали, продолжая идти рядом по темному, притихшему аэродрому. Разговор о Серове еще сблизил их.

И всё же Лунин несколько смутился от неожиданности, когда после долгого молчания, Уваров вдруг спросил его:

- Константин Игнатьич, почему вы не в партии?

Лунин ответил не сразу.

- Так жизнь сложилась, - сказал он.

- Плохо сложилась?

- Нет, отчего же плохо! - сказал Лунин. - Разве я жалуюсь?

Он замолчал. Уваров молчал тоже, шагая рядом с ним.

- А в партию я давно мечтал вступить, - сказал Лунин наконец. - Было время, я даже рекомендации собирал... Незадолго до войны... Заявление было написано...

- Ну и что же?

- Не подал.

- Почему?

- Случилось одно событие...

Снова молчание. Возможно, Лунин ждал, что Уваров задаст ему вопрос. Но Уваров вопроса не задал.

- Я разошелся с женой, - сказал Лунин. - Вы знали об этом?

- Догадывался, - ответил Уваров. - Вас упрекали за это?

- Нет, не упрекали. Но, может быть, могли бы упрекнуть.

- За то, что вы разошлись?

- Ну, если не упрекнуть, так хоть спросить. А я никому ничего не хотел объяснять. И не подал заявления.

Уваров молчал, полагая, что Лунин ничего ему больше не скажет. Но Лунин вдруг заговорил сам.

- Я выгнал ее из дому, - сказал он. - Она встречалась с одним человеком, и я узнал. Она стала меня просить. Она говорила, что не будет с ним больше встречаться... Она хотела остаться... Она очень просила меня...

- А вы?

- Я велел ей уйти. И с тех пор никогда ее больше не видел.

Уваров ждал, не скажет ли Лунин еще чего-нибудь. Но Лунин больше ничего не сказал. Тогда, минуты через две, Уваров спросил:

- А по-вашему, вы поступили с женой правильно? Как вы сами считаете?

- Было время, когда я считал, что поступил правильно.

- А теперь?

- Не знаю...

Они опять замолчали и молча дошли почти до самой

землянки зенитчиков. Лунину нужно было возвращаться. Они остановились, но расставаться им не хотелось, и они довольно долго стояли рядом, скрытые друг от друга темнотой. Когда смолк стук их сапог, в тишине еще слышнее стал протяжный смутный гул, доносившийся откуда-то издалека.

- Слышите? - спросил вдруг Уваров. - Это наша земля, захваченная немцами, кричит: "Жду-у-у у!.."

3.

Три эскадрильи полка вылетели по очереди, и последней поднялась вторая.

Длинная декабрьская ночь совсем уж подходила к концу, и зубчатая кромка леса, окружавшего аэродром, явственно выступала из мглы, когда самолеты второй эскадрильи один за другим, вслед за самолетом Лунина, оторвались от снежного поля. В последний раз пронеслись они над могилой Рассохина; сделав круг, построились большим клином и двинулись на запад.

Небо было мутно, и только позади, на востоке, в тучах был разрыв, в котором тлела бледная зимняя утренняя заря, бросая розовые отсветы на снег.

Озеро лежало под самолетами огромной неподвижной пустыней. Год назад в начале декабря через озеро тянулись вереницы машин, а сейчас во льду еще чернели огромные полыньи, раскинувшиеся на много километров. Осень затянулась, вторая военная зима пришла с опозданием, настоящих морозов еще не было, и озеро замерзало медленно, вяло. Навигация давно уже кончилась, но возобновить автомобильную дорогу по льду всё еще не удавалось. Опять наступило время, когда связь между Ленинградом и остальной страной поддерживалась только по воздуху.

Вот уже впереди и мыс Осиновец, покрытый темным лесом. Вот и Осиновецкий маяк. Прошлой зимой Лунин пролетал здесь с Рассохиным и Серовым. Тогда их было только трое, и летели они на восток. Рассохин так и не долетел... И вот теперь Лунин возвращается. Сколько самолетов ведет он за собой, и каких самолетов!

Спустились они не на прежний аэродром, где стояли осенью прошлого года, и, по правде сказать, Лунин был рад этому. Ему тяжело было бы опять поселиться в той дачке, где Кабанков играл по вечерам на аккордеоне, опять ходить в ту же столовую, где он столько раз обедал с Чепелкиным, Серовым, Рассохиным. Тот, прежний аэродром находился к северо-западу от города, всего в нескольких километрах от берега Финского залива, а новый, с которого им теперь предстояло работать, лежал от города к северо-востоку. Железнодорожная линия, соединяющая

Ленинград с западным берегом Ладожского озера - единственная действовавшая железнодорожная линия внутри кольца осады - проходила рядом с аэродромом, и когда самолеты эскадрильи совершали посадку, первый земной звук, который услышал Лунин, был гудок паровоза. Он давно не слыхал паровозных гудков, и знакомый звук этот, спокойный, деловитый, показался ему мирным и уютным.

Они все ожидали, что сразу после перебазирования им придется участвовать в ожесточенных боях. Но ошиблись. Дни шли, а ни в каких боях им участвовать не приходилось. Командование, казалось, озабочено было только тем, как бы противнику не стало известно, что к Ленинграду прилетел целый авиаполк, да еще с таким количеством самолетов новой конструкции. Самолеты свои они тщательно спрятали на опушке леса, окружавшего аэродром, и вылетали на них не часто, а главное, всегда очень маленькими группами - не больше двух - четырех самолетов одновременно.

В короткие светлые часы суток Лунин поочередно выводил своих летчиков в воздух, чтобы они привыкли к незнакомой местности и научились здесь ориентироваться. Он брал с собой ведомым то Татаренко, то Костина, к ним пристраивалась еще одна пара - либо Карякин с Рябушкиным, либо Хаметов с Дзигой, либо Кузнецов с Остросаблиным, и они уходили в большой полет.

Всякий раз, взлетая, они видели Ленинград. Ближайшая его окраина начиналась совсем недалеко от аэродрома. Кроме Лунина и Кузнецова никто из летчиков эскадрильи никогда не бывал в Ленинграде, никогда не видел его, и они разглядывали знаменитый город с жадным любопытством.

Ленинград поражал их прежде всего своею огромностью. Он лежал на плоской равнине, перерезанной дугами рек, и даже в ясную погоду, даже с большой высоты глаз не в состоянии был нащупать его дальний край. Но ясная погода стояла редко, и обычно гигантский город был погружен в зыбкую дымку декабрьского тумана, на поверхности которого словно плыли башни, шпили, купола, трубы...

Им хотелось полетать над городом, но это не входило в их задачи. Поднявшись с аэродрома, они обычно направлялись над лесами на юг, к тому участку фронта, который проходил по берегам Невы. Над Невой они сворачивали к востоку, налево, и следовали над фронтом до того места, где Нева вытекала из Ладожского озера.

Они разглядывали оба невысоких лесистых берега реки. Засыпанные снегом леса на первый взгляд казались спокойными и пустынными. И только многочисленные легкие дымки,

поднимавшиеся то там, то тут, выдавали, какая в них таится напряженная жизнь. Привыкнув, глаза летчиков мало-помалу начинали угадывать замаскированные переходы, землянки, блиндажи, батареи, сложнейшие линии траншей, узлы и скопления дзотов, и становилось ясно, что вся земля тут взрыта и похожа на соты, что в этих безлюдных на вид лесах скрыто множество людей. Линия фронта пролегала здесь уже более года, и за это время обе армии успели воздвигнуть укрепления необычайной мощности. Разделяла их только река. На реке то там, то здесь еще чернели полыньи, но с каждым днем они уменьшались, и твердый ледяной мост всё крепче связывал оба берега.

Так, над Невой, доходили они до Ладожского озера, до Шлиссельбурга. Захваченный немцами городок лежал на южном берегу реки, а прямо перед ним, на островке, отделенном от него узкой протокой, громоздилась темная груда больших камней - всё, что осталось от Шлиссельбургской крепости, в мрачных казематах которой царское правительство когда-то гноило революционеров.

Лунин раньше видел это место всего только один раз - прошлой зимой, улетая вместе с Рассохиным и Серовым на восток. Уже и тогда глядел он на Шлиссельбургскую крепость с любопытством, так как и тогда слышал он рассказы о кучке моряков-артиллеристов, которые, засев на островке за стенами старинной крепости, преградили немцам путь через Неву, не дали им соединиться с наступавшими с севера финнами и отрезать Ленинград от Ладоги. С тех пор прошло больше года, вот уже наступила вторая зима, а всё та же непобедимая кучка краснофлотцев сидела на островке перед самым носом у немцев, отделенная от них протокой, казавшейся сверху не шире канавы. Немцы били в них из орудий прямой наводкой с расстояния в сто метров и без конца ворошили снарядами груду старых камней. Но ничего не достигли. Краснофлотцы сидели в глубоких норах под камнями и, когда нужно было, отвечали немцам огнем, внезапно выкатив из нор свои пушки.

Весь Балтийский флот и два фронта - Ленинградский и Волховский - с любовью и уважением слушали рассказы об их подвигах. Рассказов этих ходило немало. Говорили, например, что бывали времена, когда по целым неделям на островок не удавалось доставить продовольствие. Всё пространство между островком и северным берегом реки простреливалось неприятелем, и в светлые летние ночи невозможно было добраться до островка живым. Весной сообщение с островком надолго прерывали льды Ладожского озера, устремлявшиеся в

Неву. Осенью ночи были достаточно темны, но неокрепший лед не выдерживал на себе тяжести человека. А зимою смельчака, ползущего к островку или от островка, немцы легко обнаруживали на фоне белого снега. Впроголодь жили островитяне под каменными глыбами разрушенной крепости, и в темных их норах всегда было сыро и холодно, потому что доставлять на островок топливо было еще труднее, чем продовольствие. Раненые и больные оставались здесь же, вместе со здоровыми, так как вывезти их не могли. Но сломить волю защитников крепости немцам не удавалось, и маленький островок посреди Невы так до конца и остался неприступным.

Всё это было хорошо известно летчикам. Слышали они и передаваемый из уст в уста рассказ о кошке, которая жила на островке и переносила все тяготы наравне с его защитниками. Кошка эта была любимицей отважных моряков, глаза ее сверкали в темноте их подземелья, она мурлыкала, сидя у них на коленях, и, гладя ее, они грели свои озябшие руки. Она напоминала им об уюте, о мирной жизни, о родном доме. Они делились с ней своей скудной пищей и старательно оберегали ее от опасностей.

Однако уберечь ее было трудно, так как кошка эта отличалась поразительным бесстрашием. На островок она попала котенком, и вся жизнь ее прошла среди взрывов снарядов, среди орудийных выстрелов. Она привыкла к этим оглушительным шумам и не обращала на них никакого внимания. Кончики ее ушей шевелились при малейшем шорохе в каком-нибудь дальнем углу, но при взрыве снаряда, совсем близко от нее, она продолжала спать.

У нее было любимое место - наверху, на разбитых камнях обрушенной крепостной стены. Туда ее влекла та же сила, которая остальных кошек влечет на чердаки и крыши. Там она гонялась за воробьями, разгуливала, выгнув спину и подняв хвост, спала на солнцепеке. Немецкие артиллеристы внимательно следили за нею в бинокли и дальномеры. И так как, кроме нее, ничего движущегося и живого обнаружить на островке им не удавалось, они принимались обстреливать ее из тяжёлых орудий.

Всякий раз, когда начинался очередной обстрел островка, краснофлотцы спрашивали друг друга: "Где кошка?". И если ее не оказывалось в подземельях крепости, всегда находился смельчак, который вылезал наружу и, ползая между камнями, старался поймать ее. Кошку уговаривали, запирали, наказывали, но ничего не помогало: она находила лазейку и удирала наверх.

И наконец немцы ее ранили.

Она притащилась в подземелье, истекая кровью, волоча парализованные задние ноги. Военфельдшер, лечивший раненых

краснофлдтцев, стал лечить и ее. Он сделал ей операцию, извлек из ее тела несколько мелких осколков, перевязал ее раны. Она долго находилась между жизнью и смертью, и люди, заходя в помещение, где она лежала на чистой подстилке, говорили шёпотом, чтобы ее не тревожить.

Мало-помалу она начала поправляться. И в первый же день, когда к ней вернулась способность передвигать задними ногами, она опять убежала наверх. Немецкие пушки грянули. На этот раз от бесстрашной кошки не удалось найти ничего, кроме кончика хвоста...

Сделав круг над развалинами Шлиссельбургской крепости, самолеты тем же путем, вдоль линии фронта, возвращались к аэродрому. Со временем, когда с берегами Невы летчики хорошо познакомились, Лунин стал уводить их за Неву, и они летали там над землей, захваченной врагами. Эти полеты требовали большой осторожности, осмотрительности. "Мессершмитты" встречали они здесь не часто, и вообще немецкая авиация действовала вяло и явно избегала боев, но зато зенитки неистовствовали. Видно было, что здесь всё небо разделено на квадраты и распределено между многочисленными, отлично связанными между собой и хорошо пристрелявшимися зенитными батареями. Пачкавшие воздух разрывы вынуждали летчиков держаться на большой высоте, беспрестанно прибегать к маневру, поминутно уходить в облачность. Это была опасная игра, и Лунин каждый день боялся недосчитаться какого-нибудь самолета, а значит, и летчика, потому что, если самолет погибнет над захваченной врагом землей, неизбежно погибнет и летчик. Однако командование требовало от Лунина, чтобы он хорошо познакомил своих летчиков с заневской стороной, и он упорно продолжал эти полеты, - маленькими группами, чтобы не привлекать излишнего внимания.

С середины декабря эскадрилья стала получать задания по разведке. Задания эти Тараракси принимал непосредственно из штаба фронта, что всеми в полку признавалось за большую честь. Разведка требовала удвоенной осторожности: нужно было, чтобы противник, даже если бы и заметил твой самолет, не мог догадаться, наблюдаешь ли ты за железной дорогой, или за мостом, или за передвижением батарей. На разведку уходили парами, и нередко, чтобы совсем не привлекать к себе внимания, и поодиночке. До места, которое интересовало командование, разведчик старался дойти скрытно, за облачностью. Вынырнув, он опять уходил в тучи и обо всем, что успевал заметить, передавал по радио. От него требовали сведений точных, достоверных, за которые он мог бы ручаться, и чтобы получить их, он подходил то

с одной стороны, то с другой, проверяя самого себя. Если появлялся "Мессершмитт" или усиливался зенитный огонь, он отходил, но через несколько минут возвращался.

Главной помехой в работе разведчиков была темнота. В конце декабря на шестидесятом градусе северной широты день продолжается каких-нибудь три-четыре часа. Да и в эти светлые часы настоящего света почти не бывает, а только сумерки. Сверху в сумерках покрытая снегом земля казалась белым полем, усеянным расплывчатыми темными пятнами лесов и строений, и чтобы разобраться в этих пятнах, нужно было иметь очень зоркие глаза. Лунин, например, скоро убедился, что для разведки глаза его уже недостаточно зорки.

Ему вначале казалось, что видит он прекрасно, нисколько не хуже, чем в молодости; и он не раз сам отправлялся на разведку, но, вернувшись, с огорчением узнавал от Тарараксина, что переданные им сведения мало удовлетворили штаб фронта. Он видел то, что видели все, что в штабе фронта знали и без него, и никакие оптические приборы не могли ему помочь. Возможно, дело тут заключалось не в зрении, а в неумении наблюдать или даже в отсутствии таланта к разведке. Во всяком случае, он очень скоро вынужден был признать, что в этом деле не в состоянии состязаться со своей молодежью.

Как разведчики они все были лучше его, но и из них резко выделялись двое - Татаренко и Кузнецов. Между Татаренко и Кузнецовым тоже была разница: Кузнецов видел то, чего и Татаренко не в состоянии был увидеть. Самолюбивый Татаренко, привыкший всюду быть первым, и на этот раз уступил первенство Кузнецову не без борьбы. Но долго состязаться с ним не мог, и Кузнецов был признан лучшим разведчиком в полку. В штабе фронта запомнили его фамилию и всякий раз, давая задание произвести разведку, настаивали, чтобы выполнение его было поручено младшему лейтенанту Кузнецову.

Летчики второй эскадрильи поселились все вместе в теплом бревенчатом доме, который сразу же стал называться кубриком. По вечерам после ужина они собирались в кубрике, рассаживались по койкам, читали, писали письма, "забивали козла", громко, "по-морскому", стуча костяшками об стол. Вечера были длинные, темные, тихие. Прогремит поезд, везущий грузы с берега Ладожского озера в Ленинград, и опять глубокая, глухая тишина, как под землей, как на дне моря.

Но тишине этой они не доверяли. Они чувствовали, как под покровом этой тишины назревали события, и внутренне готовились к ним. Они ощущали приближение боев, перемен, огромного перелома и внимательно следили, стараясь не

пропустить ни одной приметы, свидетельствующей о том, что перелом этот близок.

Им, людям авиации, конечно, прежде всего бросалось в глаза то, что происходило в воздухе. Малочисленность и осторожность "Мессершмиттов", исчезновение немецких бомбардировщиков - вот что особенно привлекало их внимание. Неужели немцы, убедясь в преимуществах новых типов советских истребителей, смирились и навсегда уступили им воздух? Нет, в то, что они смирились и уступили, не верил никто. Так что же это всё означает? Чего же ждать? Чего опасаться?

- Немцы продолжают воевать на тех же истребителях, на которых они начали войну, - рассудительно говорил Костин в кубрике. - А мы успели наши истребители сменить, мы воюем на новых, на горазда лучших. Тут мы обогнали немцев, наша промышленность обогнала, и у нас создалось преимущество. Что же теперь остается немцам, если они хотят продолжать борьбу в воздухе? Только одно - построить новые истребители взамен :"Мессершмиттов". Эти новые истребители они строят. И мы их скоро увидим.

Все слушали Костина и понимали, о каких новых немецких истребителях он говорит. Даже название их было известно: "Фокке-Вульф-190". Они уже появились - в небольшом, правда, числе - на далеких южных фронтах, но здесь, у Ладоги, у Ленинграда, их никто еще не видел.

- А какие они? Сильнее "Мессершмиттов"? - спрашивали Костина.

- Уж конечно сильнее. Иначе какой же смысл был бы их строить.

- А чем сильнее? Быстроходнее? Лучше вооружены? Скорее набирают высоту? Маневреннее?

Но Костин знал так же мало, как и все, и не мог ответить на эти вопросы.

- Чего гадать! - говорил Татаренко. - Вот собьем и увидим.

- А как его собьешь?

- Собьем как-нибудь!

- А что же немцы с "Мессершмиттами" делать будут? - спросил Рябушкин. - Выбросят, что ли?

- Зачем выбрасывать? - сказал Карякин. - На запад отправят. "Мессершмитты" против "Харрикейнов" в самый раз.

4.

В начале декабря, как-то днем, у Сони выдалось несколько свободных часов, и она пошла проведать свою квартиру.

Шла она главным образом ради писем. Давным-давно не было писем от Славы, и она беспокоилась. Теперь уж письмо

должно быть непременно, если только со Славой чего-нибудь не случилось.

День был темный, как обычно в декабре. Слегка подморозило. Легкий реденький сухой снежок падал на тротуарные плиты, вместе с пылью крутился вокруг тумб. На Соне поверх комбинезона было ее зимнее пальтишко, теперь едва доходившее ей до колен - так она из него выросла. Чем ближе подходила Соня к родному дому, тем быстрее она шла. Во двор она почти вбежала.

Во дворе было пусто и тихо. Но возле лестницы, ведущей к Шарапову, стояла легковая машина. "Уваров здесь!" - подумала Соня. Она не любила заходить к Шарапову, когда там был кто-нибудь, - ей казалось, что она мешает. Но нужно взять Славино письмо. И она зашла.

В первой комнате было уже по-зимнему: в железной печке пылали дрова. Возле печки сидел шофёр Уварова и блаженно грелся. Капли пота блестели у него на лбу. Шарапов, как всегда, сидел за своим столом под черной жестяной трубой, выводившей дым в форточку. На лице его было то самое сосредоточенное, торжественно-замкнутое выражение, которое постоянно на нем бывало, когда приезжал Уваров. Из кабинета Уварова, из-за двери, раздавался гул многих голосов.

- Вам нет ничего, - поспешно сказал Шарапов, едва увидел вошедшую Соню.

Соня не поверила.

- Как же так - ничего? - спросила она, растерявшись.

- Вам писем нет, - вполголоса повторил Шарапов, всем своим видом показывая, что она пришла не вовремя и что он сейчас не может с ней разговаривать.

Но Соня была слишком встревожена, чтобы уйти, ничего не узнав.

- Уже месяц нет от него писем... Как же так?

Лицо Шарапова чуть-чуть смягчилось.

- Пустяки, - прошептал он. - Ничего с ним не сделалось. Он вам не пишет потому, что вы скоро узнаете...

- Его увезли куда-нибудь?

- Никуда его не увезли. Говорю вам, вы скоро узнаете.

- Что узнаю?

Но тут из-за двери раздался голос Уварова:

- Шарапов!

Махнув Соне рукой, чтобы она уходила, Шарапов кинулся на зов.

Соне было ясно, что сейчас она от него ничего не добьется. Встревоженная, она ушла, решив вернуться сюда через несколько

часов, - быть может, к тому времени Уваров уедет и Шарапов станет разговорчивее.

Она перешла через пустой двор и стала подниматься по своей лестнице, знакомой до каждой щербинки на ступеньках, до каждого пятна на стене. Здесь всё как раньше, только на площадке третьего этажа в оконной раме нет стекла. Ветер гонит в разбитое окно снежинки, и вся площадка покрыта уже ровным слоем снега. И ни одного следа на снегу: никто не ходит по этой лестнице, все квартиры вокруг пусты.

Она поднялась на шестой этаж, сунула ключ в замочную скважину, и замок щелкнул так знакомо!

Она открыла дверь и замерла на пороге; передняя была освещена неярким электрическим светом.

В первое мгновение она решила, что в квартире кто-то есть. Но потом догадалась: свет сам зажегся в ее отсутствие. Эта лампочка, вероятно, горит уже много дней. Электричество в городе исчезло прошлой зимой. Но летом и осенью в некоторые дома стали давать ток, и с каждой неделей таких домов становилось всё больше. Вот пришел наконец черед и для их дома.

В квартире было еще довольно тепло: морозы установились недавно и стены не успели промерзнуть. Но Соня знала, что тепло это обманчиво, что через десять минут начнут стынуть руки и ноги, и потому раньше всего затопила в кухне железную печурку, возле которой прошлой зимой умер дедушка. Пламя вспыхнуло сразу, и печка наполнила кухню уютным, протяжным домашним гудением. Отсветы огня заплясали на боках кастрюль.

Соня сняла пальто, села на табуретку и протянула к огню ноги. Всё здесь было родным. Блаженное и грустное чувство родного дома охватило ее. Тусклый свет зимнего дня, проникавший сквозь мутное стекло, и шум огня, и потолок, и стены, и облупившаяся краска на двери - всё, всё напоминало ей о маме, о дедушке, о Славе.

Скоро стало жарко. Она поставила на печку большой чайник с водой, чтобы постирать и вымыться. А пока греется вода, она решила сходить к маме в комнату, к шкафу, посмотреть, не найдется ли там чего-нибудь теплого, чтобы носить под комбинезоном.

Уже целый год - с тех пор, как они с дедушкой и Славой переселились на кухню, - она не заходила в комнаты. Там была вечная тьма: плотную синюю маскировочную бумагу, закрывавшую окна, никогда не снимали. Натыкаясь на стулья, Соня прошла сквозь столовую и вошла в мамину комнату. Повернула выключатель, и лампочка на потолке вспыхнула -

тускло, вполнакала, - озарив стены желтоватым, неуверенным светом.

Сонин картонный театр попрежнему стоял на столе. Вот диванчик, на котором Соня спала чуть ли не всю свою жизнь. Знакомо поблескивали металлические шары на спинке маминой кровати.

Вдруг что-то бесшумно шевельнулось в углу. Соня вздрогнула и обернулась. Какой-то стройный юноша стоял у стены и смотрел на нее. Да ведь это она сама! Это ее отражение в большом мамином зеркале!

Ей стало смешно, что она не узнала себя. Давно, очень давно не приходилось ей смотреться в большое зеркало, и она совсем не такой себя представляла. Быть может, дело заключалось в том, что электричество горело тускло, но девушка в зеркале, право, же, была недурна собой. Даже этот комбинезон вовсе не так уродовал ее, как ей казалось. Она приблизила к зеркалу худенькое лицо и в течение нескольких мгновений рассматривала свой чистый лоб, свои изогнутые черные брови, свои темные глаза, как будто всё это видела впервые.

Потом, отвернувшись от зеркала, шагнула к шкафу. В нем висели мамины вещи, и все они для Сони были так связаны с мамой, что она боялась до них дотронуться. Вот мамино старенькое шерстяное платье, в котором она обычно хозяйничала дома. Платье это казалось Соне частью самой мамы. А вот новый серый костюм, в котором мама ходила в школу на работу. Он очень шел маме, она была в нем такая важная; и поносить-то его она успела всего каких-нибудь полгода. Вот мамина шубка из кроличьего меха, вот еще одно платье, черное, выходное, в котором мама ходила с папой в Дом ученых встречать Новый год, вот ее блузка, халаты... Все эти вещи повешены были здесь мамой и словно ждали, когда она откроет шкаф и возьмет их... Соня их не коснулась. Нагнувшись, она искала в углу шкафа белую шерстяную фуфайку, которую мама почти никогда не носила.

Однажды, озябнув на работе в подвале, Соня вспомнила об этой фуфайке и решила во что бы то ни стало найти ее. В шкафу пахло нафталином и чуть-чуть духами. Ей попадались самые разные вещи, давно ею забытые, но только не фуфайка. Вот, например, что это такое? Что-то светлое, шелковистое, очень приятное на ощупь.. Да ведь это мамина шаль! Соня лет пять ее не видела и совсем про нее забыла.

Мама никогда эту шаль не надевала, - она не любила слишком ярких вещей, она одевалась строго и скромно. Соня вынула сложенную шаль из шкафа, и на нее упал свет. Ох, так и блестит! А какой узор!.. Соня схватила шаль за край, и шаль

развернулась - пышная масса материи. Соня подняла руки, шаль взлетела над ней, как облако, и разом окутала всю, от головы до пят.

Тогда Соня подошла к зеркалу. Как нарядно получилось! Право, словно балерина из какого-то восточного балета, вроде "Бахчисарайского фонтана". Приподнявшись на носки, Соня быстро повернулась кругом, и развевающийся край шали облетел ее, как театральный плащ.

Соня присела, поклонилась, прошлась, следя за своим отражением в зеркале. Шаль придавала всем ее движениям изящество, летучесть, делала их похожими на танец. Соне казалось, что благодаря этой яркой легкой материи даже лицо ее стало несколько иным - строже, определеннее. А как воздушно и легко лежит эта серебристая ткань на темных ее волосах! Если бы вот так выйти на сцену, пройтись вперед, к оркестру... Соня нахмурила брови - и глаза ее потемнели. Соня улыбнулась - блеснули зубы, блеснули глаза...

И вдруг в тишине пустой квартиры раздался звонкий металлический звук щелкнул замок наружной двери.

Соня замерла, пораженная.

Кто мог открыть дверь, когда ключ у нее в кармане?

Но времени для размышлений не было: по квартире уже гремели шаги, стремительно приближаясь. Раздался знакомый громкий голос:

- Она здесь, она дома!

Дверь маминой комнаты распахнулась.

- Слава, ты! - воскликнула Соня сдавленным от волнения голосом.

Слава налетел на нее, обхватил за шею, повис на ней и чуть не опрокинул. Они оба запутались в шали. Пытаясь освободиться и от шали и от его объятий, Соня бессильно бормотала:

- Ох, Славка, какой ты... Как ты вырос!.. Ты был мне до подбородка, а теперь почти до переносицы. Да перестань же, ты меня повалишь! Дай я погляжу на тебя... Ты надолго?.. Совсем?.. Отчего ты не написал мне?

Ей наконец удалось скинуть шаль на пол и оторвать Славу от себя. Он прыгал вокруг нее и торопливо рассказывал:

- Каких я тебе селедок привез, у нас в полку выдают... Мы теперь на новом аэродроме. Весь полк перебрался сюда, через озеро... Слушай, Сонька, я летел на "Дугласе"!. Мы теперь совсем близко от города, я до тебя за час добрался... Скажи, ты давно не ела селедок?..

Но Соня уже не слушала его, потому что вдруг заметила, что в дверях стоит незнакомый человек и смотрит на нее.

Кто он такой? Он вошел вместе со Славой? Неужели он видел ее в этой шали?

Это был немолодой, довольно полный, среднего роста мужчина в черной шинели, с широким, очень обыкновенным лицом. Черную свою шапку он держал в руках, и светлый блик от электрической лампочки блестел на его сливающемся с лысиной лбу. Смущенно улыбаясь, он внимательно рассматривал Соню.

Слава вдруг словно вспомнил о нем:

- Соня! Это же майор Лунин!..

Соня оказалась совсем не такой, как Лунин ее себе представлял. Со слов Славы у него создалось впечатление, что она гораздо старше. А это девочка, ребенок! Долговязый подросток с таким же детским личиком, как у Славы.

Не ждал он увидеть, конечно, ни этой большой пестрой шали в странном соединении с брюками, ни этого чистого лба, ни изогнутых темных бровей, ни всего этого ясного лица, способного выразить такую светлую, сильную, ничем не замутненную радость. Лунин был ошеломлен, и смущен, и растроган той буйной радостью, которая охватила их обоих, и брата и сестру, при встрече. Они чуть не повалили друг друга, обнимаясь, кружась, смеясь, топоча, путаясь в упавшей шали. Занятые своей радостью, они долго не обращали на Лунина никакого внимания.

Когда Слава, вспомнив о нем, назвал его Соне, тоненькое бледное лицо ее мгновенно порозовело.

- А я думала, вы совсем другой!

Эти слова она сказала, вероятно, нечаянно. И порозовела еще гуще вся: лоб, шея, уши; стала даже не красной, а малиновой. Сделалась несчастной от смущения. Лунин тоже смутился, потерялся и не знал, как ей помочь.

Слава торопился угостить сестру селедками, которые привез для нее с аэродрома, и они перешли на кухню, где на ярко пылающей печурке уже булькал, закипая, чайник. Чистя селедку, разливая чай, разрезая хлеб на крупные ломти, Соня мало-помалу справилась со своим смущением. Она уже поглядывала на Лунина почти бесстрашно. Кухонный стол она накрыла чистой скатертью, - ей не хотелось угощать гостя на газете. Селедка казалась ей редкостным лакомством, и ела она с нескрываемым аппетитом. При этом она старательно потчевала Лунина и убеждала его есть побольше. Но Лунин заявил, что ему хочется только пить, и, сидя перед большой чашкой горячего чая, сквозь клубящийся пар наблюдал за сестрой и братом.

Нельзя сказать, чтобы они были похожи. Слава, белобрысый, со светлыми глазами и бровями, весь был в породу своего отца, в Быстровых, а темноглазая, темноволосая Соня была, напротив, в

Медниковых, то есть в мать и в деда, а от отца унаследовала только высокий рост. Посторонние обычно не сразу догадывались, что они брат и сестра. Однако внимательный глаз сразу обнаруживал между ними сходство. И Лунин, рассматривая Соню, подмечал в ней хорошо знакомые ему Славины черты. Она напоминала Славу и голосом, и манерой произносить слова, и улыбкой, и отчетливым твердым рисунком лба и носа, и множеством других мельчайших примет.

Вначале, пока Соня и Слава были слишком поглощены едой, разговор несколько поутих, но затем закипел с новой силой. Соня оживилась и оказалась почти такой же говорливой, как Слава. Перебивая друг друга, перескакивая с предмета на предмет, они говорили обо всем сразу.

Слава рассказывал об эскадрилье, о полке, о воздушных боях, о своем ночном перелете через Ладожское озеро на транспортном самолете, называл летчиков по именам, потом вдруг спросил:

- А как мои коньки? Целы?

Соня пересмотрела и перещупала всё, что на нем было надето, высказала предположение, что ему жарко ходить в длинных брюках из такого толстого сукна, и в заключение сказала:

- Морскую форму носишь, а уши попрежнему не моешь.

На что он, надув губы, ответил:

- Дура!

Но в действительности нисколько не обиделся. Он чувствовал, что Соня в глубине души с уважением относится и к его форме, и к его аэродромной жизни, и к его близости с Луниным, и это льстило ему.

Несколько раз Соня делала неуклюжие попытки поблагодарить Лунина за заботы о Славе, но у того сразу же становился такой несчастный и даже сердитый вид, что она тут же сбивалась и умолкала. Чтобы не дать ей возможности возобновить этот разговор о благодарности, он упорно расспрашивал ее о ней самой, о ее жизни. Всё, что она рассказывала о комсомольской бригаде, представлялось ему необычайным и глубоко его поражало. Помощь ослабевшим от голода людям, спасение осиротевших младенцев, даже огород и разборка деревянных домов - всё это казалось Лунину цепью удивительных подвигов, и он старался узнать как можно больше подробностей, чтобы яснее себе всё представить. Соня отвечала охотно, но слишком кратко; свою жизнь, свою работу она считала чем-то совершенно заурядным и не понимала, что в этом может быть интересного для такого героя, как Лунин. Она несколько увлеклась, только когда заговорила об автогенной сварке

водопроводных труб. Видно было, что это действительно очень ее занимает.

- Теперь, когда полк стоит так близко от города, Слава может навещать вас хоть каждую неделю, - сказал Лунин. - Да в крайнем случае и вы могли бы когда-нибудь приехать и посмотреть, как мы живем.

- Разве это возможно? - удивилась Соня.

- Устроим, - улыбнулся Лунин.

- Раз гвардии майор говорит, всё будет сделано! - с важностью сказал Слава. - На аэродром к самолетам тебя, конечно, не пустят, но в кубрик почему же, пожалуйста! Я тебе всех покажу - Илюшку Татаренко, Кольку Хаметова, Шурку Рябушкина!..

Решено было, что сегодня Слава переночует в городе, а завтра с утра самостоятельно вернется на аэродром - на десятом номере трамвая, а там пешком. По случаю его приезда Соня решила остаться на ночь дома. Лунин же должен был прибыть к себе в эскадрилью сегодня вечером. В сущности, ему давно уже пора было уходить, потому что он собирался еще побродить по городу, которого не видел почти целый год, а он всё сидел и пил чай - чашку за чашкой. И сидел бы так, кажется, без конца возле шумящей печки и без конца глядел бы на этих двух детей, слушал бы их смех и болтовню...

Он встал, надел шапку. Они оба вышли в переднюю его проводить. Всякая принужденность между ним и Соней давным-давно исчезла без следа; Слава, подпрыгивая, шел возле его левой руки, а Соня - возле правой. Только он собрался открыть наружную дверь, как над домом с воем пролетел снаряд и разорвался где-то справа, совсем недалеко.

Слава схватил его за левую руку, Соня схватила за правую:

- Обстрел! Не ходите. Лучше переждать...

Они крепко держали его за руки, не выпуская. Еще два снаряда тяжело пронеслись над домом, но разорвались дальше первого. Потом воя совсем не стало слышно, а слышны были только взрывы, равномерные и довольно далекие.

- Теперь он по Выборгской стороне бьет, - сказала Соня, сразу во всем разобравшись привычным слухом.- Погодите... Сейчас он сюда перекинется.

Но Лунин осторожно освободил свои руки и вышел.

На длинных, прямых улицах гулял ветер, крутил сухие снежинки. Лунин с наслаждением наполнил легкие свежим холодным воздухом. Так вот она какая, эта Соня! Ясная, простая, вся полная очарования раннего девичества. До чего она напомнила ему его жену, Лизу! Не Лизу последних лет, а ту Лизу,

девушку, когда он познакомился с нею и женился на ней.

Между Соней и Лизой не было ни малейшего сходства, но и Лиза, когда он познакомился с ней, была так же девически прелестна. Эта случайная встреча с Соней вдруг вызвала в нем столько разнообразных чувств и мыслей, что он даже не пытался в них разобраться. Он с необычайной живостью вспомнил то ощущение влюбленности, которое наполняло его когда-то и делало таким счастливым. Всё миновало... Он не мог поступить иначе... А может быть, всё-таки нужно было поступить иначе?.. Но теперь уже дела не поправишь. Всё миновало...Всё безвозвратно... Неповторимо... Неужели у него не может быть даже надежды? Почему же сейчас он охвачен такой непонятной радостью? Почему перед глазами у него всё еще стоят изогнутые Сонины брови и детская ее улыбка, почему в ушах у него всё еще звучит ее голос?..

Он шагал быстро, решительно, хотя не знал, куда идет. Взрывы снарядов были на улицах слышнее, чем в доме, но он не обращал на них внимания. У него оставалось несколько свободных часов, он заранее решил пробродить их по городу, а куда идти - ему было безразлично. Захваченный своими мыслями, он сначала почти не смотрел по сторонам. И был уже на середине Дворцового моста, когда внезапно снаряд с глухим и низким воем пронесся над его головой.

Немцы перестали обстреливать Выборгскую сторону и, как предсказывала Соня, опять перекинули огонь в район Биржи, Адмиралтейства, Кронверкского сада. Возможно, для них служил теперь ориентиром шпиль Петропавловской крепости. Снаряды пролетали над самым мостом, и первые из них упали в реку между крепостью и Зимним дворцом. Нева в черте города еще не замерзла, и с моста хорошо были видны светлые всплески воды. На всем протяжении длинного моста было только два пешехода - Лунин и какая-то женщина, шедшая впереди него, метрах в пятидесяти. Она зашагала быстрей, ей, невидимому, очень хотелось побежать. Она обернулась - не смотрит ли на нее кто-нибудь. Увидев Лунина, она совладала с собой и не побежала. Зато въехавший на мост трамвай пронесся мимо них с неистовой быстротой: вагоновожатый стремился поскорее проскочить зону обстрела.

Дворцовая площадь была совершенно пустынна и потому казалась еще огромней. Пройдя под аркой Главного штаба, Лунин вышел на Невский. Даже здесь, в самом центре города, было малолюдно. Присыпанные реденьким снежком, тротуары казались непомерно широкими. Редкие автомобили преимущественно военные грузовики - проносились на полной

скорости, не задерживаясь на перекрестках и не опасаясь никого задавить.

В прошлом году людей здесь было больше, но то были еле плетущиеся тени людей. Те пешеходы, мужчины и женщины, которых Лунин встречал теперь, ходили быстро, деловито, бросали на Лунина спокойные, твердые взгляды. Где-то слева продолжали рваться снаряды, но прохожие обращали на взрывы не больше внимания, чем на звон и лязг трамвая. И сам город, несмотря на угрюмые развалины разбомбленных зданий, несмотря на фасады, изъеденные осколками снарядов, как оспой, несмотря на закоптелые арки сгоревшего Гостиного двора, показался Лунину подтянутым, чистым, строгим и спокойным.

Лунин свернул на Литейный и лишь тогда догадался, куда идет. Ноги вели его в самую знакомую часть города, к тому дому, где когда-то жила Лиза. Он отлично знал, что Лизы здесь больше нет, даже дома ее нет, и всё же шел, чтобы еще раз пройти по этим местам. С Литейного он свернул на улицу Пестеля, прошел мимо аптеки имени Тува, вышел на Моховую и минуты три постоял перед тем домом, который снаружи казался целым, хотя внутри не уцелело ни одного перекрытия...

Потом побрел прочь. Теперь он уже совсем не знал, куда идти. Опять, как в прошлом году, он машинально вышел на набережную Фонтанки. Опять в Летнем саду среди изогнутых стволов и черных прутьев он опытным взглядом приметил замаскированную зенитную батарею. Вон там он догнал ту женщину, которой отдал хлеб, привезенный из-за Ладоги для Лизиной матери. Где теперь она, эта женщина? Он расстался с ней в Кобоне и с тех пор потерял, ее след. Живы ли ее дети?

Он вспомнил старуху, которая жила вместе с ней на квартире и отказалась уехать. Жива ли еще та старуха? Вряд ли... Он вспомнил ее имя, отчество: Анна Степановна. А что если попробовать разыскать хоть Анну Степановну? Нет, не найдешь. Он даже и дома того, пожалуй, не найдет, в котором она жила... Однако он всё-таки отправился на улицу Маяковского. После некоторого колебания нашел он и дом и лестницу. Поднялся, узнал дверь квартиры, позвонил, постучал. Но ему никто не открыл.

Он постоял на площадке перед дверью и побрел вниз.. Спускался он медленно, - ему не хотелось уходить. Вдруг внизу стукнула дверь и послышались легкие, быстрые, мелкие шажки. Кто-то семенил по лестнице вверх, ему навстречу.

- Анна Степановна!

- Здравствуйте, Константин Игнатьич, - сказала Анна Степановна. - Я вас сразу узнала... Идемте, идемте... Нет уж,

идемте, гостем будете...

Она нисколько не изменилась. Сгорбленная, маленькая, проворная, похожая на мышь, она обогнала его и побежала вперед, метя черным подолом по ступенькам. На бегу она уже что-то рассказывала, но он не в состоянии был следить за ее рассказом, потому что, по своему обыкновению, она начала прямо с середины.

Щелкнул ключ в замке, Анна Степановна отворила дверь, и они вошли в квартиру. Все комнаты квартиры были пусты и заперты. Анна Степановна жила на кухне. Там было тепло, прибрано, уютно. Она усадила Лунина за стол, а сама, двигаясь с удивительной поспешностью, разожгла огонь в железной печурке, поставила на нее чайник, потом вымыла над раковиной свои большие коричневые, узловатые руки. При этом она продолжала говорить, не умолкая, и в ее речи всё чаще повторялись слова: "У нас на производстве..."

- Как вы тут живете, Анна Степановна? - спросил Лунин.

- Ничего, - ответила она. - Работаем.

- Вы работаете? - удивился Лунин. - Давно ли?

- С весны.

- Где же вы работаете?

- На производстве.

- На каком?

- На секретном.

Она гордо и многозначительно поглядела на Лунина.

- Что же вы там производите?

- Оружие, - ответила она. - А какое оружие - секрет.

Она принялась рассказывать ему, как она ежедневно ездит на трамвае туда и обратно. При этом она описывала людей, которых встречала в трамвае, и передавала, что она им говорила и что они ей отвечали. До сих пор вся жизнь ее протекала в тесном кругу нескольких ближайших улиц, и эти длинные поездки в трамвае в отдаленный край города, где находилось "производство", очень ее, видимо, занимали.

Но Лунин всё не мог привыкнуть к мысли, что эта древняя Анна Степановна изготовляет оружие, которым бьют немцев, и спросил:

- А всё-таки, Анна Степановна, вы-то что делаете там?

- Я на обтирке.

- На обтирке?

- Стволы-то в масле, - сказала она, снисходя к его непониманию. - Вот мы и обтираем их разной ветошью.

Едва чайник закипел, она заварила чай и разлила его по чашкам - Лунину и себе. Лунин вынул было из кармана кусок

хлеба, завернутый в бумагу, но она рассердилась на него:

- Ну вот еще! К нам в гости со своим хлебом не ходят. Прошли те времена.

Чай был с сахаром. Она принесла на стол оладьи из пшенной крупы и заставила Лунина их попробовать.

- А Марья Сергеевна в каждом письме спрашивает: не заходил ли Константин Игнатьич, тот военный, который меня и моих детей от смерти спас?

- Она вам пишет? - воскликнул Лунин.

- Пишет.

- А как она?

- А ничего. Сначала очень больна была, и Ириночка у нее болела. А теперь, видно, ничего. Я отпишу ей, что вы заходили, а то она всё спрашивает. Я знаю, ей еще кое про кого спросить хотелось бы - не заходил ли, не писал ли, - да не решается. А тот уж не зайдет, не напишет, все сроки вышли. Либо убит, либо другую завел,

- Где она? - спросил Лунин.

Анна Степановна рассказала ему, что всю весну и всё лето Марья Сергеевна прожила в Ярославле. Там устроено было нечто вроде больницы для тех эвакуированных ленинградцев, которые находились в особенно тяжелом состоянии. Марью Сергеевну и ее детей еле живых сняли с поезда. Она очень долго хворала, но потом поправилась и списалась с директором той школы, где прежде работала. Школа эта теперь на Урале. Директор вызвал ее, и она в августе уехала из Ярославля на Урал и с первого сентября начала работать.

- Хотите ей написать? - спросила Анна Степановна. - Я вам адрес дам.

- Да что писать? - сказал Лунин, - Лучше вы напишите... Передайте привет... спасибо за память...

Уходя, он спросил Анну Степановну:

- Не надо ли вам чего?

Но она твердо ответила:

- Нет, ничего не надо.

Уже совсем стемнело, беззвездное небо было черным, дома с затемненными окнами потонули во мраке, и только снег белел на тротуарах. Лунин перешел через Неву по Литейному мосту и там, на Выборгской стороне, влез в кузов попутной военной машины. Как раз в этот момент немецкая артиллерия, затихшая было, начала обстрел района Военно-медицинской академии и Финляндского вокзала. Грохот разрывов в пустынных ночных улицах казался особенно гулким; огромные сполохи озаряли небо. И, трясясь в кузове мчащейся машины, Лунин подумал о

том, как страшно, что Соня живет здесь, под постоянным обстрелом. И понял, что теперь всё время будет беспокоиться о ней.

Глава двенадцатая.

Прорыв

1.

В степях между Волгой и Доном продолжалось уничтожение окруженных немецких армий. Перед самым Новым годом Совинформбюро сделало подробное сообщение о безнадежном положении немецких войск под Сталинградом, уже обреченных и теперь добиваемых. Но здесь, на севере, всё попрежнему было тихо, неподвижно, неизменно.

Мела метель.

Бойцы, обслуживавшие аэродром, изнемогали в борьбе со снегом, ежедневно загромождавшим взлетную площадку движущимися, рыхлыми, дымившимися на ветру сугробами. Непроглядная снежная мгла отгородила Лунина и его летчиков от всего мира.

Но эта неподвижность, неизменность, тишина были обманчивы. В крутящейся снежной мгле передвигались части, расставлялись орудия, шла подготовка внезапного, могучего удара. Никто не знал, когда этот удар наконец грянет, но приближение его и неизбежность чувствовал каждый.

- Ну, теперь скоро и мы, - говорили летчики, постояв на командном пункте полка перед сталинградской картой Шахбазьяна.

Они верили, что Тараракси́н, который всегда лучше всех в полку был осведомлен о том, что творится вокруг, знает о сроках предстоящих событий, и без конца приставали к нему с вопросами:

- Когда?

- Скоро, - отвечал Тараракси́н.

- А точнее?

- А вот метель кончится. - И Тараракси́н хитро подмаргивал правым глазом.

- Ты слушай его побольше! Он и сам не знает.

- Если знает, так он тебе и скажет...

А метель между тем не кончалась. Она только порой ослабевала на несколько часов, как бы утомившись. В начале второй недели января появилось мутное солнце, на которое можно было смотреть не жмурясь; но прояснение длилось недолго; снова налетел бешеный, режущий ветер и закружил над землей клубы колкого, сухого снега. К десятому января вьюга стала даже еще сильней, чем раньше. Летчики едва удерживались

на ногах, бредя после ужина гуськом по узкой тропинке, ведущей от столовой к кубрику. В сенях они долго и шумно отряхивались от снега, неуклюжие в своих мохнатых унтах, как медведи. Потом вытирали исколотые снегом красные лица, рассаживались, запыхавшись, по койкам, и при свете лампы было видно, как тают снежинки, застрявшие в их бровях. Домик, в котором они жили, сотрясался от порывов ветра, вьюга шуршала снегом по стеклам и яростно выла в печной трубе, заглушая все остальные звуки.

В эти метельные вечера кубрик их казался особенно уютным. Круглая печка дышала жаром. Слышался звонкий звук костяшек: за столом играли в домино. Читали, сидя на койках; писали письма. Костин спорил с Татаренко о тактике воздушного боя. Выпятив упрямые губы, он подробно разбирал какой-нибудь боевой эпизод, неторопливыми движениями своих крупных ладоней изображал положение сражающихся самолетов в пространстве. Цыганское лицо Татаренко было лукаво. Он терпеливо выслушивал до конца основательные, отлично продуманные построения Костина и внезапно разрушал их одним быстрым, неожиданным движением рук. Он побеждал Костина потому, что всегда умел подметить, насколько

действительность многообразнее того, что Костину удавалось в ней предусмотреть; сложным тактическим задачам Костина он давал совершенно неожиданные решения, которые удивляли всех слушавших своей естественностью и простотой. Взмах двух рук, громкий смех, блеск крупных белых зубов - и упрямому Костину приходилось начинать все рассуждения сначала.

А в углу, растянувшись на полу, отгородись от всех пустой койкой, Карякин и Хаметов трудились над очередным номером "Боевого листка". Пока номер не был готов, его не показывали никому. Писал и рисовал преимущественно Хаметов, - у него был ровный, красивый, разборчивый почерк. Но душой "Боевого листка" был Миша Карякин: он давал идеи. Изредка они обменивались шёпотом двумя-тремя фразами и опять погружались в работу. За работой Карякин часто пел. Он пел без слов, - это было бесконечное сплетение мотивов, то грустных, то торжественных, то озорных. Иногда он ссорился с Хаметовым, и ссоры эти всех потешали. Посадит кляксу и на раздраженные, язвительные замечания Хаметова ответит своим обычным:

- Так учили.

Вечером одиннадцатого января в кубрик летчиков второй эскадрильи вошел командир полка Проскуряков, сопровождаемый Ермаковым и Луниным. Летчики только что улеглись, некоторые уже дремали. Но с одного взгляда на командира полка и его спутников они разом поняли, что начинается наконец то, чего они

так упорно ждали,

Проскуряков шагнул на середину кубрика, не стряхнув даже снег с широченных плеч своего кожаного реглана. Большое лицо его, исколотое снегом, горело. Взмахом руки он дал знать, что вставать не нужно.

- Друзья, - сказал он, - есть приказ главного командования прорвать блокаду!

Все приподнялись на своих койках.

- Наконец дожили! - произнес кто-то.

- Да, дожили, - сказал Проскуряков. - Мы - гвардейцы. Помните ли вы нашу гвардейскую клятву?

- Помним! - ответили ему молодые голоса.

Ни одного из них не было еще в полку в тот день, когда полк получил гвардейское знамя, но слова клятвы они знали наизусть.

- Прорвем кольцо - народ обнимет нас и расцелует - продолжал Проскуряков. - Завтра на рассвете начнем.

Проскуряков не умел произносить речей и почти никогда не произносил их. Но сейчас он так был возбужден только что полученным приказом, что чувствовал неодолимую потребность поделиться со всеми. Несколько минут назад он даже поспорил с Ермаковым, который советовал сообщить приказ пока только техникам, а летчиков не беспокоить до утра. Это был весьма благоразумный совет, так как техникам предстояло за ночь в последний раз проверить боевую готовность всех самолетов, а летчикам нужно было хорошенько выспаться до утра. Но Проскуряков, слишком взволнованный и потому не склонный вникать в психологические тонкости, настоял на том, чтобы смысл приказа был немедленно доведен до каждого летчика.

- В их возрасте крепко спят перед любым боем, - сказал он.

И оказался прав. После его ухода летчики заговорили все разом, но уже через полчаса несколько человек нечаянно заснули. А через час спал весь кубрик.

2.

Проснувшись перед рассветом, они прежде всего прислушались - не кончилась ли метель. Но домик их по-прежнему содрогался под порывами ветра, в трубе гудело, а когда они выходили на крыльцо, снежный вихрь толкал их обратно в дверь. Метель не только не кончилась, но стала даже еще злее. По пути к своим самолетам они могли разговаривать только крича во весь голос и на расстоянии нескольких метров теряли друг друга из виду.

Но как ни ревела метель, грохот нашей артиллерии заглушил ее.

В девять часов сорок минут десятки тысяч орудий обрушили

разом весь свой огонь на немецкие укрепления вдоль южного берега Невы.

От аэродрома до линии фронта было около десяти километров, но, несмотря на это расстояние, казалось, будто от гула земля раскалывается под нотами. В течение двух часов этот могучий гул не прекращался ни на мгновение, только тембр его несколько менялся в зависимости от перемен направления ветра.

Через два часа, в одиннадцать сорок, артиллерия перенесла огонь в глубь расположения немцев, и Тарараксину сообщили с соседнего аэродрома, что штурмовики поднимаются в воздух и движутся к Неве. Эскадрилье Лунина приказано было сопровождать их.

Капитан Шахбазьян, без шапки, выскочил из землянки командного пункта полка с ракетным пистолетом в руке, чтобы пустить ракету - знак-взлета. Но, охваченный вертящейся снежной мутью, испугался, что его ракета будет не видна. Так, без шапки, со снегом в черных курчавых волосах, он побежал к самолетам и пустил ракету, остановившись прямо перед ними.

Самолеты взлетели один за другим, мгновенно исчезая в снежной мгле.

На высоте в сто метров вздуваемая с земли снежная пыль стала реже, и горизонтальная видимость слегка расширилась. Подняться выше эскадрилья не могла: тучи неслись в полутораста метрах над землей, а штурмовики, с которыми она должна была встретиться, шли, безусловно, под тучами. Лунин боялся пройти мимо штурмовиков, не заметив их, и внимательно смотрел во все стороны. Но вот в установленном месте они вдруг возникли перед ним - группа крупных горбатых машин, похожая на стадо зубров.

Лунин увидел Неву и широкую черную полосу за ней. Удивительной и неестественной казалась черная полоса среди белейшего океана снега. Полоса эта шириной в несколько километров была создана нашей артиллерией. На всем громадном пространстве южного берега, где пролегал передний край немецкой обороны, снаряды смели весь снежный покров и, обнажив землю, вывернули ее наружу. По льду Невы к этой черной полосе шла в наступление наша пехота. Утопая в снежных вихрях, громадная движущаяся масса тулупов и белых халатов заполнила всю ледяную поверхность реки от берега до берега.

Бойцов, то бегом, то ползком двигавшихся к югу, летчики видели в течение всего дня. Весь этот вьюжный день - первый день наступления - все три эскадрильи полка провели в воздухе над полем огромной битвы, развернувшейся на протяжении всего верхнего и среднего течения Невы. Каждые сорок пять минут самолеты возвращались на аэродром, заправлялись горючим и

вновь взлетали.

Чаще всего они сопровождали штурмовиков.

Каких только штурмовок не перевидал Лунин со своими летчиками за этот день! Самолеты-штурмовики рассеивали колонны немецких танков, уничтожали грузовые машины, взрывали мосты, истребляли батальоны, шагавшие по дорогам, подавляли батареи, в обороне врага пробивали широкие бреши, сквозь которые тотчас же прорывалась наша пехота.

Немцы сопротивлялись упорно, цеплялись за многочисленные линии своих траншей, за все бугры, овраги, здания, создавали на пути наших наступающих частей густейшую сеть огня и переходили в контратаки. Они стремились во что бы то ни стало сбросить нашу пехоту с южного берега Невы. Но сделать это им не удавалось. Силы их были связаны тем, что одновременно с Ленинградским фронтом перешел в наступление и Волховский, завязав ожесточенные бои всё там же, на южном берегу Ладожского озера, у Синявина. А подбросить сколько-нибудь значительные резервы они тоже в этот январь не могли, потому что то был страшный для них январь: окруженные и гибнущие войска под Сталинградом молили о помощи, и немецкие резервы направлялись только туда, на Дон, на Северный Кавказ, в Восточную Украину. И к концу первого дня наступления части Ленинградского фронта на южном берегу Невы овладели полосой протяжением более двадцати километров и шириной более пяти.

В этот первый день немецкая авиация в развернувшейся битве участия почти не принимала.

В течение всего дня немецкие бомбардировщики в воздухе не появлялись. Одни только "Мессершмитты" время от времени проносились над сражающимися войсками, но и "Мессершмиттов" было немного, и держали они себя крайне осторожно. Из-за плохой видимости советские летчики почти не встречались с ними и большей частью узнавали об их присутствии лишь из передаваемых по радио донесений наших наземных постов наблюдения.

У "Мессершмиттов" была одна задача: противодействовать нашим штурмовикам, но задача эта оказалась им не под силу. Штурмовики действовали под охраной истребителей, а вступать в открытые бои с новыми советскими истребителями "Мессершмитты" уже не отваживались. Им оставалось только одно: следить за советскими самолетами исподтишка, прячась в облаках, в снежной мути, чтобы, дождавшись какой-нибудь оплошности, промаха, путаницы, случайного ослабления бдительности, подкараулить и напасть.

Вот такому нападению исподтишка подвергся Рябушкин - единственный летчик эскадрильи, которому довелось в этот день вести воздушный бой. Возвращаясь на аэродром и идя в строю последним, Рябушкин внезапно потерял из виду всех своих. День шел уже к концу, к вьюжной мути начали примешиваться сумерки, видимость стала еще меньше, и очертания двигавшихся впереди самолетов исчезли, словно их стерли с листа бумаги резинкой. Оставшись один, Рябушкин нисколько не встревожился: он находился уже совсем недалеко от Невы и не сомневался, что через несколько минут будет на своем аэродроме. Вдруг по радио с земли ему передали:

- Внимание! Сзади два "Мессершмитта".

Рябушкин мгновенно сделал переворот и устремился назад.

Ему удалось увидеть оба "Мессершмитта" только на какую-то долю секунды. Они метнулись вверх и скрылись в низких тучах. Рябушкин, не колеблясь, сразу же тоже пошел вверх, в тучу, хотя понимал, что надежд на встречу мало. Упрямство заставляло его подниматься всё выше, и он прошел тучу насквозь.

И зажмурился, ослепленный.

Над ним было ясное небо, а с краю, над горизонтом, косо озаряя косматое море туч, висел громадный красный шар заходящего солнца.

И тут же совсем недалеко Рябушкин заметил "Мессершмитт" - несомненно, один из двух, за которыми он гнался.

Рябушкин успел дать очередь, но промахнулся. "Мессершмитт" нырнул под самолет Рябушкина и ушел вниз, в тучу. Рябушкин, раздосадованный промахом и разгоряченный погоней, тоже помчался вниз, снова пробил тучу насквозь и оказался над самой Невой. Здесь же, над Невой, почти рядом, был и "Мессершмитт". Немецкий летчик, заметив самолет Рябушкина, рванулся вверх и снова ушел в тучу. Рябушкин помчался за ним и прошел сквозь тучу в третий раз.

"Мессершмитт", озаренный косыми красными лучами, висел прямо над Рябушкиным на фоне ясного неба. Рябушкин пошел на него, дал по нему две очереди и на этот раз, безусловно, попал. "Мессершмитт" нырнул в тучу и исчез в ней.

Но Рябушкин хотел знать наверняка, сбил он его или нет, и последовал за ним. В четвертый раз прошел он сквозь тучу. Из нижней кромки тучи "Мессершмитт" выскочил одновременно с Рябушкиным. Дым валил из "Мессершмитта", он продолжал идти вниз, и, казалось, не могло быть никакого сомнения, что с ним покончено. Рябушкин, желая увидеть, как он коснется земли, шел вниз вслед за ним. Внизу - Нева, лед, множество красноармейцев в тулупах.

И вдруг над самым льдом "Мессершмитт" выпрямился и снова полез вверх. Это было так неожиданно, что Рябушкин растерялся. Он опомнился, когда "Мессершмитт" находился уже выше его самого. Волоча за собой черный хвост дыма, "Мессершмитт" упорно приближался к туче.

Рябушкин снова погнался за ним. Неужели придется в пятый раз лезть в тучи за этим упрямым "Мессершмиттом", не желающим погибать? Рябушкина утомили эти гигантские качели - вверх, вниз, вверх, вниз. Однако не дать же ему уйти!

Но у "Мессершмитта" уже не было сил войти в тучу - он кружил и кружил под нею. Вираж, еще вираж... На третьем вираже Рябушкин поймал его и сбил.

"Мессершмитт" падал на лед Невы, и Рябушкин провожал его почти до самого льда, боясь, как бы он снова не ожил. Но теперь это был действительно конец. Красноармейцы махали Рябушкину шапками, когда он, торжествуя, пронесся над ними.

Через полчаса Рябушкин сидел уже в лётной столовой и ел баранину с пшенной кашей. За окнами было темно, вьюга завывала в печных трубах. Круглое лицо Рябушкина разрумянилось. Он весь был полон впечатлениями боя, погони, победы...

У его товарищей слипались глаза от усталости, все они выбились из сил, проведя весь день в полетах, в борьбе со снежным бураном, но все они, подобно Рябушкину, были переполнены радостным ощущением удачи, гордым сознанием того, что ненавистный, жестокий и страшный враг боится их и отступает перед ними.

- Посмотрим, что будет завтра, - внезапно сказал Костин, задержавшийся на командном пункте полка и позже всех зашедший в столовую.

Все обернулись к нему с удивлением.

- То же, что сегодня, - сказал Татаренко.

- Не совсем, - проговорил Костин. - Есть новость.

- Какая?

- "Фокке-Вульфы". Завтра надо ждать их в воздухе.

- Откуда это известно?

- Вот вопрос! Разведкой установлено.

- Тю! - сказал Карякин, - Отлично! Теперь, по крайней мере, будет кого бить. А то бить некого.

Летчики рассмеялись. Однако все хорошо поняли огромное значение принесенной Костиным новости. Вражеская авиация перевооружалась. С появлением неведомых "Фокке-Вульфов" складывалось новое соотношение сил в воздухе, - какое, угадать было невозможно. Только опыт мог им ответить на этот вопрос.

3.

К следующему утру погода наконец несколько изменилась. Еще попрежнему мело, но скорость ветра значительно упала и продолжала падать; порой становилось даже совсем тихо, но затем ветер, словно спохватясь, налетал снова, чтобы через несколько минут опять обессилеть. Попрежнему небо было в тучах, но слой их стал тоньше, и глаза угадывали сквозь них солнце. Стало холоднее; мороз дошел до двадцати градусов, но видимость почти не улучшилась. Это был типичный для Балтики мороз, сопровождаемый не ясной погодой, а, напротив, туманом, сыростью. Голые прутья берез, осин, рябин покрылись изморозью и склонились под ее тяжестью. Перехватывающий дыхание морозный туман особенно густо лежал в оврагах, во впадинах, в просторной пойме Невы. Он был грязновато-серого цвета, потому что к нему обильно примешивался дым пожаров.

Там, за Невой, всё горело. Наступление наших войск продолжалось. Теперь точнее определилось его основное направление - не на юг, как казалось вначале, а на юго-восток, навстречу наступающим войскам Волховского фронта.

Созданная немцами за семнадцать месяцев осады широчайшая полоса укреплений не была еще полностью преодолена, и потому наступление развивалось не быстро, разбиваясь на ряд упорных боев вокруг отдельных укрепленных узлов. Для преодоления этих укрепленных узлов в помощь артиллерии, танкам и пехоте посылалась штурмовая авиация, и для истребителей этот день прошел так же, как и вчерашний, - главным образом в сопровождении штурмовиков.

Самой грандиозной, замечательной и трудной операцией этого дня была штурмовка железнодорожных составов у Синявина. В ней участвовала вся эскадрилья Лунина.

Они вовсе не собирались идти к Синявину и вслед за штурмовиками направлялись совсем к другой цели, как вдруг и штурмовикам и им по радио было приказано переменить курс. Наша разведка установила, что на станцию Синявино только что прибыли какие-то эшелоны; эти эшелоны нужно было уничтожить немедленно, чтобы немцы не успели ни разгрузить их, ни увести.

Лунин не был у Синявина с сентября и впервые шел к нему не с востока, а с запада. Не успели они приблизиться к станции, а уже нервно заговорило множество зениток. Видимо, тут было что защищать. Находилась здесь и четверка "Мессершмиттов"; но "Мессершмитты" не осмеливались принять бой с целой эскадрильей советских истребителей и отошли. Разрывы зенитных снарядов образовали широкий круг, внутри которого огонь был на редкость силен и густ. И штурмовикам и

истребителям предстояло войти внутрь этого смертоносного круга.

Уберечь их могло только беспрестанное маневрирование. Разбившись на маленькие группы - по два, по три самолета - и выделывая сложные движения, чтобы сбить и запутать зенитчиков, они с разных сторон прорвались к железнодорожной станции. Все пути возле станции были забиты составами. Лунин насчитал их восемь. Тут же рядом, на проезжей дороге, стояла длиннейшая колонна грузовиков, кузова которых были совершенно одинаково покрыты брезентом.

И штурмовка началась.

При первом же взрыве Лунин ощутил такой толчок, что забеспокоился, не попал ли в его самолет зенитный снаряд. Через мгновение его тряхнуло еще, потом еще, и он понял, что его сотрясают воздушные волны от взрывов необычайной силы. Земля под ним тонула в густом дыму. Но штурмовики бесстрашно лезли в этот дым и продолжали свое дело. Еще взрыв, еще... Самолет Лунина подскакивал в воздухе. Никогда еще Лунину не приходилось испытывать ничего подобного. Однако по-настоящему силу этих взрывов он оценил лишь тогда, когда увидел, как закачалось, расползлось и рухнуло двухэтажное каменное здание, стоявшее по крайней мере в полукилометре от железной дороги, от места штурмовки.

Чем же могли быть вызваны взрывы такой силы?

Догадаться было нетрудно.

В вагонах, уничтожаемых штурмовиками, находились снаряды, подвезенные сюда немцами для снабжения войск.

В первое мгновение немцы настолько растерялись, что зенитный огонь, вместо того чтобы усилиться, ослабел. Но уже через минуту зенитчики стали приходить в себя. Зенитки били чуть ли не из-под каждого куста. Положение истребителей, более подвижных, имеющих возможность уйти вверх, в тучи, и не связанных необходимостью держаться над самой железной дорогой, было еще сносно. Но положение штурмовиков стало чрезвычайно опасным. Кого-нибудь из них непременно собьют, если только они немедленно не повернут и не уйдут отсюда.

Но цепи вагонов со снарядами были длинны, занимали несколько путей, раскинулись на несколько километров, и чтобы взорвать их все, нужно было время. И штурмовики не уходили, а продолжали нырять в расползающиеся клубы дыма, хлопоча над составами, как большие жуки. И примерно на четвертой минуте штурмовки в один из них попали.

Самого попадания Лунин не видел. По тяжелому дымному следу он понял, что штурмовик горит. Пламя распространялось

по нему стремительно, за какие-нибудь полминуты дойдя от хвоста до кабины. Там, в кабине, два человека - пилот и стрелок.

Горящий штурмовик продолжал вести себя так, будто ничего не случилось. Он врывался в стлавшийся по земле дым и обстреливал цепи вагонов. Было видно, как сзади, не переставая, мигал багровый глазок пулемета стрелка. Потом горящий штурмовик, держась низко над землей, отошел от железнодорожных путей, перевалил через разрушенные станционные постройки и оказался над шоссе.

Когда началась штурмовка, покрытые брезентом вражеские грузовые машины, бесконечной вереницей стоявшие на шоссе, сделали попытку удрать. Но три из них опрокинуло взрывом, и, перевернувшись, они загородили проезд. Из их кузовов вывалились снаряды и поблескивали на снегу. Объехать опрокинутые машины было невозможно, но перепуганные водители в панике продолжали напирать, и грузовики сбились на дороге в плотную массу - в три и даже в четыре ряда. Горящий штурмовик спокойно и неторопливо направился прямо в это скопление грузовых машин.

Лунина опять подбросило в воздухе. Шоссе заволокло дымом. Когда дым рассеялся, нельзя было разобрать ничего - ни взорвавшегося самолета, ни уничтоженных машин. Всё слилось в большое, зловещее черное пятно.

Этот подвиг двух человек, совершённый так просто, деловито и естественно, потряс всех, кто его видел. Штурмовка по-настоящему только теперь и началась. К зенитному огню штурмовики, казалось, стали совсем равнодушны и заботились только о том, как бы не пропустить ни одного вагона. И станция, и поселок, и леса кругом - всё тонуло в дыму. Земля и небо содрогались от могучих взрывов...

Со второй половины дня туманы в ложбинах поредели, метель прекратилась. Видимость значительно улучшилась. После обеда Лунин по приказанию командования направил четверку своих самолетов для охраны наших войск с воздуха: с улучшением погоды немецкие бомбардировщики могли попытаться совершить нападение. В четверку эту входили Татаренко, Костин, Карякин и Рябушкин. Старшим Лунин назначил Татаренко.

Пройдя над передовой во всю ее длину, они повернули обратно. Горючего у них оставалось ровно столько, чтобы дойти до аэродрома. Облака теперь были очень высоко, на высоте полутора тысяч метров, и Костин, Карякин и Рябушкин шли под самыми облаками. Татаренко, несколько их опередивший, нырнул вниз, чтобы рассмотреть двигавшуюся к фронту колонну каких-то

машин, и шел метров на шестьсот ниже своих товарищей. И внезапно Костин увидел два самолета, выскочившие из облаков и направившиеся прямо к самолету Татаренко.

Никогда еще таких самолетов Костин не видел. У них были странные тупые рыла и прямые, словно обрубленные, консоли крыльев. И именно оттого, что таких самолетов Костин никогда не видел, он понял: это "Фокке-Вульфы".

Наконец-то! Ну что ж, посмотрим... Во всяком случае, они не очень смелы... Костин был убежден, что они атаковали Татаренко только оттого, что им показалось, будто он один. Трех других советских истребителей они заметили не сразу. Обнаружив, что они имеют дело не с одним советским самолетом, а с четырьмя, они оставили Татаренко и мгновенно, обратились в бегство.

Они понеслись вверх, обратно к тучам. Да, круто они могли подниматься, очень круто! Круто и быстро. Куда "Мессершмиттам"!

У советских истребителей горючее было на исходе, но они забыли об этом. Нельзя же пропустить такой случай! Они поднялись так же круто и так же быстро. Ни на метр не отстали. Так, все вшестером, одновременно и почти в одном месте, они пробили облака.

Видя, что удрать невозможно, немцы решили принять бой. "Только не дать им ударить в лоб,- думал Костин. - Вооружение на них, безусловно, много сильней, чем на "Мессершмиттах", и удара в лоб можно не вынести. Жаль, что мои товарищи недостаточно разбираются в вопросах тактики..." Но оказалось, что товарищи не хуже его самого понимали, что незачем подставлять себя под лобовой удар. Они вертелись вокруг "Фокке-Вульфов", стараясь атаковать их сзади и не дать им напасть на себя. Это была отличная проверка маневренности самолетов, и оказалось, что и в вертикальной плоскости и в горизонтальной "Фокке-Вульфы" ничуть не маневреннее наших истребителей. Карякин и Рябушкин занялись ведомым "Фокке-Вульфом" и оттянули его несколько в сторону от ведущего. А Татаренко, подойдя к ведущему спереди, но держась ниже его, ударил по нему очередью снизу.

Ведущий "Фокке-Вульф" стал беспомощно падать,

переваливаясь через крыло. Ведомый оставил его, нырнул в облака и исчез. У советских истребителей горючее совсем пришло к концу; нужно было возвращаться немедленно. Уходя, они следили, как, кружась, словно осенний лист, падал подбитый "Фокке-Вульф". Мотор его еще кое-как работал, и летчик делал отчаянные попытки выпрямить свою машину. Внизу, над самым лесом, это ему удалось. "Фокке-Вульф" выпрямился и неуверенно, боком, словно слепой, двинулся куда-то на восток.

Ничего не стоило догнать его и добить. Но горючего не было. Они еле добрались до дома.

Когда они вышли из самолетов, лица их пылали от возбуждения. Они первые дрались с "Фокке-Вульфами" и победили их!

- До чего досадно, что не хватило горючего! - огорчался Костин. - Эх, встретили бы мы их на десять минут раньше, и оба были бы на земле...

Ему казалось, что победа получилась неполной.

- Я его здорово полоснул по брюху! Никуда ему далеко не уйти, убежденно говорил Татаренко. - Непременно где-нибудь свалится.

- Уже свалился, - сказал Проскуряков, вышедший встречать их на аэродром.

Оказалось, что всё известно. За боем советских истребителей с "Фокке-Вульфами" следил весь фронт. На командном пункте полка узнали, что Татаренко сбил "Фокке-Вульф", через минуту после того, как это случилось. Знали тут уже и о дальнейшей судьбе немецкого самолета.

- Выпрямиться ему кое-как удалось, - рассказал Проскуряков, - но управление у него было не в порядке. И пошел он не туда, куда хотел, а куда ему удавалось идти. Вышел он на берег Ладожского озера как раз в том месте, где теперь проходит наш передний край. Повернуть направо, к своим, он не мог, а пошел дальше и сел на лед. От нас метров четыреста и от немцев метров четыреста...

- А что же летчик? - спросил Татаренко.

- Летчик бросился на лед и по льду уполз к своим.

- Чёрт с ним, с летчиком, - сказал инженер полка, молча слушавший весь этот разговор. - Нам бы самолет раздобыть...

Все техники в полку относились к "Фокке-Вульфам" с не меньшим любопытством, чем летчики. Им не терпелось узнать, что нового придумали немцы, как ответила немецкая конструкторская мысль на появление новых советских истребителей. Каждый из них понимал, что здесь речь идет о соревновании, малейший успех или неуспех в котором имеет громадное значение для всего дальнейшего хода войны. Четверых летчиков, повидавших "Фокке-Вульфы" собственными глазами, они забрасывали множеством вопросов. Но что летчики могли им ответить?

- Да, скоростенка у него недурна, - говорил Карякин. - Однако от нас не ушел.

- Да, вооружение у него, наверно, сильное, - соглашался Рябушкин. - А впрочем, кто его знает - в нас он не попал.

- Да, маневренность у него есть, - подтвердил Татаренко. - Наш-то, пожалуй, маневреннее.

- Мотор у него, повидимому, воздушного охлаждения, - пояснял Костин. Не знаю, преимущество это или недостаток...

Все эти ответы, поневоле неточные, основанные на случайных впечатлениях, не могли удовлетворить техников: им хотелось точного знания. И инженер полка Федоров убеждал Проскурякова, что нужно завладеть сбитым "Фокке-Вульфом" и привезти его в полк.

- Он сбит летчиками нашего полка, и мы имеем на это право, - говорил инженер.

Тарараксин каждые двадцать минут справлялся по телефону о судьбе "Фокке-Вульфа". "Фокке-Вульф" продолжал лежать всё там же, на льду. Немцы предприняли несколько попыток завладеть им, но всякий раз, когда они спускались с берега на лед, наши бойцы прогоняли их сильным огнем. Но и наших бойцов немцы не подпускали к самолету, держа весь этот край озера под обстрелом. Хуже всего было то, что немцы стреляли по самолету даже тогда, когда никто не пытался к нему приблизиться. Потеряв надежду им завладеть, они теперь старались разрушить его, чтобы он не достался никому.

- Надо спешить, пока в него не. угодил снаряд, - убеждал инженер Проскурякова.

Проскуряков интересовался "Фокке-Вульфом" не меньше других, но рисковать людьми ради сбитого немецкого самолета ему ее хотелось. Однако, когда инженер полка заявил, что сам отправится за "Фокке-Вульфом" и доставать его будет ночью, под покровом темноты, Проскуряков согласился. Уже начинались сумерки, и экспедиция за сбитым самолетом стала немедленно собираться в путь.

Инженер полка взял с собой нескольких техников, в том числе и Деева, и нескольких бойцов из батальона аэродромного обслуживания. Четыре летчика, участвовавшие в бою с "Фокке-Вульфом", стали просить, чтобы их взяли тоже, но Проскуряков сердито приказал им остаться. Экспедиция двинулась к Ладожскому озеру на полуторатонке, - инженер полка в кабине рядом с шофёром, остальные в кузове.

Стало гораздо морознее, чем было утром, ветер стих совсем, тучи исчезли, и на темнеющем небе вспыхнули звёзды - впервые за целый месяц. В неподвижном холодном воздухе несмолкаемый грохот боя казался таким близким, будто бой происходил здесь, за ближайшими соснами, а не где-то там, далеко, по ту сторону Невы. Вся южная половина неба беспрестанно озарялась артиллерийскими вспышками, яркими, как зарницы.

Полуторатонка, бежавшая по укатанной снежной дороге, спустилась на лед Невы напротив Шлиссельбурга. Было уже совсем темно, но и во тьме они слева от себя заметили на фоне звездного неба бесформенную черную громаду. Это были развалины Шлиссельбургской крепости. Подвиг ее гарнизона, длившийся столько месяцев, был окончен. Наши войска освободили Шлиссельбург, и крепость на островке посреди реки оказалась в тылу.

Освобожденный городок встретил их тьмою, развалинами, догоравшими пожарами. Машина быстро приближалась к переднему краю. Проехав сквозь весь Шлиссельбург, они, к востоку от него, выехали на берег озера.

Это был тот южный берег Ладожского озера, на котором еще совсем недавно находились немцы. Отсюда немецкая артиллерия обстреливала ледовую дорогу. Теперь, на вторые сутки нашего наступления, та часть этого берега, которая примыкала непосредственно к Шлиссельбургу, была уже в наших руках. Но дальше к востоку, возле прибрежной деревни Липки, немцы еще держались. Сбитый "Фокке-Вульф" лежал на льду на равном расстоянии от нас и от них.

Оставив машину на берегу, инженер полка повел свой маленький отряд на разведку. Метель смела с поверхности льда весь снег, и идти по льду было нетрудно. Тьма надежно скрывала их. Они довольно скоро наткнулись на "Фокке-Вульф" и стали шёпотом совещаться, что делать дальше. Инженер предполагал, что самолет можно будет подтащить к берегу на руках. Но оказалось, что у "Фокке-Вульфа" повреждены шасси и тащить его не так-то просто. Пройдет вся ночь, прежде чем они доволокут его до берега, а действовать надо быстро, потому что немцы каждую минуту могут заметить эту возню на льду и открыть огонь. Деев предложил спустить на лед полуторатонку и подвести ее к "Фокке-Вульфу". Это был опасный план, потому что немцы могли услышать стук мотора и обо всем догадаться. Однако инженер Федоров, подумав, решил рискнуть.

Полуторатонка добралась до сбитого самолета вполне благополучно. Техники занесли хвост "Фокке-Вульфа" в кузов и закрепили его канатами. И машина двинулась к берегу, волоча за собой самолет.

Внезапно немцы всполошились. Пулеметы, минометы, орудия заговорили разом. Мины взрывались с грохотом, выли снаряды, посвистывали пули. Техникам пришлось пережить несколько жутких минут. Самым страшным было то, что машина, волоча за собой самолет, двигалась очень медленно.

Но в конце концов мины остались позади; стрельба мало-

помалу затихла. Полуторатонка втащила "Фокке-Вульф" на плоский берег и неторопливо поволокла его через Шлиссельбург, через Неву, по лесной дороге - к аэродрому.

Шел уже третий час ночи, когда "Фокке-Вульф" был наконец водворен в помещение ПАРМа - большой холодный сарай на краю аэродрома. Ни инженер Федоров, ни техники в эту ночь спать не ложились. До рассвета суетились они вокруг немецкого самолета, разбирали его мотор, изучали его приборы, разглядывали каждую деталь. А когда стало светать, в ПАРМ вошел Лунин и с ним Татаренко.

- Ну как? - спросил Лунин, с любопытством оглядывая "Фокке-Вульф".

- Ничего нового,- сказал инженер полка. - Вчерашний день.

- Чем-нибудь лучше наших?

- Ничем.

- А хуже?

- Есть один существенный недостаток, - сказал инженер полка, подумав.

- Какой?

- Обзор плох. Летчику трудно смотреть перед собой вниз. Мотор слишком велик и закрывает обзор.

- Я это еще в бою понял, - вдруг сказал Татаренко. - Я подошел к нему спереди снизу и сбил.

4.

Утром на третий день наступления небо было безоблачное, прозрачное. Огромное морозное малиновое солнце озарило снега. В воздухе ни малейшей мути, никакого тумана. Звуки с необыкновенной отчетливостью передавались на громадное пространство, и до аэродрома доносились все шумы боя. Казалось, при каждом взрыве весь воздушный океан вздрагивал, как огромный колокол.

И больше погода уже не менялась. Метели, туманы и ветры ушли, казалось, безвозвратно. После ослепительно яркого дня наступила ясная звездная ночь, а после ночи - такой же ослепительный день. В эти морозные солнечные дни, в эти звездные ночи среди сверкающих рыхлых снегов продолжалось наступление наших войск. Оно развивалось не быстро, немцы сопротивлялись упорно, но с каждым днем расстояние между Ленинградским фронтом и Волховским становилось всё меньше, кольцо осады - всё тоньше.

Летчики эскадрильи летали от зари до зари. Это были трудные для них дни, - все они заметно осунулись, лица их стали суровее и старше. Ложась спать, они от усталости почти не разговаривали, засыпали мгновенно и спали крепко, каменным

сном.

Эти трудные дни были для них счастливыми днями. Несмотря на увеличение численности немецких самолетов, встречи с ними для летчиков эскадрильи неизменно кончались победой. Господство в воздухе было завоевано советскими летчиками твердо, непоколебимо, и сознание этого наполняло их гордой радостью.

Благодаря хорошо налаженной радиосвязи большую помощь советским истребителям оказывали наземные посты наблюдения.

- Внимание! - передавал наблюдатель. - Сзади снизу - два "Мессершмитта".

Однажды Татаренко и Хаметов так стремительно расправились с двумя "Мессершмиттами", указанными им наблюдателем, что тот даже не успел уследить за ходом битвы и не понял, что произошло.

- Внимание! - кричал наблюдатель. - Здесь где-то два "Мессершмитта", но сейчас я их почему-то не вижу.

- И больше не увидите, - отвечал Татаренко. - Оба сбиты.

В этих январских боях свойства каждого летчика проявлялись особенно ярко. Они не были уже новичками, начинающими, они были боевыми летчиками с большим опытом войны за плечами. И способности их оказались неодинаковыми. В полку и в дивизии всем было ясно, что в эскадрилье у Лунина есть два летчика - Татаренко и Кузнецов, - которые и в полете и в бою далеко оставили всех остальных. Никто не сбивал столько вражеских самолетов, сколько они. Их имена почти каждый день повторялись снова и снова в связи со всё новыми победами в воздухе.

Оба они фактически были заместителями Лунина, ближайшими его помощниками. Если на какое-нибудь боевое задание направлялась не вся эскадрилья, а только часть ее, то этой группой самолетов обычно командовал либо Татаренко, либо Кузнецов. Между ними установилось скрытое соперничество, которое они старались никак не выказывать, но о котором, конечно, все знали.

Кузнецов был внешне холодный, сдержанный человек. Но в эскадрилье, где к нему давно уже хорошо присмотрелись, понимали, что только поверхностному взгляду он кажется холодным, а в действительности он человек горячий и пылкий. Он был старше Татаренко, боевой стаж у него был больше, и он, безусловно, не мог быть равнодушен к тому, что Татаренко опережает его. Существовала одна область, в которой у Кузнецова не было соперников во всей дивизии, - разведка. Лучший разведчик - это, конечно, значило много, но была в этом и

досадная сторона: его часто посылали на разведку, и потому он участвовал в боях реже, чем Татаренко, и не мог сравняться с ним по числу сбитых вражеских самолетов.

А Татаренко - тот вообще ничего не умел скрывать, его чувства и побуждения всегда были всем видны. У него была славная черта, за которую его все любили: он искренне радовался успехам своих товарищей. Если Рябушкину, или Хаметову, или Остросаблину удавалось сбить вражеский самолет, он ликовал вместе с ними, удивлялся их отваге, их находчивости. Если ему случалось сбить самолет совместно с другими летчиками, он, докладывая или рассказывая, подчеркивал их, а не свои заслуги. Но, конечно, и он сам понимал и все кругом понимали, что ни Рябушкина, ни Остросаблина, ни даже Хаметова и Костина, несмотря на все их успехи, нельзя с ним сравнивать. Кузнецов - дело совсем другое. Всякий раз, когда Кузнецов сбивал самолет, Татаренко весь настораживался. Он подробно расспрашивал, как это всё произошло, внимательно вникая во все детали боя. Потом говорил:

- Ну ладно...

И всем было понятно, что это значило. А значило это, что он не успокоится, пока не сделает того же, что сделал Кузнецов, или даже больше.

Тринадцатого января Татаренко сбил "Фокке-Вульф".

Почти весь следующий день, четырнадцатого, Кузнецов провел в разведке и только один раз вылетел вместе с Остросаблиным на охрану наших войск. Он зоркими своими глазами увидел над самой землей два "Мессершмитта" и спикировал на них, ведя за собой Остросаблина. Один "Мессершмитт" он сбил сразу же, а другой гнал вдоль всего фронта до самого Синявина и там поджег. Немецкий летчик выпрыгнул из горящего самолета и спустился на парашюте.

Пятнадцатого Татаренко, вылетев во главе четверки самолетов, встретил семь "Мессершмиттов". Он немедленно повел свои самолеты в атаку, и в результате короткого боя три "Мессершмитта" были сбиты. Два из них сбил сам Татаренко, а один - Карякин и Рябушкин.

Шестнадцатого утром Кузнецов, вылетев на разведку, обнаружил внизу под собой "Мессершмитт-110". Кузнецов подошел к нему сзади, со стороны хвоста. Хвост "Мессершмитта-110" охранял стрелок; он издали заметил самолет Кузнецова и открыл по нему огонь с очень большой дистанции. Кузнецов продолжал настойчиво нагонять его и, приблизившись, дал очередь. Стрелок сразу перестал стрелять, - вероятно, он был убит. Кузнецов подошел к немецкому самолету почти вплотную и

с четвертой очереди сбил его.

Вечером того же дня при ослепительном закате, охватившем полнеба, Татаренко, ведя за собой Костина, Хаметова и Дзигу, встретил пять "Юнкерсов-88", которые шли на бомбежку под охраной двух "Мессершмиттов" и двух "Фокке-Вульфов".

Татаренко атаковал их спереди, в лоб. "Юнкерсы" шли цепочкой, один за другим, и Татаренко, летевший впереди своей четверки, дал снизу очередь по первому из них. Он проскочил под ним и, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, что с ним случилось, устремился на второго. Он хотел успеть обстрелять возможно большее число "Юнкерсов", прежде чем "Мессершмитты" и "Фокке-Вульфы" успеют вмешаться.

Этот замысел оказался правильным. Второй "Юнкерс" упал в лес одновременно с первым, которого добил шедший вслед за Татаренко Костин. А Татаренко тем временем успел атаковать третий "Юнкерс" и четвертый. "Мессершмитты" и "Фокке-Вульфы" кинулись к нему, но он, выворачиваясь из-под их ударов, продолжал бить по "Юнкерсам". Ему помогали Хаметов и Дзига, которые действовали так же, как и он: не ввязываясь в драку с истребителями, беспрестанно атаковали бомбардировщики. Третий и четвертый "Юнкерсы" были сбиты через полминуты после первых двух. Пятый "Юнкерс" успел удрать. Он умчался к югу, охраняемый двумя "Фокке-Вульфами" и двумя "Мессершмиттами".

Четыре бомбардировщика, сбитые четырьмя истребителями благодаря умному маневру, - это было событие, которое обсуждала вся дивизия. Но уже через сутки, вечером семнадцатого, Кузнецов, повторив в более трудных обстоятельствах то, что сделал Татаренко, достиг таких же результатов.

Кузнецова сопровождали Остросаблин, Карякин и Рябушкин. На закате они встретили двадцать немецких самолетов. Десять "Юнкерсов" шли впереди, а истребители - восемь "Мессершмиттов" и два "Фокке-Вульфа" - несколько выше и сзади.

Кузнецов повторил маневр Татаренко. Его четверка атаковала "Юнкерсы" спереди и тем самым опередила немецкие истребители. За те несколько секунд, пока "Мессершмитты" и "Фокке-Вульфы" спешили к месту боя, четыре "Юнкерса" были сбиты. Остальные "Юнкерсы", беспорядочно побросав бомбы в лес, обратились в бегство. Отбив запоздалую атаку "Мессершмиттов" и "Фокке-Вульфов", Кузнецов привел свою четверку на аэродром.

Этот день, семнадцатое января, был уже шестым днем боев за прорыв блокады Ленинграда. Поздно вечером, перед тем как лечь спать, Лунин зашел в кубрик, где жили летчики его эскадрильи.

Он ежевечерне навещал их в этот час и неизменно заставал их спящими. И на этот раз они спали. Но не все. Койка Кузнецова была пуста. Кузнецов, одетый, сидел за столом спиной к двери и что-то писал.

Лунин, зная, каким утомительным был для Кузнецова минувший день, удивился.

- Письмо? - спросил он.

Он сзади положил руки на плечи Кузнецову, чтобы не дать ему встать.

- Нет, не письмо, - ответил Кузнецов. - Прочтите, товарищ гвардии майор.

"Прошу партийную организацию, - прочитал Лунин, - принять меня в члены ВКЩб), так как я хочу драться с фашистами, находясь в рядах большевистской партии. Я буду сражаться до последней капли крови за освобождение советской земли. Кузнецов Антон Иванович".

Осторожно отстранив руки Лунина, Кузнецов поднялся и глянул ему в лицо, ожидая, что он скажет.

Но Лунин не сказал ничего.

- Завтра утром отдам Дееву, - проговорил Кузнецов.

Утро восемнадцатого января было дажо ослепительнее, чем предыдущее. С рассвета на аэродроме все были радостно возбуждены, так как стало известно, что у южного берега Ладожского озера войска Ленинградского фронта отделяет от рвущихся им навстречу войск Волховского фронта ничтожное расстояние в каких-нибудь два-три километра. Вражеское кольцо, столько времени душившее Ленинград, стало совсем тонким, и все чувствовали, что достаточно еще одного усилия, и оно порвется.

Уваров находился в полку. На протяжении последней недели он почти ежедневно заезжал в полк. На этот раз он приехал ночью и привез с собой секретаря парткомиссии капитана Зубкова. Утром парторг эскадрильи техник Деев, встретив Уварова, показал ему заявление Кузнецова. По правде говоря, Деев несколько даже удивился тому волнению, с каким отнесся к этому заявлению комиссар дивизии. Он посоветовал Дееву провести партсобрание в эскадрилье сейчас же, не откладывая, и немедленно рассмотреть заявление Кузнецова.

- Вот кстати и секретарь парткомиссии здесь, - сказал он. - И я подойду...

- Но ведь сейчас полеты, - с сомнением проговорил Деев. - Все летчики и все техники на старте.

- Ну и партсобрание проведем на старте; - сказал Уваров. - Выберем минутку и проведем. Это очень важно...

Партсобрание состоялось на аэродроме, в маленькой, тесной землянке возле старта, построенной для того, чтобы в нее можно было забежать и обогреться. Члены партии, преимущественно техники, уселись вокруг горячей печки, тесно прижавшись друг к другу. Сизый махорочный дым, выползая из их замысловатых самодельных плексигласовых мундштуков, собирался в облако над головами. Уваров привел на собрание не только Зубкова, но и Ермакова и Проскурякова. Для огромного Проскурякова землянка была слишком мала, и он так и остался в дверях, согнувшись и осторожно втянув голову в плечи, чтобы не разбить лоб о притолоку.

Кузнецов, в комбинезоне, в унтах, стоял посреди землянки возле печки и держал свой шлем в руках. За это утро он уже успел сделать два вылета.

Деев прочитал вслух его заявление. Потом бережно вынул из своей сумки другую бумажку, оказавшуюся боевой характеристикой.

- Боевая характеристика младшего лейтенанта Кузнецова положительная, сказал Деев.

Он собирался прочесть характеристику, но Проскуряков предложил не читать:

- Мы все Кузнецова знаем, он у нас на глазах воевал.

Когда перешли к чтению рекомендаций, некоторые были удивлены, услышав, как жарко рекомендовал Кузнецова комиссар полка Ермаков. В эскадрилье многие помнили, что Ермаков долго не скрывал своего недоверия к Кузнецову.

Затем секретарь парткомиссии Зубков попросил Кузнецова рассказать свою биографию.

Кузнецов заговорил негромко, и ровный голос его был так спокоен, что казалось, будто он рассказывает не о себе, а о каком-то другом человеке, к которому он притом совершенно равнодушен. Но волнение его выдавали руки, беспрестанно мявшие и вертевшие шлем.

Биография Кузнецова не отличалась сложностью. Он был единственный сын ивановской ткачихи, давно овдовевшей. Того времени, когда бы он не мечтал стать летчиком, он не помнил. В школе он учился не очень хорошо, даже на второй год оставался. Был пионером, потом комсомольцем. Его приняли в лётное училище, но он его не кончил. Да, исключили. Из училища исключили и из комсомола... Он рассказал об этом таким же ровным голосом, как и обо всем прежнем. Но шлем в его руках, смятый, свернутый, в жгут, кружился всё быстрее... Да, его исключили за недостойное поведение в нетрезвом виде.

- На этом незачем задерживаться, - сказал Уваров. - Тут

ничего интересного нет. Что было, то прошло. Продолжайте.

Но Кузнецову уже почти нечего было рассказывать. После исключения он не вернулся к матери в Иваново. Да, ему стыдно было возвращаться. Он поехал сначала на север и работал там на сплаве. А когда сплав кончился, перебрался в Ленинград и поступил на завод. На заводе он проработал одну зиму, потом началась война, и его мобилизовали. Он попал в батальон аэродромного обслуживания, подметал снег на аэродроме. Его узнал комиссар дивизий и помог ему вернуться в авиацию. Вот и всё.

Принят он был единогласно.

Зазвонил телефон. Проскуряков взял трубку.

- Второй эскадрилье сейчас вылетать, - сказал он.

Все высыпали из землянки. Кузнецов побежал к своему самолету, надевая шлем на бегу.

На этот раз вылетала вся эскадрилья, и вел ее Лунин. Все уже сидели в самолетах и ждали ракеты, чтобы взлететь, как вдруг к ним подбежал капитан Шахбазьян, крича:

- Кузнецову остаться! Он получит особое задание.

Эскадрилья взлетела без Кузнецова.

Лунин повел свои самолеты за Неву, на охрану наших войск от вражеских бомбардировщиков. За Невой они свернули на восток и пошли над широкой полосой освобожденной заневской земли. Несмотря на прозрачность воздуха и отличную видимость, нигде не заметили они ни одного немецкого самолета. Ладожское озеро они увидели на расстоянии чуть ли не двадцати километров. Они приближались к нему, и его бескрайная сверкающая снежная гладь с каждым мгновением становилась всё обширнее, всё необъятнее.

Пройдя над Шлиссельбургом, Лунин повел эскадрилью дальше на восток над южным берегом озера. Ему, как и всем его летчикам, хотелось своими глазами посмотреть эти места, где войска двух фронтов рвутся друг к другу навстречу, изнутри и извне кольца, пробивая брешь в осаде. Много ли им еще осталось пройти до встречи?

Самолеты шли низко, и Лунин хорошо видел всё, что происходило на земле. По дорогам, по лесам, по полям, по льду узкого Круголадожского канала к востоку двигались бойцы. Они все очень спешили, многие даже бежали. Чем дальше, тем больше было бегущих; на бегу они размахивали автоматами, винтовками, подбрасывали вверх шапки и что-то кричали. Лунин ждал, когда же он наконец увидит передний край и немцев. Но ни переднего края, ни немцев здесь не было. Вместо немцев под самолетами оказались такие же группы красноармейцев, но бегущих не с

запада на восток, а с востока на запад.

Лунин понял: оба фронта - Ленинградский и Волховский - сомкнулись, и самолеты уже летели над частями Волховского фронта. Очевидно, это случилось только что, несколько минут назад, и этим объясняется ликование всех этих десятков тысяч людей.

Лунин круто повернул эскадрилью и повел ее на запад.

Ему хотелось увидеть то место, где оба фронта встретились.

Он увидел его через несколько секунд. Под самолетами распростерлось обширное замерзшее болоте, лежащее между Синявиным и озером. Болото поросло редкими кустиками ольхи, голые прутья которой темнели на снегу и отбрасывали синеватые тени. Все людские потоки - и те, что двигались с запада, и те, что спешили с востока, - сливались, соединялись здесь. Кучки взволнованных, размахивавших руками людей стремительно увеличивались, разрастаясь. Бойцы обнимались и целовались. Несмотря на двадцатиградусный мороз, они снимали с себя шапки и подбрасывали их вверх.

Восторг бойцов передался и летчикам. Самолеты кружили и кружили над этим знаменательным местом встречи, то проносясь на бреющем над самыми кустами, то поднимаясь в сияющую высь.

Кончилось! Сорвана петля, душившая великий город. Пробиты ворота! Кроме пути через озеро, есть теперь путь и по сухой земле. Лунин вдруг заметил, что стал плохо видеть. Уж не стекло ли замерзло? Нет, стекло тут ни при чем - это слезы. Сколько мук было, сколько смертей, и вот наконец... Лунин вытер глаза кулаком в кожаной перчатке и осмотрелся.

Как знаком ему этот только что освобожденный южный берег озера, низкий и болотистый!.. Вон та дорога, бегущая через лес параллельно береговой черте, по которой он почти полтора года назад проехал в Ленинград на грузовой машине с пустой бочкой в кузове. Вероятно, они с Ховриным были тогда последними .людьми, проехавшими по этой дороге. А теперь эта дорога опять свободна, и по ней бесконечной вереницей уже движутся к городу танки, и машины, и орудия, и полки.

Вернувшись с эскадрильей на аэродром, Лунин сразу заметил самолет Кузнецова, попрежнему стоящий на линейке. Значит, Кузнецов до сих пор не вылетел и ждет задания. Захватив с собой Татаренко, Лунин направился в землянку командного пункта полка. Там были и Уваров, и Проскуряков, и Ермаков, и Шахбазьян и Тараракси н. В углу сидел Кузнецов, поджидая, когда наконец из штаба фронта сообщат, куда и зачем он должен вылететь. Они, конечно, всё уже знали.

- Видел? - спросил Уваров.

- Видел, - сказал Лунин.

Он не умел рассказывать, особенно когда был взволнован. Рассказывал Татаренко. Лицо его пылало, глаза и зубы блестели. Встреча двух фронтов, обнимающиеся и целующиеся бойцы - всё это потрясало его. Он был переполнен впечатлениями.

- Немцы контратакуют, - сказал Проскуряков. - Артиллерию подтягивают. Надеются снова прорваться к озеру.

Зазвонил телефон. Тарараксин взял трубку, выслушал, потом передал Кузнецову приказание немедленно вылететь и определить расположение немецких батарей к югу от нашего прорыва.

Кузнецов встал.

- Разрешите идти, товарищ полковой комиссар? - спросил он Уварова.

- Идите.

Уже через две минуты капитан Шахбазьян связался с Кузнецовым по радио.

- Взлетаю, взлетаю, - отчетливо прозвучал в землянке голос Кузнецова, вырвавшийся из репродуктора.

Еще через несколько минут он сообщил номер квадрата, над которым он находится и ведет наблюдение.

- Там зенитки с ума сходят, - проговорил Проскуряков, - бьют как бешеные. Самое пекло.

- Батарея на берегу ручья, у двухэтажного дома, - раздался голос Кузнецова.

Шахбазьян записал и поставил крестик на карте. Потом спросил:

- Как зенитки?

- Всё нормально, товарищ капитан... - ответил Кузнецов. - Батарея у школы справа.

- Раз он говорит, что нормально, значит, бьют по нему вовсю, - сказал Проскуряков шёпотом.

- Батарея на левом берегу ручья возле моста, - передал Кузнецов.

Шахбазьян записал и отметил на карте.

- Батарея на южном склоне высоты сто шестнадцать... Два орудия в ста метрах левее фабрики...

Шахбазьян записывал и отмечал.

- Квадрат пять. Очень крупная батарея. Ведет огонь в направлении на северо-запад...

Кузнецов замолчал. Тишина длилась долго. Потом все в землянке ясно расслышали, как Кузнецов произнес:

- Сволочи...

И не то вздох, не то стон...

Проскуряков шагнул к микрофону, оттеснил Шахбазьяна и закричал:

- Что случилось, Кузнецов? Что случилось?

- Товарищ командир полка... - хрипло и глухо проговорил Кузнецов. Две батареи за станцией у водокачки... ведут огонь...

Голос его оборвался, Потом почти шёпотом он произнес:

- Прощайте...

Татаренко, бледный, вскочил, опрокинув скамейку. Стоя рядом с Проскуряковым у микрофона, он кричал:

- Антон! Антон! Антон!

Но докричаться было невозможно.

Первым опомнился Шахбазьян.

- Данные разведки нужно передать в штаб фронта, - сказал он.

И двинулся к телефону.

- Я передам сам, - вдруг проговорил Уваров и взял со стола лист, на котором Шахбазьян делал записи. Тарараксин соединил его со штабом фронта.

- Генерал слушает, - сказал он, передавая Уварову телефонную трубку.

Уваров неторопливо перечислил генералу-артиллеристу все места, где были расположены немецкие батареи.

- Данные точные, - сказал он в заключение. - Их сообщил гвардии младший лейтенант Кузнецов.

- Хорошо, - ответил генерал. - Мы сейчас дадим по этим батареям.

- И покрепче, покрепче! - закричал Уваров, сжимая трубку в кулаке. Эти данные Кузнецов передал, умирая. Три минуты назад его убили в районе цели. Понимаете, товарищ генерал?

- Понимаю... - ответил генерал.

Уваров и Лунин вместе вышли из землянки. Пронизанный солнцем холодный безветренный воздух вздрагивал от тяжелого гула. Это наша артиллерия била по немецким батареям, указанным Кузнецовым.

Уваров и Лунин прошли через весь аэродром до старта, не сказав друг другу ни слова.

Лунину предстоял новый вылет.

И только у своего самолета он выговорил:

- Иван Иваныч, вы дали бы мне рекомендацию в партию?

Уваров внимательно посмотрел на него.

- Разумеется, дам, - сказал он.

5.

Вскоре после прорыва блокады полк торжественно отмечал

годовщину того дня, когда ему было вручено гвардейское знамя. К этой годовщине готовились долго и ждали ее с нетерпением.

Среди летчиков полка было всего несколько человек, которые год назад, преклонив колена перед знаменем, в первый раз произнесли гвардейскую клятву. Остальные знали об этом событии только по преданию и говорили о нем так, словно оно совершилось очень давно, в глубокой древности. Минувший год, полный событий, казался им длиннее столетия. Они провели в полку всего несколько месяцев, но их никто уже не считал молодыми летчиками. Они срослись с полком, были его неотъемлемой частью, они обладали уже богатейшим боевым опытом, который стал достоянием полка. Слова гвардейской клятвы они знали наизусть и завоевали право произносить их. И решено было, что в день годовщины вручения гвардейского знамени весь полк повторит свою клятву.

Случайно вышло так, что именно в этот день Соня впервые приехала навестить Славу. Слава давно уже сговорился с ней о приезде и с утра встречал ее на трамвайной остановке. Пригласить к себе сестру разрешил ему сам командир полка, а пропуска ей никакого не требовалось, так как посторонним воспрещался вход лишь на обнесенное проволокой лётное поле, в дачный же поселок, где жили летчики, каждый мог войти свободно.

Соня решилась приехать к Славе только после долгих колебаний, очень его удививших и даже рассердивших. Он никак не мог понять, отчего она колеблется, а между тем дело обстояло просто: ей не во что было одеться. На работу она ходила всё в том же комбинезоне, надев под него фуфайку, а сверху накинув свое пальтишко с короткими рукавами и засунув ноги в валенки. Из всех своих вещей, сшитых когда-то мамой, она окончательно выросла, а для маминых вещей была слишком худа: мамины юбки сваливались с нее. И обуться было не во что, и все чулки штопаны-перештопаны. Ничего не объясняя Славе, она совсем уже было решила не ехать. Но девушки из ее бригады, узнав, потребовали, чтобы она поехала непременно. Одна дала Соне кофту, другая - юбку, третья - туфли, и так, совместными усилиями, они снарядили ее в путь.

Мороз в этот день был особенно сильный, и Соня жестоко замерзла в трамвае. Но еще больше замерз Слава, поджидавший ее на последней трамвайной остановке. Встретившись, они, чтобы отогреться, сразу побежали и бежали, не останавливаясь, до самого дачного поселка, в котором жили летчики.

В поселке Соня вдруг оробела.

- Ой, Славка, посидим где-нибудь вдвоем! - попросила она. -

Ты лучше никому меня не показывай.

- Ну, вот еще! - сказал Слава. - Как же не показывать? Я уже всех предупредил.

Прежде всего он повел ее в тот домик, где жил сам вместе с Луниным. В сенях их встретил Хромых с веником в руках.

- Гвардий майор дома? - спросил Слава.

- Нет, на аэродроме, - ответил Хромых.

- Давно ушел?

- Недавно.

- Я тебе говорил: приезжай пораньше, - обернулся Слава к Соне. - А теперь, конечно, все на аэродроме. Скоро будет построение и клятва... Тебя на построение не пустят, а без тебя, конечно, я не пойду, - прибавил он, причем голос его выражал одновременно и готовность принести жертву ради Сони и сожаление. - А это - наш Хромых. Познакомься.

Соня сняла варежку и протянула руку. Чтобы пожать ее, Хромых переложил веник из правой руки в левую.

- Это моя сестра, - объяснил Слава.

- Внжу, вижу, - сказал Хромых.

- Та самая, про которую я говорил.

- Вижу. Пойдите погрейтесь.

По короткому темному коридору Слава повел Соню в ту комнату, где жил вместе с Луниным.

- Это летчик? - шёпотом спросила Соня, схватив Славу за плечо.

- Хромых? Нет, это вестовой Константина Игнатьича. Замечательный дядька! Он еще у Рассохина вестовым был.

Слава и Лунин жили в маленькой чистой комнате с крашеным полом, низким дощатым потолком и маленьким замерзшим окошком. Две железные койки, аккуратно заправленные, стол у окна, два стула.

- Раздевайся, здесь тепло, - сказал Слава. - Вот тут сплю я, а тут Константин Игнатьич.

Соня развязала свой шерстяной платок, расстегнула пальто и села на стул, осматриваясь. Вот уж не ожидала она, что военные люди так живут! В той комнате, где она обычно ночевала вместе с девушками из своей бригады, не было такой чистоты.

- Это тот у вас убирает? - спросила она, вспомнив веник в руках у Хромых.

- Ну нет! - сказал Слава. - Хромых подметает только крыльцо и сени. Константин Игнатьич знаешь какой чудной - он никому не позволяет за собой убирать. Он свою койку заправляет, а я свою. Если Хромых тут станет подметать, он на него рассердится. Он только мне позволяет, потому что я ведь здесь живу. Я и печку

топлю и подметаю. Не могу же я допустить, чтобы он сам подметал! Он ведь, как-никак, командир эскадрильи.

- Это очень хорошо, если ты только не врешь, - одобрила Соня. - Он не женатый?

- Не женатый.

- Вот оттого он и научился сам за собой убирать.

Они обогрелись, и Слава стал уговаривать Соню пойти в кубрик к летчикам. Может быть, они там случайно кого-нибудь застанут. Соня уверяла, что ей и здесь хорошо. Она нашла на столе тетрадки, по которым Слава занимался с Деевым, стала перелистывать их и комментировать не слишком лестным для Славы образом. Однако это только усилило стремление Славы увести ее отсюда.

- Ты у нас в гостях, - сказал он, - и должна всё делать по-нашему, а не по-своему.

Через несколько минут они поднимались на крыльцо кубрика летчиков второй эскадрильи. На крыльце Соня совсем заробела. Остановившись, она шепнула:

- Ты один зайди, а я здесь подожду.

Слава вбежал в кубрик, сразу вернулся и объявил, что там никого нет.

- Заходи, я тебе покажу, как они живут.

Осторожно, стараясь не стучать ногами и не хлопать дверьми, Соня вошла в кубрик.

- Здесь они спят? - спросила она удивленно.

- А где же? Конечно, здесь, - ответил Слава, не понимая ее удивления.

Она сама не могла бы объяснить, чему удивилась. Просто она не так себе всё представляла. Мирные кровати с белыми подушками, с чистыми полотенцами на спинках. Тумбочки, на которых разложены коробки с зубным порошком, фотографии, книжки, даже зеркальца, даже катушки ниток. Потертые сундучки, чемоданчики, перевязанные ремнями, веревками. На столе в ящике - детская игра "домино". И нигде никакого оружия, ничего военного. А ведь они мужчины, воины, бойцы!

Она осторожно подошла к "Боевому листку", висевшему на стенке. Под печатным заголовком было крупными буквами от руки написано, что гвардии младшему лейтенанту Кузнецову Антону Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

- Ты мне его покажешь? - спросила Соня.

- Нет.

- Почему?

- Он после смерти получил Героя. Это называется: присвоено посмертно.

Тут только она обратила, внимание на черную кайму, окружавшую весь "Боевой листок", и на заголовок статьи - "Памяти друга".

- Он здесь жил?..

- Вот его койка.

Соня, оказывается, стояла возле самой койки Кузнецова.

- А кто здесь теперь спит?

- Пока никто.

Потрясенная, примолкшая, Соня вслед за Славой вышла из кубрика"

На улице поселка они встретили Ермакова, торопливо шагавшего к аэродрому. Слава вытянулся перед ним и отрапортовал:

- Товарищ комиссар, разрешите доложить: вот моя сестра.

Ермаков пожал Соне руку, внимательно вглядываясь ей в лицо.

- Вы не сейчас уедете? - спросил он, улыбаясь. - Извините, я очень спешу. Мы еще сегодня с вами потолкуем. А пока пойдите пообедайте.

На листке блокнота он написал записку в лётную столовую. Дал ее Славе, кивнул Соне головой и ушел.

Славе не часто случалось обедать в лётной столовой, обычно он обедал с бойцами батальона.

- Пойдем, пойдем, нас там Хильда накормит, - торопил он Соню, дергая ее за рукав.

Соня от застенчивости колебалась.

- Но я совсем не хочу есть, - соврала она.

- Глупости! Идем. Летчикам всегда на второе котлеты дают.

Столовая техников была в первом этаже, столовая летчиков - во втором. Слава и Соня поднялись по деревянной лестнице. В лётной столовой никого не было, кроме Хильды.

- Хильда, вот моя сестра!

Хильда кивнула головой и улыбнулась. Она усадила их за угловой столик и принесла им щей.

- Какая красивая! - шепнула Соня, когда Хильда вышла. - Здесь у вас, наверно, в нее все влюблены.

Слава удивился. Он никогда не задумывался над тем, красива ли Хильда, или нет.

- Никто в нее не влюблен, - сказал он. - Она сама по Илюше Татаренко сохнет.

- Откуда ты знаешь?

- Это все знают, - уверенно сказал Слава, кладя в щи горчицу, как взрослый мужчина.

- А он как? Любит ее?

- И не смотрит.

- Это очень плохо с его стороны, - сказала Соня.- Она красавица, и он должен ее полюбить.

Хильда принесла им второе и отошла к окну. Обычно через это окно виден был аэродром, но теперь окно замерзло до половины, и Хильде, чтобы видеть что-нибудь, приходилось подниматься на носки. Еще две девушки выглянули из дверей кухни.

- Уже? - спросили они Хильду.

Хильда кивнула им. Они подбежали к окну, вытянулись сколько могли, но ничего не увидели, так как были ниже Хильды ростом. Тогда они влезли на подоконник. Хильда, поколебавшись, тоже влезла на подоконник.

- Начинается! - сказал Слава.

Набив рот котлетой, он подскочил к окну и просунул голову между ними. Но ничего не увидел. Тогда он кинулся к Соне:

- Слушай, Соня, посиди здесь... Я не могу, нельзя же пропустить: это только раз в год бывает... Я сбегаю и сейчас вернусь...

- А как же я одна? - испугалась Соня.

- Ты посиди тут. Тебе никто ничего не сделает. Вот Хильда...

- Нет, Слава, это нехорошо... Ведь я ж к тебе приехала...

-Я вернусь, и все сюда придут... Ну, не сердись...ну, я очень скоро...

И Слава слетел по лестнице вниз.

А полк уже стоял в строю. Огромное морозное солнце сверкало над аэродромом. Все три эскадрильи, разделенные двумя равными промежутками, отчетливо темнели на снегу. В

задних рядах - техники, в передних - летчики. Брови их поседели от мороза. Пар вился из их ртов.

И вот наконец наступила долгожданная минута. Проскуряков принял знамя из рук знаменосца и опустился на одно колено. И весь полк - легким, сильным, дружным движением - опустился на колени.

И, как год назад, Проскуряков произнес:

- Родина, слушай нас! Сегодня мы приносим тебе святую клятву верности...

У Лунина, стоявшего на коленях впереди своей эскадрильи, при этих словах дрогнуло сердце. Он не видел своих летчиков, но слышал, как они твердо, раздельно, ясно повторяли слова клятвы вслед за Проскуряковым. Лунин приносил эту клятву Родине вторично, а они - впервые. И по напряжению, по легкой дрожи их молодых звонких голосов он с радостью чувствовал, что для них клятва значит не меньше, чем для него.

- Красное знамя советской гвардии мы пронесем сквозь бурю Отечественной войны к светлому Дню Победы! - страстно и сурово повторил коленопреклоненный полк вслед за своим командиром, и слово "победа" прозвучало в морозном воздухе грозно.

Они уже знали, что такое победа. Это уже не была только мечта, только надежда, только предвидение, только желание. Они уже повидали ее, они уже побеждали и сами. В нескольких километрах от них лежал огромный и славный город, с которого только что была сорвана петля осады. Победа!

Еще враг силен и самонадеян, он еще в Крыму, на Украине, в Белоруссии. Несмотря на прорыв в кольце осады Ленинграда, он с юго-запада попрежнему стоит вплотную к городу, он попрежнему ежедневно обстреливает город из тяжелых орудий. Какой еще огромный путь надо пройти, сколько жертв принести, как много предстоит еще сделать!

Но победа будет. Этот светлый день настанет. Уже заря его забрезжила на краю неба.

Великий перелом уже совершался.

- Полк! Под знамя! Смирно!

## Глава тринадцатая.

## Битва над морем

### 1.

За обедом Соня познакомилась со всеми Славиными летчиками.

Когда летчики гурьбой вошли в столовую, Соня засмущалась и хотела уйти, но ее удержали почти силой. Обед был праздничный, с мясным пирогом, и ее заставили съесть большой

кусок, хотя она уже пообедала. После обеда в столовой неожиданно появился Уваров и, увидев Соню, сказал:

- А, знакомая!

Он произнес небольшую речь о гвардейском знамени, очень хорошо и торжественно, а потом отодвинули столы, молодой краснофлотец заиграл на аккордеоне, и начались танцы. Летчики были в синих морских кителях, в отутюженных черных брюках, в начищенных ботинках; золотые пуговицы, нашивки, ордена (у всех были ордена!)! сверкали. Молодой человек, которого Соня считала тоже летчиком, но который потом оказался доктором, принес патефон, и стало еще веселее.

Соню упорно уговаривали танцевать, но она с таким же упорством отказывалась, уверяя, что танцевать не умеет. Это была правда: она танцевала немного до войны в школе с девочками из своего класса, но что это были за танцы и сколько времени прошло с тех пор! Особенно уговаривал Соню танцевать маленький забавный летчик Карякин, который очень понравился Соне своей лихой, бесшабашной веселостью. Он вприсядку ходил вокруг Сони, звонко щелкал пальцами, хватал Соню за руки и вытаскивал на середину комнаты, но она вырывалась и, смеясь, конфузливо убегала в угол.

Кроме Сони, там было еще несколько девушек. Одеты они были ничуть не наряднее Сони, и Соню это отчасти утешало. Все они танцевали, и лучше всех танцевала Хильда, подавальщица из столовой. Соня в тот вечер не переставала удивляться красоте Хильды, - таких красавиц, как Хильда, она до сих пор видела только на картинках. Разве можно сравнить с нею Красивую Нюру из комсомольской бригады!

Был здесь и Лунин. Он, конечно, не танцевал. Он стоял в стороне, среди людей постарше, но Соня не раз ловила на себе его ласковый, внимательный взгляд. Он улыбался ей ободряюще, и она улыбалась ему в ответ.

Один летчик - высокий, черноволосый, с очень белыми зубами - стоял возле Сони и всё поглядывал на нее. Соня перешла в другой угол комнаты, но тот летчик попрежнему продолжал поглядывать на нее. Скоро он опять подошел к ней. Он, кажется, робел и не решался с нею заговорить.

- А вы отчего не танцуете? - спросила она.

- Не умею.

- Не умеете, как я?

- Еще больше не умею, чем вы, - ответил он.

Ей показалось это очень смешным.

- Откуда вы знаете, кто из нас больше не умеет? - спросила она.

- А вот увидите. Давайте проверим, - предложил он.

Она не успела отказаться. Он осторожно положил руку ей на талию, и они неуверенно и смущенно закружились в вальсе.

- Я знаю, вас зовут Соней, - сказал он.

- Правильно, - ответила она, глядя в его порозовевшее лицо. - А вас как?

- А меня Ильей.

- Вы Татаренко?

- Татаренко.

- Я вас совсем не таким представляла.

- А каким же?

- Не знаю... Я.думала, вы меньше, моложе... вроде Славки. Он о вас рассказывал, как о своем приятеле.

- Это верно, мы с ним приятели.

Соня протанцевала с Татаренко весь тот вечер. Никогда еще в жизни ей не было так весело. Осмелев, они стали танцевать все танцы, и, кажется, у них выходило не хуже, чем у других. Соня забыла обо всем и никого уже не замечала. Только раза два поймала на себе взгляд Лунина. Лунин поглядывал на нее как-то грустно, и это отчего-то на мгновение смущало ее. Но, кружась и прыгая, она сразу же забывала и о его взглядах и о своем смущении.

Опомнилась она лишь тогда, когда Илюшу Татаренко окликнул кто-то из товарищей и он впервые за вечер отошел от нее. Оказалось, что Слава уже давно отправился спать. Соня спохватилась - ей пора домой! У нее нет ночного пропуска, и скоро перестанут ходить трамваи. Она кинулась в прихожую разыскивать свое пальто.

В прихожей она столкнулась с Луниным.

- Вас надо проводить и посадить в трамвай, - сказал он. - Я сейчас надену шинель...

- Что вы, что вы, Константин Игнатьич! Я сама дойду, сама...

В прихожую вбежал Татаренко. Он остановился, глядя на Соню и Лунина.

Лунин, уже снявший свою шинель с вешалки, взглянул на него, улыбнулся и повесил шинель обратно на крюк.

- Проводите ее, Илья, - сказал он.

- Товарищ гвардии майор!..

Но Лунин уже ушел. Татаренко шинели своей искать не стал и даже шапки не надел. Соня ужаснулась:

- Вы замерзнете! Страшный мороз!

Но он уверял, что ему не бывает холодно и что никакого мороза нет. Действительно, на дворе несколько потеплело, пошел снежок. Где-то за тучами плыла луна, и при ее рассеянном свете

были заметны снежинки, застрявшие в черных кудрях Татаренко. До самой трамвайной остановки они бежали и смеялись. Но когда Соня вошла в вагон и остановилась на площадке, озаренная голубым светом электрической лампочки, он умолк и загрустил.

Вагон дернулся.

- До свидания, - сказал Татаренко.

- До свидания, - сказала Соня и замахала ему рукой в варежке.

Он исчез сзади во мраке. Она осталась на площадке: ей приятен был ветер, и никого не хотелось видеть. Вагон, гремя, шел всё быстрей и быстрей. И вдруг Соня услышала чьи-то звонкие, быстрые, сильные шаги: кто-то бежал за вагоном. Да ведь это он! Ухватясь рукой за медный поручень, Татаренко на всем ходу вскочил на подножку.

- Так можно убиться! - воскликнула она.

- Я хотел еще раз сказать "до свидания".

Ночные улицы были пустынны, и трамвай летел со всей скоростью, на какую был способен.

- Не смейте прыгать! - крикнула она. - Здесь очень скользко. Доедемте до остановки!

Но он уже спрыгнул и пропал.

* * *

Соня достигла больших успехов в автогенной сварке. Неожиданно для нее самой оказалось, что она владеет профессией, притом профессией весьма уважаемой, в которой, к тому же, большая нужда. Благодаря этой профессии никто уже не относился к ней, как к ребенку. В районе ее знали и считали опытной, старой сварщицей. Пожилые мужчины и женщины советовались с ней, как со специалистом, как с мастером.

Комсомольская бригада, в которой Соня начала работать, уже не существовала. Несмотря на то, что в кольце блокады была пробита лишь узкая брешь и враг попрежнему стоял у самой городской черты, несмотря на всё усиливавшиеся артиллерийские обстрелы, в городе с каждым днем оживали всё новые промышленные предприятия. Вдоль южного берега Ладожского озера, в нескольких километрах от передовой, проложили железную дорогу, и по ней двинулись в город составы с продовольствием и топливом. Сквозь эту же пробитую зимой узкую брешь по заново проведенной линии высоковольтной передачи в город пришел волховский ток. Враг был еще в нескольких километрах от центра города, а город уже жил размеренной трудовой жизнью, дымили трубы, гремели станки. И девушки из комсомольской бригады ушли в мастерские, на заводы, на фабрики.

Но райсовет не отпустил Соню ни на завод, ни на фабрику. В районе надо было восстанавливать водопровод, канализацию, отопительные системы, укреплять железные балки перекрытий, и всюду нужна была сварка. Вместе с группой слесарей, водопроводчиков, кровельщиков Соня работала по заданиям райсовета. Все эти слесари, водопроводчики, кровельщики были девушки чуть постарше Сони и мальчики чуть помоложе ее. И среди них Соня пользовалась особым почетом, потому что сварщик - это человек, имеющий дело со сложной аппаратурой, не то что просто водопроводчик или кровельщик.

Работать им приходилось очень много - от зари до зари, без выходных дней. Но они трудились с увлечением и жаром молодости. Труд радовал их, потому что польза, которую они приносили, была несомненна и наглядна. Они ликовали, когда в результате нескольких недель их упорного труда, поисков, сомнений, размышлений, надежд в целом блоке громадных опустелых зданий вода начинала подниматься по трубам. Какое счастье делать мертвое живым, разрушенное заставлять снова служить людям!

Чем дольше занималась Соня сваркой, тем больше она ею увлекалась. Вначале увлечение ее было внешним: очки, огненные брызги, таинственный голубоватый свет. Но, работая, она мало-помалу знакомилась с металлом, и оказалось, что металл куда занимательнее и огненных брызг и голубоватого света. Ничего она прежде не знала о металле, не догадывалась, как он разнообразен и многосложен. Неподатливый, твердый, тяжелый, он и мягок, и гибок, и послушен, если знать его тайны. Тайн его Соня не знала; у нее было только несколько элементарных практических навыков. А ведь существует огромная область человеческой деятельности - металлургия. Вот что следует изучать. Нужно посвятить металлам всю свою жизнь, как дедушка посвятил всю свою жизнь рекам и озерам.

- Тебе пока ничего не надо решать, - сказала Антонина Трофимовна. Тебе надо сначала школу кончить. Верно, прошлый год было не до школы. Но то время прошло, теперь даже твой Славка учится.

- Да ведь я на работе, Антонина Трофимовна. Разве можно сейчас работу бросить?..

- Надо подумать, - сказала Антонина Трофимовна. - Что-нибудь выдумаем. Я поговорю...

Антонина Трофимовна продолжала работать в райкоме партии, и отношения между нею и Соней оставались такие же, как были в бригаде. Соня при всякой возможности забегала к ней в кабинет поговорить. Иногда она встречалась там со своими

подругами по бригаде, которые, подобно ей самой, никак не могли отвыкнуть решительно всё выкладывать Антонине Трофимовне.

Прошло несколько дней, и Антонина Трофимовна сказала Соне:

- Ну вот. Сама заниматься сможешь?

И, не дожидаясь ответа, продолжала:

- Дети не умеют сами заниматься. Это только взрослые умеют, и то далеко не все. Большая воля нужна. Будешь работать и учиться. Можешь подготовиться сама? Сдать за десятый класс?

- А как же время?

- Время тебе дадут, я договорилась и за этим прослежу.

- Вот математика... Мне трудно будет самой в математике разобраться...

- Какой же ты без математики металлург?.. Ну, разобраться в математике я тебе помогу. Перед войной я у нас на ниточной фабрике трех девочек по алгебре подготовила. Сдали за десять классов... Будешь забегать ко мне. Если днем буду занята, вечером придешь, после десяти...

Так Соня стала учиться. Антонина Трофимовна помогла Соне достать учебники и составила для нее программу занятий. К программе был приложен ею же составленный подробный график - сроки, к которым Соня должна была овладеть отдельными частями программы. И Сонина жизнь была поделена теперь между сваркой и учебниками.

Ей постоянно не хватало времени, особенно вначале. Люди, распоряжавшиеся ею, сочувствовали ее стремлению учиться и хотели бы ей пойти навстречу, но работа ее была необходима району.

После неоднократного вмешательства Антонины Трофимовны в конце концов пришли к такому решению: Соня найдет и обучит для себя сменщицу, и когда та овладеет мастерством автогенной сварки, они будут работать поочередно.

Во время работы у Сони всегда была какая-нибудь помощница. Порой ей давали даже двух помощниц, и Соня чувствовала себя настоящей начальницей. Когда-то Соня была сама помощницей у того мальчишки, который научил ее искусству сварки, и, помня о нем, всегда старалась передать своим помощницам все свои знания и навыки.

С помощницами ей долго не везло. Сначала ей попадались девушки, которые нисколько сваркой не интересовались и испытывали непонятный ужас перед горелкой сварочного аппарата. Но потом Соне стала помогать девушка ее лет, которую звали Тонечкой. Шутили, что она Тонечка потому, что такая

тоненькая. Она действительно была необычайно тонка, невелика ростом и на вид казалась двенадцатилетней. Следы долгого голодания лежали на ее маленьком бескровном личике, - она больше полугода пролежала в постели, и все считали, что она уже больше не встанет. Но она встала, поступила на работу, и ее тоненькие, детские ручки оказались на редкость проворными и цепкими. Сварку она считала благородным, увлекательным занятием. Она с радостью и благодарностью согласилась учиться, чтобы стать Сониной сменщицей.

Учить Тонечку Соне пришлось в условиях довольно трудных: они работали в деревянной люльке, подвешенной снизу к арке моста, поврежденного немецким снарядом. Люльку раскачивало ветром, под нею стремительно проносились стрижи; река внизу, только что освободившаяся ото льда, казалась глубокой, бездонной. У Сони кружилась голова, мутнело в глазах, ее безотчетно страшила пустота под тонкими досками, на которых она находилась вместе со своим громоздким, тяжелым аппаратом. Сонин голос срывался, движения становились неуверенными, мысли разбегались; а между тем нужно было работать и всё объяснять Тонечке и, главное, не обнаружить перед нею своего страха, потому что Тонечка оказалась совершенно бесстрашной:, опускалась в люльку с моста по канату и сидела свесив ноги вниз, в бездну.

"А ведь под летчиками в небе бездна куда глубже, - думала Соня, чтобы придать себе мужества. - И летают летчики всё больше над морем..."

С тех пор как она побывала на полковом празднике по случаю гвардейской годовщины, летчики постоянно приходили ей на ум. Где бы она ни была, что бы она ни видела, получалось как-то так, что она начинала думать о летчиках. Это делалось само собой, против ее воли.

С Татаренко она продолжала иногда встречаться. Раза два приезжала она на аэродром проведать Славу, и Татаренко, услышав о ее приезде, забегал, чтобы с ней поздороваться. Но на аэродроме Татаренко всегда бывал очень занят, и ему удавалось провести с ней всего несколько минут. На более продолжительное время они встречались в городе.

Началось с того, что однажды в середине мая Илюшу Татаренко к ней завез Лунин.

Они явились к концу дня, когда Соня, только что пообедавшая в райсоветовской столовой, вернулась домой и, разложив на кухонном столе свои учебники и тетрадки, села заниматься. Тонечка уже настолько овладела искусством сварки, что ей можно было доверить аппаратуру. Теперь они работали

поочередно: Соня - с утра до обеда, Тонечка - с обеда до вечера. Соня решила посидеть за учебниками до поздней ночи, - у нее точно было намечено, сколько надо выучить за сегодняшний вечер. Но, услышав звонок, открыв дверь и увидев на пороге Лунина и Татаренко, она сразу забыла о своем решении.

Лунин приехал в город по делу: инженер полка повез его на склад показать некоторые новые приборы, которые он собирался установить в кабинах самолетов. Татаренко попросился с ним: во-первых, его тоже интересовали приборы, а во-вторых, ему хотелось побывать в городе. Он уже несколько месяцев жил под самым Ленинградом, а совсем не знал его и почти не видел.

До склада, расположенного на Васильевском острове возле гавани, они доехали на легковой машине штаба полка. Осмотрев приборы, они разделились: инженер уехал на машине по своим делам, а Лунин и Татаренко отправились гулять по городу. Решено было, что инженер заедет за ними вечером.

- Ничего я не могу ему показать, потому что сам ничего не знаю, говорил Соне Лунин. - Какой я ленинградец? Может быть, вы ему покажете, если у вас есть время. А я немного у вас отдохну.

Он стал рассказывать ей о Славе, а Татаренко тем временем робко озирался. Книги в кабинете произвели на него большое впечатление. Целая стена книг от пола до потолка.

- Это ваши книги? - спросил он Соню.

- Папины, - ответила она.

Он с уважением смотрел на полки. Никогда еще ему не приходилось видеть, чтобы столько книг принадлежало одному человеку.

Соня знала и любила Ленинград, но ни разу еще не казался он ей таким неслыханно прекрасным, как в тот прохладный ясный вечер, когда она впервые водила за собой Илюшу Татаренко по мостам, садам и набережным. И действительно, вряд ли Ленинград в какую-нибудь другую эпоху своего существования был так прекрасен, как в мае 1943 года. Стоящий между водами и небесами, омываемый двойными зорями белых ночей, суровый, сказочно пустынный, он весь блистал торжественным великолепием победы. Он был победитель, и отсвет победы лежал на каждом его камне, отражался в каждом осколке стекла его выбитых окон, озарял лица редких прохожих. Девичьи каблуки отстукивали по тротуарам: "победа, победа", а снова уже игравшие в скверах дети с надменными лицами победителей презрительно морщились, когда над ними пролетал немецкий снаряд. И зелень недавно распустившихся садов и парков никогда не бывала еще такой пышной; свежая, нежная,

буйная, лезла она повсюду из земли, плеща кудрявыми волнами в камни домов и дворцов, словно каждая травинка, каждая ветка, наливаясь силой, стремилась выразить победу правды над ложью, жизни над смертью.

Соня показала Татаренко университет, Биржу, ростры, Адмиралтейство. Фасад Адмиралтейства, обращенный к саду, был весь в бесчисленных шрамах от шрапнельных осколков, но в этих шрамах ласточки уже лепили свои гнёзда, носясь высоко над деревьями, как движущаяся сеть. Соня показала Татаренко Зимний дворец, вывела его на Дворцовую площадь, к Александрийскому столпу, и он долго смотрел на могучее полукружие здания Главного штаба.

- Вот отсюда и начался в семнадцатом штурм Зимнего дворца?

- Вот отсюда и начался.

- А "Аврора" где стояла?

- А "Аврора" стояла вон там.

Ступени Зимнего дворца были разбиты снарядом, и снарядом был исковеркан один из титанов, поддерживающих портик над входом в Эрмитаж. Соня показала Татаренко Зимнюю канавку, Марсово поле, могилы жертв революции, Инженерный замок, в котором задушили императора Павла, Петровский домик в Летнем саду. Татаренко слушал ее, не отрывая от нее глаз. Какая легкая у нее походка! Он следил за каждым изгибом ее бровей, за каждым взмахом ее ресниц, за каждым движением ее плеч, за каждым звуком ее голоса. Его поразило, как много она знает. Он тоже интересовался историей, но знал гораздо меньше, чем она. В царях он путался. Которая Екатерина была женой Петра Первого? Чей сын был Павел?

Иногда-она задавала ему вопросы о полетах и воздушных боях, но он отвечал неопределенно и неохотно: "Да, летаем... да, случаются бои". Ему, видимо, хотелось слушать, а не говорить. И только уже на обратном пути через мост, когда она обратила его внимание на закат, охвативший всю северную часть неба, вдруг сказал:

- Эх, разве такие закаты мы видим!..

- Где? Когда?

- Когда летаем. На высоте восьми тысяч метров, например. Весь мир пожар, и ты летишь сквозь пламя. Вот бы вам повидать!

Было уже поздно, и.когда они вернулись на квартиру, оказалось, что Лунин, не дождавшись Татаренко, уехал. Вероятно, за ним заезжал инженер. Татаренко заторопился, боясь опоздать к трамваю.

- Приезжайте к нам, - сказал он Соне.

- Лучше вы приезжайте.

- Я приеду, но не знаю когда. Полетов много. Вот как-нибудь выпадет денек потише, и я отпрошусь у гвардии майора.

- У Константина Игнатьича?

Татаренко кивнул.

- Вы любите его? - спросила Соня. - Он хороший?

- Ну! - воскликнул Татаренко с жаром. - Лучше не бывает!

- Я сама знаю, что он замечательный, - сказала Соня. - Он отнесся к Славе, как замечательный человек.

С тех пор Татаренко стал время от времени заезжать к Соне - раз в полторы, две недели, к концу дня. Он не мог предупредить ее заранее и всегда появлялся неожиданно, но заставал ее дома, потому что в эти часы она постоянно сидела за книжками. Услышав звонок, она открывала ему дверь, и лицо ее расцветало. Они немедленно уходили бродить по городу.

Это было время белых ночей, и всякий раз солнце заходило всё позже, а закат был пышнее. Для прогулок они выбирали всё новые места и мало-помалу обошли чуть ли не весь город - от порта до Лесного. Они говорили о зданиях, об истории, о театрах, о книгах. Он особенно интересовался Лениным и событиями Октябрьской революции, и она показала ему и площадь перед Финляндским вокзалом, где Ленин, приехав, говорил с народом, стоя на броневике, и улицу на Петроградской стороне, где он жил в семнадцатом году, и дворец Кшесинской, с балкона которого он столько раз выступал, и Смольный.

В театрах Соня бывала гораздо чаще, чем Татаренко, и больше, чем он, прочитала книг. Во время прогулок она подолгу, со всеми подробностями, рассказывала ему содержание пьес, описывала постановки, и он внимательно слушал ее. К ее начитанности он испытывал огромное уважение. Однако самолюбие его, очевидно, страдало: он не любил, чтобы его опережали. Когда она называла какую-нибудь книгу, которую он не читал, он записывал в блокнот автора и заглавие и, плотно сжав губы, говорил:

- Прочту!

Однажды во второй половине июня, гуляя по островам, совсем безлюдным и заросшим пышной, густой, одичалой влажной зеленью, они на одной из проток Невской дельты обнаружили маленькую лодочную станцию. Оказалось, что лодки эти предназначались для отдыха офицеров. Татаренко был лейтенантом, - и он и его товарищи стали лейтенантами сразу после прорыва блокады. Новые золотые погоны с голубым просветом, недавно введенные и очень ему шедшие, сверкали на плечах его синего кителя. Однако не без робости обратился он к

старшине, который ведал лодочной станцией, и попросил у него лодку. Старшина вынес им вёсла, уключины, и они отправились в плавание.

Татаренко греб, а Соня правила. Они двинулись между островами, из протоки в протоку, стараясь выбирать самые глухие и узкие. Многоцветное вечернее небо отражалось в воде, ветки кустов свисали над лодкой. Внезапно над ними низко-низко пронеслась шестерка самолетов-штурмовиков с красными звездами на крыльях.

- Пошли штурмовать немецкие батареи в Стрельне, - сказал Татаренко, вслушиваясь в их замирающий гул.

От Невской дельты, где они находились, до Стрельны было всего несколько километров, и в безветренном воздухе они отчетливо услышали, как началась штурмовка. Гремели взрывы, трещали, захлебываясь, немецкие зенитки. Затем штурмовики опять прошли над их лодкой - в обратном направлении.

Мало-помалу по одной из Невок лодка добралась до моря. Огромный, занимавший полнеба закат висел над гладкой, как стекло, водой Маркизовой лужи и отражался в ней. Соня вдруг рассмеялась.

- Я подумала: если бы из этого заката сшить платье!..- сказала она. Правда, глупо? Но всё-таки вот было бы платье!

Он ласково усмехнулся.

- Вам весело? - спросил он.

- Мне? Весело. А вам?

- Тоже весело, - сказал он. - Нет, не очень...

- Почему - не очень?

- Потому что мы отсюда уходим.

Соня не поняла:

- Кто? Вы? Откуда уходите? Куда?

Он объяснил, что уходит их эскадрилья. Когда - неизвестно, но безусловно скоро. Куда - тоже неизвестно.

- Далеко? - спросила она.

- Может быть, и не так уж далеко, - ответил он, - но в городе, наверно, бывать не придется.

Она сразу поняла значение этих слов: встречам их приходит конец. Предстоит разлука, и на какой срок - неизвестно. О своих отношениях они еще никогда ничего не говорили, даже коснуться этой темы они не осмеливались. Но Сонина веселость исчезла; она призадумалась. И интерес к прогулке у них пропал. Они вернулись на лодочную станцию, сдали лодку и молча пошли рядом в прохладных сумерках. Время от времени она плечом касалась его плеча. Когда они подходили к ее дому, он спросил:

- Вы будете мне писать?

Она кивнула.

Они долго стояли в воротах дома, не в силах расстаться.

- Мы еще увидимся? - спросила она.

Он не был в этом убежден, так как знал, что перебазировки обычно происходят внезапно. Приказ - и через час они уже на другом аэродроме. Но он, конечно, сделает всё возможное, чтобы проститься с нею.

- Если не смогу заехать, я вам дам знать.

- Как?

- Через Славу. Константин Игнатьич непременно отпустит его проститься с вами. Слава вам скажет, и вы приедете. Хорошо?

- Приеду.

Они никак не могли расстаться, и она пошла провожать его к трамваю. Но оказалось, что последний трамвай уже ушел. Он вскочил в попутную машину, и Соня стремглав пустилась бежать домой: у нее не было ночного пропуска, и ее мог захватить патруль.

* * *

Прошла целая неделя, а от Татаренко ни слуху ни духу. Однако Соня знала, что эскадрилья еще здесь, потому что за эту неделю к ней дважды заезжал Слава. Когда он появлялся, Соня настороженно ждала, не передаст ли он ей чего-нибудь. Но он даже имени Татаренко не упоминал и, безусловно, не подозревал, что эскадрилья должна в ближайшее время перебраться на какой-то другой аэродром.

Узнал об этом Слава в день отлета. Лунин сам отправил его к Соне прощаться, наказав вернуться не позже чем через три часа. Слава явился на квартиру оживленный и говорливый. Он объявил Соне, что будет теперь жить на каком-то острове посреди моря.

- Я полечу на транспортном самолете вместе с Деевым, - говорил он. Весь наземный состав полетит на транспортных самолетах. Вот люблю летать! Когда мы летели через Ладожское озеро прошлый раз, одного нашего краснофлотца тошнило, а меня вот - нисколько!.. Слушай, Соня, - внезапно сказал он. - Татаренко велел тебе передать, чтобы ты поехала вместе со мной на десятом номере. Он будет тебя ждать на последней остановке. В город его не отпустили, а до остановки он добежит... Ага, краснеешь, краснеешь! заорал вдруг Слава торжествующе.

Соня действительно ужасно покраснела. Покраснели щёки, лоб, шея, уши.

- Дурак, вовсе я не краснею! Чего мне краснеть?

- Все знают! Все говорят! - торжествовал Слава, прыгая вокруг нее.

- Что говорят?

- Что ты влюблена в Татаренко и отбиваешь его у Хильды.

Соня вскипела от негодования:

- Я? Отбиваю? Неправда!

- А вот правда, правда! Так поедешь со мной?

- Не поеду!

- Брось! Ведь он будет ждать. Я обещал ему, что непременно тебя привезу.

- Не поеду!

Она не поехала.

2.

Летом 1943 года самым западным выступом грандиозной линии фронтов, растянувшейся от Черного моря до Ледовитого океана, самым западным местом, где развевалось алое знамя Советской державы, был маленький островок, лежащий в Финском заливе, в нескольких десятках километров к западу от Кронштадта. В ясную погоду с островка видны были синие полоски дальних берегов: на севере - берег Карельского перешейка, захваченный финнами, на юге - берег Ленинградской области, захваченный немцами. И получалось, что этот вклинившийся между финнами и немцами островок находился как бы позади передовых позиций врага, как бы у него в тылу.

В начале войны ни немцы, ни финны не придавали, видимо, островку большого значения, понимая, что овладеть этим клочком земли не просто, потому что на нем стояла дальнобойная береговая батарея, а между тем он не мог помешать им двигаться к Ленинграду ни по южному берегу Финского залива, ни по северному. Немцы, пока их авиация была достаточно сильна, ограничивались тем, что постоянно бомбили островок и делали почти невозможной всякую связь между ним и Кронштадтом.

Однако по мере того как менялось соотношение сил на суше, на море и в воздухе, менялось и положение островка. Попрежнему к северу от него были финны, а к югу - немцы, но островок уже не казался ни осажденным, ни отрезанным, а всё больше напоминал острый твердый клинок, глубоко вонзившийся во вражеский тыл. Он рассекал коммуникацию врага, он прокладывал путь в глубь его расположения, создавая постоянную угрозу и для немцев и для финнов.

Низкий островок этот представлял собой как бы спину длинной песчаной отмели, плоскую и еле возвышавшуюся над водой. Он весь из конца в конец порос соснами. Но росли на нем не те высокие, стройные сосны, которые растут в лесах. Здесь они выросли посреди моря, открытые всем ветрам, и ветры причудливо искривили их, исковеркали, свернули их вершины,

вывихнули их длинные сучья. Каждая сосна была не похожа на другую, и меж серых мокрых камней в сером тумане, почти всегда висевшем в воздухе, они казались толпой странных чудовищ.

На всем острове - ни одного дома. Те несколько рыбачьих лачуг, которые стояли здесь перед войной, были разметены и сожжены бомбами, и даже печей от них не осталось. Мелкий светлый песок, из которого состояла здесь почва, весь был изрыт воронками разной величины, с обсыпавшимися краями; кривые и корявые стволы многих сосен были расщеплены осколками. Остров казался безлюдным. Но внимательный взгляд то тут, то там обнаруживал синий пахучий дымок, висевший между стволами во влажном воздухе, или вход в землянку, или железную штангу, в которую следовало колотить при воздушной тревоге, или зенитное орудие, замаскированное сосновыми ветками. Орудия береговых батарей тоже нелегко было заметить, - их скрывали громадные серые глыбы дикого гранита.

Летом 1943.года на острове появился аэродром. Он был так похож на обыкновенную лесную прогалину, что неопытный человек не скоро догадался бы, что это лётное поле. Только взглянув на груды больших и малых камней, сложенных под соснами, можно было понять, сколько потребовалось труда, чтобы расчистить эту прогалину и сделать ее пригодной для посадки самолетов. В июле, в те дни, когда далеко, в центре страны, шла великая битва, прозванная впоследствии "битвой на Курской дуге", на этот островок посреди Финского залива, на этот аэродром между кривыми соснами, перелетела эскадрилья истребителей, которой командовал Лунин.

* * *

Немцы почувствовали это сразу, с первого же дня. В первый же день истребителями был сбит "Юнкерс"-разведчик.

Этот "Юнкерс" в течение нескольких недель ежедневно проходил над островом и, вероятно, его фотографировал. Опасаясь зенитного огня, он не спускался ниже трех тысяч метров. На этой высоте он шел и в тот день, когда самолеты эскадрильи впервые опустились на маленький остров. Все зенитки заговорили разом, но "Юнкерс", чувствуя себя неуязвимым, кружил спокойно и неторопливо.

На охоту за ним вышли двое - Татаренко и Остросаблин. "Юнкерс", заметив два советских истребителя, круто набиравших высоту, двинулся к западу во всю мощь своих моторов. Татаренко и Остросаблин через три минуты догнали его над открытым морем и, конечно, могли бы тут же сбить. Но у Татаренко был другой замысел. Ведя за собой Остросаблина, он опередил "Юнкерс", атаковал его с запада, заставил повернуть и погнал

перед собой на восток, обратно к острову. Здесь Татаренко и Остросаблин принудили "Юнкерс" спуститься. Громоздкий немецкий бомбардировщик со зловещими крестами на плоскостях метался, угрюмо воя, над кривыми соснами. Заставив его раз пятнадцать переменить курс, Татаренко, удовлетворенный, поймал его наконец на одном из поворотов и обрушил в воду в каких-нибудь двухстах метрах от острова под аплодисменты и крики восхищенных артиллеристов.

По правде говоря, Татаренко всё это для того и проделал, чтобы привести артиллеристов в восхищение. Артиллеристы были старожилами острова и считали себя тут хозяевами. Летчиков встретили они недоверчиво и дали им почувствовать, что не ждут от них особой пользы. Но после того как Татаренко и Остросаблин на глазах у всех сбили "Юнкерс", всё изменилось. Летчики стали равноправными гражданами и, несмотря на то что были здесь новичками, сразу добились уважения.

Гибель "Юнкерса", высланного на разведку, не отбила у немцев желания следить за тем, что происходит на острове. Напротив, беспокойное их любопытство только возросло. Остров, видимо, очень их тревожил. Они высылали на разведку всё новые и новые самолеты. Вначале летчики по нескольку раз в день обнаруживали в воздухе немецких разведчиков и охотились за ними. Разведчики становились всё осторожнее, подкрадывались к острову то со стороны солнца, то в каком-нибудь облачке или клоке тумана, то держась на высоте семи-восьми тысяч метров, откуда всё равно ничего нельзя было разглядеть. Но и это их не спасало. Обосновавшись на острове, эскадрилья сделала недоступным для немецкой авиации всё воздушное пространство на много километров вокруг.

Однако не в охоте за разведчиками состояла главная задача, поставленная перед эскадрильей. Не ради этого посадили ее на неудобный, маленький аэродром, расположенный на островке, выдвинутом так далеко перед фронтом. Главная задача эскадрильи заключалась в охране советских бомбардировщиков и штурмовиков, наносивших удары по вражеским кораблям и базам в центральных и западных районах Финского залива.

Бомбардировщики и штурмовики могли продержаться в воздухе гораздо дольше, чем истребители, и, следовательно, истребители не в состоянии были сопровождать их на протяжении всего их пути. Если бы истребители взлетали с того же самого аэродрома, что и штурмовики, они вынуждены были бы на полдороге бросать их. В таком сопровождении не было бы никакого смысла, потому что штурмовики и бомбардировщики, отправляясь далеко во вражеский тыл, нуждались в охране не в

начале пути, а как раз в конце. Вот тут и помогал этот клочок земли, лежавший к западу от Кронштадта, в середине Финского залива. Отряды штурмовиков и бомбардировщиков доходили до островка без сопровождения. А с аэродрома взлетали истребители и сопровождали их до самой цели.

С первого проблеска рассвета до последнего луча вечерней зари летчики эскадрильи дежурили на аэродроме, где за красными кривыми стволами сосен со всех сторон блестело море, и прислушивались. Вот с востока доносилось ровное гуденье многих моторов, и совсем низко над островом возникали, словно распластанные в небе, могучие краснозвездные машины - "Петляковы" или "Ильюшины". Истребители взлетали мгновенно, и начиналась сокрушительная экспедиция куда-нибудь к Хамина, к Котке, к Нарве, к Раквере - для удара по военным кораблям, по транспортам, перевозящим войска и боеприпасы; для уничтожения причалов, складов, береговых батарей.

Иногда они совершали по четыре-пять таких экспедиций за день, и почти всякий раз им приходилось встречаться с "Фокке-Вульфами".

Немецкие истребители "Фокке-Вульф-190" давно уже не казались им загадкой, и при встрече с ними они не испытывали ни трепета, ни любопытства. Немцы вооружили свою истребительную авиацию новыми самолетами, отстав от перевооружения советской авиации больше чем на полгода. "Фокке-Вульф-190" был грозный самолет, во всех отношениях превосходивший "Мессершмитт-109", но состязаться с советскими истребителями третьего года войны ему было нелегко. А разрыв между боевыми качествами летчиков, водивших "Фокке-Вульфы", и летчиков, водивших советские самолеты, был еще больше, чем разрыв между лётными качествами машин.

Встречи, стычки, бои с "Фокке-Вульфами" происходили почти ежедневно, и превосходство неизменно оставалось на стороне летчиков эскадрильи. Они великолепно изучили все свойства "Фокке-Вульфов", все сильные и слабые их стороны, они наизусть знали все тактические приемы немецких летчиков, немногочисленные и постоянно повторявшиеся. В течение трех месяцев - июля, августа и сентября - эскадрилья множество раз вылетала на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, и ни одного раза не было, чтобы "Фокке-Вульфам" удалось прорваться к советским самолетам, которые она охраняла. За эти три месяца эскадрилья не потеряла ни одного самолета, ни одного летчика, тогда как десятки "Фокке-Вульфов" были отправлены ею на дно Финского залива.

На острове летчики жили глубоко под землей, в землянке.

Землянка состояла из двух отделений: в одном помещался командный пункт Лунина, в другом - нары, на которых они спали. Потолок землянки подпирали обтесанные сосновые стволы, на которых застыли прозрачные смоляные капли. И в землянке постоянно стоял душистый и свежий сосновый запах, сосновой смолой пахли вещи летчиков, их волосы, их руки. Маленькая яркая лампочка, получавшая ток от аккумулятора, бросала на их лица бледный, мертвенный свет.

Как привычны и знакомы были Лунину все эти лица, как близки и дороги!.. Ему казалось, что не год, а целый век прошел с того дня, когда он увидел их впервые. Они сильно изменились за этот год. Лунин вспоминал, как год назад Ермаков назвал их "детским садом". Теперь они ничуть не напоминали детский сад. Даже на круглом лице Рябушкина не было больше ничего ребячьего. Год боев заставил их всех возмужать; характеры их стали тверже, строже; огромный опыт войны лег каждому на плечи. Лунин давно уже понимал, что в мастерстве они нисколько ему не уступают. С улыбкой вспоминал он, как прошлым летом учил их взлетать и садиться. В некоторых отношениях они даже превосходили его, - хотя бы просто оттого, что были моложе. Зрение, например, у них острее, нервные реакции стремительнее, решения они иногда принимали быстрее. Конечно, у многих из них не было еще его выдержки, его умения всё рассчитать и предвидеть. Но самолетом и оружием они владели не хуже его.

Каждый из них стал мастером, и каждый был мастером на свой лад. Из Остросаблина и Дзиги, например, выработались превосходные ведомые. Им порой не хватало находчивости, решительности, и Лунин избегал выпускать их в воздух поодиночке, без ведущих. Но в своей роли ведомых они были первоклассными мастерами. Умело зорко и стойко охраняли они своих ведущих, и ведущие знали, что могут положиться на них в любых обстоятельствах. Карякин и Рябушкин превосходили всех меткостью стрельбы. Кроме того, у Карякина в бою было еще одно качество, которое его выделяло, - темперамент. Он дрался с таким пылом и наседал на вражеский самолет с таким неистовством, с такой настойчивостью и быстротой, что немецкий летчик не успевал за ним следить, терялся и погибал. Карякин почти всегда вылетал в паре с Рябушкиным. В бою они удивительно понимали друг друга и как бы сливались в одно существо. Хаметов и Костин, те, напротив, вели себя в бою спокойно и ровно. Все их действия, страдавшие некоторой медлительностью, были всегда хорошо продуманы. Они не метались зря, не делали лишних движений, а на каждом этапе

боя отчетливо ставили перед собой задачу и последовательно стремились к ее решению. Мягкость и изящество Коли Хаметова сказывались в полете и в бою так же ясно, как и на земле: он изящно вел самолет, изящно сражался. А Костин был в воздухе так же рассудителен, как вечером в землянке.

Костина называли "теоретиком", "академиком", и в этих прозвищах было столько же ласковой насмешки, сколько и уважения. Всякий бой он потом, в землянке, подвергал тщательному анализу. Он разбирал бои, как шахматист разбирает шахматные партии, находил причины удач и подробнейшим образом останавливался на всех промахах и ошибках. Ему хотелось создать формулы боя, которые можно было бы изображать алгебраическими знаками, как в математике. Он мечтал разделить воздушные бои на типы, на разряды и старался выработать правила поведения для каждого типа, для каждого разряда. Эти заранее составленные правила ему самому приходилось постоянно нарушать и потом составлять вновь, потому что действительность всегда оказывалась сложнее и многообразнее любых логических построений. Но бывали случаи, когда бой развивался почти так, как предвидел Костин; эти случаи радовали Костина необычайно, а вместе с ним радовали и всех его товарищей из любви к нему и из дружбы.

За год совместной жизни и совместных боев между ними сложилась та ясная, крепкая, ничем не замутненная дружба, которая, как хорошо помнил Лунин, связывала когда-то и старших летчиков рассохинской эскадрильи. В их среде никогда не бывало тех мелочных ссор, вызванных раздражительностью, усталостью, завистью, случайными обидами, которые так обычны во всех человеческих общежитиях. И постоянное соседство смерти и сознание важности дела, которое им поручено, - всё это выжигало в их душах всякую случайную нечисть. Как когда-то Рассохина, Кабанкова, Серова, Чепелкина, их давно уже связывала цепь мучительных тревог друг за друга и много раз доказанной готовности спасти друг друга ценой собственной жизни. Они погибли бы, если бы между ними не было любви и дружбы; и они любили, дружили - без особых размышлений, просто и преданно.

Но больше всех в эскадрилье любили Илюшу Татаренко. Его не только любили, им постоянно восхищались. Не восхищаться им было невозможно. Лунин, и сам восхищался Илюшей Татаренко наравне с другими.

Из Татаренко выработался удивительный воздушный боец, какого Лунину еще встречать не приходилось. В мастерстве пилотажа и в мастерстве ведения воздушного боя он далеко превзошел всех. Лунин даже не знал, можно ли это назвать

мастерством. Ему казалось, что тут дело уже не в мастерстве, а в таланте. Подобно тому, как бывают люди, обладающие талантом к игре на скрипке, или к живописи, или к, сочинению стихов, Татаренко обладал талантом к ведению воздушного боя.

На его счету было больше сбитых вражеских самолетов, чем у любого другого летчика полка. Однако самым примечательным было не число сбитых им самолетов, а то, как он их сбивал. Он не составлял себе заранее правил ведения боя, подобно Костину. Нет, в бою он был неисчерпаемо изобретателен, и ни один его бой не походил на прежний. Бой был для него творчеством, и, как настоящий художник, он творил, никогда не повторяясь.

Татаренко великолепно владел своим самолетом. Самолет был словно продолжением его самого, был послушен, как его руки и ноги. Никто не умел добиться от своего самолета такой скорости и такой маневренности, как Татаренко, причем самые замысловатые штуки самолет его выделывал без суеты и торопливости, без рывков и скачков, без натуги. И всё же вовсе не это превосходное владение самолетом Лунин считал главным достоинством Татаренко. По собственному опыту Лунин знал, что одного искусного владения самолетом в бою мало. По мнению Лунина, самой сильной стороной дарования Татаренко было именно то, что он понимал и строил воздушный бой не как состязание машин, а как состязание людей.

Татаренко полагался не столько на преимущество своей машины над машиной врага, сколько на свои собственные преимущества над врагом. Он вел бой не с вражеским самолетом, а с человеком, с вражеским летчиком. Он обладал замечательной способностью по движению машины угадывать свойства человека, который управлял ею. Вот этот - фанфарон, но втайне неуверен в себе; вот этот боязлив, но способен из страха перед своим начальством на поступок, кажущийся отважным; этот храбр, но утомлен, ничему не верит и ко всему равнодушен. И Татаренко побеждал их, этих людей, потому, что как человек был выше их - отважнее, самоотверженнее, изобретательнее, искуснее, - и потому, что верил в правоту своего дела, а они в правоту своего не верили.

Попрежнему ослепительно блестели его белые зубы и белки его глаз, курчавились его черные цыганские волосы. Попрежнему он был со всеми приветлив и дружелюбен. Но и он изменился.

Он сильно похудел, и от этого все черты его лица стали резче, строже. Он стал задумчивее, молчаливее, порой искал уединения. Иногда он способен был целый вечер пролежать на койке, не сказав ни слова. Казалось, он тосковал и давно уже тосковал.

На острове он пристрастился к одиноким прогулкам и

купанью. Остров был мал, и совершить по нему длинную прогулку было невозможно, но и у Татаренко было мало свободного времени: он либо находился в небе, в бою, либо дежурил на аэродроме у своего самолета "в боевой готовности номер один", либо ел, либо спал. Однако, если ему выпадал свободный час, он отправлялся на прогулку.

Он шагал по берегу, по песчаному пляжу, между волнами и соснами. Вокруг острова было мелко, и каждая волна, набежав с протяжным шумом, потом далеко и долго откатывалась, обнажая широкое пространство плотного мокрого песка. Татаренко шагал крупно, размашисто. Ветер швырял ему в лицо колючим песком, трепал его волосы. Так доходил он до самой восточной оконечности голого низкого мыса, далеко врезавшегося в воду. Там, на мысу, он останавливался и стоял неподвижно, глядя прямо на восток - в сторону Кронштадта, Ленинграда. Потом, нахмурясь, поворачивался и уходил.

Он шел на запад вдоль другого берега. Чем ближе он подходил к западному мысу, тем каменистее становился берег. Татаренко легко и быстро прыгал по большим серым камням, обточенным волнами, - с камня на камень. Камни становились всё огромнее, расселины, через которые ему приходилось перепрыгивать, всё глубже. Западный мыс острова был длинной грядой громадных камней. По вечерам на фоне заката эти горбатые камни казались стадом огромных черных быков, бегущих на запад. Гряда эта тянулась и под водой, а так как волны набегали на остров чаще всего с запада, со стороны открытого моря, то вокруг торчавших из воды камней постоянно шумели и пенились буруны.

Вот тут, среди этих бурунов, Татаренко обычно и купался.

Купался он обыкновенно вечером. Найти время для прогулки вокруг острова ему удавалось не так уж часто, но вырваться сюда и выкупаться он успевал почти ежедневно, - от аэродрома до западного мыса было гораздо ближе, чем до восточного. К погоде он относился с полным равнодушием: он готов был купаться и в дождь и в шторм. Он раздевался на самой последней и самой высокой скале. Чтобы ветер не сбросил его одежду, он клал поверх нее камень. И прыгал со скалы в воду - вниз головой.

Вынырнув, он плыл к гранитной глыбе, вершина которой то появлялась над водой, то погружалась. Тут бушевал самый большой бурун. Обхватив верхушку глыбы руками, Татаренко вступал в единоборство с буруном, который то покрывал его с головой, навалившись на него всей своей тяжестью, то, отступая, старался оторвать от глыбы и утащить за собой. Эта азартная игра с буруном, могучим и коварным, доставляла ему

удовольствие именно тем, что требовала от него напряжения всех его сил. Чем ближе придвигалась осень, тем чаще становились бури и тем труднее было сладить с этим буруном. Вода делалась всё холоднее; в сентябре она обжигала кожу, как пламя. Но Татаренко попрежнему каждый вечер ходил купаться на западный мыс.

После купанья он шел ужинать в землянку возле аэродрома, служившую летчикам столовой. Там было тесно - две скамейки и покрытый клеенкой стол под низким бревенчатым сводом. К тому времени, как Татаренко возвращался с купанья, его товарищи обычно уже поспевали поужинать и уйти. Одна только Хильда оставалась в столовой.

Хильда последовала со второй эскадрильей и сюда, на остров. Единственная женщина на аэродроме, Хильда теперь не только кормила своих летчиков, но и штопала им носки, утюжила брюки, стирала белье. Она привыкла к тому, что Татаренко опаздывает к ужину, и всегда его дожидалась. Сколько стараний прилагала она, чтобы ужин его не остыл и не перепрел! Пока он ел, она стояла и смотрела на него. И пододвигала к нему то соль, то горчицу, то ложку, то вилку.

Но он не замечал ни того, что ел, ни Хильды. Случалось, что за весь ужин он не говорил Хильде ни слова. Он был погружен к свои мысли, и Хильда знала, что это за мысли.

Как всё в эскадрилье, Хильда знала, что Татаренко любит Соню, сестру Славы.

О том, что она думала по этому поводу и что она чувствовала, летчики строили немало предположений, но ничего достоверного не знал никто: о чувствах своих она никому не рассказывала.

3.

Еще весной, задолго до перелета на остров, Уваров как-то сказал Лунину:

- Чуть было не забыл! Я ведь хотел с вами посоветоваться.

- О чем?

- Видите ли, какое дело неприятное... - Уваров нахмурился и понизил голос: - Я узнал наконец адрес той женщины, на которой собирался жениться Серов.

- Да ну!

- Мне сообщили совершенно достоверно.

- Где же она?

- На Урале.

- На Урале?..

- Вместе со своей школой.

- Не может быть! - воскликнул Лунин. - Серов писал ей в

школу и не получил ответа.

- Вот это как раз неприятнее всего, - сказал Уваров.

- Вы думаете, она получала его письма и не хотела отвечать?

- Кто ее знает... Выходит, что так.

- Позвольте, позвольте! - заволновался Лунин. - Я собственными глазами видел официальный ответ директора школы, что ее в школе нет.

- Знаю, - сказал Уваров. - И этот же самый директор не менее официально ответил тем инстанциям, которым я посылал запрос, что она работает в школе.

Лунин промолчал и отвернулся. Уваров внимательно юсмотрел на него.

- Так вот, дайте совет, - сказал Уваров. - Сообщить Серову ее адрес или не сообщать?

- Представьте только, как ему будет больно, когда он узнает, что она получила его письмо и не желала на него ответить!

- Так не сообщать?

- Не сообщать.

- А ей?

Лунин задумался.

- А ей написать без всяких чувств, как можно суше. Летчик Николай Серов находится в Барнауле, в таком-то госпитале, на излечении. Вот и всё. А там пусть она сама поступит, как ей совесть позволит.

- Я как раз так ей и написал, - сказал Уваров.

"Вот и Серов одинок, - подумал Лунин с горечью. - Бывают же на свете люди, которым суждено одиночество!"

* * *

Жизнью своей Слава был совершенно доволен.

Казалось бы, что могло быть занимательного для тринадцатилетнего здорового мальчишки в однообразной гарнизонной жизни на тесном маленьком острове? Даже побегать как следует негде. Уже через день после перелета ему стал здесь известен каждый пень, каждый камень. А между тем Слава не только не скучал, но никогда еще не жил так увлекательно. И всё оттого, что на острове были самолеты.

Он с самых ранних лет интересовался самолетами и любил их. Но прежде самолеты привлекали его внимание только тем, что они движутся, летают, сражаются, и он представления не имел о том, что заставляет их двигаться и летать. Однако за время его жизни на аэродроме самолеты мало-помалу приоткрыли ему свои тайны. И эти тайны казались ему теперь увлекательнее всего на свете.

Этому увлечению немало способствовали его занятия с

техником Деевым. Правда, занимался с ним Деев вовсе не самолетами, а предметами, которые проходят в средней школе. Но Деев постоянно копался в самолетных моторах, проверяя и поправляя их, и Слава постепенно стал кое-что в них смыслить. А когда он стал смыслить кое-что, ему захотелось узнать всё.

Он не отходил от самолетов и внимательно приглядывался к работе техников. Он задавал множество вопросов, и ему охотно отвечали, потому что техники сами были влюблены в свои машины и говорить о них доставляло им удовольствие. Слава теперь не только знал назначение каждой детали в моторе, но научился по звуку определять, в каком состоянии находится мотор и что в нем происходит. Копаться в моторе было для него теперь высшим наслаждением, и техники, работая, охотно разрешали ему себе помогать, потому что он был толков и усерден.

Он очень вытянулся за последний год и для своих лет был рослый малый. В штатах эскадрильи он давно уже числился мотористом (так удобнее было его оформить) и одет был как моторист - в старый, промасленный комбинезон. Он старался шагать, как взрослый, старался говорить басом, но время от времени пускал "петухов" и бегал вприпрыжку. Так как Лунин не имел на острове отдельного жилья, Слава жил в землянке с техниками и мотористами, знал все их любимые словечки и дружил с ними не меньше, чем с летчиками. Он разделял их самоотверженный, тяжелый, умный труд, гордился тем, что во время работы они обращаются с ним, как с равным.

Впрочем, самым близким его другом был всё же Илюша Татаренко.

У Славы с Татаренко издавна были дружеские отношения, но за последнее время отношения их приняли новый, особый характер. Дело в том, что Татаренко теперь ни на мгновение не мог забыть, что Слава - брат Сони.

При виде Славы Татаренко сразу вспоминал Соню, и свою нежность к ней, и свою тревогу, и горечь разлуки. И Слава догадывался об этом.

Любовь Татаренко к Соне сама по себе очень мало занимала Славу, потому что он вообще не склонен был размышлять о любви. С детским простодушием он видел в любви Татаренко к Соне только средство подразнить сестру. Мало того, он разделял распространенное в эскадрилье мнение, что Татаренко сделал бы гораздо лучше, если бы влюбился в Хильду. И в то же время Слава бессознательно чувствовал, что теперь имеет над Татаренко как бы некоторую власть. И был прав.

Когда эскадрилья перелетала на остров, Соня не пришла с

Татаренко попрощаться; мало того, она не ответила на то короткое, робкое письмо, которое он написал ей в первые дни своего пребывания на острове. И теперь Слава оставался единственной связью между Татаренко и Соней. Соня время от времени писала Славе, и Слава охотно показывал ее письма Татаренко. В этих письмах имя Татаренко никогда не называлось, и всё же он запоминал их наизусть и ожидал их с гораздо большим волнением, чем Слава.

О размолвке между Соней и Татаренко Лунин, конечно, догадывался, хотя представления не имел, чем она вызвана. Он только видел, что Татаренко мучится, и жалел его. И удивлялся: неужели не может быть любви без мучений? Прежде он думал, что он один такой, а оказывается, и Серов такой, и, может быть, Хильда, и даже Татаренко.

Впрочем, за последнее время он упорно себя уверял, что вполне доволен своей судьбой. Что ему еще надо? Неужто ему мало любви товарищей?

Лунина любили и подчиненные и начальники; он знал об этой любви, выросшей постепенно и незаметно, считал себя ее недостойным, и безмерно смущался при каждом ее проявлении. А проявлялась она за последние месяцы на каждом шагу. Стоило ему проговориться, что ему нравится манная каша с компотом из сушеных фруктов, как к ужину перед ним оказывалась тарелка с такой кашей. Стоило ему пожаловаться, что за лето моль проела подкладку в его зимней шапке, как с ближайшим, катером из Кронштадта прибывала новая шапка, великолепнейшая. Он вообще теперь остерегался хвалить чьи бы то ни было вещи - будь то зажигалка, или фуфайка, или автоматическая ручка, или трофейный револьвер, или книга, или вакса, или планшет, или зубной порошок, или запонка, - потому что владелец немедленно отдавал ему понравившуюся вещь в подарок. Он не раз подмечал, что приказания его выполняются с каким-то особенным удовольствием, - это, мол, не просто приказание, которое надо выполнить, а приказание Лунина! Он знал, что летчики ревнуют его друг к другу, и старался быть внимательным к каждому, чтобы никого не обойти и не обидеть. Даже самые опытные из них, летавшие и сражавшиеся не хуже, чем он сам, считали для себя честью, когда он брал одного из них себе в ведомые. В бою он чувствовал, с.каким вниманием все они следят за ним, готовые кинуться ему на помощь, если возникнет хоть, малейшая опасность.

А с какой дружбой относились к нему в полку и Шахбазьян, и Ермаков, и сам Проскуряков, ставший уже гвардии подполковником! Лунин был их старым, испытанным

соратником, вместе с которым они сражались в трудные времена, и когда Проскуряков разговаривал с Луниным по телефону, его гулкий суровый бас, обычно наводивший страх на телефонисток, становился мягким, ласковым.

Вся дивизия любила Лунина и гордилась им. С Уваровым, несмотря на то что отношения их внешне казались официально суховатыми, его, в сущности, связывала самая тесная дружба. Уваров не раз ставил лунинскую эскадрилью в пример другим подразделениям. И когда летчикам дивизии нужно было выполнить какую-нибудь особенно важную и трудную задачу, поручалась она обычно Лунину.

Однажды вечером, когда полеты уже окончились, Лунину за ужином доложили, что на аэродром прилетели Уваров и Проскуряков и находятся в землянке командного пункта. Лунин встал и поспешил к ним.

Была уже поздняя осень, моросил мелкий дождик, и в непроглядной тьме Лунин несколько раз сбивался с тропинки, хотя знал ее наизусть. В землянке тоже было темновато и мрачно. Единственная лампочка освещала только стол, за которым сидели Уваров и Проскуряков; всё остальное было погружено в сумрак.

- Тут рисковать нельзя, - услышал Лунин голос Уварова. - Для такого дела нужен человек опытный, внимательный и спокойный. Я послал бы самого Лунина.

Лунин, поняв, что Уваров его не видит, кашлянул и подошел к столу.

Уваров усадил его, положил перед ним карту и сразу начал объяснять задание.

Нужно взлететь примерно через час, взять курс на юг и пересечь пролив, отделяющий остров от материка, вот в этом месте, причем так, чтобы немцы ничего не заметили. Вот тут, в этом квадрате, по ту сторону фронта, маленькое озеро с перехватом посередине, формой похожее на восьмерку. Ровно в 23.20 над этим озером сделает круг большой транспортный самолет. Нужно встретить его там, в темноте, вот здесь перевести через фронт и привести в Ленинград.

- За целость его отвечаете вы, - сказал Уваров.

- Понятно.

- Кто пойдет с вами ведомым?

- Татаренко.

- Хорошо. Действуйте.

Когда Лунин и Татаренко зашагали к своим самолетам, дождь моросить перестал, но тьма стала еще гуще. Если Лунин останавливался, Татаренко, шедший за ним следом, натыкался на него. Только лужи тускло поблескивали во мраке. Они полетели в

полной тьме.

Пролив и береговую черту они пересекли на большой высоте, чтобы немцы не услышали шум их моторов. Нигде ни одного ориентира, приходилось полагаться только на приборы. Если какой-нибудь прибор врет хотя бы на волос, им никогда не отыскать этого озера, длина которого не больше двух километров. Да и увидят ли они его в такой тьме?

Внизу что-то еле заметно блеснуло. По карте Лунин знал, что здесь река. Значит, вода сверху различима. Ведя за собой Татаренко, он пошел над рекой до той излучины, от которой до озера было ближе всего.

Свернув от реки, они снова оказались в полной тьме. Лунин поглядывал на часы: он знал, в какую секунду они окажутся над озером. Если, конечно, они идут правильным курсом. Пора! Да, под ними еле заметный блеск воды. О, какое облегчение!

Озеро действительно имеет форму восьмерки: на середине оно уже, по концам - шире. 23 часа 18 минут. В такую ночь самолет можно увидеть только на фоне воды. Следовательно, нужно находиться выше него. Они .поднялись и сделали круг. Еще один круг...

- Вижу! - сказал Татаренко.

В то же мгновение увидел и Лунин. Большая черная тень скользнула над серой водой. Крупный транспортный самолет. Встреча состоялась.

К Ленинграду все три самолета шли вместе. Они уже

приближались к линии фронта, как вдруг с земли поднялся громадный голубой меч прожектора и рассек тьму. Вероятно, гул мотора транспортного самолета был услышан. Прожектор неуверенно нащупывал небо, вырывая из темноты клочковатые тучи. Вперед, вперед, только бы успеть проскочить!

Голубой луч внезапно нащупал самолет Татаренко, шедший последним. Сзади, справа, слева стали вспыхивать и гаснуть звездочки, - это взрывались зенитные снаряды. Но немецкие зенитчики опоздали: вот уже линия фронта. Самолет Татаренко выскользнул из голубой струи. Зенитки далеко позади бьют в пустое небо. До аэродрома осталось две минуты полета. Это тот самый аэродром, на котором эскадрилья стояла осенью 1941 года. Хорошо знакомое место. Вот и посадочное "Т", выложенное с помощью зажженных фонарей. Взлетела ракета и ярко озарила аэродром. Транспортный самолет первым пошел на посадку...

Когда Лунин посадил свой самолет и вышел из него, подкатила легковая машина, щелкнула, открываясь, дверца, и он услышал голос Уварова:

- Константин Игнатьич, садитесь. Поедем поглядим, кого они

там привезли.

Оказалось, что Уваров и Проскуряков уже здесь.

Лунин сел в машину рядом с Уваровым, и они помчались по аэродрому.

Большое, казавшееся неуклюжим тело транспортного самолета было освещено тусклым сиянием автомобильных фар, закрашенных синей краской. Автомобилей здесь было несколько - госпитальные машины с красными крестами на боках. В толпе разного аэродромного люда, сбежавшегося сюда поглядеть, белели халаты санитаров и санитарок. Дверь транспортного самолета была распахнута, и из нее по приставной лесенке осторожно выносили на руках какие-то закутанные в тряпки фигуры.

- Раненые? - спросил Лунин.

- Из партизанского отряда, - объяснил Уваров.

Выйдя из машины, Уваров и Лунин пошли к самолету. Все почтительно расступились перед заместителем командира дивизии. Больных и раненых продолжали выносить. Их укладывали на носилки и сразу же втаскивали в машину. Всё это совершалось в полной тишине, - никто не жаловался, ничего не спрашивал, не плакал, не стонал.

Они были закутаны в какое-то тряпье, и в полумраке нелегко было различить, мужчины это или женщины. Но, кажется, женщин было больше. Некоторые, очутившись на земле, делали попытки подняться и идти. Однако большинство могло только лежать.

Особенно поразило Лунина лицо мужчины, внезапно появившегося на приставной лестнице, ведущей из самолета вниз. Яркий сноп лучей озарил его. Может быть, именно этот свет, блеснувший в глазах, придал особую значительность лицу. Это было очень худощавое, измученное, но твердое, суровое лицо, опушенное мягкой бородкой, казавшейся при свете, фар почти черной. Одет этот человек был в лохмотья шинели, а на руках у него сидел ребенок, закутанный в одеяло. Тоненькое детское личико с испуганными глазами прижималось к его щеке. Девочка лет трех, не старше.

Чьи-то руки потянулись к нему из тьмы, чтобы принять у него ребенка, но девочка в страхе прижалась к нему еще сильнее, и он сказал:

- Не надо.

Он медленно спускался со ступеньки на ступеньку. Идти ему было трудно.- он, кажется, хромал. Кто-то протянул руки, чтобы его поддержать.

- Я сам! - проговорил он.

- Командир отряда с дочкой, - сказал кто-то из стоявших в темноте позади Лунина.

- А мать тоже тут?

- Говорят, тут.

Лицо девочки вдруг сморщилось:

- Мама!

- Здесь, здесь мама, - сказал ей отец, с силой прижимая ее к себе и осторожно ступая на землю.

Он поднес девочку к носилкам, которые поднимали с земли два санитара. Лунин только сейчас заметил и эти носилки и неподвижную закутанную женскую фигуру, лежавшую на них.

Человек в рваной шинели нагнулся над лицом женщины:

- Лиза!

Лицо женщины чуть-чуть шевельнулось.

- Лиза! Это я! Мы приехали, Лиза! Всё кончилось. Ну, посмотри на меня, Лиза! Лиза!

Лицо женщины двинулось. Она открыла глаза.

И Лунин узнал ее сразу, узнал безошибочно. Узнал, хотя освещена она была еле-еле и почти вся заслонена от него склонившимся над нею мужем.

- Пора! Отправляйте!

Носилки с Лизой уже несли к машинам, и муж, прижав к себе девочку, хромая, шагал рядом с носилками. Машины уже гудели и вздрагивали. Носилки внесли в машину, чьи-то руки втащили туда и девочку, помогли войти мужчине.

Дверца захлопнулась, машина двинулась. Свет фар пополз прочь, удаляясь.

Лунин стоял в темноте и смотрел вслед.

## Глава четырнадцатая.

## На запад!

1.

Марья Сергеевна с осени 1942 года жила в маленьком городке Молотовской области и работала в вывезенной из Ленинграда школе.

Городок этот - еще недавно рабочий поселок со старинным, основанным в XVIII веке заводом - в годы войны разросся необыкновенно и был переполнен людьми, промышленными предприятиями и государственными учреждениями. Тут расположились и две швейные фабрики из Белоруссии, и крупный металлургический завод, перевезенный вместе со всем оборудованием и всеми рабочими с Украины, и текстильный комбинат, и несколько эвакуированных школ, и даже два научно-исследовательских института. И все эти заводы, фабрики, школы, институты работали с полной нагрузкой: выпускали оружие,

военное обмундирование, учили и воспитывали детей, производили научные исследования. А люди, приехавшие сюда вместе с этими предприятиями и учреждениями, теснились в почернелых от сырости, низких рубленых домах, раскинутых между буграми, поросшими темным ельником, и холодной, угрюмой, но величаво красивой рекой.

Ленинградская школа помещалась в длинном двухэтажном старом бревенчатом доме под железной крышей. Марья Сергеевна преподавала русский язык и занимала должность заведующей учебной частью, то есть была вторым лицом после директора. Директором была женщина, человек новый, назначенный незадолго до приезда Марьи Сергеевны, взамен того прежнего директора, с которым она работала в Ленинграде и который отвечал на запросы о ней. Детей нужно было не только учить, но и кормить, и одевать, и лечить, нужно было стирать им белье и писать письма их родителям, нужно было отапливать помещение, мыть, чистить, убирать, и чинить крышу, и прочищать дымоходы, и разбирать ссоры, и ладить с директором - женщиной деятельной, энергичной, но суховатой, без всякой душевной тонкости, пристрастной к формальностям и порой вздорной. Марья Сергеевна поднималась в пять часов утра и ложилась после двенадцати. Своих детей, Ириночку и Сережу, видела она теперь только вместе с другими детьми, - они жили и учились наравне со всеми прочими школьниками. От голода Марья Сергеевна оправилась и стала даже полнее, чем была перед войной, но многого вернуть уже было нельзя: лицо несколько потемнело, пожелтело, возле глаз появились морщинки, и нередко мучили ее изнурительные головные боли, которые она переносила на ногах, потому что слишком много было работы. Уезжая из Ленинграда, обессиленная, она не взяла с собой никаких вещей, и теперь ни ей, ни детям ее нечего было носить. Круглый год ходила она в своем единственном шерстяном платье, в потасканном старом пальтишке, а в холодную погоду обматывала голову шерстяным платком, давно потерявшим цвет. Зимой она носила валенки и казалась в них еще меньше ростом.

Постоянная забота о детях отвлекала ее от воспоминаний и праздных мыслей, но память о летчике Коле Серове жила в ней, как давнишняя, привычная боль.

Когда внезапно ранней весной 1943 года ей принесли таинственное коротенькое письмецо, в котором какой-то неведомый полковник Уваров сухо и, повидимому, равнодушно извещал ее, что старший лейтенант Николай Серов находится на излечении в таком-то госпитале, в городе Барнауле, она была потрясена. Значит, он жив! Но что с ним? Он изувечен? Может

быть, у него нет рук или глаз? Он калека, он беспомощен, он нуждается в уходе... Она долго вертела и переворачивала листок, стараясь вычитать в нем что-нибудь, но листок был безнадежно краток и ничего больше сказать ей не хотел.

Первым ее побуждением было - бросить всё, оставить работу, детей и ехать в Барнаул. Но скоро она поняла, что это невозможно. Кто ее отпустит? Конечно, она могла бы никого и не спрашивать, а просто выйти на станцию, сесть в любой поезд, идущий на восток, и ехать. Как раз мимо городка пролегал железнодорожный путь, соединяющий Европейскую часть страны с Сибирью... Но она знала, что в школе не хватало людей, что заменить ее некому, что ее отъезд будет похож на бегство, на предательство, на дезертирство. И она решила пока не ехать, а написать письмо.

Она писала его после полуночи, глубокой ночью. Раздавалось сонное дыхание шести учительниц, спавших с ней в одной комнате; брёвна глухо потрескивали от всё еще державшихся уральских морозов, большая железная печь дышала жаром, а в углах поблескивали кристаллики инея. Марья Сергеевна писала на разлинованных листочках, вырванных из школьной тетрадки, писала так откровенно, так просто, как никогда еще не разговаривала с ним. Она и сетовала на их разлуку, и тревожилась за него, и спрашивала, и ласково утешала, и радовалась, что он жив, и обещала всю жизнь отдать заботе о нем. Это большое письмо, полное нежности, доброты, преданности, надежды на счастье, готовности к любым подвигам, было окончено к тому часу, когда учительницы зашевелились на своих кроватях и стали вставать. Утром оно было отправлено.

Но Серову прочесть его не довелось.

Прошло больше месяца, и Марье Сергеевне принесли ее письмо обратно. На конверте между многочисленными круглыми почтовыми печатями стояла надпись, сделанная крупным, корявым почерком: "Адресат выписан 13.3.43 г. и выбыл по назначению".

Серова к этому времени действительно уже не было в Барнауле. Он находился гораздо ближе к Марье Сергеевне - в Свердловске, лежал, там в огромном прославленном госпитале, и знаменитый профессор новейшими средствами лечил у него на ноге свищ.

Когда больше года назад Серова ранили, всем было ясно, что в наиболее угрожаемом состоянии находится его рука. Руку его, перебитую во многих местах, несколько раз собирались отнять - и в полку, и в пути, в эшелоне, и в Барнауле. Барнаульские врачи только после долгих колебаний отказались от мысли ее отрезать

и потом не без удивления следили за тем, как она срасталась. Проходили месяцы, и Серов начинал двигать рукой в плече, потом сгибать ее в локте, потом неуверенно шевелить пальцами. Врачи теперь гордились тем, что не отняли ему руку, и когда он раненой рукой написал свое первое послание Лунину, это было торжество всего медицинского персонала госпиталя.

Кроме сложного перелома руки, у Серова были и другие увечья - обожжено лицо, пулей навылет пробита нога. Ожоги, вначале очень страшные на вид и очень мучительные, зажили довольно скоро. Глаза были целы, брови и ресницы выросли, остались только шрамы в виде нескольких бесформенных светлых пятен на лице. Но с ногой пришлось повозиться.

Рана на ноге заживала вяло, долго, и никак не хотела закрываться окончательно. Она гноилась, и прекратить нагноение не удавалось. В конце концов на месте раны образовался свищ, из которого постоянно сочился гной.

Гнойник, как показал рентген, находился глубоко внутри, на кости. Никакому лечению он не поддавался. Шли месяцы; рука Серова хоть медленно, но восстанавливалась, а нога,оставалась всё в том же состоянии. Серов был не здоров и не болен: нога ныла, когда он ступал на нее, но не сильно, и порой ему казалось, что он мог бы ходить, если бы надел сапоги. Однако врач строжайше запретил ему ступать на больную ногу, и он прыгал на одной ноге по палате, по коридорам, по лестницам, по больничному садику, опираясь на два костыля.

Чего только не передумал он за многие, многие месяцы своего заточения в барнаульском госпитале! Он думал о войне, о будущем родной страны, о своем полке. И о Марье Сергеевне.

О Марье Сергеевне он думал невольно, потому что старался о ней не думать. Он сам удивлялся тому, что она никак не забывается. Ни в чем он ее не винил и считал, что она поступила вполне естественно. Он полюбил ее, а она очень колебалась; он отлично видел, что она колеблется. И верно, какая он ей пара? Он - человек неначитанный, неотесанный...

Огромные события произошли в мире, пока он лежал в госпитальной палате в далеком сибирском городе. Там, в этой палате, следил он по ежевечерним сообщениям радио за отступлением наших войск на юге летом 1942 года, там узнал он о падении Севастополя, о вторичном падении Ростова, о вступлении немцев на Северный Кавказ, о том, что враг дошел до Волги. Там пережил он радость сталинградской победы и прорыва ленинградской блокады. Всё это происходило без него. В то время, когда миллионы людей сражались за справедливость, за счастье родного народа, за будущее человечества, он

бесполезный, ненужный, - лежал, прикованный к койке.

С особенным вниманием прослушивал он и прочитывал всё, что писалось и передавалось по радио об авиации. Боевая жизнь летчиков была ему всего ближе и понятнее. И, кроме того, он всякий раз надеялся найти следы своего полка.

Но надежда эта почти никогда не сбывалась. Видимо, слишком много было авиаполков на огромной линии фронтов от Ледовитого океана до Черного моря. Да и корреспонденты, называя фамилии летчиков, не сообщали по понятным причинам, в каких частях и соединениях эти летчики служат. Всего только два-три раза за всё время Серов встретил в центральных газетах краткие сообщения о подвигах "летчиков из авиачасти, которой командует т. Проскуряков". В одном из этих сообщений упоминалась фамилия Лунина. Но фамилии всех остальных летчиков были Серову незнакомы.

Эти скупые газетные заметки Серов вырезал и хранил в бумажнике, в том отделении, где хранил коротенькое письмецо Лунина. Несколько писем, газетные вырезки - это было всё, что еще соединяло его с полком.

Он боялся, как бы после выздоровления его не отправили в какую-нибудь другую часть. Вначале, когда до выздоровления было еще очень далеко, он не слишком много думал об этой угрозе. Он знал, что выписывающихся из госпиталей обычно направляют вовсе не в те части, откуда они прибыли, но надеялся, что к тому времени, когда дело дойдет до выписки, он что-нибудь придумает, кого-нибудь упросит.

Свищ в ноге не проходил, и врач, лечивший Серова, был удручен не меньше, чем сам Серов. Этот молодой врач окончил медицинский институт в Свердловске и был учеником известного свердловского профессора специалиста по костным заболеваниям. Он написал профессору письмо, профессор ответил согласием, и в середине марта Серов выехал в Свердловск.

Бродя на костылях по трясущемуся вагону, он старался утешать себя тем, что Свердловск всё же ближе к фронту, чем Барнаул. Но, конечно, это было слабое утешение. В свердловском госпитале его уложили в постель, начались исследования, и профессор приказал готовить его к операции.

Оперировали Серова в апреле. Вскрыли гнойник, долбили кость. Профессор предложил совсем другую систему лечения - новейшими методами. Серову предстояло лежать еще месяцы.

В июле и в августе, во время грандиозных боев под Курском и освобождения Левобережной Украины, Серов уже снова бродил по палате. Новейшие методы профессора принесли свои плоды:

нога его действительно зажила, на месте свища остался только шрам. И Серов заволновался - удастся ли ему вернуться в полк.

Представитель местного военкомата, посещавший госпиталь и беседовавший с выздоравливающими, весьма резонно разъяснил ему, что совершенно безразлично, в каком полку служить Родине. И всё же Серову не стало это безразлично, хотя бы потому, что ни в каком другом полку ему не доверят самолет. Он, конечно, выздоровел, но всё-таки после стольких месяцев, проведенных в госпиталях, здоровье его не удовлетворяло тем требованиям, которые обычно предъявляются к здоровью летчиков-истребителей. Кем же он будет? Канцелярским писакой? Начальником склада? Самолет ему могут дать только там, где еще помнят, что он за летчик. И он послал письмо Уварову. Уваров обещал принять меры и сразу же написал и в местный военкомат и в Москву большому начальству.

В последних числах октября положение Серова наконец определилось. Когда его выпишут, он должен ехать в Москву и явиться в один из отделов, руководитель которого уже предупрежден Уваровым.

Выписали его в декабре. Он сдал госпитальный халат и получил документы, погоны, не совсем новое армейское обмундирование - флотского на местном складе не оказалось - и сухой паек на несколько дней. Простясь с врачами, с сестрами, с завистливо глядевшими на него соседями по койке, он, слегка прихрамывая, зашагал на вокзал.

Декабрь был мокрый, много дней шел дождь со снегом, хмурое небо висело над домами. Огромная толпа заполняла вокзал и привокзальную площадь. Десятки тысяч людей ждали поездов и на запад и на восток. Здесь были и женщины, и дети, и множество военных. Поездов не хватало, некоторые ждали уже по нескольку суток. Не без труда Серов добрался до военного коменданта, который хриплым голосом сказал ему, что нужно подождать.

- Когда же вы меня отправите? - спросил Серов.

- Во всяком случае, не сегодня, - ответил комендант. - Вот товарищ полковник ждет со вторника.

Двое суток просидел Серов на своем мешочке в углу вокзала, прислушиваясь к возбужденному говору толпы, к шуму дождя за окнами, и не знал, что предпринять. Там, в углу, познакомился он с одним пехотным лейтенантом, очень длинным и очень молодым, направлявшимся в свою часть куда-то за Москву. Лейтенант этот жаждал деятельности, и ожидание для него было нестерпимо. Он убеждал Серова, что нечего ждать прямого поезда на Москву, что главное - выбраться из Свердловска, а там уж они

доедут.

- Чтобы доехать, надо ехать, - твердил он.

Через Свердловск на запад постоянно следуют различные воинские эшелоны. Почему бы им не попытаться разыскать такой эшелон и не попросить подвезти? Для этого прежде всего нужно выйти на пути и осмотреть все составы. Серов не вполне был убежден, что таким способом можно уехать, но ждать был больше не в силах и послушно побрел за лейтенантом.

Они долго бродили под дождем между вагонами, спотыкаясь в темноте о рельсы. И действительно нашли эшелон, к которому был уже прицеплен пыхтящий паровоз. Два десятка товарных вагонов с бойцами и один пассажирский. Это двигался куда-то отдельный саперный батальон. Лейтенант бесстрашно открыл дверцу пассажирского вагона, и они поднялись в тамбур. Их встретил инженер-майор с седыми висками. Длинный лейтенант объяснил, кто они такие, куда направляются, и попросил подвезти.

- Охотно бы подвез, - сказал инженер-майор, - да мы сами даже до Молотова не доедем. Какие мы вам попутчики!

Но лейтенант твердил свое: чтобы доехать, надо ехать. У него был большой опыт передвижения по железным дорогам во время войны. Молотов ближе к Москве, чем Свердловск. А там, под Молотовом, подвернется какая-нибудь новая оказия, и они двинутся дальше... Инженер-майор не возражал, и Серов с длинным лейтенантом оказались в вагоне.

Эшелон тянулся медленно, подолгу стоял на станциях. Офицеры саперного батальона читали книги, играли в карты, писали письма. Путешествие было для них отдыхом. Все они были мостостроители, и задача их батальона заключалась в том, чтобы чинить железнодорожные мосты на тех линиях, по которым продукция уральских заводов шла к фронту. Серов всю ночь пролежал без сна на вагонной полке, прислушиваясь к стуку колес и плеску дождя. Мысль, что он уже не в госпитале, что он едет на фронт и скоро будет у себя в полку, не давала ему заснуть. Заснул он только утром, когда уже рассвело, и, утомленный, проспал в,есь день.

Растолкал его длинный лейтенант.

- Вставайте, надо вылезать, - сказал он. - Поезд дальше не пойдет.

Был уже шестой час, темнело. Всё еще лил дождь. Саперы выгружались из вагонов.

- Где мы? - спросил Серов.

- А чёрт его знает! - сказал длинный лейтенант. - Городишко какой-то... забыл название. Молотовская область... Пойдем искать

коменданта.

Он быстро зашагал по путям, Серов едва поспевал за ним, прихрамывая. На стене станционного здания прочитал он название городка.

И вздрогнул.

Это был тот самый городок, куда эвакуировалась школа, в которой до войны работала Марья Сергеевна.

Сюда он писал письма из полка, отсюда ему написал директор школы, что Марьи Сергеевны в школе нет.

Здесь ли еще эта школа? Вероятнее всего, еще здесь. Может быть, и директор этот еще здесь...

Комендант вокзала настойчиво объяснил им, что они сделали глупость. Если бы они подождали в Свердловске, их в конце концов посадили бы на прямой московский поезд. И не так уж долго пришлось бы ждать. А здесь им на это рассчитывать нечего. Московский поезд проходит переполненный, стоит тут четыре минуты, и посадки никакой не производится. Да и эшелонов в ближайшие часы не предвидится. Он посоветовал им устраиваться на ночлег и пообещал завтра посадить в поезд, идущий в Киров.

Старуха-уборщица предложила им переночевать в ее домике возле самой станции и даже посулила поставить самовар. Длинный лейтенант сразу поднял свой чемодан и пошел за нею, но Серов, к его удивлению, предпочел остаться на станции. Серова не прельщали бесконечные разговоры с лейтенантом, душная комната, самовар. Ему хотелось побыть одному.

Он сидел на крашеной лавке в пассажирском зале и думал. Мысль о том, что школа, в которой когда-то работала Марья Сергеевна, находится где-то здесь, за пеленой дождя, не давала ему покоя. И хотя ему достоверно было известно, что Марьи Сергеевны там сейчас нет, в нем нарастало желание пойти и посмотреть на эту школу. Он отлично сознавал, что смысла тут нет никакого, и всё же его тянуло встать и пойти. Почему действительно не поискать? Он выспался днем и спать всё равно не может...

Он стал расспрашивать железнодорожницу в красной шапке, и оказалось, что та отлично знает ленинградскую школу. Но до нее не близко. От станции до города километра три, а школа в том конце города, возле реки...

Серов вскинул свой мешок на плечи и вышел. Уже совсем стемнело. Длинная вереница редких фонарей отражалась в лужах. Он зашагал по деревянным мосткам от фонаря к фонарю вдоль пустынной улицы, застроенной низкими деревянными домами. Дождь хлестал его по лицу. За час ходьбы шинель его впитала в

себя столько воды, что стала твердой. Тяжелая фуражка прилипла к голове. Увидев трехэтажный кирпичный дом, он понял, что находится уже в городе. Вот сквер с березками и памятником Ленину. Это, конечно, центр. Где же школа?

Девушка в форме милиционера объяснила ему, как пройти. Вот по этой улице, третий поворот направо. Там в переулке единственное двухэтажное здание.

Он опять зашагал. Здесь фонари были еще реже, а когда он свернул в переулок, то оказалось совсем темно. Где же двухэтажное здание? Ноги его вязли в мокрой глине. Электрическую лампочку между двумя столбами мотало ветром. Свет ее тускло озарял высокое деревянное крыльцо под навесом. На крыльце стояла женщина небольшого роста, закутанная в платок.

- Где здесь школа? - спросил ее Серов.

Женщина закрыла лицо руками и заплакала. Тогда он узнал ее.

- Маша! - крикнул он и взбежал на крыльцо.

Она обняла его и прижалась лицом к его мокрой шинели.

* * *

Всё, что разъединяло их - сомнения, подозрения, неуверенность, - всё разом рухнуло, исчезло, рассеялось без следа, едва она заплакала и он увидел, как она плачет.

Они почувствовали себя самыми близкими людьми на свете, и для этого им не понадобилось никаких объяснений. Да они и не объяснялись. Для них важно было только находиться друг возле друга, только глядеть друг на друга в продолжение тех нескольких часов, которые еще отделяли их от новой разлуки.

Марья Сергеевна сказала, что к ней приехал муж, и весть эта мгновенно облетела всю школу. Никто не знал, что Марья Сергеевна замужем, но никто ни о чем ее не спрашивал. Директорша, несмотря на всю свою суховатость, несмотря на то что она, несомненно, недолюбливала Марью Сергеевну, сразу уступила ей свой кабинет, без всякой просьбы с ее стороны, а сама перешла в комнату к учительницам. На этот вечер и на завтрашнее утро Марья Сергеевна была освобождена от всех своих обязанностей - и не по приказу, не по уговору, а просто всякий раз, когда она должна была что-нибудь сделать, находились руки, которые охотно, безропотно делали это за нее. Даже любопытством ей не особенно досаждали, даже не слишком старались рассмотреть ее мужа, понимая, как дорога для них каждая минута, проведенная вдвоем.

Марья Сергеевна больше не плакала. Сидя на протертом кожаном диванчике рядом с директорским письменным столом,

она держала Серова за руку и сбивчиво рассказывала, а он слушал, не столько вникая в ее слова, сколько следя за ее лицом. Он видел, что она изменилась, но она не казалась ему ни постаревшей, ни подурневшей; напротив, лицо ее было ему еще дороже оттого, что на нем остались следы времени, лишений и тревог. Она тоже видела, как он осунулся, похудел, ослабел, заметила шрамы у него на лице, заметила, что он хромает, и вся трепетала от любви и жалости к нему.

Он расспрашивал про Ириночку и Сережу, хотел их видеть, всё порывался идти к ним и этим тронул ее. Ириночка и Сережа уже ложились спать вместе со всеми детьми, но утром их, едва они проснулись, привели к матери. Ириночка, тоненькая и длинная, ростом уже почти догнавшая мать, сразу узнала Серова, но обошлась с ним сдержанно, была молчалива и тревожно поглядывала на него большими недоверчивыми глазами. Сережа, напротив, Серова не узнал и вспомнил только когда ему напомнили, но сразу стал обращаться с ним, как с самым коротким знакомым, забрался к нему на колени и даже на плечи, задавал тысячи вопросов, выпрашивал пуговицы, звездочки с погон.

Утром Марья Сергеевна пошла проводить Серова на станцию. Холодный дождь всё еще брызгал из низких туч. Взявшись за руки, они шли по длинной, мокрой, плохо вымощенной улице, и им хотелось, чтобы улица эта не имела конца. Еще целых два километра до станции. Еще километр. Еще нужно пройти по деревянному мосту через овраг. Но вот и площадь, вот и низкое, грязновато-желтое станционное здание. Конец.

Длинный лейтенант, выспавшийся, умытый, в начищенных сапогах, в лихо заломленной фуражке, совсем был сбит с толку, когда узнал, что Серов разыскал в этом неведомом городишке свою жену. Толкотня в комендантской, очередь за посадочными талонами. Потом молчаливое ожидание на деревянной платформе. Подошел поезд. Серов наклонился и в последний раз прижался к ее мокрой от слез и дождя щеке.

Она пробежала платформу до конца вслед за всё быстрее движущимся вагоном, а он с непривычным чувством счастья глядел на нее сквозь мутное стекло.

2.

Лунин и Татаренко задержались в Ленинграде почти на двое суток. После сопровождения транспортного самолета, пришедшего из партизанского края, они получили приказание явиться завтра вечером в штаб ВВС к генералу.

Ночевали они вместе с Уваровым на аэродроме в маленькой комнатке для приезжих. Но спали только Уваров и Татаренко.

Лунин за всю ночь ни разу не закрыл глаз.

Промаявшись на койке часа два, он потихоньку оделся и вышел во двор. Дул порывистый ветер, холодный дождь сек лицо. Давно пора было установиться зиме, но в тот год осень затянулась, и весь декабрь шли дожди. Впрочем, Лунин не замечал ни дождя, ни ветра. Всю ночь, к удивлению часовых, прошагал он взад и вперед по мокрой дорожке перед дачкой.

Он вспоминал, вспоминал... Он отчетливо вспоминал ее голос, словно она только что говорила с ним. Он вспоминал, как она смеялась, как ела варенье; стуча ложечкой о зубы, как она, закинув руки, скручивала косы в узел. Теперь это всё далеко, далеко! Безвозвратно!..

В течение многих лет он видел ее каждый день, мог в любую минуту заглянуть ей в глаза, чувствовал ее рядом с собой, слышал ее дыхание. И вдруг она исчезла. Он потерял ее. Как шла ее жизнь, когда-то такая ему близкая, без него? Как встретилась она с тем человеком, который стал ее новым мужем? Где родилась ее дочка? Где застала ее война и как очутилась она там, за линией фронта, в каком-то партизанском отряде? Что она делала, думала, любила? Он этого не знает, не узнает никогда...

Он больше ни в чем ее не винил. Ему даже странным и удивительным казалось, что он так долго и упорно считал ее виновной. В чем?

Разве она обязана была его любить? За что? Что он сделал такого? Он поселил ее в глуши, на аэродроме, он был занят самолетами, видел ее только по ночам и нисколько не интересовался ее жизнью, заранее почему-то уверенный, что она всем довольна. И при одной мысли о том, что она любит не его, а другого, он весь отдался гневу и ярости. Он и знать ничего не хотел, он хотел судить и наказать... За что судить и наказать?

И вот опять на мгновение две их жизни случайно встретились. Она об этом никогда не догадается. Ей и в голову никогда не придет, что он охранял самолет, в котором она летела, что он видел ее, больную, на носилках... Чем она больна? Выздоровеет ли она? Он никогда даже не узнает, выздоровела она или нет... Муж, хромая, шел рядом с носилками. Этот человек, несомненно, любит ее, это было видно по каждому его движению. Лунин не испытывал ни малейшей вражды к ее мужу. А какая у них девочка! Лизина девочка!.. Может быть, если бы у Лунина и Лизы были дети, ничего не случилось бы... И он опять без конца вспоминал ее голос, руки, смех, ее лицо, склоненное над книгой. Всё безвозвратно...

Они с Татаренко были свободны до вечера следующего дня и с утра поехали в город. Выйдя из трамвая, они долго бродили по

мокрым улицам. Лунин молчал. Татаренко стал рассказывать ему о своей вчерашней встрече на пригородном аэродроме с летчиками-штурмовиками, теми самыми, которых они столько раз охраняли во время штурмовок. В стольких боях побывали они с ними вместе, а на земле ни разу не видались.

- Штурмовики меня сами разыскали, - рассказывал Татаренко. - Я стою, курю, вдруг слышу - кто-то сзади говорит: "Вот лунинец".

Лунин нахмурился.

- Мы рассохинцы, - сказал он.

- И рассохинцы и лунинцы. Все знают, что рассохинцы и лунинцы - одно и то же... Оборачиваюсь, смотрю, - майор и два капитана. Трясут мне руку, обхватили за плечи, бьют по спине. "Вот, - говорят, - кто нас столько раз выручал!" Это не про меня, конечно, а про всю нашу эскадрилью. Они каждого нашего летчика знают, сразу узнают в воздухе. Вот уж мы с ними поговорили, повспоминали...

Впереди виден был мост, ведущий на Васильевский остров.

- Куда мы идем? - вдруг спросил Татаренко.

Ему только сейчас пришло в голову, что Лунин ведет его куда-то.

Лунин тряхнул головой и посмотрел по сторонам. Он, кажется, сам забыл, куда собирался идти. Потом вдруг вспомнил:

- К Соне. Надо же где-нибудь подождать...

Татаренко остановился посреди тротуара:

- Не пойду.

- Почему?

- Ну, словом, не пойду.

- Да почему же?

- Она вовсе не желает меня видеть.

- Вы в этом уверены?

- Ясно, уверен.

Лунин внимательно посмотрел на Татаренко.

- Проводите меня, - сказал он решительно. - Я подымусь к ней, а вы подождете меня на дворе...

- У нее на дворе не хотелось бы, товарищ майор...

- Ну, на набережной против университета.

- Есть подождать на набережной!

Соня очень обрадовалась Лунину, поспешно повела его на кухню, усадила за кухонный стол, заваленный учебниками и тетрадками, и сразу же стала готовить ему чай.

Он подивился, как она повзрослела и похорошела за то время, что он ее не видел.

Заговорили они, конечно, прежде всего о Славе. Лунин похвалил Славу за то, что он неплохо учится, и сказал, что, если

Слава и впредь будет так же любить самолеты, из него может выйти хороший инженер.

Он стал расспрашивать Соню, как она живет, и она охотно ему отвечала. Жизнь ее попрежнему делилась между работой и подготовкой к экзаменам. Попрежнему ей не хватало времени на занятия, а ведь до экзаменов осталось меньше полугода. Лунин видел, что экзамены действительно очень тревожат ее, - она даже менялась в лице, когда говорила о них.

Рассказывала она и о своей работе. Слушая ее и глядя на нее, Лунин думал о том, сколько уже повидали ее молодые глаза, сколько уже сделано ее девичьими, почти детскими руками...

О Татаренко она ничего не спросила. И Лунин осторожно заговорил о нем сам. Он как бы невзначай упомянул, что прилетел в Ленинград вместе с Татаренко. Глаза ее стали строгими, блеск в них потух. Она сразу перевела разговор на другое. Но по лицу ее Лунин безошибочно видел, что она взволнована. Она теперь сама заговорит, только нужно подождать. И он ждал.

И она заговорила. Но не о Татаренко, а о Хильде.

Так вон оно что! Лунин в глубине души усмехнулся.

Она сказала, что у них в эскадрилье ей очень понравилась Хильда. Правда, Хильда удивительно красива? Лунин этого не мог отрицать.

- Мы так к ней привыкли, что уже не замечаем ее красоты, - сказал он. - А надо признать, она на редкость красивая девушка. Как фарфоровая: голубые глаза, нежнорозовые щёки. Ноздри, губы, уши - всё словно выточено.

- Один только недостаток, - сказала Соня: - слишком неподвижное лицо. Я не могу понять, умна ли она.

Этот вопрос поставил Лунина в тупик. Никогда не задумывался он над тем, умна ли Хильда.

- Она умна сердцем, - сказал он, стараясь быть справедливым.

Он объяснил, что Хильда - девушка с глухого эстонского хутора, дочь батрачки, и всё образование ее - два класса сельской школы. Требовать от нее глубоких познаний нелепо, но в жизни она безошибочно чувствует, где правда. Она прошла весь боевой путь эскадрильи вместе с летчиками. В самые трудные времена она отлично делала свое маленькое дело и была верным товарищем. И летчики так привыкли к ней, что уже не могут представить себе свою эскадрилью без Хильды. Она как бы связывает воедино прошлое эскадрильи с настоящим, она им особенно дорога тем, что была дружна с теми, кого уже нет, - с Байсеитовым, Чепелкиным, Кабанковым. Рассохин, их прежний командир, перед самой своей смертью заботился о Хильде, отдал

ей свой тулуп...

- И он обязан любить ее и не смеет ее мучить! И вы, как его командир, должны сказать ему...

Сонины черные брови сошлись над переносицей, глаза заблестели, щёки горели.

- Кому? - спросил Лунин, делая вид, что ровно ничего не понимает.

- Вашему Татаренко!

Соня встала.

Вмешательство необходимо было немедленное.

И Лунин засмеялся.

Он вслушивался в свой смех и радовался, что смеется так естественно.

- Татаренко? А при чем здесь Татаренко? - Лицо его выражало полное недоумение. - Вздор! Чепуха! - Он продолжал смеяться. - Вот уж кто-кто, а Татаренко не имеет к Хильде никакого отношения. За полтора года, что Татаренко в эскадрилье, он ни разу даже не взглянул на Хильду. Да и Хильда не из таких, чтобы заглядываться на молодых людей, которые не обращают на нее внимания... И от кого это вы наслушались такой чуши? Наверно, от этого младенца, от Славы. Уморительно! Слава рассуждает о любви, вот до чего дело дошло!..

Лунин смеялся, а Соня слушала, и лицо ее яснело.

- Я давно его не видела... - сказала она.

- А хотели бы повидать?

- Где он? - спросила Соня, порозовев.

- Он внизу... На набережной против университета... Озяб наверно... Он не хотел подняться...

- Не хотел? Почему?

- Он боится.

- Боится?

- Боится, что вы ему будете не рады...

Соня вскочила с табурета, потом села опять.

- Пойдите за ним, - сказал Лунин. - А я вас здесь подожду.

Соня опять поднялась с табурета, но остановилась, колеблясь.

- Пойдите, пойдите...

Она накинула на себя платок и стремительно выскочила из квартиры. Звонко щелкнул дверной замок.

Через пять минут они явились оба - улыбающиеся, смущенные. Втроем пили чай. Соня и Татаренко разговаривали не между собой, а только с Луниным, но всё время поглядывали друг на друга.

Еще до вечера оставалось очень много времени, но Лунин внезапно поднялся и собрался уходить. Татаренко вскочил тоже,

но Лунин строго сказал, что обойдется без провожатого. И ушел один.

Лунин встретил Татаренко и Уварова вечером у командующего. Им был зачитан приказ, из которого они узнали важные новости. Гвардии полковник Проскуряков назначался командиром дивизии. Командиром полка назначался гвардии подполковник Лунин. Гвардии старший лейтенант Татаренко назначался командиром второй эскадрильи.

Лицо Татаренко порозовело от гордости.

Уваров заметил этот румянец и нахмурился.

- А вы понимаете, что за эскадрилья, которую вам доверяют? - спросил он.

- Понимаю.

- Вы сбережете ее людей? Вы не растратите ее славы?

- Клянусь! - сказал Татаренко.

Лунин протянул руки, обнял Татаренко и поцеловал.

3.

Серов попал в Москву в ту незабываемую эпоху ее существования, когда каждый вечер небо над ней озарялось салютами в честь освобождения всё новых городов. Впрочем, приехал он рано утром. Шагая по горбатым улицам, посыпанным свежим тающим снежком, вдыхая мягкий воздух, Серов испытывал то радостное волнение, которое испытывает каждый русский человек, редко бывающий в Москве и вдруг по воле случая, проездом, попавший в нее - на несколько часов или дней. Все улицы, переулки, бульвары, башни, огромные дома и маленькие домики казались ему родными, знакомыми с детства, хотя большинство из них он видел в первый раз. С удовольствием брел он пешком через весь город, разыскивая то важное военное учреждение, в которое направлялся, невольно улыбаясь детям, играющим на панелях, женщинам, сидящим у ворот, милиционерам, площадям, трамваям, деревьям...

Генерал, начальник отдела, был очень занят и в этот день принять его не мог. Серова попросили подождать и предоставили ему койку в офицерском общежитии. В этом общежитии Серову пришлось встретить Новый, 1944 год, потому что генерал его не принял ни через день, ни через три, ни через пять. Серов стал уже думать об этом генерале очень дурно. Но когда прием наконец состоялся, переменил мнение. Генерал оказался сухоньким, учтивым старичком без всякой генеральской важности. Он принял Серова радушно.

- Знаю, знаю - рассохинец, - сказал он.

Он был знаком с историей Серова по письмам Уварова и настойчиво расспрашивал его о здоровье. Серов насторожился и

упорно утверждал, что он совершенно здоров. Он старался возможно меньше двигаться по кабинету, опасаясь, как бы генерал не заметил его хромоты.

- Ну что ж, - сказал генерал, - мы, конечно, разбазаривать людей, сражавшихся вместе с Рассохиным и Луниным, не собираемся. Вы наш, нашим и останетесь. Поезжайте в полк, а там решат, как вас использовать.

И, подумав, прибавил:

- Вы, пожалуй, в самое интересное время приедете.

- Что-нибудь готовится? - набравшись смелости, спросил Серов.

- Всё может быть, всё может быть...

К смущению Серова, генерал встал из-за стола и проводил его до дверей кабинета. Он попросил передать привет Уварову, с которым когда-то вместе учился. Уже у самых дверей, он вдруг спросил:

- Вы, разумеется, знаете Татаренко?

Но Серов никогда даже не слышал такой фамилии.

- Значит, он попал в полк, когда вы уже были в госпитале, - сказал генерал. - А я хотел вас о нем расспросить... Ну, познакомитесь. Выдающийся летчик!

Серов представления не имел о том, где в настоящее время находится его полк. Из Москвы его направили. в Ленинград, в штаб ВВС Балтийского фронта, - там он должен был получить дальнейшие указания. До Ленинграда он ехал четверо суток: через Вологду, Череповец, Волховстрой и Шлиссельбург, год назад отбитый у немцев. И пока Серов глядел через вагонное стекло на разбитые станции, на кирпичные печи сгоревших домов, на искалеченный артиллерией лес под Ленинградом, началось новое грандиозное наступление наших войск.

* * *

Удар, нанесенный под Ленинградом по северной группировке немецких армий в мокрые январские дни ровно через год после прорыва блокады, был первым из десяти сокрушительных ударов 1944 года, в результате которых враг оказался окончательно изгнанным из нашей страны.

Разгрому немцев под Ленинградом очень помог небольшой плацдарм, удерживаемый нами с сорок первого года на южном берегу Финского залива в районе Ораниенбаума, к западу от захваченного немцами Петергофа. Этой узкой прибрежной полоске земли, отрезанной от Ленинграда, но находившейся под надежной защитой кронштадтских орудий, немцы, видимо, не придавали большого значения, так как не делали серьезных попыток овладеть ею. А между тем именно благодаря тому, что

Ораниенбаум находился в наших руках, удалось нанести по немцам не один удар, а два одновременных, концентрически сходящихся - со стороны Ораниенбаума и со стороны южных окраин Ленинграда. Обе наступающие группы наших армий устремились навстречу друг другу в направлении поселка Ропша, и после их соединения основные вражеские силы, расположенные возле самого города в районе Петергофа, Стрельны, Лигова, неизбежно должны были попасть в мешок.

Наступление началось четырнадцатого января, а Серов прибыл в Ленинград утром пятнадцатого. Воздух над городом тяжело вздрагивал от артиллерийского гула. Немецкие орудия в Стрельне методически били по городу, и снаряды с воем проносились над улицами. Звенели и сыпались стёкла. Но в городе прислушивались не к разрывам немецких снарядов, а к могучему гуденью фронта, ко всё заглушающему грохоту наших пушек.

В штабе ВВС все были чрезвычайны заняты. Гремели телефоны, трещали пишущие машинки, писаря и адъютанты с ворохами бумаг в руках носились вверх и вниз по лестницам. Некоторые офицеры, служившие в штабе с начала войны, узнавали Серова, радостно ему улыбались, но посидеть с ним и поговорить не имели времени. Пожелтевшие от бессонных ночей, от табачного дыма, они не только заняты были своей штабной работой, но и спешно готовились к переезду: штаб собирался двигаться на запад вслед за войсками, флотом и авиацией.

Адъютант начальника штаба передал Серову приказание явиться в штаб своей дивизии. Оказалось, что штаб дивизии находится уже на южном берегу, где-то за Ораниенбаумом.

С волнением ехал Серов в кузове грузовика по льду Маркизовой лужи, еще не очень прочному, в котором кое-где чернели и дымились полыньи. Как тут всё знакомо! Вон Исаакий, вон гигантский кран Северной верфи, а там, впереди, кулич Кронштадтского собора. Сколько раз Серов пролетал здесь осенью сорок первого года, сколько раз видел он очертания этих зданий! Вон длинный, низкий Лисий Нос, а вон и синяя полоска петергофского берега. Сколько раз он видел, как оттуда черными стаями летели "Юнкерсы", и сколько раз он вылетал им навстречу...

Серов встретил в пути знакомого авиатехника, который рассказал ему, что лунинская эскадрилья в течение многих месяцев стояла на острове к западу от Кронштадта. Серов вспомнил этот остров: неподалеку от него произошел когда-то тот бой в тумане, возвращаясь из которого погиб Чепелкин...

- Но их там уже нет, на острове, - сказал техник. - Сейчас всё

движется.

За Ораниенбаумом грохот фронта стал грозным и оглушительным. Серов ехал среди множества машин, орудий, понтонов, двигавшихся в одном с ним направлении. Это резервы и тылы старались догнать уходящий всё дальше фронт, Какие здоровые, молодые, веселые лица у бойцов, какая техника и сколько ее!

Но Серова, конечно, больше всего поражали самолеты.

Чем дальше он ехал, тем чаще видел он их над собой из кузова своей машины. С грозным гуденьем низко над лесом проносились эскадрильи штурмовиков. Многие десятки бомбардировщиков, внезапно заполнив всё небо, двигались в строю, как на параде. И высоко-высоко в посветлевшем небе поблескивали при поворотах быстрые стайки истребителей, как рыбки в светлой заводи. Воздух с утра до вечера звенел от пения моторов. Сколько теперь самолетов у Советской державы, и всё - новые! Ни одного такого, как тот, на котором сражался Серов в сорок первом.

Штаб дивизии помещался на брошенном немцами аэродроме, в уцелевшем здании, из окон которого видно было лётное поле с остовами сгоревших на земле "Юнкерсов". Часть штабного имущества находилась еще в машинах; вестовые перетаскивали на себе столы, пишущие машинки, ящики с бумагами, а связисты тянули провода, налаживая связь с полками.

"Вот если бы Проскуряков принял меня!" - думал Серов, пока часовой у дверей проверял его документы.

Но Проскуряков, командир дивизии, находился где-то в частях. Серова принял заместитель начальника штаба, подполковник, человек новый, с незнакомой Серову фамилией. Однако о Серове он слышал:

- Серов? Тот самый? Рассохинец?

С любопытством оглядев Серова, он подробно расспросил его о здоровье, потом с сомнением покачал головой и сказал:

- Нет уж, пускай подполковник Лунин сам решает, как вас использовать.

Он тоже, как и генерал в Москве, удивился, узнав, что Серов никогда не видел Татаренко. Задав еще несколько вопросов - об Урале, о жизни в тылу, подполковник приказал дежурному по штабу:

- Соедините старшего лейтенанта с полком Лунина. И Серов весь затрепетал от радости, когда наконец из глубины телефонной трубки до него донеслось:

- Капитан Тараракси слушает! Казалось, это был голос самого полка, знакомый и родной голос.

- Серов! Рад, что вы здоровы! Майор Шахбазьян шлет вам привет, он стоит рядом у телефона и приказывает вам явиться в полк. Там, в дивизии, наша машина. Разыщите ее и приезжайте. Сейчас на командный пункт зашел Деев и тоже просил передать привет. Видите, сколько нас, старичков, еще осталось...

Через два часа Серов прибыл в полк.

Просторный аэродром полка был полон самолетов. Прекрасные, незнакомые Серову боевые машины, поражавшие изяществом и силой, дежурили у старта, разбегались, взлетали, строились в воздухе, уходили в бой, возвращались, садились, и из них безучастие смотрели на шагавшего по аэродрому Серова летчики с незнакомыми лицами. И Серов оробел. Он вдруг почувствовал себя маленьким, ненужным. Неужели это его полк, тот самый, в рядах которого он когда-то сражался, о котором столько мечтал, лежа на госпитальной койке? Доверят ли ему такой самолет? Научится ли он когда-нибудь управлять им? Ведь он столько времени не брался за штурвал...

Нужно было спросить у кого-нибудь, как пройти на командный пункт. Какой-то плечистый мужчина в синем лётном комбинезоне стоял у самолета, повернувшись к Серову обширной спиной.

Услышав шаги Серова, он обернулся, и Серов увидел знакомое широкое лицо, покрасневшее от солнца и ветра.

- Товарищ командир полка, старший лейтенант Серов явился...

Но договорить ему не удалось.

Две сильные руки обняли его, горячая мягкая щека прижалась к его щеке. Лунин, пыхтя от волнения, мял его в объятиях. А поодаль, не смея приблизиться, толпились незнакомые молодые летчики и шептали с почтительным удивлением:

- Серов! Тот самый!

* * *

Им долго не удавалось остаться наедине. Лунин был очень занят: выслушивал донесения, отдавал приказания, - там, за лесом, где громыхал фронт, шел непрерывный бой, и самолеты то садились, то взлетали. У него не было ни мгновения, чтобы поговорить с Серовым. Однако он время от времени ласково взглядывал на него, скосив глаза, и Серов знал, что он о нем не забыл. Наконец улучив минуту, Лунин крикнул двум молодым летчикам:

- Карякин! Рябушкин! Сведите-ка старшего лейтенанта Серова в столовую.

- Константин Игнатьич, куда вы меня назначите? - спросил

Серов.

- После, после поговорим. Сначала поужинайте.

Карякин и Рябушкин, польщенные выпавшим на их долю поручением, отвели Серова в столовую.

- У нас в столовой когда-то работала девушка Хильда, - сказал Серов. Эстонка...

- Хильда здесь, - проговорил Карякин. - Наверно, на кухне. Сейчас явится.

Но ужин им подала не Хильда, а незнакомая Серову девушка.

- А где Хильда? - спросил ее Карякин.

- Только что здесь была, - ответила девушка. - Я ее позову.

Она вышла, и слышно было, как за стенкой перекликались девичьи голоса:

- Где Хильда? Ее старый летчик спрашивает...

- Хильда, Хильда!

- На продсклад ушла...

- Сейчас придет!..

Они уже вышли из столовой и довольно далеко отошли от нее, как вдруг услышали, что кто-то их догоняет. Серов обернулся и увидел Хильду.

Раскрасневшаяся от волнения, от бега, она была такая же красивая, как раньше. Долго трясла она руку Серову и не отпускала. Румяные пухлые губы ее улыбались, но в голубых глазах, прямо на него смотревших, стояли слезы.

- Теперь я буду опять подавать вам в столовой, как раньше, - сказала она.

У Серова тоже сверкнули в глазах слезы.

- Вы помните, помните?..- спрашивал он ее.

Глаза ее потемнели.

- О, все они у меня тут! - сказала она торжественно, коснувшись рукой своего сердца.

Потом, тряхнув головой, опять улыбнулась ему губами:

- Слышите, как гремит?

За лесом, не умолкая, гремела артиллерия.

- Там Эстония, - продолжала она. - Совсем близко... Мы с вами вместе были в Эстонии и скоро вместе вернемся...

Спеша на командный пункт полка, Серов старался как можно меньше хромать, но у хромоты его было ужасное свойство: она от волнения увеличивалась. В сооруженной за одну ночь землянке командного пункта Серов был встречен радостными возгласами майора Шахбазьяна. Оказалось, Шахбазьян отлично знал о всей переписке Серова с Уваровым и сам, со своей стороны, много раз просил Уварова помочь Серову вернуться в полк.

- А как же иначе! - гудел Шахбазьян. - Ведь вы - наш,

коренной. Я говорил Уварову: "Иван Иваныч, Серов в полку вырос, в полку сражался, помогал строить полк. Если у полка добрая слава, так в этом заслуга и Серова. Неужели мы его упустим!.."

Он несомненно от всей души был рад Серову. Но в то же время вовсе, кажется, не был уверен, что Серову можно сразу доверить боевой самолет. Серов догадался об этом по слишком подробным вопросам о здоровье, которые задавал ему начальник штаба полка, насторожился и насупился.

- Вы живите, присматривайтесь, - говорил Шахбазьян.- А уж мы найдем, как вас использовать...

В третий раз услышав это неопределенное обещание "использовать", Серов совсем запечалился и поник головой.

Но тут внезапно из темного угла землянки раздался голос Лунина:

- Товарищ майор, ведь Серов - летчик.

- Я это знаю, товарищ командир, - сказал Шахбазьян. - И знаю, какой он летчик!

- Летчик он выдающийся! - проговорил Лунин.

- Но этот выдающийся летчик два года не садился в самолет! - сказал Шахбазьян.- Он был тяжело ранен, он ослабел, он хромает...

- Он на земле хромает, а не в воздухе, - проговорил Лунин. - Я привык с ним летать, и он будет моим ведомым, как был когда-то. Не сомневаюсь, что за две недели нам удастся его подготовить... Хромых, проводите старшего лейтенанта в наш кубрик и поставьте ему койку рядом с моей...

В кубрике Серов заснул, едва голова его коснулась подушки. Но поздно ночью он внезапно открыл глаза и увидел Лунина, который стелил себе соседнюю койку.

Лунин ему улыбнулся.

- Константин Игнатьич, а я женился, - неожиданно для себя произнес Серов.

- На ней? - спросил Лунин.

- На ней.

- Хорошо! - сказал Лунин, но в голосе его не было настоящей уверенности.

- Очень хорошо! - сказал Серов. Лунин вздохнул, улегся и замолчал. Разговор прекратился.

Но минут через десять Серов спросил тихонько:

- Константин Игнатьич, вы не спите?

- Не сплю.

- Хочу вас спросить... Это вы вывезли из Ленинграда женщину с двумя детьми? Девочка Ириночка и мальчик Сережа...

Лунин ответил не сразу. Внезапно он сел на постели:

- Это была она?

- Она.

Лунин долго молчал, потрясенный.

- Ну, тогда и вправду всё очень хорошо.

4.

Для двойного удара, нанесенного немцам под Ленинградом в январе 1944 года, характерно сложное и в высшей степени точное взаимодействие между артиллерией, пехотой, танками и всеми тремя родами авиации бомбардировочной, штурмовой, истребительной. Шел мокрый снег, в десяти метрах ничего не было видно, и тем не менее над передним краем немцев каждые пять минут появлялись отряды наших бомбардировщиков, охраняемых истребителями, и сбрасывали бомбы. Когда артиллерия и бомбардировочная авиация разорвали немецкую оборонительную полосу, в образовавшийся прорыв хлынули тяжелые танки. Но танки шли не одни, - в воздухе их сопровождали самолеты-штурмовики. С каждым танковым соединением взаимодействовало шесть небольших групп штурмовиков, покидавших поле боя только после появления смены. С каждой группой штурмовиков взаимодействовала группа истребителей. Истребители охраняли танки и штурмовики с воздуха и вели разведку, обнаруживая вражеские огневые точки и узлы сопротивления.

В головном танке каждой танковой колонны находился авиационный офицер, поддерживавший по радио беспрерывную связь с истребителями и штурмовиками.

- Товарищ капитан, дайте работенку, - то и дело обращались к авиационному делегату в танке летчики-штурмовики.

Тот откидывал верхний люк, осматривался и передавал:

- Смотрите влево... Видите два танка? Это наш дерется с немецким. Немецкий - черный. Видите?

- Вижу. Сейчас помогу.

Штурмовик разворачивал свой самолет влево, и мутной тенью в падающем снегу проскальзывал над черной бронированной коробкой. Немецкий танк мгновенно вспыхивал.

- Товарищ капитан, как дела? - спрашивал штурмовик, желая знать результаты своей работы.

- Нормально.

Когда танки попадали в полосу сильного огня, которую трудно было преодолеть, авиационный делегат кричал:

- Татаренко, поглядите, откуда стреляют!

Истребители, проносясь в тумане над самой землей, выясняли расположение немецких противотанковых батарей, и штурмовики получали "работенку".

- Как дела?

- Нормально. Танкисты не в обиде.

В этих боях совместно с танками и штурмовиками эскадрилья под командованием Татаренко участвовала с первого дня наступления. Сражаться в таком тесном взаимодействии с наземными частями было тяжело, но ново и увлекательно. В условиях боя точное распределение обязанностей невозможно, - танкистам и штурмовикам приходилось иногда становиться разведчиками, а истребителям штурмовать. В тех случаях, когда, летя впереди танков на разведку, истребители обнаруживали где-нибудь на перекрестке дорог колонны вражеских солдат или автомашин, они не дожидались подхода штурмовиков, а начинали штурмовать сами.

Татаренко скоро пристрастился к этим штурмовкам. Истребители не имели возможности, подобно штурмовикам, разрушать блиндажи и дзоты; им нужно было подстерегать немцев "на воле", под открытым небом, а это требовало особой наблюдательности, ловкости, сметливости, уменья спрятаться в клоке тумана или за вершинами сосен. Мокрая погода, с тучами, ползущими почти по земле, со снегопадами и дождями, создававшая такие огромные трудности для работы авиации, благоприятствовала внезапным штурмовым налетам. Эти налеты были суровой проверкой всех качеств летчика-истребителя: чтобы участвовать в них, он должен был отлично владеть своим самолетом и своим оружием, уметь ориентироваться в почти полной тьме, уметь мгновенно оценивать обстановку. И эскадрилья, которой командовал Татаренко, была одной из первых эскадрилий истребительной авиации на Балтике, овладевшей искусством штурмовать, сопровождая танки, наземные силы врага.

Две группы советских армий двигались навстречу одна другой, и через несколько дней после начала наступления войска, наступавшие со стороны Ораниенбаума, стали явственно слышать голоса орудий войск, наступавших со стороны Ленинграда и Пулковских высот. Всё уже и уже становился коридор, по которому немецкие части, укрепившиеся у юго-западных ленинградских окраин, сообщались с остальными своими армиями. Но уходить от Ленинграда им не хотелось. Они, видимо, слишком дорожили удовольствием бить из орудий по городу, разрушая дома, убивая матерей и младенцев. Они продолжали упорно обстреливать Ленинград. И это бессмысленное, злобное развлечение погубило их. Когда они спохватились, было уже поздно.

Побросав орудия и машины, кинулись они по мокрому снегу

от Лигова, Стрельны, Петергофа в узкий проход между советскими войсками. Но проход всё суживался; он весь простреливался насквозь с двух сторон, и бегущие бежали по трупам тех, кто пытался пробежать здесь до них. Чтобы расширить проход, немецкое командование бросило сюда все свои танки, но их встретили советские танки, штурмовики и истребители...

- Товарищ капитан, работенку!

- Смотрите вправо, Татаренко! Немцы пытаются уйти лесом.

Разворот над лесом. Короткая штурмовка.

- Как дела, товарищ капитан?

- Нормально.

И хотя эскадрилий советских истребителей было много, немцы отличали эскадрилью Татаренко от других и испытывали перед ней ужас, безмерно преувеличивая ее силы. В докладах своему высокому начальству они напыщенно называли ее "стаей старых советских асов", не представляя себе, что эти "старые асы", что эти "опытные и неуязвимые виртуозы воздушного боя" горсточка безусых русских мальчиков, ни один из которых в начале войны не умел летать. Не могли они себе представить, что командиру этих "старых асов" не исполнилось еще и двадцати двух лет; не знали они, что он влюблен - в первый раз в жизни - и что, возвращаясь после боя на аэродром, он робко и застенчиво справляется, нет ли ему письма из Ленинграда, ставшего тыловым городом.

* * *

К двадцатому января наши войска, наступавшие с двух сторон, встретились у поселка Ропша. Семь немецких дивизий, стоявших под самыми стенами Ленинграда, оказались отрезанными и вскоре были полностью уничтожены. Одними убитыми немецкие войска потеряли здесь за несколько дней больше двадцати тысяч человек. Около двухсот орудий стало нашей добычей, в том числе тридцать шесть сверхдальнобойных, из которых немцы обстреливали Ленинград.

В результате этого разгрома во фронте немцев образовался широкий прорыв, в который стремительно хлынули наши войска, двигаясь на Волосово, на Пушкин, на Суйду, к берегам рек Луги и Наровы - на запад.

Полк должен был двигаться на запад. Только что пришел приказ: перелететь на новый аэродром, освобожденный всего несколько часов назад. В землянке командного пункта шла напряженная подготовка к перелету. Звенели телефоны, голос Тараракса не умолкал ни на минуту, вестовые привычно упаковывали штабное имущество в мешки. Вбегали люди,

выслушивали приказания Лунина, Шахбазьяна и выбегали, стуча сапогами по настилу, под которым хлюпала вода. Несмотря на внешнюю будничность всей этой суеты, чувствовалось в ней что-то праздничное. На запад! На запад!

Был здесь и Слава Быстров, которому шел уже пятнадцатый год, круглолицый, белокурый, в промасленном комбинезоне и такой для своего возраста рослый, что Лунин, хотя и видел его каждый день, всякий раз не мог удержаться, чтобы не сказать: "Эк тебя вытянуло!".

Ожидая приказа садиться на транспортный самолет, который должен был перебросить техников полка на новый аэродром, Слава, сидел в темном углу землянки с летчиками Костиным и Рябушкиным и прислушивался к их разговору.

- Через несколько лет самолеты, на которых мы сейчас летаем, будут стоять в музеях, - говорил Костин.

Рябушкин слушал Костина с сомнением: он обижался за самолеты полка.

- Это лучшие самолеты в мире, - возражал он. Но Костин упрямо надувал толстые губы.

- Если бы ты только мог представить себе те самолеты, на которых мы с тобой полетим через три года!

- А ты их можешь себе представить? - недоверчиво спрашивал Рябушкин.

- Ну, я-то кое-как представляю!

По правде сказать, Костин представлял их себе довольно неясно, и Слава, чувствуя это, презрительно поджимал губы.

Слава сам постоянно изобретал и усовершенствовал самолеты. Тетрадки, в которых он готовил уроки для Деева, были покрыты рисунками, изображавшими странных крылатых чудовищ. В спорах он нередко побеждал Костина, потому что лучше его знал авиационный мотор, аэродинамику и свободнее чувствовал себя среди математических формул. У Славы обнаружились способности к математике, а так как Деев тоже был пылкий математик, они давно с ним ушли за пределы того, что положено по школьной программе. Будущность свою Слава уже избрал: он будет инженером, создающим новые типы самолетов.

В землянку вошел Уваров, и все встали. Он привел с собой капитана Ховрина, редактора дивизионной газеты, самого старого знакомого Лунина в дивизии. Ховрин сейчас вместе с Уваровым совершал путешествие по аэродромам и был потрясен и взволнован всем виденным - разгромом и бегством немцев, освобождением Ленинграда, грандиозностью нашего наступления.

За годы войны редактор Ховрин удивительно окреп и

поздоровел. На его лице, когда-то таком желтом и болезненном, теперь играл румянец. Былая его сутулость исчезла, - он выпрямился, казался шире в плечах и выше ростом. Когда Лунин встретил его впервые, у него был вид безнадежно штатского человека, а теперь при взгляде на него можно было подумать, что он с юных лет на военной службе, - такая у него была выправка.

Он очень обрадовался Лунину. Ему казалось знаменательным, что они свиделись именно сейчас, в дни освобождения Ленинграда.

Ведь познакомились они на паровозе, потом пересели в машину и проехали в Ленинград всего за несколько часов до того, как кольцо осады сомкнулось. Каким далеким теперь кажется то время!

- А бочку-то, бочку помните? - спрашивал он.

Видимо, это воспоминание было для него теперь очень мило. Потом он вспомнил о том, как встретились они голодной ленинградской зимой сорок второго года у писаря политотдела Шарапова и как Лунин просил помочь ему вывезти из Ленинграда женщину с детьми, утверждая, что это его жена и дети.

- Вы, подполковник, не умеете, врать, - сказал Ховрин со смехом. - Мы с Шараповым ни на минуту вам не поверили.

Лунин посмотрел на часы:

- Пора!

Попросив разрешения у Уварова, он вышел и направился к самолетам, уведя за собой почти всех.

Уваров, Ховрин и Шахбазьян остались в землянке еще на несколько минут. Заговорили о Лунине.

- Он мне когда-то сам объяснил, что был женат и развелся, - проговорил Ховрин. - Вы об этом знали? - спросил он Уварова.

- Знал, - сказал Уваров.

- Разлюбил, наверно, - предположил Шахбазьян.

- Ну уж нет, не разлюбил, - сказал Уваров.

- Он вам рассказывал? - спросил Ховрин.

- Рассказывать не рассказывал, а я так знаю, - сказал Уваров. - Он такой человек, что полюбить может, а разлюбить не может.

- Есть такие люди, - сказал Ховрин.

Лунин тем временем уже взлетел, и весь полк взлетел за ним.

То был первый морозный день за всю зиму, и день этот уже шел к концу. Ветер внезапно размел тучи, и впереди на западе появилось огромное красное солнце, низко висящее над лесом. Лунин летел навстречу этому солнцу, и все самолеты его полка летели за ним в могучем строю, и их было так много, что они заполняли всё воздушное пространство почти до предела видимости. Они несли народам освобождение, надежду, будущее,

и не было такой силы на свете, которая могла бы остановить их полет.

1946-1953.